

Б. А. Пильняк

Собрание сочинений

в шести томах

Б. А. Пильняк

Собрание сочинений в шести томах



Б. А. Пильняк

Собрание сочинений
Том третий

Повести
Рассказы
Корни японского солнца

Роман

ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
МОСКВА
2003

УДК 882
ББК 8 4 (2 Рос=Рус) 6
П32

Оформление художника
В. ОРЛОВСКОГО

Составитель
К. АНДРОНИКАШВИЛИ-ПИЛЬНЯК

Пильняк Б.

П32 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3: Повести; Рассказы; Корни японского солнца: Роман / Состав., коммент. К. Андроникашвили-Пильняк; Послесл. Б. Андроникашвили-Пильняк — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2003. — 576 с.

ISBN 5-275-00834-1 (т. 3)
ISBN 5-275-00727-2

Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) – известный русский писатель 20–30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все, восстановленные от купюр и искажений, произведения автора.

В третий том Собрания сочинений вошли повести, рассказы и роман «Корни японского солнца»

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

ISBN 5-275-00834-1 (Т. 3)
ISBN 5-275-00727-2

Повести

ЗАВОЛОЧЬЕ

Посвящается О. С. Щербиновской

«Уже Pearі» отмечает постоянно наблюдающуюся при работ с Decapoda косость кривых, объясняющуюся тем, что при промерах не различается возраст экземпляров. Этим обстоятельством несомненно объясняется и параболическая регрессия. Необходимо особенно подчеркнуть, что мы наблюдаем здесь явление прогрессирующего с возрастом деформизма».

В. Б. Алпатов

«Decapoda Белого, Баренцева
и Карского морей».

«Полундра!» — значит по-поморски —
«берегись!»

На острове Великобритания, в Лондоне, был туман и часы на башнях, на углах, в офисах доходили к пяти. И в пять после бизнеса потекла из Сити человеческая волна. Великая война отсмертельствовала, из средневековых закоулков Сити, где здравствовали до войны и священнодействовали в домах за датами 1547, 1494 только черные цилиндры, сюртуки и зонтики мужчин, черная толпа могильщиков, — теперь потекла пестрая толпа брезентовых пальто, серых шляп и женщин-тэписток, розовых шляпок, шерстяных юбок, чулок, как гусиные ноги, разноцветных зонтиков. Туман двигался вместе с толпой, туман останавливался в закоулках, где у церквей на тротуарах калеки рисовали корабли, горы, ледники, чтобы им кинули пенни на хлеб. И через чет-

верть часа Сити опустел, потому что толпа — или провалилась лифтами под землю и подземными дорогами ее кинуло во все концы Лондона и предместий, — или вползла на хребты слоноподобных автобусов, или водяными жучками ройсов и фордов юркнула в переулки туманов. Сити остался безлюдьем отсчитывать свои века. Из Битлей-хауза на Мооргате-стрит, из дома, где за окнами были церквенка и церковный двор с пушками, отобранными с немецкого миноносца, а в нижнем этаже до сих пор от пятнадцатого века сохранилась масонская комната, — вышла девушка (или женщина?) — не английского типа, но одетая англичанкой, с кэзом и зонтом в руках; она была смуглолица, и непокорно выбивались из-под розовой шляпки черные волосы, и непокорно — в туман — смотрели ее черные глаза; у англичанок огромные, без подъема ступни, — у нее была маленькая ножка, и оранжевого цвета чулки не делали ее ноги похожими на гусиные; — но шла она, не как англичанка, сутулясь. У Бэнка, где нельзя перейти площадь за суматохой тысячи экипажей и прорыты для пешеходов коридоры под землей, — лабиринтом подземелий она подошла к лифту подземной дороги, и гостиноподобный лифт пропел сцеплениями проводов на восемь этажей вниз, и там к перрону из кафельной трубы, толкая перед собой ветер, примчал поезд. Разом отомкнулись двери, разом свистнули кондуктора, разом разминулись люди, — и поезд блестящей змеей ушел в черную трубу подземелья. В вагонах — разом — леди и джентльмены развернули вечерние выпуски газет, — и она тоже открыла газету. У Британского музея — на Бритиш-музеум-стешен — лифт ее выкинул на улицу, и за углом стала серая, облезшая в дождях, громада веков Британского музея, но музей остался ни при чем. Девушка пошла в книжную лавку, где в окне выставлено письмо Диккенса, там она купила на английском языке книги об Арктических странах, о Земле Франца-Иосифа, о Шпицбергене, там она задержалась недолго. И тут же рядом она зашла в другую книжную лавку — Н.С. Макаровой; там говорили по-русски, девушка заговорила по-русски; в задней комнате, на складе, на столе и на тюках книг сидели русские, один князь и он же профессор Кингс-колледжа, один актер и два писателя из Союза Социалистических Республик, бывшей России; они весело говорили и пили

шабли, как отрезвляющее; Наталья Сергеевна Макарова сказала: «Познакомьтесь, — мисс Франсис Эрмстет». Девушка и здесь была недолго, она молчала, она купила русские газеты, поклонилась, по-английски не подала руки и вышла за стеклянную дверь, в сумерки, туман и человеческую лаву. Наталья Сергеевна сказала ей вслед, когда она вышла за дверь: — «Странная девушка!.. Отец ее англичанин, мать итальянка, она родилась и жила все время в России, ее отец был наездником, она кончила в Петербурге гимназию и курсы. Она всегда молчит и она собирается обратно в Россию». А девушка долго шла пешком, вышла на Стрэнд, к Трафалгер-скверу, к Вестминстерскому аббатству, — шла мимо веков и мимо цветочных повозок на углах улиц. Темзы уже не было видно во мраке и тумане, но был час прилива, шли ощупью корабли, и кричали сирены. У Чарингкросса мисс Эрмстет спустилась в андерграунд*, и под землей, под Темзой, поезд ее помчал на Клэпхэм-роад, в пригород, в переулки с заводскими трубами и с перебивающими друг друга, фыркающими динамо мастерских. Там, в переулке, на своем третьем этаже, в своей комнате девушка неурочно стала читать газеты. В полночь заходил отец и сказал: — «Я все думаю, когда же напишет твой профессор? — Какие замечательные лошади были на петербургских бегах, какие лошади!.. Какие были лошади, если бы ты знала!» — В полночь она открывала решетчатое, однорамное, как во всех английских домах, окно, рядом во дворе фыркало динамо маленькой фабрички, и в комнату облаком пополз коричневый туман. Она решила, что завтра город замрет в тумане, не понадобится идти в офис, — можно было не спешить. Она растопила камин, переоделась на ночь, белье на ней было — по-английски — шерстяное. В халатике она ходила мыться, и долго потом лежала в кровати с книгой о Земле Франца-Иосифа, руки ее были смуглы и девически-худощавы. Земля Франца-Иосифа была в ее руках. — Где-то рядом на башне часы пробили три, и закашлял отец, не мог откашляться — —

И в этот же день на острове Новая Земля в Северном Ледовитом океане из Белужьей губы должно было уйти в Европу, в Россию, судно «Мурманск». Это было послед-

---

* Андерграунд — букв. подземка: метро *(англ.)*.

нее судно, случайно зашедшая экспедиция, и новый корабль должен был придти сюда только через год, новым летом. Дни равноденствия уже проходили. Были сумерки, туман мешался с метелью, на земле лежал снег, а с моря ползли льды. Горы были за облаками. Команда на вельботах возила с берега пресную воду. Гидрографическая экспедиция шла от солнца в двенадцать часов ночи, от берегов Земли Франца-Иосифа, куда не пустили ее льды; она заходила под 79°30' северной широты, чтобы взять там остатки экспедиции Кремнева; на Маточкином Шаре она оставила радиостанцию: через неделю она должна была в Архангельске оставить страшное одиночество льдов, тысячемильных пространств, мест, где не может жить человек, — через десять дней должна была быть Москва, революция, дело, жены, семьи; экспедиция была закончена. «Мурманск» еще утром отгудел первым гудком, матросы спешили с водой. — На всей Новой Земле жили — только — двадцать две семьи самоедов. Самоеды, ошалевшие от спирта, просочившегося на берег с судна, бестолково плавали на своих ёлах от берега к пароходу. Начальник экспедиции, который был помыслами уже в Москве, писал экспедиционное донесение. Каюта начальника экспедиции была на спардеке*, горело электричество, начальник сидел за столом, а на пороге сидел самоедин, напившийся с утра, теперь трезвевший и клянчивший спирта, предлагавший за спирт все, — песцовую шкурку, жену, ёлу, малицу**. Начальник молчал. Когда самоедину надоедало повторять одни и те же слова о спирте, он начинал петь, по получасу одно и то же:

Начальник сидит, сидит,
Хмурый, хмурый — —

Начальник обдумывал, какими словами написать в донесении о том, как север бьет человека: — —

— — на радиостанции X, в полярных снегах, в полугодовой ночи, в полярных сияниях, зимовали пять человек, отрезанных тысячами верст от мира; они устроили экспедиции обед, начальник радиостанции положил себе в суп соли, — и тогда студент-практикант,

---

* Спардек — средняя надстройка на судах *(морск.)*.

** Малица — одежда из оленьих шкур *(эским.)*.

проживший год с начальником, — закричал: — «Вы положили себе соли, соли! Вы положили столько, что нельзя есть супа! Вылейте его! Иначе я не могу!» — начальник сказал, что соли он положил в суп себе и положил соли так, как он любил; студент кричал: — «Я не могу видеть, вылейте суп! я требую!» — студент заплакал, как ребенок, бросил салфетку и ложку, убежал и проплакал весь день. Пятеро, они все перехворали цингой; они не выходили из дома, потому что каждый боялся, что другой его подстрелит, и они сидели по углам и спали с винтовками, — они, из углов, уговаривались идти из дому без оружия, когда метелями срывало антенны, и всем пятерым надо было выходить на работу; все пятеро были сумасшедшими.

— «Мурманск» снял в самоедском становище на Новой Земле уполномоченного от Островного Хозяйства. Это был здоровый, молодой, культурный человек; он прожил год с самоедами. И он сошел с ума: он бросил курить — и запретил курить всему самоедскому становищу, — он прогнал от себя жену и запретил самоедам принимать ее, и она замерзла в снегу в горах, когда пешком пошла (собак он не дал ей) искать права и спасения за сто верст к соседним самоедским чумам; он запретил самоедам петь песни и родить детей; когда «Мурманск» пришел в бухту, он стал стрелять с берега, и ни одна самоедская ёла не пошла навстречу кораблю; команда с корабля пошла на вельботе к берегу, — он заявил, что не разрешает здесь высаживаться, ему показали рейсовую путевку судна, — он ответил, прочитав: — «в бумаге написано — «на берега Новой Земли», — а здесь не берег, а губа», — и его, сумасшедшего, теперь везли, чтобы отдать в больницу. — (гибели экспедиции Николая Кремнева посвящена эта повесть; Кремнев возвращался с «Мурманском»).

Начальник обдумывал, как записать все это в экспедиционное донесение. Самоедин пел:

Начальник сидит, сидит,
Хмурый, хмурый — —

В бухте была зеленая вода, за бухтой в море синели льды. Берег уходил во мглу; снег на горах, сливаясь с облаками, был сер, и черною грязью вдали казались

еще не заметенные снегом горные обвалы и обрывы. Самоедского становища в тумане не было видно. Была абсолютная тишина. Пришел матрос, сказал: — «Вода взята, ушел последний вельбот, капитан скомандовал в машину нагонять пары. Капитан спрашивает, давать второй свисток, чтобы все были на борту?» — «Давайте», — ответил начальник. Самоедин на пороге посторонился матросу, матрос весело сказал самоедину: — «Ну, а ты, Обезьян Иваныч, бери ноги в руки, катись на берег, а то увезем в Европу!..» — Помолчал и добавил строго: — «катись, катись, надоел, — сейчас уйдем в море!» — Пароход сипло загудел, надолго, раз и два, — и в горах отдалось сиплое эхо, — вахта пошла на места. Начальник прошел к капитану на мостик. Самоеды — нырками — плавали около парохода. Через полчаса пароход должен был выйти в море, и неделю пути океанами и просторами, чтобы через десять дней была Москва: это был последний пароход с Новой Земли, Новая Земля оставалась на год во льдах, холоде и мраке. Экипаж был уже на борту, вельбот поднимали на палубу.

И тогда от берега по воде с быстротою полета птицы помчала ёла, человек из нее кричал, останавливая. Ёла ласточкой прильнула к шторм-трапу, и с ловкостью обезьяны на палубу влез самоедин, в малице, в пимах, испуганный и запыхавшийся. И на палубе сразу исчезла его ловкость и быстрота, — он стоял смущенный и растерянный. И те самоеды, что слезли было с судна, вновь поднялись на него, стали у фальшборта, взволнованные, шумливые, враждебные. Тот, что влез первым, — вдруг раскис и заплакал, по-бабьи гугниво. Начальник спросил его: — «В чем дело, чего ты хочешь?» — Тогда зашумели все самоеды, и тогда узналось, что этот самоедин, прознав про стоянку судна, приплыл из-за сотни верст, из своего становища, — что в прошлом году он заказал привезти себе из Европы десять семилинейных ламповых стекол — и ему привезли семь десятилинейных, он ждал стекол целый год, — он будет ждать еще год, — но — чтобы обязательно ему их привезли, иначе он не хочет России, она ему не нужна, ему все равно — леший там или царь, ему нужно десять семилинейных, а не семь десятилинейных, — и тогда он отдаст эти семь десятилиней-

ных! — На судне не нашлось семилинейных стекол, но нашлась двухлинейная жестяная лампочка со стеклами, ее отдали самоедину. И еще на складе оказалась коробка с гривенничными компасами, такими, какие матросы любят вдевать в петлицу вместо брелка к часовой цепочке: каждому самоедину был дан такой компас. — Тогда капитан крикнул с мостика, облегченно и с напускною строгостью: — «Эй, тылки-вылки, марш с корабля, живо!» — И самоеды с ловкостью обезьян посыпались за борт на свои ёлы. Третий отревел гудок, загремела лебедка, принимая якорь.

Через час земля исчезла во мраке, была уже ночь и в облаках серебрела луна. Здесь был ветер, разводил волну; судно, покряхтывая, ложилось на волны, на бак заплескивалась вода, иногда в такелаже начинал ныть ветер. Судно замерло в ночи. На капитанском мостике в рулевой стояли вахтенный матрос и штурман. На румбе был юг, кругом были холод и мрак,

— Через неделю дома! — сказал матрос.

Начальник у себя в каюте писал вахтенное донесение. Рядом в каюте младшие сотрудники пели песни в предчувствии земли, Москвы. — А самоедин, тот, что год ждал семилинейных стекол, шел в этот час обратно к себе в становище. За пазухой у него были лампа и компас, за плечами висела винтовка системы Браунинг. Лед сгруживался у берегов; когда по пути вставали большие ледяные поля, самоедин вылезал на лед, взваливал себе на голову свой каяк* и шел пешком, — потом опять плыл по воде. В полночь он устроился спать на берегу, на снегу; за пазухой у него было сырое оленье мясо, он поел его; потом лег на снег, поджав под себя ноги, прикрыв себя мехом. Лампочку, чтобы не раздавить, он поставил в сторонку. —

И в этот же час — еще за полтысячи верст к северу — на Шпицбергене, на жилом Шпицбергене, в Айсфиорде, в Коаль-сити, на шахтах — одиночествовал инженер Бергринг, директор угольной Коаль-компании. Здесь не было тумана в этот час и была луна. Домик прилепился к горе ласточкиным гнездом; вверх уходили горы и шел ледник; гора была под домиком, и там было море, и там, на том берегу залива, были горы, все в

* Каяк — маленькая кожаная крытая лодка *(эским.)*.

снегу, — была луна, и казалось, что кругом — не горы, а кусок луны, луна сошла на землю. Была невероятная луна, диаметром в аршин, и блики на воде, на льдах, на снегу казались величиной в самую луну, сотни лун рождались на земле. И над землей стояли зеленоватые столбы из этого мира в бесконечность — столбы северного сияния, они были зелены и безмолвны. Домик был построен, как строят вагоны, из фанеры и толя, привезенных с юга, потому что на Шпицбергене ничего не растет, и он был величиной в русскую теплушку: такая теплушка прилипла к горе. И все же в домике было четыре комнаты, кабинет был завален книгами и там стоял граммофон, а в конторе стоял радиоаппарат, и в каждой комнате было по кафельному маленькому камину. — Человечество не может жить на Шпицбергене — север бьет человека, — но там в горах есть минералогические залежи, там пласты каменного угля идут над поверхностью земли, — и капитализм — —

— — ночь, арктическая ночь. Мир отрезан. Стены промерзли, — мальчик круглые сутки топит камин. За стенами — холод, то, что видно в окно, — никак не земля, а кусок луны в синих ночных снегах, и Полярная звезда прямо над головой. Инженер Бергринг долго слушал граммофон, мальчик принес новую бутыль виски, — инженер Бергринг подошел к окну, там луна сошла на землю. В это время в конторе радио вспыхнуло катодною лампочкой, — оттуда, из тысячи верст, из Европы, зазвучали в ушах таинственные, космические пуанты и черточки: — ч-ч-чч-та-та-тсс... —

Глава первая

. . . .

«С т а н ц и я 18. φ 76°51', λ 41°, 0 mt, 5 ч. 00 м. 22—VIII.

Станция пропущена ввиду большого шторма. Ветер 6 баллов, волнение 9, судно клало на волну на 45°.

С т а н ц и я 19. φ 77°33', λ 41°35', 372 mt, 13 ч. 00 м. 22—VIII.

Подводные скалы с зарослями баланусов, гидроитов, асцидий и мшанок. Трал Сигсби дважды. Оттертрал. Р е з у л ь т а т ы: очень много Hyperammina subnodosa,

Ophiura sorsi, много трубок Maldanidae, Ampharetidae, много Eupagurus pubescens, один экз. sabinea, 7 — carinata. В илу найдено до 20 видов корненожек, кроме Hyperammina преобладает Truncatulina labatula. Обильный мертвый ракушечник, при полном отсутствии живых моллюсков,

Станция 20. φ 77°55', λ 41°15', 220 mt, 0 ч. 40 м. 23—VIII.

Из-за льда драгажных работ не было.

Станция 20. φ 77°35', λ 40°35', 315 mt, 4 ч. 15 м. 23—VIII.

Станция была сделана сейчас же по выходе из плавучего льда. Драга с параллельными ножами. Шестифутовый трал Сигсби — —›

. . . .

Эти станции — за тысячу верст к северу от Полярного круга, в штормах, во льдах, без пресной воды, в холоде — были единственной целью экспедиции в Арктику для биолога, профессора и коммуниста Николая Кремнева, начальника Русской Полярной Экспедиции, — для того, чтобы через два года, вернувшись с холодов, в Москве, после суматошного дня, после ульев студенческих аудиторий, человеческих рек Тверской и лифтов Наркомпроса на Сретенском бульваре — пройти тихим двором старого здания Первого московского университета, войти в Зоологический университетский музей и там сесть в своем кабинете — к столу, к микроскопу, к колбам и банкам и к кипе бумаг. — В кабинете большой стол, большое окно, у окна раковина для промывания препаратов, — но кабинет не велик, пол его покрыт глухим ковром, а стен нет, потому что все стены в полках с колбами, баночками, банками, банкищами, а в баночках, банках и банкищах — фиуры, декаподы, асцидии, мшанки, губки, — морское дно, все то, что под водой в морях, — все то, что надо привести в порядок, чтобы открыть, установить еще один закон — один из тех законов, которыми живет мир. Каждый раз, когда надо отпереть дверь, — вспоминается, — и когда дверь открыта, — смотрит из банки осьминог, надо поставить его так, чтобы не подглядывал. — Это пять часов дня. От холодов, от тросов, от цинги — пальцы рук профессора Николая Кремнева узловаты, — впрочем, и весь его облик сказывает в нем больше бродягу и пи-

ратского командора, чем кабинетного человека, — потому что он русский; но часы идут, полки с банками пыльны и — сначала стереть пыль, отогреть вар, раскупорить банку, промыть Decapoda'у — пинцеты, ланцеты, микроскоп — тихо в кабинете: и новые записи в труде, который по-русски начинается так:

> «60 станций экспедиции 192* г. охватывают огромный район. Конечно, сами по себе работы экспедиции недостаточны для того, чтобы говорить о фауне и биоценозах северных морей во всей полноте, тем более что они еще не обработаны окончательно.
>
> Однако на основании их мы можем наметить, хотя бы в целях программных и рабочей гипотезы, некоторые большие естественные «районы северных морей» — —
>
> — что звучит по-немецки, в другой папке: —
>
> «Die Expedition im Jahre 192* hat 60 Stationen erforscht. Letztere sind auf der Weite des Weissen, Barents- und Karischen Meeres. Das zoologische Material, welches während dieser Expedition gesammelt wurde, gibt uns das Recht, die eben erwähnten Nordischen Meere in gewisse Regionen einzuteilen» — —

Профессор Кремнев писал свою работу сразу на двух языках, это так: по море Баренца у Земли Франца-Иосифа и Карское море позади Новой Земли, куда раз в пять лет могут зайти суда, невероятную Арктику, тысячи верст за Полярным кругом — он называл только северными морями, никак не Ледовитым океаном, — точно так же, как, когда океан у восьмидесятого градуса бил волной и льдами, когда Кремнева било море и до судорог мучила тошнота и даже команда балдела от переутомления и моря, Кремнев говорил, не вылезая из своей каюты, не имея сил встать: — «как, разве плохая погода?» — и спардэк на корабле он называл чердаком, а трюм и жилую палубу — подвалом. — Но он твердо знал прекрасную человеческую волю познавать и волить. И часы в кабинете с микроскопом шли так же медленно и упорно, как они идут на Шпицбергене, и Никитская и Моховая за стенами отмирали на эти часы, безразлично, была ли там осень и фонари ломались в лужах, или шел снег, украв-

ший звуки и такой, от которого Москва уходит на десяток градусов к северу и на три столетия назад в глубь веков, — Decapoda устанавливала законы. — А в девять в дверь стучали, приходил профессор Василий Шеметов, физик, здоровался, говорил всегда одно и то же, — «ты работай, я не помешаю»; — но через четверть часа они шли по Моховой, в Охотный ряд, в пивную, выпить по кружке пива, поговорить, послушать румын; тогда за окнами шумихою текла река — Тверская, и было видно — осень ли, зима ль, декабрь иль март.

. . . .

В Судовой Роли было записано рукою Кремнева, начальника экспедиции — —

«Научное снаряжение экспедиции —

По гидрологии —

Батометров разных систем . . . . 6 шт.

Лот с храпом, трубки Баумана, глубомеры Клаузена, вьюшки Томпсона, шкалы Фореля, диски Секки, аппарат Киппа и пр., и пр... в достаточном количестве.

По биологии —

Микроскопов разных . . . . 20 шт.

По метеорологии — —

Специальное оборудование и приспособления для зимовки во льдах — —

Охотничье снаряжение — —

— — Экипаж экспедиции — —

— — Задание экспедиции — —

От второго участника экспедиции, от художника Бориса Лачинова, осталась для Москвы только одна запись, которую он не послал:

> «Слышать, как рождаются айсберги, — как рождаются вот те громадные голубые ледяные горы, которые идут, чтобы убивать и умирать по свинцовым водам и волнам Арктики: это слышать гордо! И это можно слышать только раз в жизни, и только одному человеку на десятки миллионов удается услыхать это. И я не случайно беру глагол слышать: едва ли позволено человеку это видеть, как рождаются айсберги, как раскалываются глетчеры, — ибо человек заплатил бы за это жизнью. Я это слышал здесь, на Шпицбергене, в Стор-фиорде в Валлес-бае, и тогда в том громе и тумане мне показалось, что я слы-

шу, как рождаются миры. — Это — за полторы тысячи верст к северу от Полярного круга. — И я могу рассказать о том, что было в Европе, в России в начале Четвертичной эпохи, когда со Скандинавского полуострова ползли на Европу глетчеры, ледники, когда были только вода, небо, камень и льды, и холод, и страшные ветры, такие, которые снежинками носят камни с кулак и с голову человека: я это видел здесь в тысячах верст, — здесь, в Арктике я видел страшные льды, льды, льды, тысячи ледяных верст, страшные ледяные просторы, — воду (вот ту, предательски-соленую, неделями плавая по которой, можно умереть от жажды, и такую прозрачную, почти пустую, сквозь которую на десяток саженей видно морское дно), — горы (огромные, скалами базальтов и холода, и ледников, идущие из моря и изо льдов), — небо, вот такое, с которого в течение почти полугода не сходит солнце (я видел солнце в полночь!), и которое полгода горит Полярной звездой, — причем Полярная стоит в зените, — причем на полгода дня и на полгода ночи — за туманами, метелями, дождями, за всеми стихиями холода, вод и земли, в сущности, надо скинуть со счетов счет на солнце и звезды, оставив счета на извечные мрак, холод, льды и снега. Здесь не живет, не может жить человечество. Мы, покинув «Свердруп», были у острова Форeланд, здесь мы жили, здесь умерло пять моих спутников: на этом острове — на памяти культурного человечества — до нас обследовала остров только одна экспедиция, Ноторста, в 1896 году, — здесь нет человека, здесь не может жить человек, — когда Ноторст высаживался на берег, на шлюпку напала стая белых медведей, занесенных сюда льдами и здесь оголодавших. —

Мне — никогда не уйти отсюда. Море, эти десятки дней в безбрежности и мои бреды, мои бредовые яви и явные бредни» — —

«Свердруп» вышел из Архангельска 11 августа, — вышел из черных августовских ночей, чтобы под семидесятым градусом придти в белую арктическую ночь, в многонедельный день, когда небо в полночь темно —

н о ч н о е н е б о — только на ю г е. «Свердруп» стоял у Банковской набережной, потом его отвели на рейд; — потом он ходил на Баккарицу за углем, угля взял до отказа, под углем были и палубы, по фальшборты. Экспедиция задержалась на пять дней: Москва не выслала к сроку посуду — колбы, баночки, банки, банкищи, бидоны. Профессор Николай Кремнев, в морских сапогах до паха, в кожаной куртке и в широкой, как зонт, кожаной поморской шляпе, с можжевелевой тростью в руках, с утра и весь день ходил — на телеграф, в губисполком, в Северолес, в береговую контору, на таможню, — в половине пятого он обедал в деловом клубе, выпивал три бутылки пива и шел в гавань, кричал в сгустившиеся сумерки: — «Со «Свердрупа», — шлюпку!» — уходил к себе в каюту и сидел там один с бумагами и счетами. Ночами в те дни поднималась луна, большая, как петровский пятачок, — Кремнев выходил на капитанский мостик и тихо разговаривал с вахтенным офицерам, рассказывая ему, сколько и каких колб, банок и жбанов необходимо ждать из Москвы. — Часть научных сотрудников была занята уборкой, свинчиванием, прилаживанием для моря инструментария. Физик, профессор Шеметов, метеоролог Саговский, врач Андреев и художник Борис Лачинов ездили осматривать Холмогоры и Денисовку, где возник Ломоносов, ездили на взморье к Северо-Двинской крепости, построенной Петром I; там в рыбачьем поселке заходили к ссыльным (это случайное обстоятельство надо очень запомнить, ибо оно чрезвычайно важно для повести), — дни стояли пустые, призрачные, солнечные, тихие, — радио приносило вести, что Арктика покойна. — Команда — и верхняя — «рогатики», и нижняя — «духи» — все свободное время проводила на берегу, главным образом в пивных. 9-го пришла посуда, отвал назначен был на 12 часов 10-го, и команда и научные сотрудники всю ночь провели на берегу в притонах. Утром «Свердруп» пошел на девиацию*, и стал на рейде, — команда возвращалась на четвереньках, и в половине двенадцатого выяснялось, что главный механик захворал белой горячкой, ловил в машинном чертей. Механика ссадили на берег, скулы Кремнева посерели и обтянулись кожей еще крепче, — задержались

---

* Девиация — отклонение от курса *(морск.)*.

на сутки, еще сутки команда лежала костьми на спирте. В 3 часа 11-го отгудел последний гудок, таможенный чиновник вручил путевые бумаги, взял выписку для береговой конторы, проводил до Чижовки. Флаг подняли еще с утра, включили радио, — военный тральщик отсалютовал — «счастливый путь» — и пьяная вахта долго путалась во флажках, чтобы отсалютовать — «счастливо оставаться». Архангельск ушел за Соломбалу. Новый механик стоял у борта, боцман из шланга поливал ему голову, — боцман мыл палубу, механик плакал о жене, оставленной на берегу. Радист принял первое радиоприветствие из Москвы и весть о том, что у Канина Носа шторм в 8 баллов. — «Свердруп» уносил на себе тридцать восемь человеческих жизней, тридцать восемь человеческих воль. Было тридцать семь мужчин и одна женщина, химичка Елизавета Алексеевна, так не похожая на женщину, что матросы очень скоро приладились — и при ней и ее — обкладывать «большими» и «малыми» морскими «узлами»; — она была из тех женщин, которых родят не матери, а университетские колбы, для коих они и живут; богатырственная, сильнее и выше любого матроса со «Свердрупа», она стояла на спардеке у вельбота и плакала навзрыд, прощаясь с землей, как плачут тюлени. Слезы текли по сизому румянцу щек, точно она вымылась и не утерлась, — кепка съехала на затылок. Около нее стоял метеоролог Саговский, маленький, как гном, в фетровой шляпе, в демисезонном пальто английского покроя, в желтых ботинках, точно он отправлялся на пикник, — он курил трубку и говорил:

— Бросьте, Елизавета Алексеевна! Самое большое проскитаемся год. Вы знаете, если установить причины циклонов и антициклонов, которые возникают в Арктике, — тогда можно сказать, что вопрос о предсказании погоды почти решен. Если бы мы знали, какое давление сейчас, какая температура, сколько баллов ветра — ну, хотя бы на нашем меридиане под 80-м градусом, мы могли бы знать, какая погода будет в России через две недели — —

Сумерки наползли медленно и безмолвно, на створах вспыхнули огни. «Свердруп» — двухмачтовое, деревянное, парусно-моторное пятисоттонное судно, построенное по планам нансеновского «Фрама» и седовского «Фоки», специально оборудованное, чтобы ходить

во льдах, — свинчивался, затихал, мылся перед морем. Пьяные ушли по каютам. Мудюгский маяк отгорел сзади, впереди возник Знаменский, — впереди было море. —

И тогда «Свердрупу» суждено было еще раз вернуться к земле, к родной земле — последний раз. — Если человеку, живущему на земле, придется когда-нибудь услыхать вызов радио — SOS — пусть он знает, что это гибнут в море человечьи души, страшно гибнут в этой страшной чаще вод и неба, где внизу сотни метров морских мутей и квадрильоны метров вверху — бесконечностей, и больше ничего. SOS — это пароль, который кидает радио в пространство, когда гибнет судно, и он значит: «— спасите нас, спасите наши души!» — В вахтенном журнале «Свердрупа» возникла следующая запись:

АКТ

«192* года, августа 12 дня, мы, нижеподписавшиеся, капитан э/с «Свердруп», Алехин Павел Лукич, и капитан и владелец парусного судна «Мезень», Поленов Марк Андреевич, в присутствии начальника Русской полярной экспедиции проф. Кремнева Николая Ивановича, составили настоящий акт о нижеследующем: 11 авг. в 23 часа 30 мин, в 65°04' N и 39°58' 0'' W, идя компасным курсом N 39, общая поправка 10, э/с «Свердруп» наскочил на шедшее с грузом рыбы в Архангельск под полной парусностью при ветре NW силою в 1' балл, при видимости за темнотой ночи от 30 до 40 саженей п/с «Мезень», ударив его форштевнем в правый борт против форвант. При ударе получился пролом, от которого парусник начал наполняться водой и погружаться, ложась на левый борт. Команда «Мезени» перешла на «Свердруп» в момент столкновения по бушприту, капитан же перешел на «Свердруп» в тот момент, когда через несколько минут «Мезень» надрейфовала на нос «Свердрупа», причем последовал легкий вторичный удар. После этого «Свердруп» отошел назад, была спущена шлюпка и послана команда со штурманом Медведевым для осмотра «Мезени» и выяснения способов спасения. По

прибытии шлюпки было решено, по просьбе капитана «Мезени», подойти к ней и взять ее на буксир бортом; в это время «Мезень» постепенно ложилась на левый борт. При подходе, вследствие темноты и дрейфа, «Мезени» был нанесен «Свердрупом» третий удар, в корму, причем «Мезень» уже лежала на левом борту. Видя, что взять бортом на буксир «Мезень» невозможно, «Свердруп» подошел к ней кормой и начал шлюпкой заводить на нее буксиры, которые были закреплены за правый становой якорь «Мезени». В 0 час. 40 мин. 12 авг. была закончена заводка буксиров и начали буксировать «Мезень» по направлению к плавучему маяку Северо-Двинский. В момент, следующий за столкновением, на п/с «Мезень» огней нигде, кроме окон кают-компании, не было видно, и этот огонь был виден, пока «Мезень» не погрузилась в воду. На «Свердрупе» никаких повреждений не оказалось. Настоящий акт составлен в трех экземплярах и записан на страницу вахтенного журнала «Свердруп» — —

Так было. Экспедиционное судно «Свердруп» свинтилось, убралось, шло в море, чтобы месяцы не видеть ни людей, ни человеческой земли, маяк отгорел сзади, люди, после бестолочи Архангельска, расползлись по каютам и притихли. Художник Лачинов долго стоял у кормы, смотрел, как из-под винта выбрасывались святящиеся фосфорически медузы; от них эта черная ночь, ночной холод, беззвездное небо, ветер, тишина просторов и плеск воды за бортами были фантастичны, медузы возникали во мраке воды, всплывали вверх и вновь исчезали в мути, погасая. Потом Лачинов пошел в кают-компанию, многие уже ушли спать. Потому что судно было отрезано на месяцы от мира, было колбой, из которой никуда не уйдешь. Лачинову все время казалось, что все они здесь на судне — как в зиме в страшной провинции, где никто никуда ни от кого не уйдет и поэтому надо стремиться быть дружественным со всеми и за всех, и забыть все, что не здесь. В кают-компании перед вахтой в полночь сидел второй штурман Медведев, остряк, играл на гитаре и пел о Шнеерзоне, о свадьбе его сына в Одессе, облетев-

шей весь мир. Кинооператор, точно такой, каким судьба судила быть кинооператорам, разглагольствовал о разных системах киноаппаратов. Механик мотал очумевшей головой, ничего не понимая. — И тогда все услыхали отчаянный человеческий крик, и толчок, и треск, и то, как осел «Свердруп» и как он дернулся с полного хода вперед на полный назад. Кто-то пробежал мимо в одном белье, Лачинов и все бывшие в кают-компании побежали на бак. Ночь была темна и холодна, беззвездна, и ветер шел порывами. Во мраке перед носом «Свердрупа» стоял корабль, повисли над «Свердрупом» белые паруса, уже обессилевшие. И из мрака, из-за борта «Свердрупа» на бушприте появились человечьи головы людей, молодых и стариков, обезумевших людей, которые плакали и кричали, — орали все вместе, одно и то же, безумно: —

— Что вы делаете, а-а-а-я? Что вы делаете?! —

Люди толпились раздетые; горели прожекторы, в клочья разрывая мрак, отчего мрак был только сильнее — и нельзя было понять, кто приполз из-за борта, от смерти, кто — раздетый — прибежал с жилой палубы. Кто-то скомандовал полный назад, стоп, полный вперед, — во мраке под парусами гибнущего парусника, в свете прожекторов, бегал, как бегают кошки на крыше горящего здания, человек, махал руками, орал так, что достигало только одно слово — «под либорт! под либорт!» — ныл радиоаппарат, — и тогда ударил вновь «Свердруп» в борт парусника, и с ловкостью кошки возник из-за борта в свете прожекторов новый человек, бородатый старик, и из разинутой пасти летели слова: — «черти! черти! черти! голубчики! — под либорт, под либорт! берите, берите!..»

А во мраке гибла белая шхуна, повисли бессильно паруса, клонились к воде. Ни одного огня не было на шхуне и только мирно, по-зимнему горела семилинейная лампенка на корме в кают-компании. Вскоре узналось, что старик, влезший на «Свердруп» последним, — капитан парусника, что он сорок семь лет ходил по морям, четырежды гибнул — и четыре громадных креста стоят на Мурмане около сотен других, поставленных в память спасения от смерти в море; — и что судовую икону — Николу-угодника, — которой благословил отец сына сорок семь лет назад — Николу успел

взять с собой капитан (это обстоятельство настоятельно просил капитан Поленов внести в акт, и поклялся при всех, что пятый поставит крест он у себя в Терибейке, на Мурмане); — что «Мезень» выдержала пятидневный шторм, «держали бурю» и тут, переутомленные, в затишье заснули, проспали вахту, — а «Свердруп» был пьян: тысяча верст просторов, сотни верст направо и налево, и вокруг, — и надо же было двум суднам найти такую точку в этих просторах, чтобы одному из них погибнуть; — одно утешение — теория вероятности — не «Мезень» — «Свердрупа», а «Свердруп» — «Мезень»! — Гудело радио, нехорошо, сиротливо. Белые паруса «Мезени» легли на воду, — и до последней минуты горела, горела сиротливым огнем в кают-компании на «Мезени» керосиновая семилинейная лампенка.

Лачинов чувствовал себя весело и покойно, но руки чуть-чуть дрожали. И самым страшным ему был огонек в кают-компании на паруснике, этот домашний, мирный огонек, точно по осени в лесной избушке, — этот огонек бередил своей неуместностью. Лачинов думал, что, если бы он прочел в книге об этой страшной ночи, когда в ветре и мраке никто не спал, а старики-поморы, которые появились из-за борта, плачут от лютого страха смерти, — об этом паруснике, который на глазах, вот с лампенкой в каюте, затонул и повалился на борт, — вот о той лодке, которую «Свердруп» спускал на воду и которая пошла к тонущему судну, а ей кричали, чтоб осторожней, чтобы не затянуло в воронку, если корабль пойдет ко дну, — если бы Лачинов прочел это в книге, ему было бы холодновато и хорошо читать. И он думал о том, что любит читать книгу Жизни — не на бумаге. Лачинов стоял у борта, в воде возникали и меркли фосфорические медузы, начинало чуть-чуть светать, «Свердруп» шел к берегу. К Лачинову подошел капитан Саговский, сказал:

— А у меня новый друг появился. Смотрите, какой котишка славный. Его штурман Медведев привез с «Мезени», — в руках у него был котенок. — Перепугались?

— Нет, не очень, — ответил Лачинов. — Смотрите, какая медузья красота, — но, — вот тот огонек у кормы у меня все время смешивается со скверненьким, маленьким человеческим страшком! —

— А мы можем послать еще по письму, мы идем к берегу, — сказал Саговский. — Я уже написал.

— Нет, я никому ничего не буду писать, — ответил Лачинов.

...А потом было море, в труде и штормах. Шторм бил семнадцать дней.

Еще в горле Белого моря встретил шторм. «Свердруп» по 41-му меридиану шел на север, к Земле Франца-Иосифа, с тем, чтобы сделать высадку на Кап-Флоре, в этой Мекке полярных стран, где дважды повторилось одно и то же, когда гибнущий Нансен, покинувший свой «Фрам», встретил на Кап-Флоре англичанина Джексона, — и когда гибнущий русский штурман Альбанов, покинувший далеко к северу от Земли Франца-Иосифа гибнущую, затертую льдами «Анну» Брусилова, два месяца шедший по плывущему льду на юг к Земле Франца-Иосифа, ушедший с «Анны» с десятью товарищами и дошедший до мыса Флоры только с одним матросом Кондратом (ибо остальные погибли во льдах), — встретил на Кап-Флоре остатки экспедиции старшего лейтенанта Седова — уже после того, как Седов, в цинге, в сумасшествии, с револьвером в руках против людей, на собаках отправился к полюсу и погиб во льдах.

Начальника экспедиции профессора Кремнева — одного из первых свалило море («море бьет»), но он выползал на каждой станции из своей каюты, серый, бритый, с обесцвеченными губами, — лез на спардек, стоял там молча и, если говорил, то говорил только одну фразу:

— Мы делаем такую работу, которую до нас не делало здесь человечество, — мы идем там, где до нас не было больше десятка кораблей! — —

Через каждые шесть часов — через каждые тридцать астрономических минут — на два часа были научные станции, и семнадцать дней — до льдов — был шторм. Жилая палуба была в трюме, в носовой части корабля; все было завинчено, люки были закупорены; судно — влезая на волны и скатываясь с них — деревянное судно — скрипело всеми своими балками и скрепами; судно шло уже там, где вечный день, и в каютах был серый сумрак. Люди, по двое в каюте, лежали

на койках, когда не работали, в скрипе и духоте. На судне было привинчено и привязано все, кроме людей, — и все же не было торчка, с которого не летело бы все: люди, лежа в койках, то вставали на ноги, то вставали на головы: — качая, кренило на — больше, чем на 45°, ибо больше не мог уже показывать кренометр, сошедший в капитанской будке с ума. Сначала были ясные, упругие, синие дни под белесо-синим небом (ночью неба не было, а была муть, похожая на рыбью чешую и на воду), — потом были метели, такие метели, что все судно превращалось в ком снега, — потом были туманы, и тогда спадал ветер. И кругом были небо, вода — и больше ничего в этих холодных просторах. Иногда ветер так свирепо плевался, так гнал волну, что «Свердрупу» приходилось вставать, идти полным ходом против ветра, рваться в него — и все же ветер гнал назад. Ветры были нордовые и остовые. Семнадцать дней подряд только рвал ветер, выл ветер, свистел ветер — и катила по «Свердрупу» зеленая волна.

Если стоять на капитанском мостике, где всегда в рубке у руля два вахтенных матроса и штурман, и смотреть оттуда на судно, — мертво судно; вот выполз на палубу метеоролог Саговский, полез на бак, к метеорологической будке, качнуло, обдало водой, и Саговский ползет на четвереньках, по-кошачьи, лицо его сосредоточено и бессмысленно, и на лице страх, — но вот еще качнуло, и ноги Саговского над головой, и он топорщится, чтобы не ползти вперед, а пиджак его залез ему на голову, — и потом Саговский долго мучится у метеорологической будки, запутав ногу в канате, чтобы не слететь — — Одним из первых слег Кремнев, потом повалились все научные сотрудники, предпоследним свалился Лачинов, последним Саговский; первый штурман хворал, «травил море»; кают-компания опустела, хворал и стюард. Нельзя было ходить, а надо было ползать; нельзя было есть, потому что не хотелось и потому что ложка проносилась мимо рта, и потому что все тошнилось обратно (матросы требовали спирта); нельзя было умываться, потому что воды до лица не донесешь, не до мытья и — стоит только выйти на палубу, как сейчас же будешь мокр, в соленой воде, которая не моет, а саднит сбитые места. Нельзя было спать, потому что раза четыре за минуту приходилось в по-

стели становиться на голову и за постель надо было держаться обеими руками, чтобы не вылететь. И над всем этим — этот — в этих мертвых просторах визг, вон и скрип, которым визжало, ныло и стонало судно, — такой визг и скрип на жилых палубах в трюме, в котором пропадал человеческий голос — — Через каждые тридцать астрономических минут — — через каждые тридцать морских миль по пути к северу — приходил на жилую палубу из штурвальной вахтенный матрос, стучал в двери кают и орал, чтобы перекричать скрип и вой:

— На вахту! Кто в очереди? Через пятнадцать минут станция!— На вахту! — —

В половине восьмого утра, в двенадцать дня, в четыре дня, в восемь вечера на жилую палубу приползал и бил в гонг к чаю, обеду, кофе, ужину стюард, — но столы в кают-компании были похожи на беззубые челюсти стариков, где одиноко торчали штурмана, механик и Саговский, — гонг бессильно надрывался на жилой палубе. И через каждые четыре часа от полночи отбивала вахтенная смена склянки. И часы обедов, и часы вахт — были астрономически условны в этих неделях белесой мути.

Кинооператор, которого всего истошнило, который стал походить на смерть, просил, чтобы ему дали револьвер, чтоб он мог застрелиться. Доктор говорил о морфии. Зоолог — он замолчал на все дни; Лачинов, который был с ним в одной каюте, наблюдал, как он провел первые пять суток: он лежал на четвереньках на койке, подобрав под себя голову и ноги, держась руками за борта, — пять дней он не вставал с койки и не сказал ни слова; потом он уполз из каюты и два дня пролежал у трубы на спардеке, это были дни метели. — Лачинов зазвал его в каюту, он пришел, лег, — вскочил через четверть часа и больше уже не возвращался в каюту — до льдов, когда качка прошла, — он говорил, что он не может слышать скрипа жилого трюма, скрип ему напоминал о его «страстях»: тогда, пять первых суток на четвереньках, он ждал смерти, боялся смерти! — скрип трюма напоминал ему те мысли, которые он там передумал, — он не любил об этом говорить. — Лачинов видел со спардэка, как Саговский пошел к своей будке, — качнуло, окатило водой, — и че-

ловек стал на четвереньки и пополз, и лицо его исказилось страхом. —

«Свердруп» шел вперед, на румбе был норд — —

— — на жилую палубу пришел вахтенный матрос, дубасил в двери, кричал:

— На вахту! Кто в очереди?

Встали в половине первого ночи. Стальное небо, снег, ветер, все леденеет в руках. Гидрологи, трое, в том числе Лачинов, поползли на корму, кинули лот, триста метров. Потом стали батометрами брать температуру и самое воду с разных глубин: триста метров, двести, сто, пятьдесят, двадцать пять, десять, пять, ноль; температуру с поправками записывали в ведомости, воду разливали по бутылкам; химик в лаборатории определял состав воды, ее насыщенность кислородом, прозрачность. Батометр надо нацепить на трос, опустить в глубину, держать там пять минут, — и потом выкручивать вручную трос обратно: плечи и поясница ноют. Гидрологи кончили работу в половине четвертого, пошли по каютам обсыхать — загремела лебедка, бросили трал. Второй раз скомандовали на вахту в 11 дня, снега не было и был туман, — кончили в час дня, пошли по каютам обсыхать, В половине восьмого вечера опять пришел вахтенный матрос, задубасил, заорал:

— На вахту! Кто в очереди? —

и тогда к начальнику экспедиции пошла делегация, половина экипажа научных сотрудников не вышла на работу. Кремнев один сидел на спардеке около трубы, руки он спрятал рукав в рукав; губ у него не было, ибо они были землисто-серо-сини, как все лицо; он горбился, и его знобило, и он смотрел в море. К нему на спардек приползли научные сотрудники, впереди полз профессор Пчелин, не выходивший из каюты с самого Канина Носа; сзади ползли младшие сотрудники; люди были одеты пестро, еще не потеряли вида европейцев, еще не обрели самоедского вида; все были злы и измучены. Профессор Пчелин, без картуза, в меховой куртке и брюках навыпуск, поздоровался с Кремневым, сел рядом, поежился от холода и заговорил:

— Николай Иванович, меня уполномочили коллеги. Никаких работ в такой обстановке вести нельзя, мы все больны, это только трата времени, — мы предлагаем идти назад, — и замолчал, ежась.

Кремнев смотрел в море, медленно пожевал безгубыми своими губами, тихо сказал:

— Пустяки вы говорите. Тогда не надо было бы и огород городить, — понимаете, — городить огород? Все в порядке вещей — море как море.

— Тогда высадите нас на Новую Землю в Белужью губу, — сказал Пчелин. — Ведь мы все перемрем здесь.

— Конечно, в Белужью губу, — ну ее к черту, вашу экспедицию, товарищ Кремнев! — закричал, толкаясь вперед кинооператор.

Кремнев все смотрел в море, тихо сказал:

— Пустяки вы говорите. Идти вперед необходимо. Что же, вы будете целый год жить у самоедов?

— Станции мы делать не будем, не выйдем на вахту. Мы все больны! Смотрите, какая качка. Мы не можем!

Накатила волна, судно накренилось, покатились брызги, — кинооператор полетел с ног, пополз к борту, заорал в страхе:

— Ну вас всех к черту! — ведь он, сволочь, виляет, как сука... В Белужью губу!

— Ну, разве это сильная качка?— спросил Кремнев.

— Да это уже не качка, а шторм! Мы станции делать не будем, мы не можем!

— Тогда отдайте приказ, чтобы стали отштормовываться. Станцию сделать здесь необходимо, будем ждать, когда море ляжет. Меня самого море бьет не хуже вас. Выкиньте меня за борт, тогда делайте, что хотите — —

От этого разговора в экспедиционном журнале осталась только одна запись:

«Станция 18. φ 76°51', λ 41°0', ? mt, 5 ч. 0 м. 22—VIII

«Станция пропущена ввиду сильного шторма. Ветер — 6 баллов! Волнение — 9, судно клало на волну на 45°».

На румбе был норд.

В этот день выяснилось, что радио «Свердрупа» уже никуда не достигает, рассыпаясь, теряясь в той тысяче с лишком верст на юг к Полярному кругу, что осталась позади «Свердрупа». Ночью штормом сорвало антенны, утром их натягивали заново, матросы лазили по вантам, качаясь в воздухе над морем, — и, когда натяну-

ли, радист начал шарить радиоволнами в просторах: просторы молчали, безмолвствовали. Но в этот день было принято последнее радио с земли — из Москвы, с Ходынки. Оно гласило следующее: дошло так — —

> «22/VIII. Всем, всем, всем. Схема из Москвы № 51. Украине поступление единого сельскохозяйственного налога усиливается тчк первый срок взноса десятому сентября... (пропущено)... Киевщине обсуждается борьба тихоновской автокефальной церковью тчк борьбе церковники не останавливаются ни пред какими средствами зпт крадут друг друга церковную утварь совершают различные бесчинства тчк селе Ставиловке автокефалисты собрав всего села собак загнали их тихоновскую церковь зпт селе Медведном поймав тихоновского попа раздели его донага привязали дереву где он пробыл таком положении целый день тчк тихоновская автокефальная церковь опозорена не только глазах населения но среди священнослужителей у которых сохранились остатки честности тчк последнее время губернии отреклось сана 46 священников абзац — —»

Так простилась земля со «Свердрупом». — Лачинов в этот день свалился от моря. Он ходил в радиорубку, читал сводку — эту, пришедшую сюда, в тысячи верст, в просторы вод, в одиночество, когда «Свердруп» никуда уже не мог бросить о себе вести. — Из радиорубки он шел лабораторной рубкой, тут никого не было, тогда он услыхал, как в метеорологической лаборатории кто-то говорит вполголоса, утешая, — Лачинов подошел к двери и увидел: на корточках сидел Саговский, протягивая руки под стол, и говорил:

— Ну, перестань, ну, не мучься, милый, — ну, потерпи, — всем плохо.

— С кем это вы? — спросил Лачинов.

— А я — с кошечкой, с Маруськой, — ответил Саговский. — Ведь никто про кошечек не позаботится, а их море бьет хуже, чем человека. Я тут под столом картонку от шляпы приспособил, сажаю туда котишек по очереди, чтобы отдохнули немного в равновесии. Совсем измучились котишки! —

И Лачинов понял — самый дорогой, самый близкий ему человек — в этих тысячах верст — этот ма-

ленький, слабый человек, метеоролог Саговский: вот за этих котят — к этим котятам и Саговскому — сердце Лачинова сжалось братской нежностью и любовью. Лачинов подсел к Саговскому, сказал — не подумав — на ты:

— Ну-ка, покажи, покажи — —

и вдруг почувствовал, как замутило, закружилась голова, пошли перед глазами круги, все исчезло из глаз, — и тогда послышались в полусознании нежные, заботливые слова:

— Ну, вставай, вставай, голубчик, — пойдем к борту, пойдем, я отведу, смотри на горизонт, я подожду, — иди, милый! — и слабые, маленькие руки взяли за плечи. — Мне, думаешь, легко? — я креплюсь!.. —

У борта в лицо брызнули соленые брызги. — За бортом этой колбы, которая звалась «Свердруп», плескалась и ползала зеленая, в гребнях, жидкая муть, которая зовется водой, но которая кажется никак не жидкостью, а — почти чугуном, такой же непреоборимой, как твердость чугуна, — чугунная лирика страшных просторов и страшного одиночества, — тех, кои за эти дни путин ничего не дали увидеть, кроме чаек у кормы корабля, да черных поморников, да дельфинов, да двух китов, — да — раза два — обломков безвестных (погибших, поди, разбитых, — как? когда? где?) кораблей... — Впереди небо было уже ледяное, уже встречались отдельные льдины, в холоде падал редкий снег, была зима. — Склянка пробила полночь. — Лачинов, большой и здоровый человек, взглянул беспомощно, — беспомощно, бодрясь, улыбнулся.

— Пустяки, — вот глупости! —

Саговского матросы прозвали — от него же подхватив слова — Циррус Стратович Главпогода, — Циррус сказал заботливо:

— Ты не стесняйся, вставь два пальца в рот — и пойди ляжь полежать, глаза закрой и качайся... Вот придем на землю, я всем знакомым буду советовать гамак повесить, залечь туда на неделю и чтобы тебя качали, что есть мочи семь дней подряд, а ты там и пей, и ешь, и все от бога положенное совершай!.. А то какого черта... —

Лачинов улыбнулся, оперся о плечи Цирруса и медленно пошел к трапу на жилую палубу. — На жилой палубе пел арию Ленского кинооператор: он был

когда-то оперным актером и теперь, когда его не тошнило, пел арию или рассказывал анекдоты и о всяческой чепухе московского закулисно-актерского быта. Лачинов задержался у двери, опять замутило, — кинооператор лежал, задрав ноги, и орал благим матом, штурман с гитарой сидел на койке. — «А то вот артист Пикок», — начал рассказывать кинооператор. Лачинов также знал эти — пусть апельсиновые — корки московских кулис и подумал, что Москва, вон та, что была в тысячах верст отсюда, — только географическая точка, больше ничего. — Лачинов, борясь, шагнул вперед, вошел в каюту доктора, стал у притолоки, сказал:

— Сейчас отбили склянку, полночь, на палубе светло, как днем. — В Москве — благословенный августовский вечер. На Театральной площади нельзя сесть в трамвай, женщины в белом. У вас на Пречистенке в палисадах цветут астры, и за открытым окном рассмеялась девушка, ударив по клавишам. Полярная звезда где-то в стороне. Вы пришли домой... — Вы не знаете, какой сегодня день, вторник, воскресенье, пятница?— Впрочем, Полярной мы еще не видели, мы только по склянке узнаем о полночи. — В театре...

Доктор лежал на койке головою к стене, от самого Канина Носа он не раздевался и почти не вставал — лежал в кожаной куртке! в кожаных штанах и в сапогах до паха, — доктор, с лицом, как земля, и заросшим черной щетиной, медленно повернулся на койке и медленно сказал:

— Вы получите сапогом, если будете меня деморализовать! — доктор говорил, конечно, шутя, — конечно, серьезно.

— Театры еще... — начал Лачинов и замолчал, почувствовав, что подступило к горлу, закружилась голова, пошли под глазами круги и — все исчезло —

Лачинов бодрился все дни, ходил в кают-компанию, обедал, работал, в досуге забирался на капитанский мостик, где всегда велись нескончаемые разговоры о море, о портах и гибелях. На капитанском мостике, в рубке штурман Медведев рассказывал, как он тонул, гибнул в море, — он, юнгой, ходил на трехмачтовом промысловом паруснике, на его обязанностях лежало, когда поморы шли из Тромсе и пили шведский пунш, стоять на баке и орать, что есть мочи — «ай-ай-

ай! — вороти!» — чтобы не наткнуться в ночи на встречный пьяный парусник; и этот трехмачтовый парусник погиб; — Медведев помнил бурю и помнил, как капитан погнал его лезть на бизань и там — рвать, резать, кусать зубами, но — во что бы то ни стало — сбросить парус, и бизань-мачта обломилась; больше ничего не помнил Медведев и утверждал, что в море гибнуть не страшно, ибо его нашли на третий день на обломке мачты с окоченевшими руками; он ничего не помнил, как три дня его носило море; от погибшего судна не сыскалось ни одного осколка; — тогда были дни осеннего равноденствия, дни штормов, и еще принесло к берегу стол и сундук, и к столу была привязана женщина: с судна в море на шлюпке ушла команда; капитан не бросил своего судна; капитан привязал свою жену к столу, потому что она металась обезумевшей кошкой по судну; и капитан стал молиться Николе-угоднику, морскому защитнику; — больше женщина ничего не помнила: гибнуть в морях не страшно, — а от судна, с которого спаслись сундук, стол и женщина, не осталось ни человека, ни щепы... — — О Лачинове. — Тогда, там, в географической точке, которая зовется Москвой, только за три дня до отъезда, в Архангельске, он узнал об экспедиции, и в три дня собрался, чтобы ехать, — чтобы идти в Арктику, — чтобы сразу разрубить все те узлы, что путали его жизнь, очень сложную и очень мучительную, потому что и по суше ходят штормы и многие волны былинками гонят человека, и очень мучительно человеку терять свою волю. В этой географической точке, которая зовется Москва и которую легче всего представить — астрономически — пересечением широт и долгот (потому что здесь в море только так означались путины), остались дела, друзья, борения, ночи, рассветы, жена, усталость, тридцать пять лет жизни, картины, тщеславие, пыль в мастерской, — и все время — в страхе — представлялась пустыня сентябрьской российской ночи, волчьи российские просторы, дребезг вагонных сцеплений, поезд в ночи, купе международного вагона, где он один со своими мыслями, — и поезд шел в Москву, и там, впереди, во мраке, возникали зеленоватые огни Москвы; и все двоилось — один Лачинов стоял у окна в купе международного вагона

и мучился перед Москвою, — другой Лачинов с астрономических высот видел и эту пустыню ночи, и поезд в ночи, и Москву, и темное купе, и человека — себя же — в купе у окна; и тот, и этот — один и тот же — думал о том, что в Москве, на Остоженке, навстречу выйдет безмолвная и ждущая жена, а на столе у телефона лежит десяток ненужно-нужных телефонных номеров, и ни жена, ни телефоны — страшно не нужны. — Здесь, на «Свердрупе» можно было быть одному, самим собою, с самим собой, перерыть всего себя, все перевзвесить. Надо было слушать склянки и гонг к еде, надо было выходить на вахту, надо было делать работу и жить интересами людей, — такую, такими, о которых никогда в жизни не думалось, — в чемодане были письма Пушкина, Дон-Кихот и путешествие Гулливера, — это чужая жизнь, — но свои виски уже поседели, уже поредели, и кожа на лице, должно быть, деформировалась, привыкнув к бритве, — и от времени, от встреч, от людей, от привычки, что за тобою наблюдают, — такая привычно-красивая манера ходить, говорить, руку жать, улыбаться, — а где-то там, за десятком лет, перед славой сохранился такой простой, здоровый и радостный человек, богема-студент, сын уездного врача, выехавший когда-то из дома в Москву, в славу, да так и застрявший в дороге, потерявший дом. — Ветер в море все перешаривал, до матери, до детства, — и было страшно, что ветер ничего не оставлял. — Самое мучительное в шторме было то, что надо было все время напрягаться, напрягать мышцы, чтобы не упасть, не свалиться, надо было напрягать волю, чтобы помнить о качке, — в койке, засыпая, надо было лечь так, чтобы быть в койке, как в футляре, чтобы не ездить по койке, чтоб упираться ступнями и головой в подложенные по росту вещи, чтоб держаться руками за борта койки, — чтобы трижды в минуту вставать на голову. Нельзя было есть, потому что тошнило и стыдно было бегать к борту «травить море». Надо было упорною волей сутки разбить не на двадцать четыре, а на восемь часов, сделав из человеческих — трое здешних суток. И скоро стало понятно, что ноги поднимать трудно, трудно слышать, что говорит сосед, — что в голову вникает стеклянная, прозрачная, перебессонная запутанность и пустота, и кажется, что в лоб в жару и

мысли набегают, путаются, петляют — запуганными зайцами и океанской кашей волн, когда ветер вдруг с норда круто повернул на ост. И тогда с физической отчетливостью ясно (тогда понятны доктор и зоолог и кинооператор), мысли остры, как бритва: вот, койка, над головою выкрашенная белым, масляною краской, дубовая скрепа, — электрическая лампа, — пахнет чуть-чуть йодоформом или еще чем-то лекарственным (после дезинфекции перед уходом в море), — балка идет вверх, встает дыбом, балка стремится вниз, — рядом внизу какая-то скрепа рычит, именно рычит, перегородка визжит, — дверь мяукает, — забытая, отворенная дверь в ванную ритмически хлопает, — пиликает над головой что-то — дзи-дзи-дзи-дзи!.. надо, надо, надо скорее сбросить с койки ноги, и нет сил, надо, надо бежать наверх, кричать: — «спасайтесь, спасайтесь!» — но почему вода не бежит по коридору, не рушатся палубы, когда совершенно ясно, что судно — гибнет! — гибнет! — и почему никто не кричит? — ну, вот, ну, вот, еще момент, — вот, слышно, шелестит, булькает вода. — И тогда так же остро: — «что за глупости? Ерунда, — я еще долго буду жить! Глупо же, ведь нет же никакой опасности!» — И тогда мучительно, неясно:

— Москва — жена — дочь — выставки — картины... Нет, ничего не жалко, ничего, нет!.. Нет — нет, дочь, Аленушка, милая, лозиночка, ты прости, ты прости меня, — все простите меня за дочь: я по праву ее выстрадал!.. Жена — выставки — работа — слава: — нет... Ты прости меня, жена; не то, не то, не так! Славы — не надо, не то, я же в ряд со всеми ползаю на вахты, меня никто не заставляет, меня никто в жизни ни разу ничего не заставлял. Работа — да, я хочу оставить себя, свой труд, себя — таким, как я есть, как я вижу. Это же глупость, что море убьет, а ты, Аленушка, прости! Ты и работа — только!.. Ах, какая ерунда — Москва!.. Голова у меня болит. Ужели — вот эти тридцать пять — сорок лет жизни — и есть те сотни хомутов, которые ты надел на себя, которые на тебя надели, которые надо тащить, от которых никуда не уйдешь. —

У Лачинова была воля — видеть. Это он острее всех на «Свердрупе» отметил нелепицу радио — прощального из Москвы радио, и он взял себе запись его со сте-

ны в кают-компании. Это он безразлично наблюдал, как обалдевшим людям даже Белужья губа на Новой Земле казалась спасением. Это он двоился, чтоб — на себе же, не только на соседях — наблюдать каторжную муку качки. И это у него загорелось нежностью сердце, когда Циррус возился с кошками. — Но ноги подкашивались от утомления, и там — у кошек — первый раз затошнило, замучило, замутило, когда — хоть в воду, хоть к черту, хоть в петлю, — лишь бы не мучиться!.. — И тогда в заполночи — на койке — качалась, качалась переизученная скрепа над головой, в белой масляной краске, — хоть в воду, хоть к черту, лишь бы не вставать на голову, лишь бы не понимать, что в голове окончательно спутаны мозги, бред, ерунда, а желудок, кишечник, — желудок лезет в горло, в рот — —

— — и тогда все все-равно, безразлично, нету качки, — единственная реальность — море, — бред, ерунда — —

...Нет, с Петром I надо мириться. Лачинов стоит на верке Северо-Двинской крепости, той, что под Архангельском у взморья на Корабельном канале. От Петра осталась — вот хотя б эта крепость: разрушение Петра шло созиданием, он все время строил, а у нас, у меня, наоборот, созидание шло разрушением. За крепостью, совершенно сохранившейся, совершенно пустой, которую Петр строил против шведов, но которая не держала ни одной осады, текла пустынная река, были волны, и луна была величиной с петровский пятак — —

— —

На судне было тридцать восемь человеческих жизней, и одна из них была — женскою жизнью. Но химичка Елизавета Алексеевна не походила на женщину, — ее совсем не било море, она работала лучше любого матроса, она гордилась своей силой, она всем хотела помочь, — и, если сначала матросы не стеснялись при ней пускать большие и малые узлы, то скоро стали крыть ими ее — за ее здоровье и силу, за ее охоту помочь всем, — за ее желание всем нравиться: мужчинам было оскорбительно, что женщина сильнее их в мужских их качествах, что у нее так мало качеств женских; но когда матросы уж очень изобижали ее, она плакала при всех, громко и некрасиво, как, должно быть, плачут тюлени.

— —

30 августа «Свердруп» вошел во льды. Льды, ледяное небо были видны с утра, и к полночи кругом обстали ледяные поля и айсберги, страшное одиночество, тишина, где кричали лишь, изредка редкие нырки и люрики, полярные птицы, да мирно и глупо плавали стада тюленей, с любопытством поглядывавших на «Свердруп», медленно поворачивавших головы на человеческий свист. Качка осталась позади, все отсыпались, мылись, чистились, как к празднику, крепко спали. Утром уже кругом было ледяное небо и кругом были льды. «Свердруп» лез льдами. Капитан был на мостике, на румбе был норд, лицо капитана было ноябрьским, Кремнев сидел у трубы. Утром на жилой палубе был шепот: ночью залезли во льды, в ледяные поля так, что едва нашли лазейку оттуда, и у капитана с Кремневым был ночью разговор, где капитан заявил, что он не вправе рисковать жизнями людей, а льды, если затрут, могут унести «Свердруп» хоть к полюсу и, во всяком случае, в смерть;—— на румбе остались и север и льды. — Ночью была станция, от двух до пяти; легли спать осенью, в дожде, в мокроти, — проснулись зимой, в метели; — в полдень солнце резало глаза, мир был так солнечен и бел, что надо было надеть синие очки: в это солнце впервые после Канина Носа определились, — где, в какой астрономической точке «Свердруп», секстан — показал 78°33' сев. широты на 41°15' меридиане. Люди первый раз после Архангельска были за бортом: вылезали на льды, ходили с винтовками подкараууливать тюленей. Тюлени плавали стадами, и по ним без толку палили из ружей. Мир исполнен был тишиной и солнцем. — Ночь была белесой, прозрачной; переутомление, которое проходило, смешало какие-то аршины, люди бродили осенними мухами, натыкались друг на друга, говорили тихо, дружественно и на «ты». Кругом ползали айсберги необыкновенных, прекрасных форм, ледяные замки, ледяные корабли, ледяные лебеди. Отдых от качки принимался благословением и праздником. — «Свердруп» втирался к ближайшему айсбергу, чтобы взять пресной воды, — и опять люди ходили на лед; надо идти ледяным полем, идешь-идешь — полынья, — тогда надо подтолкнуть багром маленькую льдинку и переплыть на ней полынью, а если полынья маленькая, надо прыгать через нее

с разбегу, отталкиваясь багром. Кинооператор ходил на айсберг фотографировать, — лез по нему какие-нибудь пять саженей с час, залез — и он редко видел такую красоту, внутри айсберга пробило грот, там было маленькое зеленое озерко, и туда забивались волны, свободные, океанские, голубые... Под айсбергом и под людьми на нем были соленые воды океана, глубиною в версту. — И опять наступила пурга, повалил снег, пополз туман. — И новым утром на румбе был ост, а на жилой палубе говорили, что капитан снял с себя ответственность за жизни людей — и эту ответственность принял на себя начальник экспедиции профессор Кремнев: по законам плавания за Полярным кругом каждому полагается в сутки по полстакана спирта, — что за разговоры были между капитаном и начальником, доподлинно никто не знал, но утром капитан, не спавший все эти дни, сидел в кают-компании и молча пил спирт, и молча сидел перед ним Кремнев, и все матросы были пьяны. «Свердруп» крепко трещал во льдах. — Никто из экипажа научных сотрудников не знал, никто из непосвященных не знал, что эти дни во льдах были опаснейшими днями: два матроса нижней команды, два матроса верхней команды, боцман, плотник, механик, первый штурман, капитан и начальник — бессменно, бессонно, корабельными крысами, с электрическими лампочками на длинных проводах рылись за обшивками в трюме, ползали в воде меж балок, спускались под воду к килю, а донки захлебывались, храпели, откачивая бегущую в трюм воду, — чтобы заплатать, забить, заделать пробоину в корпусе, чтоб, ползая на животах, на четвереньках, лежа на спинах — спасать, спасти, спастись. Кремнев приказал молчать об этом — и приказ матросам подтвердил наганом. Кремнев и капитан имели крупный разговор; капитан сказал: — «Назад!» — Кремнев сказал: — «Вперед!» Разговор был в капитанской рубке, Кремнев жевал безгубыми губами, смотрел в сторону и тихо говорил: «Все это пустяки. Судно исправно. Мы пойдем на ост, выйдем изо льдов и пойдем на норд, по кромке льда. Льды не могут быть сплошные», — лицо Кремнева было буденно и обыкновенно, как носовой платок, — и капитану было очень трудно, чтоб не плюнуть в этот носовой платок. — —

— —

И эти ледяные сотни верст, ушедшие в океан убивать и умирать, остались позади. И опять были штормы. Приходили дни равноденствия, и невероятными красками горел север, то огненный, то лиловый, то золотой, — и тогда вода и волны горели невероятными, небывалыми красками, — но небо только на юге, только на юге было предательски-ночным. Секстан был не нужен, бессилен за тучами и туманами, и судно шло только лаком и компасом, — наугад, в туманах. — И был туманный день — такой туман, что с капитанского мостика не видны были мачты и бак, — клаузен всплывал уже дважды, — капитан скомандовал в лебедку пустить пар, боцман пошел, чтобы отдать якоря, — чтобы перестоять туман. И тогда вдруг колыхнулся и пополз туман! — и вдруг — так показалось, рядом, в полуверсте, можно было видеть простым глазом, — над туманом возникли очертания огромных, понурых гор, — туман пополз, и в четверть часа впереди открылись — земля, горы, снег, льды, глетчеры, — холодное, пустое, понурое, мертвое. Но опять на вершины гор пополз туман — не то туман, не то облака, — и повалил снег. До берега было миль семь. Снег перестал. «Свердруп» пошел вперед в эту страшную понурую серую щель между тучами и свинцовой зеленоватой водой. На баке вахтенный матрос мерил глубины лотом. Это была первая земля после Архангельска. Это была Земля Франца-Иосифа, — но что за остров этого архипелага, что за бухта, что за мыс, быть может, никем еще не обследованный, никем еще не виданный, такой, на котором не ступала еще человеческая нога, — об этом никто никогда на «Свердрупе» не узнал. — Здесь пришли три первых человеческих смерти, — зоолога, того, что боялся смерти, второго — штурмана и третьего — матроса; — здесь «Свердруп» был меньше суток. —

«Свердруп» бросил якоря в миле от берега. В бинокль было видно, что, если ад, да не православный, который, прости Господи, немного глуповат, а аскетически-строгий ад католиков сдан в заштат и не отапливается, то пол в аду должен был бы быть таким же, как камни здесь на берегу, такой же мучительный, потому что базальты стояли торчком, огромными сотами, на которых надо рвать ногти — и камни были такой же

окраски, как должны они были бы быть в аду, точно они только что перегорели и задымлены сажей, они стояли точно крепостные, по-старинному, стены. И в бинокль было видно, что было в Европе в начале Четвертичной эпохи, когда были только льды, туман, камни — и не было даже за облаками неба. Были видны облака на горах, горы черные — красновато-бурые, как железо, — зеленая вода, — и прямо к воде сползал глетчер. — Опять повалил снег и прошел. Со «Свердрупа» спустили шлюпку, — штурман, матрос и с ними зоолог отправились на берег, на разведку. Шлюпку приняли волны, закачали, понесли, — и скоро она стала маленькой точкой. И тогда опять поползли туманы, поползли справа, как шоры, медленно заволакивая все долинки, воду, вершины — этой желтой, студеной мутью, — и остров исчез, как возник, в тумане. Тогда «Свердруп» стал гудеть, первый раз после настоящей человеческой земли, чтобы указать оставшимся на берегу, где судно, — и минут на пять не угасало в горах и в тумане эхо. И тогда — через туман — повалил снег, и сразу налетел ветер, завыл, заметался, засвистел, — туман — не пополз, — побежал, заплясал, затыркался, — ветер дул с земли, снег повалил серыми хлопьями величиною в кулак, — и снег перестал, и туман исчез, — и остался только ветер, такой, что он срывал людей с палуб, что якорные цепи поползли по дну вместе с якорями, — что нельзя было смотреть, ибо слепились глаза, и ветер был виден, синеватый, мчащийся. «Свердруп» ревел, призывая людей с берега. И тогда увидели: от берега к «Свердрупу» шла шлюпка, ей надо было пройти наперерез ветру — ее поставили прямо против ветра, — и все трое на веслах гребли в нечеловеческих усилиях, изо всех сил. На «Свердрупе» знали: если не осилят, не переборют ветра, — если пронесет мимо «Свердрупа», — унесет в море, — гибель. И капитан заволновался первый раз за всю путину. Все были на палубе. Видели, как трое корчились на шлюпке, боролись с волнами и ветром, видели, как шлюпка влезала на волны, падала в волны, — разбивалась волна и каждый раз предательски захлестывала за борт зеленой мутью брызгов. Капитан кричал: — «Вельбот, на воду! Медведев с подвахтой — на воду! На тросе, на тросе, — готовь трос!» — и в машинное:— «средний вперед!» — и на

бак к лебедке: — «поднимай якоря!» — Ветер был виден, он был синь, он рвал воду и нес ее с собой по воздуху, и вода кипела. «Свердруп» пошел наперерез, навстречу шлюпке. — Со шлюпки доносились бессмысленные крики. И на шлюпке сделали непоправимую ошибку: зоолог бросил весла и стал картузом откачивать из шлюпки воду, — на «Спердрупе» видели, как подхватил ветер шлюпку, как понесли ее волны по ветру: штурман повернулся на шлюпке, хотел, должно быть, сказать, чтоб тот сел на весла, иль обессилел: шлюпка завертелась на волнах бессмысленно, бесцельно, потерявшая человеческую волю, — шлюпка была совсем недалеко от носа «Свердрупа», она стремительно неслась по ветру, — она прошла совсем под носом «Свердрупа», — и тогда стало ясно: люди погибли, их уносило море. И остальное произошло в несколько минут: «Свердруп» крейсировал, чтобы пойти вслед, — развернулся, — и шлюпка была уже далеко, превратилась в точку, и в бинокль было видно, что в шлюпке остался один человек, — и еще через минуту все исчезло. — И капитан же, тот, что волновался больше всех, скомандовал понуро и покойно — «полный!» — шлюпку унесло на ост, — капитан криком спросил: — «на румбе?» — «Есть на румбе!» — ответил вахтенный. — «Зюйд-вест!» — крикнул капитан. — «Есть зюйд-вест на румбе!» — «Так держать!» — И «Свердруп» пошел в море, чтобы не погибнуть у земли самому — —

Глава вторая

На Земле Франца-Иосифа не живет, не может жить человек, и там нет человека.

На островах Уиджа — на острове Николая Кремнева — не может жить человек, но там доживали осколки экспедиции Николая Кремнева.

На Шпицбергене — не может жить человек! но человечество послало туда людей — —

— — там, на Шпицбергене, художник Лачинов помнил ночь. Это были дни второго года экспедиции. В домике инженера Бергринга, — в дни после страшных месяцев одиночества во льдах, среди людей, в последнюю ночь перед уходом на корабле в Европу, он, единственный оставшийся от

похода по льдам со «Свердрупа» на Шпицберген, — ночью он, Лачинов, подошел к окну, смотрел, прощался, думал. Домик прилепился к горе ласточкиным гнездом; вверх уходили горы, горы были под ним, и там было море, и там на том берегу залива были горы, — там, в Арктике, свои законы перспективы, светила луна, и казалось, что горы за заливом — не горы, а кусок луны, сошедшей на землю: это ощущение, что кругом не земля, а луна, провожало Лачинова весь этот год. И над землей в небе стояли столбы из этого мира в бесконечность — столбы северного сияния, они были зелены, величественны и непонятны. В ту ночь Лачинов осознал грандиозность того, что он слышал, как рождаются айсберги: это гремит так же, как гремело, должно быть, когда рождался мир, и это очень торжественно, как льды отрываются от ледяных громад и идут в океан убивать и умирать. В тот день Лачинов пил виски и шведский пунш, и было им, четырем, очень одиноко в ночи, в этом маленьком домике, построенном из фанеры и толя, как строятся вагоны, с эмалированными каминчиками в каждой комнате, с радиоаппаратом в кабинете, с граммофоном в гостиной, — похожем на русский салон-вагон. — Там тогда в этом домике было четверо: двое из них тогда уезжали в Европу, — Лачинов в Архангельск, строить новую жизнь, — инженер Глан — в Испанию иль Италию; Бергринг оставался на шахтах; Могучий уходил на север Шпицбергена. — Человечество!.. — Человечество не может жить на Шпицбергене, но там в горах, есть минералогические залежи, там пласты каменного угля идут над поверхностью земли, там залежи свинца и меди, и железа и прочее: и капитализм бросает туда людей, чтобы копать железо и уголь. Там брызжут фонтанами среди льдов киты, ходят мирные стада тюленей, бродят по льдам белые медведи, бродят песцы, — и человечество бросает людей, чтобы бить их. — Там свои законы: и первый закон — страшной борьбы со стихиями, ибо стихии там к тому, чтоб убивать человека. И там человек человеку — должен быть братом, чтобы не погибнуть: но и там человек человеку бывает волком, — там на Шпицбергене нет никакой государственности, ни одного полисмена, ни одного судьи, — но у каждого там есть винтовка и там есть быт пустынь. — Вот о том,

что уехал в Испанию, об инженере Глане: тот, кто первый воткнет палку во льдах и горах, никому не принадлежащие, и напишет на дощечке на ней — «мое от такой-то широты и долготы — до таких-то», — тот и является собственником: это называется делать заявки на земли и руды; инженер Глан, норвежец, — он квадратен, невысок, брит, на ногах пудовые башмаки и краги, брюки галифе, под пиджаком и жилетом фуфайка и на вороте фуфайки галстук (!) — а на шее на ремешках «Цейсс» и «Кодак». Каждым июлем, — месяцем, когда может придти первое судно на Шпицберген, — инженер Глан приезжает на Шпицберген в свои владения, в Коаль-бай, где у него избушка и где стоит по зимам его парусно-моторный шейт, — он, Глан, — горный инженер, и на этом суденышке он бродит по всем берегам Шпицбергена, изучает, щупает камни, землю, под землей, — и делает заявки. Это весь его труд. Он спит в каюте на своем шейте, и на снегу в горах, и на льду — в полярном мешке, непромокаемом снаружи, меховом внутри, с карманами внутри для виски и сигарет, — и, просыпаясь утром, еще в мешке, он пьет первую рюмку виски, чтоб пить потом понемногу весь день; он спал в мешке не раздеваясь; на шейте кроме него были матрос, механик и капитан; все вместе они ели консервы, пили кофе и молчали; когда они были в походе и Глан не спал, он сидел на носу, сутками молчал и смотрел в горы и курил сигареты. — Инженер Глан продал голландцам угольную заявку — за пятьсот тысяч фунтов стерлингов, без малого за пять миллионов рублей. Зимами он в Ницце. Рабочие роют голландцам уголь. Глан приезжает только на два летних месяца, когда ходят корабли. Он большой миллионер, — и он, конечно, волк: он продал англичанам замечательные заявки на мрамор, англичане привезли рабочих, машины, радио, инженеров, лес (там ничего не растет, и каждое бревно, каждую тесину надо привозить), пищу (потому что там нечего есть, кроме тюленьего сала, которое несъедобно), — и англичане разорились, эта английская фирма, потому что мрамор там — за эти века постоянного холода — так перемерз, так деформировался от холода, что как только отогревался, — рассыпался сейчас же в порошок. — Глан почти не говорил, у него очень крепкие губы, — и синие жилки, от здоровья и от

виски, на носу и у висков... — — Полгода ночи, северных сияний, такой луны, при которой фотографируют, — таких метелей, которые бросаются камнями величиной в кулак. — Девять месяцев в году люди, оставшиеся там, отрезаны от мира, — между собой сообщаются там они радио и собаками, — и на лыжах, если расстояние не больше десятка миль. Там не нужно денег, потому что нечего купить, — там люди едят и пьют то, что скоплено, привезено с человеческой земли; там не дают алкоголя. Там нет женщин, — там ничто не родится, и люди приезжают туда, чтобы почти наверняка захворать цингой. — Там нет ни полиции, ни одного судьи; директор копей, инженер, в Европе нанимает рабочих, — они будут получать кусок и жилье, за это с них будет вычитаться из того сдельного, что они накопают в шахтах; если они хотят, их жалованье будет выдаваться в Европе тем, кому они укажут, — или они получат его весной. К весне почти все на шахтах перехворают цингой. — Домики построены — как русские железнодорожные теплушки, в этих теплушках люди переползают из одного года в другой, к смерти, к цинге. Директор копей подписывает с рабочими контракт, рабочий работает сдельно, и, если он захворал, если он сошел с ума, — с него только вычитают за лечение и за пищу, и за угол в теплушке... — Но жизнь есть жизнь, и вот, в ноябре, в декабре, январями, когда на Шпицбергене ночь, в эти дни-ночи там в Арктике — на Грин-гарбурге, в Адвен-бае, в Коаль-сити — в северном сиянии и ночи, круглые сутки, посменно роются в земле, в шахтах и штольнях рабочие; рвут каменноугольные пласты, толкают вагонетки, разбирают сор шахт и подземелий. Потом рабочие уходят в свои казармы, чтобы есть и спать. Изредка, в те часы, которые условно называются вечером, рабочие идут в свою столовую, там показывают кинофильм или рабочие играют пьеску, где женщин исполняют тоже рабочие. Тогда приходит радио, и только оно одно рассказывает о том, что делается в мире. Над землей ночь. Люди едят консервы. — В Адвен-бае по воздуху во мраке и холоде мчат с высочайшей горы от шахт к берегу вагончики воздушной электрической железной дороги с углем; иногда в этих вагончиках видны головы рабочих, склоненные, чтобы не убил на скрепах ток; — а над Грин-гарбургом — в

гору ползут вагончики, — тоже электрической, но подъемной железной дороги, — и уходят в земное брюхо. И над Грин-гарбургом и над Коаль-сити горит, горит мертвый свет электричества, — и горит, горит над ними обоими в небесах северное сияние. Часы показывают день. Там, в шахтах, в верстах под землей, гудит динамит, в динамитной гари роются рабочие, все, как один, в синих комбинишах, застегнутых у шеи, и в кожаных шлемах, чтобы не убил камень, оторвавшийся наверху. В час прогудит гудок, или в двенадцать, и рабочие потекут во мраке есть консервы, отдохнуть на час. И когда они возвращаются в шахты, быть может, иной из них взглянет на горы и глетчеры, и льды вокруг — на все то, что не похоже на землю, но похоже на луну. Быть может, рабочий подумает — о земле, об естественной человеческой жизни, о прекраснейшем в жизни — о любви и о женщине, — и он бросит думать, должен бросить думать, — ибо ему некуда уйти, он ничего не может сделать и достигнуть, — ибо природа, ибо расстояния, не покоренные, не покорные стихии, что лежат вокруг, — существуют к тому, чтобы не давать жить, чтобы убивать человека. И лучше не думать, ибо никуда не уйдешь, ибо кругом смерть и холод, — и нельзя думать о женщине, ибо женщина есть рождение, ибо можно думать — только о смерти. Надо рыть каменный уголь, надо как можно больше работать, чтобы больше вырыть, чтобы проклясть навсегда эту землю... Надо быть бодрым, ибо — только чучь-чуть затосковать, заскулить — неминуемо придет цинга, эта болезнь слабых духом, которую врачи лечат не лекарствами, — а бодростью, заставляя больных бегать, чистить снег, таскать камни, быть веселым, ибо иначе загниют ноги и челюсти, выпадут волосы, придет смерть в страшном тосковании — — В Коаль-сити только один инженер. В Адвен-бае, в Грин-гарбурге вечерами собираются инженеры, пять-шесть человек, — их клубы, как салон-вагоны, но там есть и читальня, где стены в книгах, и биллиардная, в третьей комнате диваны и рояль, — но на рояле никто не умеет играть, и вечерами надрывается граммофон, — вот теми вечерами, которые указаны не закатом солнца, а — условно — часами на стене и в карманах. Инженеры вечером приходят к ужину в крахмалах, все книги прочитаны, каждый жест партне-

ра на биллиарде изучен навсегда; можно говорить о чем угодно, но избави Бог вспомнить слово и понятие — женщина: у повешенных не говорят о веревке, — и тогда надо очень большую волю, — чтобы не крикнуть лакею: — «гоп, бутылку виски!» — чтоб не выпить десяток бутылок виски, расстроив условное часосчисление, чтоб не пить горько и злобно... — Это идет час, когда рабочие смены уже сменились, — уже отшумела столовая и в бараках и на нарах в три яруса спят рабочие — перед новым днем (или ночью?) шахт — — ...В те дни, когда Лачинов был на шахте у инженера Бергринга, с каждым пароходом с земли, из Европы, Бергрингу привозили тюки с книгами, — и у него в чуланчике стояли ящики с виски, и ромом, и коньяком. Коаль-компания только что возникала, — там людей было меньше, чем экипажа на хорошем морском судне: Бергринг капитанствовал. Его домик был, как ласточкино гнездо, он повис на обрыве, и к домику вела каменная тропинка. В кабинете у него был радиоаппарат, чтоб он мог говорить с миром, в гостиной — граммофон, — и всюду были навалены книги: но книги были только по математике и по хозяйственным вопросам, и по горному делу, только. Он, Бергринг, с утра одевался в брезентовые пиджак и брюки, и краги его были каменны. Лачинов поселился у него в комнате вместе с Гланом, это были странные дни, в постель им приносили кофе, и мальчик растапливал камин. Потом они опять засыпали. В полдни к ним приходил Бергринг, в ночной рубашке, с бутылкой виски и с сифоном содовой, и они в постели, прежде чем умыться, пили первый стакан виски. В два они обедали. Бергринг, когда не уходил к рабочим и не говорил с гостями, он сидел с книгой и со стаканом виски. В пять было кофе, и после кофе на столе появлялась бутылка коньяка, она сменялась новой и новой бутылками — — И была ночь, их было четверо в гостиной Бергринга: Бергринг, Глан, Могучий и Лачинов. Могучий был русским помором, он сохранил отечественный язык, — но давно уже, еще его деды, звероловы, китобои, моряки, перешли жить в Норвегию, и думал Могучий уже по-норвежски — —

Была ночь, когда люди прощались, — братья, — братья, потому что они вчера встретились по при-

знаку человека, и завтра расстанутся, чтобы никогда не увидеть больше друг друга, — потому что на севере человек человеку — брат — —

— — и тогда можно было понять, что будет через месяц с Бергрингом — —

...Ночь, арктическая, многомесячная ночь. Домик в горе, в снегах, в холоде, стены промерзли,— из замерзших окон идет мертвый свет; — и то, что видно из окон, — никак не земля, а кусок луны в синих ночных снегах. Стены промерзли, и мальчик круглые сутки топит камин. — Часы показывают семь утра, мальчик принес кофе, вспыхнуло электричество в спальне, — рабочие ушли в шахту, — за стенами или метель, или туман, или луна, и всегда холод и мрак. Инженер Бергринг встал, сменил ночную рубашку на свой брезентовый костюм. В кабинете радио вспыхнуло катодной лампой, — оттуда, с материка, из тысяч верст, из Европы: пришли вести о всем том, что творится в мире... — Но мир инженера Бергринга ограничен — вот этим скатом горы: можно выйти из домика, спуститься с горы к баракам, пройти в шахты, — и все: ибо ближайшие люди в двух днях езды на собаках, ближайшая шахта. Обед, как всегда, в два, как всегда, в столовой внизу, и толстый кок подает горячие тарелки. А потом — диванчик у столика, в гостиной, против камина, и бутылка виски на столе, и книга в руках, и — там за окном ночь и луны пространства. Лицо у инженера Бергринга — как на старинных шведских портретах. — Иногда приходит десятский и говорит о том, что или того-то убило обвалом, или тот-то захворал цингой, или тот-то сошел с ума, — тогда надо отдавать короткие распоряжения, обыденные, как день. Иногда по льдам с соседних шахт, на собаках приезжают гости, очень редко, — тогда надо доставать шведский пунш и говорить — вот, о сегодняшних своих буднях, о рабочих, о выработках, о шахтах, о запасах провианта, — тогда надо пить пунш, и граммофон рвет свою глотку. — Но чаще другом остается книга, мысль уходит в книгу, и пространства мира, куда заносят эти книги, особенно подчеркнутые этим, что никуда, никуда не уйдешь, ибо — вот на сотни миль кругом — горы во льдах и неподвижные льды, — там новые сотни миль ползущих, ломающихся льдов, корка морей в туманах и холодах, и

ночи, — а там тысячи миль морских пространств... — и только там настоящая, естественная человеческая жизнь, — и книги, все, что собраны Бергрингом, — книги о звездах, о законах химии и математики, о горном деле — молчат об этой естественной жизни: мысль Бергринга волит познать законы мира, где человек — случайность и никак не цель — —

— — тогда зналось, как угольщик — последний угольщик со Шпицбергена — понесет через океан уголь, инженера Глана и его, Лачинова, — дешевый уголь — не особенно высокого качества, он идет на отопление второсортных пароходов, но он сойдет и на небольшой фабричке, он прогорит в камине торжественно английского джентльмена, на нем выплавят дешевую брошечку — массового производства — для фрекен из Швеции, — но он же даст и деньги, деньги, деньги — английской, голландской, норвежской — угольным шпицбергенским компаниям: это то, что гонит людей даже туда, где не может жить человек. — Но инженер Глан поедет в Испанию, будет греться на солнце, смотреть бои быков, и всюду с ним будет виски, и около него будут женщины. — А художник Лачинов — он, — чудеснейшее в мире, невероятнейшее — она: тогда! там в море, год назад, в бреду —

— — Лачинов стоит на верке Северо-Двинской крепости — —

на всю жизнь — она, одна, любимая, незнаемая, — —

...Там за окном из этого мира в бесконечность уходили столбы северного сияния. Завтра уйдет пароход на юг, — завтра уйдет Могучий на север. Виски пили с утра. Лачинов стоял у окна в домике как ласточкино гнездо, смотрел на горы за заливом, — и хрипел граммофон. И тогда заговорил Могучий — женщина! — каждый звук этого слова скоро наполнился густою кровью, тою, что билась в висках и сердце у этих четверых, — и не могло быть лучшей музыки, чем слово — женщина — —

— Женщина! Все экспедиции, где есть женщина, — гибнут, — говорил Могучий, — гибнут потому, что здесь, где все обнажено, когда каждый час надо ждать смерти, — никто не смеет стоять мне на дороге, и мужчины убивают друг друга за женщину, — мужчины дерутся за женщину, как звери, и они правы. Я оправдываю тех,

кто убивает за женщину. — Четыре месяца я проживу один, в избушке, где второму негде лечь, — четыре месяца я не увижу никакого человека, — и я все силы соберу, я сожму всю свою волю в кулак, чтобы не думать о женщине, — но она вырастет в моих мыслях и гораздо большее, чем мир!.. — Могучий замолчал, заговорил негромко: — Ну, говорите, вот она вошла, вот прошуршали ее юбки, вот она улыбнулась, вот она села, и башмак у нее такой, ах, у нее упала прядь волос, и шея у нее открыта, — ну, говорите, ну, говорите о пустяках, о том, что я про себя должен сказать — «я вошел», а она сказала бы — «я вошла». Она положила ногу на ногу, она улыбнулась — что может быть прекрасней?! — Экспедиции гибнут, да! — Мой друг, промышленник, на берегу провел ночь с женщиной, наутро он ушел сюда, — и он нашел у себя в кармане женскую подвязку: он не кинул ее в море, и он погиб, — он погиб от цинги, целуя подвязку... Женщина! — ведь он же знал, как завязывается каждая тесемка и как расстегивается каждая кнопка, — и вот: — где-то во льдах, их десятеро и одиннадцатая она, и двенадцатый тот, кому она принадлежит, — за льдиной сидит человек с винтовкой, один из десятерых, и навстречу к ней идет двенадцатый, и пуля шлепнула его по лбу... — Ну, говорите, ну, говорите же, как она одета, как расстегиваются ее тесемки... —

— Да-да, да-да, — заговорил в бреду Лачинов. — Знаете, Архангельск, — мне стыдно слушать, что вы говорите, — я никогда ее не видел, я много знал женщин, я много знал, я многое видел, — я год шел льдами: я все брошу для нее. Неправда, что нельзя думать о ней: я шел во льдах и не умер только ради нее. Я еду прямо в Архангельск, в Северо-Двинскую крепость, — это единственное в жизни — —

Лачинова перебил Могучий: — «Ну, говорите, ну, говорите, как она улыбнулась? — глядите, глядите, какая у нее рука!..» — —

И тогда крикнул Бергринг: — «Молчать, пойдите на воздух, выпейте нашатырю, вы пьяны! не смейте говорить, — вы завтра идете на север!» — Глан стал у дверей, руки его были скрещены. Могучий грозно поднялся над столом. — Опять кричал Бергринг: — «Молчите, вы пьяны, идемте к морю на воздух, — иначе никто из нас никуда не уйдет завтра!»

— — тогда, там у окна, Лачинов понял, навсегда понял грандиозность того, как рождаются айсберги: это гремит так же громко, как когда рождаются миры — —

— — ...Наутро Лачинов и Глан ушли в море, на юг. Наутро Могучий ушел на север, на зимовку — —

На Шпицбергене, в заливах, на горах, — на сотни верст друг от друга разбросаны избушки из толя и теса; они необитаемы, они поставлены случайной экспедицией — для человека, который случайно будет здесь гибнуть; иные из них построены звероловами, зимовавшими здесь. Все они одинаковы, — Лачинов на пути своем с острова Кремнева встретил три такие избушки, и они спасли его жизнь. Двери у избушек были приперты камнем, они были отперты для человека, в них никто не жил, — но в одной из них на столе, точно люди только что ушли, лежало в тарелке масло, — а в каждом углу стояли винтовки и цинковый ящик с патронами для нее, а в ящиках и бочонках хранилась пища, на полках были трубка и трубочный табак. Посреди избы помещался чугунный камелек, около него стол, около стола по бокам две койки, — больше там ничего не могло поместиться; у камелька лежал каменный уголь. Снаружи домик был обложен камнем, чтобы не снес ветер. Около домиков лежали звероловные принадлежности, были маленькие амбарчики с каменным углем и бидонами керосина. Домики были открыты, в домиках — были винтовка, порох, пища и уголь, — чтоб человеку бороться за жизнь и не умереть: так делают люди в Арктике. Последний домик, где Лачинов, уже в одиночестве, потеряв своих товарищей, прокоротал самые страшные месяцы, стоял около обрыва к морю, у пресноводного ручья, между двух скал, — и это был единственный дом на сотню миль, а кругом ползли туманы и льды. — Быт и честь севера указывают: если ты пришел в дом, он открыт для тебя и все в доме — твое; но, если у тебя есть свой порох и хлеб, ты должен оставить свое лишнее, свой хлеб и порох, — для того неизвестного, кто придет гибнуть после тебя. — Наутро Могучий с товарищами на парусно-моторном шейте ушел на север Шпицбергена, на 80°. Их было пятеро здоровых мужчин; они повезли с собой все, что нужно, чтобы прожить шестерым, мясо, хлеб, порох, звероловные снасти и тепло, — не домики, а

конуры, каждая такой величины, чтобы прожить в ней одному человеку и шестерым собакам: все это они припасли от Европы. На 80° они вморозили в лед свой шейт и разошлись в разные стороны на десятки миль друг от друга, чтобы зарыться в одиночество, в ночь, в снег. Они расползлись на своих собаках, на собаках и на плечах растаскивая домики, — в октябре, — чтобы встретиться первый раз февралем, когда на горизонте появятся красные отсветы солнца: эти месяцы каждый из них должен был жить — один на один с собою и стихиями многомесячной ночи и извечного холода. Там некому судить человека, кроме него самого, там он один, — и там у всех один враг: природа стихии, проклятье, — там ничто никому не принадлежит, — ни пространства, ни стихии, ни даже человеческая жизнь, — и там крепко научен человек знать, что человек человеку — брат. Там человеку нужны только винтовка и пища, — там не может быть чужого человека, ибо человек человека встречает, как брата, по признаку человек, — как волк встречает волка по родному признаку волк. Там нельзя запирать домов, и там — в страшной, в братской борьбе со стихиями — всякий имеет право на жизнь — уже потому, что он смел придти туда, смеет жить — —

— — Ночь, арктическая, многомесячная ночь. Быть может, горит над землей северное сияние, быть может, метет метель, быть может, светит луна, такая, что все, все земли и горы начинают казаться луной. И там — в ледяных, снежных просторах и скалах — идет Могучий: с винтовкой на руке, от капкана до капкана, смотрит ловушки, — не попался ли песец? — следит медвежьи следы, — делает то, что делает каждый день; потом он приходит к себе в избушку, растапливает камелек, кормит собак, греется у камелька, пьет кофе, ест консервы или свежую медвежину, курит трубку; — еще подкидывает в камелек каменного угля, подливает тюленьего жира и — лезет в свой мешок спать, в мешок с головой, потому что к часу, когда он проснется, все в домике закостенеет от семидесятиградусного мороза. — У этого человека, у Могучего, есть своя биография, как у каждого, — и она несущественна; за ним числится, как он в дни, когда в Архангельске были Мюллер и англичане, когда они

уходили оттуда, он, помор Могучий, взял советское судно, ушел на нем из-под стражи, перестрелял советских матросов, судно продал в Норвегии, на второй его родине: это существенно; Европа не уделила ему места на своем материке, право на жизнь погнало его в смерть: нельзя не гордиться человеком, который борьбой со смертью борется за право жить — — Он лежит в своем мешке; о чем он думает? — какою астрономически-отвлеченной точкой ему кажется — Христиания, Тромпсе, Архангельск, Москва? — —

. . . .
. . . .

— — и такою же арктической ночью, на восток от Шпицбергена и на градусе Могучего, на острове, названном островом Кремнева, почти в такой же избушке — над бумагой, картами и таблицами — сидел другой человек, Николай Кремнев, — на столе горел в плошке тюлений жир, и против Кремнева писал и выводил математические формулы второй профессор — физик Василий Шеметов —

— — Эта земля была последней землей, куда пришел «Свердруп», — культурное человечество не знало об этой земле, она не была открыта, — она была осколком островов Уиджа. — Она, невидная простым глазом, возникла в бинокле. Солнце во мгле чуть желтело, вода вблизи была стальной — и синей, как индиго, вдали; льды, ледяные поля были белы, в снегу, айсберги сини, как эмаль... — Там, вдали, в бинокль восставал из ледяных гор огромный каменный квадрат, одна сплошная скала, обрывающаяся в море и льды, вся в снегу, и снег под солнцем и в бинокле был желт, как воск, блистал глетчер, черными громадами свисали скалы, — все одной громадной глыбой, наполовину освещенной солнцем, другою половиной, серой, уходившей за горизонт и во мглу. Кругом судна были горы айсбергов. Земля безмолвствовала и величествовала, как никогда в жизни каждого: земля, эти мертвые скалы и льды, где никто, кроме белых медведей и птиц, не жил, не живет и не может жить, — величественна, промерзшая навсегда, навсегда мертвая, такая, которая вне человечества и его хозяйничаний. — В каждом человеке все же крепко сидит дикарь: эти земли, эта пустыня, эта мертвь — прекрасны, здесь никто не бывал, — так прекрасно и

страшно видеть, изведать и знать первый раз! — Застревали во льду, все были на палубе, капитан на мостике, штурманы по местам, на юте, на баке, у руля. Прошли уже часы, и земля впереди видна простым глазом, до нее каких-нибудь тридцать миль, — веяло холодом, морозами, величием и тишиной. Лед, ледяные поля обстали вокруг сплошною стеной. Тюлени смотрят из воды удивленно, целые стада. Земля видна ясно, и непонятно, как забраться на нее: она вся в снегу и льдах, и льды отвесами падают в воду... — Земля!.. К земле «Свердруп» пришел в 0 час. 10 мин. Всю ночь на севере стояла красная как кровь, никогда не виданная заря, от которой мир был красен. Вода была красной, лиловой, черной, зеленой: потом, за день и за ночь, вода была и как бутылочное стекло, и как первая листва, и как павшая листва, и лиловая всех оттенков, и коричневая, и синяя. А небо было — и красным, и бурым, как раскаленная медь, и сизым, как вороненая сталь, и белым, как снег, и розовым, как розы — и в полночь ночное небо — темное — на юге. Понурая земля лежала рядом, горы, глетчеры и снег, — и в извечной тишине кричали на скалах, на птичьем базаре — птицы, словно плачет, стонет, воет, рвет горечью и болью — нечеловеческими! — земля свое нутро, точно воет подземелье, нехорошо!.. — «Свердруп» отдал якорь в полночь. Лачинов, кинооператор, врач, метеоролог и два матроса — они сейчас же пошли на шлюпке к берегу, чтобы впервые вступить на ту землю, на которую не ступала еще нога человека. Они были вооружены винтовками, в полярных костюмах, — прибой долго не давал возможности пришвартоваться, — и сейчас же на берегу, на снегу они увидели следы медведя. Они пошли группой, молча. Было очень тихо, мертво горели север и небо. Они слезли на косе, на отмели, вдалеке от гор, и перед ними восстали колонны базальтов, которые с борта казались величиной в табурет, но оказались в хороший двухэтажный дом; они стояли, словно крепостные, по-старинному, стены, точно окаменевшие гиганты-соты, нет, не бурые, а как заржавленное железо. Влезли на них, и под ногами началось адово дно: камни, черного цвета и цвета перегоревших железных шкварков (что валяются у доменных печей), лежали так и такие, что по ним надо ходить в железе и лучше ползать на четверень-

ках; в иных местах эти камни размещались в порядок, словно земля родит каменные яйца, по-прежнему черные, величиной в человеческую голову. В лощинах были озерки с пресной водой, во льду: отряд ломал прикладами лед, чтобы пить — — И отряд нашел избушку. Они нашли избушку на косе, на юру, вдали от гор, где был только один смысл устроиться жить: это — чтобы быть елико возможно больше видным с моря, воды пресной там поблизости не было. Давно известно, что все северные моря изображены русскими поморами и что Шпицберген был известен на Мурмане под именем Грумант — за четыреста лет до того, как открыл Баренц, и что на многих островах разбросаны безвестные поморские часовни, — но эта избушка была не русской, — там жил, должно быть, норвежец, — судя по этикетке на табачной коробке и по аптечной надписи на пузырьке (и эта коробка от сигар указывала, что здесь жил не зверолов-норвежец, а кто-то иной, ибо он курил сигары, а не трубку). Избушка была развалена, она стояла на камнях, она построена была из тонкого теса, как строят рубки на кораблях, снаружи она была обложена камнем. Крыши на ней уже не было, не было одной стены. Все было развалено и разбито — чем? как? — Валялись кое-какие домашние вещи, штаны, стояла печурка из чугуна, около нее кресло из плит базальта; были нары из дерева, в стену воткнуты были вилка и столовый нож, осталась на столе солоница, с порыжевшей лужей соли. Ни запасов, ни пороха не было. И все было разбито совершенно бессмысленно, — кто-то ломал в припадке сумасшествия, или это ломал не человек, — а если человек, то он был вчера здоров и жил буднями, а утром сошел с ума и стал громить самого себя, — самого себя, дом, забыв в стене нож и солоницу на столе... Вокруг избушки были разбросаны бочонки, обручи, утварь, кастрюли, консервные банки, два весла, топор, — и было вокруг много костей разных животных, медведей, моржей, тюленей, белух: и одна кость была костью человеческой ноги, так определил врач. Кости лежали около ящиков, стоявших в тщательном порядке. Ни одной приметы о сроках и времени не было, когда здесь жили: три, тринадцать, двадцать лет назад?.. Кости!.. — Потом отряд в мусоре нашел самодельное

ружье: оно было сделано, вырублено топором из бревна, и ствол был — из газонапорной трубы. Этого острова не знало культурное человечество, — отряд обыскал все и не нашел ни одной пометы, какие обыкновенно оставляют все приходящие в эти страны. Кругом камни и льды, и море, — полгода ночи и полгода дня, десять месяцев зимы и два месяца русского октября. Отсюда никуда не крикнешь, и — кто был здесь? кто разгромил избушку — медведи, буря, человек? — как? — здесь погиб человек, о котором никто ничего не знает, погиб, не успев ничего оставить о себе, чтобы его и о нем узнали, — человек, спасшийся от аварии и построивший себе избушку из остатков судна и добывавший себе мясо, чтобы не умереть, самодельным, сделанным с помощью топора самострелом с дулом из газонапорной трубы. — Кругом избушки — кости и смерть, обломки бочек, остатки костей, — нехорошо, непонятно. Оттуда, от избушки слышно, как плачет скала птичьего базара, точно воет подземелье и сама земля рвет себя, — нехорошо. Горы стоят серые, скалы нависли хмуро, грузно, гранит и базальт, мертвью наползает глетчер. — У цинготных, за несколько дней до смерти, появляется стремление — бежать, их находили умершими на порогах, — на Кап-Флоре медведи разгромили избушку, оставленную Джексоном, — должно быть, из любопытства: никто ничего не знает о том человеке, что погиб в этой избушке, никогда не узнает, — как погиб он? как возник он здесь? — —

— — у берегов этого острова, который был назван островом Кремнева, погиб «Свердруп» — — «Свердруп» набирал здесь пресную воду, в вельботах возили ее с берега, все ходили на вахту по наливке воды, спускали воду из озерка шлангой, носили ведрами, — спешили, чтобы уйти отсюда на юг, в Европу., — не спали и отсыпались по тринадцати часов подряд, — убили моржа и двух медведей, — тюленей не считали, — за обедом пили спирт и на жилой палубе устраивали странные концерты: один умел петь петухом, другой мычал бараном, третий хрюкал по-свинячьи, лаяли собаки, мычали коровы, — всем было весело; воды набрать осталось только для котлов. — Геолог пропадал в горах в поисках минералов, — ботаник собирал лишайники и мхи, в его лаборатории на стенах и столах ткались прекрасных красок ковры, красивей, чем из Туркестана. —

И радист впервые изловил неведомое радио. — Радио достигало слабо, ничего нельзя было понять, неизвестно было, кто посылал радио — земля или пароход, — уже недели «Свердруп» был отрезан от мира, и часами плакали антенны «Свердрупа»; новые приходили радио, разорванные, на норвежском языке, непонятные, — и тогда пришло радио, четкое, по-немецки. В радио говорилось:

> «Все время вызывает неизвестное русское судно, идущее, по-видимому, от полюса — место стоянки судна неизвестно — содержание телеграмм установить не удалось», — говорила радиостанция Шпицберген — —

Все эти дни были пасмурны и тихи, море чуть-чуть зыбило, льды, ледники и снег были серы, как сумерки. Круглые сутки возили воду, — люди надрывались с водой и спали все часы отдыха, только. Была полночь, — и тогда с моря загудел ветер, завыл в такелаже, заметал волны, повалил снегом; полночь была стальная, горел красным север, ночное — черное — небо было на юге. На берегу кричала вахта, махая веслами, ведрами, шапками, — на судне скрипели якорные цепи. Капитан вышел первым на палубу, он дал авральный сигнал, команда бросилась на места, все на палубу: «Свердруп» полз на берег — на «Свердруп» наползали льды, горы, ветер ревел, рвал людей. Капитан давал сигналы в машинное — «полный! полный! полный!» — сматывали цепи якорей, бросали тралы, бросили на тросе лебедку, — чтобы зацепиться за дно, чтобы не ползти на берег. — Ветер выл, ломился, неистовствовал. — Горы ползли на «Свердруп». — И тогда треснула и поднялась корма, — судно остановилось, — судно стало на кошку, и из машинного сейчас же дали сигнал — авария — машины буксуют — винт и руль сбиты, — а еще через минуту судно повернулось по ветру и уже без руля, без винта, с оборванными якорями легко поползло на берег. Можно было уже не считать, как оно тыкалось с кошки на кошку, трещало и ломалось. — Потом оно стало, легло у берега, так близко, что с оставшимися на берегу можно было разговаривать простым голосом. И тогда только люди заметили, что у иных сорвана кожа рук, что все мокры, что шквал уже прошел, что на часах уже далеко за полдни. Капитан бросил шапку (она покатилась по палубе, ставшей боком, скатилась в

воду), прислонился к вельботу и заплакал. Откуда-то появился — дошел до сознания всех — профессор Кремнев, он был в одних подштанниках, босой, скула его была разбита до крови, — он спросил у Лачинова папиросу, закурил и медленно сказал, как ни в чем не бывало, глядя в сторону:

— Да, знаете ли... Пустяки, — будем здесь ночевать год. Да, знаете ли!.. — и обратился к капитану: — Павел Лукич, команду я беру на себя, да. Все пустяки! Вы посмотрите на часы, мы все-таки боролись четырнадцать часов — —

И через час, — это был уже отлив, и «Свердруп» лежал почти на берегу, — были положены уже сходни, и люди тащили с судна на берег все, что можно было стащить — мешки, тюки, доски. Кремнев тщательно, осторожно, как у себя в университетском кабинете, переносил баночки, колбы, инструментарии и материалы лабораторий. Работали все весело, очень поспешно, недоумело, чересчур бодро. Матросы топорами расшивали рубки, механик и радист прилаживались, чтобы снести на берег динамо-машину и радиоаппарат, и у них ничего не выходило. «Свердруп» лежал бессильною рыбой, брюхом наружу, — мачты свисли ненужно. На берегу уже растягивали временные палатки из парусов, и повар на костре готовил ужин. — А к ночи после ужина, в палатках, а кое-кто еще на «Свердрупе» в незалитых каютах, — заснули все: первый раз после Архангельска заснули на земле, без вахты, непробудным, земным сном. И только один Кремнев, должно быть, не спал, потому что с утра он разбудил часть людей, послав их на вахту, определив две вахты на день, — а когда те пошли тащить остатки судна на берег, он лег и заснул около своих баночек. — Через неделю от «Свердрупа» на воде остался один лишь костяк, а на берегу против него — неподалеку от безвестных развалин избушки — были построены две русских избы и амбар. Эту неделю люди молчали и только работали. — Кругом были море и горы, — горы стали серые, скалы нависли хмуро, грузно, гранит и базальт, мертвью полз глетчер, — и плакала, плакала, стонала скала птичьего базара. — Еще через неделю все было ясно и изучено — и горы, и море, и моржовые лежки — и то, что радио поставить возможности нет, что мир отрезан, пре-

дупредить никого нельзя, — и то, что всем, если все останутся живы, придется умереть от голода, к весне, ибо запасов не хватит. — Дни равноденствия быстро сворачивали солнце, ночами прямо над головой горела Полярная и шелестели голубые шоры полярного сияния, — к остаткам «Свердрупа» можно было уже ходить по льду, льды в бухте остановились, смерзались, море от «Свердрупа» сокрыла большая ледяная гора: ночью льды и земля казались осколком луны, ночами у изб наметало снег и видны были песцовые следы, а на льду от «Свердрупа» были видны следы крыс, перебиравшихся со «Свердрупа» на землю, чтобы утвердить, что не всегда первыми с тонущего судна спасаются крысы. Днем работали: спиливали мачты, расшивали палубы, рубили дрова, готовили ловушки для песцов, обстраивали, достраивали избы. Вечерами все собирались по избам. В одной из изб все стены были в полках, в колбах, банках и инструметарии, — здесь жили Кремнев и Шеметов, — Кремнев предлагал всем научным сотрудникам продолжать вести свои научные работы, и днями он сидел у микроскопа, — эта изба называлась лабораторией. В другой избе жили все и ели, и вечерами, сидя на полатях, штурман Медведев играл иной раз одесского Шнеерзона. Катастрофически на «Свердрупе» не оказалось ламп, и избы сначала освещали коптилками, потом механик изобрел нечто вроде керосино-калильных ламп, делал их из термометровых футляров (а через год, когда вышел весь керосин, освещались тюленьим жиром). Профессор Шеметов читал для матросов курсы географии и физики. Мир был отрезан, скалу птичьего базара никто уже не замечал. — Тогда начальник, профессор Николай Кремнев собрал совет экспедиции. Собрались все в лаборатории, утром. Председательствовал и говорил Кремнев. — «Ну-те, всем вам понятно, что мы поставлены лицом к гибели. Этот остров до нас не был посещаем человеком, возможно, что новый человек не придет сюда еще десятки лет. Конечно, все пустяки, знаете ли. Мы умрем с голода, если мы все останемся живы до весны. Я предлагаю, знаете ли, принять мое предложение. Я не могу отсюда уйти, потому что те коллекции и наблюдения, которые сделали мы, единственные в мире, и я должен их сберечь во что бы то ни стало. Я предлагаю части

экспедиции, большей части ее, идти по льду на Шпицберген, на юг, на жилой Шпицберген, знаете ли, на шахты. Это будет иметь огромное и научное значение. Штурман Альбанов сделал еще более трудный поход, на юг к Земле Франца-Иосифа, знаете ли. Тем, которые в этом походе дойдут до людей, — вы дадите радио, и на будущий год или через два года за мною зайдет сюда судно. Мы будем здесь вести научные работы. Путь к Шпицбергену очень труден, по моим сведениям, через Шпицбергеновский хребет перешли только три человека, я предлагаю мужаться. Начальником научной части я назначаю метеоролога Саговского, начальником похода — штурмана Гречневого. Надо построить нарты и каяки, все продумать и выйти недели через три, в ноябре. Вы пройдете льдами» — —

. . . .

Через три недели, 4 ноября в двенадцать часов пополуночи, — это была уже сплошная ночь — отряд в двадцать два человека пошел в поход на Шпицберген. На острове Николая Кремнева оставалось тринадцать человек, двенадцать мужчин и одна женщина. Отряд ушел по льду в обход острова, — Саговский, Лачинов, кинооператор и два матроса задержались на полсуток с тем, чтобы догнать отряд сокращенным путем через горные перевалы. Говорили, будто бы слышали, что Кремнев передал Гречневому револьвер и посоветовал из-за больных и переутомленных не останавливать похода. Кремнев несколько раз выходил из лаборатории, был молчалив и будничен, прощаясь говорил одно и то же: «будьте здоровы, будьте здоровы» — жал руки и деловито целовался со всеми. Саговский на дорогу выпил спирта, все время шутил, пел с Медведевым Шнеерзона, просил матросов не забывать его кошек. — Ушли эти пятеро от изб в полночь, провожать их никто не пошел. Было очень тихо, тепло, градусов пятнадцать мороза. Горели звезды, Полярная была тут, над головой. Саговский шел рядом с Лачиновым, болтал всяческую ерунду, — Лачинов молчал и не слушал. Было очень невесело. У ледника встретили профессора Василия Шеметова, он гулял, расцеловались. — «Если первые будете в Москве — поклон университету», — сказал Шеметов. — «Ну, а если вы будете вперед нас, то уж поклона не передавайте, — не от кого будет!» — от-

ветил Саговский. — Горы стояли впереди осколками луны, граниты, базальты, лед и снег. Решили подниматься по леднику и от незнания сделали ошибку, ибо на пол-аршина под снегом был лед и снег катился по льду вниз. Лачинов шутил: — альпинистам, этим спортсменам по лазанию в горах, редко выпадает такое счастье, которое стало горем им пятерым. Сначала ползти в гору было легко, — на полгоры, как показалось им, и на пятую горы, как было в действительности, они долезли быстро, сели закусить и отдохнуть. Полезли дальше. И дальше Лачинов помнил только о себе. Он полез кромкой, где скалы сходились со льдом, рассчитывая, что там камни скреплены водою, льдом, и можно будет идти, как по ступенькам, и там есть промоина, — так первый расчет его спасал, а второй губил, — ибо другие правильно разочли, что выгоднее будет лезть по сметенному в наст снегу, ибо он должен быть отложе. Лачинов лез с винтовкой в меховых штанах и куртке, с лыжными палками в руках, лыжи тащились сзади, — и скоро Лачинов понял, что он выбивается из сил, и тут начало казаться, что и до верху и до низу одинаково, и скалы базальтов внизу, что были размером в многоэтажный дом, стали в табурет, а те, что были вокруг него и снизу, казались табуретами, здесь выросли в замки. Пополз дальше на четвереньках, руки уже дрожали, — гора все круче, камни рвутся под ногами, палки в руках мешают, скользит со спины под ноги винтовка, шапка ползет на глаза, дышать нечем. — Лачинова догнал Саговский, полезли вместе; те, что поползли по насту, уже далеко впереди, кажется, уже выбрались, махали отрицательно руками, кричали что-то сверху, — крика их разобрать возможности не было — было видно лишь, что там наверху волновались. Ползли. Отвес становился круче. Сил давно уже не было. Вползли в ущелье, выползли — и увидели, что впереди пути нет: отвес, навес над ними. Теперь было слышно, что сверху кричали, чтобы вернулись, — и люди наверху казались размером в шмеля, их едва было слышно. Саговский полез обратно, — Лачинов понял, что назад ему не спуститься, сорвется, разобьется, погибнет: если по этому отвесу, что впереди, проползти, двинуться вверх и налево, с девяноста шансами сорваться, то там будет спасение. Лачинов никогда больше не переживал такого ощущения, как тогда, когда он

сознавал, что действует, движется не он, а кто-то, живущий в нем, инстинкт, ловкий, как кошка, точный, как механика, хоть руки и сердце отказывались работать. Пополз, первый камень сорвался — и сразу сорвалась кожа рукавицы. Сполз сажень, вниз, зацепился за камень, — пополз вбок и вперед, — тех, кто был наверху, не видно было за отвесом, и сплошной отвес был внизу. Как выполз Лачинов — он не помнил. Сверху спустили веревку и вытащили уже по сплошному отвесу на скалу. — И наверху их встретил ветер, который сразу перебрал все ребра и захолодил руки так, что они ничего не брали. Полярная была на прежнем месте, но все другие звезды опрокинулись в небе: на часах был полдень. И страшное одиночество открывалось под звездами — земли и моря, где не ступала нога человека. Вдали за перевалом в бинокль был виден огонь — там ждал отряд, туда надо было идти. Сзади в бинокль уже ничего не было видно. — В расщелине двух гор был глетчер, в глетчерных пещерах висели сосульки в несколько человеческих ростов — —

В тот день, когда ушел отряд на Шпицберген, профессор Василий Шеметов, друг Николая Кремнева, так же, как Кремнев, не похожий на кабинетного ученого и похожий на бродягу, писал свою работу о причинах цвета неба и моря. — Начало этой работы было такое:

> «Когда в ясный летний день вы глядите на море, вам кажется, что синяя окраска моря зависит от голубизны неба. Однако в действительности положение вещей совсем не таково, в чем нетрудно убедиться следующими примерами. Для этого достаточно сравнить, с одной стороны, насыщенный синий цвет Нордкапского течения, которое протекает в водах Полярного моря и, с другой стороны, — бледный, зеленовато-серый цвет Азовского моря, над которым сияет яркое южное небо. Выяснением причин цветности моря занимался целый ряд ученых, начиная с Леонардо да Винчи — —»

— — в день, когда ушел отряд, Шеметов писал:

> «...подставляя в уравнение (1') вместо $\int_0$ и $\int$ их выражения, найдем:

$$M_o = \frac{S_o + N_o}{\pi} \cdot \frac{\frac{1a}{4\lambda^4}}{\frac{1a}{4\lambda^4} + f\left[\lambda^4\right]},$$

или иначе;

$$\frac{M_o}{S_o + N_o} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\frac{1a}{4\lambda^4}}{\frac{1a}{4\lambda^4 + f(\lambda)}} \quad \ldots\ldots (1)$$

Нетрудно видеть, что полученное равенство позволяет вычислить спектр того внутреннего света, который сообщает морю его характерную окраску; для этого нужно только знать f (λ) и a.

Значение f (λ) для различия длин волн было получено целым рядом экспериментаторов (рис. 1, кривая № 1). Что касается значения a, то его можно также определить из опыта, находя коэффициент «абсорбации» света в морской воде» — —

...Лачинов как-то говорил о прекрасной человеческой воле — знать, познавать, волить, познать — —

— — Арктической ночью на восток от Шпицбергена и на градусе Могучего над бумагой, картами и таблицами сидел человек Николай Кремнев, — на столе горел в плошке тюлений жир, и против Кремнева сидел второй русский профессор, вычислял углы отражений света в морях, Василий Шеметов. Они молчали, изредка они курили махорку — —

Глава третья

На острове Николая Кремнева экспедицией был оставлен гурий. Грамота на пергаменте, написанная тушью, была вложена в стеклянную банку и запаяна в железо. Гурий был поставлен около изб. В грамоте было написано:

«Русская Полярная экспедиция в следующих научном составе и судовой команде (идет перечисление) на экспедиционном судне «Свердруп», выйдя из Архангельска 11 авг. 192* года, по выходе из Белого моря, пошла на север по 41-му меридиану с непрерывными научными работами через каждые 30', Начиная с 77°30' северной широты стали встречаться льды, а на 77°52' была встречена кромка непроходимого льда, преградившего экспедиции дальнейший путь. Экспедиция пошла по курсу истинный NO 64°. Астрономически определиться благодаря туманной погоде возможности не представлялось. 7 сент. в тумане появилась земля, один из островов архипелага Земли Франца-Иосифа; ввиду тумана определить земли не удалось. Экспедиция была у земли только несколько часов и вынуждена была уйти в море по причине сильного шторма; на землю высаживались три человека, второй штурман Бирюков Н. П., матрос Климов В. В. и зоолог Богаевский А. К., — они погибли, так как шторм унес их из виду судна в море. От Земли Франца-Иосифа экспедиция пошла по курсу истинный SW 55°, но на другой день, 8 сент., судно встретило льды и вынуждено было дрейфовать без курса, сносимое льдами на SSW. 27 сент. с судна увидели землю, которая после астрономических определений оказалась не нанесенной ни на одну из карт, а стало быть, неизвестной культурному человечеству. Земля была названа островом Николая Кремнева. Астрономическое местонахождение земли — φ79°30' N и λ34°27' W. Судно стало на якорь в бухте Погибшей Избы и брало питьевую воду, предполагая пройти отсюда к Wiches Bland на Шпицбергене. Но в полночь с 29-го на 30 сент. страшным штормом судно было выкинуто на берег с непоправимыми пробоинами и заполненное водой. Экспедиция, потеряв судно, вынуждена была здесь стать на зимовку. По причине того, что продовольствия не хватило бы всем оставшимся, был снаряжен отряд в составе 22 человек из следующих лиц команды и научных сотрудников (перечисление), научная часть под командой метеоролога Саговского К. Р.; на-

чальником отряда назначен был первый штурман Гречневый В.Н.; по полученным впоследствии сведениям, до жилого Шпицбергена из этого отряда дошел только художник Лачинов Б. В. — остальные погибли от цинги и переутомления. Отряд ушел с острова Н. Кремнева 4 ноября, взяв с собой нарты и каяки (идет перечисление всего, что было взято отрядом). На острове Н. Кремнева осталось 13 человек, которые охраняли собранные материалы и вели научные работы. Отряд, пошедший на Шпицберген, должен был сообщить о местонахождении оставшихся, с тем, чтобы за ними пришло экстренное судно. Оставшимся пришлось перезимовать две зимы и живыми остались только двое — начальник экспедиции проф. Кремнев Н. И. и научный сотрудник проф. Шеметов В. В. Спасательное судно «Мурманск» пришло 11 сент. 192* года, и остров Н. Кремнева был покинут 15 сент. Все научные материалы были забраны. В доме № 2 оставлены продовольствие и огнестрельные припасы (перечисление).

Начальник экспедиции проф. Кремнев.

Научн. сотр. экспедиции проф. Шеметов.

О. Николая Кремнева.

15 сентября 192* г.»

...Можно рассказывать долго, дни за днями, о том, как бессмысленен и страшен взгляд моржа, как кровавы его глаза, как добродушно и хитро смотрят медведи, что в апреле, когда только солнце на небе, непередаваемо болят глаза человека, как мучителен постоянный мрак зимой, о том, что профессор Шеметов, друг Кремнева, установил актиничность окраски морских животных, что кожа их светочувствительна так же, как фотографическая пленка; — можно рассказать, как на полатях бесконечными ночами перерассказаны были все русские были и сказки, и случаи, как умирают люди от цинги; профессор Кремнев продолжал работу Алпатова над Decapoda, точнейше проследил применяемость ее к условиям природы; — можно неделями слушать, как шелестит полярное сияние — —

— — университеты, а не матери, родят иной раз людей и женщин, стало быть. Елизавета Алексеевна, един-

ственная в экспедиции женщина, была такой женщиной. Ее все не любили, потому что она была некрасива, неженственна, говорить могла только о хлорах, белках и атомах, — была сильнее любого мужчины и похвалялась этой силой. Она одевалась как мужчины, в меховые штаны и куртку, волосы она стригла. Она знала — матросы ее звали моржом. Матросы знали, что она — ни разу не была любима мужчиной, она сама говорила об этом, она была хорошей химичкой. Ей было — 27, и она — как все — чуяла иной раз, как заходится кровью сердце, как немеют, путаются химические формулы в мозгу, как немеют колени — вот эти ее моржовые колени. И знала она: — только неуменье понравиться, неуменье быть женщиной заставляют ее хвалиться здоровьем и силой — к тому, чтоб понравиться. И это она обрезывала ногти гарпунеру Васильеву, и она штопала рубашки всем, и это она — от обиды, от стыда — плакала в углу, громко, по-моржовьи, когда вдруг услыхала, как шутили матросы и младшие сотрудники о том, что на этой земле ни разу не было женщины, тем паче девственницы, не было свадьбы, — и надо кинуть жребий, кому быть ее мужем — во имя необычности земли и обстоятельств; — и все же тогда, за стыдом и слезами, нехорошо, бессмысленно, мутно ныла ее грудь. Они жили все в одной избе, у нее был угол за печью, на нарах под полатями. Все были уравнены в правах и костюмах, и она, как все, по очереди, растапливала по утрам снег, чтобы умываться, пилила со всеми дрова, слушала матросские были и небылицы, — иногда она ходила в лабораторию к колбам и препаратам. Мужчины много говорили о женщинах. Была сплошная ночь, мели метели, горели звезды и северные сияния. К утрам, определенным условно часами, углы избы промерзали, покрывались колким, звенящим инеем, большим, как серебряные гривенники. Люди спали в полярных мешках. — Мужчины издевались над Елизаветой Алексеевной. — Потом они перестали говорить с ней, о ней, о женщинах. И тогда она заметила, что ее ни на минуту не покидают мужчины. О ней перестали говорить, — она видела, куда б она ни шла, неподалеку от себя мужчину, и мужчины следили не за ней, а друг за другом. Но на себе она ловила упорные, бессмысленные взгляды. И ей казалось, что она погружена в сладкова-

тую, дурманящую, липкую муть, от которой неуверенными делались ее движения, от которой часами хотелось лежать, вытянувшись, откинув голову и за голову закинув руки, крепко сомкнув колени. Это было в первый месяц, как отряд ушел на Шпицберген, в сплошной ночи. Люди вдруг замолчали. Метели и снега по крышу заровняли дом. Кремнев приходил и силой гнал вахты на работы. — На «Свердрупе» в трюме распиливали на дрова скрепы, выбивали их, изо льда. — Елизавета Алексеевна пилила в паре с гарпунером Васильевым. Хромой и Хрендин кидали в люк дрова на лед; Хромого позвали наружу, — Хрендин закурил и выполз за Хромым; — и тогда Васильев, бросив пилу, очень нежно, со стоном, прошептал: — «Лиза», — и беспомощно протянул руку, и беспомощно, бессмысленно приняла эту руку она, опустила голову, опустилась, села на бревно — беспомощно, бессмысленно, покорно, в той сладкой липкой мути, что так ныла у сердца; — и тогда из мрака, из-за балок, прыжками, с остановившимся лицом набросился на Васильева штурман Медведев, — он схватил его за плечи, он бросился ему на горло и стал душить, — и два человека молча, храпя покатились по льду, душа друг друга, с остановившимися бессмысленными лицами. Она сидела покорно; сверху вниз бросились люди разнимать. Ни Васильев, ни Медведев ничего не помнили и не понимали, — иль им хотелось не помнить и не понимать, — они дружески заговорили о пустяках, покурили, стерли снегом кровь и пошли работать. — Она ушла в избу, забилась молча в свой угол и лежала неподвижно там до конца вахты. После вахты она вдруг вновь заговорила со всеми, весело, шумно, позвала идти гулять, на лыжах; пошли за нею многие, кроме профессоров и врача (у врача уже пухли в цинге десны и ноги), у избушки, где был скат и наст, она толкнула вдруг Медведева, тот схватил ее, чтобы не упасть, и вместе они покатились вниз по снегу, а за ними попрыгали все, друг на друга, зарываясь, зарывая в снег. Тогда была луна, снег был синь, горы и глетчеры уходили во мглу, снег сыпался и звенел, — скелет «Свердрупа» распух от инея. Играли в снежки, катались с гор, все хотели скатиться с Елизаветой Алексеевной, все хотели засыпать ее снегом, все валяли ее в снег. Под безглагольной луной по пояс в снегу эти люди, в

мохнатых одеждах, с их криками, рассыпающимися в пустой тишине, двоились синими своими тенями. Медведь вылез на льдину, прислушался, присмотрелся, пошел в сторону под ветер, чтобы обнюхать; не его, а его синюю тень увидел матрос Хромой, побежали за винтовками, стихли, рассыпаясь цепью, пошли в облаву, охоту повел Кремнев, вышедший для этого из избы; медведь попятился на лед, — люди прятались за торосами, обходили ропаки, медведь вырос на ледяной горе и скрылся за нею. Елизавета Алексеевна шла одна, с винтовкой. Она остановилась, посмотрела на луну, — и сразу, круто повернувшись, пошла обратно, в сторону, спряталась в торосе, легла на снег — — вдали затрещали выстрелы, выстрелы стихли, мимо прошли двое к избе, возбужденно говорили об убитом медведе — тогда стали кричать: — «Елиза-авета Алексеевна-а!» — выстрелили, — она лежала на снегу и плакала — —

— — ночью, когда все спали, она услыхала шепот, шептались штурман Медведев и гарпунер Васильев; Медведев сказал, и голос его прервался: — «ты разбуди ее, замани, скажи, начальник позвал, я буду у избы. Ты — первый» — — и Елизавета Алексеевна замерла, — слышала, как бесшумно скрипнула дверь, как скрипнула у стола половица, — потом все исчезло за шумом сердца: тогда она поспешно зажгла одну, две, три спички, в полуаршине от нее было лицо Васильева, оно было страшно, рот был искривлен, — но в спичечном же свете она увидела, что у печки, босой, стоит младший гидролог Вернер, с поленом в руке, что свесил ноги с полатей напротив Хрендин. Из тесного угла, из-за перегородки, хрипло и покойно сказал капитан: — «Васильев, собака, на место!» — Капитан стал одеваться, оделся, вышел из избы. Сказал Хромой: — «По начальству пошел, доносить! Пущай, не боимся. Все равно никому не дадим бабу! Он все начальника убеждает перевести ее в лабораторию, для себя, значит!» — Спать можно было еще много часов, но, потому что безразлично когда спать, ибо круглые сутки ночь, все стали одеваться. Хромой сказал: — «Васюха, твоя очередь, грей воду». — Тогда из угла за печкой послышались рыдания Елизаветы Алексеевны, и тот же Хромой полез утешать ее. — «Брось, девынька, дело такое, ты посуди, мужики ведь, сила, ты прости нас, дело такое!.. что же

это мы сами-то? с ума сошли все, что ли? — ты потерпи!..» — Подошел гидролог Вернер, товарищ Елизаветы Алексеевны по университету, взял руку — думал ли, что делает? — прижал ее руку к лицу, сказал тихо: — «Ты прости меня, Лиза, прости любимая! Я готов за тебя отдать жизнь, прости меня!» — С капитаном вошел в избу Кремнев, сказал: — «здравствуйте!» — сел к столу, помолчал, посмотрел в сторону, заговорил: — «Ну-те, с сегодняшнего дня приступаем к работе, видите ли. С положением нашим шутить не стоит. Дойдет ли отряд Саговского до людей, неизвестно, — а доктор у нас уже захворал, ну-те, по-видимому, цингой. Приказываю разобрать по бревнам, вырубить изо льда остатки «Свердрупа» и сложить их на берегу. Работать трехсменной вахтой, по три человека. Вахтенные начальники — я, профессор Шеметов и капитан. Весной, когда взойдет солнце, по моим чертежам мы построим большой бот и пойдем на юг под парусами. Работать предлагаю как можно усерднее, ну-те... Затем я хотел сказать, до меня дошли слухи, знаете ли. — Елизавета Алексеевна, вас просил к себе Василий Васильевич, — пойдите к нему...» — Кремнев подождал, когда она вышла. — «До меня дошли слухи, что здесь установились болезненные отношения с Елизаветой Алексеевной. Причины, видите ли, мне совершенно ясны. Обвинять я никого не намерен, но погибнуть мы можем все, так как на этом часто сходят с ума. Единственным разумным средством было бы удалить отсюда Елизавету Алексеевну, остальное все паллиативно*, — но такой возможности у нас нет (с полатей перебил Кремнева Хромой, он сказал: — «Сделать надо одно, приказать ей спать с каждым по очереди, а то мужики перережутся, — не погибать же нам всем из-за нее одной!» — Кремнев сделал вид, что не слышал Хромого...). Ну-те, возможности удалить Елизавету Алексеевну у нас нет, допустить насилия над ней я не могу. Такая напряженная обстановка возбуждает ее, несомненно: если она изберет кого-либо из нас, остальные не допустят этого... Я, знаете ли, могу сообщить и заявляю об этом, что каждого, кто посягнет, — застрелю!» — Кремнев встал. — «Определите, кто в какой вахте хочет работать» — —

---

* Паллиативно — половинчато, полумера.

Прошли еще недели.

— — была метель, такая, когда ветер дул, как из трубы, разметал снег, ломал льды и камни, нес их вместе со снегом. Люди не выходили из избы, избу заровняло снегом с землей. Вахт не было. В избе были тепло, духота и мрак. На столе чадили масленки. Двое играли в шахматы, один писал дневник, остальные лежали по нарам во мраке. Только что поужинали. На нарах Хромой рассказывал, как мальчиком он ходил на поморском паруснике: поморы, тайком от жен, в трюмах увозили с собой из Варде норвежских девок; и Хромой рассказывал, что делали поморы с этими девками; — Елизавета Алексеевна лежала у себя в углу, сказала гидрологу Вернеру, чтобы он принес огня от масленки, закурить. Закурили оба, и Вернер сел на койку рядом с Елизаветой Алексеевной. Хромой продолжал рассказывать. Папиросы потухли, в углу было темно, — Вернер положил руку на плечо Елизаветы Алексеевны, — сказал сонным голосом: — «А расскажи, Хромой, как ты тонул!» — «Я-то? — откликнулся Хромой, — я, брат, и сам не знаю, как это я на ногах хожу и цел остался!» — Елизавета Алексеевна обеими руками взяла руку Вернера и положила себе на грудь: под рубашкой, потому что все были раздеты в духоте, неистовствовало сердце. Вернер склонился и поцеловал шею Елизаветы Алексеевны, она губами нашла его глаз, потом губы их слились. Руки Вернера прошарили по всему ее телу, она была покорна. Тогда Вернер прошептал ей в ухо: — «Пойдешь со мной в горы? — никто не заметит, там...» — Она ответила: — «Пойду». — Вернер соскочил с нар, пошел к столу, вновь закурил, весело сказал: — «Рассказывай, рассказывай, Хромой, очень интересно!» — — Все дни Вернер был возбужден, точно тайком он достал четверть спирта и пьет понемногу. С винтовкой, с топором, на лыжах он уходил в горы и пропадал там многие часы, зверя с собой он не приносил. У двери пропала лопата. Далеко горами он обходил свои избы, за ропаками и торосами он приходил к разваленной избушке. Тайком от всех, он прорыл около нее снег, ход завалил снегом. В избушке размел он снег, смел его с нар. Однажды Вернер сказал, что идет в поход за горный перевал, взяв с собою спальный мешок, — он вернулся через сутки, заявив, что обессилел и мешок оставил в горах неподалеку — —

— — и был такой вечер, когда Елизавета Алексеевна вышла из избы, чтобы пойти в лабораторию. Минут через двадцать после нее вышел Вернер. Вернер, на лыжах, с винтовкой, скатился на лед, — бухтой, между торосов, пошел к разбитой избушке. За ропаком показался вдруг Кремнев, он шел к избам, он сказал: — «Это вы, Илья Иванович?» — «Да, я». — «Вы куда идете?» — «Я хочу побродить немного». — «Вы мне не одолжите винтовку? — едва ли будет опасность». — «Пожалуйста», — и они расстались. У края косы Вернера ждала Елизавета. Вернер подошел к ней неровными шагами, она протянула руки, она склонила голову ему на плечо, он взял ее голову, чтобы заглянуть ей в глаза, чтобы поцеловать. Рядом была безвестная избушка. И рядом тогда раздался выстрел, и Вернер ощутил, что в руках у него — только осколок головы Елизаветы. Но Вернер ничего не успел осознать, ибо второго выстрела он не слыхал — не мог слышать — —

— — ночь, арктическая ночь. Над бумагами, картами и таблицами сидит человек Николай Кремнев. На столе в плошке горит жир. И против Кремнева сидит второй человек — Василий Шеметов. Полки в полумраке поблескивают рядами склянок. На столе у плошки лежит винтовка. И Кремнев смотрит над бумагами, картами и таблицами. — «Как ты думаешь об этом, Василий? Ты меня судишь?» — «Я не совсем понимаю, при чем тут он? Во всяком случае, нужно б там оставить винтовку, — все знают, что эта винтовка была у него». — «Я сам об этом не заговорю — все знают и мои лыжные следы, а если бы я взял чужие лыжи — —...»

. . . .

— — От отряда метеоролога Саговского осталось два человека: он, Саговский, и Лачинов. Было двадцать девятое июня. Было 29 июня, русский Петров день, вечное в Арктике солнце. Все остальные в отряде погибли в переходах по льдам и в зиме. Не оставалось ни хлеба, ни соли, была одна коробка спичек. Это был последний переход к Шпицбергену, это было на Шпицбергене, в Стор-фиорде, в Валлес-бае: оставалось только перевалить через хребет, чтобы быть у людей. — Лачинов и Саговский лежали на льду, саженях в пятидесяти от отвесного обрыва ледника, саженей в пятнадцать вы-

шиною. Каяк валялся рядом. Здесь они были уже третий день. Они были совсем у земли, у лагун на мысу, лед был зажат до самого берега, и по нему было бы можно идти, если б мог ходить Саговский. Начался отлив, лед стало разводить, — и тогда подул зюйд-вестовый ветер и скоро стал трепать. Если бы здесь были большие поля льда, беда была бы невелика: утихнет ветер, сожмется лед, только и всего. — Они сидели на льдине сажени в четыре квадратных величиною. И вскоре по льдине стали перекатываться волны, лед разгоняло ветром и отливом, земля попятилась назад, зыбь пошла крутая. Идти на каяке возможности не было: его изрезало б мелким льдом. — И земля скоро скрылась в тумане. Людям делать было нечего: они завернулись в парусину, прикрылись каяком и завалились спать, — есть было нечего. Четырехсаженная их льдина ходила под ними так, что толковее ей было бы переломиться. К одиннадцати часам — к астрономическому полдню — ветер затих и лед погнало к земле. Вскоре возникла земля, льды прижало к ней: но это был уже ледник, уходивший направо и налево за горизонт. Люди были, как в мышеловке. Кругом был поломанный мелкий лед вперемешку с шугой, и спереди была отвесная пятнадцатисаженная стена. Есть было нечего, и болели, слезились от света распухшие глаза. По мелко битому льду идти было некуда. Опять спали, и перед новым отливом пошли лезть на ледник. Они нашли трещину шириною в сажень. Они бросили каяк, мешки, гарпуны, секстан, все, оставили винтовки, топор и лыжи. Трещина была заметена снегом, снег покрылся коркой льда, — топором в этом снегу они сделали ступеньки и забивали в него для опоры ножи; так они вылезли наверх, на пятнадцатисаженную стену. Сверху они видели, как льдина, на которой они жили, лопнула, перевернулась и лед начало отжимать от берега отливом. — На лыжах они пошли к горам, к скалам, на мысок залива, чтобы там на птичьем базаре убить гагу, чтобы есть ее сырой. Саговский едва шел, он не мог идти, у него подгибались ноги, он спотыкался и полз на четвереньках, бросая лыжи — —

— — и на этой земле Саговский умер от цинги. Он уже не мог ходить, он только ползал на четвереньках. Он невпопад отвечал на вопросы. Он не открывал глаз.

Лачинов сжег лыжи и согрел Саговскому воды, Саговский выпил и задремал, ненадолго: он все время стремился куда-то ползти, потом успокаивался, хотел что-то сказать, но у него, кроме мычания, ничего не выходило. — Солнце все время грело, на солнце было градусов семь больше ноля. Лачинов перед сном снял с себя куртку, покрыл ею Саговского, лег рядом с ним. Ночью (это был яркий день) Саговский разбудил Лачинова. Саговский сидел на земле, подобрав под себя ноги калачом, он заговорил: — «Борис, слушай, кошечек моих не забудь, никогда не забывай! Помнишь, как они страдали от качки? — их надо спасти, необходимо, — кошчишки мои!.. Ты знаешь, если человечество будет знать, что делается сегодня под 80-й широтой, оно будет знать, какая будет погода через две недели в Европе, Азии, Америке, потому что циклоны и антициклоны рождаются здесь. Мои записи — никак нельзя потерять, такие записи будут впервые в руках человечества... А моя мама живет на Пресне около обсерватории — —» Саговский лег, натянул на себя куртку. — Когда вновь проснулся Лачинов, он увидел, что Саговский мертв и окоченел — Саговский даже не сбросил куртки, которой покрыл его Лачинов. Лицо его было покойно — — И этот день Лачинов провел около трупа. На мысу, на первой террасе, руками и топором, Лачинов разобрал камни, сделал яму, — в яму положил Саговского, засыпал его камнями, присел около камней — отдохнуть. На плите из известняка ножом он начертил:

30 июня 192* года
Кирилл Рафаилович
САГОВСКИЙ,
метеоролог Русской Полярной
экспедиции проф. Кремнева,
начальник отряда, пошедшего
после аварии э/с «Свердрупа»
с острова Н. Кремнева
(φ79°30' N, λ34°27'0'W) по льду
На Шпицберген. В походе было
22 человека, из которых уцелел
один — художник Экспедиции
Борис Лачинов.
На о. Н. Кремнена осталось
13 чел. научн., сотр. и команды.

Впереди были горы, за которыми должны были быть люди, — сзади было море, море уходило во льды. Лачинов встал и быстро пошел прочь от могилы, не оборачиваясь, — вернулся, ткнул ногой камень и опять пошел к горам: едва ли подумал тогда Лачинов, что в нем была враждебность не к этому трупу, — но было в нем озлобление здорового человека перед бессильем, болезнью, смертью. — «Не слушаются, запинаются ноги, лечь бы, лежать, — а я вот нарочно буду за ними следить и ставить их в те точки, куда я хочу! Не хочется шевелиться, лечь бы, лежать, нет, врешь, не обманешь: — встану, пойду, иду, — не умру!»

Лачинов. — Иногда бывает такая тесная жизнь. Москва, дела, дни — конечно, сон, конечно, астрономическая точка. Ужели здоровая человеческая жизнь есть сотни хомутов, в которые впрягается человек к тридцати годам? и — что реальность? — тогда в шторм, в море, и потом все дни, до смерти Саговского, после смерти Саговского — — только одно, что движет, только одно, что сильнее, прекрасней, необыкновенней жизни: — —

— — тогда там, в географической точке, имя которой Москва, он сразу, в три дня разрубил все свои узлы, чтобы уйти в море, чтобы строить наново, — чтобы Москва стала только географической точкой — — тогда, там, в море, в шторм, мучительно, неясно:

— Москва — жена — дочь — выставки — картины — слава: — ложь! Нет, ничего не жалко, ничего нет!.. Нет-нет, дочь, Аленушка, милая, лозинка, ты прости, ты прости меня, — все простите меня за дочь: я по праву ее выстрадал! И вы, все матери, все женщины, которые знали меня, — простите меня, потому что ложью я исстрадался. Имею же я право бросить хомуты, и я ничего не хочу, — ведь я только студент первого курса, и я выстрадал, вымучил себе право на жизнь. Ничего не жалко, ничего нет. Работа? — да, я хочу оставить себя, свой труд — себя таким, как я есть, как я вижу. Это же глупость, что море убьет, — а ты, Аленушка, когда возрастешь, — прости! —

Там, в море, еще на «Свердрупе»: — вот койка, над головою выкрашенная белым, масляною краской, дубовая скрепа, — электрическая лампа, — балка идет вверх, встает дыбом, балка стремится вниз, — рядом внизу какая-то скрепа рычит, именно рычит, — перегородка виз-

жит, дверь мяукает, — забытая, отворенная дверь в ванную ритмически хлопает, — пиликает над головой что-то — дзи-дзи-дзи-дзи! — Надо, надо, надо скорее сбросить с койки ноги, — надо, надо бежать наверх, авралить, кричать: — «спасайтесь! спасайтесь!» — Но почему вода не бежит но коридору, не рушатся палубы? — ну, вот, ну, вот, еще момент, — вот, слышно, шелестит, булькает вода! — — И тогда все-все равно, безразлично, нету ничего, — единственная реальность — —

— — Лачинов стоит на верке Северо-Двинской крепости, и луна — величиной в петровский пятак. В бреду возникала реальность: — реальность прежняя была, как бред. — Норвежцы называли русский север — Биармией, — новгородцы называли его: З а в о л о ч ь е м. — Далеко в юности, почти в детстве — ему, Борису Лачинову, студенту, двадцать два, — ей, гимназистке, семнадцать: и это был всего один день, один день в лесу, в поле, весной, у нее были перезревшие косы — и как в тот день не сошла с ума земля, потому что она ходила по земле? — а вечером подали лошадей, ночь пахнула конским потом, и лошади по грязи и в соловьином переполохе везли на станцию, чтобы в Москве ему сдавать экзамены. — Новгородцы называли русский север — З а в о л о ч ь е м: — нет, не одни формы определяют искусство и, как искусство, жизнь, — ибо — как написать? — север, северное сияние, дичь самоедов, самоеды в юртах, со стадами оленей, — поморы, — и сюда приходят ссыльные, сосланные в самих себя, в житье-бытье, — и здесь северная, горькая, прекрасная — как последняя — любовь; это где-то, — где в тундре пасутся олени, а на водах по морю вдали проходят парусники, как при Петре I, и поморы ходят молиться в часовни, самоеды — идолам, вырубленным из полена... — И мимо них — в море, во льды, в страданиях — идут люди, только для того, чтобы собрать морских ракушек и микроскопических зверят со дна моря, чтобы извлечь — даже не пользу, а — лишний кусок человеческого з н а н и я: благословенны человеческая воля и человеческий гений! — Тундра — такое пустынное небо, белесое, точно оно отсутствует, — такая пустая тишина, прозрачная пустынность, — и нельзя идти, ибо ноги уходят в ржавь и воду, и трава и вереск выше сосен и берез, потому что сосны

и березы человеку ниже колена, и растет морошка, и летят над тундрой дикие гуси, и дуют над тундрой «морянки», «стриги с севера к полуночнику», — и над всем небо, от которого тихо, как от смерти, — и летом белые, зеленые — ночи; и ночью белое женское платье кажется зеленоватым; — а самоеды в одеждах, как тысячелетье... Самоеды, когда идут в тундру, «на Русь», — на Тиманском Камне, в Кузьмином перелеске, где сотни сохранилось идолов, убивают оленя, мажут его кровью идолов, и съедают — «абурдают» — сырое оленье мясо, то, что осталось от идолов; тогда они поют свои песни. — Самоеды вымирают голодом, — а эти ссыльные — ни словом не стоит говорить о временности, это всегдашнее человеческое — посланные в политику, в скуку, не понимают, спорят — вот об этих самоедах, которым... — — И тут возникает большая, прекрасная, последняя любовь, — такая же огромная и прекрасная, как — знание, гениальное, как человек, и последнее, как человеческая любовь. — Так должно написать, не зная Заволочья. —

От Вологды до Архангельска поезд ползет по тайге, и тайга — одно тоскливое недоразумение из елей и сосен в пятилетнюю сосну ростом, да и то наполовину сваленная и обгоревшая, — леса, леса, леса, — среди лесов болотце, ерунда, ржавая травка, да иной раз целое поле, полянишка точнее, в лилово-розовых цветочках. Станции одна от другой в расстояниях тоскливо-долгих, и все станции однообразны, как китайцы, — и такие, около которых нету ничего, — ни человека, ни души, ни куска хлеба. — В Архангельск поезд пришел утром. Двина заброшена, дика, пустынна, — свинцовая и просторная, и у карбасов носы, как у турецких туфель, и волны — синие — закачали карбас, а солнце было янтарным. На карбасе пошли через Двину, «Свердруп» стоял на рейде, — поднялись по шторм-трапу, поодиночествовали, пока не определился угол. На развороченной палубе заливали и убирали в ящики бутылочки и баночки. Кроме матросов, одного доктора, четырех профессоров, — остальные все студенты. Студенты шутят, пакуют ящики, покупают на набережной простоквашу — пропахли варом и треской. — Архангельск всего в три улицы, тротуары деревянные, каждая улица по семи верст, — за этими улицами в трех шагах начина-

ется тундра. И весь Архангельск можно обследовать в один день, хоть и будут ныть ноги. В местном музее — моржи, белый медведь — все, что здесь произживает, — потом вальки, пимы, юрты, избы, деревянные божки, — все, что создал человек: невесело! Этакие длинные тротуары из досок, старинный пятиглавый собор, сумерки, колокола звонят, и мимо идут люди, как сто лет назад, особенно женщины в допотопных платьях и в самодельных туфлях из материи, — на рейде парусные корабли, как при Петре, поморы приехали на своих шхунах, привезли треску, — и кажется, что от Петра Архангельск отодвинулся на пустяки,— Заволоцкая Пятина!.. На пристани тараторят простоквашные и шанёжные торговки, говорок странный, пришепетывающий и с «ё»: — «жёнки, идёмтё, та-та-та», — речь, ритм четырехстопные. И над всем пустое небо. — В сумерки, когда поднялась петровская луна, кричал: — «Э-эй, со «Свердрупа» — шлюпку!» — «Свердруп» чуть-чуть колышет, — деревянный, все время мажется варом, построен по планам смертнейшего китобойного парусника. Люди живут в трюме, рядом ванная и там — по анекдоту — живет англичанин. А рубки над палубой — лаборатории — все пропахли лекарствами в колбочках. Проснулся утром, пошел в ванную и вымылся с ног до головы, вода и холодная, и теплая, — выбрился, брился по-странному: коридор между кают на жилой палубе ведет до двери в складочную часть трюма, которая открыта сейчас божьему свету, там светло, — так вот там и брился; в каюте же бриться нельзя, потому что судно стояло на рейде, чистились котлы и не горело электричество, а когда оно не горит, в каютах темно, едва можно читать; на складе свалены были ящики, бочки, канаты, гарпуны, пахло треской, замечательным, единственным в мире запахом, — куда до него тухлой селедке и зеленому сыру! — там он и брился, приладившись на ящике и голову задрав под небеса. А наверху на палубе один другому диктовал: температура, вес, щелочность, H_2O, анализ, — две удачные пробы из трех, — планктон, — сети 250, 245 — что-то непонятное — —

— — а потом пришла моторная лодка из петровского учреждения, называемого таможней, из дома, построенного еще при Алексее, — и она понесла на взмо-

рье, пошла ласкаться с синими двинскими волнами; день был янтарен в этой сини волн. Обогнули Соломбалу, перешли Маймаксу, отлюбовались шведскою стройкой таможни, старою крепостью, отслушали воскресный колокольный перезвон (примерно так сороковых годов), — и корабельным каналом пошли в Северо-Двинскую крепость, построенную Петром. Пикник был, как всегда, с пивом, водкой, колбасой на бумаге. По Корабельному каналу при Петре ходили корабли, теперь он обмелел и заброшен, — там на взморье с воды видны невысокие бастионы, серого гранита маленькие ворота к воде — и все. Северо-Двинская крепость не видела ни разу под своими стенами ни одного врага, не выдержала ни одного боя — она сохранилась в подлинности, — теперь она заброшена, там пусто, никого, — только в полуверсте рыбачий поселок. Все сохранилось в крепости, только нет пушек, только чуть-чуть пооблупились бастионы внутри крепости, да в равелинах стены заросли мхом, да все заросло бурьяном, — и в бурьяне есть: — малина, малюсенькая, дикая и сладкая, она только что поспевала! — Прошли крепостными воротами внутрь, под стеной, прямо в бастион над воротами, — ворота, воротины — в три ряда и спускаются сверху на блоках. Тишина, запустение. В других воротах, спустив воротины, местные поморы устроили коровник, загоняли туда в стужу скот. Стены облицованы гранитом, а внутри — земляные насыпаны высокие валы, кое-где отвесные, кое-где так, что могут въехать лошади с пушками. Под землей прорыты всяческие ходы и переходы, мрак, каплет вода с потолков, пахнет столетьями и болотами: шли ощупью, со свечей, — наткнулись на потайной колодезь, в круглой чаше гранита. Каменные бастионы, — на крышах растут полуаршинные березы, морошка, клюква, малина, — внутри опустошены, исписаны «красноармейцем такой-то роты», валяются щебень, двери выломаны, разбиты ступени, лестницы. Вокруг крепости каналы со сложною системой водостоков, так что воду можно было произвольно поднимать и опускать, здесь некогда стояли корабли, — сейчас эти каналы затянуты зеленым илом. — Вокруг крепости — северный простор, синяя щетинистая Двина, взморье, северная тишина, — на берегу в посел-

ке сушатся сети и вверх килями лежат карбасы. — Лачинов стоял на верке, поднималась петровская луна, были зеленые зыбкие сумерки, от реки шел легкий туман, — но чайки вили «колокольни», к шторму, и —

под верком, в белом платье (слеповато-зыбким было платье), с веником вереска в руках, — прошла она — —

— — и нужен был год Арктики, сотни миль дрейфующего льда, умиранье, мертвь — чтобы скинуть со счетов жизни этот год, чтоб скинуть целое двадцатилетье, — чтоб после Арктики, после Шпицбергена, — прямо со Шпицбергена: —

— были ветреные пасмурные сумерки, в красную щель уходило лиловое солнце, в красную щель между лиловых туч, — но на востоке поднималась луна, и под луною и под остатками солнца щетинилась Двина. Парус клал карбас на борт. Помор был понур. Лачинов все время курил. Очень просторно и одиноко было кругом. На взморье уже были видны верки крепости, тогда померкло солнце, луна позеленела, и в поселке в одном-единственном оконце был свет. Помор сказал: — «Приехали, — ишь, какиё гремянные воды в сегодушнём лете». — Пришвартовались, вышли на берег. Было кругом безмолвно и дико. Помор пошел к знакомому дому, постучал, спросил: — «Спитё, православныё?» — Из избы ответили: — «Повалилися!» — «Где здесь поселенка у вас живет?» — Поселенка жила в крайнем доме, — в крайнем доме был один-единственный на все становище в оконце свет. — «Ну, прощай, старик, — сказал Лачинов, — я здесь останусь» — —

Лачинов постучал в окно. Отперла о н а. Он вошел и сказал:

— Ну, вот я и пришел к вам. Вы меня не помните. Я принес вам всю мою жизнь — —

Заключение

В Москве были мокрые дни. И, как каждый день, после суматошного дня, после ульев студенческих аудиторий, после человеческих рек Тверской и лифтов Наркомпроса на Сретенском бульваре, — в пять часов приходил тихим двором старого здания университе-

та профессор Кремнев, шел в Зоологический музей и там в свой кабинет — к столу, к микроскопу, к колбам и банкам и к кипе бумаг. В кабинете большой стол, большое окно, у окна раковина для промывания препаратов, — но кабинет невелик, пол его покрыт глухим ковром, — и стен нет, потому что все стены до потолка в банках с жителями морских доньев Арктики. Каждый раз, когда надо отпирать дверь, — вспоминается, — и когда дверь открыта, — смотрит из банки осьминог: надо поставить его так, чтобы он не подглядывал! — Это пять часов дня. — От холодов, — от тросов, от цинги пальцы рук Кремнева узловаты, — впрочем, и весь облик сказывает в нем больше пиратского командора. В кабинете тишина. — От полярной экспедиции у Кремнева осталась одна ненормальность: он боится мрака, в кабинете его светлее, чем днем, горят две пятисотсвечные лампы, — и первым его делом, когда он вернулся изо льдов, была посылка ящика семилинейных стекол на Новую Землю самоедам (эти стекла пришли к самоедам через год). — Кремнев готовился к новой экспедиции в Арктику. Мифология греков рассказывала о трех сестрах Граях — о Страхе, Содрогании и Ужасе, которые олицетворяли собою седые туманы; с рождения они были седовласы, старухи, и у всех трех был один глаз: — Европейская Международная комиссия изучения Полярных стран проектировала послать в Арктику цеппелины*; метеорологи полагали, что, если человечество — радиостанциями — включит Арктику в обиход земного шара, вопрос о предсказании погоды будет решен, почти целиком. Международная Полярная Комиссия посылала через полюс, от Мурманска до Аляски, цеппелины. Цеппелин должен был совершить этот путь в семьдесят часов. Первые цеппелины должны были изучить места, где человек еще не бывал, определить места для радиостанций, организовать эти радиостанций, — а затем только три цеппелина, — из которых один будет стоять в Мурманске, второй — в Красноярске, третий — на Аляске, три цеппелина будут сторожить Арктику: каждый будет связан сетью радиостанций, раскиданных у полюса, — и каждый всегда,

* Цеппелин — дирижабль.

каждую минуту, связанный радио, будет готов пойти на помощь людям, радистам, закинутым в седые туманы. Человечество сменило трех седых сестер Грай — тремя цеппелинами. — Кремнев должен был лететь с первым цеппелином. Он обрабатывал предварительные материалы, составлял план полетов, — собирал охотников лететь в Арктику. В кабинете было тихо, — человек, отодвинув микроскоп, сгорбившись над бумагой, — писал: — больные руки выводили мельчайшие буквы. Человек, не отрываясь от бумаги, писал очень долго. Затем он достал из кармана твердый конверт с английскими марками, вынул письмо, прочитал — и написал на него ответ. Потом он придвинул микроскоп и стал, глядя в микроскоп, делать заметки для своего труда, того, который он писал порусски и по-немецки одновременно. — За окном шумела улица Герцена и шелестел дождь: часы в кабинете шли так же медленно и упорно, как они шли на острове Н. Кремнева, — и улица Герцена, Моховая — и вся Москва — отмирали на эти часы. Decapoda устанавливала законы.— Москва астрономически определялась такой-то широтой и долготой. — И в девять постучали в дверь, пришел профессор Василий Шеметов, — сказал: — «Убери ты этого черта осьминога, каждый раз пугает, — помолчал, сел, сказал, как всегда: — ты работай, я не помешаю». — Но через четверть часа они шли по Моховой в Охотный ряд, в пивную, выпить по кружке пива; на углу Кремнев бросил в ящик письмо. Моросил дождь. В пивной играли румыны. И Кремнев и Шеметов пили пиво молча. Молчали. Шеметов сидел, опираясь на свою трость, не сняв шляпы, — шляпу он надвинул на лоб. Румыны издевались над скрипками. — Шеметов наклонился к уху Кремнева, еще больше насунул на нос шляпу, тихо, без повода, сказал:

— Приехал из Архангельска знакомый, говорил про Лачинова. Живет со своей женщиной, ни с кем не встречается, не принимает писем, — с Северо-Двинской переехали на Каргу, в тундру — —

Кремнев ничего не ответил.

За окном шумихою текла река — Тверская. — Допили пиво и вышли на улицу. Распрощались на трамвайной остановке и на трамваях поехали в разные стороны. Шел дождь.

На острове Великобритания, в Лондоне, туман, — двигался вместе с толпой. Часы на башнях, на углах, в офисах доходили к пяти. — И через четверть часа после пяти Сити опустел, потому что толпа — или провалилась лифтами под землю и подземными дорогами ее кинуло во все концы Лондона и предместий, или влезла на хребты слоноподобных автобусов, или водяными жуками юркнула в переулки тумана на ройсах и фордах: Сити остался безлюдьем отсчитывать свои века. — Девушка (или женщина?) — мисс Франсис Эрмстет — у Бэнка, где нельзя перейти площадь за суматохой тысячи экипажей и прорыты для пешеходов коридоры под землей, — лабиринтами подземелий прошла к лифту, и гостиноподобный лифт пропел сцеплениями проводов на восемь этажей вниз. В тюбе было сыро и пахло болотным газом, — там к перрону, толкая перед собой ветер, примчал поезд, разменял людей и ушел в темную трубу под Темзу — на Клэпхэмроад, в пригород, в переулки с заводскими трубами. Девушка знала, что завтра город замрет в тумане. — Там, в переулке на своем третьем этаже, в своей комнате, — девушка нашла письмо, на конверте были русские марки. Зонт и перчатки упали на пол: в письме, написанном по-русски, было сказано, что он, Кремнев, опять отправляется в Арктику и еще год не приедет к ней и не зовет ее сейчас к себе. — Тогда зазвонил телефон, говорил горный инженер Глан.

Девушка крикнула в трубку, по-английски:

— Пойдите к черту, мистер Глан, с вашими автомобилем и цветами! Да! — вы все уже рассказали мне о... о мистере Лачинове! — и девушка затомилась у телефона, девушка сказала бессильно: — Впрочем, впрочем, если вы возьмете меня летом на Шпицберген, я поеду с вами, да!.. —

И девушка, заплакав горько, упала лицом в подушку, на девичью свою кровать: она знала, что — странною, непонятною ей, но одной навсегда любовью — любит, любит ее профессор Николай Кремнев.

...и в этот же час — за тысячи верст к северу от Полярного круга на Шпицбергене, на шахтах — одиночествовал инженер Бергринг, директор угольной Коаль-компании. Там не было тумана в этот час и была луна.

Домик Бергринга прилепился к горе ласточкиным гнездом — —

— — ночь, арктическая ночь. Мир отрезан. Стены промерзли, — мальчик круглые сутки топит камины. То, чти видно в окно, — никак не земля, а кусок луны в синих ночных снегах. Мальчик принес вторую бутылку виски, — книга открыта на странице, где математические формулы определяют расстояние до Полярной. Бергринг подошел к окну, под Полярной горело сияние. Тогда в конторе вспыхнуло катодной лампочкой радио: оттуда, из тысячи верст, из Европы, зазвучали в ушах таинственные, космические пункты и черточки; ч-ч-чч-тт-тс —

Узкое,
11-я верста по Калужскому шоссе.
9 янв. — 2 марта 1925 г.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Глава первая

На глаз европейца — все китайцы однолицы; на концессиях европейцы считают бичом, когда один китаец наработает даян сто и уходит к себе в Чифу, продав место брату или соседу за два даяна, — вместе с паспортом. Поэтому надо было иметь не-европейский глаз и не-европейское ухо, чтобы услышать у заводского забора короткий разговор.

— Ты — монгол?

— Нет, я китаец. Я хочу быть с Россией. А ты — монгол?

— Да, я монгол. У вас в поезде едет монгол-бой, из Шин-Барги. Мы оа из Шин-Барги, из Кувот-улана. Я поеду вместо тебя.

— ....Шанго.

— — по эту сторону забора — китайский город, муравейник китайского города. Улица забита людьми, рикшами, фонарями, пагодами, плакатами изречений, написанных иероглифами, драконами, красками красными, синими, желтыми, черными, резкими, лакированными. В лавочках на улице вяжутся зонтики, клеятся веера, жарятся на бобовом масле рыба и лук. Мужчины идут в юбкоподобных черных халатах с иероглифами на спине, а женщины в синих ватных штанах, ножками, исковерканными колодками красоты. В храме, кинув копейку в ящик чертообразному богу, молель-

щик дубасит в гонг, чтобы чертоподобный бог услыхал его молитву. Над муравейником улицы висит шум гонгов, выкриков, свистов, писков, воев, звонков рикш. Запах смолок из кумирен смешивается с запахом бобового масла, ползущего с завода, и по улице ползут запахи священных курений, человеческого и свиного пометов, чеснока, инжира, сладостей. Фонари и красные изречения около публичного дома летят по ветру в пыли. Над улицей нету неба, ибо небо застлано тряпками драконов, вывесок и изречений, повисшими через улицу с дома на дом.

И если для англичанина все китайские лица на одно лицо, — то для тысяч китайских глаз лица англичан — очень приметны, до мелочей, до иголки в галстуке, до пломбы во рту. Англичане сидят на повозках рикш, ноги прикрыв пледами. Лица англичан еще безразличнее, чем лица китайских будд. Гологрудые рикши бегут поспешной рысью. Толпа раздвигается перед рикшами англичан. Рикши осаживают англичан перед воротами завода.

— В этом городе тридцать два маслобойных завода, — говорит англичанин другому англичанину. — До главной линии здесь семнадцать километров. Мы проложим сюда ветку. И мы будем брать надбавку к общему тарифу по одной двухсотой даяна с пуда. Смит, подсчитайте, сколько это даст компании?

Мистер Смит откликнулся со своего рикши:

— Слушаюсь, господин Грэй, — я знаю, что сотые даяна имеют свойство превращаться в сотни даянов, а из даянов всегда легко сделать фунты.

— — по ту сторону забора — маслобойный, обрабатывающий бобы завод. На заводских воротах, кроме китайского изречения, маленькая, синим по белой эмали, английская вывеска: «лимитэд» и прочее. Двор маслобойного завода завален горами бобовых мат. В деревянном бараке заводского корпуса, в температуре сорок выше ноля по Реомюру, китайцы работают вручную, китайцы работают голыми. Там в чанах парятся бобы. Туда в чаны их тащат китайцы на тачках, положенных на спины, а не на колесики. Распаренные бобы дымятся белым паром: стало быть, температура пара выше сорока по Реомюру, — пар душит удушьем бобового запаха. В корзинках, сделанных из рисовой соло-

мы, волоком по земле, голые люди тащат распаренные бобы к кольцам прессов. Два голых человека высыпают бобы в кольцо пресса: мышцы голых тел вздуваются до синевы, обессиленные людские зады дрожат мелким горошком под тяжестью горячих корзин. Тот, что приволок корзину, идет обратно за новой корзиной бобов, — тот, что принял корзину бобов в кольцо пресса, прыгает в кольцо и пляшет там на бобах, уминая их, — и пляшет очень дикий и очень поспешный танец, сваривая ноги в пару бобов. Кольцо с бобами наваливают на кольцо, — так до потолка — до потолочной щели, откуда идет свет, — и тогда китайцы свинчивают эти кольца, ломовыми лошадьми, ложась на колья, воткнутые в ворот, — свинчивают кольца с бобами, чтобы выжать из бобов масло. Масло стекает зеленоватыми струйками. Люди тужатся у ворота, ложась на колья, сворачивая их, — и под человеческой кожей ползут желваки синих мышц, а по коже стекает зеленоватый в мути пара — пот.

Англичанин зажимает нос и выходит из прессового отделения.

В дробильном отделении, где дробятся бобы в крупу, в барабанах стоят женщины, или старухи, или подростки, голые, с тряпками на чреслах. Они вертятся вместе с барабаном, посредине барабана, подметая сор и сортируя бобы: на этой работе женщины, — старухи или подростки, безразлично, — меняются каждые три месяца, ибо через три месяца такой работы люди умирают. На эту работу — у отцов и сыновей — женщины покупаются с тем условием, что жалованье выплачивается вперед, отцам или сыновьям.

Глава вторая

Снега нет и земля камениста. О солнце трудно сказать — то ли топором, то ли долотом оно выдалбливает теплоту и краски: на солнце двадцать градусов тепла, в тени двадцать градусов мороза, и тени лиловы, точно мороз здесь лиловый, — а там, где долотит солнце, лучи золота не золотые, а — голубые, блеклые. Непонятно, как солнце может греть, — и можно строить теории о том, что особливость линии и красок восточного искусства

объясняется именно этим голубым солнцем, этим голубым светом. Воздух прозрачен до того, что путаются перспективы. Снега нет, и земля камениста, желтая, блеклая. Небо наверху желто и блекло. Сопки вдали направо и налево за полотнами железной дороги — точно кто-то аккуратнейше насыпал в щели из неба горы песка — желты, облезлы, ненужны, жилье хунхузов.

Там впереди — синие вершины Великого Хингана. Здесь — Китай. Там — Монголия. Там дальше — Урал и Россия, огромная земля многих народов, ушедших в справедливость. Там дальше — Европа, Англия.

У перрона стоит коротенький поезд, три литерных вагона, ресторан, обсервешэн-кар, — площадка с автомобилями — поезд стоит паровозом к Монголии. У обсервешэн-кар спущены шторы, и с подножек на платформу положены сходни, покрытые красным ковром. Обсервешэн-кар существует к тому, чтобы в нем сидеть и любоваться природой, тем, что убегает назад от поезда. Обсервешэн-кар последний в поезде вагон, и задняя его площадка превращена в терраску, где можно посидеть и посмотреть, как все течет. Обесрвешэн-кар — выкрашен в блестящую, синюю краску: — и, если внимательно присмотреться, видно, как под краской скрыты листы стали, — вагон блиндирован до окон: — это к тому, чтоб, если нападут хунхузы, можно было бы спастись, лежа на полу. На перроне перед обсервешэн-кар стоит отряд китайских солдат, в меховых шапках и в ватных штанах.

Полдень. Солнце долотит землю. Ночью была невероятная луна, красная, жестокая, — та, которая предуказывается философией бытия китайского народа и тем таинственным, что делает непонятной в своей пассивности Срединную Республику Голубого Солнца, — но сейчас буденный полдень.

По красному ковру у подножек обсервешэн-кар — в обсервешэн-кар входят англичане, в бобровых шубах и шапках, высокие, белолицые люди. Идущий вперед, самый высокий, говорит начальнику станции:

— Поезд уйдет ровно без четверти час.

Начальник станции отвечает:

— Слушаюсь, господин Грэй.

В коридоре обсервешэн-кар низко кланяется англичанам бой, в белых перчатках и в белой куртке:

англичанам не дано видеть лиц людей желтой расы. Бой снимает пальто с англичан. В салоне обсервешэн-кар, в голубом бархате и в рыжей коже — голубой и рыжий воздух. Англичане садятся в кресла. Бой разливает сода-виски, перед ленчем.

— Олл-райт! — говорит мистер Грэй весело. — Мы проведем сюда ветку. Японцы намечают дорогу параллельно нашей, дорога пойдет южнее нашей линии. Господин Смит, мы сделаем маленькую операцию: мы проведем ветки и к югу и к северу от главной линии. Мы удвоим тариф с северных веток, — а с южных — ну, что же — мы погоним грузы ниже себестоимости, в угоду японцам, чтобы они не трудились постройками дорог! —

Без четверти час, минута в минуту, отряд китайских солдат берет винтовки на караул, чрезвычайно сиротливо играет военный рожок, — и поезд двигается с места. Мистер Грэй идет на терраску обсервешэн-кар махнуть рукой салютующим солдатам, — и безразличным взглядом мистер Грэй окидывает местность — маты бобов у станционного пакгауза, избушку станции, вола у переезда, запряженного в телегу о двух колесах, китайца около вола, сопки вдали, — фанзы, разбросанные по долине и окруженные земляными валами от грабежей хунхузов.

Дальше чин дня и порядков мистера Грэя идет по чинам и порядкам, определенным у англичан от сотворения английского мира. И за ленчем по чинам подают едово бои-лакеи, в белых перчатках и в белых бесхвостых фраках. После ленча чин дня идет в обсервешэн-кар.

Совсем неверно, что у англичан складки брюк должны быть столь же прямолинейны, как проборы волос, а каблуки крепки, как скулы. Их трое в обсервешэн-кар. Волосы одного заброшены назад, как у русского семинара, — и, как у русского семинара, — мочалообразны; он одет в краги, в серый костюм туриста, — и костюм, и краги очень помяты; имя этому — мистер Смит. Мистер Грэй сидит лицом к окну, следит за бегущими шпалами. Серый костюм его — когда-то был блестяще сшит, теперь помят, но все же хранит достоинство хорошего портного, — и достойно хранит твердокаменное тело мистера Грэя, хороший экземпляр че-

ловеческих мышц, выкроенных вволю, чуть-чуть с излишком прошитую нервами. — Третий, маленький, в хаки, сидит за газетой, в очках, философического вида, нога на ногу, откинувшись к спинке кресла. Мистер Грэй не может сидеть не прямо, — этому трудно не прислониться к спинке дивана или стула, — он философ-книгочей.

Мистер Смит стоит над мистером Грэем.

Поезд блиндирован. Блиндированному поезду надо тяжело поскрипывать по шпалам, медленно покачиваться, в солидности стали. Но поезд экстренный, — и он стремится, что есть сил. Поезд идет, в сущности, по пустыне, — во всяком случае — по колонии. В обсервешэнкар сидят — колонизаторы: совершенно не необходимо, чтобы у колонизаторов были пробковые шлемы и по два маузера за кушаком брюк, — эти в мороз сопок выходят в русских бобровых шубах. — Там, за окнами обсервешэн-кар, — чрезвычайно убогое зрелище: пустыня, сопки, похожие на груди китайских женщин, торчащие сосками в небо, желтое небо, — эта дурацкая особенность, когда на солнце жарко, а в тени мороз, — и надо, поэтому, от времени до времени открывать двери кара, чтобы остудить воздух, накаленный в каре солнцем. Изредка в долинах видны крепостишки фанз, все редеющие.

Поезд идет к перевалам Великого Хингана: — там, за перевалами, — Монголия, страна Тимура, никак не знаемая англичанами страна ханов, хошунов, ванов, гунов, бейле, баргутов, дауров, харационов, — страшных степей и пустынь, — никем не знаемая страна древнейших богатств и цивилизаций, величайших победителей и законодателей, — ныне страна песка, выжженного солнцем, неразгаданной истории и неизвестностей.

— Вы философствуете, господин Смит, — говорит мистер Грэй, — моя же философия проста. Я могу думать только о том, что обработано человеческими руками. Этот мост, который мы проехали, для меня гораздо поэтичнее всех китайских фонариков и всех пейзажей Хингана, которые вы так хотите профотографировать.

— Господин Грэй! — громко откликается мистер Смит, — но ведь фонарики также сделаны человеческими руками.

— И зря сделаны, поверьте, — возражает мистер, Грэй. — Я все время чувствую неудобность от того, что

все эти жители говорят на дурацком языке, никому непонятном, и имеют свои обычаи. Я хочу сказать, что для меня поэзией является все, что сделано руками европейца, и мне понятно, как вот этот мост, который мы сейчас проехали. Поверьте, что простая философия нашего философа — (мистер Грэй махнул рукой в сторону третьего, в хаки, сидящего за газетой), — эта философия очень правильна своей простотой. Мы приедем к монгольскому гуну, — так, кажется, зовется их князь — у него есть свои обычаи, своя армия в триста всадников, свои монастыри, и — и свой банк, — так, собственно, банчишко, где деньги он печатает на типографском станке, украденном из России во время русской революции. Так вот, мы приедем, будем с гуном обедать в его дворце, я ему подарю часы, портсигар, английского скакуна... Его чин — Восседающий на шкуре тигра, — я ему подарю пару шкур бенгальского тигра... И я его позову на ответный обед к себе в вагон-ресторан, — и больше мы с ним никогда не увидимся. Да, он мне больше не нужен. Но наш философ поедет к нему еще раз, еще раз руками будет есть конину, — а потом ему и его графам и баронам так тихо предложит организовать, привести в порядок — понимаете? — привести в порядок их банчишко, — быть может, даже мы станем пайщиками. И все. Гуну, с его армиями, некуда будет податься. У нас будет база, вооруженная конниками гуна, потомка Тамерлана и русских татар, — и пусть сколько угодно кричат из Урги и из Москвы русские коммунары. Это — философия нашего философа, потому что он знает простую бухгалтерию и — как вы говорите у себя в парламентах? — теорию финансового капитала? Гун вместе со своими всадниками будет у меня в жилетном кармане. —

Третий, философ в хаки, вылезает из своего кресла, очки он ссовывает на лоб, — и видно, как его хаки старательно измято креслами и стульями, на которых он пересидел за век своего хаки. Философ стоит, заложив руки в карман, молчит и идет в уборную.

Мистер Смит широко машет рукою, откидывая спичку, дымя трубкой.

— Ну-да, — говорит мистер Смит, — вы правы, господин Грэй, для вас тут есть поэзия борьбы, поэзия хитрости, организации. Если вы решили построить желез-

ную дорогу в Монголию, вы должны создать для нее почву. Но разве вас не будет опьянять морская буря, любовь к вашей жене или даже к маленькой японочке? Вы приберете к рукам степи, этого князя, этого феодала, — и все. А я хочу увидеть, как столетья песков Монголии и монгольские табуны, в испуге, побегут от поезда, — я хочу научиться есть по-монгольски так, чтобы у меня не сжималось горло в рвотной судороге. И я хочу понять музыку китайских барабанов... Когда сегодня мы будем переваливать через Хинган, я прикажу остановить поезд на вершине, — и я пойду посмотреть окрест, — потому что это я, Ричард Смит, рядовой англичанин, стою на вершине Хинганского перевала... Ну-да, вы говорили, что для новой ветки придется рвать тоннель. Я приеду тогда на работы, чтобы смотреть, как человеческий труд врывается в недра земли. Завтра, или вообще, когда мы будем в степи, я поеду в монгольские монастыри, чтобы посмотреть лам, — и завтра же я проеду на наши каменноугольные шахты, чтобы посмотреть, как работают китайцы.

Мистер Грэй улыбается саркастически.

— Я видел, господин Смит, как вы сегодня утром на нашем маслобойном заводе зажимали нос, — я не ошибся? — говорит мистер Грэй.

Третий, философ в хаки, возвращается из уборной.

— Вам не кажется, джентльмены, — говорит он, — что вы разговариваете только для того, чтобы разговаривать, хотя у нас есть работы более существенные. Например, надо выпить сода-виски и после виски приступить к совершенно скучному подсчету тарифов с северных и южных веток и также обсудить, какую сумму мы жертвуем на подарки гуну и графам. Я философствую о том, что деньги любят счет, и больше ничего... Кто из вас позаботился о переводчике, при помощи которого мы будем говорить с монголами?

Мистер Грэй встал со своего места, расправляя квадратные свои ноги. У англичан плоская ступня, и рыжие его ботинки на толстой подошве задрали носки вверх.

За окнами на землю светит странное солнце, — у этого солнца, должно быть, небольшое и недоброе серд-

це. И поистине нищенская земля лежит за окнами, нищенски пустая, без единого кустика, засыпанная песком, покрытая иссохшими сопками. И только впереди возникает Великий Хинган, синие горы, отделяющие одну пустыню от другой. Там, меж сопками, и по эту сторону Хингана, и по ту, — живут люди, раскиданные на десятки километров друг от друга, — живут в пустыне, нищенстве, в жесточайшем труде. И солнце на желтом небе идет тем же путем, что и поезд, — на запад, — обгоняя поезд. Невесело, когда кажется, что все время один и тот же пейзаж бежит вместе со стальным скрежетом блиндированного поезда. — Мистер Грэй и третий, бухгалтер, сидят за столом, за счетами, за цифрами, — и у них в руках огромные рыжие паркеровские вечные перья. Перед ними разложены карты и планы. — Мистер Смит меланхолически вынимает из жилетного кармана малюсенький органчик, такой органчик, который может наигрывать всего-навсего «Типерери» — мистер Смит заводит его, прикладывает к уху и меланхолически слушает, наслаждается музыкой; завод органчика разворачивается, — мистер Смит заводит его вновь. — Солнце обгоняет поезд, чтобы уйти за Хинган, в вечном своем пути.

Так идет день в обсервешэн-кар. Вагон-ресторан отделяет обсервешэн-кар от трех литерных вагонов. И там, в этих трех литерных вагонах, кроме людей, засели, — строгая солидность, медлительность, серьезность, портфели, арифмометры, пледы, карты, планы, чертежи: — здесь походная канцелярия начальников службы пути, начальников тяги, движения, прочее. Поезд идет с ревизией дороги, — и курьеры высохшими листьями бамбука, в белых курточках, стоят у дверей, в ожидании распоряжений. На твердых стульях, за зелеными столами сидят начальники и солидность, в карандашах, арифмометрах, в синем сигарном дыму. Здесь готовятся отчеты, выполняются задания, сложнейшая ведется бухгалтерия и арифметика, — о тарифах, о пудо-верстах. Люди, творящие планы, солидность и табачный дым, — растворяющиеся в планах, солидности и бухгалтерии, — все одеты очень солидно в синие форменные сюртуки. Уже отдан приказ, — каждому начальнику после файф-клок-ти — надо идти на доклад по начальству, в обсервешэн-кар. Очень существе-

нен факт, как одернуть сюртук и как ловкое слово сказать пред начальством, — и этим трем литерным вагонам совсем ни к чему — ни долотливое солнце, ни нищенство сопок и китайцев средь сопок: — этим вагонам надо немногое, — надо солидность снести в обсервешэн-кар. Солидная скорость бегущего поезда, — это сделано ими, солидностью их бухгалтерий и расчетом пудо-версто-часов.

Между обсервешэн-кар и литерными вагонами — вагон-ресторан. Солнце обогнало поезд, спустилось к Хингану, солнце скоро уйдет за Хинган, чтобы оставить место невероятностям жестокостей луны, той, по понятиям европейцев, которою определяется ночная философия китайского народа. В семь в вагоне-ресторане будет обед, тогда в вагоне-ресторане соберутся все вместе, и из обсервешэн-кар, и из литерных вагонов. А пока в вагоне-ресторане полумрак. В полумраке бои раскладывают на столах тарелки, ложки, вилки, рюмки и бокалы, и розанами громоздят перед тарелками салфетки. В кухне полыхает плита, на цинковом столе разложены мяса вола, индюшек, рыбы. В кухне очень жарко. Китаец-повар в белом колпаке сгорает перед печью, — около него работает помощник. Здесь нету никакой философии и никакой солидности; люди рубят мясо, чтобы повкуснее приготовить мясо для людей, которые соберутся в солидности умений держать вилки и ножи. За окном поднимается луна. Старший повар смотрит в темноту, козырьком сложив над глазами руку в кусочках мяса, — и повар говорит:

— Проезжаем мимо Ху-Кэ-Шань, — здесь я бегал мальчишкой, здесь мне знакома каждая горка и каждая норушка тарабагана, — но старший повар не успевает договорить, потому что речь его прерывает шипящее масло; повару надо следить за маслом, за мясом, за соусами.

— Ада-Бекир, — говорит старший повар тихо, совсем неслышно в шипении масла, — если монголы теперь оторвут от Китая Шин-Баргу, Хичун-Баргу, если вы оторвете Халха-Голен, Хан-Чандамани-улаин, Цзун-Уцзумучин, — земли Ху-Ке-Шаня пойдут за вами...

Младший повар отбивает обухом ножа мясо, чтобы оно было мягче, — он молчит, склонив голову. Старший

повар знает разницу лиц Востока, и он хорошо знает, почему так крепко стянуты губы и глаза его помощника — монгола Ада-Бекира, героя для него, повара, и для остальных китайцев, и — безличного боя для англичан. Младший повар, как и старший повар, наряжен в белый колпак. Младший повар медленно смотрит в окно и говорит, отвечая, должно быть, своим мыслям:

— У вас, у китайцев, есть притча о том, как один человек стал строить себе фанзу. У него было очень много друзей, и все друзья ему давали советы, как лучше построить дом, и он всех слушал и поступал так, как ему советовали, — и он не построил никакого дома. Так случается даже тогда, когда человек слушает только дружеские советы.

Тогда в кухню входит бой-лакей из обсервешэн-кар.

Он говорит:

— Ада-Бекир, у меня есть новости для тебя.

— Говори, — отвечает Ада-Бекир.

— Старший англичанин Грэй сказал мне, что я буду переводчиком при переговорах англичан с нашим гуном. Ты понимаешь, я должен буду остаться тогда в степи, иначе англичане меня погубят.

— Что же, очень хорошо, ты проводишь англичан к гуну и тогда скроешься. Англичане, все по-прежнему, сидят над картами и планами? — сказал Ада-Бекир. — На перевале поезд остановится, потому что там англичане пойдут гулять. Там меня ждут. Там я брошу поезд и нашими тропинками спущусь в степь. За ночь, на коне я буду в степи уже за сотню верст и я поспею в Дауру к тому времени, когда англичане приедут к гуну. Мы не отдадим Барги англичанам. Ты покинешь поезд, оставшись в Дауре.

Чин вечера идет у англичан, как положено ему идти от сотворения английского мира. За окнами не видны пространства. Не видно, что поезд пополз долинами, обрывами, мостами, выше, выше, к перепадам, к вечному снегу, к холоду, к просторам холода, заледеневшим от луны.

Но там, в просторе вершины перевала, по приказу англичан, поезд стал. Собственно, это был час, когда англичанам надо ложиться спать, — но тем не менее

англичане выходят на снег, к подножкам вагона. Направо и налево от путей, в голубых под луною снегах исчезают во мрак лесистые вершины гор, — но назад и вперед открываются широчайшие просторы мрака Китая и Монголии. Луна светит сорокаградусным морозом, снег лежит твердейшей коркой, камнем под ногами. Мистер Смит идет вперед по снегу. Мистер Смит говорит громко:

— Все же, во мне еще сидит дикарь, все еще сидит древний сакс, который когда-то жег, грабил, насиловал, бил и побеждал кулаком. Там, впереди нас, лежит страна, страна жесточайших войн, жесточайшей крови. Мы идем победить эту страну. Я ничего не знаю про эту страну, — но почему сейчас нигде нет уже таких стран, где можно было бы палкой заставлять людей ходить на четвереньках, палкой заставлять женщин предаваться любви, палкой раздевать женщин?! — Я знаю, я первый не допущу этого, но иногда это бурлит в крови. Какой простор, какая луна, какие дали! Ведь мы стоим на вершине древнейших гор, по которым люди ползли уже тогда, когда Британии не было еще во чреве матери. Теперь здесь стою я, британец, — и мне хочется быть дикарем!

Мистер Смит говорит очень убедительно, — но мороз бессловесно колет еще убежденней. Англичане ежатся от мороза, поскрипывая каблуками в снегу. И вскоре англичане идут в вагон, предоставив величие природы самому себе. Кондуктор бежит от одного вагона к другому, машет фонарем, и поезд медленно двигается, идет, уходит. На шпалах остается тишина ночи, блестит в снегу луна. И около шпал поднимается со снега человек. Человек осматривается кругом, — и тогда человек свистит в два пальца, пронзительно, постепному. И слева, из темных ершей сосен, ему откликаются успокаивающим посвистом. Из темных сосен выезжают всадники. Они ведут в поводу свободных лошадей. На седле одной из них навьючена человеческая одежда. Тот, что остался от поезда, надевает на себя овчинные штаны, высокие, валяные сапоги, меховой — козий — халат, остроконечную шапку, — и он — монгол — ничем не отличим от тех, что приехали встретить его. Густогривые, низкорослые лошади,

промерзнув, непокойно поматывают гривами. — И люди мчат над обрывами, горными тропинками, ведомыми только им.

Глава третья

Всадник стоит у железнодорожного переезда. Лошадь его мохната, низкоросла, большеголова, — лошадь испуганно смотрит на поезд, ставший перед станцией. На лошади сидит монгол, — он сидит на лошади, как сидят все монголы, сгорбившись, высоко подобрав ноги, некрасиво и в то же время так, что он кажется слитым с лошадью. И монгол безразлично смотрит на поезд, — так он может смотреть часами, не шевельнувшись, не мигнув. — Из поезда выходят люди, люди идут к автомобилям, стоящим перед станцией, — и монгол быстро-быстро мигает. Люди сели в автомобиль, — и тогда лошадь монгола стремительно, закидывая ноги за опущенную голову, мчит через пристанционный китайский поселок, мимо монгольского поселка — в степь.

В поезде, в обсервешэн-кар англичане очень внимательно просматривают свои браунинги и кладут их в карманы шуб. Англичане уже одеты в шубы и шапки. Шуба третьего распахнута, из-под нее торчит хаки, очки его сердиты, он говорит четвертому. Этот четвертый стоит у дверей с шапкой в руках, в форме железнодорожного чиновника, с лицом русского. Лицо русского расстроено и красно.

— Сто чертей! — говорит философ от бухгалтерии, — вы — инженер, мы доверили вам ответственнейший участок. А вы докладываете, что у вас сбежал агент и что у вас не осталось своего, доверенного, хорошего переводчика. Мы совершенно не знаем, как умеет говорить по-монгольски наш бой.

Инженер отвечает не громко:

— Здесь почти невозможно работать. Монголы срывают всю работу. Этого агента я готовил несколько месяцев, он был совершенно предан. Только вчера вечером я говорил с ним. Ночью он исчез. Я не понимаю, куда он делся, никто его не видел.

Инженера перебивает третий, философ от бухгалтерии:

— Но откуда монголы узнали, что приедем мы? Были какие-нибудь телеграммы? Этот знал о нашем приезде?

— Я уже показывал вам телеграммы. Как я докладывал, одна из них была Ада-Бекиру, молодому монголу, которого подозревают в революционных идеях и который был и в Урге и в России, — но из этой телеграммы ничего нельзя понять.

— Хорошо, — говорит философ бухгалтерии, — идите распорядитесь машинами, мы выйдем через две минуты.

Когда начальник дистанции вышел из обсервешэнкар, третий сказал раздумчиво:

— Какая-то ерунда, непонятно. Вы знаете, джентльмены, что ночью от нас с поезда сбежал поваренок, которого подозревают в том, что он был монголом. Но, все равно, мы едем. — Бой! — крикнул философ бухгалтерии, — оденьтесь потеплее, вы поедете с нами переводчиком к гуну.

Солнце долотит землю, на солнце жарко, а в тени — мороз, и тени лиловы, точно мороз лиловый. За переездом лежит беспредельность степи, бестенная, выжженная морозом и солнцем. В первом автомобиле садятся англичане, начальник дистанции и переводчик. На второй автомобиль садится китайская охрана. — Автомобили рявкают, поворачиваются, — непонятною монголам силою движутся к переезду, где только что стоял всадник. И в китайском, и в монгольском поселках детишки вместе с собаками, в крике и визге, летят врассыпную. Лошади в монгольском поселке лезут на стены, волы и овцы бегут перед автомобилем, не сворачивая его рявкам. И только караван верблюдов за околицей покоен перед автомобилями — в медленном своем шаге перед долгими путинами пустыни, в медленном позвякивании колокольцев на змеиных верблюжьих шеях. Автомобили кроют землю стремительной солидностью.

В поселках были теснота переулков, — пестрота лаков и красок, шум гонгов и голосов, и теснота людская — в китайском поселке, — и — единая — просторная — краска выжженной солнцем тишины и пустыни — в поселке монгольском. Пылится пыль и несет запахи азиатского города, прокислые, протухлые запа-

хи. — И за околицей сразу распахнулась степь — беспредельная широта степи, пустыни, казалось, не тронутой человеком, никем нехоженной, первобытной, широкий плат степи, чуть вскачнутый холмами, чуть смятый балками, — плат степи, прожженной, испепеленной солнцем так же, как лица монгол, — широкий беспредельно, пока хватает глаз.

— Если господа англичане пожелают, мы можем по дороге заехать в монгольский монастырь, где господа англичане увидят монгольских лам, — говорит бой-переводчик.

Англичане решают заехать туда на обратном пути.

Мистер Смит толкует:

— Вы знаете, — говорит он, — каждого первенца монголы отдают в монахи, в ламы. Ламы околачиваются около своих монастырей, ничего не делая, существуя за счет подаяний. Ламы считаются полусвятыми, и к ламам монгольская мораль посылает всех монгольских женщин, с которыми ламы священно совокупляются. Было бы совершенно неплохо побыть месяца три ламою. —

Вдали на холме в степи видна красная, крашеная колода, около которой стаей лежат собаки.

— Что это такое? — спрашивает мистер Смит.

Переводчик неохотно отвечает, говорит, что это монгольское кладбище.

— А, я читал об этом! — восклицает мистер Смит. — Монголы выкидывают трупы в степь, и собаки подъедают их. Эти собаки считаются священными псами. Поедемте посмотреть.

Автомобили идут к колодам, — собаки неохотно отбегают от автомобиля. Около колоды лежит человеческий труп, труп, почему-то без головы, труп раздет, труп изорван собаками. Мистер Смит усердно фотографирует и колоду, и труп. Мистер Смит просит мистера Грэя увековечить его, мистера Смита, около трупа — фотографией.

И опять стремительной солидностью мчат автомобили по степи. Холодно. Автомобили идут в Дауру, в столицу хошуна Шин-Барги, в Кувот-улан. Солнце долотит землю, широко раскидывает горизонты, но в автомобиле холодно, монгольское солнце — для англичан — имеет небольшое и злое сердце — надо потеснее закутаться в шубу, помолчать, — можно помолчать и

подумать о тех тысячах километров, что полегли вперед, направо, налево, — о тех тысячелетиях, что прошли по этой пустыне монголами, аджиками, татарами, гуннами, золотыми и кровавыми эпохами, даже Александра Великого манившими в эти пустыни, которые когда-то были властительнейшими в мире и теперь уничтожены злым солнцем пустыни. Однажды — за путь автомобилей — вдали в степи возник всадник и исчезнул сейчас же в балке, и из балки тогда поднялся серый столб дыма; и далеко впереди тогда, чуть заметный, второе появился столб дыма: — кто знает, быть может, и в этой бестелеграфной степи эти дымы были телеграфами тысячелетий?

И через часы автомобили приходят в мертвую тишину степного хошуна. Должно быть, автомобили вступили сюда так же, как вступает чума, потому что в глиняной тесноте переулков, серых, как степь, умерла жизнь, ни человека, ни лошади, ни звука, — только на порогах лавок сидят безмолвные, невидящие купцы, поджав под себя ноги и остановив время неподвижностью. Выбитая тысячами конских и воловьих копыт и тысячами человеческих ног, прошедших здесь, скованная морозом земля улиц гудит под автомобилями, но улицы и глиняные дома не видят автомобилей, не хотят их видеть.

Автомобили идут к крепости, где живет гун. Вал из серого камня тяжелой стеной окружает крепость. Рвы, полные водою, ныне заледеневшей, окапывают крепость. Автомобили подъезжают к мосту, перекинутому к воротам через ров. Китайская стража англичан берет винтовки на караул. Обитые железом ворота — безмолвны, глухо закрыты. Переводчик, вместе с начальником дистанции, выходит из автомобиля первым, они идут к воротам с полудюжиной английских визитных карточек. Англичане выходят из автомобиля.

И тут англичане видят — —

— — на столбе, на колу, направо от перил крепостного моста — на кол надета человеческая голова. Голова, должно быть, только сегодня или сегодня ночью отрублена, потому что кровь еще не потемнела, еще не запеклась; лицо ужасно, с разинутым ртом, — лицо замученного человека.

Крепостные ворота уже открыты перед англичанами. — Лица англичан растеряны, мистер Смит стоит с открытым ртом, забыв о фотографическом аппарате.

— Господин Грэй, господин Грэй, — шепчет растерянно начальник дистанции, — я должен вам сказать — —

— Идемте, господа, — покойнее, чем следует, говорит мистер Грэй. — Вы потом мне доложите, господин начальник! — —

Впереди мистера Грэя идет — третий, философ бухгалтерии. Англичане идут мостом, под воротами, первым внутренним двором, вторым. — «Господин Грэй», — шепчет начальник дистанции. — «Вы потом мне доложите, господин начальник!» — кричит шепотом мистер Грэй. Англичане проходят второй двор, третьи ворота. Англичанам трудно видеть то, что вокруг них. Неслучайно — в машинальности — руки англичан в карманах, там, где револьверы. И — неслучайно в этот миг лица англичан похожи на те маски, в которых разыгрывались когда-то мистерии, зажатые в наморднике английской выдержки. Англичане идут, окруженные толпою монголов: кислый запах — национальный запах — монголов уже объял англичан. Англичане идут в масках. За третьими воротами стоит дом покоев гуна, где разостланы шкуры леопарда, на которых восседает гун. Англичане ничего не видят после глаз того, посаженного на кол: они не видят, что дом, где «восседает» гун, — такой, каких очень много в России, дом средней руки купца, под железною крышей, 12 на 24, с крылечком, где в галдарейку вставлены цветные стекла; они не видят, что небольшой дворик чистенько выметен, посыпан песочком, — что есть у дома заваленка, приспособленная для сиденья на ней. — Ступеньки крылечка покрыты коврами. На вышитом золотом ковре стоит гун, в шапочке мандарина, с усами, свисшими тоненькими седыми шнурочками, в голубом — небесного цвета — юбко-подобном халате. Округ гуна стоит толпа его придворных, его военноначальников, советников, министров, баронов, графов, бейле, бейсе. Мистер Грэй хочет увидать лицо гуна: оно сухо и выжжено, как камни пустыни, — и безвыразительно так же, как камень. Гун — безвыразительно — не глядя на гостей, — не-то от старости, не-то по чину — кланяется

песками своего лица, одними глазами, которые смотрят долу и медленно закрываются. Англичане кланяются гуну в пояс. Толпа придворных отвечает англичанам поясным поклоном. Гун протягивает руку мистеру Грэю (— «как узнал гун, что он, мистер Грэй, старейший среди англичан?!» —), — гун протягивает руку, чтобы мистер Грэй в благоговении ее пожал, — рука гуна бессильна. Англичанам трудно видеть, и они не видят, что рядом с гуном, в свите гуна стоит тот человек, что был вчера у англичан в поезде помощником повара; он наряжен сейчас в лиловый кафтан, и за поясом у него косая сабля; он выступает вперед, кланяется и говорит переводчику англичан, тому, кто был вчера у англичан лакеем:

— Передай собакам англичанам, — говорит сладостнейший монгол, вдвое складываясь в поклоне, — передай собакам, что повелитель Шин-Барги, восседающий на шкуре леопарда, просит англичан пожаловать в его покои на самовар.

Англичане не понимают, что говорит драгоман. Начальник дистанции смотрит на мистера Грэя умоляюще, — и вслед за ним, в толпе, идет в дом, в горницу, где на канах разостланы шкуры леопардов — —

... Можно было бы пойти по крепости, посмотреть замороженные века прошлого. Англичане не могут смотреть — перед ними глаза того, на колу. А можно думать о тех — или остатках, или зачатках государственности, феодальщины, которые, как в молекуле, отражают все и всяческие качества всех и всяческих государственностей; англичане прошли мимо первых ворот и заметили там только колья с человеческими головами, которые рубятся и вешаются судом и приказом гуна; гун живет за крепостными стенами, — не существенно, что эти стены развалятся от первого удара полевой пушки, — гун живет за охраной своей армии, — на конном дворе стоят скакуны гуна, — там его псарня и там холятся его соколы, те, с которыми он выезжает на соколиную потеху; во внутреннем дворе гуна есть подземелья тюрем, в подземелье есть закута, где пытают людей судом и приказом гуна, — и там, — случайно рядом с подземельем тюрьмы — стоит печатный станок, украденный из России в дни русской революции, станок, на котором печатаются деньги и

приказы гуна; на третьем дворе — покои гуна, гарем, жены, дети; и на первом дворе, и на втором дворе, и в стенах крепости расположены казармы всадников гуна; за первыми воротами на первом дворе, где налево казармы, направо расположились в доме, похожем на рабочие казармы и обмазанном глиною, — расположились правительственные учреждения гуна, его судебные, податные, финансовые приказы, и там хранятся толстые фолианты, написанные по-китайски кисточкой — фолианты, в коих писаны и история Шин-Барги, и гуна, и предания, и грамоты войны и мира с соседними племенами, и перечни данников, и перечни родов и знати, и перечни подданных, и что с кого, с какого улаину причитается гуну на суд, на войско, на правление, причитается деньгами, лошадьми, волами, трудовой повинностью... — здесь можно увидеть молекулу всяческих государственностей! — но англичанам невозможно думать, в наморднике из нерв — —

В приемной гуна, где лежит множество шкур леопардов, топится голландская печь, очень обрусевшая за годы своих скитаний по России от Голландии до Монголии, — в потрескавшихся кафелях, очень уютных, раскрашенных зелеными овечками и пастухами, в изреченьях на немецком языке. По стенам в горенке висит с дюжину стенных часов, из коих иные молчат, а иные тикают всеми голосами и басами. По стенам развешаны изречения великих людей Монголии и Китая. Гун восседает на леопарде. Англичане в толпе вельмож гуна стоят перед гуном. Слуги вносят стулья и круглый, почерневший от времени стол.

Мистер Грэй говорит через переводчика длинную речь, заготовленную еще задолго. Мистер Грэй говорит тихо. Вот начало этой речи:

— Великий гун, великий, восседающий на шкуре леопарда! Мы, правление новой дороги, приехали поклониться тебе и твоим вельможам, приехали привезти тебе подарки и дружески договориться с тобой о том, чтобы в дальнейшем мы жили в дружбе и мире под твоим руководством и по твоим советам. Дело в том, что наша дорога упирается в твои владения, проходит по твоей земле, и мы — —

Лицо гуна — как выжженный солнцем камень. Гун сидит с опущенными глазами, глаза гуна прикры-

ты желтыми веками, невидны. Гун неподвижен, непроницаем. — Слуги на круглом столе расставляют круглые китайские чашечки и мисочки, раскладывают китайские палочки, которыми, едят, — против тех мест, где сядут англичане, кладут вилки, никогда не мытые и не чищенные. — Когда переводчик заканчивает перевод речи мистера Грэя, гун встает с леопарда, гун идет к иероглифам изречения, написанного на стене, долго смотрит безликими глазами на это изречение и говорит:

— Этот манускрипт мне подарил китайский император Пу-И, ныне живущий уже без престола, отрекшийся от престола, когда ему было три года. Император Пу-И написал мне: — «я слышал, как поют птицы, — голоса птиц везде одинаковы: — почему же люди говорят разными голосами и разными словами?» —

Гун идет занять свое место у круглого стола. Одна единственная стоит на столе бутылка коньяка, не настоящего, подделка из Фудидяна. Гости и гун садятся за стол по-европейски, на стулья и на табуреты. И на стол несут бесконечный черед китайских кушаний — трепанги, гнилые яйца, прогнившие до того, что они стали зелеными и прозрачными, свиные выкидыши в бобовом масле, — и еще десятки таких же, несъедобных для европейца, блюд. Англичанин через переводчика сообщает гуну, что, кроме шкур леопарда, он делает ему подарок английским скакуном, белой масти, — гун, в знак того, что он слышит, медленно мигает глазами, — руки у гуна медленны, сухи, узки, и пальцы — в той красоте, которая у европейцев считается аристократической — необыкновенно длинны.

Но китайские кушанья — только начало обеда. Англичане теряются в тех чашечках и мисочках, что стоят перед ними, — и из каждой мисочки трепангами, лягушками, бобовым маслом — глядят на англичан глаза отрубленной головы. — Слуги приносят самовар, прародитель российского — медный, позеленевший, он шипит и кипит, — совком в него кладут угли. И на деревянных лотках слуги приносят тончайше нарезанные ломти конины, говядины, куски мяса гусей, кур, дроф, дикого кабана, дикой серны. И гун собственноручно кладет мясо в кипяток самовара. Гун сыпет туда соль. Гун сыпет туда перец, имбирь, лук, чеснок. Гун

льет туда бобовое масло. Все это кипит в самоваре. И тогда гун кладет мясо из самовара на стол перед каждым гостем, собственноручно, чтобы гости ели мясо — уже по-монгольски — руками. Глаза гуна немигающи. Часы на стенах бьют вразнобой, басами, кукушкою, пищат, хрипят. Гун говорит через переводчика, что он дарит мистеру Грэю лучшего своего белого скакуна. Мистер Грэй просит гуна пожаловать к нему в поезд завтра на обед. Гун медленно мигает в знак того, что он слышит. Мистер Грэй — через намордники, издалека — через переводчика интересуется банком гуна и его валютой и предлагает вступить пайщиком в банк гуна. Гун — не мигает — в знак того, что не слышит.

Тогда мистер Грэй под столом получает записку от начальника дистанции. Начальник пишет карандашом: — «Ваше превосходительство, господин Стивен Грэй, — я нахожу необходимым потревожить вас. Та голова, посаженная на кол — моего агента, который исчез сегодня ночью». — Мистер Грэй окидывает взглядом своих спутников, — они бледны, они давятся кониной. И первым движением мистера Грэя было встать, побежать. Но — он сидит в наморднике. Он уже ничего не видит. Он покорно берет конину руками. Потом он пьет монгольский чай, который варится с солью, с пшеном и с бараньим салом. Он покорно рассматривает старинное оружие гуна, сабли, копья, луки, — рассматривает лук и стрелы, оставшиеся, по преданью, от Тимура, одним из потомков которого считает себя гун. Гун сидит неподвижно, немигающие его глаза смотрят пустыней. Гун ничего не ест, — но вельможи гуна ловко цапают руками горячее мясо и ловко его засовывают в рот, сгибаясь над столами, порыгивая, облизывая пальцы. Англичане едят поспешно, не глядя, что едят. Англичане уже ничего не говорят. Гун заводит граммофон с китайскими пластинками, которые на ухо европейца кажутся вырождением музыки. Часы кукуют, басят.

Тогда на подносах из меди слуги разносят англичанам визитные карточки гуна и его графов и баронов: визитные карточки монголов вчетверо больше нормальных, они исписаны иероглифами. Тогда — чин обеда закончен, и англичане могут идти.

Англичане идут к выходу поспешно, табунком, опустив головы, поспешно простившись. Гун и его свита

провожают англичан до ворот. Англичане не видят, как их охрана берет на караул. — Англичане садятся в автомобили. Когда пустая улица поселка осталась позади и кругом широким пологом распахнулась степь, мистер Грэй останавливает автомобиль, выходит из него. Мистер Грэй всовывает два пальца в рот и тошнится, — затем из термоса он пьет касторку, разведенную черным кофе, — лицо мистера Грэя бледно, глаза залиты слезами, — лицо его постарело лет на тридцать, указало, что он уже очень не молод. Тогда остальные англичане также слезают, чтобы тошниться. Переводчик-бой спокойно стоит у крыла автомобиля — он говорит покойно:

— Господа англичане желали на обратном пути заехать в монгольский монастырь посмотреть лам. Господа англичане прикажут свернуть туда? —

Мистер Грэй бессильно машет рукой, слабо смотрит, — «нет, нет, довольно, я уже видел. Я хочу домой, в вагон. Пожалуйста скорее».

И автомобиль рвет пространство стремительной быстротой, без всякой солидности. Мороз перед закатом золотится уже не солнцем, а черствым холодом — англичане сидят съежившись, засунув носы в воротники, засунув руки глубже в карманы...

...В голой степи, за невысокими рвами расположились храмы монгольского монастыря. Горбун-лама, изъеденный оспой и сифилисом, стынет у ворот. В первом храме направо и налево от алтаря сидит по паре чрезвычайно страшных, нечеловекоподобных и все же человекообразных, вырубленных из дерева в два человеческих роста — богов; у богов торчат наружу языки и клыки; глаза их выкатились в свирепости из орбит и раскрашены кровью; брови их ужасны; на лбах у них рога; в руках у них огромные мечи и дубины; под ногами у них, в корчах страданий, человеческие фигурки — — это чертоподобные боги охраняют алтарь от злых духов и злых людей, отгоняя, устрашая их страхом ужасных своих рож. — Горбун-лама стынет у ворот; затем он идет в храм и бьет там в гонг, чтобы боги услыхали его молитву и то, что он стережет усердно...

...Автомобили англичан стремятся к поезду...

. . . .

Вечером англичане сидят в обсервешэн-кар —устало, в пижамах после ванной. В обсервешэн-кар очень натоплено, чтобы англичане могли отогреться после морозов дня. Вокруг обсервешэн-кар стоит усиленный наряд китайской охраны. — Англичане молчат.

— Ну, что, как ваши проекты? — говорит устало мистер Грэй третьему, философу бухгалтерии, — наш бой-переводчик тоже сбежал? его тоже посадят на кол, как вы думаете? — или он просто агент монголов? — ведь начальник дистанции говорил, что переводчики не называли нас иначе, как собаками-англичанами, — начальник дистанции, к несчастью, знает несколько слов по-монгольски! — Как ваши проекты? —

Третий, философ бухгалтерии, отвечает злобно. Лицо третьего теперь никак не сонно, выправилось, не стало походить на его хаки, и очки сидят твердо.

— Что же, — говорит он, — у нас есть и иные средства, должно быть, более портативные для дикарей. Посмотрим, что покажет завтрашний обед у нас, — я поговорю здесь с монголом чистосердечно, без шуток с отрубленными головами. А что касается того, что мы собаки...

— Тем не менее, — перебивает философа от бухгалтерии мистер Грэй, — собаки пока съели в степи нашего агента, который, кажется, был достаточно куплен нами.

— ...А что касается того, что мы собаки, — говорит философ от бухгалтерии, — то нам из их морали шуб не шить. — Населения здесь столько-то, — посмотрите цифру в моей записке, скота столько-то, — площадь земли. — Расчет ясен. Если мы бросим сюда десять тысяч фунтов стерлингов — —

...но тут происходит невнятное, такое, что поняли англичане только тогда, когда поезд стремительно, забыв о сигналах и стрелках, мчал за Хинган, — в ненужной, конечно, и в истерической поспешности — —

За вагоном тогда зашумела толпа. Дежурный пришел в обсервешэн-кар и доложил, что монголы привели коня, подаренного гуном мистеру Грэю, и хотят его передать лично мистеру Грэю. Мистер Грэй вышел на площадку, спустился па перрон. На перроне толпились всадники: лошади, в золотом и серебром расшитых чепраках, храпели перед поездом. Старик, вельможа

гуна, сидел на лошади, точно родился вместе с лошадью. Лицо старика было таким же, как лицо гуна, — как выгоревшие камни пустыни. И дикий степной конь его, — им надо было любоваться, — был, должно быть, одним из лучших коней, живущих ныне на земном шаре. Старик слез с коня, — и слуга повел коня к мистеру Грэю, слуга поклонился мистеру Грэю и передал ему повода лошади, склонившись в пояс перед мистером Грэем. Мистер Грэй заговорил по-английски о том, что он благодарит гуна, но мистер Грэй не договорил, потому что рядом грянул выстрел. Пуля, должно быть, прошла прямо в мозг лошади, повода от которой были в руках мистера Грэя, — потому что лошадь не успела даже стать на дыбы, сразу пала на землю, окруженная всадниками, взлетевшими вверх на дыбах своих коней.

Больше выстрелов не было, через момент не стало на перроне людей, ни монголов, ни китайской охраны, и лежала только мертвая, — прекрасная белая лошадь. Мистер Грэй слабо отдал приказ готовить поезд к отходу. Лошадь лежала на перроне. На перроне не было ни души. И тогда из-за станционной избы выбежал в нечеловеческой стремительности человек, — он бежал в обсервешэн-кар, он споткнулся о белую лошадь, вскочил и прыгнул в обсервешэн-кар. В обсервешэн-кар вбежал начальник дистанции. Начальник дистанции, инженер, вылезшими из орбит глазами осмотрел англичан и прошептал: — «скорее, скорее, — я вырвался из рук монгол, выбросился из окна, — там остались мои дети и жена, — скорее, скорее, идемте, — помогите!» — в этот миг поезд тронулся, скрежетнул сталями блиндажей. Одинокая какая-то пуля в этот миг ударилась в окно обсервешэн-кар, разбила стекло, пропела. Англичане повалились на пол, прижались к ковру. Третий, философ от бухгалтерии, крикнул визгливо:

— Полный, полный ход! вперед, все пары, эй, кто там, скорее!

Над англичанами стоял начальник дистанции, человек с лицом якута, — человек шептал:

— Скорее, скорее, — там остались женщина и дети, идемте!

— Полный, все пары вперед! — завизжал, завыл в свирепой злости, рожденной трусостью, философ бухгалтерии, — и замолк, прижавшись к ковру, спрятав голову.

Глава последняя

...Степь в ночи — черна, беспредельна, луна над степью идет мертвецом, там в высотах та луна, которая, на глаз европейца, предуказывается философией бытия Азии. Европейцу степь — пустыня, — монголу степь — родина. Тогда, той ночью, когда монгол Ада-Бекир оставил на Хингане поезд, всю ночь мчал на коне Ада-Бекир.

За горами была степь стремительных гонок, — были широкий простор степи, ушедшей во мрак, льдышка луны в небесах, сигналы звезд, — были — храп коня, запах пота коня, ветер стремления, повода в руках — видна была опущенная голова коня, прижатые уши коня, грива коня, летящая по ветру, — а в человеке на коне были: — огромное сердце и ветер. — И сердце, и мысли, сквозь мрак ночи, сквозь тысячи километров степи — видели — и дни Тамерлана, дни свобод и величия Монголии, и дни беспредельного будущего, и дни крови, и дни горечи, и дни радости, — видели степь, полыхающую кострами восстания, слышали топот всадников во мраке, скрип повозок, — и чуяли, чуяли кровь братства, смерти за братство, за верность, за долг, за свободу, чуяли радость и мужество братства, связанные свободой и кровью.

Кони мчали до хрипоты: тогда всадники меняли коней и мчали дальше, не изменяя своей воле, в огромном сердце, где виделись стоны, вопли, плачи и крики — крики радостей, побед, крики скрипов обозов, и конского топота, и гика толпы... В тот час, когда над степью едва-едва стало светлеть небо и рассыпались звезды, когда в степи стало еще темнее, как всегда за час до рассвета, — всадники примчали в степной умет. Там в балке стояло несколько глиняных изб, где жили оседлые монголы, — а вокруг изб расставились юрты — прикочевавших сюда из степи. В этом умете никто не спал этой ночью, но огней в умете не было. Собаки за-

долго до того, как стали слышны шумы умета, всем своим рассказали о нем. Всадники встретили путников, далеко выехав навстречу в степь. И топот коней заглушил тогда сердце и мысли — подлинным топотом восстания, подлинным гиком восставших. Люди собрались в глиняной избе. В избе было очень тесно, люди сидели на канах, стояли на полу, стояли у дверей наружи. В избе было очень молчаливо и тихо, как и должно быть, когда говорить, в сущности, не о чем.

И разговоры — коротки.

— Теперь или — никогда — —

— Сейчас же все на коней, и в степь, по улаинам, хошунам, аулам, уметам, — вся степь на коней — —

...В глиняной степной избе, — тихо, не многоречиво, молчаливо.

Солнце еще не встает над степью, еще лиловая ночь. Безмолвствует крепость гуна. У ворот крепости спят часовые. Тогда к воротам подъезжают всадники. У ворот стонут люди, — «ты — монгол, и ты — предатель?» — и на колу у ворот возникает человеческая голова — на колу. — «Труп — собакам, на дорогу, где поедут англичане, — пусть смотрят англичане». — И еще подъезжают всадники. Ворота крепости уже отперты. Всадники едут в крепость. Гун ожидает в своих покоях, там, где разостланы шкуры леопарда. Гун совсем не похож на выжженные солнцем камни пустыни. Гун стоит прямо и смотрит орлино — на этих, вошедших, восставших.

— Садитесь, — говорит гун, — и садится сам, совсем не на леопардьи шкуры, а попросту на землю пола, подобрав под себя ноги. Люди садятся вокруг него, так же на полу, так же подобрав под себя ноги, опустив руки.

— Закурим, — говорит гун, — и закуривает длинную тонкую трубку, старенькую, выложенную серебром, не спеша. Люди также закуривают. Слуга приносит и ставит посреди круга, образованного людьми, глиняный чан с горящими углями.

— А англичане? — спрашивает гун.

— Ты — старый, гун, — ты умный и хитрый. Было время, когда ты с китайцами правил против нас. Ты знаешь, — на колу около твоей крепости уже сидят головы предателей, — это мы говорим тебе.

— Хорошо, — говорит гун. — Но у англичан есть пушки.

— Да, — отвечают гуну. — Но у нас есть право и степь. У нас есть священный обычай гостеприимства. Ты встретишь англичан и примешь их. А они поймут, что значит человеческая голова на колу. Наш выбор не велик. Ты сказал об англичанах в Китае.

— Хорошо, — говорит гун. — Ты Ада-Бекир, — ты поднял восстание? Ты приехал с англичанами, — ты и примешь англичан, — ты и проводишь их. А сейчас я хочу спать. И вы ложитесь спать.

. . . .

...Конь храпит под всадником. Ночь. Скоро будет рассвет. Всадник сросся с конем. В ночи и во мраке, в степи — через мрак и степь — всадник видит шумы восстания, скрип повозок, крики и топоты всадников... Над степью в огромных далях горят костры вех, дымят вехи, отдаленные слышатся вои собак... и — безмолвная тишина в степи, извечная. Конь храпит под всадником.

Огромное солнце поднимается над степью. Все члены всадника онемели от беспрерывной скачки, храпит конь. Солнце поднимется красное, круглое, громадное, — и всаднику понятно, что для него, для монгола, — у этого монгольского солнца — большое и доброе сердце.

— — в этот час в китайском городе на бобовом заводе — бамбуковыми палками надсмотрщики будят на работу — китайцев, спавших на бобовых матах... В храме, кинув копейку в ящик чертообразному богу, молельщики дубасят в гонг, чтобы чертоподобный бог услыхал их молитву. Над муравейником улицы еще не возникли шумы дня и из переулков течет удушливый запах опиума.

Токио. Тансумачи.
Май 1926 г.

КИТАЙСКАЯ ПОВЕСТЬ

Глава первая

...Я стою на берегу Ян-Цзы. Во всем мире одинаково детишки строят из песка песчаные города, в России тоже. Китайские деревни похожи на это детское строительство: плоскокрышие глиняные дома, глиняные заборы, лессовые желтые переулочки, — все, выжженное желтым солнцем. Говорят, некоторые породы термитов также строят термичьи свои города. Европейцы любят китайцев сравнивать с термитами и с желтыми муравьями, потому что китайцев везде очень много, и — на глаз европейца — во-первых, стирается индивидуальность каждого в отдельности китайского лица, а, во-вторых, непонятно, куда, зачем, откуда идут эти бесконечные китайские толпы. Эта китайская деревня, имени которой я никогда не узнаю, тянется на десяток верст. Другого берега Ян-Цзы почти не видно, эта река раз в пять шире Волги, река, где ходят океанские купцы и броненосцы; — по реке, под деревянными своими парусами, — на глаз европейца задом наперед, ибо корма поднята, а нос плосок и опущен, — идут сампаны. На рейде дымит английский канонер.

И вот я слежу. В желтой воде, похожей на перепрелый чай, около берега плывет труп китайца. Лицо его опущено в воду, видны коричневая спина и синие штаны, труп распухнул, — вода несет его с величайшей медлительностью, покойно покачивая. Берегом я иду за трупом. Волна прибила его к берегу. Старик-китаец, — должно быть, рыбак, — голый, прикрывший лишь чресла синей тряпкой, в соломенной шляпе, похожей на зонтик, — длинным бамбуковым шестом отталкивает труп от берега. Труп вновь подплывает к земле. Старик

вновь отталкивает от земли. Труп покойно качается на воде, плывет ногами вперед, попал в воронку течения, трижды повернулся, покачался и поплыл вперед головою; глупо, но надо сознаться, — спокойнее видеть, когда труп плывет головою вперед; но, должно быть, были некие физические законы течения воды и течения трупа, потому что каждый раз, успокаиваясь, труп начинал плыть вперед ногами. — Ян-Цзы-Цзян — Великая Китайская река — —

...Я живу на сеттльменте, на международной «концессии». Под окном дома, где я живу, течет рукав Ян-Цзы — Ван-пу, весь в пароходах, волнах, дыму, сампанах, потому что этот город — самый большой из всех городов, лежащих по берегам Великого океана, бо́льший, чем Сан-Франциско, громадный порт, куда приходит ежедневно до ста пароходов океанского тоннажа, — громадная рана, откуда вытекает кровь Китая, выкачиваемая насосом Ян-Цзы, — прореха китайских великих стен, в которую вместе с английскими пушками и дредноутами идут и университеты, и знания, и рабочие союзы, и зори революций. Дом, где я живу, стоит на слиянии Ван-пу и Нанкинского канала. Этот канал сплошь заставлен сампанами, маленькими лодками с крышами. На таких лодках живут китайцы, тысячи людей, всю жизнь, семьями, привязывая голых детей, как щенят, на ремни, чтобы они не упали в воду. Непонятно, когда китайцы спят. В полночь, когда начинается прилив, сразу все китайцы начинают кричать, — тогда становится страшно в этой непонятности, в этой темной ночи, такой темной, каких в России не бывает. Но у самого моста стоят три больших сампаны: это временное кладбище: богатые китайцы должны быть похоронены у себя на родине, в родовой могиле, так требует религия почитания предков; умерших в этом городе свозят на эти сампаны, гробы ставятся этажами, пока сампана не полна, — тогда сампаны развозят гробы по каналам небесной республики. И вечерами, когда стихает ветер, в липкой мути этой невероятной жары, которая уничтожает у меня всякую силу, липкий запах мертвецов ползет по мосту, по каналу, окутывает дом. Вечерами по мосту гуляют проститутки, исключительно европеянки, мост ведет к порту, — и английские и

американские матросы уезжают с проститутками на ломпацо, единственных, кто здесь бегает со скоростью лошади. Матросы, сплошь говорящие по-английски, называют проституток — «чиккен» — курами. Против дома на рейде стоит американский дредноут... — Если китайская культура так же отстоянна, как китайские запахи, то это ужасно: весь Китай пронизан запахами гниения, гнилого, плесени, всяческих отбросов, тухлого мяса, бобов, бобовых масел. Гниль вошла даже в кухню, ибо одним из сладостнейших блюд суть куриные яйца, которые гниют в земле по нескольку лет, превращаются в зеленый янтарь гнили, потерявший вкус яиц, пахнущий тленом и съедаемый с наслаждением. Китайцы человеческими отбросами, человечьим пометом удобряют землю. В этом городе, даже в европейских кварталах, нет канализации: на рассвете из-подо всех домов, в прутяных кошелках, руками, китайцы стаскивают отбросы на каналы, в сампаны: сампаны отвозят навоз на рисовые поля, но на рассвете в городе нечем дышать — —

...Вырезки из местной английской газеты:

«Уборка трупов.

Начальник китайской полиции полковник Иен Хун-мин издал приказ, вменяющий в обязанность произвести погребение всех трупов, которые в большом количестве находятся сейчас на полях вокруг города, прикрытые соломой или тонкими досками.

Ввиду страшной жары трупы гниют, распространяют зловоние и заразу.

Начальник полиции предлагает в трехдневный срок зарыть все трупы в землю. Исполнить это постановление обязаны родственники умерших».

«В Путунге.

Сообщения о развитии холерной эпидемии на китайской территории, в Путунге, носят крайне тревожный характер, где, по сообщениям китайских газет, холера производит настоящие опустошения среди пристанских кули. Путунгский миссионерский госпиталь, куда поступает ежедневно не меньше 100 больных, совершенно переполнен».

«Защита от жары.

Китайские власти наконец обратили внимание на организацию скорой медицинской помощи для лиц, получающих на улице солнечные или тепловые удары.

Кроме того, что во многих пунктах на китайской территории учреждено дежурство медицинских отрядов, все китайские полисмены получили твердые инструкции, как оказать первую помощь лицам, сраженным палительными лучами солнца и жарой.

Муниципальная полиция озаботилась устройством навесов для полисменов, дежурящих на перекрестках улиц».

. . . .

Китай — страна драконов, олицетворяющих солнце, пагод, храмов, неба, предков, чертообразных богов, пятисот будд, пыток, сорокавековая культура, особливейшая: дракон — символ Китая. В залах, где собраны боги, мне скучно, потому что улицы за музеем мне существеннее богов, улицы, которые сами по себе мне — музейная редкость. В залах, где собраны книги, мне досадно, ибо здесь собраны книги о Китае, написанные не китайцами, но европейцами: для авторов этих книг, я знаю, Китай — страна за Китайской стеной. Можно и не идти дальше, в залы, где собраны звери, птицы и гады этой страны. Но меня ведут, и я — открываю: удивительнейшее: — да, я в чужой стране, совсем чужой, — быт драконов у китайцев — не случаен! В России в этаких музейных залах стоят: серый волк, звери в мехах, серые птицы, гадов почти нет, уж да ящерица, заспиртованные в банках. Здесь: — бесконечное количество неизвестных мне гадов, первым делом, — бесшерстых, желтых раков, черепах, драконят, ящериц, крокодилов, рыб, водорослей, — зверей в шерсти здесь почти нет, звери по большей части в колючках, в бронях, шерсть с них слезла, все они желтые, — а птицы пестры, как китайские мандаринские халаты, — чужой мир! непонятный! — и столь много объясняющий, ибо — на быте, — искусстве и верованиях отразился звериный и гажий мир. Все эти раки, осьминоги, рыбы и ящеры, которых, к слову, китайцы едят, — очень страшны на мой глаз!..

Меня провели к двери, сказали, чтобы я заглянул через стекло двери в соседнюю комнату. Там за белым

столом, в колбах, склянках, спиртах и препаратах, на высокой табуретке против микроскопа сидел горбун, одетый, как китайские бои, в одни холщовые белые штаны, босой, — горб был наружу, ужасный, лиловый в синих складках, — лицо было очень китаелицо, в морщинах старости. Мне сказали, что этот старик — крупнейший, не только китайский, но мировой — ученый, пишущий труды очень большой значимости — и — живущий в музее в качестве сторожа, за хлеб — —

. . . .

У каждого народа, у каждой нации — свой наркотик.

Россияне пьют водку, очищенный беспримесный спирт. Англичане пьют виски, ячменную водку, прокопченную, как коптят окорока. Центрально-азиатские народы курят анашу, гашиш. Китайцы курят опий. — Какими словами передать то ощущение, что опий так же не случаен в Китае, в его быту, в его философии, как водка для россиян, в российском быту, да и в российской философии? — Опиокурение — не национальное китайское изобретение: опий в Китай ввезли англичане, — англичане повезли бы опий куда угодно, но он пристал, пришелся ко двору только в Китае, в стране, где буддизм учит китаизированной нирване. Китайские опиокурильни грязны, так же, как российские самогонные шинки. Их преследуют: так же, как решето задерживает воду, — ибо опиоторговлей занимаются китайские генералы и иностранцы, вплоть до консулов. Китайские улочки очень пахнут опийным дымом, — там, в фанзах, обязательно во мраке и в отчаяннейшей грязи, на канах рядами лежат люди, курят, грезят и проваливаются в ничто.

И вот, на порогах этих притонов, так же как в храмах и на улицах, — я познаю, что я не знаю, не понимаю и никогда не пойму китайцев и Китая. Я спрашиваю направо и налево всех, чтобы найти какие-либо ключи Китаю, — и этих ключей у меня нет, все, что я вижу, я вижу для того, чтобы — не знать.

Мне говорит синолог, профессор, тридцать лет проживший в Китае, что ключами к Китаю суть китайские ворота и стены, ибо Китай от всего иного варварского мира отгорожен Великою китайскою стеной, — Пекин

огорожен внешней стеной, центральная часть Пекина огорожена внутренней стеной, каждый квартал огорожен своею стеной, каждый дом огорожен своею стеной, — перед воротами поставлены два глиняных щита, загораживающие двор — не только от злых духов, но и от человеческого глаза так, что ничего не видно на дворе. Эти же стены глухих ворот торчат и в психике китайцев. — Опий отгорожен от европейских понятий Великою китайской стеной понятий китайских. —

. . . .

Маманди — значит по-китайски — погоди, не торопись, не спеши, значит русское — сейчас. Это маманди скрыто в китайских расстояниях, в китайском времени, в китайских делах и в китайской философии.

Ханькоу, июнь.

...Я проснулся сегодня в удивительнейшем чувстве детства, моего детства в Саратове, в доме бабки Катерины Ивановны, в шуме набережной, в гуле дубинушки. Не знаю, кто у кого взял дубинушку, эту портовую дубинушку, — но знаю, что мотив и ритм ее здесь в Ханькоу, как везде в Китае, таков же, как в Саратове, как везде на Волге. Прислушивался, в китайской — «ха-хэхо!»: одно и то же, — как у бабушки! — и шумы одни и те же, и рявки пароходов, и крики толпы. И утром, освободившись от кошмара сна в москитнике, я пошел на набережную — бродить по моему детству, ибо картина одна и та же, разительно, — такие же разноплеменно одетые бурлаки, такие же надсмотрщики, так же на спинах (непонятно, почему не ломаются хребты) тащат люди мешки и тюки. Детство — хорошая память: мне грустно и хорошо, и совсем не зря колесить тысячи верст, чтобы угодить в детство. — — Удивительно, но точно то, что я вижу, мне говорит о России, о заволжской, бабушкиной.

Весь Китай строится аналогиями. Уже очень далеко позади Мукден с его гробницами и чжандзолиновским дворцом за тысячелетними городскими стенами, мимо которых в 1905 году бежали русские армии, — Даярен, Желтое китайское море, река Пей-хо, Тянь-дзин в пыли и пальмах, Тянь-дзин-Пекинская железная дорога, в чжандзолиновских солдатах и в российском осьмнад-

цатом годе, в проверках документов и ловле дезертиров, в неизвестности, придет или не придет поезд, в штурме вагонов, как в России в 1918-м мы собирались уже бросить палительное удушье вокзальных перронов после многих часов ожидания поезда, — носильщики понесли уже наши чемоданы, — и тогда к перрону без свистков подошел поезд; мы влезли в окно, — в вагон-ресторан; неизвестно, почему поезд пришел сейчас, а не в иное время, — неизвестно, почему поезд стоял, — неизвестно, почему он двинулся дальше; мне место нашлось на площадке вагонов; по вагонам десяток прошел комиссий, проверяли документы, ссаживали, ловили, арестовывали, — европейцы в этой каше были неприкосновенно-пустыми местами; зной был палителен; поезд был забит чжандзолиновскими солдатами, — станции были забиты солдатами, военными повозками и палатками, платформами с пушками, вагонами с гробами и с рисом; вагоны брались штурмами и винтовками; неизвестно, почему поезд стоял или шел; на площадке тогда я сдружился с китайским — чжандзолиновским — солдатом: он караулил мешки, палил зной, и, как только двигался поезд, он снимал с себя одну военную форменную гимнастерку, вторую, третью и оставался гологрудым, — перед станциями он вновь лез в одну, вторую, третью — в одно, второе, третье свое богатство, кое он или скрал, или выиграл в мажан... — Пекин — военный лагерь — нас встретил неимовернейшими грязищами и удушьем, стенами, воротами, пáгодами. По загаженным улицам, в пылище по колено, в тесноте солдатских отрядов мы проехали в тишину дипломатического квартала, в покойствие английских, американских и японских пушек.

Пекин — военный город российского 18-го года: все дворцы, все храмы забиты солдатами, на площадях пушки, на перекрестках патрули, — и всюду шелуха арбузных семечек!

Российский 1918-й!.. — не по-российски — бестелесны, беспрепятственны, неприкосновенны — иностранцы, европейцы: мы садимся в поезд, который пройдет через ставку У Пей-фу, у нас купе, под боком вагон-ресторан, это остатки французского «голубого экспресса», оборудованнейшего в мире. Путь: Пекин-Ханькоу. На прощанье мне говорят:

— В провинции Хенань У Пей-фу собрал с крестьян налоги по тысяча девятьсот тридцать шестой год включительно. Поедете через Хенань, там «красные пики», Фань Ши-мин!

Улыбаются. Вокзал освещен газовыми фонарями. Ночь черна, как негр. Поезд идет в костры военного лагеря, за пекинские стены, — и возвращается обратно: прицепливают вагон китайского генерала, вагон-салон. Мне говорят, что генерал Хуан Сян-ли, из уважения к себе, испражняется в своем вагон-салоне так: он встает орлом перед унитазом, под руки его поддерживают два приближенных, он поплевывает в унитаз, — затем за ним убирают с кафелей пола. — Опять поезд уходит в костры военного лагеря, во мрак ночи. — Нас двое, мы — шикарны, нам — шикарно. По коридору предупредительнейше проходит военный контроль. Впереди у нас — сорок восемь часов пути по расписанию, — неизвестное количество суток — по обиходу: книжек мы взяли на неделю. И наутро мы погружаемся в беспредельное количество рисовых полей — в китайское нищенство, в китайский труд. Какие беспредельные высоты взяли бы китайские крестьяне, если бы они действительно шли в гору, а не шли бы в гору, стоя на одном и том же месте, как они делают, перекачивая воду из каналов на рисовые поля, с одного поля на другое — ?! — целыми днями китайцы, старики и дети шагают со ступеньки на ступеньку колеса, тяжестью своих тел вращая колесо, тяжестью своих тел перекачивая воду, — и дети, чтобы быть тяжелее, к спинам привязывают мешечки с песком!.. — труд и земляные века перед нами: ибо — сколько веков надо потратить, чтобы по ватерпасу выверить все эти многотысячеверстные равнины — !? Там за окнами, в нищенстве деревень и полей, в высохших реках, около разбитых войной домишек, — очень много свежих могил и старых курганов... — Станции мимо проходят солдатскими биваками российским осьмнадцатым, — теплушки, буфера, солдаты, винтовки, пулеметы, — стоянки часами, пыль, шелуха арбузных семечек, грязища, неразбериха... маманди! — нищие, торговцы с лотков, солдаты в бегах за торговцами и лотками, — патрули, крики. — Города сокрыты серыми громадами стен и теснотой пригородов под стенами. Мы в своем международ-

ном — в разговорах по принципам ветров: куда мысль подует, туда и слова несут: скитались по нашим жизням. В первый день в голубом китайском закате, после деревень, зарывшихся в лёсс, подземных деревень, возникла Хуан-хэ — Желтая река, эта уничтожающая каждый год миллионы людей, каждый год меняющая свое русло: она возникла в закате — и поезд попрощался с ней в лунной сини, с ее лёссовыми руслами. — Наутро на станции видели связку пик, вроде российских казачьих, — у острия каждой пики были привязаны длинные волосы, выкрашенные в красное: — эти пики отобраны у красных пик»: мы едем местами крестьянских восстаний, на станциях нет никого, кроме солдат, — но в полях по-прежнему крестьяне одолевают высоты водокачек. Здесь творятся жесточайшие вещи: выжигаются села, вырезываются солдатские и повстанческие отряды, насилуются женщины; — и есть отряд женщин — как хотите, разбойниц или партизанок, — женским отрядом командует женщина, они на дорогах грабят купцов и караваны, красивейших мужчин берет себе командир отряда, — этот отряд возник из переразграбленных крестьянских женщин. — Я помню крестьянскую фанзу. Я видел ее под Пекином, около могилы Сун Ят-сена. Рисовое поле было рядом с фанзой, на скате горы. На скате горы стояла — на российский глаз — сараюшка, в которых в российских уездных городах хранят дрова и кур, — величиной в четыре шага ширины и в шесть шагов длины, без окон, с дверью прямо под небо; глиняная печь уходила трубою под каны. Фанза была совершенно пуста, жестяная банка от английских консервов заменяла чашку, на канах валялся халат из кошачьего меха. У порога стояли лопаты и кирки. На земле перед фанзой сидели три женщины: мать и двое детей. Нельзя было решить, сколько лет матери: тридцать два или пятьдесят, она была одета в китайские женские штаны и в блузку, прикрывающую грудь, — талия ее была открыта солнцу и была коричнева, как английский табак, как ее же лицо. На старшей девочке были надеты только одни штанишки, ей было лет десять. Младшей было лет восемь, она была голой и коричневой, как лицо матери. Эти три женщины золотыми нитками расшивали шелковые женские туфельки, те, которые предназнача-

ются для знатных китаянок, портящих колодками ноги. Женщины сидели на вытоптанной земле, в пыли, — шелк и золото разложены были на шелковой тряпке. — Рисовое поле было рядом с фанзой, — отец работал на рисовом поле, но чресла в воде, киркой он рыхлил землю под водой, — он был гол, коса его связана была пучком. И этот мужчина, и эти три женщины — никакого не обратили на меня внимания, точно я бестелесен...

Тогда, в пути из Пекина в Ханькоу, — только на два часа опоздал экспресс иностранцев, — мы поехали на русскую — бывшую — концессию, где до сих пор, на паперти русской церкви, — совершенно настоящий — при погонах — стоит российский городовой, содержимый остатками засевших здесь российских чаеторговцев. Ночью меня пытали — зной и москиты. Утром я погружался в бабушкино Заволжье. — Через неделю после нас Пекин-Ханькоуская железная дорога, принадлежащая французам, была перервана «красными пиками»: в иностранных газетах сообщалось, что дорогу размыл разлив Хуан-хэ. — Против Ханькоу, по ту сторону Ян-Цзы-Цзяна, лежит город У-чан, колыбель китайской революции 1911 года: город на горах, в серых каменных стенах, в отчаяннейшей китайской тесноте, где в переулках с трудом разойдутся два человека и где переулки забиты цеховыми мастерскими и лавочками. Над городом на горе сторожит время сигнальная пушка: Ханькоу с горы, с крепостной стены уходит в заводский дым. — Англичанин в пробковом шлеме, в белоснежном костюме, в белых туфлях — сидит в рикше, подгоняет ломпацо белой своей туфлей в спину, — ломпацо расталкивает человеческую толпу охриплым криком: это и в Пекине, и в Ханькоу, и в Учане — на перекрестках стоят «сикхи» — индусы в малиновых чалмах — английская колониальная полиция, — у сикхов в руках бамбуковые палки — и каждого, каждого китайца, пробегающего мимо, кули или ломпацо, бьют сикхи этими бамбуками по ляжкам: это везде, где есть английские или «международные» концессии. — Нигде нет столько полиции, как в Китае, — и нигде так много не бьют и не дерутся, как в Китае!.. — Над головами, через улицы, на домах, перед домами — висят золоченые, красные, синие иероглифы

вывесок, похожие на российские церковные хоругви, города похожи на муравейники, где китайцы — муравьями, всегда тысячи китайцев, — и все пахнет бобовым маслом, национальный китайский запах. В китайских лавках — та же притертая грязь, медлительность и осьмерками по полу остатки чая, как и в российских заволжских у Тютиных и Шерстобитовых...

Концессия — это: англичане, французы, португальцы покупают клок земли, строят дома в стилях своей родины, свои храмы и монастыри, — на клоках земли люди живут по законам той страны, кому принадлежит концессия, — консул — верховная власть — консульский суд — власть судебная, — сикхи хранят порядок и иностранное благополучие, — на калитках парков вывески — «вход китайцам и собакам воспрещен», — за убитого на концессии китайца консул, судя консульским своим судом, присуживает убийцу-европейца к двадцати пяти рублям, — в христианских-католических монастырях на концессиях — янтарная торжественность богослужений, песнопений, общежительных монашеских деяний, тенистый парк, белые яхты на каналах.

Пробковые шлемы, которые носят англичане, устроены так, что при каждом малейшем движении шлемы гудят, как печная труба в метель, ибо в них устроена искусственная тяга, — но от этого пробкового гуда и голова становится пробковой.

. . . .

В Китае — очень много мест, где в течение получаса, часа, десяти минут можно угодить в совершеннейшую комфортабельность Европо-Америки, — в течение же трех дней от Ханькоу можно прибыть в европейский быт, обычаи, обиход. — На всех пароходах мира первые классы располагаются по верхним палубам, — у россиянина, если он едет в первом пароходном классе, если он сидит на палубе в хорошем ощущении сытости, бритости, чистоты, — у россиянина в таких случаях появляется непреодолимое желание пойти на нижнюю палубу к нищенствующим и вшивящим, забраться в самую тесноту, дабы уравняться... — Имя пароходу — «Кианг-тин». По-русски на пароходе никто не говорит. Пассажиров в первом классе — четверо: европейцы, национальности их стерты. Пароход отшвартовался в 9.15, и в 9.15 пассажиры первого класса легли спать, —

внизу же, на трюмных палубах, гудела китайская толпа. Наутро брекфест был подан в семь, пароход стоял на якоре перед развалинами города; имя этого города я не узнал и никогда не узнаю. Побрился, принял ванну, побрекфестил и улегся в шез-лонг в сытости, бритости и чистоте. Пароход пошел к берегу, пришвартовался, — и вдруг на пароход навалились — фарфоровые, фаянсовые и глиняные — будды, драконы, мандарины, вазы, совокупляющиеся пары людей и тигров, — на верхнюю палубу богов не пустили, они запрудили проходы: я купил себе поларшинного бога, очень веселого, фарфорового, очень хорошего качества, — за два целковых. На пароходе едут две европо-американские воблы, — одна из них поутру прогуливалась по палубе перед ванной — в пижаме и жмурилась на солнце, как кошка. В городе фарфоровых богов и чертей на пароход сел сакс.

Он — мне — вместо приветствия, энергически:

— Хау-ду-ю-ду?

Я ему:

— Тэнк-ю, — я плохо говорю по-английски.

— Джэрмэн?

— Раше.

Он мне:

— Русский? — сода-виски?

Я ему:

— Тэнк-ю. Олл-райт!

Нам подали сода-виски. Он оказался американским инженером. Мы заговорили с ним на пэл-мэле: толкуем об индустрии Америки и о культуре России, о русском искусстве. Фамилия амерканца — Паркэр, он молод, подвижен, шутит, — должно быть, очень хорошо играет в теннис. К ленчу пароход ушел в ветер. За ленчем мы сели рядом. Мистер Паркэр наклонился ко мне, весело по-английски улыбнулся, сказал, поводя глазом в сторону воблы:

— Леди очень внимательно рассматривает вас!

Я принял к сведению. Мы вышли из-за стола. Великая китайская река! — она раз в пять шире русской великой — Волги, — глаз все время теряется в просторах воды, ветер дует по-морскому. Все время паруса сампан. Все время вдали горы: однажды эти горы повалились в воду, проплыли рядом порогами, рассыпались каменными глыбами островов, — вода пенилась

около камней. Небо — голубое, в облаках. — Воблы вышли жмуриться на солнце. Ветер. Тепло. Шумит за бортом вода. Мыслишкам надо идти, как ветер. Мистер Паркэр прикрыл лицо шлемом, — заснул. — Перед сном он сказал:

— Единственно великая культура — англо-американская. Я не верю в культуру Китая, — понюхайте, как Китай пахнет.

Я тоже заснул, проводив сонными глазами остров величиною в японский домик, пустую скалу с белым маяком. Закрыв глаза, я подумал о «маманди», о трансокеанских путях и о России, о Коломне, о коломенском Николе-на-Посадьях, — в американской культуре есть хорошее — уменье не спешить... — —

Южная столица — Нанкин — стены как в Пекине — палительный зной, пальмы, пыль — Су-чжоу или Фу-чжоу — железная дорога поистине колониальная — неимоверный, невозможный, непереносимый, ужасный зной — обессиливающий, деморализующий, уничтожающий, когда у человека развариваются мозги и весь человек тает потом. — —

Здание отеля Маджестик — самое большое и самое роскошное на берегах всего Великого океана, в ресторационном зале Маджестик можно — среди пальм — поставить Василия Блаженного: — совершенно может показаться, что, проехав город-сад французской концессии, ты угодил в настоящую Европо-Америку, — Нанкин-роад отсветил Пикадилли.

. . . .

Китай! — в каждом городе в Китае — своя власть, свои генералы и мандарины, за своими таэлями и тунзерами[1] и за своими винтовками, — впрочем, деньги в Китае — не принадлежат китайцам. В каждом городе свой банк, — и ханькоуские деньги не берут ни в Нанкине, ни в Шанхае, как шанхайские доллары не принимаются в Ханькоу и Нанкине. — Деньги! — кроме того, что у каждой провинции своя валюта иностранных банков, — в Китае в каждой провинции две валюты: для китайцев и иностранцев, — иностранцы живут мексиканскими долларами, «бигбольшими-мони», —

[1] Китайские деньги.

китайцы же проживают на «смол-маленькие-мони» у китайцев в теориях существуют таэли, теоретические единицы в семьдесят семь российских рублей серебра, — но этих денег нет даже в подвалах банков, и китайцы живут на тунзеры и копперы. Доллар равен ста центам, — цент равен двум с третью тунзерам: ломпацо, тот человек, который везет рикшу, — во-первых, избегает брать центы, — а, во-вторых, вырабатывает за сутки пятнадцать-двадцать тунзеров, на кои и существует... Китай! — страна отчаяннейших горизонталей и тысяч сельскохозяйственных километров, — страна властей Чжан Дзолина, У Пей-фу, Фын Юй-сяна, Фань Ши-мина, Сун Чуан-фана, — кантонцев. — Страна — Пекина — Шанхая — и той фанзы, которая стала на скате холма у могилы Сун Ятсена. — Страна феодализма Коу Ин-дзэ и коммунистических советов профессиональных союзов Кантона и Шанхая.

Глава вторая

...Жара! жара! — маманди... Неимоверная жара, ужасная жара... —

Нас — трое: Локс, переводчик Крылов и я. Наш дом стоит в комфортабельности международного квартала, за почтительной стеной лакеев-боев, в английском регламенте, в рефрижераторном холоде, в белизне жалюзи. Мы трое — русские, — в этом трехмиллионнолюдном городе: — нам одиноче, чем в пустыне, — потому что в этом одиночестве надо по вечерам надевать монкэ-фрак. Нас — трое: четвертые, пятые, шестые — это мои вымыслы, рожденные в палительном удушье. У меня и у Крылова впереди дороги.

У меня: — должен прийти русский пароход и понести меня на Сингапур, Индийским океаном в Аден, в Порт-Саид, в Константинополь — в Москву. Я справляюсь, где мой пароход: про него ничего не слышно, — мне говорят, что на днях идет пароход в Сиам, и меня сбивают пока съездить туда, — хотя и может случиться так, что мой пароход придет, пока я буду в океане. Самое главное, что я чувствую — это страшную усталость: мои мозги переералашены теми десятками тысяч километров, которые остались позади, — на фотографическую

пластинку нельзя снимать сто раз подряд, — мои мозги негодны, как такая фотографическая пластинка, — мне хочется сесть, молчать, ничего не видеть, никого не слышать, — на кой черт сдался мне Сиам! —

У Крылова: — уехала жена, — он должен ехать вслед ей, в Россию, в Москву, — он ждет грамоты. — Вот он пришел ко мне, сел в кресло, откинул назад волосы, лицо его потно, — протер очки, — он сказал:

— Я ничего не знаю про жену, как она едет, благодаря ее халатности. Я знаю, что она человек аккуратный, — и я думаю, не случилось ли чего?

У него очень хорошая жена, милый и верный друг, — я говорю, что ничего не может случиться. — Бой приносит нам содовую воду.

Каждый вечер мы надеваем монкэ-фраки и автомобилем едем за город — есть мороженое и часами мчать на автомобиле по пальмовым рощицам, ибо только в этой ночной традиции можно дышать. Через день я выезжаю на банкеты.

«Маманди!..» — Эти два дня я понимаю, что такое тропическая жара, когда тело поистине плавится. Дни приходят, как им велено. В Китае — кажется — померла религия: вчера впервые видел живую кумирню, где нельзя дышать от курений.—... Сингапур, Гонконг, Индийский, Баббель-Мандеп Черное Суэц. Голова на плечах — по есенински — готова осыпаться — никак не смертью — хмелем жатв, мужества и, быть может, усталости.

28 июня.

Льет проливной дождь, — ночью в этом дожде, душном, как банный полок, мигали молнии и громыхали громы: днем громов не слышно за гулом города. Все в дыму и водяной мути. Москиты роями летают по комнатам, — мы жжем противомоскитные свечи, от которых дохнут москиты, но можем сдохнуть и мы.

Мне предлагают плыть в Сиам.

Крылов второй день ждет телеграммы. Пришел, покурил, сказал:

— Глупо посылать телеграммы, когда не знаешь, куда их слать, — когда шлешь их, в сущности, в пространство.

4 июля

Зной!.. — нет, не точно: зной — это палящее, жгущее. — Баня, — банный полок: мы живем в бане. Город лежит в дельте Ян-Цзы, тропическое палит сверху небо, китайский дракон: воздух так густ теплым паром, что утолением жажды нельзя охладить организма: пот стекает ручьями, не испаряясь, не охлаждая, — мы в мокром бульоне своих тел. Бой в рефрижераторе изготавливает ледяные шарики, бросает их в ледяную содовую — и мы пьем де́сятками бутылок в день. Нельзя принимать холодную ванну, нельзя мыться холодной водой: после холодной ванны — сейчас же тепловой удар, головная боль и рвота, — после холодной воды — нарывы на теле. Чем горячей ванна — тем легче после ванны. Руки и голова опускаются в обессиливающем, деморализующем удушье. Солнце на небе — блеклое, в клубах пара, и ночью температура жары не падает, — но по ночам прилетают москиты. — Всю прошлую неделю я провалялся: есть такая традиция под этим солнцем, что каждый, чтобы примениться к зною и сырости, должен перехворать животом. Наши платья спрятаны в цинковых гардеробах, чтобы не плесневели: если забыть кожаные ботинки на три дня, они покрываются зеленой плесенью, — все в плесени, все в сырости, все в сырости, все течет, — так же текут и мозги. В России, чтобы представить эту жару, надо переселиться жить на неделю в баню — на банный полок.

О «Трансокеанике» — нет никаких вестей. В конторе пароходства полагают, что он придет только к августу, — тогда я в Москве только к ноябрю, — ужасно!.. — Все же через Сибирь возвращаться я никак не хочу.

Крылов послал сразу пять телеграмм — в разные адреса. Говорил мне: — «Жена всегда клялась в преданности, о разлуке говорила, что это скучно, не нужно, одиноко и прочее» —

5 июля.

Сейчас ходил в контору пароходства. Мне сказали, что «Трансокеаник» прошел мимо, — сейчас он около Сингапура. Следующий пароход — «Октябрь» — при-

дет в сентябре-августе. По-китайски это значит — «ма-манди»! —

8 июля.

Крылов показал текст телеграммы: « — молчание считаю возмутительным требую объяснения». — Это было утром, а вечером он показал мне письмо.

«Я не понимаю твоего молчания и нашей манеры переписываться, если можно так назвать мою безответную бомбардировку письмами и телеграммами. Я получил от тебя последнюю записку, помеченную 19 июнем. Я подсчитал, когда мои письма и телеграммы дошли до тебя. Я следил по газетам, от какого числа они дошли сюда из Пекина. Я до сих пор не знаю, в Пекине ли ты, или пробираешься в Калган, чтобы через Монголию ехать дальше? — Я не допускаю такой халатной случайности и небрежности. Я вынужден думать, что к молчанию у тебя есть причины. Я знаю тебя прямым и честным человеком, ты здорова, — стало быть, тебе трудно сказать мне что-то, или что-то там еще. — Но вот, что я хочу тебе сказать: всего тебе хорошего, всего хорошего, если эта наша размолвка катастрофична, — всякого тебе счастья. Больше я писать не буду, потому что не нахожу нужным мучиться и ходить в непрошенных татарах». —

Я сказал:

— В письме есть неточная фраза, — вы написали — «всего хорошего, если эта наша размолвка катастрофична», — ну, а если никакой размолвки нет, разве тогда отпадает хорошее? —

. . . .

...если по глобусу провести пальцем от Порт-Саида на восток к берегам Великого океана, то наткнешься на город, имя которому — для меня: — «Маманди!» — Субтропики. Сеттльмент.

Ночь. Там, на севере, — там в России, — никто не знает, что такое тропическая жара, когда мокнут спички и табак, покрываясь, как мои мозги, плесенью, — когда надо вдобавок ко всему спать в москитнике и зажигать около себя от москитов свечи, от которых нечем дышать. Сейчас сижу, подставив эту свечку под мой стул, дым лезет в пижаму. Наш дом в тишине

«международного квартала». В первые дни моего приезда ночами мы ездили за город в загородные рестораны — есть «айс-крим-сода» и «амэрикэн-гэрл» («американскую девочку») — разновидности мороженых. Сейчас у нас установился режим уездного монастыря, с постелью в одиннадцать. И сегодня, сходив поужинать «скияками» в японском чайном домике — японским шашлыком в японском ресторане, где люди сидят и едят на полу, — в одиннадцать мы разошлись по комнатам, — и я лег, и читал, и свет тушил.

И вот встал, потому что не спится.

У каждого человека должно быть свое хозяйство, — у меня есть свое: в чайном домике вечером неловко сбросил пепел с сигареты, и мундштук упал в пепельницу с водой (английские сигареты, раз закурившись, никак не потухают), — мало ли кто бросал окурки в эту ресторанную пепельницу и плевал в нее, — а мундштучок этот, старенький, я вывез еще из Москвы, и он мне дорог хорошею памятью. И вот сейчас, прежде тем сесть писать, я ходил в ванную, мыл мундштучок всячески, сейчас он лежит передо мною в китайской чашке, мокнет в одеколоне, — одеколон стал коричневым... На окне у меня, не знаю, как появилась несколько дней тому назад, — должно быть, новорожденная, маленькая, красная, без шерсти, — мертвая летучая мышь! — я не сбросил ее и наблюдаю, как ее ест солнце, поистине ест на моих глазах, — через несколько дней останутся одни кости.

...Фу, как испугался!.. писал сейчас наклонившись, и услышал тихий шум, — поднял голову и увидел большую летучую мышь, она летает под потолком, большая, каких не бывает в России, — нехорошо, неприятно быть в одной комнате с этим чужим животным. — Села на гардину. — Опять летает.

...Какая ерунда! — прилетела и спугнула мысли...

Ну, да. Через несколько дней от маленькой летучей мыши останутся только одни кости. Тогда я соберу их. Так ест солнце.

И еще — тоже мое «хозяйство». Прежде, чем сесть писать, был на терраске, а вернувшись, просматривал костюмы, — нет ли зеленой плесени? — Наш дом покоится торжественностью тишины. Наш дом стоит на

берегу канала, как раз в углу, где Нанкинский канал сливается с рукавом Ян-Цзы. На канале, на воде — сотнями в ряды стоят шампуньки, маленькие китайские лодочки, в которых живут китайцы. Я стоял на террасе, и с трех больших сампан, тех что с мертвецами, пахнуло сладким удушьем трупины. — Непонятно, когда китайцы спят. — Сейчас прерывал писание, — тушил свет, прогонял мышь, — выходил на террасу. Прилив, и вся река воет китайскими голосами, и вся река в тысяче — тысячах — ползущих китайских цветных фонариков. На террасе — нельзя стоять от сладкого удушья трупины. Таинственная, такая, которую я никогда не узнаю, творится на реке жизнь!..

...Знаю, — завтра проснусь в испарине, разбитый жарою, с кислым ртом, — в постель бой принесет содовой со льдом и апельсинов (тут растут, рядом, — что хочешь тут растет!), — полезу в горячую ванну, сяду до часа — до обеда — за бумаги, — а в два, когда все колется и летит до обморока к черту от жары — пойду — поеду на рикше (ломпацо в эту жару бегают быстрее московских извозчиков, — невероятно!) — в китайское кино-ателье, где меня будут снимать для китайского «кино-глаза», — собственно, не в ателье, а в китайские переулки.

Думаю о России, о доме. Приеду и: закажу визитную карточку — «Б. А. такой-то, бывший писатель», — сам же задвинусь куда-нибудь подальше от Москвы, поступлю в кооператоры, инструктором, пропахну проселками и махоркой: — нно — о кооперации писать не буду, а напишу о человеке, смерти и любви — так, чтобы это было тверже жизни. Думаю о гибели одного китайского рабочего, матерьялы которой попали мне в руки. Китай!.. — рядом с драконами здесь мощнейшие фабрики (был днем сегодня на одном местном лесопильном заводе, где у каждого станка свой двигатель, где все движется электричеством, подаваемым из-за сотни верст, — образцовейший завод!). Рядом с феодализмом, мандаринатом и маршалами — синдикалистические движения рабочих, профсоюзы, стачки, демонстрации, революция, коммунизм. Рядом с китайцами, живущими на шампуньках, отэль Маджестик, такой, равный которому есть только в Нью-Йорке. В порт приходят каждый день — каждые сутки — до ста пароходов оке-

анского тоннажа, — это крупнейший порт на берегах Великого океана. Кругом города сотни заводов. Город утопает в мокром удушье дыма и трупины. — Непонятно, когда китайцы спят. — Кабаки тянутся от Маджестика, в ресторанном зале которого тропические заросли и прохлада фонтанов, где сутки стоят сотни долларов, — до китайских опиокурилен, где женщина и трубка опия стоят одинаково — тридцать тунзеров, семь с половиною копеек: этот ночной город загажен «белыми», белокожими, матросами, пришедшими с моря, местными колонизаторами и пиратами, живущими на концессиях, — в этом ночном городе множество «белых» проституток — и эти: суть жены и дочери российских эмигрантов. На сеттльменте, где живут белые, где делаются деньги, только эти деньги и есть, все продается и покупается, — все: и первым делом — женщины... — Ах, как деранет по всему этому кантонская революция, — несмотря на то, что на каждом углу здесь стоят по три полисмена-индуса, — ах, как холодновато-весело смотреть на китайцев, которые неминуемо должны задвигаться — не маршалами, а революциями!.. — и — вот, об одном рабочем, вылезшем на улицы с шампунек и расстрелянном здесь (или задушенном, — неизвестно), — и думаю я. Имя этому китайскому рабочему, библиотекарю, студенту — Лю-хфа.

...Но, в сущности, все это — не обо мне. Я себя чувствую очень нехорошо. Я очень устал. Мне бы теперь домой, в Россию, на печку, в мысли, в книги, в тишину — и подальше, подальше от этой нестерпимой жары, ужасной, мучительной (сижу сейчас, в три ночи, голым, снял пижаму, выпил содовой, сосу лед, — и пот ручейками стекает с меня), — от этих москитов, — и от того колоссального, жестокого одиночества, которое есть сейчас у меня в сердце. Сижу, как идиот, у моря, поджидая... парохода! Я обсчитался, — мой пароход прошел мимо: — когда я узнал об этом, я побежал к себе, чтобы складывать чемоданы и сейчас же ехать домой через Сибирь, — но выяснилось, что и во Владивосток я могу добраться только через месяц, — а та дорога, которой я приехал сюда, сейчас прервана не то Чжаном, не то Фаном, не то У. — в Дайрен билеты распроданы до конца сентября. Тише едешь — дальше будешь, — совершенно верно!..

...Черт его знает, ночь, что ли, путает!.. Да, так вот! надо провести пальцем от Порт-Саида на восток к Великому океану, этак примерно на треть земного шара, — там есть город, в котором сейчас ночь. За окном горят в сизой туманности и мгле огни небоскребов и бумажные фонарики канала. И непонятно, откуда эта банная сизость ночи, — от жары, или от того, что будет скоро рассвет. Летучая мышь — самое главное этой ночи. Жаль, наши бабушки перемерли, — они знали, к чему по ночам летучие мыши?

. . . .

...и опять ночь, не спится.

Вчера была гроза, невероятная гроза, громы гремели пушками, — нигде, никогда такой не слыхал, — и улицы залило так, что ломпацо ходили по колена в воде. Меня не было дома, — был у китайцев, — пришел домой и увидел, что грозою смыло с окна мою мертвую летучую мышь: поэтому купил утром сверчка, — у китайцев продаются, в клетках, как птицы, — сверчки; китайцы разбираются в качествах их пения; я купил сверчка, — должно быть, дикого, потому что он не поет при свете и при мне; я наложил ему банана и поставил под диван, — и сейчас прислушиваюсь к нему: когда щелкает машинка, он перестает петь, — когда я затихаю, он начинает стрекотать.

Как меняются масштабы и аршины, — и — как все относительно!.. Всему миру Китай кажется фантастикой, — мне он кажется таким, когда я вспоминаю, что я русский, что я должен «смотреть», — — а так, по-житейски, я ко всему привык, все мне надоело. Это к тому, что сегодня был хороший день, хороший, как хорошим мог бы быть какой-нибудь московский, на Воробьевы горы, пикник. С соотечественниками сегодня утром мы взяли моторбот и поплыли на взморье, посмотреть на Великий. Туда плыли два часа, оттуда три, там обедали. Все время мы обгоняли джонки и сампаны, нас обогнал «Эмспресс-оф-Канада», один из тех шестидесятитысячетонных пароходов, на которых американцы делают прогулку вокруг света сроком в шесть месяцев, громада, на которой людей живет больше, чем в Коломне. Я валялся на дэке (и сейчас у меня от солнечного ожога болят руки и лицо) — под солнцем, на ветру, думал по ветру. Странная вещь: мысли, как булыжи-

ны, — каждой самого себя могу придавить, — бриз же был пустяковый — и все же командовал над мыслями. И потом обедали на взморье: кругом Китай с голыми детишками, в невероятной нищете, — и в нищете, под пальмами — английская ресторация, в английской чопорности, медлительности, сода-виски, кариэн-рис, в женщинах, как воблы, в мужчинах, понявших все на сто лет вперед. Океан накатывает волны, гудит прибоем, синий-синий, — в океан проваливаются пароходы. Приехали усталые, пропахнувшие морем, ужинали, мылись, я занимался со сверчком, — лег спать, тушил свет, — и вот — пишу...

Ничего не знаем мы в России о Китае! — и странно смотреть, в эти дни, когда мы живем, как миры национальных культур выплескиваются за свои заборы, как по земному шару идет, уравнивая, геометрическая форма — и формула — шара. — Вчера с двух дня до полночи я был у китайцев, на кинофабрике, причем на этой же кинофабрике поместилась и редакция толстого одного китайского журнала, лево-фронтового, «Южная Страна». Это было в китайском городе, в китайском доме, в саду и в комнатах. Из всех стран, мною виденных, Китай больше всего похож — на Россию, на заволжскую, моей русской бабушки Россию, — даже кушаниями, несмотря на то, что здесь едят и лягушек (англичане, из «человеколюбия», судят китайцев в своем суде, если улавливают китайцев за ловлей лягушек на их, английской, «территории»), — и щенят, и ласточкины гнезда, и водоросли, и тухлые яйца. Не случайно и Китай, и Россия были под монгольским игом. У меня для Китая два аршина — Россия и Япония (в скобках: изо всех иностранных культур японская культура оказывает самое большое влияние на китайскую — современную, — лучше всего знают в Китае литературу — японскую, — китайская интеллигенция ездит учиться — в японские университеты, — самый распространенный иностранный язык — японский, — самые распространенные иностранные журналы — японские... скобки закрыты). После Японии, я все время натыкаюсь на Россию. Там, на кинофабрике, был организован — не знаю, как назвать, — пикник, что ли, — потому что люди располагались и в доме, и в саду, приходили, приезжали на рикшах и на автомобилях, знакомились,

здоровались, пили, ели, уезжали. Европеец там был только один — я. Киносъемили меня во всяческих видах. Говорили мы: на русском (ни одного человека, кроме моего переводчика, китайского писателя Дзяна, да меня самого, не было говорящих по-русски), — поанглийски (очень многие, почти все), — по-японски (почти все), — по-немецки (человек десять), — по-французски (человек десять). Были: профессора, художники, писатели, актеры, музыканты. Народу было —ну, человек шестьдесят, не меньше: во всяком случае, ужинали в трех комнатах (по-китайски, палочками). В Японии — женщина до сих пор раба и ползает на четвереньках, даже жена профессора-западоведа: — здесь — очень похожа на дореволюционную Россию, — даже в углу сидел табунок курсисток, сначала глазевший на «знаменитостей» и благоговейно собиравший визитные карточки, — а потом, после ужина в отдельном уголке, утащивший бутылку с вином, распивший ее потихоньку и распевавший свои песни муравьиными голосами, — ну, точь-в-точь, как моя сестра с подружками на первом курсе. Сначала все лица китайцев мне казались на одно лицо, — теперь я в них разбираюсь так же, как и в европейских, — и очень хорошо понимаю в китайской женской красоте: так вот, наблюдал, как одна курсистка «сознавала» свою красоту, милая девушка и — поистине красавица!.. Жены писателей, актрисы, поэтессы (их было две) держатся — ни дать, ни взять — как наши актрисы и жены, — как, например, у меня на именинах, если бы именины были устроены на травке в саду. Да так, в сущности, и было, — только все были в своих национальных костюмах: — подавляющее большинство женщин в штанах, а мужчин в юбках. — Снимались. — Гуляли по саду. — Снимались. Откуда-то появилось винишко. Я на помеси англофранцузско-немецкого говорил о культурах Востока и Запада, о Кантоне (который здесь собравшимися считался единственной здоровой китайской государственностью), — о маршалах, — о братстве русско-китайских культур, — о том обществе, которое я затеваю здесь, — о Китае-русском обществе культурной связи, — о «Китрусе», как называю я это общество про себя. Актеры пели, музицировали, декламировали, — если так можно выразиться о китайских способах петь и музи-

цировать. Другие — спорили. Третьи — главным образом киноактрисы, — фокстротили и чарльстротили. Выпивали. Потом была гроза. Это было вечером, я стоял на терраске — и, ей богу, поплакать хотелось от красоты рваного в молниях неба и в реве громов... Ну, так вот, выпивали все, и мужчины, и женщины, — одного писателя вытащили на шэз-лонге под ливень, чтобы прочухался, — а ко мне на терраску пришла актриса (в Америке училась кинема-действу), — уравновесилась около меня, взяла мою руку, — сказала: — «май бонэ!» — и: стала целовать мою руку, укусила до синяка. Я сквозь землю согласен был провалиться, — глазами соседей сзывая, — моего переводчика спрашивая: — «что мне делать, Дзян!?» — Дзян посовещался, сказал, что муж ее полагает, что ничего, пусть целует, — потом отнесем ее под дождь. Тут она меня в щеку хотела поцеловать, — я убежал, — она рассердилась, сердито говорит, по-китайски, — я ничего не понимаю, я к переводчику, — Дзян сказал, что совсем не сердито, что таким голосом говорят комплименты (вообще, по интонации голоса европейцу ни за что не понять — ни китайца, ни японца: кажется, говорит грубости, оказывается — комплимент, — говорит, сладко улыбаясь, оказывается неприятность!), — Дзян сказал, что актриса намерена приехать ко мне с визитом, — а пока дарит свою фотографию. Действительно, она подарила мне семейный портрет: ее с мужем. — Китайцы вообще — не целуются, это вне их традиций: — актриса сделала это по «европейской вежливости», спутав, должно быть, обстоятельства — кто кому должен целовать руки; поэтому и муж ее не сердитствовал: — «Европа, мол, так Европа, — надо подчиняться этикету!» — Потом мы пили водку, китайцы пьянеют так же, как и русские: обнимались и великим смешением языков говорили бестолковые приятности. До автомобиля меня вели — в последождном мраке и лужах — точно в «кучу-малу» играли — человек двадцать, держась друг за друга, чтобы коллективно стоять.

...ничего не понятно россиянину из того, что я только что написал, потому что россиянин не представляет китайских лиц, китайских домов, китайской вежливости, — того, что китайцы ходят с веерами (и я тоже), — потому что ступни ног, эмоции лица, костюмы у них совершенно

не похожи на наши, — потому что музыка их невероятна на наше ухо, а поют они — отвернувшись, лицом от слушателей, лицом к стене, — а декламируют (женщин ведь в китайском театре играют мужчины!) с твердокаменными лицами — под маски — такими тонкими голосами, которые — неизвестно, где у них родятся.

Да, я уехал от них. Приехал домой, в тишину сеттльмента. Поболтал с Локсом. — Приехал я домой в час (и мрак) прилива, когда особенно кричат на канале китайцы. Стоял на террасе, слушал, одиночил, думал. Вдали полыхали молнии. — Потом ходил осматривать мое хозяйство: увидел, что исчезла мертвая летучая мышь: еще меньше стало мое хозяйство... И опять бессоничаю.

. . . .

Приходил доктор, и я прерывал писание. — Доктор сам правит автомобилем и, проезжая мимо, заезжает выпить содовой, обменяться случайными новостями. По специальности доктор — сексуалопатолог, сексуалопсихолог, — не знаю, как назвать, — сексуальная психопатология — его специальность. Доктор рассказал бывший у него сегодня в практике случай, — и разговор пошел о половой жизни людей. Разговаривали — мы трое и он, — о том, что множайшие тысячи людей несчастны именно благодаря безобразию половой жизни, даже в браке, — благодаря брачному онанизму, возникающему и в несоответствии половых темпераментов, и потому, что теперешняя структура брака заменила понятие полового акта, как акта рождения, понятием акта — наслаждения, избегая детей, прибегая ко всяческим противоестественным приемам, дезорганизующим все — и психику, и здоровье, и радость... Крылов молчал, не дослушал доктора, ушел к себе, — и вернулся только тогда, когда доктор уехал. Мы с Крыловым вышли на террасу. Он сказал мне:

— Доктор говорит мерзости. Я сейчас сидел у себя, один, и мне представилось, что у меня с Катериной — ребенок. Я не знаю, кто он, мальчик или девочка, — но всего меня пронизало счастье, огромное, прекрасное счастье отцовства, разделенного с любимой женщиной.

— Как раз об этом говорил и доктор, — сказал я.

...Бой пришел приготовить на ночь постель, поднял с полу бумажку, развернул, посмотрел, бросил за нена-

добностью. У боя замечательное, всегда безразлично-любезное, лицо, на которое я каждый раз внимательно заглядываюсь, — и каждый раз, когда его нет перед глазами, забываю так, что мучусь, не вспоминая, иду смотреть, вижу его безликие непроницаемые глаза, его непонятную улыбку, его скулы и зубы — и мне делается непокойно, я расспрашиваю его о его детях и прошу его дать содовой; — ухожу, — и опять мучусь непонятностью его лица.

. . . .

Никогда, никогда не забуду я ночных наших поездок за город на автомобиле, когда автомобиль рвет пространства прекрасных шоссе между незнакомых деревьев, между пальм, в этих тропических ночах, когда, если бы не фонарь, не видно было бы в двух шагах. И странная тогда поднимается луна, — должно быть, прекрасная, если бы не было мути удушья и сырости, она кажется ненужным куском синей тряпки во мраке беззвездного, защемленного неба... Иногда автомобиль влетает в стаи летучих светлячков, они разбиваются о стеклянный щит автомобиля, сползают вниз и, мертвые уже, все еще светятся фосфорическим своим мертвым светом... Так машина и мои мозги гонят ночные километры.

. . . .

...нет, даже во сне я не знал, что такое жара! Сейчас восемь утра, — а я уже повесил сушиться два платка, которыми утирал пот, чтобы не закапать бумагу, — рубашку на мне можно выжимать. Солнца не видно, оно в той бульонной мути, которая облепливает город и меня вместе с ним. Ужасно, — ужасно чувствовать себя все время в бульоне своего собственного пота. Нам, европейцам, делать ничего нельзя, — и мы ничего не делаем, изнывая от жары, сидя под фенами — ветродуями, похожими на аэропланные пропеллеры, — во всяческом, окончательном маразме. С канала тянет трупиной. Мысли липнут от пота, невозможно думать.

11 июля.

Крылов показал мне письмо.

«Катеринушка, родная!

Позволь мне на бумаге разобраться в моих чувствах, для того чтобы отогнать от себя кошмар этих дней. Ты

знаешь объективные условия моего пребывания: неувязку с откомандированием, усталость, одиночество, неопределенность, зной, — все это пустяки по сравнению с тем, что я передумал о тебе, как я тебя перелюбил и перестрадал.

Да, у меня были и есть — очень большая любовь, очень большая боль и — очень большая злоба.

Со злобы я и начну, потому что, как ты хочешь, а твое поведение я считаю возмутительным, абсолютно свинским, всячески. В чем дело? — я шлю телеграммы от 24 и 27 июня, от 2, 4 и 6 июля, — ясно, что нервничаю, ясно, что сижу в неизвестности, — молчание. Письма я слал исключительно заказными, не дойти не могли, — я высчитал, когда они пришли. Ты получила письма — от 17, 20, 22, 24, 28 июня. Ты не удосужилась написать целых две недели с половиной — от 19 июня до 5 июля. Черт знает что такое! — ибо, если ты скучала, стало быть, времени много, — а если веселилась, туриствуя, могла бы уделить время. Тем паче, что в Пекине ты раньше меня узнала, что моя откомандировка задерживается, — стало быть, не увидимся долго, — могла бы запросить телеграммой!.. Этак пишет послание через пятнадцать дней, через полмесяца, и не находит нужным спохватиться, объяснить молчание, а — потом, через два дня и через третьи лица, находит нужным справиться о моих проектах. Пишет этакую лирическую белиберду о кружевах, до которых мне меньше, чем до китайского снега, которого не бывает, — а потом приписывает:— «ну, родной мой, все тебе изложила, что позволила моя мигрень, — если что забыла, то по этой же причине, т. е. мигрень», — а в телеграмме — «больно тона твоей телеграммы»... — А где ты была от тонов моих прежних писем, канувших, как горох в стену?! — черт знает что такое!... Крокодильи слова пишет под классиков, — зачем, мол, расстались? — и умолкает на полмесяца. Письмо налила водой на шесть страниц и не удосужилась строчкой обмолвиться — получила ли мои письма, нет ли? — Ведь я додумался следить за тобой по газетам, по числам их отправлений, — но из газет, к сожалению, многого не узнаешь!..

Что все это значит? — я не сплю ночей, хожу сам не свой, мучаюсь, унижаюсь, прося третьих лиц сообщать

мне о тебе, роюсь в догадках, ничего не понимаю, выдумываю тысячи выдумок. Решаю: случилось что-то, что не дает тебе возможность говорить со мною, заставило тебя запереться от меня, — случилось что-то катастрофическое, что ты находишь нужным замолчать, — доколе!? — и я пишу тебе письмо, где прощаюсь с тобой, всю мою силу собрав, чтобы оправдать тебя, чтобы решить, что — раз так случилось — стало быть, так и надо, потому что ты честный, чистый и хороший человек, и никто не волен на волю другого. Я тогда мучился своею злобой, — и писал в том письме, что благословляю тебя, всего хорошего желаю тебе, счастья, — а сам всю ночь просидел на террасе: это, ведь, как хоронить любимого умершего, — еще хуже, — потому что я впервые понял, что такое ревность — мерзкая вещь, звериная. Просидел ночь, всю волю собирая, чтобы изгнать злобу против тебя, — чтобы себе оставить всю боль, а тебе отдать всю радость. Очень трудно и больно. Но этим я и жил эти дни.

Ну, а теперь — пункт третий. Ты письмо это внимательно прочла? — правда? — тогда можно и не говорить, как я люблю тебя... Ах, люблю, люблю, — и не знал, что так люблю, и не знал, что так ты вросла в мое сердце, и не знал, что вырвать тебя из сердца — сил нет никаких, родная, милая, единственная, прекрасная. Сердце сейчас у меня спокойно, я хоть столетья буду ждать тебя, мечтать тобою, — мой путь к тебе будет путем аргонавтов за золотым руном твоих рук, твоих глаз, родная, родная: любить, мечтая, оказывается, совсем не хуже, чем любить, лаская».

. . . .

Крылов показывал еще письмо к жене, — вторую редакцию только что выписанного. Крылов бледен, измучен. Я прочитал письмо и ничего не сказал, — он ушел к себе, лег на диван лицом к спинке.

Сегодня 14 июля, день взятия Бастилии, национальный французский праздник. Сейчас Локс вернулся от французского консула, во французской концессии. В России, должно быть, я и не вспомнил бы об этом дне, — но здесь в Китае этот день празднует весь город. Поэтому и аз грешный протаскался вчера по французской концессии почти всю ночь. Сначала хо-

дили во французский парк, где все было иллюминовано и в небо гоняли ракеты со всей китайской роскошью — со всей европейской гнилью ломились столы под навесами в яствах для французских матросов и русских проституток. Говорить о ракетах, рвущихся в небо и палящих пушками, — так же, как о безвкусице иллюминации консульства, где ампирный дом был рассвечен смесью китае-египетских завитушек и цветов, — так же, как о стойлах на воздухе, где сотни матросов пили пиво и танцевали с проститутками фокстрот, — а китайцы — тысячами — глазели, — об этом говорить не стоит, это было скучно. Но на Авеню-Джордж ходили китайские процессии с драконами, рыбами, суетящимися изнутри, с фонарями на палках, с китайской музыкой, — это была поистине настоящая красота, фантастическая, страшная и — прекрасная. Я за ними и таскался, за ними и ушел в китайскую часть города, совершенно фантастическую. Процессий таких было много, все перепуталось. Драконы, освещенные изнутри, с горящими глазами, — метались над толпою, плыли огромные рыбы, их обгоняли собаки, львы, фонари, люди в невероятных маскарадных костюмах. Все трещало шутихами, ракетами, литаврами, песнопениями, криками.

Ночь была путаная. С французской концессии, от драконов и шумов, мы поехали в загородный ресторан, сначала в один, потом в другой, сначала в «Дэльмонтс», затем в «Дримланд», — пили белое вино со льдом и смотрели, как в этой жаре люди танцуют фокстрот — в этой жаре и в белых летних монкэ-фраках... Затем мы с Локсом вернулись домой.

— ...перебиваю себя, чтобы рассказать о матросской любви, в честь товарища Крылова. Мы были с Крыловым в матросском трактире. — Матросы пришли с моря, не сходили с парохода шесть месяцев подряд; это были американские военные матросы. Женщины, которые были в этом «дансинге», были русские и китаянки, одна японка, одна индуска, две малаянки, — и женщины не могли уйти из заведения до закрытия, до четырех часов утра. Мужчины в кассе за центы покупали билетики на право танцевать с женщинами. Матросы танцевали с ними и имели право приглашать

их к своим столикам. Мне было занятно смотреть, как в этих огромных мужчинах, военных американцах, смешались — и та неизбежная обоготворяемость женщины, которая нужна каждому мужчине перед половым актом, ужасная притонная влюбленность, жалкая, омерзительная, которая то и дело вспыхивает — или ревностью, когда женщину, по праву билетика, берет на танец другой мужчина, — или страшной похотью, когда вдруг за танцами кажется, что вот тот матрос вот-вот сейчас сломает женщину, будет рвать ее платье и тут же будет насиловать... Но время идет медленно, сидеть за пустым столиком неудобно, — и матросы напиваются, не хотя пить, — засыпают за столиками, ожидая четырех часов. В притоне — очень шумно и — очень скучно. Женщины в скуке и безразличии по привычке обирают мужчин, — эти женщины, которых, пусть на одну ночь, так обоготворенно, так страстно любят в эту минуту полувменяемые, нелепые, как дети, огромные, страшные люди.

Мы вышли из притона, Крылов сказал в отчаянии:

— Какое безобразие, какая мерзость, — ужасно!..

После китайских драконов и после кабаков «Дримланда» мы приехали домой. Была черная ночь. Мы разговаривали с Локсом. Я вышел на террасу и увидел: во мраке канала, на одной из лодок на канале, на одной из тысячи лодок, горел костер, около костра стояли люди и тени людей — и там трещали шутихи, очень громко, очень много; было темно и было видно, как прыгают искры шутих: — на этой лодке умирал кто-то, или тяжело родился новый человек, — и близкие шумели шутихами, чтобы отогнать страхом шума злых духов... Как передать ту щемящую тоску, которая была у меня от этих шутих на сампанах, услышанных мною после французской концессии? — эту черную ночь, костер на сампане, силуэты людей и горькую мысль о том, что вот эти люди шутихами отгоняют злых духов — от умирающего или рождающегося, — о том, как много вообще еще темной ночи на этом свете!..

Я вернулся в комнаты, — мы с Локсом сели испить содовой и — заговорились на долгие часы — обо всем, о чем можно говорить в десятке тысяч километров от родины, в чужой стране, глубоко за полночь — двоим соотечественникам. Могло показаться, что за домом не

тропическая ночь, а полярная зима. Хозяйство мое — сверчок — поет теперь при мне. Завтра куплю себе черепаху, привяжу ее веревочкой за ногу и поселю в ведре: — пусть живет, приносит счастье!..

...Прерываю писание. Пришел парикмахер, стриг, брил, — настал обед. Странные дела со мною творятся: вот уже много дней сплю по три-четыре часа в сутки, и спать хочу, и заснуть не могу.

...Продолжаю. — Жара такая, что белые брюки кажутся самоедскими малицами, томят зноем. — Вообще же время мое проходит так. Я просыпаюсь в 8-9 утра, бой приносит в постель содовой и апельсинов, — я иду в ванну, моюсь, бреюсь. Бой готовит брекфест. Едим с Локсом. В это время выходит Крылов, разбитый ночью, но просмотревший уже газеты, — он сообщает поверенному в делах о том, что есть в газетах, о всех политических событиях, о гражданской войне, о передвижениях армий, о маршалах, мандаринах, университетах, рабочих. Слушаем так минут сорок. Затем переходим в кабинет и углубляемся в европейские газеты — русские, английские, французские. Так до обеда. После обеда расходимся по своим комнатам Я второй раз лезу в ванну и лежу голый до чая, — или до того часа, как встанет Локс, — тогда он приходит ко мне (вот и сейчас, — я щелкаю на машинке, он сидит в кресле и читает), — мы молчим в жаре, меняясь немногими словами. Я знаю, что у нас с ним очень хорошая дружба, — многие ночи напролет мы философствуем с ним, — обоим нам надо мужествовать. — В пять чай. После пяти я иду к вице-консулу, — он только что научился править машиной, в ездовом азарте, — и мы едем с ним за город, — мне приятно сидеть под ветром, стремиться и думать. — Так до восьми. — В 8 — ужин, — и там всегда какое-нибудь событие, полночные поездки за город к светлячкам и в пальмы — почти обязательны... А там — ночь, книга и бессонница. Ночами всегда заходит Крылов, толкуем о Китае, — но самое главное для него не это: сейчас он пришел и сказал:

— Опять получил от жены письмо. Помните, я говорил вам о перерыве в ее переписке. У меня огромная трещина. Я заклеиваю боль всячески, — что же поделаешь, если она есть и если она смешана злобой. И боль и любовь перемешались так, что я не знаю, где конец и начало одного и другого.

— Это от жары, — сказал я.

Были сегодня в китайском кинематографе: ничего особенного, китайские костюмы, но принципы игры — американские, — ничего «китайского» там нет. Как в американских и английских кино, можно курить, и в темноте разносят прохладительные напитки. Ночью вдвоем с Локсом ездили на автомобиле за город, никуда не заезжали, отдыхали от жары.

. . . .

О моем пароходе ничего не известно.

. . . .

17 июля.

Сегодняшняя запись посвящается Крылову и его жене. Мы были в притоне, в загородном луна-парке, где я впервые увидел фарс «А что у вас имеется?» — где танцуют русские офицерши, превратившиеся в шантанных девок, и где хлобыщут моноклями англичане. За нашим столиком сидела дочь адмирала Штарка, местная танцовщица и проститутка. Нас было четверо. Совершенно ясно, что все здесь обнажено до окончательной голости, и все за деньги и на деньги. Мне повезло, потому что те двое, кроме нас, которые повезли нас по притонам, — поехали не посмотреть, как мы, но поехали понаслаждаться.

Крылов сказал мне:

— Мне больно ходить в такие места. Мне все время лезет в голову, что такое же смогло б случиться и с моей женой, и с моей сестрой, — ужасно!.. вон та проститутка, — он махнул рукой, — окончила московские высшие женские курсы. Чем она виновата, что она пошла за мужем-офицером или за отцом-генералом?.. Смотрите, — вон тот музыкант-скрипач — муж вот этой проститутки. Здесь люди опустились так, что мужья не покидают жен, вот этих проституток, и живут на их средства... У этого музыканта и у этой проститутки — двое детей. В четыре часа ночи муж поедет домой, а жена поедет в номер с тем мужчиной, который ее купил, — или, если так захочет покупатель, они пойдут к ней же на квартиру. Тогда муж-музыкант, бывший офицер, поспешно переоденется лакеем и будет прислуживать им — у себя в доме!.. Ужасно!..

Так, в этаком веселии мы объехали три притона — европейских. Наши спутники издевались над Крыловым весь вечер, что, мол, он тряпка, боится пить, боится заразиться, не то, мол, что они, и все это с прискачкой: «— а-а, уходишь, предаешь, нами брезгуешь, ну-ну!» — И мы поехали в китайский публичный дом, где проституткам от девяти до четырнадцати лет. В китайском публичном доме — совершеннейшая чистота, — но двери, для прохлады, открыты, и видно, что делается в каждом стойльце. Нам принесли китайскую — горячую водку — и стали приходить на выбор дети — девочки. Один из наших спутников взял девятилетнюю девочку и ушел с ней в соседнее стойло. Другой выбрал девочку лет тринадцати, но не успел никуда пойти, — заснул, обняв девочку, — она сидела покойно.

Тогда с Крыловым произошла истерика. У него стали дрожать руки, застучали зубы. Я повел его на улицу, — он бежал по лестницам бегом, глаза в землю. Мы взяли рикш, — он смотрел на спину ломпацо умоляюще, чтобы тот скорее бежал.

— У меня совершенно разъехались нервы, — сказал он. — Не понимаю, что страшнее — то ли, что вот эти люди, не любящие, быть может, не имеющие даже настоящей похоти, за деньги будут совокупляться с девятилетней девочкой, — то ли с моей женой, ибо по возрасту я могу иметь такую дочь, ибо моя жена — из той же среды, из которой и Штаркша!..

Мы приехали домой, Локс еще не спал, — Крылов поспешно полез в ванну.

...Пять часов утра. Да-да, — а женщины в притонах, когда их не подзывают мужчины, сидят табуном, зевают и толкуют, кто у кого шьет платье: я подслушал.

18 июля.

Утро. Сегодня началась почтовая забастовка, — ни газет, ни писем, — хорошо!.. Солнца нет, над землей и на земле — бульон, состоящий из удушья и пота. Газет — нету: сяду за книги, в пот и мысли. — Завтра уходит пароход во Владивосток: надо очень большую волю, чтобы не поехать на нем.

19 июля.

Вчера ничего не записывал, потому что был ужасный день, таких еще не было. Весь день я провалялся на постели, совершенно деморализованным, голым, в поту, в изнеможении — от страшной, невероятной, невозможной жары, такой жары, в которую нельзя двигаться, думать, есть. В висках стучит густеющая кровь, тело истекает потом, и все же нет спасения, каждое движение грозит тепловым ударом. По газетам, вчера было несколько десятков таких тепловых ударов. Земля вся в пару, солнца нет, всюду муть и туман, — и в этой воздушной жиже кишат москиты. — Ночью, часов в 11, пошел дождь, и мы с Локсом поехали за город отдыхать от жары. Мы заехали куда-то в лесок, и на нас налетела стая летающих светлячков: это необыкновенно красиво, эти жучки, светящиеся фантастикой Жуковского, его романтикой, эти жучки, вылетевшие из тропического леса. Я писал, что никогда не забуду этих автомобильных бегов: да, никогда! — но — ко всему привыкаешь и как все забывается: мне уже безразлично, что из тропической ночи и мрака, из стремленья шоссе — машина вынесет нас в китайские деревушки, в китайские переулочки, в эту экзотику голых людей под фонарями автомобиля, в нищету отдыха на пыли улиц, под небом, в свете своих бумажных фонарей, в эти странные позы усталых тел, развалившихся на циновках.

Вернулись домой. Потому что идет почтовая забастовка, Крылов ходил на почту — сам разбирал письма и — ему посчастливилось: нашел письмо от жены. Крылов пришел ко мне расстроенный, сказал:

— Поймите, до чего довела меня жена. Она пишет — «люблю, целую», — а мне противно от этих слов. Она не объясняет своего перерыва от 19 до 5. Вот, пришло письмо, и опять видно, что она не понимает той пощечины, которую она нанесла мне, которую склеить мне — очень нелегко, перенести которую — у меня уже не хватает сил. А она ничего не объясняет!.. Она совершенно не представляет, как я жду ее писем.

Я обнял Крылова и повел его пить содовую.

Глава третья

Утром обалделый Крылов переводил нам китайские газеты. Сначала повеселело мое лицо, затем Локса. Локс фыркнул. Крылов спросил:

— В чем дело!? —

Мы расхохотались: — молодец, товарищ Китай! —

Перевод из китайской газеты «Ши-ши-син-вэн»

«Из высоко-авторитетных источников получено сообщение, что маршал У Пей-фу издал телеграфный приказ дубаню Хенаньской провинции маршалу Коу Ин-цзе срочно выступить против начальника партизанских отрядов Фань Ши-мина, оперирующего в провинции Хенань. Маршал У предлагает маршалу Коу не поступать так, как он поступал раньше, занимая добровольно очищенный партизанами город (как это было при занятии Венцзы) и сообщая реляции о кровопролитной битве. Фань Ши-мин, как известно, один из крупнейших партизанов Хенани, командующий 8-ю бригадами. Маршал У предлагает ликвидировать Фань-я в месячный срок. Одновременно маршал У предложил выступить в поход бригадным командирам — Ма, Ли и Юань-ю, телеграфно запросив помощи от Янь Юе-жен и Джан Джи-гуна, — иными словами, под командой Коу должна была образоваться семидесятитысячная армия.

Маршал Коу Ин-иза ответил маршалу У, что он не может сейчас выступить "по-домашним обстоятельствам"...»

Домашние же обстоятельства заключаются в следующем. К маршалу Коу приехала, в качестве наложницы, знаменитая артистка Би Юнь-ся (точный перевод на русский: Роса яшмового облачка), великая красавица. Би Юнь-ся, как известно, играет роли не только на театре, но и в государственной жизни Китая. Так, например, в 1924 году в Пекине, в дни упейфуского парламента, один из членов парламента, борясь с пассивностью Росы яшмового облака, отказавшейся стать его любовницей, — пользуясь своим «парламентским правом неприкосновенности», — приходил в парламентскую ложу в одном верхнем халате и — выставлял за барьер ложи свой голый живот — на предмет посрамления искусства Яшмовой Росы, сорвав таким образом гастроли Би Юнь-ся.

«Би Юнь-ся появилась в доме маршала Коу, — и в Кайфыне, в столнце дубаната, все дела приостановились в неясности и в нере-

шенности ввиду того, что мать маршала-дубаня Коу, приверженица старого режима и старых обычаев, встретила Би Юнь-ся крайне враждебно, все время разбирает ее пороки, ежедневно устраивая скандалы, доходящие до драк. Все это так отражается на дубане, на его государственной деятельности, что он потерял работоспособность, пребывает в нерешительности и послал маршалу У ответную телеграмму, прося разрешения отложить поход впредь до ликвидации семейной неурядицы. В доме дубаня дело обстоит так, точно разбушевались волны в море».

— Чего вы смеетесь? — просил Крылов.

— Молодец, товарищ Китай! — сказал я.

...Вчера весь день хотел сидеть дома, но пришли люди и повели на митинг американского миссионера армии Фын Юй-сяна. — Странно, очень странно!.. Митинг был в европейского стиля американском театре. В театре собрались китайцы и очень немного европейцев. Армия Фына — носит название: «Христианская армия». И митинг начался протестантскими песнопениями — за «христианского генерала» Фына, — стоя, китайцы — по-христиански — молились за Фына и за его народные армии, — хором пели гимн армий Фына. Затем показывали туманные картины: Фын и его солдаты — на молебне, в пекарне, в слесарной мастерской, в шорной мастерской, — армия в походе, армия на биваках, пехота, конница, артиллерия... — Затем все собравшиеся на митинге фотографировались. Затем началась лекция о том, какой замечательный человек, христианин и вождь — маршал, водитель Народных армий Фын Юй-сян, который каждое утро молится, сам трудится ручным трудом, — не ездит на рикшах сам и запретил своим солдатам, — сам вместе со своими солдатами читает Библию и историю Китая... Американский миссионер изображал Фына, ныне находящегося в Москве, как некоего таборита, постника и верижника, спартаковствующего своим временем... — жара была в театре неимоверная, хуже, чем на полке в бане.

С жарой я не справился и, изнемогая от жары, направился домой. Ужинали, сидели под феном... — да, так и засиделись с Локсом до четырех часов, в разговорах бродяжествуя по России от ее прошлого к настоящему, будущему, — от севера до юга, от мелочишек до великого. Сидели в его кабинете, полуодетыми, пили

бесконечную содовую — и говорили: — о милой России, за которую всегда надо умирать!..

Эти дни я занимаюсь Китае-русским лит.-худ. обществом — «Китрусом», — и еще раз устанавливаю, что первое слово в Китае и первое дело: «маманди», — погоди, не рыпайся, сейчас!.. — Сегодня получены сведения, что мой пароход — «Октябрь» —выходит рейсом в Тянь-цзин, оттуда — сюда, — в море пробудет недели три. — Сегодня с океана подул ветер, сначала мел пыль, теперь несет бодрость. Оттого, что пришли вести о пароходе с моря, а с океана дует ветер и раздувает мысли — от этого стало лучше, ибо впереди возникло какое-то движение... — «Маманди!» — это «маманди» начинает мне казаться ядовитым, ядом Китая...

... — Полночь, гудит ветер, трещит мой сверчок, Локс сидит над книгой, дверь отворена. Локс сказал, что скоро с океана будут приходить тайфуны. — Передо мной дорога, очень длинная дорога, ибо только теперь я понимаю, как велики, оказывается, километры. —

Пришел Крылов, сел, сказал так, чтобы не слышал Локс:

— Я ведь только девятого узнал адрес жены. Сейчас, кажется, она в пути к Москве, в Монголии. Я не знаю, как она жила, где была, что узнала, что видела, кого видела.

Ночь, неизвестно, когда спят китайцы, — за окном шум, ветер перепутал на канале все сампанки. На диване передо мною, — диван с полками, — стоит улыбающийся китайский бог, которого я купил на Ян-Цзы, — бог хитро улыбается, — я думаю о Крылове и о яде «маманди», о яде ожидания, неизвестности. Бог улыбается этим «маманди», всем Китаем, морем и пароходом, — это для меня. Для Крылова же — «маманди» улыбается — и богом и Китаем, и — женою, провалившеюся в километры неизвестностей.

4 часа ночи. Лег было спать, и не заснул. Слушал ветер и писал декларацию «Китруса».

. . . .

Китайская сказка — «Справедливый суд».

«Юноша и девушка полюбили друг друга и поклялись жениться, — но молодого человека взяли на войну, и он провоевал тридцать лет. Родители девушки

решили выдать ее за другого. Она сопротивлялась, — родители настояли на своем: — в день после венчания она умерла. Ее похоронили.

Жених вернулся с войны и спросил, где его невеста. Ему рассказали, что произошло. Он отправился на могилу. Он раскопал могилу, чтобы взглянуть последний раз на любимую. И, когда он раскопал могилу, — любовь его была так сильна, — девушка стала из мертвых. Жених взял ее на руки и понес к себе.

Тогда тот, за которого ее выдали замуж, потребовал себе жену через мандарина.

Мандарин рассудил:

— Случай, когда настоящая дружба и любовь смогли тронуть небо и землю и законы природы — до того, что они вернули жизнь мертвому во имя любви, — не должен судиться законами мандарина. Девушка должна принадлежать тому, кто вывел ее из могилы». —

Сказку рассказал Крылов.

. . . .

Вчера в сумерки ездили на пароход, провожать земляков, едущих во Владивосток. Плыли по Ван-пу, на мотор-боте, покачивало, был ветер, садилось солнце... Есть, есть тоска по чужбине, и хорошо смотреть, как корабли уходят в море, как люди тащат свои чемоданишки (бедность свою!), спорят, смотрят каюты, — суют свои узелочки... И — нехорошо уходить с корабля, с того, что уходит в море, уходить на бот, тот, что идет назад, в порт, на берег!.. — И возвращались мы под луной, в волнах, в тишине отлива. —

...Хорошо куда-то ехать: и я переехал из одной комнаты в другую, сам себе сымпровизировал кровать, фен, ветер с террасы, — бой смотрел недоуменно на мое строительство, мы же с Локсом в честь сего моего переезда выпили бутылку шампанского и по рюмке ликера. Бою я заявил строжайше, что от сего числа дома я хожу без брюк, а посему — без доклада к нам никто допускаться не может. В силу этих обстоятельств мне показалось, что я переехал на несколько градусов к северу: легче дышать, легче жить и думать. — Локс прилаживает на террасе фотографический аппарат: намеревается зафотографировать ночной канал . — —

. . . .

...я выдумываю — —

...на океанском пароходе типа «Эмпресс», идущем из Сан-Франциско к берегам Китая, — едет американка, женщина или девушка...

Стоит ли серьезно шутить над английской, англо-американской манерой жить, не ходить, а при помощи ног носить собственное свое достоинство, цилиндр и смокинг, знать, как и когда есть и говорить, как держать себя с отцом, сыном, сестрой, женой, иноплеменником, как отдыхать, работать, радоваться и помирать. У них есть торжественность каждой минуты будней, ритуал жизненных будней, есть заполненность жизни — временем, традициями, тем, что наполняет каждую минуту, что за тебя, инвидуума, решило большинство, общество, нация. Эта традиция жизни есть у всех, начиная с русского крестьянина, где эта торжественность вылилась в брачные, похоронные, бытовые песни, в пироги к празднику и в то, что первым за столом берет хлеб — хозяин. — И этой торжественности нет только у интеллигенции — русской в первую очередь, — и у интеллигенции тех стран, которые культурно — в западно-европейском понятии этого слова — стоят ниже России, как, например, — по понятиям европейцев — Китай. Это понятно: — европейская «культура» уничтожает национальный быт, — «обезбычивает» национальный быт, как слишком глупый и не портативный, и вносит новаторский «индивидуализм», в большей мере построенный на безграмотности, на простейшем невежестве, как это было в России при Петре Великом, когда резали ферязи. В Китае интеллигенция так же «обезбычена», как и в России, — в Китае — в этой стране конфуцианской вежливости, церемонии, регул. — Так расшатываются понемногу все «столпы» всех национальных культур, — но именно в этом месте нарождается новая, уже не национальная, но мировая культура, — именно на этом стыке нарождаются такие люди, как Лю-хфа, ради которого я пересиливаю маразм зноя. — Россия, конечно, не в счет, ибо отсюда мне видно, что у России никогда и не было своей культуры, Россия всегда была «отъезжим полем» чужих национальных культур: — огромное полузаселенное поле, до сих пор еще не окончательно разметившее и закрепившее землю, стык всех мировых культур, — Россия — страна вотского бескультурья — обрабатывалась Византией, — затем Монголией (и через

Монголию — одновременно ведь были под игом — погуливал по России и Китай, — поместился в Московском Китай-городе, в Коломенском зарядье, у бабушки моей Екатерины в Саратове, — не случайно «китайка», не случайно «чай»), — после татар — Византии — Европа, до последних лет, — Европа, Европа с примесью щедринского, сиречь просто варварского, варварства, с примесью Китая — Китая медленностей, церемоний, — того Заволжья, которое я впервые увидел не здесь в Китае, а у моей заволжской бабушки. Россия — есть «отъезжее поле» чужих культур, путь «из варяг в греки», даже антропологически. Это дало право России первой пойти в строительство наднациональной культуры, мировой. — —

...Да. Но на гигантском пароходе типа «Эмпресс», более совершенном, чем пароход, описанный Буниным в рассказе о «Господине из Сан-Франциско», плыла в Китай молодая американка — леди и сотрудница миссионерского общества сикковеев, плыла на предмет просвещения диких китайцев в свете христианства. Я откидываю условности беллетристического повествования, где нужно иносказательно вдалбливать читателю авторские мысли: — я знаю, что цель поездки этой американки — глупа, что эта американка — вообще глупа, что Китай ей нужен, так же как Гонолулу, — и известен, примерно, так же. Это знаю я. Этого не знала она.

Она проснулась рано, в люк шло солнце, ветер был прохладен, океан за люком катил синие волны, — все, как подобает, — в постель ей принесли чая и фруктов. Выпив, в пижаме, она пошла в сортирчик и в ванну, как полагается человеку с утра. Сортирчики и ванна были в ее же каюте. Горничная-португалка в ванной — губкой — соленой водой — растирала тело мисс Брайтэн, массажировала душем. Затем мисс Брайтэн стала одеваться, причесывалась, чуть-чуть припудрилась. Прогремел к брекфесту гонг, похожий на плач сирены, — и мисс Брайтэн пошла есть свои апельсины, овсянки, рыбы, мяса, померанцевое варенье, кофе. Потом она лежала на дэке в шезлонге, прикрыв волосы косынкой, с книгою в руках. Она не читала. Океанский ветер обдувал ее спокойствием. Она думала, прикрыв глаза от режущего света волн, и мечтала, как подобает человеку в безделье, в море и под солнечным ветром. Та страна, в

которую она ехала, была неизвестна ей: она представляла ее себе так, как представляют эту страну все, не знающие ее, — драконами, иероглифами, рикшами, мандаринскими традициями, свадебными и похоронными процессиями, храмами, пагодами, каналами, джонками, сампанами, паланкинами, многомиллионностями, — представляла своею работой, тишиной того миссионерского собора, монастыря, колледжа, в общежитии которого она — не монашенка — будет жить, слышала колокольный перезвон этого монастыря, видела солнечную прозрачность и пустынность рядов скамеек в соборе, — шла фантазией своею по аллее парка, над каналом, во влажной бодрости цветов и утра (...все впоследствии так и было, как представляла она себе в пути, как создала она по письмам подруги и по фотографиям, — потому что жизнь ее построена была традициями, строгими курантами регламентов, когда американцы и англичане не имеют понятия «заграница», проживая даже в Китае по-американски, — и когда они могут — за три года вперед с точностью до недели знать свое будущее — и не ошибаться!). На пароходе тем утром она думала и о вольностях, о тех «вольностях», которые позволяют себе американцы в Китае, — например, о поездке к Западным горам в Пекине — на людях — в паланкине, — совсем, как в древности, как Клеопатра и иные красавицы мира, — а какая же женщина не хочет помечтать о том, что было бы, если бы она была Клеопатрой!?. Ну, конечно, в китайских тропических ночах, поди, виделись ей глаза некоего Артура или Стивена, — она ведь не знала удушливых «прелестей» китайских ночей!.. — Все же, эта миссионерская женщина на «Эмпрессе» — была просто хорошей американкой, воспитанной, разумной, сколько надо, целомудренной — фактически, — и почти целомудренной — морально, — добрая, торжественная, знающая свое право на жизнь и честь, — недурная по внешности, чисто вымытая, хорошо питающаяся, — была хорошим экземпляром женской особи саксонской породы, чуть-чуть суховата, чуть-чуть длинноносга (т. е. этим отступающая от идеального человеческого экстерьера). — Ветер веял соленым воздухом океана, тем, от которого никогда не бывает чахотки. — Субъективно эта женщина была права во всем. А объективно — —

По просторам Великого океана идут пароходы, несут пушки, товары, деньги, людей, зрение. В тот порт, где живу я, каждые сутки с океана приходит до сотни океанских пароходов, — в эту рану, которой истекает в мир Китай, — в это окно, которым лезет мир в Китай. — —

...Мир переживает сейчас эпоху, когда национальным культурам тесно за своими заборами, когда национальные границы валятся, когда культуры пошли гулять по миру — не только пароходами и пушками, не только машинами, но и всяческим знанием, всяческим бытом, когда мир пошел к уравнению всего имеющегося в мире. И великая китайская стена — падает. Власть шанхайских и кантонских и тя-цзинских заводов идет командиром по Китаю. Вокруг моего города дымят заводы. Город и пригороды грозятся забастовками. Тысячи пароходов идут сюда со всех концов мира и уходят отсюда во все концы мира, привозя сюда все, что создает мир, оставляя здесь это все, что создает мир, и еще куски жизней тех людей, которые везут «все это». Азия смешалась с Европой ужаснейше. Ночами матросы идут по притонам, темными переулками, где в канавах валяются собачьи трупы, где нечем дышать. Здесь же, в этих грязных переулочках, играют в маджан и кости. Здесь же пахнет опием: — там, в опиокурильнях, на канах, на полу, на цыновках — лежат люди в наркотике опия, в причудливых видениях, эротических и таких, которые одни, быть может, сохранили «душу» Китая. — Днем на набережных тысячи, десятки тысяч людей тащат, волокут тюки, кули, бочки, ящики, — миллионы пудов всякой всячины. Дымят фабрики и заводы. И здесь на набережных и на заводских дворах, неминуемо здесь нарождаясь, возникают — капиталы, забастовки, союзы, партии — революции. — Но за набережными идут переулки, где бесконечными ларьками расположились ремесленные, гильдейские кузнички, фарфоровые заводики, чайные лавочки, — харчевни, — все то, что жило тысячелетьями, что в течение тысячелетий было индустрией Китая, — гильдеец, цеховик, кустарь, делавший все, что нужно было Китаю. И там, в этих теснейших переулках, особенно у храмов, сидят за своими столиками — колдуны (как перевел мне мой друг, китайский поэт Дзян) — гадатели — вещатели — письмописатели... Цеховой Ки-

тай!.. — А за городом трупы людей на полях и — колоссальный, нищий труд, мощь Китая, — там — по полям, по проселкам, по каналам и железным дорогам — идет — российский осьмнадцатый год, смерть и голод, победы и побеги — —

...сейчас приходил Крылов, сообщил, что 4-я народная армия, отошедшая было от 1-й народной к У Пейфу, вновь изменила У, вернулась к Фыну, обнажив фронт и разгромив несколько городов, — эти гражданские войны в Китае, пример феодальщины и империализма, — и того, как у нации просыпается национальная гордость и мощь!..

...Нет слов, чтобы передать грязь закоулков китайского бытия, убожества, нищенства, — нищенства, когда здесь крупной ходовой монетой является тунзер, равный полукопейке и в свою очередь меняющийся на десять кешей, — нищенства, когда все дети ходят голыми, а взрослые полуголыми, — нищенства этой колоссальной тесноты, когда люди живут не только под крышами, но месяцами, годами — просто под деревьями, — житье на сампанах — роскошь, там живут «извозчики», водяные! — когда люди питаются отбросами всех видов, и многие имеют профессией то, что собирают на улицах навоз и — почтенная должность женщин — возят по городу на тачках человеческий помет (европейский помет ценится дороже китайского, и был однажды бунт, когда иностранцы запретили-было возить «это» на тачках, — тогда бунтарки-бабы лили оные тачки на европейцев!). — За западными воротами моего города, каждый день об этом сообщают в газетах, — расстреливают людей, рубят им головы и душат их, — причем смерть удушением — национальное китайское изобретение — особлива тем, что, если преступник учинил семь преступлений, его будут душить семь раз, каждый раз не додушивая окончательно и только в последний раз умерщвляя. Головы преступников хранятся за западными воротами в клетках из рисовой соломы, на столбах. — Нигде нет такого количества полиции и такого уличного мордобоя, как это есть в Китае.

Европейцы живут — на сеттльменте, на французской и английской концессиях. Англичане, американцы, испанцы, португальские, французы, итальянцы, немцы, русские, португальские и арабские евреи, — все это — «иностранцы», «европейцы». На концесиях

своя, не китайская жизнь, за своими законами и полицией. На калитке Джэстфильд-парка начертано: «Китайцам и собакам вход запрещен». Сейчас в местных газетах (а газеты здесь на всех языках) идет ожесточенный спор — передавать ли, или не передавать китайцам — суд, хотя бы над китайцами, — европейцы доказывают китайцам, что им, китайцам, не стоит брать на себя судебные заботы, издержки и беспокойство. — В стороне от города стоит миссионерский Сикковейский монастырь, там тишина католичества и иезуитизма, перезвон колоколов, черные, все на подбор, монахи, светлый парк. Иностранцы живут медленной, чистой, сытой жизнью, в своих «флатах», со своими моторными лодками и автомобилями, которыми правят они сами, их жены и любовницы. Ванну надо принимать — три раза в день, штаны менять — дважды, воротничок — дважды. Днем надо сидеть под феном и пить сода-виски. Надо очень следить, что можно и чего нельзя есть в этой варварской стране постоянной холеры и чумы. Вечером надо ехать в Джэстфильд-парк, за город, в Мажестик, в кино на воздухе, где бои ходят по рядам и прыскают неким, приятно пахнущим, снадобьем под ноги, чтобы не кусали москиты... Мужчинам надо наблюдать, как делаются их — и их компанией — деньги. — Ну, почему тут не расцветать прекрасным леди, которые сначала обучаются в монастырских — английских, французских, американских — колледжах, дома тренируясь роялями и рисованием, и рукоделием — а затем принимают мир чистоплюйными романами, в чистоте, ясности в законах и канонах...

. . . .

...должно быть, сейчас сезон этим летающим светлячкам и сезон цикадам, ибо и тех и других очень много... Весь день сегодня истекал потом и теми строчками, которые только что написаны, в жаре и обалдении. А вечером мы поехали в этот самый Джэстфильд-парк, на симфонический концерт. Я и не подоревал, как в этом парке хорошо и красиво, и поучительно!.. Это совершенно английский парк, по-английски распланированный на тысячу десятин земли. Деревья в парке были разукрашены фонариками, — была синяя, как всегда очень темная, темь, светила луна сквозь молоко облаков. Люди приходили в солидной медлительности, почти одни англичане. Перед ро-

тондой рядами расставлены лонг-шэзы. Людей было очень мало, англичане утопали за спинками лонг-шэзов, в тишине вечера, в прохладе ветра, в этих летящих светляках. Разговоры тихи и медленны. Казалось, что людей нет, и сквозь шум цикад приходила музыка симфонического концерта. Я не знаю и не понимаю музыку, — но сегодня мне было очень хорошо слушать. Музыка была европейской. Я все время рассуждаю с китайцами-профессорами о том, что европейская культура слишком уж реалистична — этой музыкой можно было уйти в «ирреальность», — музыка — есть тот путь в непонятное, в неизмеримое аршином, туда, где коверкается обаршиненное. Сидел, слушал, мне было очень хорошо — уйти из реальностей в непонятное. И опять это к моим мыслям о Европе и Азии, — к тому, как «европа» обставила себя здесь, в Азии, колонии: хорошо соблюдают «чистоту» этой музыкой чистоплюйную. Фонарики мигали успокаивающе. — Потом у подъезда разбирались автомобили, разъезжались люди по чистым простыням спокойных ночей. Я был с Локсом, — мы поехали прокатиться за город. Я смотрел, как по краям шоссе спят китайцы. — Удивительно сумели англичане «вырезать» своими ножницами «культуры», выкроить из Китая — этот парк, эту музыку, — эту «Англию»!

Музыка же и прекрасная ночь Джэстфильд-парка — никак не виноваты в том, что они прекрасны.

. . . .

Пекин — военный город российского 1918 года. Все дворцы, все храмы забиты людьми, или разрушены и стоят в забросе и грязи. На площадях пушки. На перекрестках патрули. Всюду, всюду грязь и шелуха арбузных семечек. — На воротах в дипломатическом квартале написано — «Нищим вход запрещен». У ворот дипломатического квартала стоят пулеметы и английская, американская, итальянская, японская стража. На плацах дипломатического квартала маршируют и «экзерцируются» европейские солдаты, стреляют пачками и залпами. На ночь в дипломатический квартал впускают по паролям. В тишине рассвета слышна артиллерийская стрельба, — и никто не знает, то ли это обучаются чжандзолиновские артиллеристы, то ли пробивается восставший полк. — Императорский дворец и его музеи — заняты солдатами. Можно наблю-

дать, как солдаты — несколько человек в ряд — орлами — сидят на дворцовой стене, над городом и — испражняются на город. — В Храме пыток, в том храме, который дал повод Октаву Мирбо написать роман «Сад истязаний», — в этом храме — пыль, запустение и толстый, полуслепой монах, который не разговаривает, окурившись опия, но сразу требует доллар, — в пыли в храме стоят боги, изображающие наглядно все виды пыток, ужаснейшие пытки, которые сейчас покрыты слоем пыли пальца в два толщиною в забытьи вообще, а, в частности, потому, что все эти виды пыток вышли на улицы гражданской войны, расплылись по всему Китаю. — Жар и пыль в Пекине невероятные. — В торговом городе тысячами — без преувеличений — ходят нищие. На перекрестке стоит вожак нищих — прокаженный, он совершенно гол и кости его ребер наружу, с них сползла кожа, запекшаяся зелеными струпьями, — он стоял бодро. Нищие ходят толпами. Нищие кооперированы в союз, раньше председателем союза по чину был один из младших сыновей императора, — императоров теперь нет, председатели нищих — миллионнобогатые люди, — хотя нищим подавать — нет никакой возможности, — потому что, если подать хоть одному нищему, сейчас же набросится вся тысяча, они будут выть, рвать одежду, толкать, негодовать, плясать перед тобой, плеваться...

...так вот, в Пекин приехала наша героиня, мисс Брайтэн, та, что плыла на пароходе «Эмпресс». Европейцы неприкосновенны в Пекине. Действительно, к Западным горам, к Летнему дворцу богдыхана ее носили в паланкине, как некогда Клеопатру, — несли ее четыре китайца, и она возлежала на подушках. Но это не главное. — Около Пекина, за торговой частью города, есть Храм Неба, величественнейшее, грандиознейшее строение, разместившееся уже не на тысячу, как Джэстфильд-парк, а на тысячи десятин земли, тишины, красоты, величия, веков. В центре многих площадей, пáгод, переходов, рощиц, аллей, стен, — под небом там есть мраморный алтарь, состоящий — мистически — из 81 плиты, ибо весь этот храм построен мистическою цифрою девять. Алтарь кругл, он вываян из желтого, теплого, как солнце, мрамора. Плиты алтаря построены так, что каждая плита имеет свое эхо, что каждый шаг по ним отдается округ гулким эхо, в чем ближе к центру,

тем необыкновенней эхо. Над этим алтарем — синее небо, ничем не застланное. Кругом алтаря стоят мраморные урны, куда (так передают и, мне кажется, врут) сливалась кровь приносимых в жертву Небу. Достоверно, что при императорской в Китае власти, раз в год, богдыхан, сын Неба, приезжал в этот храм поклониться своему отцу — Небу. Прошед по эхово-гулким плитам алтаря, на который только он один мог восходить, богдыхан ложился спиною на центральный камень и смотрел в небо. Тысячная толпа округ замирала в тишине. Эхо шагов императора исчезало. В величественной тишине зноя богдыхан смотрел на Небо, созерцал Небо своего отца. — Императоров теперь нет. Храм запущен, в пыли, загажен человеческими экскрементами, — все стройки превращены в казармы, — все поляны загромождены артиллерийскими парками. Центральный двор, тот, где под небом лежат мраморы алтаря, — пуст, зарос бурьяном, — в сторонке, построив из досок шалаш, живут два сторожа, чего доброго, поселившиеся по своему почину, — днем они торгуют квасом и спят, — а ночью — —

Мисс Брайтэн познакомилась в Пекине с компанией американцев, леди и джентльменов. Джентльмены предложили экзотичнейшее. С вечера в Храм Неба отвозились вина, сладости и фрукты — тем двум оборванцам, которые сторожили алтарь Храма Неба; при винах, сладостях и фруктах оставались лакеи джентльменов-американцев. А к ночи, когда спадала жара и особенно тесно ходили по улицам патрули, лэди и джентльмены ехали в Храм Неба, — через патрули они пробирались, взволнованно перешептываясь, к алтарю. Каждая плита алтаря имела свое эхо. Леди и джентльмены танцевали фокстрот и чарлстон на плитах алтаря, тех, где каждая имела свое эхо. Они танцевали под дорожный граммофон, который привозился вместе со сладостями, — музыка граммофона и шелест их ботинок отдавались священным эхом. Потанцевав, они отдыхали, пили вино, ели сладости — и танцевали вновь. Оборванцы, сторожащие алтарь, пристраивали к барьеру алтаря смоляные факелы. Однажды, в перерыв, с грушами в руках, мисс Брайтон и ее джентльмен пошли по мраморной дорожке в сторону от алтаря, ко мраку деревьев, чтобы оттуда посмотреть на факелы.

— Посмотрите, — сказал джентльмен, — вот в эти урны сливалась кровь священных животных и тех людей, которых приносили в жертву Небу.

Она ничего не ответила.

— Какая красота, — какое величие! — сказал джентльмен, и остановился.

Она ничего не ответила, она тоже остановилась. Она оперлась о его руку. Он взял ее руку. Это было первый раз в ее жизни: джентльмен поднес ее руку к своим губам и тихо поцеловал, — это было первый раз в ее жизни, когда наедине мужчина целовал ей руку. Но у нее не было сил противиться, — у нее кружилась голова в этой невероятной экзотике. Она опустила голову к нему на плечо. Но это была минутная слабость. Она выпрямилась и сказала сухо:

— Да, очень красиво, — идемте танцевать, — и она пошла вперед.

Опять заскрипел граммофон, опять шло от плит величественное эхо, а люди дрыгались в чарлстоне. Наутро, они, леди и джентльмены, возбужденные, усталые, ошалевшие от колониальной экзотики, нарушающей регламенты, чуть-чуть школьниками — ехали на автомобиле в прохлады своих домов, чтобы принять ванну и лечь спать.

. . . .

...Говорят: «китайские маршалы воюют только потому, что у них есть армии, которые должны работать, — и потому, что маршалы живут феодализмом». — Знаю, маршал такой-то сегодня был с Чжан Дзо-лином, Чжан его обидел, и, если Чжан не успел этому генералу отрезать ушей, носа, переломать костей и выбросить его на навоз, — этот генерал ушел от Чжана — или к У Пей-фу, или в хунхузы; пробыв же в хунхузах месяцев шесть, он пишет маршалу Суп Чуан-фану, шлет ему поклоны и цибики чая — и вступает в полки маршала регулярными войсками со всеми своими солдатами. — Европейцы схематизируют: — Чжан Дзо-лин есть ставленник японцев, Северные три провинции, в сущности, суть колония японцев, маршал У Пуй-фу ориентируется на англичан и американцев; Фын Юй-сян — на СССР; кантонцы —тоже на СССР. Но года два тому назад маршалом У чуть-чуть было не был подписан дружественный договор с СССР. В схе-

мах понятно, что англичане и японцы, в меньшей мере французы и португальцы, те страны, которые имеют недвижимую собственность в Китае, хотят видеть Китай таким, каким он сейчас есть, и всячески держатся за договора прошлого века. Американцы позднее вышли на мировой рынок и на Дальний Восток, у них нет собственности в Китае, но у них есть товары, — и они хотят видеть Китай национально-буржуазным, сильные государством, которое имело бы единую валюту, могло бы покупать и продавало бы сырье: американцы учредили в Китае тридцать тысяч первоначальных школ, больше десяти университетов, и тысячами везут китайчат в свои Штаты. СССР намерен видеть весь земной шар свободным, правомочным, рабочим и в знании. Я ничего не могу понять в китайских делах, — но понятно, что Китайская республика, то, что называется Китайской республикой, есть напряженнейший узел всей мировой политики. Я сказал — «то, что называется Китайской республикой», потому что в действительности этой республики не существует: Чжан Дзо-лин никак не подчинен У Пей-фу, — ни Чжану, ни У, ни Суну — никак не намерен подчиниться Кантон. В Пекине то и дело создаются правительства и правительствующие кабинеты, — но им никто не подчиняется, они существуют фиктивно, главным образом, для того, чтобы иностранным государствам было с кем разговаривать. Маршал Чжан, неграмотный человек, в свое время — начальник хунгузского, сиречь разбойнического, отряда (в 1904 году, во время русско-японской войны, он грабил русские обозы), — маршал Чжан своим приближеннейшим генералам, когда они впадают в провинность, режет носы и уши. — Маршал У, получивший мандаринское образование, считает погибшим день, если в этот день он не написал стихотворения, по китайским правилам, лирического. Маршал Фын молебствует христианскому богу — каждоутренне. Дубани, губернаторы провинции, генералы и полковники — то и дело бегают от одного генерала к другому, изменяя то одному, то другому, кто больше заплатит жалованья и даст лучшую провинцию на грабеж. Маршал У — в этом, 1926 году — в провинции Хенань собрал с крестьян все налоги вплоть по 1936 год, — и сделал это не только к тому, чтобы пограбить, но и затем — китайская мудрость! — чтобы закрепить верноподданность

этой провинции: другой, дескать, генерал начнет подати собирать сызнова... — Ничего не возможно понять! — но понятно, что вот четырнадцатый уже год, над Китаем гремят пушки, разоряются и грабятся города, поля и села, нищенствуют люди, все больше и больше возникает на полях могильных бугров, — в этой колоссальной китайской тесноте четырехсот пятидесяти миллионов населения. На порогах дипломатических кварталов и иностранных концессий — стоят пулеметы. На рейдах в портах серыми громадами беспокойствуют дредноуты и крейсера, американцы, англичане, французы, японцы...

. . . .

...вес это — в этот отчаяннейший зной — я пишу к тому, чтобы рассказать историю одного китайца, несчастного и милого человека Лю-хфа. Быть может, он родился на сампане, около нашего моста, на нашем канале: он был таким же мальчишкой, как вон те голыши, которых я вижу со своей террасы, которые привязаны веревками, чтобы не свалиться в воду — — ...я нарочно в этом месте писания выходил на террасу, чтобы посмотреть на них: ветреный день, волны, прилив, везут караван джонок с дынями и арбузами, выгружают тюки, стонут грузчики китайской дубинушкой, небо в клочьях облаков, — канал гудит криками, стонами, гудами катеров и пароходов, рывками бегущих по мосту автомобилей и трамваев, — вдали дымит серый американский дредноут: — эти сампаны, где живут люди, прикрылись от солнца циновками, безмолвствуют, — и: — в шуме канала и города, за этими шумами — я услыхал с этих лодок несколько детских плачей — невидимых детей, скрытых от солнца циновками... — — Этот мой мальчик нашел в себе уменье выбраться из этих лодок на землю, на набережную, на улицы. Он прошел сложнейшую социальную лестницу, добравшись к осьмнадцати годам в наборную китайской типографии. Должно быть, он был гениально-талантлив, — ломоносовствуя, он кроме социальной лестницы шел еще и трудными дорогами знанья и раздумья, ибо к двадцати пяти годам он оказался библиотекарем местного китайского университета, построенного на американские деньги и по английскому образцу, — он, мой герой, изучил несколько языков и, библиотекарствуя, вольнослушал в университете. Тишина «либра-

ри» университетского парка не помешала ему выйти из университета человеком, очень понявшим то, что ему рассказывали книги, совершенно (так же, как наши студенты, хорошее их племя) потерявшим быт и условности, понявшим, что в мире идут революции, не могут не идти, что его родина — великая и богатая страна, с огромным будущим, что мандаринство его родины и феодализм маршалов — есть старый намордник, что его долг — идти и делать. Очень редко родятся люди с очень ясными мозгами, — почти всегда у людей есть «намордники» и «маски», когда люди или не умеют просто видеть и мыслить, или застят видение традициями, церемониями, привычками: — этот не имел никаких традиций, кроме традиций своего мозга и знания, — он умел видеть и не носил никаких масок, — он все брал на зуб знания.

...оттуда, с набережных, откуда пришел он, из тюков, бочек, пудов, тонн, шиллингов, долларов, тунзеров, «биг» и «смол» мони, из нищеты и из богатства, — кроме него на набережные, в пригороды пошли: — на набережные — американские небоскребы торговых фирм, универсальных магазинов, банкирских контор,— в пригороды — заводские и фабричные поселки, фабричные и заводские дворы, заводы, дымы, гуды, — пошла, народилась — национально-китайская — «компрадорская» — буржуазия на верхушках социальных лестниц, в бельэтажах небоскребов, в загородных виллах, — а по низам, по пригородам пошла, народилась — китайская рабочая гольтепа и возникли речи о пролетариях всего мира. Эти из пригородов не теряли родственной связи с портовыми набережными. Этот, мой герой, выбрал судьбу — быть глашатаем этих из пригородов: он встал против англичан-иностранцев и против компрадоров-соотечественников. Этот человек был убит — неизвестно как — повешен, застрелен или задушен, — известно кем — англичанами и компрадорами вместе. У этого человека был кинематографический год, когда в этом миллионнолюдном городе он — товарищ председателя совета профсоюзов — выступал на митингах, организовывал стачки, убегал от всех видов полиции с многопудовыми мешками тунзеров и кешей, профессиональных членских денег, без дома, без крова, без риса, без ночей.

Он был арестован англичанами на китайской территории. Он погиб из-за двух пудов тунзеров. По крыше он убежал из дома, когда пришла полиция. Но он не успел вынести с собою всех денег. И он покрался за ними обратно в дом, занятый полицией. Два пуда меди он спас. Сам он погиб. — Сейчас в местной прессе идут споры о суде, о том, кому судить. Англичане потеряли право судить и приговаривать к смерти тех китайцев, которые попались в преступлении не на «их» территории. Этот человек был взят на «китайской» земле — —

В Китае смешалось все — от феодалов, от колонизаторов — до буржуазии (национально-китайской, компрадорской, европейски-образованной, воинственной, молодой, пиратской), до пролетариев (от студенчества, профессуры, портов и заводов). Этими местами правит — дудзюн, маршал, феодал, мандарински-образованный человек Сун Чуан-фан. Сун постоянно живет в «южной столице» — в Нанкине, его резиденции. — Сун приехал в наш город. Броккеры устроили в честь его банкет, — по-китайски, когда едят сотни блюд засахаренного мяса, ласточкиных гнезд, перепротухлых яиц, акульих плавников, бамбуковых корней и почек, — а после обеда едут в публичный дом курить опий и совокупляться. Англичане дали маршалу банкет, — по-европейски, где леди были в вечерних платьях, а джентльмены — в монкэ-фраках, с цветами на столах, с речами и со всяческими бифами, винами, фруктами, остротами и фокстротом. А затем, когда Сун уезжал, уже на вокзале (ведь по китайским традициям — всегда надо говорить о деле «между прочим», надо «отговариваться», говоря о деле), — представитель броккеров и представитель консульств, в окончательнейшей вежливости и в блеске остроумия, попросили подарить им голову преступника. Сун — «подарил». — У китайцев придумало очень много средств уничтожать человека: душат, вешают за ноги, распиливают пилою, рубят головы, сдирают кожу, стреляют: сегодня было в газетке, что завтра будут расстреливать, за Западными воротами. Неизвестно, как умер Лю-хфа — задушили ли его, содрали ли кожу, повесили, пристрелили — где, когда, как, — никто не знает, — но о нем уже пишут поэмы китайские поэты, одна такая поэма есть у меня. Можно представить ночь, камеру китайского застенка в город-

ской стене, там, где тюрьма, ночь, — палачей, хрип удушаемого — спокойствие палачей: мне рассказывал один китайский революционер, — при нем застрелили его товарища, их было несколько свидетелей, все были покойны, и тот, расстреливаемый, перед расстрелом ковырял в носу, — китайцы не боятся смерти... — —

— ...так вот, о той девушке, которая приехала в начале вчерашнего моего писания на пароходе типа «Эмпресс» и которая субъективно права. — Эта девушка брала книги у Лю-хфа, когда он был библиотекарем в «либрари», — она была на банкете, устроенном англичанами в честь маршала Суна (точнее — в честь Лю-хфа!), — а в дни, когда душили Лю-хфа, она вышла замуж за секретаря английского консульства, — того самого, который представительствует Англию в «микст-корте» — в том «смешанном суде», за «свободу» которого так ратуют англичане, и который, конечно, приложил свою руку к делу Лю-хфа.

...Этот герой мой, Лю-хфа, вместе со своими товарищами, пошел против — очень многого: против колонизатора-иностранца, против цехов мандаринского варварства, против драконов маршалов и — против купца, фабриканта, компрадора, того, за свободу которого ратует Америка, — против всего, против всех, ибо «действительно — разумное», но не «действительное — разумно». Он снял китайский халат быта и драконов, без всяческих намордников. Он погиб, выручая два пуда меди. — Но я не случайно начал вчера этакой чистоплотной, откормленной, честной и целомудренной девушкой, той, которая в его смерть вышла замуж. Он, мой герой, был: человеком, а любовь — свободна: в дневниках, которые вел этот китаец, было очень много места посвящено ей, ибо он любил эту женщину, как можно любить ветер, — любил женщину, имея одинединственный этот «намордник» любви, который выводит в нереальность — так же, как меня вчера — музыка на симфоническом концерте. — Эта женщина никогда не знала, что ее любит полуголый библиотекарь, тот, который не мог пойти за ней в Джэстфильд-парк, ибо туда «Собакам и китайцам вход запрещен» — —

. . . .

...выходил сейчас на террасу. Луна светит, отражается в масляной воде, — тухлятинкой пахнет, мертвой человечиной, — переругиваются женщины на сампа-

нах, — бегут по реке огни катеров. Иногда нападает такая, — слов не подберу: нельзя манастырствовать, но нечего не хочется и нечего делать в этой жаре, — нечего читать и устал читать, не с кем говорить и не хочется говорить, нельзя так сидеть без дела и ничего не хочется делать, надо думать и не хочется думать, — ничего не хочется, а сидеть так нельзя, и спать тоже нельзя. Жара! — жара!.. — раздевался и целый час лежал в ванне, в воде, до одурения, ибо и из ванны вылезать — тоже не хочется!.. — Та девушка, что плыла на «Эмпрессе», могла и не выходить замуж, могла не только сытно есть и чисто мыться, и быть честной в субъективности своих традиций: — она могла быть и замечательным человеком, таким же незаурядным, как он, мой герой, задушенный Лю-хфа: предположим, в ней была тургеневская «лизокалитиновщинка», прекрасная ясность чистоты, веры и целомудрия — и веры, что в мире — самое главное — любовь, единственная, как знание и как подвиг, — — и все же, он, роман Лю-хфа, протек бы и должен был протечь так, как я записал его.

На канале сегодня весь вечер воют собаки, на разные голоса, тоскливо. Я рассмотрел: приплыла целая сампана с собаками. Я спросил боя, в чем дело. Оказывается, этих собак по каналу привезли из провинции, и они пойдут на убой, на пищу. — Мы, Локс, Крылов и я, живем здесь потому, что нас послала русская революция, потому что мы, русские, стали против всего мира. — Локс сидит в столовой за столом, в горе апельсиновых корок, над английской книгой о Китае: некогда Локс просидел год в одиночке, в крепости, — он говорит, что там у него выработалась привычка разговаривать с самим собою: — я пишу на машинке, — я слышу, как он, читая англичанина, комментирует вслух, наедине сам с собою, по-русски... Опять выходил на террасу: Бэнд уходит во мглу, Ван-пу и канал все в огнях фонариков, дует ветер, лают собаки, над землей в облаках идет луна, совсем зеленая, как у нас зимой — быть может, это на самом деле совершенно не лето и не Китай, — а глубокая сибирская ссылка?!. — Мой сверчок помер, — должно быть, от жажды.

...на этом месте прерывал писание: решили с Локсом поиграть в шестьдесят шесть — в ссыльную игру... да обошел весь дом и карт не нашел. Решили

твердо — завтра же — купить карты и маджан. О моем пароходе ничего не известно.

. . . .

Вырезка из местной газеты — —

«Опять о парках».

Английская колония с трудом мирится с тем, что, не желая обострять и без того довольно натянутых отношений, власти сэттльмента, не издавая новых постановлений, решили смотреть сквозь пальцы на то, что китайцы проникают в те парки, куда, еще недавно, их не пускали, а также располагаются на лужайках Бэнда, до текущего лета также бывших недоступными для них.

Вчера опять на страницах «Норд-чайна-дэйли-ньюс» появилось негодующее письмо иностранца, в котором он спрашивает, пересмотрел ли муниципалитет правила пользования парками, а если пересмотрел, почему об этом ни слова не опубликовано в газетах?

И далее негодующий иностранец рассказывает, как он и его супруга в течение четырех часов вечером пытались найти себе местечко на скамейках лужаек Бэнда, но все скамейки были забиты китайскими кули. Поведение кули, лежавших на траве, шокировало супругу автора письма»...

О Пекине.

Пекин — город мандаринов, храмов, пáгод, ворот, стен, площадей, — город конфуцианской вежливости и тишины, — лотосовый город озер, каналов, храмов Неба, Солнца, Тишины, Пыток, Пятисот Будд, — столица древнейшей в мире, сверстной египетской, китайской культуры, где дворцы, храмы и памяти столь же фундаментальны, как пирамиды. Пекин — —

Пекин — —

В рассказе о Лю-хфе американская мисс Брайтэн танцевала чарльстон на алтаре Храма Неба — —

В посольстве СССР в Пекине один из секретарей посольства подарил мне тетрадь стихов, ему, в свою очередь, подаренную автором этой тетради, моим соотечественником, содержащимся под стражей за убийство в пекинской государственной тюрьме. Автор подарил стихи секретарю, когда посольские сотрудники осматривали тюрьму.

Китай — Пекин — пекинская китайская тюрьма — —

Вот стихи моего соотечественника, соработника по творчеству — —

ПАРОХОД!

Пароход судно речное,
Постоянно на парах,
Возит грузы, тянет баржи,
Шумит паром, пах-пах.
    Топка топится дровами,
    Но бывает, что и углем.
    Без подчинки он годами
    Плавает он ночь и днем.
В пароходах пассажирских
Народу всегда полно,
Есть там дамочки, мужчины.
Все выглядывают в окно.
    Но они как-то ревнивы
    Скоро дают свою любовь,
    Не чуть они не самомнимы,
    Сколько ты будь к ней готов.
Вот и место она находит,
В каюту приглашает свою,
В каюте она с ума сходит,
Заставляет, целую ее.
    И дело кончилось улыбкой,
    Оба смеемся вместе с ней.
    Как она старательно и шибко,
    А я навстречу шел ей.
С двумя проехал я весело,
Не прошло даже трех дней,
Вдруг стала боль сурова,
Не знаю я — поймай от ней.
    Долго возился с этой болезней.
    И с силою доктор мне помог,
    Больше не еду я пароходом,
    Я ненавижу пароход!

...Храм Неба, храм Солнца, — Китай — Пекин — века, беззвучие веков и озер, заросших лотосами — —

Этакая человеческая пошлость! — Секретарь посольства, подаривший мне эту тетрадь, всю исписанную этакими стихами, рассказал мне историю этого поэта, моего соотечественника и соработника. Поэт — убийца и вор. Он осужден китайцами на десять лет. Он сидит уже года четыре. Он доволен судьбою. Тюрьма, где он сидит, образцова, по его понятиям: туда, в тюрьму, за взятку, раз в неделю к мужчинам пускают женщин. В Пекине живет и промышляет проституцией сестра поэта. Каждую неделю она ходит в тюрьму к

поэту — не сестрою, а любовницей, — и поэт нещадно бьет ее, когда она не приносит ему того, что он заказывал, — шелковых носок, водки, опия.

Эта история с поэтом припомнена мною для Крылова, милого человека, который так перепутал себя, что свирепеет в тех случаях, когда жена в письмах шлет ему поцелуи, оскорбляющие его, хотя и жена его — тоже милый, очень хороший, ни в чем не повинный человек. — Эта история — и для мисс Брайтэн.

Глава четвертая

Утро 23 июля.

В Москве сказали бы: — хороший выдался денечек, солнечный, безоблачный, тихий — такие дни в этих числах июля особенно хороши, когда появились первые, чуть-чуть заметные, паутинки, дымок среди деревьев, опрозрачились пространства, а под ногой — вдруг зашуршал первый листок, первый опавший листик, тишина на деревьях, и воздух такой синий, такой прозрачный, что меняются понятия перспективы и можно все зарисовать только акварелью, — дда, — — —

— — а сегодня здесь в газетах:

«Воздуха!.. Воздуха!

Сегодня — 117°. Ну, а влага, которая давит, которая не дает дышать, кто учтет, что не достигнут уже предел, за которым начинаются прострация, безумие, умопомрачение. Город за эти три июльских недели не столько расплавлен, как разварен, распарен, вымочен, вымотан, измучен. Воздуха! воздуха!.. хоть глоток свежего, чистого, бодрящего воздуха!..

77 смертей за день.

На сеттльменте умерло за вчерашний день 23 человека, заболело 17. На китайской территории заболело и умерло 42 человека. На французской концессии умерло 6 человек, заболело 19. Итого...»

...Невозможно, умопомрачительно! — не нахожу слов!..

Пришли вести с моря. Мой пароход будет здесь 10—20 августа, отсюда пойдем по китайским портам за чаем, потом в Сингапур, потом на Цейлон, Мамандили — для меня — метафизикой!

И еще вырезка из газеты, объявление от начальства:

> «Все иностранцы предупреждаются относительно того, что поездки в Су-Чжоу-фу, а также в Хай-чоу в настоящее время, ввиду неспокойного состояния этих провинций, могут совершаться лишь на свой собственный страх и риск, китайские власти не дают пропусков в эти районы. Это служит лишним доказательством того, что в соседних районах снова становится непокойно!..»

Гражданская война! — революция!.. — Мы живем во имя революции, но живем мы — покойно до чрезвычайности. Бой принес маджан.

...Как велик земной шар! — я прислушиваюсь к себе, в сегодняшних известиях с моря, — и мне опять уже хочется идти, смотреть, видеть, двигаться — до предела, до края. Дмитрию Фурманову, перед отъездом сюда, я надписал книгу: «Если умру, не поминайте лихом. Всячески согласен умереть, только не в постели», — я жив, Фурманов умер, пришли вести. — И правда — не так уж плохо — ничего не иметь, от всего отказаться — ради путин, ради ветров. Я так думаю, и мне становится покойно и хорошо, и я перестаю думать о Москве и мне только хочется идти, — как велик Земной Шар!..

Сумерки 24 июля.

Вчера было 117° жары: сегодня, должно быть, больше. — Несусветно! — Весь день валялся под феном (и рассуждал, что фен, этот электрический веер, построенный пропеллером, может быть иллюстрацией к теории внутриатомной энергии: если этот пропеллер вращать в несколько тысяч раз скорее, то он превратится в сплошную массу некоего материала, уже не меди, той из которой сделаны крылья, — будет очень легок, не будет даже гнать воздуха: его можно будет взять в руки; надо полагать, что и для аэропланного пропеллера должен быть предел скорости его вращения, после которого результатность начнет, должна падать, его тоже можно будет взять в руки, как кусок очень легкого металла, — и: — как много энергии в этом мире, если рассуждать обратно, когда этот образованный колоссальной быстротой движения — в колоссальной быстроте, — кусок металла,

никому не ведомого, вновь превратится в пластинки меди, оставленные электричеством!..), — весь день валялся под феном, бредил и мучился жарою. Разговаривал с Крыловым и догадался — вот о чем: — оказывается, любовь может быть и без достижений, очень большая, очень крепкая, прекрасная любовь может свернуть в такие переулки сердца, когда — именно во имя этой любви — во имя ее гордости и величия — надо отказаться от объекта, ибо любовь может сублимироваться, отделиться от тела, вещей и времени объекта — так, что нежные слова этого объекта начинают казаться оскорбительными для любви — так, что надо освободить тело от объекта, чтобы осталась одна чистая чаша любви, целомудренная, прозрачная и ничем не засоренная, — любовь, оказывается, может хоронить именно то, что считается проявлением любви, — нежность, ласку, обладание, — хоронить во имя самой себя и во имя ее чистоты... — И еще думал, в этом всесветном бульоне удушья, в котором живет вся эта, окружающая меня, страна, — о том, как мудр мир, как все закономерно в нем, ничто не случайно и все сцеплено бесконечным рядом законов, прекрасных правд, к сожалению, таких, которые не могут считаться с человеком, как самоцелью, и в которых человек уравнен: и с пешкой из шахмат, и с каждой разновидностью вот тех москитов, тысячи сортов которых каждый вечер налетают ко мне в комнату. — Читаю сейчас я только про Китай. — Очень занятно наблюдать за самим собой, за тем, как могут в человеке идти рядом две жизни: одна — та, моя, которая не связана никаким местом, ничем, зависящим от места и времени, моя, мысленная, — и другая — та, китайская, буднично-писательская, когда я хожу, смотрю, вижу, слушаю... «Все в жизни лишь средство», — и я часто думаю, мне хочется оформить для писания, проверить этот мир человека, где, как музыка в нереальность, человек переходит в бессознательное, — но переходит не инстинктом, не чувствами, не эмоционально, — а: — мозгом, сознанием, вещами, наукой, — знанием.

Локс переоделся, чтобы ехать на обед. Едем. — Кто-то пришел, надо задержаться на минуту. Бой принес мне свечей от москитов. Небо, река, Бэнд — все уходит в вечер и в этой вечерней сырости — все серебряно. Луна уже поднялась: — я люблю луну, она всегда мне говорит

о прекрасной романтичности, и о великой любовной таинственности романтики, такой, которой мне никогда не пришлось пережить, или я не заметил, и которой, должно быть, нет в жизни вещей и есть лишь в жизни образов, — луна поднялась, она совершенно синяя, такая, какой у нас она никогда не бывает. Маяк и фонари уже отражаются в воде, но видно еще, как дымы пароходов и заводских труб за Ван-пу поднимаются в небо, вырываются из бульона удушья — к той небесной сини, которая сейчас подменена этим серебристо-зелено-блевотным туманом... И еще: все время я никак не могу найти здесь Пушкина, а наизусть не помню, — а Пушкин почти физически нужен в этой туманности и неясности, — чтобы «багряной зарею» прозрачной его ясности охладить эту жаркую туманность: зори всегда холодны и свежи!...—

Вышел сейчас на террасу: и вдруг луна отразилась в синей воде прозрачною ясностью. Днем вода в канале и в Ван-пу — желта, как кожа на турецком барабане...

Ночь с 24-го на 25-е.

Когда очень долго смотришь на один и тот же предмет, он начинает качаться, расплываться, в глазах идут круги, и все исчезает. Так было у меня сегодня в Джэстфильд-парке, — растворилась в глазах ротонда, все провалилось в невидение, и — осталась одна музыка. Музыка есть настоящее причастие всему прекрасному: раньше я не знал этого. Должно быть, искусство музыки нашло во мне еще одного поборника, — я и не подозревал раньше того высокого и прекрасного, что порождает в человеке музыка. — Мы были на званом обеде, оттуда поехали слушать симфоническую музыку, — оттуда должны были поехать в загородный ресторан. Но мне не захотелось после музыки ехать «притонить», и я вернулся домой.

Китай!.. Если ломпацо или рыбаку не везет целый день, ломпацо знает, что его преследует злой дух, — и тогда ему надо перебежать дорогу автомобилю, лодочнику же надо проплыть под самым носом парохода, чтобы злой дух остался на одной стороне, а он на другой, — чтобы убежать от злого духа. — Это — вообще. Вообще же и то, что ни на какие гудки китайцы не откликаются и — гуди не гуди — дороги не уступят. А в частности: едем сегодня, — бежит навстречу мальчон-

ка, счастьем не раздавили, весь автомобиль заскрипел от тормозов, — шофер-китаец слез с автомобиля, поймал мальчонку и так напорол ему уши, что я пошел выручать, — шофер улыбается, мальчонка улыбается, — поехали дальше... — Я нигде не видел такого большого количества уличных драк, как здесь: едет рикша, полисмен-индус бьет его бамбуком; не поладили двое, не ругаются, молчат, а — мордобой; особенно — полиция, которой здесь до чорта много всяких национальных и непонятных сортов; все это — вообще. А в частности — я очень жалел сегодня, что я не умею драться. Мы выходили из парка после концерта, толпою иностранцев. И на грех около ворот парка дрались два китайца, очень серьезно. По непонятным мне причинам, должно быть из-за «человеколюбия» и во имя порядка, — некий американец пошел их разнимать. Ему помогли еще двое белых. Растащили и пошли садиться в автомобили. Но китайцы опять пустились в драку. Тогда американец рассердился: он ударил китайца по лицу, китаец покачнулся, — американец ударил его по спине ногой, китаец упал и поднялся, намереваясь что-то сказать американцу, никак не злобное, — тогда американец вновь ударил китайца — по груди, — китаец упал, как падают убитые. Мне показалось, что американец убил китайца. Американец, кажется, тоже занедоумевал, потому что наклонился и потрогал голое тело китайца белым своим ботинком. Но китаец поднялся, — тогда американец еще раз ударил — облегчено вздохнув — ногою по спине. Китаец побежал от американца — так, как бегают битые собаки. Кругом стояло человек двести зрителей — —

Утро 25-го.

Сейчас должны собраться народы, чтобы на моторботе ехать на взморье. Днем, ночью, вечером, утром — все время, всегда над этой землей пахнет мертвецами и человеческим пометом. Главнейшей религией в Китае является почитание предков, тех, трупы которых так пахнут. Если вообще вся китайская культура так пропахла, как эти мертвецы, то это — очень невесело иметь — такой национальный запах! Меня мутит сегодня от этой жары и от запахов, — голова, точно я встал после долгой болезни.

...я подсмотрел — случайно — за Крыловым. Он сидел на постели, подогнув правое колено к подбородку, к губам (на колене в таком его положении образовывается ямочка), — и Крылов целовал ямочку на своем колене. Лицо его было печально и серьезно. — Я придумал рецепт: когда человеку очень одиноко, когда ему некуда податься, — пусть тогда он целует это свое колено, — ибо приходит тогда некая непонятная нежность к самому себе, жалость, и человеку становится облегченней, словно коленка становится, может стать его другом и разделяет его одиночество!..—

Сейчас Крылов уже встал, читает китайские газеты. — База У Пей-фу, Ляоян, затоплена разливом, разорваны плотины, вода вышла из каналов, город опущен на сажень под воду; кругом стен города — необозримое море воды: пока погибло пять тысяч человек. Это тают снега Памира.

Утро 26-го.

Вчера я понял, что такое китайский дракон и — почему он дракон. Мы ездили к морю. Там, пообедав в английском ресторанчике под пальмами и со льдом, мы отправились (черт понес!) на форты, к самому берегу, женщины на тачках, мужчины пешком. Туда мы под этим палящим солнцем — с трудом, но добрались. А оттуда — солнце жжет так, точно к человеку прикладывают раскаленные железки, — все смокло от пота, точно человек прыгал в воду, — и первое, что ощущалось, это не боль головы, а — ломота рук и ног, как в ревматизме, как от холода, странная мучительно-приятная ломота. Затем сразу пришла отчаянная головная боль, сзади, от шеи под череп, оттуда в виски, ужасная боль, ужасное бессилие, страшное безразличие, когда все куда-то проваливается. И обратный путь домой — четыре часа — я лежал на палубе, в тени брезента, ничего не видя, ничего не понимая, собираясь помирать в страшной боли. Нас было восемь человек, четверо мужчин, один мальчик, три женщины: женщины вынесли солнце, из мужчин только один Локс избежал теплового этого удара. Вечером дома Локс, бывший каторжанин, сидел около моей постели, заботливо читал мне стихи, — а мне было все равно, только бы не эта мутная, тупая боль. Сегодня я — несмотря на то, что вчера я был в пробковом шлеме —

не могу дотронуться до подбородка и до шеи: обожжены, сжигают. И все ломит ноги и руку: мужики российские в бане на полке выгоняют ломоту, — здесь наоборот. — Черт бы побрал этого дракона! — синий дракон — на белесом, пустом, бескрасочном небе.

Крылов:

— — В Шандуни хунхузы нападают на целые села и маленькие города, забирают все, вырезывают людей или связывают их и кладут на дороги. Оружие хунхузы покупают у местных военных частей генерала Чжан Дзун-Чана.

2 часа дня.

В Москве сейчас семь утра. В моей комнате в Москве шторы еще опущены. Как можно часами заниматься глупостями: тем, что часами я восстанавливаю несущественности, мелочи, полумрак комнаты, лампу на столе!..

4 часа.

Дышать нечем!.. ужасно!.. — А в Москве прохлада девяти часов утра.

6 часов.

В Москве 11 дня. Солнце ли за окном, или прошла гроза? — у меня за окном умирает день, гудит город, стонет река. Где-то играет оркестр европейской военной музыки: колония, черт бы ее побрал!.. Еще один день уходит, Локс прилег с книгой, заснул. Сегодня вечером решили сотоварищи играть в преферанс. Ничего не хочется — ничего не думается. Написал в Россию письмо, товарищу детства, с которым в Богородске вместе собирали татарские серьги, — написал ему, чтобы он собрал этих серег, отвез бы их ко мне в Москву: паренек сочтет меня не совсем в себе — из Китая, мол, и про татарские серьги!.. — У меня же с канала все время пахнет мертвецами.

8 часов вечера.

Тушил свет, выходил на террасу: ночь темная-темная, звезды, — и многие звезды — совсем незнакомы

мне, чужие, не наши звезды, совсем не те, к которым я привык с детства, еще от Можая.

2 часа ночи.
С 26-го на 27-е.

Здесь ночь — в Москве семь вечера. Все это время проиграл в преферанс. Выходили сейчас на террасу: ветер, — и огромная, прекрасная стоит над водою луна, вода светится фосфорически под луною, шумят люди на канале. И вдруг все перепуталось: — этот ветер — эта луна — эти воды — эти шумы: в России сейчас осень, — а здесь сейчас пахнуло весной; прокричал таможенный катер, провыл сиреной, и эхо долго не может улечься, как у нас только по веснам. Это потому, что у нас только по веснам в половодья бывает такой насыщенный воздух. Но такой луны у нас не бывает, у нас она беднее, бессильнее...

...консул вышел ко мне на террасу. Ночь. Молчим. Хорошо — ветер! Голый, я стоял под ветром, — вот оно — тело. Хорошо под ветром: ничего не надо, все проходит с ветром — и хорошо делает, что проходит. Китайская пословица — «струны гитары разорваны» — означает разлад между возлюбленными. Возлюбленной у меня нет. Да здравствует товарищ ветер!..

...Приветствую все, приветствую! —
. . . . из недр росток женьшеня
сбирает старику любовные томленья
и смертному дарит двоенный небом срок.
И в мглистый час быка, созвездиям покорен,
с молитвой праотцев бери олений рог,
и рой таинственный, подобный людям, корень! —
— это перевод

с китайского о женьшене, о былях и легендах, связанных с этим корнем, как мандрагора, — об этом «таинственном, подобно людям, корне». В чем дело? — да, и я, и все — таинственно, как музыка, как вот мои мускулы, сжимающиеся в желваки под кожей, те, которые я только что подставлял под ветер, которые под этим ветром стали бухнуть крепкой кровью, сказав, что они живут по-своему и по-своему могут мне предписывать свои законы бытия...

У Локса есть привычка разговаривать с самим собою. Сейчас, перед сном, принимал ванну, и вдруг пой-

мал себя на фразе: «— ну, давай полезем в ванну, помокнем!» — и заметил, что я и сам разговариваю с собою вслух, добродушно, доброжелательно, как со старым приятелем, — это я разговариваю со своими ногами, руками, грудью, мылом. — Молчаливые собеседники! —

Утро 27-го.

Вчера, ложась спать, посмотрел часы: три. Проснулся сейчас, посмотрел на часы: три. Пословица о том, что счастливые и пр. — устарела. Локс спит, боев нет. Читал газеты: все о том же, о жаре, холере, войнах, забастовках. Бой принес почту, — и меня обухом по голове порадовала весть о том, что мой пароход, кажется, вновь пойдет во Владивосток, то есть еще на месяц оттягивается моя путина. Черт бы все побрал! — маманди — поистине ядовито!..

За брекфестом Крылов читал китайские газеты. С Коу Ин-цзэ — еще веселее! — Фань Ши-мин, партизан Хенаньской провинции, выкинул лозунг — «Хенань — для хенаньцев!»... — И тогда Коу Ин-цзе, хенаньский дубань, обратился в один из глушайших хенаньских дистриктов, к тамошнему мандарину с письмом, в коем говорится о том, что Коу родом из этого дистрикта, что отец Коу умер, когда Коу было два года, что Коу с матерью покинул родину, когда ему было пять лет, но он помнит, что там остался его брат, — и Коу просит мандарина разыскать его старшего брата, имя которого он, Коу, за давностью лет забыл. Мандарин, в радости, отвечал, что, действительно, в его дистрикте есть один китаец по фамилии Коу, перевозчик на плоту, безграмотный, — и что этот перевозчик, действительно, помнит, как в самом раннем детстве был у него брат, который потом пропал. Коу Ин-цзэ, дубань, генерал, поехал к старшему своему брату на свидание, торжественнейшая произошла встреча между дубанем и нищим, безграмотным паромщиком. Они признали друг в друге братьев — со всею китайскою пышностью. Нищий получил полковничий чин и поехал с дубанем в Кайфын. Все было замечательно, но... в Кайфыне жила мать дубаня, которая оказалась — ровно на два года старше старшего своего, вновь найденного сына!.. — В газетах — веселье, но

новый брат все же получает посты. — Все это понадобилось Коу к тому, чтобы доказать, что он — хенанец. Вот иллюстрация к китайскому феодальному бытию, к тому, что такое есть мандаринская политика и как дубани борются с лозунгами партизанов.

Посмотрел на часы: на них по-прежнему три, — забыл завести, — завел.

. . . .

...в России сейчас прозрачные, ясные дни. За городом раздвинулись просторы, поля лежат сжатые, опустевшие, грачи собираются стаями и над перелеском летит воронья свадьба. Месяц выходит рано, долго висит в ненадобности, потом обмерзает ночью — или согревается ею, — и тогда из лесу выходит волк, бесшумно идет опушкой, не шелохнет опавшего листа. Тени в лесу от луны сини, исчерна. В лесу растут татарские серьги, — их не видно в ночи, это я только знаю. Пустые сумерки были очень долги. Волк долго лежал в овражке. Зайцев не слышно, они ушли в поля. — Любови человеческие цветут по-разному. Хорошо, если любовь зацвела весною (пусть в октябре), несла плоды летом, — тогда каждый год будут весны у такой любви, а осенями тогда так хорошо рыться в письменном столе, где пахнет прошлою зимой — перебирать бумаги и письма, — и эти, от прошлой зимы, сложить, связать и засунуть на дно нижнего ящика, — быть может, для того, чтобы посмотреть их последней — человеческой — зимой, — а иной раз для того, чтобы не вспомнить о них — даже этой человеческой последней зимой. Так идет простая человеческая жизнь... — Но волк вышел на опушку ночною осенью, прозрачной, как Пушкин, осенью охот по чернотропу и охотничьих рогов, воспевших осень, — волк увидел стеклянную луну стеклянными глазами. — Но — вот, тоже осень — шумит, гудит, стонет лес, гудит, воет, плачет — неизвестно, кто, что — то ли ветер, то ли волки, то ли тот же лес. И падает, падает мелкий дождь, холодный, такой, в котором человеку, если человек идет лесом, страшно двинуться и страшно подумать, что вот он еще вчера, сегодня утром — так спокойно насвистывал из «Веселой вдовы»: страшно представить, что вот вдруг ветер вместо него засвистит над лесом именно этой — «веселой вдовой». Тогда — надо человеку остановиться, прислониться к дереву, сдвинуть на лоб кепи и — засвистеть из «Веселой»...

Пришла московская почта, буду читать газеты.

8 вечера.

Сейчас мыл руки: из крана, откуда обыкновенно течет холодная вода, сейчас текла — горячая: так она накалилась в трубах солнцем.

После ленча спал. Я проснулся потому, что пришел и сел около Локс, молча. Я выпил содовой, съел апельсин, выкурил папиросу, чтобы продраться ото сна, — посмотрел на Локса, — он молча посмотрел на меня. Я все понял, и я сказал:

— Нади играть в шестьдесят шесть?

— Вот именно, — ответил Локс.

Жара. — Фен гудит метелью и никакого отдыха не несет. Вот преимущество машинки: руками писать невозможно, ибо бумага разбухла бы от пота.

Сегодня были Дзян Гуян-ци и Ти Ен-хан, китайские литераторы, поэты и драматурги, мои друзья. Говорили о Китрусе. В метафизике маманди, протекая подземными ключами, общество выплывает теперь на земную поверхность. У общества будет свой журнал «Нэн-го» («Южная Страна»). С ними ездили в китайский ресторан обедать, есть ласточкины гнезда, свиные выкидыши, жучков, засахаренное мясо.

5 часов утра 30-го.

Сегодня у меня бестолковый день, редкостный в нашем одиночестве: днем китайцы, вечером, ночью — —

Сейчас — пять утра: в Москве одиннадцать вечера, послезавтра август, синий вечер, левкои цветут... Рассвет — то пустое время, когда земля не засеяна светом. Я стоял сейчас на террасе: все в тумане, но в таком, какого в России нет, сквозь который не видно только того, что творится на земле, — в небесах делается красными полынями рассвет, по реке, на всех парусах в тумане, плывут сампаны и джонки: тысячелетний пейзаж!.. — Россия — рассветы все очищают.

С двенадцати вечера до этого времени я просидел в компании соотечественников, местных артистов местных варьете, музыкантов и балетчиц. Собрались эти люди — в мою честь, — и это вклад в меня, ибо такого я еще не видал! Один мужчина работал в Хлестакова, —

один был просто истериком. Организатор: «вам нравится эта? — берите бутылку и идите наверх, там есть темная комната». — Истерик: — «вы хотите знать, что есть мы? — вот дайте ей четвертную» — —

Все эти были русскими. Мне было совестно, что и я «искусник»... — Россия — рассветы все очищают. — Колония, Китай, — непонятно, ужасно!.. — Эти актеры через несколько дней понесут «русское искусство» — на Яву, в Батавию, в Маниллу...

Однажды ночью за окном около нашего дома я услыхал русскую ругань. Женщина садилась в рикшу, на другом рикше ее дожидался американский матрос. Русский мужчина в отрепье офицерского костюма требовал с женщины деньги. Женщина уехала. Тогда мужчина стал кричать ей вслед о том, что он — муж, он может не захотеть и не пустить ее ночевать с матросом, — он требует два доллара. Женщина уехала. Мне — моим путем рассуждений — казалось, что он сейчас начнет проклинать нас, россиян, СССР, большевиков, грозя нашему — большевицкому — дому, — нет: он проклинал только жену. —

...Очень нехорошо видеть таких «актеров»: надо умолять россиян, моих товарищей по искусству, чтобы не ездили, не ездили они в «турне» по Востоку, по колониям, ибо неминуемо женщины здесь превращаются в содержанок, а мужчины в сутенеров, здесь, где все за деньги.—

6.30 вечера 30-го.

Не спал всю прошлую ночь. Днем работал на китрусов. После обеда исхитрился поспать, хоть и ложился в простыню, как в Сахару, жара. — Ура! Ура! — мой пароход будет здесь 8-го!.. Пот течет ручьями, лезет на очки, мешает видеть и писать.

Проснулся в бодром и радостном настроении. Еще в полусне, между сном и явью, от сна остается нечто неосознанное, такое, от которого просто — хорошо, — а потом мозг растекается по своим местам сознания, памяти, дел, и тогда — «ну, да, вот, 8-го приходит пароход!» — и все. И этого «все» — очень достаточно, ибо мертвая точка начинает двигаться, ликвидирует этот кусок моей жизни, самый фантастический в сущности

и — самый тяжелый во имя фантастики, фантастический во имя тяжестей, — но такой во всяком случае, где переплелись, искареженные, маманди, время, ночи, трупы на канале, непонимание, удушье, революция... Я плохо написал этот абзац: лучше не смогу. — «Все к лучшему в этом лучшем из миров!» — вскричал доктор Панглос, когда его потащили на виселицу.

Ура! ура! — 8-го приходит пароход!..

Утро 31-го.

Читал газеты. Конечно, совсем иной мир. Там где-то — Европа, — а здесь: — Панама, Батавия, Манилла, эти экваториальные пропаренные бульоны жаров, Сингапур, штормы под экватором, Сун Чуан-фан, Фань Ши-мин, китайцы, индусы, малайцы, их жизнь, их интересы, — португальцы, арабские евреи, испанцы, французы, англичане, — колонии и метрополии, — колонии. И вот — я, задыхающийся мертвой человечиной, пахнущей с сампан, живущий бытом дипломатического корпуса, в дипломатическом квартале так, как я никогда не жил, в медлительности и комфортабельности, — в том, что сегодня старший бой без всякого моего спросу вычистил от вещей мои чемоданы, все перебрал и развесил по гардеробам, предварительно сносив суконное в химическую чистку, как делают всем джентльменам, — бой решил, что вещам не место в чемоданах, если джентльмен никуда не едет. Очень важно, что я разучился спать, потому что ночи все переаршинивают. Когда я покину эту жару, когда мысли, виденное, воля и нервы придут в порядок, — это будет путь из фантастики. Я смотрю на мое тело в зеркале: я странно думаю о том, что мое тело стало совершенно бесполо, — это большая глава той фантастической повести, которую я пишу самим временем.

...если оторваться от Земного Шара и в колоссальном некоем полете посмотреть сверху на Земной Шар, — то увидишь его никак не озабоченным о человеке, враждебным человеку своими размерами, — тем, что север и юг, полюсы, скрыты от человека холодом, льдом, метелями, — тем, что юг сейчас в вечной ночи, север в вечном дне, — тем, что вокруг экваториальных стран, в смертельном удушье, несутся туманы облаков, туч, испарений, плесеней, — ветрами, штилями, зноями, дождями, грозами, снегами, мраками, светами, которые

идут над этим Шаром, летящим в пространствах пустот. — Да, так. И — да, велик человеческий мозг, который умеет, вопреки Канту, видеть «вещи в себе».

9.30 вечера.

Утром сегодня купил пасьянсные карты. Весь день раскладываю пасьянсы. Пришла парижская почта, Локс погружен во французские журналы. Я — никуда, к нам — никто.

10.30 вечера.

Израссклaдывал пасьянс до одурения, и все не выходит и не выходит.

11.30 вечера.

Еще раз грузился в комбинации карт, рассуждая о том, что колоссальнейшая закономерность движет картами, этим пасьянсом, который не сходится.

12 ночи.

Вышел! — два раза подряд!..

И я выходил на террасу, смотрел на звезды: — очень жаль, что летучие мыши больше не залетают ко мне, и очень жаль, что мышиный труп смыла гроза, — и совершенно жаль, что человечество еще не овладело умением анабиозить людей: я с очень большою охотой заанабиозил бы себя до парохода.

3 часа ночи 1 августа.

Ну, вот и ушел июль, — здравствуй, август! — и на канале август встретили канонадой шутих, фейерверками, — встретили смертью какого-то китайца, о котором я никогда ничего не узнаю, сколько бы я ни добивался и ни додумывался. С вечера поднялся ветер, с океана дует, качает лампу, сильный, свежий, — и легче думать. На автомобиле, в этом ветре, во мраке, мы мчали за город, молча, каждый сам в себе, сумрачно. Летающих светлячков уже нет.

8 часов утра.

Всю ночь выл такой ветрила, рвал, метал, и сейчас гудит так, что наш дом похож на судно в море. Небо пустое, как в море. В газетах пишут о тайфуне на океане, Индийский океан меня встретит сентябрем, — эх, и покачает же меня, чтобы я знал, что такое путины по миру!..

Час дня.

Ветер! ветер! — Локс пришел ко мне и сказал, что он молодеет ветром на десять лет и нынче ночью первый раз за лето спал без кошмаров. — Золотой — золотой — золотой день, тот, о котором, по Майн-Риду, говорится: «настал прекрасный тропический день».—

11 вечера.

Сейчас уже не ветер, а ураган свистит, воет, окна позакрыли, все дрожит: сейчас можно «помолиться» за плавающих!.. Уууу-иии-ююю! — гудит, воет, плачет. Ночь черная, канал замер, опустел, мечутся под террасой деревья. — Люблю стихии!.. Тайфун!..

Почему — Китай, а не Норвегия? — это чувство одиночества и бодрости, которое сейчас у меня, мне дал Гамсун. — Локс пришел ко мне с картами, мы играли в 66, он выиграл. — У каждого человека должно быть свое хозяйство: я совершенно уверен, что вот этот воющий ветер — есть предмет моего хозяйства и моего бытия, наряду с пасьянсами. Ночь черная-черная, звезды ярки, и этот гудящий ветер, дующий черноту на землю, делящий эту темноту совместно со звездами.

9 утра 2-го.

Ветер стихнул.

Пришел Крылов, показал текст телеграммы, которую он послал утром жене: «все мое отдаю твои руки, если они чисты». — Эта русская истерика, написанная латинским шрифтом, будет прогнана электрической энергией до Москвы, путиной трети земного шара.

. . . .

...Китай!..

Мне сказали, чтобы я делал приветливое лицо. Мы шли рабочим кварталом, там не было ни одного европейца. Я видел, как в палатке, вроде тех, в коих торгуют у нас на деревенских ярмарках, таких, где стены из тряпок и на день эти стены подняты, — живет целая семья рабочего, со старухой бабкою при дюжине ребят, где и бабка и мать одеты только в тряпку на чреслах, а дети совершенно голы. Так, рабочими кварталами мы дошли до храма. Храм принадлежит этому району. Храм нищ. Это в сущности маленький городок храмов, где есть все — от молелен по разрядам и чинам молящихся и помирающих, — до мастерских, до клетушек (около богов) священных проституток (видел их, этих священных проституток, — они сидят табунком, молодые и старые, отданные отцами богу, вышивают, пьют чай, мирные). Храм носит имя — Храм Небесной царицы. Две китаянки при мне принесли в жертву богине двух куриц. Там полутемно, очень тихо, сонно, пахнет сандаловыми курениями. Там у меня начала кружиться голова, и мутиться, и болеть от жары, — и мы пошли восвояси. По китайским правилам нельзя из храма брать человека в тюрьму. Я ходил в этот храм потому, что именно из него был взят полицией Лю-хфа. Там в храме есть полутемные стойльца за решетками, с подметенным полом: там могут лежать экстатически-молящиеся — часами: — многие, кому негде лежать и спать, приходят туда, ложатся «экстатически» и спят. Очень дурманно пахнет в китайских кумирнях. Я слышал, как зевают китайцы: совсем не по-нашему, — они поют зевая, так же, не в обиду им, как воют собаки. Лю-хфа скрывался в этом храме и прятал здесь членские деньги. Полиция его взяла из храма.

. . . .

...жара — жара — жара! Пришел Крылов: еще образовался новый фронт: генерал Чу Пей-так вторгся в Западную Дзянси. Сегодня какой-то солнечный тайфун, уж и не знаю, что это такое, потому что ветра никакого, не зашелохнет, и воздух мокр и горяч, как — как, когда разломишь только что вынутый из печки ситный. Крылов рассказал, как калганцы ссорились со своим богом Городской Стены. Слушая, я лежал в постели, больной от жары, в простынях, мокрых от пота.

В 1924 году было очень засушливое лето. Калганцы молились главному своему богу — богу Стены, молились соборно, чтобы помог: не помогал. Тогда калганцы вынесли бога из кумирни под солнце, чтобы ему самому — богу — стало жарко. Вынесли, — и на второй день полили дожди, такие дожди, что получилось наводнение, залило город, плавали по городу на джонках, многие перетонули. Калганцы вытащили тогда бога под дождь, посадили в лужу и там его пороли. — А потом, когда наводнение кончилось, бога поставили в кумирню и — забыли о нем до новогодья 1925-го. Перед самым новым годом гадатели установили, что: — изображение бога осталось в кумирне, но самого бога там нет, ибо он пошел жаловаться на калганцев на небеса, самому главному (забыл имя) небесному богу. Без этого же бога Стены — никогда не встречали Нового года и нельзя встречать. Новый год приходилось отменить. Отменили. Но, все же, всем городом в полночь перед Новым годом пошли к Западным воротам просить у бога прощения. Пришли с фонариками к воротам, открыли их и пали ниц перед воротами, моля бога помириться и вернуться в город. В половине четвертого утра стало известно, через бонз, что бог находится за воротами, куражится и пойдет на свое место в кумирню только в том случае, если люди будут заманивать его ползком. Пришлось поступить так: ползли от ворот в город на четвереньках, лицом к воротам, задом к городу, ползли задом наперед до самой кумирни: заманивали таким образом бога. Приползли к кумирне, расположились вокруг нее веером, головами внутрь. Бог проследовал в кумирню, вместился в свое изображение. Люди сомкнули веер. И тогда — о, тогда! — люди бросились на бога в кумирню, избили его, заперли так, чтоб он не мог уже убежать, — и: по случаю Нового года пошли играть в маджан, в коий и проиграли три дня подряд!..

Крылов клянется, что это не выдумка, но факт, иллюстрация старого Китая, живущего поныне. — Вышел на террасу, курил, запрокинул голову. Да, такого неба у нас не бывает: оно здесь гораздо темнее и глубже, далече, — и такие яркие, незнакомые звезды. Я с успехом могу теперь написать рассказ о том, что такое ссылка.

. . . .

...сегодня утром ко мне — в 8 часов ввалился мой друг — поэт Дзян Гуян-ци. Я спал. Он сказал, что ждет автомобиль, надо ехать кинографироваться в целях нашего Китруса. Поспешно брился, мылся, и мы поехали на фабрику. Там — светопреставление, все вверх дном, вешают фонарики, под потолком развешивают картины, расставляют столики: делают артистическое кафе. — Это я приду в кафе, которого на самом деле здесь нет, в артистическое, с русской художницей (пригласили одну мою русскую приятельницу-художницу), с китайским скульптором (настоящим, знаменитым китайским скульптором, который 6 лет обучался во Франции), профессором (настоящим, словесником местного университета, популярным человеком) и с поэтом, моим другом и переводчиком Дзян Гуян-ци. Мы сядем за столик, будем разговаривать, нам будут подавать две девушки, — я, как демократ и как сын революционного народа, предложу им с нами выпить, подсесть к нам, — они подсядут, и Софья Григорьевна — русская художница — будет одну из них зарисовывать. Кафе полно народу. Два студента узнают меня и просят познакомить их со мною. Мы меняемся визитными карточками. Мы говорим. Они, студенты, говорят, что они приветствуют меня, русского революционного писателя. Мы все встаем, чтобы совместно выпить, и студенты, и горничные, и — мы, наука и искусство. И я вкладываю руки студентов в руки горничных — по-европейски — как символ содружества науки и демократии, содружества труда и знания! .. — Так было выдумано Ти Ен-ханом.

Разыграно было не совсем так. Столпотворение творилось вавилонственнейшее!.. — кафе готовили до двенадцати дня. Жар жарил невероятный. Все в суматохе говорили только по-китайски. В 12 часов, по команде, так что я ничего не понял, — всем населением, человек тридцать, — попросту, по-рабочему, — двинулись в соседнюю китайскую кухмистерскую обедать. Дали полдюжины супов, лягушек, лотосов, кусочки собаки. Софью Григорьевну чуть-чуть не стошнило, хотя она и не ела. Я ел, пил и сидел мокрым, как мышь. Вернулись. Народу еще прибавилось. Столпотворение. Тут-то и начались мои страдания.

Начали кинографироваться. Меня посадили в центре, все прожекторы навели на меня, а кроме про-

жекторов установили еще такие щиты, которые отбрасывали на меня лучи настоящего солнца. Эти-то щиты и были моим ужасом, ибо, во-первых, они палили утроенным жаром, а, во-вторых, я от них — слепнул!.. — Все разместились по своим местам. Хотя на киноленте и не слышно, — тем не менее, музыкант играл на скрипке и пел певец, — китайская же музыка и пение — на ухо европейца — кажутся окончательным вырождением слуха, от пения и скрипки у меня начинали ныть зубы, как они ноют, когда трут пробкою по стеклу. Все говорили сразу и был неимоверный ор, мне никак не понятный. Дзян Гуян-ци — должен был и играть и переводить то, что говорят мне: ему кричали благим матом, он отворачивался от объектива и орал мне. — Началось так. Вышли, сели, сняли головные уборы, заказали вина, девушки принесли: все шло по порядку. Но тут пришли студенты и сели так, что щит (проклятый) оказался против моих глаз. Я встал, чтобы поздороваться со студентами и дать им мою визитную карточку и: — ослеп, форменно, — понимаю, что ничего не вижу, — силюсь раскрыть глаза — опять сноп этого неимоверного солнца, опять жмурюсь и тяну руки к лицу. Оператор вертит, — я понимаю, что так не знакомятся. Режиссер орет на Дзяна. Дзян орет на меня. Все орут. Ничего не понятно. И я стою, плачу, текут слезы от света и боли в глазах. Музыка воет. — Начали это место переснимать вновь. Я понимаю обстоятельства: позвали крупных людей, уважаемых и известных, да и мне дурнем выглядеть не хочется: на всю эту операцию я согласился, хоть и понимал, что глуповато, только ради дружбы Китруса да ради хороших людей, также согласившихся на этот трюк, на тот, что, мол, вот она — настоящая китайская действительность, скрашенная известными именами!.. — Но я увидел, что все китайцы давно уже бросили «играть» и — борются только с солнцем и этими проклятыми солнечными щитами, слепящими и поджаривающими человека: так что получается даже хорошо: иллюстрируется, как люди страдают от солнца и не смеют глядеть на дракона. — Музыка играет, певец поет, солнце сжигает, пот течет, все орут по-китайски, ничего не понятно. Режиссер орет на Дзяна. Дзян орет на меня. Я слеп и глух.

Так до четырех часов. Тогда — опять точно по команде — все встали, чтобы пить чай. Я отпросился до-

мой — отмолился! — и, приехав, экстреннейше полез в ванну... — Некогда, когда меня брали в солдаты и проверяли мою близорукость, мне впрыскивали в глаза атропин: я полуслепнул, и мои зрачки теряли возможность расширяться и суживаться: сейчас мои глаза, после этих кинооперации, не могут смотреть так же, как после атропина. И все время у меня в горле и в голове — эти светы, вои и музыки.

Последняя глава

. . . .

2 часа ночи.

Очень странное состояние возникает, когда часами раскладываешь пасьянсы: все сливается в глазах, нельзя уже оторваться от карт, но нельзя и сосредоточиться на них, — карты сливаются, карты вырастают до огромных размеров, карты проваливаются куда-то, уменьшаясь до булавочных головок. И тогда начинает казаться, что стол, машинка, карты на столе, — все движется, ползет, живет. И мысли тогда куда-то проваливаются. Лоск разговаривает сам с собою. И наяву тогда путаются сны: кошмарствуют прожекторы, от которых слепнешь, пароходы, китайская музыка и галдеж, кумирни, переулки.— Я прошел по комнатам нашего дома. В столовой на столе содовая и ликер, апельсины и карты для пасьянса, и сор от пепла и апельсинов. В гостиной перерыты сотый раз все журналы. В кабинете нечем дышать от кожи кресел. Там, за стенами нашего дома, — работают люди, воюют, умирают, предают, побеждают, торгуют, умирают от жары, от засухи, от наводнений, от голода, от холеры, заговорщичают, бунтуют — китайцы, — там, за нашим — этим! — городом, на огромных тысячах километров, где живет самая многочисленная в мире нация, та, которая первой изобрела печатный станок, порох, компас, то есть то, что дало мощь Европе, — та, которая живет в ужасной нищете и варварстве, в грязи, в удушье трупины, от которого у меня, в частности, скоро начнется психическое расстройство... Я мозгами развожу, как философы руками: я очень устал, очень измучен, — и над картами мои мысли научились двоиться, троиться и вообще быть

только «дробями», потеряв возможность координироваться в задачах со «многими неизвестными». Локс разговаривает сам с собой: Локс живет в этом мире потому, что по всему земному шару должна пройти коммунистическая революция. — — Здесь в доме у нас — зима и ссылка.

. . . .

...в России сейчас август. Ночь. Падает, падает мелкий дождь, холодный, такой, в котором человеку, если человек идет лесом, страшно двинуться, страшно подумать, что вот он еще сегодня утром насвистывал из «Веселой вдовы». Но дождь перестал и в ненадобности повиснул на небе месяц, обмерзает ночью, — и тогда из леса выходит волк, не шелохнет опавшего листа... — Ах, Россия, моя Россия, — отъезжее поле мое!.. — Стеклянными глазами волк глядит на стеклянную луну.

Москва, на Поварской,
7 февраля 1927 г.

КИТАЙСКАЯ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА*

Глава первая

В наших руках оказались дневники русской женщины, судьба которой обыкновенна: в двадцатых годах двадцатого века эта русская, да, конечно, революционерка, — была рабыней, наложницей. Один из авторов, Пильняк, встречался с этой женщиной в Пекине, когда она работала там в двадцать шестом году в Китайской коммунистической партии. Она погибла от китайской пули, студенткой КУТВа — от китайской пули, в рядах дальневосточной Красной Армии в сентябре двадцать девятого года, поехав на фронт добровольцей. Второй автор, Рогозина, привезла эти дневники, приведенные ниже, получив их от умиравшей: Рогозина была другом Беспалых, сестра ее мужа. Беспалых была обыкновенным человеком с необыкновенной судьбой, видевшим необыкновенные вещи обыкновенными глазами: это вдвойне делает ценными дневники Ксении Михайловны.

Дневники, — по существу говоря, мемуары, — были написаны в рабские дни Ксении Михайловны Беспалых; дневники разбиты на первые, вторые, третьи, прочие части и разделы.

1

Города Троицкосавск, Кяхта известны России со времен Петра двумя столетиями российского чаепития, душевных чаевных разговоров и благодушия до седьмого пота. Кяхтинский форпост, пограничный с Монголией город, был форпостом китайско-русских чайных караванов, — и Ксения Михайловна начинает свою «часть I» древними российско-купеческими событиями и понятиями.

Мне было четырнадцать с половиной лет, когда умерла моя мать. Отец очень любил мою маму. Проис-

* Совместно с А. Рогозиной.

ходя из обедневшей купеческой семьи, сын купца, отец разбогател и женился на бедной дочери казака, воспитаннице купчихи Л., которая взяла девушку, мою мать, из приюта к себе как лучшую рукодельницу. Отец в то время служил у Л. главным приказчиком. Л. имели свои золотые прииски и чайные караваны. Сам Л. не владел ногами, возили его в кресле, так что все дела за него исправлял мой отец, пользуясь огромным доверием жены Л. Мать моя была красивой женщиной с прекрасной фигурой. Одним недостатком ее были жидкие волосы пепельного цвета. Но она так искусно взбивала их, что прическа была лучше, чем у самой Л., ее хозяйки. Носились слухи, что мой отец жил с Л., и та его очень любила. Тайно от нее отец имел связь с моей мамой, и на свет родилась я. Л. была возмущена поступком своей воспитанницы и выгнала мою мать из дома. Отец только и ждал этого со стороны своей хозяйки. Он снял маленькую квартирку для моей матери и стал жить с ней невенчанно, потихоньку от хозяйки. Когда отец стал на ноги, он повенчался с моей матерью. Мне тогда было восемь лет, я уже многое понимала и слышала от других, что Л. с горя уехала в Москву. Вернулась она больной и умерла на руках своих детей и моего отца. Воспитанницу свою она простила перед смертью, видя, что отец безумно любит меня и эту бедную казачку, мою мать. Жили мы хорошо, занимали целую квартиру и двор, но отца видели редко. Он занимал видные места по службе, стал старшиной купечества. Жил он в доме Л., имея там холостяцкую квартиру. Да и дом Л. был описан им впоследствии за долги.

Стиль и круг понятий Ксении Михайловны говорят сами за себя. Содержание же этого абзаца указывает, что Троицкосавск в первые годы революции напоминал Замоскворечье — времен Островского. Мать Ксении Михайловны умерла от туберкулеза. Ксения Михайловна пишет:

Отец выписывал из Москвы для мамы обувь, платье, но она надевала это только в те дни, когда отец давал знать по телефону, что будет у нас. Мы жили в Троицкосавске, отец в Кяхте, между которыми было три версты. Отношения между отцом и матерью были для меня непонятны. Дом был у нас большой, и мы находились в своей половине с горничными, когда

приезжал отец. Только за ужином я видела отца, красивого, строгого, с седеющими волосами. Отцу было пятьдесят девять лет, матери — вдвое меньше. В такие дни в доме было тихо, даже нищие как-то тихонько просили милостыню на кухне. Все в доме боялись своего хозяина. Приезжал отец всегда с кучей игрушек, книжек, сладостей. Как только отец уезжал, в доме у нас становилось шумнее и лучше для всех. По субботам у нас собиралось купеческое общество, играли в винт и преферанс.

Помню: я возвратилась из гимназии с заплаканными глазами, я получила единицу по словесности. Учитель Тратинский поставил мне и моей соседке по парте по единице, сказав, что кто-то из нас списал сочинение и он ставит единицы, чтобы мы не списывали друг у друга. Мама уже давно не вставала с постели, она утешала меня, но я горячилась и просила мать поговорить с учителем, убедить, что я не списывала, попросить поставить хотя бы двойку, а не единицу. Мама обещала попросить папу, закрыла глаза, чтобы отдохнуть, велела мне уйти в свою комнату. И больше я уже никогда не видела маму живой.

Ксении Михайловне было четырнадцать с половиной лет, когда умерла ее мать; через два года, многажды насилованная, проданная за даяны, Ксения Михайловна была калганскою рабою, второю женою китайского купца. В доме же отца за преферансом бывали монгольский князь Норбо и этот китайский консул и купец — Сун.

2

Год жизни без матери прошел так.

Уроки я забросила. Ночами я часто внезапно просыпалась и думала о матери. Горе мое было так велико, что, проснувшись ночью, я вставала с постели и тихо выходила в зал. Моя спальня было через две комнаты, столовую и гостиную. Мать давно уже похоронили, но я видела ее гроб так же явственно, как наяву. Я не чувствовала холода, в одной рубашке, босиком, я припадала к угловику и рыдала. Прислуга спала, я проводила целые ночи без сна. Утром горничная уводила меня в

мою комнату. Часто мне казалось, что я вижу маму в гробу, крышку закрывают на гвозди, и удары молотка отдаются в моем сердце.

Отец вместе с другими купцами развлекался после смерти матери гуляньем, пьянством, бегами, охотой и развратом.

Возвращаясь домой из гимназии, я проходила главной улицей мимо кинематографа. Вместе с подругами я останавливалась перед программой и читала. Гимназисткам разрешалось бывать в кино по четвергам и в праздничные дни. При маме я ни разу не была в кино. Теперь я была самостоятельна. Первые разы я ходила в кино всегда с Гутей, моей горничной. Потом стала ходить одна; не пропуская ни одной программы, я стала ходить каждый день. О моих частых посещениях кино узнали в гимназии. Я получила строгий выговор от начальницы. Я вынуждена была пропустить две программы. Хозяин кино — датчанин и кассирша, привыкшие видеть меня ежедневно, когда я пришла в ближайший четверг, расспрашивали меня, почему я не приходила. Хозяин спросил меня через окошечко, что со мною. Кассирша позвала меня в кассу.

— Я получила выговор, — сказала я, забираясь на лавку, на которой сидел хозяин. — Если пожалуются отцу, он не будет давать мне денег. А дома мне скучно. — И я расплакалась.

— Вот глупости, — ответила кассирша, — если вы хотите бывать, Э. А. даст вам свой стул, и вы спокойно можете сидеть весь сеанс. И вас никто не увидит.

— Правда, — сказал хозяин, — это удобно, и можно сделать, но согласится ли она сидеть со мною? — добавил он, улыбаясь.

— Я могу и стоять, если вы разрешите.

— В таком случае приходите со второго крыльца, покупайте вот у этого окошечка билет и приходите прямо в кассу, а когда начнется, выходите потихоньку в зал. Давайте попробуем с сегодняшнего дня посидеть вместе.

Мне было пятнадцать лет, доброту я понимала по-своему. Э. А. был интересный мужчина, с небольшими усиками, с голубыми глазами, среднего роста, не сухой и не жирный. Его жена была русская, она была у нас в гимназии учительницей по рукоделию. Он отлично одевался, курил дорогие сигары.

На все программы я ходила аккуратно. Прошла зима, я перешла в шестой класс. Надо было ехать на дачу, но я решительно отказалась, ссылаясь на то, что дом на прислугу бросить нельзя. Отец согласился, занятый своими делами. Я отказалась от всех удовольствий: от катанья на лодке, от своих любимых собак, лошадей, верховой езды. Кино было для меня дороже развлечений; ради кино я осталась в городе. В кино я стала своей, я всегда была первой из публики. Э. А. тоже стал приходить раньше. В кино я подружилась со старшим механиком, И. Г. Янсоном, латышом, познакомилась с его женою и детьми. И. Г. управлял картинами, выписывал, был правой рукой Э. А. Эти два человека стали на моей дороге. Э. А. я нравилась. И. Г. полюбил меня как свою дочь. Э. А. приносил мне «Нестле». И. Г. рассказывал мне об ужасах германской войны, о партиях и о наступившей революции.

И. Г. рассказывал мне о большевиках, которые борются за народ против царизма. Я слушала его со вниманием и спрашивала, что такое большевизм, какие это люди большевики, как бы мне их повидать.

— Ну, и глупая же вы, — говорил И. Г., — вы вот, например, сами разделяете их взгляды, ну, хотя бы, например, вы из богатой семьи, но вы ничуть не смотрите как на рабов хотя бы на вашу же прислугу, вы жалеете бедняков, только не знаете, как помочь им.

Говорить с И. Г. на эту тему я любила и частенько бегала к нему на дом. В свободное время он исправлял в своей мастерской часы. Это был настоящий труженик. Его жена прислушивалась к нашим разговорам, боязливо поглядывая на дверь, и просила говорить тише.

Я стала интересоваться идеею большевиков. И странно было мне, и в то же время какое-то злорадство на своего отца. Но пока мы об этом только беседовали. Большевиков еще не было.

Как-то раз И. Г. позвал меня к себе в кино наверх, где было колесо с картинами. Э. А. еще не было. И. Г. закрыл за собою дверь. Сначала он говорил о пустяках, потом стал приводить примеры из виденных раньше мною картин, где мужчины соблазняют девушек, женщин, потом бросают их с детьми.

— Послушайся меня, — сказал он, переходя на ты, — не ходи в кабинет Э. А., не оставайся с ним наедине. Если хочешь новые программы, я всегда их дам. Не сердись, если я буду прерывать ваши беседы, заходя в кабинет.

Кино было школой не меньше, чем гимназия. Шло лето семнадцатого года. И. Г. Янсон, кинематографический механик, первый сказал о большевиках.

И большевики появились.

Пришла осень.

3

Меня отвлекало от кино происходившее в нашем городе. Стали носиться слухи о революции, о временном правительстве. Сразу же после уроков я убегала к И. Г. В гимназии ученицы разделились на три партии: за царя, за Керенского и за Ленина. Я была на стороне большевиков, но мы не знали, как нам действовать. Мы потребовали снять портреты государя. О моем поведении донесли отцу. В нашем доме пошли неурядицы. Горничные и кухарка были на моей стороне, отцову руку держала экономка. Начало восемнадцатого года совсем захватило меня. Я подружилась с Полей Мукомоловой, которая имела четырех братьев-большевиков, вернувшихся с фронта.

Однажды, когда я вернулась из гимназии, меня встретила экономка такими словами:

— Радуйся, отца арестовали.

Все наше кяхтинское купечество было под арестом. Требовали контрибуции.

Отца выпустили дня через три. Деньги он заплатил. Большевики конфисковали у купцов имущество. Отец стал прятать ценности, кое-какие вещи удалось переправить через китайского консула Суна за границу. Вскоре и сам он переехал за границу, боясь второго ареста, и присылал нам оттуда деньги с кучером Игнатом. Валерьян и Борис Мукомоловы — один был председателем совета, другой комендантом города — объявили город на военном положении. Кругом в горах и в степи шли сражения. На город наступали казаки. В кино бывать я почти не успевала.

Пришла весна.

4

Мне часто попадался всадник на красивой лошади. Я знала, что лошадь отобрали у купца В., но кто ездил на ней, я не знала. Молодой всадник всегда гордо смотрел на дорогу. Он уезжал за ворота штаба.

Я решила познакомиться с наездником. Я уговорила И. Г. устроить встречу. Но это не удалось. Командующий, как узнал И. Г., в штабе бывал очень редко, знакомств никаких не принимал. Он жил в доме К. с двумя командирами отрядов. Фамилию точно И. Г. не мог узнать или не хотел сообщить мне. Их было два друга, а кто из них Рогозин, а кто Соколов, — этого И. Г. не знал. Думала я, думала и решила написать записку сразу на две фамилии. Я писала: хочу познакомиться, надо видеть, поговорить. Если есть желание узнать, кто пишет, прошу прийти на угол в восемь часов. Я обозначила свой угол. Когда Гутя пошла с запиской, я не находила себе места, щеки мои сгорали со стыда, я упрекала себя в глупости. Ответ был на словах: будут оба.

В восемь часов я высылала Гутю посмотреть, нет л и их на углу. Было уже восемь часов, а их все не было. В нетерпении я сама пошла за ворота. Гутя шла мне навстречу. По ее виду я поняла, что они тут.

Мои два товарища стояли на углу, читая афиши. Я подходила к ним и не могла придумать, что им сказать.

— Ну, друзья мои! — сказала я. — Благодарю, что вы оба пришли. Кто же из вас Соколов, кто Рогозин.

— Вот как?! Вы не знаете нас в лица?!

Мы познакомились.

— Пойдемте в наши края, — предложил Соколов. — Сядем на чью-нибудь скамейку и поболтаем.

Рогозин молчал. Это был мой всадник. Я смотрела на него и понимала, что он мне очень дорог. Соколов был тоже красив, но не было в нем того величия, как в Рогозине.

Мы сели на чужую скамейку.

— Садитесь между нами в середину, а то вас продует, — сказал Рогозин, смахивая платком пыль и давая мне место. — И выбрали же вы денек — какой сегодня ветер!

Оба они смеялись, говорили наперебой всякие глупости. Когда ветер дул особенно резко, Соколов закры-

вал глаза рукою и бранил ветер. Прощаясь, Рогозин задержал мою руку и сказал тихо:

— Завтра, это же место, этот же час.

Соколов поднимал свою фуражку, сбитую порывом ветра.

Ночь я не могла заснуть. Сладко замирало сердце.

Назавтра в восемь часов Рогозин ждал меня на углу.

— Я уже десять минут жду вас, стоять неудобно, я шагал около заборов, — сказал он. — Где-где — так я смел, а вот тут не могу сказать лично. Пусть письмо будет смелее. Обещайте, что вы ответите мне одну правду и сердечно. Вы должны подумать хорошенько и потом дать ответ. У меня заседание, я должен спешить. Пришлите завтра мне ответ.

Он передал мне письмо и ушел. На прощанье он поцеловал мою руку. Я побежала в свою спальню, заложила дверь на крючок и стала читать. Написано было на скорую руку, почерк неустоявшийся. Сначала я ничего не понимала, перечитала второй раз. Он заметил меня очень давно, когда я возвращалась с учебниками из гимназии. Он мечтал о знакомстве, но не знал, кто я. Он объяснялся мне в любви: наша первая встреча решила все, он меня любит и просит быть его женой.

«Вот как! — думала я. — Он не знает меня, я его, и вдруг он хочет назвать меня своей женой. Отец будет против — не то, чтобы брака, но даже знакомства!» Чем больше я думала о Рогозине, тем больше он мне нравился, но мысль, что он командующий, не покидала меня. «А что, если он примет мою любовь не к нему, а к его положению?»

Утром, прочитав еще раз письмо, я дала положительный ответ и просила прийти в час дня для серьезных переговоров. Об отце я не думала. Горничная пришла сияющей. Он дал ей рубль. Он будет.

В гостиной я собственноручно перетерла пыль, переставила на другое место фикус, перетрясла скатерти и хотела было переодеть платье. Я была в простеньком платьице, которое шила сама мама, оно порвалось, покойная мама посадила на локоть заплатку.

Вдруг я услышала голос экономки:

— Вам кого нужно?

— Это мой знакомый, — сказала я. — Дайте нам чайку.

Летом двери у нас с парадного крыльца на террасу всегда были открыты. Рогозин вошел незаметно. Дома никого не было. Отец жил за границей, изредка по вечерам навещал нас. Я так и осталась в своем стареньком платьице.

Я с нетерпением ждала, когда нам принесут чай. Рогозин рассматривал картины. Мы молчали, не зная, что сказать. Я так много видела в кино объяснений в любви, читала в книгах, а тут я все забыла.

— Расскажите мне о себе подробно, я хочу знать вашу биографию, ведь мы совсем не знаем друг друга, — сказала я.

— Я из села Лиственничное, неподалеку от Иркутска, около Байкала. Я жил с моими братьями. Каждый из нас зарабатывал свой кусок честным трудом. Все мы моряки. Я еще до революции увлекался идеями Ленина, а когда революция началась, я весь ушел в работу. Из Иркутска меня послали командующим Красноярским и Троицкосавским отрядами. Жениться я до сего времени не думал, а вот, увидев тебя, я потерял голову. Я не знаю, что со мною. Ехал я сюда, в город, думая только о пользе для других, я дал себе слово помереть за революцию или победить. Жизнь моя не легка. Наши идеи еще не стали на должную высоту. Меня могут поймать, убить. Спасать бегством свою жизнь я не буду, зная, что, как глава партизанских отрядов, я должен спасать свой отряд своею головою. Скажи, родная, честно, тебя страшит моя жизнь? Тебе страшно переносить все мои невзгоды и радости? Я тебя люблю так сильно, что никак не хочу тебе зла. Нет, я знаю, ты пойдешь за мною, я не ошибся в тебе.

Что я могла сказать ему, когда он передал мне свою душу? Я неумело поцеловала его в губы и прижалась к нему. Он смотрел на меня пристально, но не целовал меня. Глаза говорили, что он меня любит...

— С отцом твоим я переговорю сам, — сказал он. — Ведь он и сам любил. Ты не забудешь меня, если меня и не будет... Только вот что — к Соколову я тебя ревную. Я не хочу, чтобы ты с ним виделась без меня. Ты моя, только моя.

Я велела ехать к отцу в Кяхту вечером, рассказала, как найти его, у кого спросить, объяснила, что, если отцу будет неприятен разговор, он будет постукивать пальцами.

Я рассказала обо всем И. Г. и Э. А.

— Раз ты его любишь, да вдобавок увлекаешься свободой, — сказал И. Г., — вот тебе и желанная мечта. Иди за ним смело, но не забывай, что бы ни случилось с тобой, у тебя есть верный друг, и мои двери всегда открыты для тебя.

Э. А. заговорил по-другому:

— Вот как! Вы любите какого-то революционера, который ездит на чужой лошади, которые арестовали вашего отца, отобрали вещи. И вы разделяете их взгляды! Может быть, и вы начнете с ними грабить, и в том числе и меня. — И он полез целоваться на прощанье.

Девичья песнь была спета.

5

Девичья песня была спета. Отец дал согласие на брак. Рогозин отказался от приданого. Отец настоял, чтобы свадьба была сыграна по-старому — по-купечески, «чтобы город помнил об этом», — последний раз «поставил по-своему», и на свадьбе были монгольский князь Норбо и китайский консул Сун, на свадьбе говорилось о краденых большевиками деньгах, стол был накрыт с оловянными ложками, и богатая родня не приехала на свадьбу. Отец дружелюбнейше разговаривал с Рогозиным, но за час до свадьбы, наедине с дочерью, он называл его грабителем и вором.

Рогозин занимал квартиру вместе с двумя командирами в доме Кудрявцева. Сам Кудрявцев скрывался в Монголии, он был скотопромышленником. Его сыновья и мужья дочерей были белогвардейскими офицерами. Как видно, прежние хозяева дома успели запрятать или вывезти свои хорошие вещи. Одни цветы остались от прежнего величия. Нам прислуживала девушка Тася.

На другой день после венчания утром Василий смеялся, а я ни за что не хотела выходить из спальни.

— Мне нездоровится, — сказала я Соколову, когда он вошел к нам в спальню.

— Ну, брат, этак нехорошо, — сказал он Василию, — жена только в дом, а ты уже загнал ее в болезнь. Одумайся, товарищ!

Как было стыдно мне и его, и мужа. Целый день я провела у себя в комнате, то лежа в постели, то сидя на диване.

Возникла жизнь в штабе революции.

В свой родной дом я почти не ходила. Все стало чуждо мне там. С первых же дней я вся ушла в интересы мужа. Я понимала теперь о несправедливом устройстве жизни, о бедноте и страданиях одних и о праздной жизни других. Всей душой я стремилась вместе с мужем облегчить страдания бедных. Василий имел ко мне доверие. Я все знала о нашем городе, он был здесь чужой, и он совещался со мной по всяким городским вопросам. Часто отлучаясь из дома, он передавал мне ключ от секретного ящика, который был заперт в моем шкафике. Я хранила секретные бумаги. Первое время мы брали обед и ужин из столовой коммунистического клуба. Тася приносила обед и ужин. Василий всегда говорил, что он будет есть то, что нравится мне. Василий просил меня одеваться хорошо, но просто. Отец жил за границей. Один раз он вызвал меня домой, запер кабинет и стал расспрашивать о делах мужа. Я говорила с отцом осторожно, понимая, что он нам враг. Тогда отец заявил мне:

— Тебе не место в моем доме, не смей больше приходить сюда, ты стала нам чужая.

Я ушла со слезами на глазах, вспоминая свою мать. Я рассказала все мужу.

— Солнышко мое! — сказал он. — Еще дороже и крепче люблю я тебя, и теперь я твердо знаю, что ты только моя.

В свободное время мы уезжали с мужем или верхом, или на автомобиле за город, и там муж учил меня стрельбе из маузера и браунинга.

Поссорились мы с мужем только однажды, когда он устыдил меня, что я пудрюсь. Я стала возражать. Он рассердился и сказал, что индейские украшения не подобают жене коммуниста. Я обиделась, что он обозвал меня индейцем.

Мало-помалу я взялась за хозяйство. Во-первых, я стала столоваться дома. Это было экономнее. Готовить

кушанье мне помогала сторожиха, жена дворника, оставшаяся еще от Кудрявцева. Во-вторых, я переоделась. К нам частенько заходил И. Г. Однажды он мне сказал:

— Я знаю, что твои платья у тебя от отца, но другие этого не знают. Ты теперь со своим мужем принадлежишь к другому классу и одеваться в шелковые платья тебе теперь неудобно. Все знают, что твой муж командующий двумя отрядами, имеет казенные деньги. Все это может броситься в глаза другим.

Я выслушала И. Г. и сейчас же нашила себе ситцевых платьев.

Товарищи мужа, жившие с нами, Соколов и Краснов, относились ко мне по-товарищески. Свободные часы мы проводили вместе. Соколов расспрашивал про подруг, с которыми он успел познакомиться. Я рассказывала, что знала.

6

К городу подходили белые. Рогозины, Соколов и Краснов переселились ближе к своим частям.

С этого дня началась моя кочевая жизнь. В штабе при казармах не было, кроме меня и Таси, ни одной женщины. На каждом шагу попадались солдаты. Я их боялась, напрасно Соколов и муж убеждали меня подружиться с боевыми товарищами. Дом, где мы жили, был двухэтажным. Весь квартал занимали мы, то есть большевики. В нашем доме внизу жила только одна посторонняя старуха, бывшая хозяйка дома. Она, как крыса, бродила по дому и охраняла свое добро. В столовой у нее стоял книжный шкаф, запертый на ключ. Я попросила Тасю попросить у старухи разрешения почитать книги и сохранность их брала на себя. Старуха ответила:

— Большевики привыкли ломать, грабить и без ключей, — и ключа не дала.

Как я ненавидела в ту минуту всех отцовских друзей!

Тася очень скоро привыкла к солдатам и судачила с ними, а меня смущали их шуточки.

К нам в штаб пускали только по пропускам.

Соколов все время влюблялся. Однажды он обратился ко мне с просьбой пригласить мою подругу к себе в гости. Я написала пригласительную записку, где сообщила, что хочу повидаться, и дала ей пропуск. Пропуска у нас были введены после того, как однажды под партийным комитетом была подложена адская машина. В четыре часа было назначено партийное собрание. В одиннадцать часов пришел простой мужичок с узелком. На узелок никто не обратил внимания, и никто не заметил, как мужичок ушел из комитета. Узелок остался лежать под столом. Только случайно одни из товарищей услышал тиканье часов, идущее из-под стола. Тиканье шло от узелка. Дали знать моему мужу. До четырех часов оставался всего один час. Василий вынес узелок на автомобиль и отвез его за город. Я слышала оглушительный взрыв, задрожали даже стекла в городе. Василий рассказывал, что на месте взрыва осталась глубокая яма. Могло бы погибнуть пятьдесят человек ответственных товарищей. Впоследствии узналось, что это сделал один из белогвардейских офицеров.

К моему удивлению, Вера пришла со своей подругой совсем не из нашего класса, а уже окончившей гимназию. Я с ней была даже незнакома, но знала, что ее брат — белобандитский офицер и скрывается за границей. Они пришли в неурочный час, когда ни Василия, ни Николая не было дома. Первым вернулся муж, он подсел к нам и стал шутить. Я распорядилась, чтобы подали чай. В это время пришел вестовой, муж взял у меня на минуту ключ от секретного шкафа и уехал. Подруги слышали наш разговор о секретных документах. Я положила ключ в комод. Меня беспокоил взгляд подруги Веры. За чаем я стала наблюдать за ней. Она сидела за самоваром и наливала чай. Вера вела себя естественно. Соколов ей нравился. Вторая чашка мне показалась совсем другого вкуса. Я не клала себе сахару, но чай был сладковатый. Я его вылила в полоскательницу и налила чаю сама себе. Соколов все время острил. Вдруг его затошнило и сорвало. Подруги сейчас же заспешили домой. Я стала помогать Соколову. Но вдруг и у меня закружилась голова. Я упала в обморок.

В сознание я пришла только ночью. В комнате были доктор и муж. С Соколовым было легче: ему

дали такую порцию яда, что его сразу стошнило, а я разбавила яд, слив чай и налив новый. Ключа в комоде не оказалось, но секретные бумаги тронуты не были.

— Арестовать их, стерв! — кричал муж.

Краснов поехал их арестовывать. Веру нашли дома, спящей и ни в чем не повинной, а от ее подруги и след простыл, она уехала в Монголию. Веру привезли к нам, она плакала в ужасе, и ее отпустили домой.

Изредка к нам приезжали с визитом монгольский князь Норбо и китайский консул Сун. Сун ни слова не говорил по-русски, Норбо же отлично изъяснялся. Про обоих про них, а особенно про Норбо, мы знали, что они помогают белым. Приезжали они в лакированных экипажах, запряженных парою вороных коней. Одеты они были не по-военному, в длинные шелковые халаты, в черные кофточки. У Нербо была коса. Приезжали они справляться о нашем здоровье. Обоих я знала еще по отцу, они были его друзьями. Норбо всегда делал ценные подарки, за ним наперебой ухаживали жены купцов, он любил выпить и всегда с удовольствием разделял праздную жизнь нашего купечества. Мне, когда я жила с отцом, он привозил монгольские сладости.

7

В городе становилось все неспокойнее и неспокойнее. В Маймачане на Василия было сделано покушение, он отстреливался и ранил белобандита. Вечерами и ночью часто Василий уезжал в разведки и на проверку постов.

Белые были рядом.

Я не могла без мужа спать, мучилась. Я потребовала, чтобы он стал брать меня всюду с собою. Я обрезала волосы, сшила себе солдатский мужской костюм, стала одеваться по-мужски. Сначала Василий сердился на меня, затем стал давать самостоятельные поручения. Я ездила с ним ночами.

Человек двадцать, мы носились по улицам. За городом мы разбивались человек по пяти и разъезжались в разные стороны, каждый имея свое задание.

На работе я сдружилась с солдатами. Мои интересы стали солдатскими. Все свое время я проводила в обществе солдат. Питались мы теперь вместе с солдатами. Деревянная ложка стала для меня дороже серебряной, и она всегда хранилась у меня за голенищем. Я стала таким же простым солдатом, как все остальные. Лошадей я любила с детства, теперь я имела свою лошадь, за которой должна была ухаживать.

Нехорошие слухи все упорнее и упорнее носились над городом, ждали переворота, ждали белых. В город пришел отступавший отряд Лаврова, состоявший из мадьяр и анархистов. Его солдаты пришли в город с женщинами и музыкой. Самого Лаврова несколько дней не было видно, он отстал где-то в деревне, где пил в обществе своей жены и анархистов. Василий был возмущен распущенностью солдат и халатностью Лаврова. Несколько раз он порывался поехать к нему для переговоров, но товарищи отговаривали его.

— Что делают?! — восклицал Василий. — Воевать надо, а они отступают!

Вслед Лаврову пришел со своим отрядом грузин Карандарашвили, красивый и величественный старик. Его отряд был много налаженнее. Старуху из нашего дома выселили. Дом превратился в казармы, всюду были солдаты. Мы двое, Соколов, Краснов и Тася сдвинулись в три самых маленьких комнатушки. Мужчины редко бывали дома, Соколову было уже не до увлечений, Василий все чаще задумывался, Тася и та перестала хихикать с армейцами. Солдаты Лаврова и Карандарашвили расположились в палатках прямо на дворе. В палатке сестер милосердия все время пили и пели. Они и жены начальников без спроса бегали ко мне пудриться и подводить глаза перед зеркалом. Все шло вверх дном. Солдаты из нашего отряда шутили, что на нашей улице великий пост. Мужа я видела только ночами, он приходил расстроенный и говорил, что князь Норбо организует белых, их всего маленькая кучка, а нас тысячи, но Лавров не хочет наступать и воевать с монголами.

Василий решил окончательно переговорить с остальными командующими. Лавров все еще не появлялся у нас, имея свой штаб за городом. Муж с Каран-

дарашвили поехали к нему. Они уехали на рассвете. Я осталась с Тасей и с караулом из нашего отряда. К обеду Василий не вернулся. Среди карауливших нас солдат шли таинственные разговоры, они о чем-то шептались. В два часа солдаты сменились. На караул стали совсем незнакомые солдаты. Тася хотела пойти в соседнее помещение. Ее не выпустили из дома. Она прибежала ко мне испуганная. Я послала ее узнать, в чем дело, и пошла сама. Меня тоже не выпустили.

— Что такое случилось? Почему вы задерживаете жену командующего? — крикнула я.

— Это не наше дело, — ответил старший солдат.

— А где мой муж?

— А где надо, там и есть. Не пропадет, вернется, — грубо ответил другой солдат.

Нас не выпускали и не впускали никого к нам.

Муж вернулся в восемь часов. Он осунулся, словно после болезни. Молча он прошел в спальню и бросился на постель. Он долго отмалчивался от моих вопросов. Наконец, он рассказал. На военном совещании он предложил пойти в наступление и держаться, пока есть силы. Лавровский отряд был против. Мадьяры взбунтовались и решили оставаться в городе нейтральной боевой единицей, не воевать, но и не сдавать оружия. Мадьяр было больше, чем солдат в отряде мужа. Разоружить без боя их было невозможно. Начальники перессорились. Мужа арестовали. Затем сошлись на том, что город надо оставить и идти через Монголию на соединение с войсками из России.

Муж в тот же день вечером собрал свой отряд и заявил ему, что он отказывается от командования, потому что не хочет принимать на свою голову позор красных войск. Он распустил отряд и сказал, что сам уходит в Россию и что пусть сами армейцы решат, останутся ли они или пойдут за ним.

Всю ночь пробегал муж по комнате, сжигая ненужные теперь бумаги из секретного ящика и все время повторяя:

— Какая ошибка! какая ошибка!

Деньги мы раздали поровну всем солдатам, уходившим с нами.

8

Мы собирались. Я сбегала на могилку матери и рыдала там, прощаясь с городом, с детством, с юностью... Отца я не видела перед уходом. Мадьяры отобрали у него лошадь, он присылал мне из-за границы кучера с требованием отдать лошадь. Я не могла помочь. Отец прислал мне по почте проклятие...

Мадьяры Лавровского отряда решили оставаться в городе, подняв австрийский флаг и не сдавая оружия. Сам Лавров, зная, что ему грозит смерть, уходил вместе с нами, за ним шел небольшой отряд мадьяр-коммунистов.

Тася не захотела расставаться с нами. Ей нравился один солдат, она не могла покинуть его так же, как я своего мужа.

9

Вышли мы на рассвете. Нам с Тасей дали одноколку. Ночь мы не спали. Муж уехал еще с вечера. Мы должны были встретиться в степи. Войска уходили из города вроде цыганского табора, кто в телегах и пролетках, кто верхом на лошадях, кто пешком. Жители провожали нас каждый по-своему. Бедняки провожали нас со слезами. На нашем автомобиле ехал Каландарашвили со штабом. Лавров ехал верхом, я впервые увидела здесь этого красавца. Жена его была больна, и он ее бросил в городе на руках мадьярских докторов, которые остались, зная, что их, как пленных, не ждет тяжкая участь. За городом я села на верховую лошадь и разыскала свою часть.

День был солнечный, знойный. А на душе было темно и холодно. Мы направлялись в Усть-Кяхту, где нас ждали пароходы. Мужа я нашла только в Усть-Кяхте, он заведовал погрузкой. В нашей каюте, кроме нас поместился Соколов, да Тася притащила своего Шурку, как отрекомендовала она своего дружка. Шурка сразу устроился под скамейкой. Солдатам выдавали теплое белье, ватные штаны и куртки. Тася принесла такие наряды на всю нашу каюту, в том числе и себе,

и мне. Она сейчас же переоделась в солдата и просила меня отрезать ей косы. Пароходы перевозили нас на другой берег, откуда мы должны были уходить в горы.

Все войска переправились к ночи. Красноярский отряд шел в середине. Теперь уже каждый заботился о себе, все устали, примолкли. Войска уходили в горы. Муж опять пропал по делам, один Соколов подъезжал изредка ко мне и спрашивал, не устала ли я. Солдаты жалели меня и оберегали. Тася пела песни, отобрав коня у своего Шурки. Рядом со мною ехала жена командира Третьякова. О ней я много слышала. Это была смелая женщина. Беременная, она не слезала с лошади и всегда везде была впереди; солдаты ее боялись больше самого Третьякова. В кожаной куртке и в красных кавалерийских штанах, она была некрасивой, взгляд ее был холоден, неприятен. При надобности она матерщинила не хуже любого солдата. Вместе с мужем до революции она была несколько лет в тюрьме. Живот свой она туго подтягивала.

Ночевали под открытым небом. Ночь сказывала уже об осени.

Разожгли костры.

10

Мы ехали по деревням.

Переносить приходилось немало. Многие солдаты, совершенно не считаясь с опасным положением и с походной жизнью, требовали нормальной пищи, когда с продовольствием вообще было из рук вон плохо. Наш курень кормила Третьякова, она находила кур, поросят, выменивала их у крестьян и собственноручно резала. Тася нам готовила. Ночевали мы то по избам, то под открытым небом. У костров солдаты пели песни. Утомленная, ночами я спала, как убитая.

В одной из деревень мы столкнулись с белогвардейцами. Началась стрельба. Василий ушел к солдатам, мы с Тасей остались около телег. Белые были на горе, на утесе, за глыбами камней, а мы — в деревне. Позиция врага была удобной и безопасной. Сначала все наши растерялись, так как с вечера все было тихо, а на рассвете нас осыпали пулями из винтовок и пулеме-

тов. Жена Третьякова, крикнув мне: «Не трусь! Если боишься идти в бой, помогай сестрам!» — вскочила на лошадь и полетела драться. Я оседлала свою лошадь, собираясь ехать к мужу, но задержалась на дворе, решив запрячь лошадей в телеги, — «а то еще, чего доброго, придется отступать, не пропадать же добру». Мне помогал один красноармеец. Во двор вполз раненый, у него не было половины лица, белые стреляли разрывными пулями.

— Обмой, сестрица, перевяжи, — сказал мне раненый.

Я побежала я соседнюю избу, где остановились сестры. В избе никого не было. Вся деревня точно вымерла, только разрывались выстрелы да кричали петухи. Проскакал вестовой, крикнул, что наши окружили белых, белые побежали, оставив несколько телег с патронами, медикаментами. Я вернулась к себе во двор. Солдат поправлял подпруги у моего седла. Вдруг он споткнулся и упал. В первый момент я не поняла, в чем дело. Закачалась и я, словно меня ослепил яркий свет. Левая рука вдруг стала тяжелой, но боли не было. Я все еще смотрела на солдата, он пошевельнулся, силился подняться. Я увидела кровь и закричала.

Руку мою спасла толстая шинель и суконная рубашка; был вырван кусок мяса, но кость осталась целой. Руку мне зашили шелковыми нитками, шили, как прошивают сапоги, прошивают подошву. Две кривых иголки быстро ходили в руках доктора. И орала же я от боли! Муж ничего еще не знал. Увидев меня с забинтованной рукой, он растерялся и бросился ко мне со слезами. Первые два дня была адская боль. Когда вынимали нитки из заросшей кожи, я потеряла сознание.

Шурка в этой перестрелке тоже был ранен, его осыпало осколками разрывной пули, изрешетило мелкими царапинами все лицо, но он был, как всегда, весел, и глаза его лукаво выглядывали из-за марли. Зато Тася после перестрелки присмирела и через несколько дней заговорила о том, что походная жизнь не по ее характеру, к тому же она забеременела. После следующей перестрелки Тася твердо заявила, что отстанет от отряда. Шурка плакал и канючил, но она не осталась с нами. Шурка проплакал после того два дня, а потом успокоился и развеселился по-прежнему.

Из-за своей раны я ехала, не обращая никакого внимания на окружающую природу. У меня была высокая температура. Сидя на седле во время переходов, я часто засыпала и бредила во сне, представляя детство, прошлое. Помню, как плакала я однажды, не знаю уж — от бредового состояния или еще от чего. Белые кружились вокруг нас по горам. В одной из перестрелок у мужа убили того самого коня, на котором я увидела его впервые, — и как я тогда плакала над этим конем, словно он мне был роднее отца и матери.

А дела становились плохи. Солдаты перешептывались между собою. Соколов и Краснов качали головами. Началось дезертирство. То и дело после ночных стоянок мы не досчитывались то двоих, то троих. В одной из деревень мы взяли переводчика, так как граница Монголии была близка. Переводчика звали Гришкой. На его же обязанности лежало и показывать нам дорогу. По каким только каменистым дорогам и топким болотам не вел он нас! Немало переносили солдаты, то и дело попадая в какие-то трясины, где лошади проваливались до брюха, откуда их еле-еле вытаскивали. Сколько вещей потеряли отряды благодаря Гришке! Я его видела редко. Он ехал впереди с начальниками. Муж был со своим отрядом, выбиваясь из сил, помогая солдатам поддерживать телеги, вытаскивать из грязи как людей, так и животных. То и дело приходилось делать гати, чтобы продвигаться вперед, или ломами выворачивать каменья. Все шли с избитыми руками, локтями и коленями. На привалах мы покупали у монголов волов, тут же их убивали, варили в общих котлах похлебку.

Белые были кругом.

11

У нас был строгий порядок среди начальников. Когда отряд уходил с привала, в арьергарде оставался один из начальников по очереди. Начальники должны были смотреть, не остался ли кто из армейцев, не творятся ли у нас в тылу темные дела.

Была наша очередь. Мы остались с двумя солдатами, один из которых немного говорил по-монгольски. Ночью у нас ушли лошади. Солдат, говоривший по-монгольски, пошел их разыскивать. Лошадей он привел только к вечеру. Мы сейчас же поехали вслед отряду. Догнать отряд нам не удалось, решили переночевать. Солдаты поехали за мясом к монголу, жившему на том берегу речки. Мы остановились на речке. Солдаты вернулись без мяса, сказав, что монгол привезет сам. Стемнело. Мы стали устраиваться на ночлег, как вдруг услышали стрельбу. В нас стреляли. Муж схватился за винтовку.

— Руки вверх! — закричали сразу несколько глоток.

Из-за камней на нас бежали казаки. Мы не успели опомниться, как винтовки были выбиты из наших рук.

— Расстрелять их, негодяев! — скомандовал старший. — Завяжите глаза этому молокососу! — добавил он, указывая на меня.

Ко мне подошел казак, руки мои уже были связаны. Он стал обматывать мою голову зловонной тряпкой.

Я удержала его словами:

— Умереть я не боюсь, дайте мне проститься с моим мужем в последний раз!

Я говорила громко, все слышали, страха перед смертью я не чувствовала. Мне было жалко мужа, которого били казаки прикладами.

Старший казак сказал:

— Да никак она баба? Отвечай, стерва, правду, кто ты такая, откуда?

Я назвала свою фамилию. Казак удивился, пошептался со своими, притих: фамилия моего отца была известна казакам.

— Веди их с собою, там разберем, — сказал старший.

Стояли казаки у монголов, в юртах. Нас втолкнули в какую-то клетушку, вероятно для баранов, сколоченную из досок и бревен. Наш армеец, говоривший по-монгольски, оказался с казаками запанибрата. В щелочку мы видели, как казаки съехались для совещания. С ужасом мы увидели среди казаков Гришку, который вел наш отряд и был отрядным переводчи-

ком. Казаки совещались долго. Второй наш армеец находился около казаков, привязанный к столбу. Когда казаки кончили совещаться, они зарубили этого красноармейца и толпою повалили к нам. Я ждала смерти.

— Мы обсудили отправить вас в Троицкосавск, пусть вас там судят. Теперь мы знаем, кого поймали! — сказал старший казак.

Гришка вертелся среди казаков.

Нас отправили в Хатхыл, передав там белым.

Ночью вывели нас из погреба, повели вдоль берега озера Косогола. У берега стоял катер. Нас втолкнули в трюм. Кроме нас там оказались еще двое наших армейцев, попавшихся так же, как мы. Катер загудел и пошел. Невыносимо качало. Окна были закупорены. Мы все лежали на полу в морской болезни. Куда нас везли, мы не знали. Рано утром нас вывели на палубу. Ветер дул в лицо, одеты мы были плохо, было холодно. Катер стоял недалеко от берега. Вплотную к берегу он подойти не мог, мешали каменные глыбы. Спустили на воду шлюпку и повезли нас на берег.

— Вот вам мешок с провизией, вот палатка, вот постель. Живите на здоровье!

Нас оставили на пустом острове, где никого не было, кроме птиц. Пароход ушел. Мы стали прилаживать палатку. Страшно было на этом острове. Быть может, нас оставили на голодную смерть?

На одиннадцатый день утром мы увидели дымок парохода. Пароход шел к нам. Мы поспешно сняли палатку, связали свои вещи и ждали, когда нас возьмут. Нас встретили прежние казаки. Безмолвно они связали нас и отправили в трюм. Пароход пошел. Вошли казаки и вывели на палубу двух наших товарищей-армейцев. Раздались два выстрела. Все стихло... Прошел страшный час. Опять загремела дверь.

Казак сказал мне:

— На допрос!

Меня повели казак и монгол. Меня привели в каюту. И я остолбенела: за столом сидел князь Норбо, важно развалившись на скамье. Я не верила своим глазам. В памяти пронеслись детство, отцовский дом, визиты Норбо к нам в штаб.

12

Когда я училась в гимназии, одна из подруг написала мне в альбом:

Разве людям понять те страданья,
Что терзают мучительно грудь?
Разве в них мы найдем состраданье?
Разве людям понять что-нибудь?

...Помню ветреный день и переходы на лошади по Монголии. Помню, как нас втолкнули в грязную высокую фанзу, в монгольскую тюрьму. Одно маленькое окошко было вверху, да и то заклеено бумагой. Ветер гудел в фанзе, точно плакал или радовался, что попались еще красные. Я ничего не понимала, мне хотелось только пить. Василий с товарищами сели на кан. Я легла на пол. Мои ноги гудели от непривычной скорой езды на монгольском седле. Мы все молчали. Я вздрогнула: где-то совсем близко раздались стоны и звяканье кандалов. В полумраке я разобрала, что лежу около двери в смежную камеру. За дверью чиркнула спичка, и я увидела китайца. Он говорил мне по-китайски, верно думая, что я из китайцев. Я ответила по-русски, китаец замолчал. Опять чиркнула спичка, опять потемнело, как в погребе, и зазвякали кандалы.

Я услышала русский голос:

— Она стыдится смотреть.

Я узнала голос. Вся кровь прилила мне к лицу. Я узнала голос моей бывшей подруги Фридман. Ее родители жили в Маймачане, она вышла замуж за офицера. Фридман с незнакомой какой-то женщиной рассматривала меня в дверной волчок. Мое сердце сжалось в стыде за Фридман. К двери то и дело подходили офицеры. Муж сидел, опустив голову. Отворилась дверь, ввалилась толпа офицеров и нас стали избивать. Фридман стояла сзади офицеров и улыбалась. Меня больно ударили по лицу, кровь брызнула из носа и из рассеченной губы. Муж стоял около меня, держа меня за руку, он не сопротивлялся прикладам. Я не плакала. Удар прикладом в живот лишил меня сознания.

...Бедный, родной мой! Что перенес он за дорогу в степи!.. Норбо и Гришка всю дорогу по Монголии до Троицкосавска везли нас связанными, а везли нас на уртонах, то

есть мы ехали по сто верст в сутки, меняя лошадей у монголов. Мне не давали говорить с мужем. Бывало, улучу минуту, прижмусь к мужу, вытащу мясо, которое я крала для мужа, и положу его к нему в карман. Норбо не спускал меня со своих глаз — где я, там и он.

После избиения в день приезда я пришла в сознание вечером, все в той же фанзе. Муж положил меня на кан, гладил мои волосы. Он плакал, его нельзя было узнать, все лицо его было разбито. Но проснулась я потому, что за мною пришли. Меня вывели из камеры под руки и повели на двор, в соседнюю фанзу. В фанзе на кане сидели Норбо, Гришка, два незнакомых офицера и монголы.

Норбо приказал мне пропеть «Боже, царя храни». Я наотрез отказалась. Норбо быстро заговорил по-монгольски, Гришка стал развязывать мешок. Монголы распутали ремни и подошли ко мне. Я думала, что меня будут бить. Норбо велел встать на колени. Я встала. Мне связали ноги. На шею мне надели кожаный хомут с кольцом. Холодный пот выступил у меня по всему телу, я поняла, что ко мне применяют монгольскую пытку «бодиукыла», про которую я слышала еще в детстве. В кольцо на хомуте продели ремень, другой конец ремня привязали к связанным ногам и стали стягивать ремень таким образом, что голова моя загнулась к спине и пятки потянулись к затылку. Мне насильно стали раздвигать ноги, как можно шире. В ушах зазвенело, словно под самым ухом ударили в колокол. В потемневших глазах пошли красные круги, потом зеленые. Я второй раз в этот день потеряла сознание.

Пытку повторяли два раза. Обливали водой, приводили в чувство и снова тянули мою голову к ногам. Во второй раз я пришла в сознание на кане, на шубе Норбо. В комнате никого не было. Норбо лежал рядом со мною. Одежда была сорвана с меня. Негодяй брал меня в минуты, когда я была без сознания. Норбо сразу же ушел из комнаты, как увидел, что я очнулась. На его место пришел Гришка с монголами. Монголы встали в очередь за Гришкой.

Бедный, родной мой!

Меня втолкнули в тюремную фанзу. Муж спал на полу со связанными руками. Я не разбудила его. Все

равно я не могла говорить, язык распух, я не могла даже проглотить воду, на шее синие рубцы от ремней. Только на другой день я все рассказала мужу. Бедный мой, родной! Я боялась, что он оттолкнет меня, но Василий прижался ко мне грудью, гладил головою мои щеки и утешал меня. Я вспомнила тогда стихи:

«Разве людям понять страдания?»

13

Больше я никогда не видела Норбо.

Норбо передал нас белым в Маймачане. Нас перевели из монгольской фанзы в троицкосавскую тюрьму. В тюрьме первым делом мне зашили губу и сводили меня в баню. Сейчас же после бани меня тщательнейше обыскали. Обыскивала меня Женя Барбет, моя старая знакомая. Она сделала вид, что не знает меня. Неподалеку, всего за несколько переулков от тюрьмы, был дом, в котором я родилась, был дом, в котором жил мой отец, лежал город, где прошла вся моя жизнь.

Больше я никогда не видела этого города.

Только потом я поняла все, через много времени, уже в Китае.

14

В первый же вечер в троицкосавской тюрьме нас построили на дворе. Была уже глубокая осень, заморозок. Нас было человек двадцать, среди нас было только две женщины — я и жена Лаврова. Нас повели к границе. Мы шли молча. У границы, неподалеку от Кяхты, на холме нас остановили. Мужчинам приказали рыть яму. Когда яма была вырыта, приказали раздеваться. Я стала тоже раздеваться. Ко мне подошел офицер Ионес и сказал тихо, чтобы я не раздевалась. Приказали встать около ямы. Я пошла за всеми. Тот же Ионес отвел меня в сторону. Я двигалась механически. То, что было моим «я», — отсутствовало. Раздался залп и стоны убиваемых. Раздался второй залп.

К Ионесу подбежал офицер Лютер, начальник тюрьмы, он крикнул шепотом:

— Идем!

Они взяли меня под руки и быстро пошли со мною в сторону.

Ионес зашептал мне:

— Иди, иди скорее!.. Тебя мы должны были расстрелять, но мы тебе даруем жизнь! Тебя обещал приютить китайский консул Сун. Мы сейчас проведем тебя за границу, там тебя ожидает слуга Суна.

Тогда мне казалось, что он говорит ласково. Моего «я» не было. Я шла за ним покорно. Мне безразлична была моя жизнь, как безразлична в ту минуту была даже смерть мужа. На границе меня ждали два китайца.

...Только потом, через несколько лет, уже в Китае, когда я научилась говорить по-китайски, я узнала, что эти два офицера, Ионес и Лютер, купив меня за тысячу рублей у Норбо, продали за две тысячи золотом китайскому консулу Суну.

Тогда я этого не знала.

Купеческие счастья в Китае, должно быть, так же, как в России, начинаются со страшных и темных дел.

15

...Сун знал не больше десяти слов по-русски. У него сидел переводчик, когда меня ввели в его дом. Он был очень приветлив и ласков. Через переводчика он выражал мне сочувствие и надежды, что отныне моя жизнь будет счастлива.

Переводчик перевел мне:

— Господин Сун на днях закончит свои дела, и тогда вы вместе уедете к нему на родину. Пока же он намерен вас замкнуть в казенку. Есть основания полагать, что, несмотря на то, что вы числитесь расстрелянной, вас будут искать, международные отношения сейчас нарушены, и белые могут прийти сюда. Вы можете быть совершенно спокойной, но сидеть должны как можно тише. В доме вы будете пока жить втроем — господин Сун, его повар и вы.

Повар при мне дал клятву молчания. Переводчик перевел:

— Повар поклялся древней китайской клятвою, что если он выдаст вас, то после его смерти дух его останется над землей, но не уйдет в землю.

Затем меня отвели в казенку. Казенка помещалась в верхнем этаже рядом с лестницей. Сун притащил меховой мешок и свою старую шубу. Пока я устроилась на сундуке. Сун замкнул меня снаружи. Снова я очутилась в тюрьме. Я сидела, прислушиваясь к безмолвию. В ушах бухали залпы расстрела. Постепенно глаза привыкли к мраку, да и ночь уже кончилась. Вверху было маленькое окошечко, заклеенное по-китайски бумагою, различались в темноте две полки с бутылками, мешок с овсом, три седла. Я заснула, как убитая. Меня не будили. Когда я проснулась, повар принес мне ужин — отваренный рис в круглой чашечке и жареную капусту с мясом. Мне страшно нужно было в уборную. Пришел Сун посмотреть, как я ем. Знаками я объяснила ему, что мне нужно, он принес мне горшок от цветов. Меня опять замкнули, я опять спала, как убитая. Утром меня разбудил Сун, принес цветочного чая. Так прошло три дня. Никто к нам не приходил. В доме все молчали.

На четвертый день утром послышались шаги по лестнице, в щелочку я увидела китайца. Он прошел к Суну, у них послышался крик, они оба громко кричали по-китайски, и я видела в щелочку, как Сун толкал китайца вниз по лестнице. Послышался голос повара. Все стихло. Сун вернулся в разорванной рубашке с расцарапанным лицом.

Вечером пришел переводчик. Мне сказали, что китаец приходил узнать, не у Суна ли я. Переводчик сказал, что китайцы мстительны и что теперь надо ждать обыска со стороны белых. Сун, переводчик и повар обсуждали, как быть. Решено было запереть ворота, а повар взялся предупредить об опасности стуком внизу из кухни в потолок. Сун решил сидеть дома.

И действительно, на третий день Сун услышал сигнальный стук. Поспешно он выпустил меня из казенки и посадил в баул из-под муки. Я не успела улечься как следует, как Сун уже замкнул надо мною крышку. В бауле еще оставалось немного муки. Живое существо пискнуло у меня под локтем и забралось мне в рукав. Это была мышь. В ту минуту я не испытывала страха.

Бедная мышь испугалась не меньше меня. Я слышала, как билось ее сердечко. Мое же сердце замирало в ужасе. Мне хотелось чихать. Одной рукою я зажала рот, другая оцепенела вместе с мышью. Я слышала, как ходили по комнатам, говорили, кричали, отодвигали вещи. Шаги то приближались, то удалялись. Вот шаги приблизились к баулу, кто-то долго не может вставить ключ. Мое сердце остановилось. Сун, бледный и с дрожащими руками, поднял крышку. Мышь выскочила из моего рукава и, как сумасшедшая, бросилась в столовую. Вылезла я вся в муке и сразу заикала и зачихала. Через час пришел переводчик.

Приходили белые. Оставаться больше здесь мне было совершенно опасно. Переводчик перевел, что Сун пережил за эти четверть часа так много, как никогда в жизни, и считает, что нас спасла мышь — мышь считается китайским добрым богом, и он, то есть бог-мышь, взял меня под свою защиту...

...Вечером этого же дня Сун перевез меня в Маймачан. Я вышла из дома, переодетая в монголку, в длинном халате и в шапке-ушанке. Ночевала я у фотографа-китайца, спала в одной постели с его наложницей-монголкой, она спала голой около меня, я же не могла заснуть от клопов. На рассвете меня разбудил Сун, он приехал с двумя оседланными лошадьми, монгольским иноходцем и русским скакуном. Я села на монгола. Сун отвозил меня подальше от границы, к знакомой монголке в аул Илан-Бургас. Лошади быстро добежали до юрт аула.

...Сун сказал Цохор, что я его жена. Я не умела говорить по-монгольски, монголка знала всего несколько русских слов. Мы молчали, Суна не было, он кончал свои дела, чтобы поехать в Китай. Сун оставил со мной Ваську, русского коня. Этот конь понимал только по-русски. Я знала, что этот конь попал Суну от убитого большевика. Я ходила к лошади, прижимала голову к шее коня и шептала:

— Васька, милый мой, мы с тобою одни на всем свете.

Конь всегда лягался, когда к нему подходили чужие, его боялся даже Сун. Васька поводил глазами, когда я подходила к нему, нюхал мое лицо, волосы, платье, приветливо фыркал. Я целовала Ваську в мягкие его

губы. Васька был мне другом, дорогим, как человек. И он относился ко мне как к другу. Когда он слышал мой голос, он поворачивал на голос голову и приветливо ржал.

Вечерами к Цохор приезжал ее муж. Ее муж имел еще одну жену и ночевал с женами попеременно. Монголка все время смеялась надо мною и учила меня монгольской вежливости. Не говоря по-русски, она показывала все грязнейшими руками. Перед приездом мужа она наряжалась. С монголкой жила девочка по имени Тэлегра. Цохор купила эту девочку, не имея своих детей, и не обращала на нее никакого внимания. Иногда к Цохор наезжали по дороге богатые монголы или китайцы, тогда она оставалась с ними наедине, отсылая всех из юрты. Это не считалось проституцией, ее муж об этом знал. В юрте было душно и зловонно. На кане стояли ящики с одеждой, выкрашенные в красный цвет и разрисованные китайскими буквами, стояли идолы, в чашечках теплилось масло.

Однажды вечером приехал Сун, привез мне подарков. Я думала, что он уедет обратно. Настало время ложиться спать. Цохор постлала нам общую постель. Потушили свет. Сун ждал, когда заснет монголка... Какая гадость! Меня трясло от ужаса и ненависти. Я выбежала из юрты. В углу загона стоял Васька. Он заржал, встречая меня. Я обняла его шею и зарыдала.

— Прости, прости меня, Василий, прости, мой родной!.. Я еще молода, мне хочется жить, мне страшно умирать!.. — шептала я, обнимая голову лошади и думая о муже.

В тот вечер через пастуха-монгола Сун сказал мне, что он переименовал меня: по китайским понятиям, если у человека много несчастий, надо взять новое имя. Сун полагал, что у меня начинается счастливая жизнь, и назвал меня Идой.

В ту же ночь, заснув на стогу сена около Васьки, я видела сон. Я видела во сне живым мужа, нас обоих судили в помещении кино Э. А. Нас приговорили к расстрелу. И вдруг, после приговора, мне стало очень легко. Я стала танцевать, я отделилась от земли и летаю по воздуху над головами людей. Я ничего подобного не видела в жизни, даже среди акробатов. Я увидела

под люстрой в потолке отверстие. «Я могу вылететь через него на улицу», — подумала я. Я сделала круг и вылетела в это отверстие. Я неслась по воздуху над домами, над тюрьмой, над степью, над реками... Во сне я сползла со стога. Васька стоял надо мною и обнюхивал меня.

Однажды, когда я лежала на стогу и смотрела в степь, я увидела в степи всадников. Надо было предположить, что это были монголы. Но сердце забилось тревогой. Сердце человека скорее чувствует, чем видят глаза. Я различила казаков. Их было пятеро — офицер и четверо рядовых. Они въехали во двор. Они проехали около меня. Казаки сделали обыск у Цохор. Я закопалась в стогу, как мышь в норе. Казаки искали меня. Они ничего не нашли. Счастье мое, что я была на стогу. И вот я ждала вечера, когда должен был приехать Сун. Он один был у меня, он — мой защитник. Монголка рассказала ему о казаках. Сун знаками показал мне, что он защитит меня. В эту ночь Сун не был мне противен. «Значит, можно отдаваться из чувства благодарности?» — спрашивала я сама себя. Я презирала себя. Я мечтала о том, чтобы скорее приходили большевики. Я плакала, обнимая коня, единственного моего друга, и для него я выбирала из стога самые лучшие травинки.

Мы ехали в Китай. Впереди предстоял переход через Гоби.

Первый день пути был полон всего необыкновенного. Мы ехали впереди на лошадях, сзади шел обоз. Груз был большой и тяжелый. Везли пушнину, кожевенное сырье и широкие толстые доски для китайских гробов. Сун вез четыре такие доски в подарок матери. Снявшись с места, мы заехали к священному монгольскому холму, где находился бог, покровительствующий путешественникам. На холме лежала куча камней, а на деревьях поблизости висели лоскутки бумаги и хадаки. Под холмом все слезли с телег, выбрали по большому камню и пошли наверх. Сун велел то же сделать и мне. Наверху постояли молча, кинули на холм камни, привязали к деревьям по бумажке и пошли под холм попить чаю и поесть перед дальнейшим путем. Вокруг обоза побрякивали ботала, визжали собаки, монголы-возчики пели тягучие песни. Дымили костры. Около

этого холма мы ночевали... Я ушла в степь от становища, села на землю. Тихо-тихо было вокруг меня. И ничуть не страшно было мне одной среди пустующей ночи. Я была совершенно одна. Я легла на землю лицом к небу и стала смотреть на звезды. Как много их! Вдруг упала одна, вторая. «Кто-нибудь умер», — решила я. Я вспомнила мать, мужа. Из степи донесся вой — не то собак, не то волков. Мне было совсем не страшно.

Глава вторая

Ксения Михайловна, родившаяся в русской купеческой семье, в Китае жила в купеческой семье китайской. Читатель знает русский купеческий быт Островского, и не случайно Островский — любимейший китайский писатель.

А Китай...

1

Мой наряд в первый день.

Еза — лифчик, застегивающийся с боков, из розового с белыми цветами ситца. Длинные широкие штаны — где зад, где перед — безразлично. На животе — куе — кушак в четверть аршина ширины, красного цвета, концы распущены для украшения. Гачи штанов обмотаны лентой тэй-зой, тэй-за шириною в три пальца. На ступнях вышитые туфли. На плечах шелковая кофточка — сегор, на этой кофточке вторая, подлиннее. Вся завязывается ниточками и нитяными пуговицами. Штаны и кофточка — голубые. Юбку китаянки надевают только в гости, но в гостях тоже снимают. Зад и перед у юбки разрезан до самого верха, как у русских кавалерийских шинелей. Юбки считаются роскошью. Старшая жена насильно нарядила меня в китайский наряд в первый же день нашего приезда. Мне были подарены шелковый расшитый халат и бумажный зонтик.

Наша квартира состояла из трех больших комнат. Одна из комнат была построена по-европейски, без кана, здесь стояли русская кровать, письменный стол и красный китайский ящик, служивший комодом.

Висели две русских картины, виды Кавказа, и зеркало. Стояли венские стулья. На комоде стояла русская икона Христа-спасителя, а по бокам — китайские идолы и вазы ростом с трехлетнего ребенка. Однажды я попыталась было поставить вещи по своему вкусу, — в доме произошел переполох: по китайским понятиям мебель перестанавливать с места на место нельзя никак, женщины боятся этого потому, что в таком случае бывает много жен, а мужчины потому, что умирают дети или их совсем нет. На меня напала старшая жена.

На обязанности Суна лежало кормить богов. Перед каждым богом от времени до времени ставились блюдечки со сладостями и с пирогами, например, «позы» — пирожки, начиненные мясом с черемшой. Каждому идолу полагалось по штуке. Такой же пирожок ставился и Христу.

Мы с Суном жили в европейской комнате, но спали в комнате матери, которая служила и приемной для гостей и где мать не спала, уходя на кухню к старшей жене Суна, с которой Сун, в свою очередь, спал только тогда, когда я была больна. В этой комнате, кроме кана и огромных сундуков с вещами, ничего не было. В одном из ящиков хранились драгоценности и деньги, которыми заведывала старшая жена. Деньги не клали в банк, старшая жена отдавала их знакомым под большие проценты, ростовщичествовала, что у китайцев не считается позором. Сундуки и ящики охранялись идолами, драконами и цветами.

Спят китайцы голыми, прикрываясь ватными одеялами, подкладывая под голову валики, набитые гречишной шелухой и душистыми травами. Мне приказали спать так же.

Как украшение, китайцы носят так называемую туту — передничек, закрывающий грудь, носят и женщины и мужчины. Туту висит на массивных серебряных цепочках. Старшая жена носила фунтовую тяжесть, я же в полфунта. Я часто заменяла цепочку шелковым шнурком, так как от серебра у меня чернела шея. Сун всегда сердился на меня за это, он считал это нехорошей приметой — у китайцев кожа от серебра не темнеет. Туту вышивают цветами и изображени-

ями детей — это у женщин, на мужских туту вышивают счастливые иероглифы. Мужчины, как украшение, носят также и юбки.

Вставали мы рано, как все семьи на нашем дворе, часов в семь утра. Печь у нас топилась каменным углем, закладывали уголь с вечера, и он тлел всю ночь. Печь у нас была глиняная, а у других железки. Кроме того, подтапливался кан. Кан — это главное место домашней жизни — и постель, и мастерская, и обеденный стол; наши русские лежанки отдаленно напоминают кан, только каны гораздо больше, иногда в целую половину совсем не маленькой комнаты. Кан делается из кирпичей. Сверху его покрывают большим войлоком и брезентом. Во время обеда на кан ставится маленький столик в четверть высоты. Мы рассаживались на кане вокруг этого столика, поджав под себя ноги. Сначала у меня затекали ноги, я удивлялась старшей жене, которая могла сидеть на своих пятках часами, но потом научилась и я. Проснувшись, мы, женщины, начинали причесываться. Это отнимало у нас несколько часов. Чем замысловатее прическа, тем лучше, и в голову китаянки втыкают до десятка гребенок, палочек и бисерных украшений. Меня причесывала старшая жена. Мои белокурые волосы немилосердно смазывались маслом и чаем, затем их стягивали так, что натягивалась кожа на лице и глаза начинали косоглазить, после этого втыкали гребенки, еще более стягивая ими кожу. Причесавшись, мы пили чай и садились на кан за работу — вязать и вышивать под руководством матери. За утренним чаем мы ели лапшу из морской травы и из раков.

Сун не мешал мне писать дневники, но категорически запретил писать что-либо в дни, когда, по его мнению, в доме случалось несчастье, объясняя это приметой.

Сун купил для моего развлечения двух жаворонков. Одна из этих птиц стоила шестьдесят даянов, но по пению оказалась более дорогой. Птичка оказалась по китайским понятиям столь замечательной, что Сун не мог отказать себе в удовольствии гулять с этой птичкой. Очень часто по утрам он брал зонтик, веер, клетку

с этой птичкой и шел на главную улицу прогуляться. Китайцы обожают певчих птиц. Канарейки, известные всему миру, пошли по миру из Китая. Кроме птичек, которые иногда по цене своей доходят до тысячи даянов, в птичьих лавках продают сверчков — цуй-цуйров, которые также имеют разную и иногда очень большую цену. Для сверчков делаются специальные клеточки. Китаянки носят их иногда в туту или в кармане штанов. Сверчков держат иногда до десятка. В нашем доме их было штук пятнадцать. Кроме того, что сверчки услаждают китайцев своим пением, они также служат предсказателями погоды. Перед хорошей погодой они трещат звонко, без умолку, целыми часами подряд. К дождю у них меняется звук пения. К морозу они смолкают. Таких примет — сотни. От их трескотни в ушах стоит звон даже тогда, когда они умолкают. Для меня пение этих сверчков было просто пыткой. На мое счастье сверчки являлись лакомством для кошек. Клеточки сверчков, сделанные из рисовой соломы, не были препятствием для кошачьих лап. Каждый раз, когда кошки съедали сверчков, если нельзя было установить, какая именно кошка напроказила, Сун собственноручно устраивал поголовную кошачью порку. Кошек у нас было штук десять, разных пород. Одна кошка по окраске своей считалась священной — желто-бело-черная. Но и священной кошке от Суна влетало наряду со всеми.

Китайские мужчины, владыки и грозы в доме, совершенно меняются вне дома. От греха до смеха один шаг, — что можно придумать глупее, как утренние прогулки купцов и чиновников с их птицами по главной улице. Они важно шествуют по улице, неся клетку, прячась от зноя под бумажный зонтик, обмахиваются веерами и приветствуют друг друга. Порой остановятся послушать чужих птиц, выскажут свое мнение о пении птицы.

А дома Сун, вернувшись с прогулки, целыми часами ловил мух и угощал ими своих птиц.

Китаянки коверкают себе ноги. По этому поводу имеется легенда.

Жил бедный крестьянин. Все это, конечно, было очень давно. Крестьянин жил в нищей деревушке.

У крестьянина была жена. Жена забеременела. Было наводнение, уничтожившее поля, и крестьянин ушел служить в город. В городе крестьянин продал себя в рабство на десять лет за пятьсот лан. Только в первый год он ходил к себе на родину, на рождение дитяти. Когда он уходил на роды, его хозяин, купивший его в рабство, сказал ему, что, если родится сын, он, хозяин, дарит своему рабу осла. Родилась дочь. Раб скрыл перед хозяином это обстоятельство, сказав, что родился сын. Прошли годы. Прошло десять лет. Оказалось, что слуга не отработал всего оговоренного, и он остался в рабстве еще на десять лет. Девочка же тем временем возрастала красавицей и мальчиком, ибо от всех скрывалось, что она — девушка. Ее отец жил рабом, собакою хозяина. Ушедший в рабство молодым и полным сил красавцем, он состарился в рабстве, отравленный опиумом, который курил он вместе со своим хозяином. Отслужив шесть лет второго десятилетия, раб умер. Его хозяин не находил нужным, чтобы пропадало неотработанное, вспомнил, что много лет тому назад он дарил осла своему рабу в день рождения сына, и потребовал сына к себе, чтобы этот последний заслужил незаслуженное отцом. Сын, то есть девушка, приехал. Но опиум смертоносен не только для рабов, — хозяин умер, его хозяйство перешло к его сыну, двадцатилетнему юноше. Рабыня оказалась его слугою. О том, что она девушка, никто не знал. Молодой хозяин вел распутную жизнь, лез в долги, пил вино и курил опиум. Слуги давно уже разбежались от него, и не уходил только молодой слуга. Никто не знал, что привязывает молодого слугу к распутному его господину. А привязывала его — любовь. Слуга не мог открыть своей тайны, так как тогда бы он утвердил, что его отец есть лжец. И была однажды душная летняя ночь. Слуга лег спать в саду. Господин весь этот вечер курил опиум. Ночью, полусумасшедший, он пошел будить слугу, чтобы тот приготовил ему новую трубку. Слуга не откликнулся на слова. Господин коснулся его груди. Была душная ночь, слуга лежал обнаженным, — и на ощупь, и на глаз в лунной ночи господин ощутил у слуги девичью грудь. Произошло то, что должно было произойти: ночь прошла в страсти, когда ум и соображения спали. Но пришло утро. Слуги не было в доме: девушка ушла

куда глаза глядят, чтобы не открыть тайны отца. Господин же пришел после ночи и опиума в здравый рассудок, впал в окончательный ужас, так как должен был признаться, что он глазами и на ощупь видел у мужчины женские качества, а стало быть, имел дело с чертом. С испуга (легенда имеет несколько концов) господин, по одному варианту, сейчас же отправился в монастырь, поступив в монахи; по другому варианту — зарезался; по третьему — бросился в погоню за слугою, нагнал и обезглавил его. Во всяком случае, после этой истории богдыхан издал приказ, чтобы все женщины с детства так заматывали свои ступни, чтобы они не могли расти, и чтобы, стало быть, по ногам можно было бы отличить мужчин от женщин.

Когда кто-либо из домашних выходит из дома, все домашние обязаны сказать в напутствие:

— Нимо зуя (вы пошли).

Уходящий обязательно отвечает:

— Во зуя (я пошел).

Гостей встречают:

— Нило лейла. Сихан. Тиншин (вы пришли. Любите. Ваше здоровье).

За руку не здороваются, приветствуют двумя руками, сложенными ладонь к ладони. Гостя сажают на кан и предлагают ему вздремнуть. Сейчас же подают гостю чай. Чай пьют без сахара, хотя сахар имеется, и даже двух сортов — белый, как у европейцев, и красный. Красный сахар употребляют зимой, так как он, по понятию китайцев, греет, белый — летом; белый сахар холодит. В гости обязательно ходят с подарками. Если гость званый, обязательно устраивается обед. Садятся за стол жеманно, уступая место друг другу; хозяин делает предпочтение старшим, не разбирая — мужчина это или женщина. Тратят на это перед обедом времени минут сорок. Среди обеда подают сладкое кушанье перед мясным или мясо, закатанное в сахар. Подают штук сорок блюд, каждое размером в воробьиный нос. После обеда подают воду для полоскания рта и зубочистки, но это не означает, что китайцы очень чистоплотны. У очень многих китайцев-мужчин, даже богатеев, нет с собою носовых платков, они сморкаются в руку, на пол, растирая сопли рукою; у китаянок же — по три

платка, и все они служат украшением. Среди обеда подают мокрые полотенца, выполосканные в кипятке, надушенные душистыми травами; этими полотенцами вытирают лица. Сидят за обедом часов по шесть.

2

...Меня не очень приветливо встретили в доме Суна, когда я приехала туда впервые. В первые же полчаса знаками, строгим голосом мать повела меня на кухню и там переодела. Весь день около нашего дома толпились люди, рассматривавшие меня; некоторые пробирались в дом, подходили ко мне, трогали мои волосы, рассматривали мои ноги. Сун был горд и не препятствовал ротозеям. Мне до слез было неудобно и стыдно в длинных штанах. Туфель на мою ногу не нашлось во всем городе; тотчас же призвали сапожника, который снял мерку и через час принес шелковые, расшитые цветами и бабочками туфли; по-русски у меня считалась маленькая нога, по-китайски — небывало большая.

По китайскому обычаю я получила от матери подарок — голубые каменные браслеты. Эти красивые камни превратились в мои кандалы, они были тяжелы и за все цеплялись, с непривычки у меня заболели руки.

В Китае — все за стенами: город окружен стенами, кварталы окружены стенами, дома окружены стенами, стены стоят даже перед воротами, причем эти стены перед воротами, оказывается, хранят дома от злых духов и злого глаза; даже двор разделен непроницаемыми стенами. Ни одного окошка из дома нет на улицу, и посреди огромного города в Китае можно жить как в тюрьме. Так я и жила. Сун каждое утро уходил по делам и к знакомым. Я находилась под надзором матери и старшей жены, которые следили за каждым моим шагом. Я не имела права выходить дальше своих ворот; хорошо еще, что на нашем дворе (хоть и за каменной стеной) жили другие семьи. Что находилось и происходило за воротами, я не знала.

Плакать без всякой причины — это желать своему дому несчастья. У меня было много причин, чтобы поплакать. Я плакала, таясь от всех. Но случалось, что в

такие минуты меня заставали. Сун тогда бил меня, бил с сожалением, чтобы вызвать причину слез. Когда он начинал думать, что я плачу от боли, то есть причина была найдена, он утешал меня.

Все хозяйство вела старшая жена. Сун считался консулом в отставке, жена вела, кроме хозяйства, и общественные дела мужа и его денежные операции. Пищу закупала старуха с амой. Я была только наложницей. Всем казалось, что я должна была бы только полнеть, но я худела и желтела. Кормили меня на убой, но хлеба я не видела: я должна была забыть все русское и то, что сама я русская.

Сначала я объяснялась знаками. Затем стала записывать слова, схваченные на лету. Месяца через полтора я уже могла объясняться.

Кроме нашей семьи во дворе жила семья родственников Суна. Эта семья состояла из стариков, имевших двух сыновей, двух невесток, троих внучат; четыре их дочери были замужем, жили отдельно, изредка наведываясь к родителям. Семья жила неизвестно чем, но богато.

Жена младшего сына была больна. Уже пять лет она не вставала с постели; ее болезнь называется е-туйтын. Эта болезнь очень распространена среди китайских женщин, вызывается она коверканием ног. Ноги китаянок, где пальцы врастают в пятки, малопригодны для ходьбы вообще, но часто начинают так болеть, что отнимаются все вообще ноги, и здоровые женщины вынуждены коротать свой век без движения. Жена Арсюнда была еще молодая женщина, красивая, но усталая, измученная своим недугом. За ней ухаживала ее старшая дочь Аргэза, четырнадцатилетняя девушка, близорукая, хитрая и злая. Муж Арсюнда служил в другом городе, в торговой фирме. Аргэза была полной хозяйкой в своих двух комнатах, командуя как над матерью, так и над младшими сестренками, которых она немилосердно била; зато и ее частенько пороли, по просьбе ее матери, или бабушка, или дядя. Порки происходили почти каждый день, причем ссоры начинались с кухни — с клуба, где собирались женщины, и получались благодаря воровству Аргэзы. То ли действительно она была воровкой, то ли поставили ее в

такое положение семейного вредителя, но Аргэза была козлом отпущения в доме, затравленная, злая, мстительная. Старики питались у себя в комнате со старшим сыном, невестки не входили в счет, старшая, здоровая, прислуживала старикам. Накормив стариков, она уходила поесть на кухню. Ссоры с Аргэзой чаще всего возникали потому, что она воровала лучшие куски. Старшая жена Суна часто мне ставила в пример невестку Чо, указывая, что та считается со старшими, не ест с ними, в то время как я питаюсь вместе с Суном. Тасюнди, то есть старшая невестка, была некрасива, но здорова. Была она забитая и приветливая. Несмотря на то, что у них были амы и бой, каждое утро она выносила ночные горшки стариков, этим также оказывая им почтение, которым пеняли меня. Маленькие ножки быстро носили ее по двору, по лестницам и амбарам. Она была беременна. Я часто видела на ее глазах слезы, но, когда наши глаза встречались, она весело улыбалась. Тасюнди-ча вела все хозяйство, заведовала продуктами, но без разрешения стариков или мужа не смела истратить ни горсти риса. Старикам жилось хорошо. У них были свои доходные дома, земли, деньги; дома и земли они отдавали в аренду, деньги — под проценты. Старики ни в чем себе не отказывали; дети редко видели сладости, — старики объедались ими. В этом месте надо добром помянуть Аргэзу: когда ей удавалось украсть сладости у стариков, она отдавала их больной своей матери, хоть и била иногда свою мать. Мать не отказывалась, ела ворованное. Я удивлялась матери, отнимавшей у своих детей лакомый кусочек. Старики Чо часто зазывали меня к себе. Я была для них развлечением. Они хохотали над моим неумением говорить, каждый раз они трогали мои волосы и грудь, удивлялись белизне моей кожи.

3

Дни шли за днями. Я не знала названия дней. Я не могла подсчитать своих русских праздников, к которым когда-то готовилась дома. Я попросила Суна достать где-нибудь хотя бы старый русский календарь.

— Зачем тебе знать? Забудь, что ты русская! — злобно сказал Сун.

Однажды заболела мать, и я должна была ставить свечи идолам.

Китайских богов в нашем доме было десятка два, всех их я не помню. Знаю главных: бог богатства Цай-шин-е изображается в виде трех мужчин, один из них, с черным лицом,— бог-покровитель семьи. Ло-те-я изображается двумя фигурками — мужа и жены. Эти идолы были главными богами. В сторонке бог благополучия животных — Цое. Кроме этих богов, в красных киотах стояли изображения предков или просто палочки с китайскими изречениями, также поминающими предков. Богов от времени до времени подкрашивали. Богам Цай-шинь-е и Ло-те-я раз в году резали баранов, а для Цое делали коня из тростниковых палок. У матери с богами были каждодневные отношения.

Когда она захворала, она поручила мне, а не старшей жене, хозяйничать с богами. Я посылала аму в лавку за священной пастилой и свечами. Пастилу я раскладывала против богов и против них же зажигала священные свечи. Затем я молилась. Моление мое было показное, само собою разумеется.

Болезнь матери была приписана злому духу. Надо было его замолить. Приходил монах и делал указания.

Сун купил особой бумаги, вырезал кружочки с дырочками, нанизал эти кружочки на свечу, и вечером, когда стемнело, мы с ним разбросали эти кружочки за воротами: это означало, что мы дали духу болезни денег. Мать поправилась. В доме было решено, что боги хорошо принимают мои молитвы.

4

Однажды утром, в неурочное время, потребовали за ворота Суна. Суна не было дома, вместо него пошла его мать. Она вернулась очень скоро, очень взволнованная. Она говорила так быстро и так взволнованно, что я ничего не поняла. Мать отослала аму на розыски Суна. Старшая жена была довольна и весела. Сун пришел скоро, и он объяснил мне, что меня требует к себе быв-

ший царский консул Лавдовский. Когда-то я видела Лавдовского у моего отца. Мое сердце радостно забилось, когда я услыхала об этом. Но Сун погасил мою радость: Лавдовский требует меня как жену большевика. Я должна была явиться к нему завтра же. Сун был в негодовании, и он сейчас же пошел к дутуну, к губернатору, который был его другом. Вернулся от губернатора он в веселом настроении.

— Я тебя записал в китайские книги, — сказал он, — записал как жену-китаянку. Теперь никто не может взять тебя из моего дома. Ты моя законная жена.

Я забеременела.

Я ненавидела будущего ребенка. Я принимала все доступные мне меры, чтобы освободиться от беременности. Мне было всего восемнадцать лет. Я била себя по животу. Когда я оставалась одна, я поднимала, передвигала тяжелые сундуки. Ничто не помогало.

Праздник юбинов — праздник урожая плодов. Этот праздник празднуется 15-го числа второй луны восьмого месяца, то есть, примерно, в августе. За много дней до пятнадцатого заказали тридцать фунтов ебин-юбинов, чо заказали сорок пять фунтов. Ебин-юбин — это сладкие пироги наподобие русских тортов, они бывают весом от четверти фунта до пяти. Эти пироги необыкновенно приторного и жирного теста, начиненные вареньем, разрисовываются причудливыми узорами, и на каждом из них прилаживается золотая свинка. Самый большой юбин предназначался богу, в честь которого устраивалось торжество, остальные боги получали поровну. Кроме арбузов, были куплены фрукты. Арбузы разрезались так, чтобы они превращались в вазы с восемью зубцами.

Я бегала от одного идола к другому, расставляя юбины и фрукты, чтобы у всех идолов (и в том числе у Христа-спасителя) было одинаковое количество продовольствия. Еще до праздника нам приносили юбины от соседей и друзей, мы посылали им ровно столько же, сколько получали; сначала я думала, что это простой обмен, потом узнала, что это есть подарки.

Четырнадцатого вечером мы пересмотрели, все ли расставлено перед богами по местам, поскучали, как в России скучали перед сочельнической звездой. Когда стемнело, мы стали молиться. Сун заставил меня молиться по-русски, крестясь. Молились мы часа два. После этого мы отобрали у богов все юбины и фрукты, быстренько разделили их на число всех наших родственников (не забыли и моих русских, — боже упаси, забыть хоть одного какого-нибудь захудалого! — всему роду будет несчастье!) и сели уплетать юбины и фрукты.

Пятнадцатого числа за городом, около старинного монастыря, устраивалось гуляние в честь праздника, молебствия, ярмарка, карусели, пальба из шутих.

Мы поехали на празднество. Мать и старшая жена поехали на рикшах. Я и Сун, мы поехали верхами. Подо мной шел Васька, мой верный друг. Васька изменился в Китае, он похудел от жары и от соломы вместо сена. Он изменился так же, должно быть, как и я. Мне стыдно было ехать по улицам, одетой в шутовской китайский костюм. Мы выехали за город.

Впереди была широкая дорога, упиравшаяся в небо, широкое и бесконечное. И на меня напала дурь — пусть будет, что будет!

— Васька, побудем хоть минуту вдвоем с тобою, как было в Монголии!

Я дала Ваське хлыста, бросив его в галоп. Ребенок завертелся в животе, тупая боль охватила мой живот, мне было приятно от этой боли. Эта боль была пустяком по сравнению с той дикой радостью ощущения свободы, когда хоть на миг, но я одна. Сун мчался за мной, ничего не понимая...

Празднества, разряженных китаянок, знаменитых акробатов и артистов я не видела. Невыносимая боль охватила меня. Я была счастлива, надеясь, что освобожусь от ребенка. Меня отвезли домой. К утру был выкидыш...

Родила Тасюнди-ча — впервые живого ребенка, девочку. До этого она родила только мертвеньких.

Умер дядя Суна. Это было событием в нашем доме. На похоронах я не участвовала: я была больна. На меня надели траур: белые туфли и белую кофточку. Траур я носила сто дней.

5

В нашей семье славилась жена Сы-вын-куй. Семья Сы-вын-куй состояла из старухи-матери, сына, невестки и четырех детей.

Именно эта невестка и была предметом многих разговоров. Ей было сорок лет, она считалась красавицей, она имела крошечные ножки и громадные глаза. Она распоряжалась в доме. В ее распоряжении были повар, ама и швея. Жила Сы-вын-куй богато. Как все богатые китаянки, Сы-вын-куй сидела дома, изредка бывая с горничной в театре или в гостях. Внешне она ничем не отличалась от остальных китаянок. Но в доме своем она поставила себя необыкновенно. Она командовала домом. Тихоня-муж подчинялся ей беспрекословно. Старуху-свекровь она ни к чему не допускала, раз навсегда дав ей понять, что она, Сы-вын-куй, есть хозяйка дома. Старуха так боялась ссор и так любила сына, которому то и дело попадало от жены, что ради него переносила все. Даже к внучатам старуха относилась со страхом.

У Сы-вын-куй была дочь на выданье. Сыновья ее учились плохо, вместо школы играли за воротами в чушки, не пропуская соседних мальчишек и торговцев со сладостями, — первых они били, у вторых брали сладости в долг, отсылая их за деньгами к безмолвному отцу. Дочь Гэгэза знала английский язык, и мать покупала ей английские романы. Ходила Гэгэза в громадных очках, часто одевалась по-европейски, но белилась и красилась по-китайски. Гэгэза была любимицей в доме. По китайским обычаям иной раз подыскивают детям женихов и невест еще с детства последних. Сы-вын-куй нарушила все обычаи, подыскивая жениха для Гэгэзы. Она хотела найти ей жениха не только богатого, но и красивого, а также такого, который бы нравился самой Гэгэзе. По китайским обычаям, невеста и жених не видят друг друга до свадьбы: мать сама подстраивала несколько свиданий дочери с предполагаемыми женихами. Сы-вын-куй часто говаривала, что она была несчастна в браке и никак не хочет, чтобы то же самое повторилось с ее дочерью.

Муж Сы-вын-куй был забит, был несчастлив в браке, поговаривали, что жена Сы-вын-куй живет со своим

поваром. Муж покорно подчинялся жене в приискании жениха.

Я всегда с удовольствием слушала о Сы-вын-куй, но все окружающие остерегались ее и боялись приглашать ее в гости. У нее не было друзей, ее все осуждали — эту женщину, которая казалась мне передовою в китайском хламе. Она любила приходить к нам, даже без приглашения, и каждый раз она расспрашивала Суна о русской жизни, о русских женщинах, правда ли, что в России женщины свободно выбирают себе мужей, служат в магазинах, бывают одни в театрах. Ее глаза загорались, пылали щеки, она слушала и приговаривала:

— Вот бы мне туда!..

Однажды она сказала Суну:

— Ты так хорошо рассказываешь о России. Почему же ты сам держишь свою русскую жену наравне с нами? Ведь она не китаянка. Ей тяжела такая жизнь.

Сун заулыбался и ничего не ответил ей. А когда она ушла, стал осуждать ее, бранить меня и запретил мне ее слушать.

Сы-вын-куй нашла жениха для Гэгэзы. Ходили слухи, что жених — кутила, посещает публичные дома, вместо того чтобы помогать отцу в фирме, учится в Пекинском университете. Сы-вын-куй презрительно улыбалась и говорила:

— Какое до этого дело посторонним! Они оба видели друг друга и друг другу нравятся. Это важнее всего. И они оба говорят по-английски.

И судили же Сы-вын-куй за этого жениха! А особенно за то, что жених и невеста вместе ходят в европейский кинематограф! Я расспрашивала Суна о женихе, Сун его знал. По словам Суна, жених был красив, высокий и полный мужчина, он был из богатой семьи, на его имя были записаны два доходных дома, и накопилось много долгов.

Меня пригласили на свадьбу. Сун сказал Сы-вын-куй, что я беременна, — по китайским понятиям беременным женщинам нельзя быть на свадьбе, они могут сглазить невесту.

— На моей свадьбе не было тяжелого брюха, — сказала Сы-вын-куй, — а что, я счастливее, что ли, от этого? Не верю ничему. Пусть приходит. И пусть приходит в русском платье.

Она же и подарила мне голубого шелка на платье.

6

Мне не пришлось побывать на свадьбе Гэгэзы. В день свадьбы я проснулась с болью в животе. До родов оставался еще месяц, я не связывала этой боли с родами. Я думала, что у меня припадок хулезы, китайской болезни, вызывающейся жарою. На прошедшие перед родами воды я не обратила внимания, — признаться, я тогда совершенно не знала о них. Меня только удивляло, что я беспрестанно мочусь. Мать заметила, что я все время бегаю на судно, спросила, в чем дело. Я сослалась на хулезу.

Странно лечат китайцы эту болезнь. Берут медный тунзер, обмакивают в холодную воду, натирают по голой спине, руки, груди, трут до тех пор, пока не выступят красные полосы. Затем человека оставляют в покое. Эта болезнь происходит от невероятной жары, которая бывает в Китае. Мать стала натирать меня медяшкой. Полосы появились, но не красные, а багровые, вроде кровоподтеков. Мать по цвету полос установила, что хулезы у меня нет. Тогда она потребовала, чтобы я показала свой живот.

Сейчас же послали за колдуньей-повитухой, а мать, пока та не приходила, причитала, что преждевременные роды у меня потому, что я, беременная, собралась идти на свадьбу...

О, участь китайской женщины! — меня поставили перед идолами, пока с кана снимали войлок, на голый кирпич насыпали песок и на песок клали специальные листы впитывающей в себя влагу бумаги; на этих священном песке и священной бумаге я должна была родить. Меня перенесли от идолов на эту бумагу, и старшая жена стала что есть силы и злобы рвать мои волосы, чтобы, по китайской традиции, оттянуть боль от живота и не давать мне возможности впасть в обморок. Мне в рот вливали тибетского лекарства, разведенного на моче трехлетнего мальчика.

...У меня родилась девочка, которая прожила только несколько часов. Старухи объяснили ее смерть сглазом и опять-таки тем, что я собиралась на свадьбу. Когда я услыхала плач ребенка, меня объял ужас, ибо мне становилось ясным, что этот ребенок привяжет меня к дому, к китайцам навсегда. Когда мне

сказали, что ребенок умер, я испытала счастье. Когда холодный трупик ребенка завернули в тряпку и отнесли за город на съедение собакам, как требует китайская традиция, только тогда я взвыла — о нем и о своей судьбе.

В семье не очень удивлялись тому, что я не доносила ребенка и что он сейчас же умер: это обычно у китайцев. На третий день после родов подо мною сменили песок и бумагу и разрешили мне переодеть белье. Сун принес мне подарок — три русских книги: закон божий, древний завет, синтаксис и задачник. Впоследствии я знала эти книги наизусть, наизусть знала все задачи и все способы решения их. В те же дни болезни после родов единственными родными были для меня жаворонки, которые пели у меня над головой...

Сы-вын-куй не забыла меня за хлопотами свадьбы, — она прислала мне в подарок пять фунтов белого сахара и пять фунтов красного.

7

Один из двоюродных братьев Суна был священником. Он жил в кумирне на одной из главных улиц. При нем жил его ученик — Туди, которого он взял себе в дети из бедной крестьянской семьи. Сы-сюн-ди, как звали священника, был тридцати семи лет. Китайские священники не имеют жен, дав клятву, что никакая женщина не взволнует их сердца. Не знаю, как Сы-сюн-ди, но его ученик жил очень не свято. Не имея жен, он умудрялся иметь женщин. Сы-сюн-ди рассказывал, как однажды разжаловали его друга-священника в простые монахи и перевели из города в провинцию, застав его с проституткой. Сы-сюн-ди приходил к нам редко, но зато надолго, и всегда приносил подарки, составлявшиеся из подаяний прихожан. Сы-сюн-ди мог без конца пить чай. Я как-то подсчитала, — он выпил тридцать две чашки цветочного чая, когда только от трех у меня начиналось сердцебиение. Меня Сы-сюн-ди не замечал. Когда наши глаза встречались, он быстро отворачивался. Халат досы, то есть священника, отдаленно напоминал священническую русскую рясу, только был гораздо громоздче. Меня интересовало,

сколько десятков аршин должно пойти на такой халат. Я спросила об этом у матери, мать ответила:

— Нельзя, грешно знать.

Я спросила у Суна, почему грешно? Сун объяснил, что о количестве аршин знают только податели, сам священник и портной, если узнает кто-либо посторонний, у него отнимется год жизни в пользу досы.

Мы ездили к Сы-сюн-ди в кумирню. Женщинам там быть не полагается, но Сун решил меня взять, потому что я русская. В доме меня держали как китаянку-невестку, но вне дома я должна была быть русской. За нами приехали рикши. Я поверх штанов надела парадную юбку. В тот раз я впервые попала на главную улицу. У меня нет сил описать того восторга, тех чувств, которые я пережила за десять минут езды. Я отвыкла от шума и улиц. Красивые магазины, движение рикш, несколько европейских лиц, несметное количество людей поразили меня, — ведь надо сказать, что только на третий год моей жизни в Китае я узнала, что я жила в Калгане, потому что название Калган — название европейское, сами же китайцы называют Калган — Джанча-ку, а карты у меня не было!..

Мы приехали в кумирню. Кумирня имела два помещения: зимнее и летнее. В первом маленьком дворике была летняя половина. Большие идолы были на заднем дворе, в зимней кумирне, двери туда были закрыты до ноября. Ученик попросил нас помолиться прежде, чем мы пройдем к учителю. Ученик был прыщавым юношей, имевшим плохую славу. Мы зашли в летнюю кумирню. Идолы в рост человека, несколько десятков, все в ярких мантиях, грозно смотрели перед собою. Перед идолами стояли серебряные и медные чаши для свечей. В полумраке кумирни было угрюмо, холодно, сыро. Я не пошла дальше порога. Сун горячо молился, расставляя перед идолами свечи.

Нас провели на второй двор. Этот двор был больше первого, окна зимней кумирни горели цветною бумагой, изображающей цветы. Сы-сюн-ди жил в зимней церкви. Мы застали его в постели, он полулежал. Выглядел он худо. У него была какая-то опухоль, лечили его лучшие китайские доктора своею тибетской медициной да молитвами, дорогими жертвами, замаливавшими злого

духа болезни. Сун еще раньше советовал Сы-сюн-ди обратиться к японскому врачу, Сы отказывался. Комната Сы была очень мала, но светленькая и веселенькая. Туди жил отдельно от него. В кумирне только двое они и жили, только в большие праздники приходили помогать досы других кумирен.

Туди приготовил для нас обед; еще дома меня предупредили, что Сы-сюн-ди очень скуп и у него надо стараться как можно меньше есть. Мне рассказывали, что Сы уморил голодом своего отца, со страшной руганью давая ему гроши на самое необходимое, но для Туди он ничего не жалел. Были даже подозрения, что Сы живет с Туди, как муж и жена. Во время обеда Сы строго поглядывал на те куски, которые мы брали, и лучшие откладывал своему ученику. Обед был скуден, всего из четырех блюд. Кумирня же давала большие доходы, к ней была приписана земля, которую Сы отдавал в аренду крестьянам, и у ней был большой приход.

С тех пор как перемерли товарищи Сы, он не принимал новых монахов, кроме Туди. Говорили, что у Сы имелся капитал тысяч в сто долларов. На себя он не тратил ни копейки, но за них обоих тратился Туди, который, несмотря на то что был женою Сы, приводил к себе женщину, которая приходила в кумирню, переодеваясь мужчиной. Об этом узналось только после смерти Сы. Однажды, уже после смерти Сы-сюн-ди, когда Туди был возведен в чин священника, полицейский обратил внимание на то, что из кумирни вышел юноша странного вида. Полагая, что это вор, полицейский пошел за юношей, и все выяснилось. К Туди приходила жена одного ремесленника.

Сы-сюн-ди умер, оставив ученику семьдесят тысяч даянов. Я была на похоронах Сы-сюн-ди. К похоронам мы готовились еще до его смерти, так как мать, старшая жена и я, мы должны были показать на похоронах богатство своих нарядов. Мне сшили сразу два костюма, из темно-лилового шелка и из серого. Для моей прически были заказаны специальные позолоченные шпильки. Сы умер как раз тогда, когда у нас все было готово.

За нами приехала колымага под балдахином. Всю дорогу мать учила меня, как себя вести, что сказать, как приветствовать родственниц. У ворот кумирни собра-

лась большая толпа. Мы вошли на первый двор. Меня окружили женщины, всем интересно было посмотреть на русскую жену Суна. Я растерялась, и приготовленные за дорогу для родственниц фразы вылетели у меня из головы. Я, забывшись, позвала мужа по-русски. Он был героем дня, — все любовались мною. Мне показалось, что о покойнике никто и не помнил. Все были разряжены и веселы.

Мы пошли к гробу. Сун велел мне, чтобы я поплакала. Мать запричитала, очень похоже на то, как плачут у нас на похоронах причитальщицы, она стала кричать.

Гроб Сы-сюн-ди был очень дорог. Выкрашен он был в коричневый цвет, с золотыми цветами. Гроб помещался в летней кумирне, перед гробом стоял портрет покойника. Этому портрету ставили свечи и жгли бумажные деньги. Эти деньги были так искусно сделаны, что я с трудом поверила, что они фальшивые. Я тоже сожгла тысячедолларовый билет. Перед портретом же стоял обильный обед. Душа умершего была еще на земле и хотела есть. От этого первого дня похорон у меня осталось ощущение обжирания, потому что мы только и делали, что ели, пили, снова ели. Столы с едою стояли на втором дворе, куда допускались только родственники. Оказалось, что родственников у меня человек двести. Еще из дому я взяла мешочек меди для раздачи детям родственников, — разошелся он у меня в мгновение ока. Обед был из шестнадцати блюд, ужин — из двадцати четырех. Я только пробовала кушанья, зато мои соседки наедались так, что не могли двигаться. Вернулись мы вечером запоздно. Сун остался в кумирне ночевать.

На другой день опять с утра мы поехали к мертвецу. Я была в другом платье, и на меня опять стали глазеть. Но я стала смелее и с удовольствием пошла осматривать подарки покойнику. Гроб был завален бумажными цветами. Рядом с гробом стояли три домика, искуснейше сделанные из бумаги. Дома были как настоящие — в окошках было видно внутреннее убранство, роскошная обстановка. Душа умершего должна была озаботиться и решить, в котором из этих домиков ей поселиться в загробном мире: в загробном мире покойник делается хозяином этого дома; бумажные

куклы, помещенные в бумажном домике, оживают и делаются покойнику слугами. По этому поводу имеются сказания.

Жил однажды богатый купец, у него умерла вторая, его любимая жена. При жизни его жена имела любимую аму. Купец сделал жене бумажную аму, точь-в-точь как живая. Женщину похоронили, и в первый же день живая ама услыхала голос своей хозяйки. Прислушиваясь, испуганная ама зажгла свечу, но голос настойчиво звал ее. «У меня нет ключей от моего ящика, я забыла их под подушкой, дай мне их», — говорил загробный голос. Испуганная ама вытащила ключи и подала их невидимому существу, — утром ключей не оказалось. Каждую ночь ама просыпалась от зова хозяйки, голос слышали все и в том числе муж.

Однажды аму нашли на могиле за городом. Ама была в обмороке. Призадумались родные и взяли аму в деревню, подальше от могилы умершей, но голос не оставлял ее и там.

Тогда родственники раскопали могилу, вынули куклу, изображающую аму, и сожгли ее, рассыпав пепел по ветру. С тех пор голос хозяйки перестал преследовать аму, но купец стал видеть свою жену, и жена жаловалась, что ее ама ушла от нее. В силу этого сказания, китайцы, принося покойнику кукол, заказывают их с неправдоподобными лицами.

Около гроба Сы-сюн-ди стояло множество таких кукол. Одна кукла держала поднос с трубкою, спичками и табаком, другая имела при себе чайный прибор, третья — кушанья, четвертая — вино. Все это искуснейше было сделано из бумаги. Размалеванные, раскосые, с разинутыми в страшной улыбке ртами, эти куклы казались мне уродами, — мои родственницы восхищались их красотой. Прикасаться ко всем этим подаркам женщинам не полагается, глазеть же — сколько душе угодно!

День похорон для каждого умершего китайцы вычитывают в книгах, чтобы похороны не совпадали со днем рождения живых родственников и чтобы как следует был закончен жизненный гороскоп; в силу этого иногда покойник вынужден дожидаться похорон несколько месяцев. Покойник ждет счастливого дня для своего путешествия в могилу. За все это время из-

редка служат панихиды, которые обыкновенно начинаются вечером и продолжаются всю ночь; досы тогда пьют бесконечный чай и лениво гнусавят над покойником. Сы-сюн-ди повезло: его похоронили быстро.

В день похорон обед подали в восемь часов утра. Собралось человек сорок досов, разряженных в разноцветные мантии. Кроме досов, пришло двадцать четыре здоровенных нищих, которые артельно нанялись нести гроб до кладбища. Гроб поставили в паланкин. Впереди гроба понесли цветы, куклы, домики и портрет покойника.

Туди ревел белугой, его окружали его однолетки-монахи, одетые, как и он, во все белое, в белых шапочках и туфлях, в белых халатах. В руках у Туди была метла. Туди, поддерживаемый товарищами, шел впереди гроба и изредка помахивал метлою; это означало, что верный ученик сметает все препятствия с дороги к царствию неземному. Туди старательно делал вид, что плачет.

Процессия растянулась на целую улицу. День был невыносимо жарок, дорога была песчана. Пыль набивалась в нос, глаза, в уши. Мы ехали в колымаге под балдахином. Я все время чихала, чем выводила Суна из благодушия.

Мать вслух мечтала, чтобы и ее похороны были так же торжественны.

За городом процессия потеряла торжественность; в неимоверной жаре все шли как попало, лишь бы скорее дойти до кладбища. Мы опередили гроб. Ожидая покойника, мы осматривали кладбище. Это было родовое кладбище Сунов, — у каждого китайского рода свое кладбище, общественных кладбищ нет; даже бедные китайские семьи должны иметь свою пещеру для мертвецов. Если китаец умирает далеко от родового кладбища, — не сейчас, так через год, три года, — труп его китайцы обязательно приволокут на родину.

Сун и старуха показали мне место, где они будут лежать. Сун предложил и мне выбрать себе место; у Суна умерла уже одна жена, он советовал мне ложиться рядом с нею.

— Ну, а если передеремся там? — пошутила я.

— Нет, вы не подеретесь, Сы-куй очень хорошая, добрая, она всегда тебе уступит, а кроме того, я вас успо-

кою, — ответил Сун совершенно серьезно, — да и чего вам ссориться, денег я вам дам поровну, — добавил он.

Мы спустились в склеп. Я увидела свежее отверстие — яму в передней стене первой ямы, там стоял совершенно новый гроб отца Сы-сюн-ди, туда же поставят и самого Сы-сюн-ди. Тусклый свет фонаря освещал темную сырость. Сохранившиеся около гроба куклы были зловеще страшны. Мои родственницы, ожидавшие меня около склепа, расспрашивали, что я видела: они не могли спуститься в могилу на своих исковерканных ногах. Наконец принесли гроб. Обессилевшие от жары и тяжести носильщики-нищие с видимой радостью кинули гроб на землю. Досы сели отдохнуть и покурить. Но вдруг грянул оглушительный выстрел, которым давали знать родным-умершим о прибытии нового гостя. Досы поднялись и взялись за продолжение работы, расставляя всем умершим родственникам свечи и тарелочки с едою. Молодые досы загремели литаврами, заиграли в дудочки, запели. Загрохотали ракеты и шутихи. Ничего нельзя было понять в этом шуме и вое. Под этот вой гроб втащили в склеп, туда же отправили куклы и домики. После похорон еще раз ездили в кумирню, и все там напились, а мужчины накурились опиума.

Умерла старуха Чо. Однажды ночью я проснулась от плача и криков на нашем дворе. Сун, который проснулся раньше меня, сказал мне, что умерла старуха Чо. Я вышла на двор. По двору ходили незнакомые воющие люди. Ночь была черна, и было очень жутко. Еще днем старуха была жива и бодра, я заходила к ней на минутку перед вечером, она угощала меня чаем и лотосовым вареньем. Во мраке двора, с факелами в руках, сын умершей, сноха и незнакомые люди вытаскивали из сарая гроб, заготовленный еще много лет тому назад. Рысцою вбежали во двор досы, застреляли шутихи, загремели литавры, запищали свирели, зазвенели колокольчики.

8

...Из моего окна я вижу голубое небо, — я смотрела часами, — небо начинало казаться морем, белое облако было лодкой, скользящей на парусах глубокой голубой тверди. Лодка неслась бесцельно по морю и скрылась из виду. Берегов я не видела, лодка унеслась, не оставив

никакого следа. Вот навстречу друг другу идут два облачка, вот они встречаются, соединились вместе и понеслись в бесконечность. Я не вижу окружающего, — я там, с облаками, где так много простора. Я оглядываю комнату, схожу с кана, иду мимо амы в кладовую, наливаю себе в чайник мой-гой-ло, китайское сладкое вино, в кухне около очага я подогреваю чайник. Бедная ама! Она смотрит невидящими глазами, я знаю ее преданность собаки, — только для нее я была госпожой, беззащитная, как и она, рабыня!.. Я согреваю вино, наливаю чашечку аме. Первые две-три чашечки я пью с удовольствием. Потом я допиваю чайник насильно. Я хочу опьянеть, забыться. Мне это удается. Мне все безразлично.

Я пью каждый день. Сун заметил.

— Ты опять беременна? — спросил он радостно.

— Мне скучно, — говорю я.

Он не верит, он целует меня по-китайски, то есть нюхает мою щеку. Мне уже не скучно, мне страшно.

Старуха Чо прожила в своем гробу у нас на дворе больше месяца, ожидая своего гороскопического числа. Через два дня на третий выли на дворе досы. Ее наконец похоронили.

Я травилась. Никого не было дома. Я знала, где у Суна лежит опиум. Я взяла у него кусочек. Мне показалось, что доза будет мала, я взяла еще кусочек. Я положила опиум в рот и быстро проглотила его. Первые минуты я ничего не чувствовала, потом меня стало тошнить, во рту пересохло. Мне хотелось пить, но я пересилила себя. Чтобы умереть скорее, я легла на постель. Боли никакой не было. Засвистело в ушах, точно на дворе был сильный ветер. Я стала ощущать, как немели мои ноги, руки, ногти принимали синий оттенок. Сквозь туман сна я видела предметы в комнате, поющих жаворонков. Предметы стали меняться в размерах, жаворонки казались необыкновенно большими. Мне казалось минутами, что я громадная, как верста, а то казалось, что я величиною с пушинку, что сейчас, стоит мне двинуть рукою, я полечу. Тело было легкое-легкое, тянула одна мутная голова. Вдруг обрушилось что-то, я потеряла сознание. Я пришла в себя на кане в другой комнате. Старуха била меня по щекам что есть

мочи. Сун держал меня за плечи. Старшая жена наливала мне в рот горькую жидкость. Тело мое ныло от боли, точно я прошла громадную дорогу и налилась свинцом от усталости. Сердце то замирало, то так усиленно начинало биться, что я с ужасом открывала глаза, которые хотели выскочить из орбит. Меня рвало, казалось, что внутренности хотят вывернуться наизнанку. Меня спасли мылом. Мне давали пить разведенное в воде мыло. Мать била меня, чтобы я проснулась и чтобы наказать. Четыре дня били меня, чтобы я не засыпала так сильно, когда сон может перейти в смерть. Все тело мое было в синяках. Меня били все по очереди. На дворе никто не знал о том, что я травилась. Аме строго было наказано молчать. Четыре дня истязали меня бессонницей и побоями. Когда я встала на ноги, меня поклялись убить, если я скажу кому-либо о самоубийстве, позорящем род.

9

Мертвый жених, мертвая невеста: когда умирает девушка или юноша, их не хоронят сразу, а подыскивают им мужа или жену. Мертвый жених и мертвая невеста обручаются живыми родителями, родители совершают брачные обряды и хоронят мертвых жениха и невесту рядом в одной могиле. Часто можно видеть, как гроб одиноко стоит на окраине города — это жених ждет невесту!

Я была на свадьбе живых. Женился сын Ли-тэй-тэй. В восемь часов утра на рикшах мы подъехали к дому Ли. У ворот нас встретили музыканты — однострунные визжащие скрипки, литавры, деревянные трещотки. Музыканты встречали всех гостей тремя мотивами — одним мотивом идущих парою, другим — мужчин, третьим — женщин.

Местом пира был двор. Двор был разукрашен подарками молодым, разноцветными кусками шелка, устлан циновками. Висели изречения: будьте счастливы, будьте многодетны, желаем благополучая. Двор был разделен на два отделения — для мужчин и женщин. Гости приходили, степенно обмахиваясь веерами.

Невесту принесли в паланкине и спрятали в комнате, там ей выщипывали волосы и к ней никого не до-

пускали. От зноя и музыки трещало за ушами. Жених был среди гостей. Среди гостей было высокое начальство. Остальные гости, жених и отец жениха больше заботились о начальстве, чем о самих себе, забывая о невесте. Невесту же в это время ощипывали специальными щипчиками, чтобы у нее не было лишних волос, обмазывали кремом, белилами и румянами. Невесту наряжали в фату, украшали цветами. Жених, как полагается, еще не видел невесты так же, как и она его. Сын Ли-тэй-тэй видел только фотографию невесты. Невесту принесли еще с вечера и заперли со свахами, она не могла выходить даже в уборную и ела пищу, запасенную из дома. Из дома невесту принесли на руках в паланкине. Любопытные, подходившие к двери в комнату невесты, слышали, как она плачет и причитает о том, что ей страшно в чужом доме и что она не знает, каков будет ее муж, не урод ли.

Все приходившие разбивались по группам. Специально приглашенные повара разносили обед. Есть начали с утра. Мои соседки удивлялись, что я сижу, поджав ноги, как китаянка, и владею в совершенстве палочками для еды. С утра же все подвыпили. В доме была заготовлена комната для курения опиума, там все время валялись окурившиеся без меры. Мне этот день был очень тяжел, потому что, как только мы пришли, один из начальников стал волочиться за мной, говорить неприличности. Сун все время ходил за нами, хихикал, прикидывался ничего не видящим, — Суну очень хотелось угодить начальникам, — а дома вечером он отколотил меня за то, что я позволяла лишнее, хотя никакого лишнего не было.

Надо правду сказать, начальники вели себя как пираты и были все время окуренными. Если другие курили опиум с осторожностью и с оглядкой, боясь доноса и штрафа, то начальники ничего не боялись, потому что себя-то они штрафовать не станут. Гостей было человек семьдесят, обедали уже третий раз... Так прошел целый день.

На ночь все разошлись по домам, чтобы наутро собраться вновь. Наутро привезли приданое невесты и разложили его по двору для всеобщего рассматривания. Одна из свах состояла при приданом, показывала его любопытствующим и объясняла назначение предметов, сообщая обязательно их цены. Опять с утра объедались.

К полудню, наконец, показалась невеста. Из комнаты новобрачной тянулась шелковая дорожка. Она вышла в черной фате, вся в искусственных цветах. Шелковая дорожка тянулась к богу, стоявшему на дворе. Около порога лежало седло и ожидал жених. Жених подал руку невесте, они перешагнули через седло и пошли к богу. Лицо невесты было закрыто фатой. Свахи несли серебряную бутылку с вином. Около бога дали жениху и невесте выпить из серебряной бутылки. Все рассматривали ноги молодой, как она идет по шелковой дорожке. Все время играла музыка, у всех в руках были свечи. Свечи не тушили и за столом, хотя был знойный полдень. Невеста ушла в свою комнату, за ней пошли свахи и жених, — в брачной комнате жених должен был сорвать с лица жены фату. Мужчины набросились на окна и двери и стали дырявить оконную бумагу, чтобы видеть, как муж снимет фату с жены, — таков обряд. Когда обряд срывания фаты был окончен, двери к молодым открыли, и все могли приходить с поздравлениями. Жених и невеста оставались в своей комнате, там чадили священные курения перед идолами, туда молодым приносили обед. Молодая кланялась всем, чтобы показать, что ноги ее хорошо ее держат. Гости то ели, то выпивали, то курили, то ходили к молодым. Перед вечером сели за обед, который возглавляли молодые, по руку молодой — женщины, по руку молодого — мужчины. Молодая кланялась всем гостям, рассаживая их по родству и богатству, угощала, прося не брезговать ее домом, но сами молодые не ели за общим ужином, они должны были ужинать отдельно, у себя, после того как поедят гости и родственники. Гости по очереди должны были рассказать по неприличности, невеста должна была повторить неприличность. Отличались начальники, которые рассказывали совершенную похабщину, которую невеста должна была повторить. Жениха просили, чтобы он побил жену; он бил, делая страшное лицо. Просили также и молодую побить мужа; она умиленно била. Затем под свист, пение, крики и совершенно похабные напутствия, которых мне никогда ни раньше, ни позже не приходилось слышать, молодых отвели в их спальню. Из-за стола разошлись поздно, но гости по домам не расходились.

Утром на другой день я узнала, что часть гостей не уходила всю ночь и что ночью у молодой из спальни украли штаны, повесив их на дворе на колу. Так дли-

лось еще три дня, пока молодые не уехали к родственникам невесты.

Эта свадьба мне показалась утомительнее похорон, и я все время вспоминала о том, как женятся мертвецы. У молодой же невестки Ли-тэй-тэй не было счастья. Вскоре после свадьбы по обычаю молодые ездили к волхву. Ворожей сказал, что она умрет от первых родов. Так и было. Через десять месяцев после свадьбы родился прекрасный здоровенький мальчик, мать же умерла от неизвестной болезни. Все месяцы своей беременности она говорила о смерти. То безудержно веселая, то грустная до слез, она спешила жить своей маленькой китайской жизнью. Она каждодневно по нескольку раз переодевала свои наряды, украшала себя, каждый день она звала к себе гостей и угощала их сладостями, раздаривая безделушки. Перед родами она подарила мне флакон духов и носовые платочки, сказав, что ей больше все это уже не понадобится. Роды прошли благополучно, но вдруг она стала жаловаться, что в ее глазах все темнеет, она стала задыхаться, она кричала, что ей душно и темно. Затем она затихла и умерла.

Ее гроб долго стоял за городом. Женщина, умершая после первых родов, сразу становится чертом, но тем не менее ей надо испытать сладость материнства, и если ребенок остался жив, ей подыскивают загробного жениха. Мертвая невеста, мертвый жених!.. А в доме Ли-тэй-тэй были глубоко убеждены, что молодая умерла потому, что волхву-ворожею мало заплатили, когда ездили к нему гадать.

10

Я забеременела. Старуха узнала об этом. Она приставила ко мне сторожей, я не могла ни быстро ходить, ни работать. Она решила во что бы то ни стало заставить меня родить. Меня спасла Сы-вын-куй. Я сказала ей, что я не хочу быть матерью.

— Хорошо, я помогу тебе, — сказала она.

Я была уже на четвертом месяце. Она вскорости приехала к нам. Она сунула мне в пакетике зернышки, похожие на кофейные, сказала, что они называются пату, начала было говорить, как их принимать, но в этот момент наш разговор прервали, и нам не удалось боль-

ше поговорить. Я наугад выпила четыре зерна, мелко изрубив их, и запила чаем, чтобы скорее действовало. Во рту я почувствовала горький, палящий привкус миндаля. Через несколько секунд в животе начало рвать, отрыгивалось горьким. Меня вырвало в уборной два раза. Меня схватил такой понос, какого до сих пор не было ни разу в жизни. Сразу я ослабела до того, что не могла стоять. Ама поддерживала меня на судне. Я почувствовала, как из меня хлынула кровь: маленький ребенок лежал в горшке, хлынула кровь комками — вышло место. Мне сразу стало легко, я впала в обморок. Никто не мог понять, что со мною. Китайский доктор приказал молиться идолам и дал какой-то навар из целебных трав. Сы-вын-куй, узнав от меня, что я выпила сразу четыре зерна, пришла в ужас, — оказывается, надо пить одно зерно в три-четыре месяца. Старуха решила, что я порченая.

Сы-вын-куй убедила Суна, что меня надо сводить в театр. Сун пригласил Сы-вын-куй, взял старуху и старшую жену, и мы поехали в закрытой колымаге в театр. Шла тяжелая драма, и Сы-вын-куй плакала, не стесняясь посторонних. Драма состояла в следующем: жил богатый вельможа. Он получил от императора приказание ехать в другой город с поручением. Семья вельможи состояла из мачехи и ее сына от первого мужа и из любимой жены и маленького сына восьми лет. Не доверяя своей мачехе, вельможа отдал ключи от хозяйства своей жене, строго наказав ей следить за хозяином и сыном. С первых же дней отъезда сына мачеха стала преследовать молодую жену вельможи. С помощью своего дураковатого родного сына мачеха следит за невесткой. Молодая женщина ведет себя примерно. Одну радость, одно утешение она находит после отъезда мужа в своем ребенке. Последний отплачивал матери безумной любовью, не отставая от матери ни на шаг. Проходит время, вельможи нет. Свекровь мечтает разбить счастье пасынка и сделать наследником своего дураковатого сына. Она убеждает приятеля вельможи соблазнить невестку, назначить ей свидание ночью, — тот отказывается. Старуха предлагает деньги, — тот соглашается. Он приступает к ухаживаниям. Невестка негодует и просит его оставить ее дом. Мужчина оскорблен в своих мужских до-

стоинствах. Заговорщики перехватывают письмо вельможи к жене и, узнав о его приезде, решают действовать. Они кладут в постель молодой женщины мужскую шапочку и засовывают под постель туфли. Мучимая дурными предчувствиями, молодая женщина ночью подходит к окну, открывает его. Мачеха пользуется этим, она созывает слуг, слуги врываются в комнату невестки. Подкупленный человек с криком бежит от окна, на постели находят шапочку, под постелью туфли. Прислуга с презрением смотрит на госпожу и уходит, бросая ей оскорбительные обвинения. Бедная китаянка, зная строгие законы своей страны, боясь гнева мужа и своих родных, решает покончить с жизнью. Она заносит над собой кинжал, но в это время просыпается ее сын. Мысль, что сын останется сиротою, отвлекает ее от убийства. Она переодевается мужчиной. Она передает сыну ключи, чтобы тот спрятал их и не отдавал никому, кроме отца. Она поет колыбельную песнь.

Весь зрительный зал плакал, когда она пела эту песнь. Сы-вын-куй заливалась слезами, кусая себе пальцы.

Мальчик засыпает. Несчастная женщина пытается написать мужу, хватаясь за кисточки, которыми китайцы пишут, но писать она не умеет. С поникшей головой уходит она из дома. Ухода ее никто не видел, собака повиляла ей хвостом. Она плачет, она не знает, куда ей идти. Вдруг взор ее проясняется, — она вспоминает, что ноги ее средней величины и могут сойти за мужские. Женщина идет в монастырь. Она поступает в монахи. Седой монах спрашивает ее:

— Знаешь ли ты, что тяжелый обет ты должен дать богу, ты отрекаешься от родных и от всего, что лежит за воротами монастыря. Подумай, пока не поздно!

Женщина-мужчина дает обет верности. Она — монах. Она исполняет тяжелые работы. Она молится все ночи напролет. Щеки ее поблекли, волосы покрылись сединой.

За высокую монастырскую стену не доходят городские новости. Вельможа всюду ищет свою жену. Раскаявшийся заговорщик рассказывает вельможе истинное положение вещей, мачеха вынуждена подтвердить невинность жены. Слава и богатство не прельща-

ют вельможу. Он и сын пошли искать жену и мать, переодевшись нищими.

В это время в монастыре наступает час пострижения. Настоятель и монахи счастливы, что среди них появился святой человек. Перед синклитом монахов выводят вновь постригаемого. Настоятель заклинает не скрывать всех своих грехов и сообщить причину пострижения в монахи.

— Я все расскажу, — тихо говорит монах.

Сваливается к ногам настоятеля поддельная коса. Женщина, стоя на коленях, рассказывает повесть о себе. Настоятель в ужасе, узнав в монахе жену вельможи. Все в страхе. Женщина утешает всех.

— Я по доброму желанию пошла в монастырь, — говорит она, — вы не неволили меня. Вы приняли меня в горе, и я нашла среди вас утешение.

В это время во двор монастыря входят нищие, отец с сыном. Постригающийся монах дает последнюю клятву, — он уже постригся.

— Мама, мама! — кричит ребенок, бросаясь к монаху.

Все узнают друг друга. Все потрясены.

Тогда говорит настоятель вновь постриженному монаху:

— Помни, что ты отреклась от мира. Ты — не мать и не жена, ты — монах. Проклятие ляжет на тебя и на твой род, если ты перешагнешь ворота монастыря.

Отец и сын бросаются к монаху-матери. Та стоит неподвижно. У нее нет слез. Она благословляет сына и просит простить ее. Сын на коленях просит ее вернуться домой. Мать безмолвна.

Настоятель говорит последнее слово. Он говорит о том, что наступает час, когда ворота монастыря должны быть закрыты для посторонних, ибо монахи должны молиться. Он просит отца и сына уйти за монастырские ворота.

Отец и сын идут к воротам, все провожают их. И вот ворота закрываются за отцом и сыном. Все плачут. Железные ворота монастыря навсегда разъединили этих троих любящих. Монахи поют церковный гимн.

Весь зрительный зал заливался слезами.

Вторая пьеса была современной, изображалось время наших дней. Действие происходит в богатой семье. Ста-

руха имеет двоих сыновей. Старший женат на бедной, но благородной крестьянской девушке, которая, попав в богатство, терпит от свекрови всяческую несправедливость и даже побои. Муж тоже относится к ней пренебрежительно, хотя и любит се. Он ставит ей в пример ученых девушек, умеющих читать по-английски. Невестка работает за всех. Она стряпает, убирает дом, всех обшивает, ухаживает за старухой, получая за все это одни насмешки и побои. Свекровь однажды, точно сорвавшись с цепи, гонит невестку из дому. Та в страшном горе возвращается в родительский дом. Но там ее принимают радушно. Старший брат говорит ей ласково:

— Не беда и не позор для тебя, если ты сама не сделала ничего нечестного. Ты молода и красива, если ты не хочешь жить самостоятельно, мы найдем тебе мужа, если и не богатого, то по сердцу.

Брат говорит о женском труде и равноправии.

Свекровь же тем временем женит второго своего сына. Невестку берут из богатого дома и так называемую образованную. С первого же дня в доме пошла неурядица. Образованная и богатая невестка сразу же ослушалась старухи; та хотела ее побить, как била старшую невестку, но невестка не подпустила ее к себе и сказала, что в долгу не останется. Невестка отказалась что-либо делать по дому, все время сидела за книгами да ходила по кино и театрам. Свекрови пришлось все делать самой. Мужу тоже не пришлась жена, она совсем не считалась с его властью, она все время тыкала ему его невежество. Мать и сын уж и не рады были, что взяли в дом такую девушку, да боялись с ней разговаривать, так как она была богата и образована. Но и они не пришлись невестке. В один прекрасный день она привела с собой кули и заявила, что уходит из дома навсегда, не желая жить с необразованными людьми.

Свекровь рада, что все обошлось хорошо. Она решает вернуть старшую невестку. Она уговаривает сына поехать за женой, но тот отказывается, говоря:

— Ты ее прогнала, ты за ней и поезжай.

Мать мучается над хозяйством и, наконец, едет за невесткой. Мать застает невестку одну и начинает с ней говорить тем тоном, которым говорила и раньше, указывая, что развод еще не оформлен. Но в это время приходит старший брат. Он говорит старухе, что его се-

мья и его сестра не нуждаются в богатстве, времена рабства и побоев прошли. Он заявляет, что отпустит сестру только в том случае, если старуха даст клятву не притеснять невестку. Старуха вынуждена была дать такую клятву.

Невестка вернулась в дом. Положение ее в ломе совершенно переменилось. Она стала правовым членом семьи. Старуха не знает, куда усадить невестку, во всем с ней советуется и помогает ей.

Старуха, мать Суна, разохалась и разахалась по поводу этой пьесы.

— Ишь ты, зазнаются как! — говорила она. — Ну, да и мы тоже знаем, кого брать сыновьям, таких нам не надо!

Сы-вын-куй была в восторге.

11

Сун курил опиум. Мне говорили, что курить опиум — наслаждение. Я попросила Суна дать мне покурить. Сун приготовил мне трубочку. От первой затяжки я задохнулась, вторая прошла удачно. По совету Суна я прилегла на кане, чтобы видеть фантастические сны. Голова моя кружилась. Но вместо прекрасных снов я увидела утреннюю ссору с Суном, с той лишь разницей, что в дыму опиума я была героиней: с совершенной ловкостью я бросала вазы в голову Суна, прыгала, летала по воздуху, все разбегались от меня, даже жаворонки вылетели и улетели. Затем я заснула уже без снов, и наутро болела голова.

Через два дня я покурила уже без Суна, и... я видела незнакомого мужчину, необыкновенно красивого, безумно ласкавшего меня на роскошной постели. Лица этого мужчины я не помнила и не помню. В течение нескольких недель каждый вечер я курила опиум, и каждый вечер ко мне приходил этот мужчина. Я жаждала ласк и объятий. Не курить я уже не могла. Со временем образ этого мужчины исчез из снов, но не курить я не могла уже потому, что меня тянуло физически, да я и не хотела бросать. За трубкою опиума приходило спокойствие, всегдашняя моя тоска исчезала. Окружающие люди были мне безразличны. Я становилась бессильной, в блаженном полузабытьи я лежала на кане и блажен-

но перебирала в памяти всякие пустяки. Я знала, что курение опиума разрушает здоровье, каждый день давала себе слово больше не курить, но наступало десять часов вечера, я не находила себе покоя и места. Сун, заметив, что я уже не могу не курить, вместо того чтобы отправить меня к врачам, дал мне волю. Каждые десять часов вечера я погружалась в опиум.

12

У Суна был дальний родственник Ин-ся-сын. На моих глазах он проделал обыкновенную у китайцев карьеру. Человек с веселым характером, но малоотесанный, еще в деревне он познакомился с семейством миллионеров, имевших в нашем городе крупнейшую торговую фирму. Он поступил к ним на службу и переехал служить в город, порвав с деревней; привез с собой свою деревенскую жену, поселил ее в бедном квартале, сам же жил у миллионеров. Про него и про жену миллионера ходили темные слухи, с самим же миллионером он больше занимался не торговлей, а кутежами, причем состоял при миллионере в качестве заводилы и остряка. Когда я приехала в Китай, Ин-ся-сын был в нашей семье на самом последнем счету. А через год он оказался первым человеком. Он нанял себе квартиру в самом дорогом квартале, жена его стала носить шелка, сам он располнел и разбух от важности. Из китайской фирмы он ушел, расставшись со своим прежним хозяином-врагом, открыл свое дело. Но пьяная служба при прежнем хозяине наложила свой отпечаток. Он жил ухарем-купцом, рубахою-парнем.

О нем я вспомнила не только потому, что его судьба напоминает многие судьбы русских купцов, но и потому, что он открыл мне мир, который я смогла увидеть только благодаря ему. Сун, хоть и скрывал это тщательно, заискивал перед Ин-ся-сыном. Ин-ся-сын влюбился в девушку из публичного дома и пристал к Суну с тем, что хочет меня познакомить с нею. Вообще жен в публичные дома водить не полагается. Ин же доказывал, что меня можно туда сводить, потому что я русская. Сун поскрипел языком и сердцем, но вынужден был уступить другу. Меня, конечно, не спрашивали: хочу ли я поехать в публичный дом. Но про себя я скажу, что —

да, я хотела съездить туда, потому что и это было разнообразием, а мое положение ничем, по существу, не отличалось от положения девушек в публичном доме.

Ин-ся-сын приехал за нами на рикшах. На воротах публичного дома красовалась зеленая лента широкого шелка, в китайских изречениях. Привратник подобострастно закланялся Ин-ся-сыну и продал нам два билета — я была не в счет. Мы прошли на круглый двор, в который выходило множество маленьких дверей и окошек. Двор был засажен цветами, посреди двора был фонтан. Было шесть часов вечера, двор пустовал. Ин-ся-сын приказал ударить в гонг. Сразу же распахнулись шторы-двери и оконца, за шторами сидели девушки. Они вышли на двор и построились в полукруг. Все они были в пестрых халатиках. В стороне стояли пять совсем еще маленьких девочек, недавно купленных, как мне объяснил Сун; пока они жили в публичном доме, не принадлежа еще мужчинам, но обучаясь у взрослых своему ремеслу. Ин-ся-сын и Сун с интересом рассматривали девушек. Те не опускали глаз, смело отвечали на вопросы. Ин-ся-сын заплатил десять долларов за осмотр и оставил при себе свою девушку — Се-сель.

Со мною Се-сель поздоровалась за руку, по-европейски. Должно быть, она на самом деле была искренно рада, что к ней пришла женщина из другого мира, жена китайца с общественным положением, не постыдилась ее. Она сказала мне об этом, и в ее словах, когда она говорила это, была настоящая грусть. Она называла меня — Сун-тэй-тэй. Мое сердце всею искренностью расположилось к ней. Мы прошли в ее комнату, которую лучше назвать закромом или стойлом. Подали чай и сладкое вино. Сели играть в маджан. Я плохо играла; позвали подругу Се-сель. Пришедшая девушка была явно больною. Я спросила ее, что с нею. Она сказала, что только месяц, как она встала после родов и недомогает до сих пор. Ребенка она отдала матери, а мать продала его в богатую бездетную семью, и, кроме физического недомогания, девушку мучила тоска по ребенку, которого она сознательно хотела родить, скрыв свою беременность от содержателя публичного дома, за что ей теперь приходится работать вдвойне, отрабатывая потерянные дни.

Мужчины играли, выпивали и веселились. В десять часов мы все покурили опиума. В одиннадцать мы с

Суном отправились домой, Ин-ся-сын остался у Се-сель ночевать. Когда мы уходили, Се-сель взяла слово, что мы приедем в свободный ее день отобедать с ней в ресторане.

На другой день к нам подходила жена Ин-ся-сына. Она знала о связи мужа, она боялась, что муж возьмет Се-сель к себе в дом, а ее сошлет в деревню. Она приходила со специальной целью разведать от меня о Се-сель. Она осыпала Се-сель всяческими ругательствами и успокаивала себя тем, что, если Ин-ся-сын возьмет Се-сель в жены, она, теперешняя жена, будет старшей женой.

Через несколько дней Сун повез меня в лучший ресторан на обед, устраиваемый Се-селью. Се-сель ждала нас, окруженная своими подругами. Всего нас было человек восемь. Разговор касался всего, кроме домашнего хозяйства, о котором всегда говорили женщины у нас в доме. Обед был прекрасен. Пили сладкое вино и пиво. Се-сель и ее подруги умели выпить, но не теряли от этого вежливости и приветливости. Играли за столом в разные словесные игры, шутили, пели. Я понимала, почему Ин-ся-сын протрачивал темные свои деньги в этом мире: здесь не было быта китайской затхли.

Встали из-за стола, просидев за ним часов восемь, очень навеселе, с хохотом стали разъезжаться по домам. Все было очень прилично и гораздо веселее, чем дома.

Я сдружилась с Се-сель, и уже я просила Ин-ся-сына, чтобы он почаще заставлял Суна возить меня в публичный дом. Я дружила с Се-сель и с ее подругой Хун-хор.

Я знаю судьбы этих девушек. Се-сель родилась в богатой семье. Мать умерла после родов брата, когда Се-сель было девять лет. Отец после смерти матери стал курить опиум. В какие-нибудь три года он прокурил все состояние. Дочь он отдал бабушке, родной своей матери, но через несколько месяцев отобрал обратно и продал в публичный дом, выговорив право в течение года курить в этом публичном доме опиум. Через год отец исчез, Се-сель не видела его с тех пор. Из тяньдзинского публичного дома Се-сель была перепродана в Пекин, затем сюда. В тяньдзинском публичном доме Се-сель прожила с тринадцати до шестнадцати лет. До пятнадцати лет она жила на правах дочери содержателя публичного дома, ее учили вежливости и английско-

му языку, которым она вполне владела и на котором умела читать, что и составляло главную отраду ее жизни; книги она глотала в бесконечном количестве, перечитав всю английскую литературу.

Когда Се-сель исполнилось пятнадцать лет, содержатель объявил цену ее целомудрия; триста рублей ему и приданое девушке — обстановку для спальни и золотой браслет. Первый мужчина, по традициям китайских публичных домов, считается временным мужем: он имеет право единолично пользоваться девушкой в течение недели. Когда цена была объявлена, стали приходить покупатели, чтобы осмотреть Се-сель. Покупатель нашелся — пекинский купец. Этот купец был первым мужчиной Се-сель. Он не потерялся впоследствии, он изредка пишет Се-сель и присылает к ней своих товарищей. Се-сель посылает ему подарки к празднику и любит его.

Хун-хор не помнила своей матери, она впервые помнит себя у тетки. Тетка работала на фабрике, жили они в Шанхае. Тогда с теткой они голодали, но была честная жизнь. Когда Хун-хор было двенадцать лет, тетка умерла. По соседству жил парикмахер, он изнасиловал Хун-хор, но взял ее к себе в дом. Он был одинок, он стал торговать девочкой, впоследствии он продал ее в публичный дом. Хун-хор была безграмотна, она лепилась к Се-сель беззаветною лаской. Се-сель была се защитницей и старшим товарищем. Хун-хор любила приказчика из цветочного магазина, он тоже любил, но у него не было денег, чтобы выкупить ее.

Мне с этими девушками было легче, чем дома. Отношения же Ин-ся-сына и Се-сель имели свою судьбу. Ин-ся-сын поставил себя в публичном доме так, что Сесель принадлежала только ему. Но в публичных домах могут любить и быть благодарными, — пусть жалкой благодарностью. Се-сель получила письмо от того пекинского купца, который был ее первым мужчиной, — он писал, что приедет по делам и будет у Се-сель. Сесель сказала Ин-ся-сыну, что, если этот купец приедет, она будет принадлежать ему. Се-сель поступила по понятиям своей чести. Ин-ся-сын разразился громами и бросил Се-сель, нашел другую девушку, с которой он проводил ночи, задаривая дорогими подарками. Сесель все же любила Ин-ся-сына, она знала эту девушку, она знала, что девушка больна, она предупредила об

этом Ин-ся-сына, — Ин-ся-сын не верил... Ин-сян-сын заразился, заразил свою жену. Тогда он вернулся к Се-сель. Се-сель приняла его больного. Она тоже захворала, но не растерялась, сразу же стала лечиться у японского врача, возя к нему и Ин-ся-сына. Лечась сама, она лечила Ин-ся-сына. Жена Ина была беременна, когда он ее заразил. Родился мальчик, полненький и очень здоровый. Новорожденный был осыпан дорогими подарками. Через месяц тельце мальчика покрылось зловещей сыпью, и мальчик умер.

Се-сель мечтала уйти из публичного дома. Хозяин просил за нее семьсот долларов, — и она ушла оттуда, но не выкупленная, а в силу законов Фын-юй-сяна. Когда сменилась власть, Джан-дзо-лин был изгнан, и его заменил Фый-юй-сян. Генерал Фын, в ряде других своих законов, издал приказ, что девушки из публичных домов, если они того пожелают, могут переходить в дома труда и отдыха.

Се-сель одна из первых покинула публичный дом. Я приходила к ней в дом труда несколько раз. Се-сель мне рассказывала, что девушки, во множестве сначала пошедшие в дом труда, затем побежали оттуда обратно в публичные дома. В доме труда надо было исполнять тяжелую работу, но это было не главным, пугающим женщин. Главное было то, что они лишались своей воли и свободы. Они не имели права подходить даже к воротам. Их всех нарядили в полуарестантские наряды. А главное, миссионерши-англичанки и американки тыкали им каждый день в нос, что они падшие существа, и читали христианские проповеди. Все, что девушки зарабатывали шитьем и вышиванием, записывалось в книги в счет выкупа, — девушки должны были отработать известную сумму, тогда они получали свободу и — опять улицу. Се-сель, знавшая английский язык, надеялась выкупиться и поступить куда-нибудь в фирму или сестрой милосердия в армию Фына.

Интересы публичного дома мне были ближе интересов моего дома. Я знала все интересы девушек, знала их приметы, праздники, несчастные дни, знала их бога, специально публично-домового, к которому девушки бегали молиться, отдавали первую заработанную в этот день монету, каялись ему в своих болезнях и счастьях. Я знала самое страшное поверие проституток — о том, что к ним иногда приходят мертвецы. Девушки рассказыва-

ли десятки вариантов одного и того же события, о том, что однажды пришли трое мужчин, выбрали лучших девушек, разошлись по комнатам, а наутро мужчин не оказалось: — вместо их платьев висели бумажные халаты, вместо их денег оказались бумажки. Девушки вспоминали, что все трое мужчин были холодны, как лед, и страстны, как метель. У девушек были мертвецы, вышедшие из могил. И каждая девушка, когда к ней приходит незнакомый мужчина, прежде чем остаться с ним, должна сбегать к своему богу, прочитать молитву, потому что те три девушки, которые спали с мертвецами, вскорости умерли страшной смертью — от проказы. Девушки рассказывали изнанку своих жизней и жизней посещавших их мужчин. Жизнь этих девушек пестра, как их халаты, но совсем не так красива. У этих девушек я могла вволю поплакать.

13

...Несколько дней подряд шли проливные дожди. Крестьяне, приезжавшие в город, поговаривали о наводнении, говорили о голоде в случае этого наводнения. И вот в один из знойных солнечных дней небо покрылось черными тучами, загрохотал гром, удар за ударом, и небо разверзлось необыкновенным ливнем. Через час двор превратился в озеро. Дождь лил. Вода бросилась в комнаты с такой ужасной силой, что сбила аму с ног. Крыша протекала. Глиняные стены на наших глазах разбухали и сползали вниз. В доме оставаться было опасно, дом мог каждую минуту рассыпаться, но и на дворе было опасно, ибо падающая с неба вода сбивала людей с ног. Собака, привязанная на цепи, сидевшая сначала в конуре, вынуждена была выбежать из конуры, когда ее залило водой. Собака залезла на крышу конуры, ее оттуда смыло. Когда мы опомнились после наводнения, я нашла собаку мертвой, она захлебнулась, не справившись с силою падения воды. Ливень продолжался часа два и прошел так же стремительно, как пришел. Вода, наполнив нижний этаж, устремилась за ворота, пробив себе дорогу в доме, выломав стену на улицу. Дрова плавали по двору. Крышу с нашего дома снесло. Разувшись, мы пошли к воротам. Вода бешеным потоком неслась по

узенькой уличке. У соседей водою выворотило ворота, они стояли поперек улицы, и вода стремилась через них водопадом.

Сун пошел в город и скоро вернулся, потому что никуда не мог пройти. Мост через реку снесло, река вышла из берегов, по скатам к реке, где несколько часов тому назад были улочки бедноты, осталось голое место, валялись лишь трупы людей. Дождь прошел по всей провинции, и вода с гор кинулась на город, уничтожая все, что у нее было на пути. Город был наполовину уничтожен. Но на то Китай и есть Китай: дня через три, когда вода сошла, китайцы заново стали лепить свои домики на тех же самых местах, где недавно была вода, хотя такие наводнения бывают в Калгане почти каждое десятилетие.

Я забеременела вновь и вновь выпила пату. Сун и его мать решили, что я не могу иметь ребенка. В это время родила жена двоюродного брата Суна, тот жил бедно, у него было шестеро детей, и народился новый. Сун решил купить у него новорожденного и купил за пятьдесят долларов, за кусок дешевого шелка и за двадцать фунтов крупчатки. Сделка была оформлена у нотариуса. Я должна была растить мальчика. И я привязалась к нему, полюбила его, назвала его Василием. Сколько было хлопот с ним — заболеет он, я не сплю ночей, мучаюсь с ним вместе. А какое счастье было слышать его смех, ловить протянутые ручонки. А когда начал он ходить и лопотать по-русски, радости моей не было границ...

Глава третья

К нам, за стены нашего дома и нашего квартала, стали приходить темные слухи о революции в Китае. В тысячелетие наших традиций стали вплетаться слухи о наступающем Фын-юй-сяне. Говорилось, что войска Джан-дзо-лина не сумеют отстоять провинции и провинцию займет Фын-юй-сян. И, действительно, войска Джан-дзо-лина стали отступать, наводняя город. Наши переулки ждали грабежей, прятали ценные вещи, зарывали золото в землю, женщины вместо золота надели плохонькое серебро. Ворота запирались еще засветло,

на крышах по очереди дежурили мужчины. Слухи из-за ворот приходили все тревожнее и тревожнее.

И однажды мы все проснулись от грохота ружейных выстрелов, криков, лая и воя собак. «Началось!» — шептала мать и переставляла на новые места своих идолов, обещая им богатейшие жертвы. Огонь всюду потушили, мужчины ползком вылезли на двор, женщины сидели на полу около кана — кан был защитой. Стали залетать пули; они делали малюсенькие дырочки в бумажных окнах и цокались о стены. Все мы плакали.

Сун скоро приполз к нам. О защите не могло быть и речи, надо было молиться идолам. Сун стал искать места, куда бы ему спрятаться, так как при солдатских грабежах, сообщил он, больше всего попадает мужчинам, их бьют, требуют от них денег, их мучают, а женщин не бьют, сообщил он, а только изредка насилуют.

Из-за ворот стали доноситься выкрики: «Сюда! Так его!.. Давай лестницу!.. Приколи собаку-то!.. Вот еще дом!» Слышались вопли женщин. Я сидела ни жива ни мертва. Пули летали целую ночь.

Лишь к рассвету стихло, слышались лишь отдельные выстрелы. Выйти на двор мы боялись до полудня, хотя давно уже все стихло. Сун послал аму к соседям. Те долго не хотели ей открывать двери. Ама выглядывала в щелочку за ворота. Везде было пусто. Тогда мы, крадучись, вышли на двор. Наши ворота были проломаны. Почему не зашли к нам, неизвестно, должно быть, не успели. Сун пошел за ворота узнавать новости. Оказалось, что все соседние дома были ограблены, уцелел лишь наш дом да еще два стоящих за нами, — солдаты не успели дограбить переулка. Отступавшие мукденцы грабили в ту ночь весь город, особенно пострадали магазины.

В этот день на месте не было ни одного торговца, ничего нельзя было купить. С середины дня опять все стали запираться и баррикадироваться, ибо опять ожидали нападения мукденцев. Никто не спал, все собрались в подвале и сообщали слышанное.

Погром начался еще вчера с вечера, сейчас же после приказа отступать. Солдаты стали собираться кучками под предводительством офицеров. Магазины спешно закрывались. Солдаты разделились партиями и грабили улицы по жребию. Утро застало солдат в разгаре грабежа, но, по приказу начальства, солдаты могли грабить город только до рассвета и на рассвете должны

были уходить из города. Солдаты не только грабили, но и уничтожали все, ломали вещи, рубили сундуки, рвали материи. Было много убитых мужчин и старух и множество изнасилованных женщин. Из наших соседей лучше всего отделалась от грабителей Сы-вын-куй. Когда к ней вломились солдаты, она сказала им: «Господа, вот деньги, ключи. Берите все, что вам надо. Вот вам печенье, вино, отдохните, покурите опиума». Такое человеческое отношение отрезвило солдат, они никого не били, не ломали вещей, выпили вина, взяли сорок семь долларов, две шубы и ушли.

У Ин-ся-сына переизнасиловали всех женщин, кроме племянницы, которая была только что после родов, — ее не насиловали, считаясь с религиозными традициями своей страны, но мужа ее избили до потери сознания.

Ночь прошла в разговорах, выстрелов почти не было слышно. В эту ночь в город вошли войска Фын-юй-сяна. Фына встречали демонстрациями. Но ночью опять загремели пачки выстрелов. Наш двор проснулся в ужасе, решили, что город грабят новые войска. Наутро оказалось, что ночью отряды Фын-юй-сяна расстреливали на мосту через реку пойманных грабителей. Расстрелы тянулись несколько дней. Иногда расстреливали и днем. Сун ходил смотреть на расстрелы. Расстреливали с моста. Убитые падали в реку. Сун рассказывал, как некоторые расстреливаемые пытались бежать из расстреливаемого взвода, их ловили и добивали вручную. Так было расстреляно несколько тысяч человек.

Войска Джан-дзо-лина были разбиты наголову, часть их сдалась новому дутуну, другая ушла за город, в горы к хунхузам, и грабила деревни. Генерал Фын издавал строжайшие приказы, но разбои не прекращались, не прекращались и расстрелы. Город был на военном положении. Войска мукденцев грабили провинцию. Карательные отряды не успевали их ловить. Хунхузы нападали даже на окраины города. Телеграф не работал несколько недель. Связь с Монголией была прервана. Поезда на запад подвергались грабежам.

Про генерала Фына ходили самые невероятные слухи. Его радостно встречала городская беднота, приказчики, чиновники, образованные люди, но в нашей среде он не пользовался симпатиями. Его приказы возмущали купечество, и все валилось в одну кучу обвинений — и то, что он изменил своему другу У-пей-фу, и то, что он обложил купцов прогрессивным подоходным

налогом, и то, что он запретил женщинам коверкать ноги. Фын приказал отдавать девочек в училища и запретил им бинтовать ноги, не выполнявших приказа он штрафовал. Чо несколько раз платили такие штрафы. В нашей среде ликовала только Сы-вын-куй, и она приносила новости, что Фын дружит с революционной Россией, запрещает мужчинам носить шелк, запрещает ездить на рикшах. Жизнь пошла по-новому. Новая жизнь коснулась и меня...

В европейской литературе уже много имеется трудов, посвященных китайской революции. По русской номенклатуре Фын-юй-сян являлся вождем китайско-эсеровских настроений, Джан-дзо-лин — врангелевских. Авторы, обрабатывающие дневники Ксении Михайловны Беспалых, отсылают читателя к соответствующей литературе о Фын-юй-сяне — герое людей и настроений русского девятьсот пятого года. Ксения Михайловна стала разбираться в этом впоследствии — и об этом ниже.

Глава последняя

...Это — последние дни Ксении Михайловны в рабстве.

Новая жизнь коснулась и меня. Сун поступил на службу в английскую фирму.

— Теперь надо трудиться, а то бездельников Фын не любит, а меня скоро ему представят, — говорил он.

Однажды вечером он принес счета, написанные по-русски, спросил, умею ли я их прочитать. Я прочитала, конечно. Он просил меня написать по-русски, я написала.

— Я определил тебя на службу в английскую фирму, — сказал он. — Завтра я повезу тебя показаться англичанину.

Фамилия англичанина была Невиль. Наутро мы поехали к нему в гостиницу. Невиля не было дома, он должен был скоро вернуться. Сун отвел меня в номер знакомой монголки, а сам ушел. Мы сели пить чай. Прошло несколько минут тягостного молчания. Вдруг я услышала русский женский голос: «Где она?» Дверь распахнулась, и передо мной стояла белокурая высокая женщина в белом платье.

— Я узнала, что вы здесь. Я давно знаю о вас. Я несколько раз приходила к вам, но меня не пускали. Пойдемте в мою комнату, — сказала эта женщина.

У меня заполохнуло сердце от русского языка. Женщина сыпала словами, словно горохом, я не знала, что отвечать ей и что делать.

— Зачем вы в китайском платье? Вам совсем не идет. Меня зовут Марией Ивановной, товарищем Марией. Ах, если бы вас можно было спрятать сию же минуту, а то монголка видела, что я вас увела к себе.

Мы прошли в ее комнату.

— Вам надо бежать, — сказала она строго, закрыв дверь за собою.

Но больше говорить мы не могли, в дверь постучал и вошел Сун. Товарищ Мария сунула мне две книги в руки.

— Ну, вот, прочитайте эти книги и пришлите их с мужем, или я сама заеду за ними, — защебетала она. — Очень приятно, очень приятно, очень приятно.

Она пожала руки мне и Суну. Сун ничего не понял, да и я мало понимала. Кто она? Коммунистка или кто? Должно быть, коммунистка, если просила называть ее товарищем Марией, но ведь товарищами называют друг друга и студенты. Я не заметила, как мы вошли к англичанину. Невиль встретил меня в одних подштанниках, должно быть, он представлял жену китайца простою русской бабой. Сун, глянув на голый живот своего начальства, пулей вылетел из его кабинета. Рикши помчали нас домой. Дома произошел скандал. Сун вырвал у меня те две книги, заглавия которых я не успела еще прочитать, в бешенстве изорвал их в клочья и бросил в печь, собственноручно спалив их. Раза два он ударил меня, затем разревелся и стих.

— Никаких белых дьяволов ты больше не увидишь, — говорил он гнусаво, — ни на какую службу я тебя не отдам!

Прошло три дня, когда я все время была под надзором старшей жены, матери и Суна. Впоследствии я узнала, что за это время ко мне приходила товарищ Мария и что товарищи-коммунисты хлопотали перед Фын-юй-сяном о моем освобождении. Сун все три дня был ласков. И ночью на четвертый день он разбудил меня. Он был взволнован, он зашептал о том, что должен рассказать мне одно обстоятельство, очень важное. Он сказал, что большевики дружны с Фын-юй-сяном, что они хлопочут о моем освобождении от Суна, но что он, Сун...

...Сун восстановил в моей памяти дни моего пленения князем Норбо, дни расстрела моего мужа. Сун, шепча и брызгая слюной, сообщил мне, чего я не знала, что он купил мою жизнь за две тысячи рублей золотом у белых офицеров, офицеры за две тысячи рублей обязались предоставить меня живою Суну. Сун говорил, что я должна быть благодарна и, если за мною придут к нему большевики, объяснить им, что он, Сун, — мой спаситель. Как, какими словами передать мои чувства, чувства человека, жизнь которого была куплена в рабство? Как передать, что в одну минуту я поняла, что с этим человеком, перешагнувшим через мою смерть, я не могу оставаться ни минуты. У меня не было слез. У меня не было даже слов. Я встала и стала снимать с себя вещи Суна.

— Что ты делаешь? — спросил Сун.

— Я ухожу от тебя, — ответила я.

— Ты уйдешь от меня изуродованной! — прошипел Сун.

Он бил меня по лицу и в живот. Я доставала мое платьице, в котором пришла к нему после расстрела. Сун стал смотреть удивленно и испуганно, понимая, что я не чувствую его побоев. Я склонилась над мальчиком, которого растила.

— Мое солнышко, я ухожу от тебя. Прости меня, когда ты вырастешь. Что-то будет с тобою?

Я надрывала свое сердце, и я разрыдалась над ребенком, прислонив свой лоб к его щечке. Василий расплакался, проснувшись, потянулся ко мне ручонками, крикнул по-русски:

— Мама!..

Ребенок вцепился в меня ручками. Ночь я провела с ребенком. Утром я сказала матери, что я ухожу, что делать больше ничего не буду, и не буду есть, и пробуду в доме только до того часа, как для ребенка будет найдена ама. Я сказала Суну, что, если он будет меня еще бить, я пожалуюсь советскому консулу и Фыну. На третий день я вышла из дома. Я ушла без копейки денег, в том самом платье, в котором пришла к нему в ночь расстрела мужа. Тяжелая была разлука с ребенком, — как-то он будет жить без меня, что-то с ним будет?.. Я вышла из дома в городе, где я многих уже знала и где ни к кому из тех, кого я знала, я не могла пойти, кроме Се-сели и товарища Марии. Я пошла к Марии. Ее не

было дома. Я стала ждать. Ко мне пришла европейская женщина.

— Вы — русская? — спросила она по-русски. — Вы пришли к товарищу Марии?

— Да, — ответила я.

— Идемте.

Мне было безразлично, кто эта женщина. Мое лицо было все в синяках, и была надорвана мочка уха — после побоев в ночь, когда я решила уходить. Женщина молчаливо провела меня в ванну, помогла вымыться, дала свежее белье, перевязала мне рану у уха.

Товарищ Мария пришла к вечеру.

— Вы — коммунистка? Или... — первое, что спросила я.

— Да, коммунистка, — ответила товарищ Мария.

...А вечером в десять часов я металась в тоске по опиуму. Ребенок выветрился из моих ощущений. Сердце горело. Я сходила с ума. У меня появлялись даже мысли, не пойти ли к Суну за зернышком опиума. Товарищ Мария заметила мои метания. Я созналась ей. Она пришла в ужас.

— Что делать? что делать? — говорила она и принесла мне коньяку.

Я выпила полбутылки коньяку залпом и успокоилась. Я заснула, как убитая, но едва показался первый свет, все мое существо наполнилось тоскою о ребенке, — пусть этот ребенок был куплен для меня так же, как я была продана...

Это была «последняя часть» дневников Ксении Михайловны.

Авторы взяли только отрывки из дневников Ксении Михайловны. Ксения Михайловна прожила в китайском рабстве пять лет. Дневники Ксении Михайловны обрываются в том месте, где они оборваны в этой повести. Судьба человека рассказана самою Ксенией Михайловной. Человеком — нельзя торговать. Ксения Михайловна, родившаяся в русской купеческой семье, в годы своего рабства не была ли опять в почти русской обстановке, ибо китайское купечество, показанное Ксенией Михайловной, — не есть разве персонажи Островского? А если это так, то пусть читатель сделает проекцию от купцов Островского к жизни России времен Островского, — один из углов Китая будет понятен. Ксения Михайловна видела так и такой Китай, какого не смог бы увидать ни один европейский ученый. Купец во всем мире одинаков.

Один из авторов этой повести встречался с Ксенией Михайловной в двадцать шестом году в Пекине. Пекин только что был занят войсками Северной группы, войска Фына отступали на запад, и на рассветах слышна была отдаленная канонада. Пильняку рассказали о женщине необычайной судьбы, в двадцать шестом году она работала под руководством Ли-тай-чао (ныне убитого секретаря китайской компартии, китайского профессора общественных наук).

На окраине пекинских кварталов, в районе бедноты, в бедной китайской комнате Пильняк встретил Ксению Михайловну. Навстречу к нему вышла очень красивая женщина, и эта женщина была проста до обыкновенности. Она была молчалива, и она заговорила, оживилась, заволновалась только тогда, когда она стала рассказывать о человеческом варварстве.

— Тысячелетний Китай, говорите вы, — говорила она, — будь он трижды проклят! Человечеству надо скинуть сор варварства, безделья, предрассудков — везде, в Китае так же, как в России.

Эта красивая, спокойная русская женщина была отдана ненависти и человечеству, человечеству революций. Судьба возникновения революционера была очень понятна, и понятны были — медленность Ксении Михайловны, книги русской революции на ее столе, ситцевое ее платье. Понятно, почему Ксения Михайловна умела молчать, все переживая в себе, и понятно было, почему она осталась в Китае: у нее не было отечества, кроме товарищества братьев, освобождающих человека от рабства.

Пильняк помнит свою встречу с Ксенией Михайловной — очень большою человечностью. Пильняк просил дневники Ксении Михайловны; она улыбнулась, смутилась, сказала:

— Зачем? Разве это интересно?.. А, впрочем, если это нужно... Потом, когда-нибудь, когда мы состаримся.

А. Рогозина, второй автор этой повести, родная сестра Василия Рогозина, убитого белыми офицерами мужа Ксении Михайловны, встретила последний раз Ксению Михайловну в Хабаровске, в лазарете. Ксения Михайловна умирала от пули, полученной в перестрелке с китайцами, с мукденцами. Дневники были переданы автором перед смертью Ксении Михайловны для обработки и опубликования. Ксения Михайловна встречала смерть с тем спокойствием, которому ее научили калганские годы.

Ямское Поле.
8 февраля 1930 г.

Р а с с к а з ы

СТАРЫЙ СЫР

I

Мой друг!

Ваше письмо из Англии шло ровно год, и совершенно непонятно, как оно дошло. Где вы теперь? — Вы пишете о том, что Лондон по-прежнему все свои концы и начала — улиц, тюбов, музикхоллов, кабаков, ночей в доках и Гайд-Парке, Сити, Пикадилли, Пэл-Мэлла — ведет и приводит в столетья известняков Вестминстерского Аббатства, к дедовскому креслу у камина и к сода-виски в туманные вечера? — Недаром парламент вот уже восемь веков заседает в монастыре! — Я очень помню то удивление перед цивилизацией, когда — мелочь — я не могла перейти улицу у Тоттэнгам-коорт-роада на Оксфорд-стрит, она была так загружена такси, бэссами и каррами, — я заметила, что грузы передавались кранами над крышами, а мне предложили перейти улицу под землей коридором для пешеходов. Я очень помню то чувство гордости и благодарности человечеству за его человеческую духовную культуру, которое я дважды пережила в Лондоне: — один раз под колоннами Британского музея, уходя из тишины его зал, где тогда я причащалась всей истории человечества, к векам лучшего в человечестве, где в сумрачных складах внизу я видела все книги, которые вышли в мире; и второй раз в Вестминстере около могилы Ньютона, — там в веках и полумраке, на известняках стен и под известняком пола — даже Ньютон — только звенышко в том грандиозном, что зовется человечеством и что человечество создало, и каменная плита в полу над останками Ньютона, где написано его имя,

уже полустерта ногами людей, здесь, над ним, проходивших. — Помню, потом, после Вестминстера, мы пошли в «Кабачок Старого Сыра», излюбленный кабачок Диккенса, там в клетке кричал попугай, нам дали кушанье — «пай», — которое любил Диккенс, завтрак мы закончили старым сыром, в честь которого и назван кабачок, — и, когда уходили, хозяин кабачка, заметив, что мы иностранцы, подарил нам книгу в триста страниц, где излагалась история этого кабачка с 1647 года, кто в нем был, какой художник, поэт, дюк-оф-Иорк — коротали в нем у камина лондонские туманы, там рассказывалось, как один джентльмен поцеловал на лестнице в кабачке прекрасную леди и что из этого вышло, там подробно указывалось, на каком месте, в какие часы сидел здесь Диккенс и на какой странице в «Повести двух городов» описан этот кабачок; хозяин кабачка был горд сообщить нам, поклонившись, что и он сработник культуры...

Но — вот, как живу я теперь.

Направо, налево, сзади и впереди нас — степь. Из степи встает солнце и в степь уходит. Железная дорога от нас в ста верстах, ближайшее село — в пятнадцати. Весной степь буйно цветет тюльпанами и травами до пояса, потом степь выгорает, остается сухая земля да кое-где на ней ковыль и полынка; зимой лежат снега, над землей тогда горит Полярная Звезда, и ковш Большой Медведицы не может вычерпать всю нашу степную грусть. В степи идет овраг, за версту направо и налево он не виден, и в этом овраге стоит наш хутор. Мы не пашем, по скатам оврага расположился сад, огромный, десятки десятин; ключ, который течет наверху оврага, мы превратили в пруд; два верблюда все время ходят по кругу, качая воду для поливки сада; у нас есть шесть коров, два верблюда и одна лошадь. Весной сад цветет: тогда болит голова от соловьев и запаха цветущих яблонь; осенью все пахнет яблоками, и яблоки горами навалены всюду, на столах, на подоконниках, на полу, в сараях, на чердаках... Около пруда, в тополях стоит наш дом, низенький, под деревянной крышей, выкрашенный снаружи известкой, как украинские хаты, терраска висит над обрывом в сад, в гущу деревьев и — весной — соловьиного переполоха. В доме низенькие комнаты, большие лежанки, скрипучие двери, и дом навсегда, дол-

жно быть, пропахнул степью, полынью и зноем. В России революция, все дороги заброшены, редко-редко, когда на горизонте возникнет киргизский всадник и сейчас же исчезнет за балками; к нам никто, и мы ни к кому. У нас нет хлеба, и мы делаем хлеб из яблок, на молоке. Мы живем, как жили, пятеро: мать мужа, старуха, член Географического общества, энтомолог, — она и сейчас ведет исследования и пишет, мой муж, я и брат мужа Николай, художник, с женой Ольгой. Мы живем дружно и бодро. Муж проводит дни на той стороне оврага, где поднимается солнце, там у него пчельник и клочки бумаги в шалаше, иногда он стреляет из своей берданки среди дня, это наш условный знак, тогда я иду к нему, и мы печемся на солнце — иногда я слышу па терраске костяные шаги его пойнтера, у пойнтера во рту клочок бумаги с одним словом: «приди»... Вечером, после заката, мы сидим на терраске, муж на ступеньках к обрыву, молчим, и я чувствую, как на платье садится роса... Я просыпаюсь с солнцем, и все же всегда застаю мать в ее комнате, с лупой в глазу, с пером в руке, склоненную над своими бабочками и жучками, — если бы вы послушали, какие необыкновенные вещи она рассказывает о бабочках... Весь день у меня заполнен трудом; утром я и Ольга, мы доим коров, я или она отгоняем их в поле, мужчины таскают воду, мы готовим завтрак, потом надо идти в сад и работать там, весной мы окопали все яблони, потом воевали с червями, теперь надо собирать. Скоро зима, мы никуда не поедем, нас заметет снегами, мы все соберемся в нашем домике, будут мести метели, и будет очень хорошо. Мы ничего не знаем, что делается в мире, живем совсем без денег, на первичной ступени культуры, и я не знаю, как и когда я отправлю вам это письмо... Сейчас осень, по-европейски сентябрь, стоят необыкновенные дни, сад пожелтел, степь еще больше раздвинулась, дни пустынны, безмолвны, солнце слепит, но несет холодок, ночью садится заморозок, и все небо — громадное — в звездах, вечерами мы ходим в степь, вчетвером, за несколько верст. Мужчины берут с собой ружья, так как сейчас идет перелет, можно застрелить дрофу, — и еще от волков, которые стали набегать на хутор. Возвращаясь, я и муж, мы идем спать на пчельник, к яблокам и меду, а Ольга и Николай — на сеновал, к увядшим весенним травам...

Из дневника Ольги Дмитриевны, жены художника Николая.

5 сентября 1918 г.

Вчера мать рассказывала о своем научном путешествии в Монголию, а Мария вспоминала Англию, — а позднее мы ходили в степь и слушали, как воют волки. И ночью я видела нехорошие сны, мне снились лондонские улицы, Трафалгер-сквер, и будто бы они в монгольской пустыне, мертвые и занесенные песками, фонтан у колонны Нельсону иссяк и гранит растрескался, по улицам проехали на лошадях верхом монголы, потом прошел в цилиндре и с зонтом, как подобает, англичанин. И сейчас я думаю, что этот сон — очень похож на нашу явь. Какая страшная кругом степь, пустыня; когда заезжают киргизы и останавливаются отдохнуть, они вынимают из-под седел сырое, прелое мясо и жрут его, разрывая зубами; когда — в этом году только два раза — мы собираемся поехать к человечьему жилью, — это бывает гораздо сложнее, чем проехать от нашей же станции до Петербурга за полторы тысячи верст... День сегодня пришел в солнце, пустой, ясный и мертвый, был заморозок, мы спали, зарывшись в сено, ночью на горе над нами выли волки... А на рассвете, неловко повернувшись, я вновь почувствовала, как во мне движется ребенок, прекрасный мой, незнаемый... Потом пошел день, как всегда, в работе, в заботах. Я люблю наши дни, потому что мы дружны и бодры. В час, за обедом, мы собираемся все, всегда шутим, раскладываем пасьянс, мы, женщины, — братья играют партию шахмат. В сущности, сон, конечно, не похож на нашу жизнь: во сне — Монголия съела Лондон, мы же — колонизаторы, несущие культуру в земли дикарей.

7 сентября.

Сегодня в саду собирала последние яблоки, антоновку, снимала с верхушек шестом, оступилась и опять почуяла, как во мне, там, повернулся ребенок. Какое это счастье! — Бросила сад, пошла к мужу, он был около верблюдов, приласкалась к нему, сидели у ворота, который кружат верблюды, — я знаю — около нас было счастье...

Потом, как провинившиеся дети, стали спешить починить ворот, починили, ушли в сад собирать яблоки и долго не шли к обеду, озабоченные яблоками. И после обеда не задерживались в комнатах, опять пошли в сад. Мария что-то заметила, погрозила мне пальцем, я высунула ей язык. И к вечеру мы наворочали яблок целую гору. Вечером Андрей, чудак и изобретатель, подарил Марии и мне по флакону самодельных духов, очень хороших, пахнувших и яблоками, и полынью», как вся наша жизнь, он так и надписал на пузырьках: «Духи Наша Жизнь». Мы сидели в доме, я шила белье будущему ребенку, мама раскладывала пасьянс, мужчины изготовляли восковые свечи на зиму, — все шутили. Ночью мы видели, как далеко в степи полыхало зарево. Что бы это значило? — Мужчины обеспокоились, заговорили о революции, о крестьянских восстаниях, — мы все приветствуем революцию, так как она пробудит феодальную Россию...

Сегодня утром нарушилось наше безлюдье. На рассвете приехали киргизы, пять всадников, с английскими военными винтовками. Всегда раньше их очень долго приходилось просить въехать на двор и зайти в дом, — теперь они, оставив лошадей среди двора, кинув им сена из сарая, вошли в дом, в нашу столовую, и сели, как садятся европейцы, не на пол, а на стулья, они были очень торжественны, молчали. Мама принесла сушеных яблок, они отказались есть. Андрей предложил им меда и сидра, — они вновь отказались — даже от сидра, хотя им объяснили, что это алкоголь. Они сидели все, как один, расставив кривые свои ноги и опершись на них руками, точно думали очень большую думу. И все они были, как один, — с узкими косыми глазками, в остроконечных меховых шапках, изъеденных вшами; скоро от них вся комната пропиталась гнилым запахом нечистот, пота, кислого молока. Они пробыли недолго. Так же молча поднялись, вышли к лошадям, навязали нашего сена к седлам и умчали в степь. Андрею и Николаю — не понравился их визит, но мама думает, что с дикарей нечего спрашивать приличий, а то, что они скинули с себя всегдашнюю свою маску трусости и забитости, почувствовала себя — пусть нелепо — гражданами, это хорошо...

Сегодня прозрачный, пустой осенний день, утром я видела, как стрелкой на юг потянули журавли, — от

них всегда грустновато, как-то бередится душа, и сама хочешь к ним. В саду уже падают листья, он редеет, становится непривычно просторным, и слышно, как падают забытые яблоки... А к вечеру пошел дождь, заморосил, заволок небо. Стал дуть мокрый ветер, обшаривает все, все пронизывает. Ночь черная-черная, ничего не видно. Степь теперь страшна, мокрая, темная, пустая. Шумит нехорошо, жутко сад. Мы все собрались в столовой, каждый со своим делом, — я сижу в сторонке и пишу это. В такие вечера надо быть особенно дружными. Кончу писать и буду шить ребенку, и сегодня мы не пойдем спать на сеновал, по-зимнему будем устраиваться, в доме... Как нехорошо лают собаки, должно быть, опять волки... Чу, — выстрел!.. Андрей пошел узнать, в чем дело. . . . .
. . . .

II

В исполкомах, в чрезвычайных комиссиях, в штабах армий, на площадях, на улицах, на проселках, на железных дорогах, на станциях — по деревням, хуторам, пустошам, полям, степям, оврагам, рекам, — ночами, туманами, дождями, — осенью, тысячами глоток, тысячами, — шли, ползли, тащили пушки, обозы, скотину, — кричали, пели песни, молились, плакали, матерщинили, — спали на дорогах, в оврагах, в степях, — жгли костры, деревни, поля, города, — умирали с чашкой в руке, сонные, бодрствующие, больные, — убивали сыпняками, пушками, голодом — — От Урала и степей шли белоголубые, в английских шинелях, со старообрядческими крестами, бородатые. От Москвы и Питера, от городов и машин шли красные, в рабочих куртках, бритые, со звездами и без молитв. За увалами ставились пушки, палили по речным просторам, по туманам, по городам. Полыхали непокорные села — красными петухами, степными вешками. Люди закапывали себя и хлеб — в полях, в канавы, в овраги, в реки. Люди не спали неделями и засыпали от бессонницы навеки, люди — спали неделями. В полях — под осенним солнцем и колкими звездами — бродили одичавшие лошади, волки, люди, страх, буй...

В исполкомах, в управах, в чрезвычайных комиссиях, в контрразведках, в штабах армий — трещали телефоны, толпились курьеры, дымила махорка, писались приказы, узнавались истины, открывались предательства, мелочами проходили геройства и глупости, спали на столах, тут же ели и трудились, на задворках расстреливали, у парадных дверей вешали плакаты, и охрипшие люди с парадных дверей, с тумб, со столов — кричали, кричали тем, кто шел, шел, шел мимо...

В исполкомах, в чрезвычайных комиссиях, в штабах армий застревали — для истории — бумаги о том, что там-то взорван мост и геройством в смерть ушла сотня матросов, что там такой-то отряд ушел умирать, что там взяты, а здесь сданы куски земли, что там такая-то грязная ночь, — что там повесили бело-голубые такого-то комиссара, что новая красная тысяча пошла умирать за прекрасное будущее, бритая и в рабочих куртках, — что по степи бродит шайка киргизов, грабит, насилует, режет и жжет.

Сначала были бодрые в солнце дни бабьего лета, солнце шло по синей небесной корке, летели над полями паутинки, притихала земля в синем твердом воздухе — днями, а ночами горели обновленные за лето звезды, и светил месяц, возродившийся после июня. Потом шли дожди, мир и степь посерели в сырости. Потом морозы сковали сырую степную серость, — и тогда выпал снег, чтоб опять поползти по проселкам, грязям. Снег выпал, как всегда, ночью, и с рассветом стал сползать, на минуту закинув в сердце каждого бодрость. По улицам, мешая грязь со снегом, шли красноармейцы, на площади еще не стухли костры от их ночевки, и дым стлался к земле, воздух — по-утреннему и по-зимнему — был синь. Секретарь исполкома, по-зимнему в валенках, в железку положил дрова, прежде чем приступить к прочтению бумаг, и среди сотни бумаг была одна, где доносил волостной председатель о делах в своей волости.

> «А так же доношу што посарынским пустошам недели две тому назад прошли киргизы сто человеков вооружены винтовками грабили хутора мужиков брали в плен а потом в степу резали. Бабов почитай всех перепортили, а скотину не так воровали как разогнали, што только надела-

ли. Апрошли они шешнадцать хуторов и три села. Мы теперь нарядили мужиков ловить по степу скотину. Што делать?»

За окном исполкома таял снег, солдаты запели песню о том, как припотели девки. Снег стаивал, на площади вырастала лужа, земля серела, как лицо старухи в слезах. Печурка в комнате разогревалась. Та бодрость, которая всегда бывает у людей в первый день зимы, вместе с тающим снегом переходила в будни, песня солдат стихла за поворотом в степь. О киргизах было уже известно в исполкоме, как-то мутным рассветом на взгорке в мокрой степи их искрошил, вместе с лошадьми, на крошево волкам пулемет, — и секретарь засунул бумагу сельского комиссара под сукно... В кабинете председателя зазвонил телефон, пришла телефонограмма из штаба о наряде на подводы...

...А где-то в степи в эти страшные недели, — солнце, садясь за балки в жухлые ковыли, в страшный красный простор, осветило холм и на холме дикую, древнюю картину азиатского кочевья. На холме горел костер, вокруг костра сидели дикари, в мехах, в остроконечных шапках, с лицами унылыми и омертвевшими, как их степь и полынная степная культура. Эти люди были безмолвны, как степь. Только лошади, что бродили по балке, ржали иной раз да мчали по степи, взметая пыль и тишину. У костра — люди — за день становища — насорили человеческим сором, валялся конский помет, седла, винтовки, кочевья утварь, — от костра пахло пометом, ибо пометом горел костер. На костре долго жарили тушу лошади и ели ее, держа куски мяса в руках. — Так — красной раной — ушло солнце, — чтоб небо заковалось в звезды, во льды, — чтоб костер долго дымил и тлел красным недобрым зраком в степных путинах... А новый рассвет застал киргизов уже за много десятков верст от этого костра, и был пустой, прозрачный, безбрежный осенний день, в тишине, хрусткой, как стекло, в журавлином клекоте, в журавлиной печали. И этот день ушел в дожде, в сырости, в серости. Так же безмолвно сидели киргизы у костра в степи, ноги под себя, в остроконечных шапках, так же тлел костер пометным дымом, и бродили во мраке лошади. И ночь пришла черным мраком, изморосью, сиротством, ветром. Рано с вечера завыли волки, и лошади подобра-

лись к костру, стали кругом, головами к людям, задами к степи, следили, выведывали, боялись. И новою ночью они пустились в новый путь. Здесь у становища был стог сена, в такие стоги русские закапывали и сжигали в них киргизов-конокрадов, — и, отъезжая от становища, кто-то кинул в стог глышку, стог вспыхнул вехой на новую ночь...

...На горе, над оврагом было тихо, мирно внизу в деревьях — в окнах — светил огонь, чуждый и чужой киргизам. Залаяли собаки. Всадники стояли неподвижно; лошади опустили головы; шелестел внизу, в деревьях, ветер — сиротливо, нехорошо. Подъехали еще всадники, стали слезать с лошадей. Один, по-киргизски-скорченно сидя на длинногривой маленькой лошаденке, отставив от себя винтовку, должно быть, сожмурившись, выстрелил в небо. Тогда бесшумно, с ножами и винтовками, один за одним, поползли киргизы вниз по кустам. Тот, который выстрелил, остался с лошадьми, лошади стали в круг задами к степи, понурив голову, маток пустив в середину.

Внизу крикнули мирно:

— Э-эй, — кто там стреляет?..

Долго была тишина, и вдруг сразу — огромным полымем — вспыхнул сенной сарай, затрещала в огне крыша. И тогда завизжала пронзительно, дико, умоляюще женщина:

— Оставьте, оставьте, пустите, я беременна, пустите, я бере — —

Киргиз сверху видел, как из дома с крыльца трое потащили женщину, за руки и за ноги, волоком. Киргиз перебрал вожжами и чмокнул. Потом крики опять стихли. Внизу в свете пожара бегали люди, безмолвно. Потом опять кричали женщины. Четверо наверх прикатили бочонок и, не дожидаясь всех, здесь же пили, подставляя шапки под кран, — из шапок. Пожар разгорелся сильней, в черный мрак, в дождь и ветер летели галки, — и живое воронье, разбуженное пожаром, закаркало над черной степью. Двор опустел.

Опять закричала женщина:

— Спасите!.. Пустите, я же умру!.. — —

Женщина выбежала из мрака на огонь и побежала. За ней бросилось человек десять, ее повалили тут же у пожарища. От крылечка, прежде незаметный, волоча

себя руками, обезображенный, в крови, пополз человек, он протянул руку и выстрелил в кучу киргизов, — тогда стоящий наверху, почти не целясь, выстрелил из винтовки и видел, как пуля разорвала голову.

...Дождь шел всю ночь, новый рассвет приходил в серой мокроти, в тумане, в ветре... Новый рассвет застал киргизов на новом становище, — так же тлел костер, так же безмолвно, подогнув под себя ноги, сидели люди, так же бродили лошади, подбирая жухлую траву... Так было еще несколько рассветов, когда — таким же невеселым рассветом — с двух сторон над становищем не затрещали пулеметы, чтоб оставить на тризну ястребам и волкам кашу человечьих костей...

А на хуторе, тоже через несколько дней, три женщины и два красноармейца хоронили троих: двух мужчин и одного недоношенного, родившегося мертвым ребенка, — и комиссар, после похорон списывал в бумагу, покачивая недоуменно головой, что: — «убили — мужчинов двоих (подумав, он переправил — троих); изнасиловали — — двух женщинов и одну старуху; съели одну кобылу; сожгли один сарай», — и прочее.

...Над степью выпал еще снег, и опять стаял, развозя грязь; чернозем расползся, солдатская нога утопала в нем по щиколотку, — ночами солдаты мешали на привалах в одну кучу — свет костров, снег, грязь и свои тела, — на рассветах солдаты шли вперед, в муть, снег, степь... В штабах, в исполкомах трещали телефоны.

III

В Лондоне уже неделю стоял туман, был март. Иногда выпадали дни, когда — из-за тумана — должны были останавливаться бэссы, такси, трамваи, карры, город замирал, и люди в желтом тумане шли по улицам, держась за стены домов. Город замирал; люди сидели дома у каминов в пледах на плечах, в шерстяном белье; мужчины и женщины пили сода-виски, чтобы согреться и убить пустые дни; город и все ждало, когда с океана подует ветер. Фонари не тушились все дни, но они были не нужны в тумане. Газеты увеличивали свои тиражи на дни туманов.

Человек, одинокий, русский, но ставший точно таким же, как все англичане, привык просыпаться под скрежет железа, под машинный, стальной гул города, под шипенье автомобилей за окнами, — но были дни тумана, и, проснувшись в желтой жиже утра, не развеяв еще сна, человек услышал дальний колокольный звон, так же как в России, — за этот колокольный звон вместо скрежета машин он когда-то проклял Россию. В рыжем тумане, в замершем городе звонили колокола, — и какая новая душа города выползала в этом звоне и тумане? — Так же, как все англичане во всей Англии, за брекфестом он ел порич и бекен и кофе пил с вареньем из апельсинных корок. Но он, как все англичане, не был связан с Сити, — это у него осталось от России, — и он, в черном плаще, цепляясь за стены, от угла до угла, пошел в Британский музей, чтоб там, в сумрачных книжных залах, уйти от сегодня в дальние закоулки катакомб человеческой истории, — чтоб, как всегда каждый русский, мерить историю человечества — Россией, пусть она где-то там, покинутая и незнаемая, как Китай, — и пусть человек уже разучился говорить по-русски, сломав свой язык английским языком. В книгах возникали — книги верно говорили о страшной дряхлости человеческого рода. Так за столом с книгами пришел час ленча, и тогда человек вновь вышел к туманам, он прошел в Кинзуэй, оттуда к церквам на Стрэнде и мимо церквей — на Флит-стрит — улицу газет для всего мира, улицу Диккенса. Эта улица — законом «старого света» и английским консерватизмом — стояла так же, как стояла четыреста лет тому назад, и в проулочке под воротами человек прошел в «Кабачок Старого Сыра». Там горел камин и было пусто, кричал что-то попугай; лакеи с бакенами были министерски величавы; у стойки, в коридоре уже запил с туманной тоски ирландец, насвистывал «типерэри» и пил только виски; он стоял, облокотившись на стойку, расставив широко ноги в клетчатых серых штанах, и говорил, прерывая «типерэри»:

— Ха, туман, туман!.. Посмотрите фотографию моей дочери, мисс О'Джэрси... и вот ее сюит-харт, клэрк из Сити, ха!.. это самое главное, ха!

Человек из России был уже немолод; английские туманы, бизнес и стриты, где все дома, как один, — креп-

ко отложились на нем, на бритом его лице с сизым английским румянцем, не то очень здоровым, не то очень болезненным, но обязательно таким, где из каждой склеротической венки прет воля, — и только в глазах осталась еще от русской печали полей и починок, и от поокской русской дряхлости. Здесь, в кабачке, его ждал второй русский, точно такой же, как он. Они пришли одновременно. Они одновременно сняли свои черные плащи и повесили их рядом, на гвоздик, где вешал свое пальто и Диккенс. Они сели друг против друга к столу в белой скатерти на скамьи с высокими спинками; их седые головы — каждому голова сидящего против него — должны были бы показаться на фоне этих спинок старинными английскими портретами добродетельных пьяниц из Национальной галереи, и спинки скамеек, пожелтевшие от столетий, изъеденные древесными жучками, были изрезаны веселыми изречениями, инициалами, датами, хранящими в себе память столетий и, казалось, что именно от них, от спинок и столетий на них, пахнет старым сыром, запахом, чуть-чуть напоминающим запах пота. Лакей-министр безмолвно поставил две пинты пива и отошел в сторонку, чтоб под вторую пару приготовить две тарелки пайя из голубей и чтоб после старого сыра дать третью пару.

И, потому — что за кабачком туман и город стих, потому — что они старики, одиноки и русские, а лакей-министр рассудил дать третью кружку пива, — у них длинный русский разговор, и — потому, что они русские — разговор у них о России. Табак их трубок пахнет, как все английские табаки, экзотикой заокеанских стран и мореплаваний, — недаром англичане — мореплаватели и их табак называется «морским вкусом». И труд англичанина никак не пропах старым сыром, он пахнет скорее табаком. Русские медленно съедают сыр. Они говорят долго...

— Я расскажу вам историю; она произошла уже больше четырех лет назад, в 1918 году, в России, в Заволжьи на юго-востоке, когда там бунтовала степь и шли чехословаки. Там на хуторе жила семья моих друзей, бодрых и здоровых людей. Старик, горный инженер, умер, и главой семьи была старуха-мать, у нее было два сына, сыновья были женаты на прекрасных русских женщинах, одна из жен, Ольга Дмитриевна,

ждала ребенка. Впятером они жили в степи, культуртрегерствовали и трудились. И на хутор напали киргизы, убили сыновей, мать-старуха и обе снохи были изнасилованы — тут же на глазах у убиваемых мужей, и — когда убивали их, Ольга Дмитриевна ждала ребенка тогда, и ребенка она скинула на другой же день после — после этой ночи, а вторая, Мария, сейчас же после этой ночи забеременела... И вот подумайте о хорошей русской женщине, которая любила мужа, мужа которой убили ее насильники, которая до самого рождения ребенка не знала — кто отец ее ребенка – муж, который никогда не вернется, и его сын — единственная о нем память, или насильники, загадившие ее душу и тело? — И у нее родился маленький косоглазый киргизенок, красный, как все новорожденные, и когда его хлопали по донцу, он всхлипнул и заорал тоже, как новорожденные... — Так как же приняла мать этого ребенка? — Она лежала в родовых муках, а когда они прошли, она попросила к себе ребенка; ей боялись его показать, дали и — и она прижала его к своей груди, просветлела вся, как все матери, впервые взявшие в свои руки своего ребенка, в прекрасной радости бытия, еще не свыкшаяся с тайной рождения... Это — жизнь. У Ольги убили тогда неродившегося ребенка, — и — знаете — она приходила потихоньку, тайком, к Марии, чтоб поласкать, понежить ее ребенка, чтоб приласкаться к нему... это — жизнь, жизнь — страшная трагедия!.. С Марией мы бродили по Лондону, когда она была девушкой, были в этом кабачке, — тогда вот здесь она говорила о величии человеческой культуры; ее поразил этот кабачок, она полушутя, полусерьезно хотела поцеловать вот эту стену, и целовала камни парламента, как святыню человеческой культуры... Насколько древнее, значимей, — страшнее — человеческая жизнь...

Попугай в клетке весело расхохотался. Ирландец, вспоминавший свою дочь, переселился от стойки беседовать с попугаем. Лакей принес и положил безмолвно на стол перед русскими коробку сигар и билл. Пришла семья американцев, осматривающих Лондон. Русские встали, надели свои плащи, раскланялись, вышли в туман; на углу они распрощались; туман, через два шага, их растворил в себе; город безмолвствовал.

Дома у себя, во флате, старик переоделся в халат, затопил камин, сел в низкое кресло к камину, закурил трубку и так сидел очень долго, устало, дряхло, по-русски, как старики в России; потом он достал сифон с содовой водой и бутыль виски, поставил их на ручку кресла, сел опять в кресло — с блокнотом в руках — и стал писать, положив блокнот на колено. Камин стал тухнуть, горел так же дряхло, как дряхл был теперь старик... К семи часам старик стал переодеваться в динер-жакет и вновь ушел в туманы, теперь уже в черном пальто и цилиндре; на Россел-сквере — студенческом бульваре — лифт сбросил его под землю на десять этажей; там подземной железной дорогой он проехал на Пикадилли-серкус, там он прошел на Пэлл-Мэлл. Над городом стала ночь, упорно горели фонари, от них туман был коричневым, иногда на момент наверху в тумане прорывался каскад огней плакатов и реклам, — но все же ничего не было видно кругом, и за два шага впереди и два шага назад возникали встречные, их было немного, и от них шелестела улица.

К одиннадцати старик был уже дома и, как все англичане, переодевался в пижаму ко сну. Электричества не зажигал, и светил только камин. Опять, вместо обычного скрежета железа и стали, в необычайной тишине напомнил Россию церковный звон. И лежа в постели на шерстяных — по-английски — простынях, в шерстяной пижаме, старик думал о России, о родине, по-старчески, когда старость должна оправдать все, всю пройденную жизнь, и старик понимал, что ничто не будет оправдано, если он не понесет свои кости на свою землю.

Город был в тумане. Город и все ждали, когда с океана подует ветер и сгонит туманы с Лондона. Должно быть, если взглянуть на Лондон с Парламент-хилла, с горы, откуда когда-то наблюдали мятежники, как должен сгореть парламент, — туманы над Лондоном, освещенные изнутри миллионами электрических лампочек, Лондон под туманом — мог бы показаться городом на дне морском, фантастическим городом, русскому — Китежом-градом...

. . . .

Всю ночь в степи полошились птицы, останавливаясь в перелете на север здесь отдохнуть. Ночь была темна, но было тепло совсем уже по-весеннему; снег стаял быстро, в несколько дней, теперь шумели ручьи, торопилась трава, птицы полетели все сразу, — весна пошла поспешно, всем надо было спешить. С вечера накрапывал было дождь, скоро перестал, к полночи совсем прояснилось; поднялся месяц, звезды размещались по-новому, готовясь к июню, когда им надо обновляться. Гуси кричали рядом на горе у ручья, где-то чуть подальше клекал сторожевой журавль и перекликались самки, засыпая. Ручей падал водопадом. Надо было спешить. Всю ночь три женщины работали у плотины, бодро и весело: спешили починить плотину, чтоб ее не разорвала вода, рубили топорами дерево, таскали землю, забивали сваи. Перед рассветом, как всегда, на несколько минут стало особенно темно, и после этого быстро стал лиловеть восток. Тогда стало слышно, как забили крыльями птицы, поднимались с земли, чтобы лететь на север, к гнездам.

Никола на-Посадьях,
16 сентября 1923 г.

«SPERANZA»

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной Звездой, в тропиках и у вечных льдов — идут корабли. По морям и океанам идут бури, ночи, дни, месяца, годы. Море же — это две чаши одна над другой: чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него — чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей — матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой — грузятся корабли, чтобы идти, нести грузы — на острова Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег, — он на берегу, и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землею. Но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальшборты и бьют до спардека, — когда корабль мечется в волнах овощинкою в кипятке, — тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся, — тогда его стошнит в морской болезни, нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях, — потому ли только, что это их будни? — и матросы всегда дальнозорки!

И на кубрике, в бесконечные океанские вечера, после вахты и перед вахтой, в грандиозности морского

одиночества матросы говорят — о земле, о той земле, какую они видели, и о том, что видели они на ней. Кроме моря, матросы видели порты всего мира, портовые кабаки, портовые публичные дома, портовую нищету, шум, крик и гам всего мира, — и матросы знают, что земной шар — даже не шар, а шаришко, и очень тесный шаришко, так, что он не может испить всю морскую воду, соленую как слезы. Кроме морей, матросы видели и все человеческие породы, и черные, и желтые, и красные, и белые, и все человеческие веры и манеры жить, — матросы видели, как люди молятся и Чурбанам, и Будде, и Христу, и Магомету, и Солнцу, и Конго, как люди ходят и в ивнингдрэссах, и в юбках мужчины, и голые, с повязкой на чреслах и без повязки на них, как люди украшаются и пудрой, и кольцами в носу, и зубами, выкрашенными в черное, — матросы помнили, как всюду бьют людей, — и матросы знают, что ничему в мире верить нельзя, все в мире течет и проходит. Матросы не знали никакой иной любви, кроме портовой, — и прекраснейшее в мире — любовь — у матросов была смрадна — негритянская, индейская, китайская любовь, — как смраден портовый публичный дом в шуме, гаме и ночных красных фонарях. И на кубрике, — и в экваториальные ночи, когда кажется, что Южный Крест цепляет за мачты, и в ночи под Полярной Звездой на кладбище европейских вод — матросы вспоминают землю, ту, что «на берегу». Но матросы, как все люди, еще и мечтают: о прекрасной жизни; их мечты строятся на безверии; их мечты строятся над черными, желтыми, красными и белыми человечьими породами и любовями; их мечты строятся над всем миром. — А на кубрике, полярною ночью и ночью экваториальной, ночами в бури и штили — темная круглая безбрежность за бортом, чаша неба и чаша воды, колышется вода сотнями метров зеленоватой мутной холодной глубины, слиты края чаш в безбрежности и — если штиль — горят, горят на небесной корке — звезды, и ясно тогда, что эта небесная твердь расшита в гареме азиатского деспота, ибо кому иначе понадобилась бы такая нечеловечески-трудная красота? — не матросам же! — А корабль с редкими двумя-тремя огнями черен в этой безбрежности, безмолвен, пуст, — и только на корме торчат скорченные, черные тени матросов в их

бесконечных разговорах. И падают иной раз с неба звезды. — — Так корабли идут по океанам из Буэнос-Айреса в Кардиф, из Гавра в Сингапур и во многие-многие иные места. — Тесен мир.

И — ночь.

Имя кораблю — грузовому, семитысячетонному, чуть-чуть пиратскому для глаза постороннего (как все грузовые корабли, сохранившие в своих обыках столетия рабских корабельных правил о мордобое стюварда и капитана, расчетов в каждом порте, аглицких морских законов, от тех седых времен, когда корабль ходил под парусом и с пушкой) — имя кораблю — «Speranza», что ли.

И ночь. Грузные груды волн ворочает море, тяжелые, такие, когда водяная муть кажется не водою, а гутаперчью, нет горизонтов, — там мрак и муть, и небо закутано мутью и мраком. Черен корабль, на нем нет огней; только на капитанском мостике у компаса, под колпаком над компасом электрическая лампа, да синий и красный огни на боках спардэка; на капитанском мостике у компаса штурман в бушлате, у руля — вахтенный, — им двоим не спать. На сотни метров вниз, на тысячи километров во все стороны, на квадрильоны километров ввысь — безбрежность; глухо качается корабль в волнах; только штурман знает путь; и гудит, плачет ребенком ветер в вантах. И мрак, замер корабль на ночь, только на юте за ларем запасного руля на канатах скорчились три тени матросов, чья вахта ночью, — француз, англичанин и эстонец, — спит в рубке у спардэка радиотелеграфист. — Нынче утром китаец-кочегар пел на носу странные свои песни, одетый, как всегда, в кусок синей тряпки, чуть-чуть прикрывавшей его плечи и живот; потом он долго курил опий; потом он переоделся в праздничный свой европейский костюм и сытно обедал перед вахтой; а когда пробили склянку, он заявил матросам и капитану, что он, рабочий, честно работал всю жизнь и теперь не хочет идти к котлам, не хочет работать, он устал, — и он, в европейском своем костюме, раскосоглазый, бросился со спардэка в море, когда капитан хотел его побить, — он прыгнул очень поспешно, убегая от капитана, нырнул, как хорошие пловцы, головою вниз, и больше уже не выплывал из воды. — —

Ночь. Вот муть и мрак рассеиваются в небе и возникает страшное безлюдье небес, падающих звездами, холодными и колкими, как иней. Ветер, который стал вольней и серей, гудит в антеннах, — но радиотелеграфист спит у себя в рубке, — мирным сном. — А, если бы он хотел, он мог бы узнать миллионы разных вещей, о том, где идут и как идут корабли, какой миллиардер, американский под-король стали, плывущий из Сан-Франциско в Токио, беспокоится о курсе франка и счел радиоаппарат не очень нескромным для приказа о корзинке цветов, — о том, как шахтеры в Англии отстаивают свое право жить, — как политиканствуют политики, как хозяева земного шара, живущие под Нью-Йорком, под Парижем, под Лондоном, в Ницце и на Панамском канале, хотят уничтожить хозяев новой веры в мире, засевших в России в Московском Кремле, где на азиатской башне часы отбивают Интернационалом, в азиатской части города, — — впрочем, о России телеграфист знал столько же, сколько он знал, положим, о Китае, о том китайце, что бросился сегодня в море, чтобы умереть. Но телеграфист спит, этот, научившийся подслушивать неслышимое в мире. И главно и значимо то, что есть в мире такое, что не может человек воспринять просто, что улавливает он тончайшими аппаратами, что окутывает, закутывает человека, огромная сила, которую человек не знает, но которая над ним, в нем, вокруг него, — и сколько есть еще сил, не познанных человеком? — и что человек знает твердо? — ведь утро придет огромным огненным шаром из воды, и день уйдет этим шаром в воду, — и те, кто плавал здесь сотни лет назад, небелунги, бритты и испанцы, обросшие легендами, как волны в бурю обрастают седой пеной, — они не знали этой беззвучной ловитвы неслышимого в мире, хоть те же дельфины и чайки сопровождали их по морям — — ужели они знали такое, что не знаем мы? — Но вот гудят антенны уже не в ветре, плачет приемник в радиобудке, и сонный телеграфист принимает радио о том, что где-то, какая-то новая возникает революция, закрываются, загораживаются минами и пушками порты и морские безбрежности...

На юте, у запасного рулевого ларя, на канатах лежат и курят, спички зажигают о палубу, бельгийские спички, такие, что, если с горя ударит матрос о палубу коробком, вспыхивает весь коробок. Трубки матросов так же

корявы, как их пальцы в струпьях мозолей и ран от морской воды. Шумит вода за кормой, и огни трубок, зона на ветре, летят хвостом кометы в море, освещая руки; матросы тесно сидят, сокрывшись от ветра. Нос и корпус корабля ушли во мрак. Эстонец-боцман сумрачен и тих, тихий человек, мечтатель, саженный ростом.

— Ты выпил, что ли, боцман?

— Нет, я не пил...

— В Бомбее есть гора и на горе пропасть, и там они хоронят. Лысая гора, ничего на ней не растет. Приносят человека и кладут на камень. А над горою вьются ястреба, — они у них священные. Так эти ястреба съедают мертвецов в пять минут, одни кости остаются. Тогда ихний поп сталкивает кости в пропасть. Сколько тысяч лет так хоронят и все засыпать пропасти не могут, — я глядел в эту пропасть — дна не видать. И хоронят там только богатых... Мы ходили туда с дункманом, полиция нас ничего, — не тронула... А теплынь там какая, голому жарко, так и ходят. А акулы прямо в порт заходят, их тамошние мальчишки, мерзавцы, за шиллинг в воде режут... А солнце... А бабы — дуры, белых очень любят и прямо без денег...

— А как англичане — сволочи, байстрюки, их заставляют работать, даже, значит, баб. Работают, значит, грузят двенадцать часов подряд и полчаса на обед, на бананы, значит. Они голые таскают тюки с кофеем или чаем, пот валит, — а англичанин в огуречном шлеме и с резиновым жгутом, — и — чтобы бегали с тюками по сходням рысцой с бананов, и молча чтоб, — а если зазеваешь или слово — сейчас резиновым жгутом вдоль спины. Мы было собрались им помочь, — так нас, значит, прямым манером в береговую контору на божий суд, — и мы, значит, испробовали резиновых жгутов, выходит не сладко... А бабы — ничего, после работы тут же вымоются в море, поедят бананов и манят нас к себе в соломенные, значит, шалаши, с мамашей познакомят... А англичане так и живут отдельными поселками, со стражей, и к ним туда без пропуска не попадешь... И платят англичане бабам — шиллинг в день...

Ветер сеет огоньки трубок — за борт, в море, во мрак. Ветер щупает людей, их отрепье. Свежо. На капитанском мостике, где у компаса, следя за курсом и за узлами, склонился штурман, склянки отбивают время, полночь. И груды волн трут корабельный борт, в

стремлении всегдашнем ворваться за него, чтоб побежать по трюмам, чтоб разломать и смыть перегородки, каюты, склады, — чтоб корабль замотался на волнах в предсмертной томе, чтоб забегали по палубам остервеневшие, обезумевшие люди и — чтоб корабль сначала медленно, кормой иль носом, стал грузиться не грузом, а собой под воду, в зеленую враждующую муть, — сначала медленно, потом поспешно, — чтоб потом — там, под водой, в темнеющей ко дну мути, ему, кораблю, валиться эллипсами в муть ко дну, оставив над водой на несколько минут воронку пены, потом — спасательный кружок, осколки лодки и трех людей, раскиданных волнами на километр друг от друга, — а кроме них — безбрежность океана и чашу неба, ставшую над ним...

Боцман говорит вслух своим мыслям:

— А в России теперь живут без денег и правят рабочие — —

Потом матросы сюта идут спать, в трюм. Француз — третий стювард, которому судьба предложила прислуживать у стола механиков, юноша, идет на нос, в «рум», где на подвесных кроватях спят ирландец — второй стювард, негр-кок и помощник повара — еврейский мальчик из Яффы, кроме мытья посуды выполнявший обязанности женщин для чиф-стюварда — — Матросский запах и запах матросских кают — он крепко, навсегда пропах солью, потом, варом и рыбой и — морем, невеселый запах, едкий, такой, в котором вся матросская жизнь, в соленой морской воде, в поте, на соленой рыбе, которую повар крепко снастит перцем, чтоб не воняла, когда гниет — — В ноз-рум было темно, француз влез в свою койку, скипидарящий запах был ему привычен, больно укусила блоха, констатинопольская, потомок тех, которых король набрал, когда перевозил людей, как скот, из Ялты в Константинополь. Кок-негр много уже лет ходил по морям на кораблях, развешивая по утрам овес для пориджа, соленую баранину, варенье из апельсинных корок, у него давно атрофировалось понятие свежего, тухлого, соленого, сладкого и горького, — он лежал на нижней койке, под французом, и француз безразлично слушал, как рыгает негр, как бесповоротно навсегда испорчен желудок кока, точно желудок подступал к самому горлу и выворачивался в рыготе в рот, в смраде несваренного мяса. — Но кок мирно спал, спали и остальные перед новой пустыней дня, выкинувшей здоровых

людей чужой волей — в пустыню вод. И третий стюард тоже скоро заснул; перед сном он немного думал о той случайной фразе, которую кинул боцман, — о России, как часто и много думали об этой стране матросы, — он никогда не был в этой стране и очень мало знал о ней, он знал, что там много лесов и полей, что она огромна и очень богата; те русские, что приезжали в Париж, умели сорить миллионы франков, — но это ему было не важно, — он думал о том, что в этой неизвестной стране рабочие стали правителями своей жизни, — и о том, как там, должно быть, хорошо жить и трудиться, в стране братьев, — и он старался представить себе — как там хорошо... Потом он заснул, в хороших мыслях о прекрасной жизни. — — А на кубрике боцман вспоминал свою Псковскую губернию, свой хутор и зимнюю снежную — бесконечно звездную — ночь, и мамины сказки, и корявого отца, сплавщика по Волхову, — он, боцман, сам уже за полдень своей жизни семнадцать лет не был на родине, не знал ничего о своих, — живы ли? — он не думал о том, что его Эстляндская губерния стала государством, — но он знал, что это последний его рейс по морям, он гордился красным паспортом, что Шварц выдал ему в Лондоне, — пусть этот паспорт ничего, кроме горя не несет во всех странах, кроме России! — — он знал, что он едет домой и там — дома — он проедет в Москву, в Московский Кремль, где не был никогда в жизни, и там поселится со своими братьями. И Московский Кремль ему казался таким же прекрасным, как мамины сказки и как ласка корявой, в мозолях, руки отца.

Над морем и кораблем шла, проходила ночь; и красное, огромное — такое огромное, какое бывает только на морях, — встает из воды солнце, красит красным свинцовые волны, и волны зеленеют за бортом, чтоб удобнее было плескаться в них — дельфинам. — Тогда вахтенный будит команду, толкая в бок и обращаясь по-английски:

— Джентельмены!

И под красными лучами солнца корабль очень похож на пиратское судно. Это совсем не верно, что самое чистое место в мире — палуба корабля; краска давно сползла и лезет ржа; сажа и угольная пыль крепко въелись во все; канаты много потрудились и много на них вылито дегтя. День уже, и видно, как на капитанском мостике стоит помощник капитана, в

растерзанной форменной куртке, с волосатой грудью наружу, такой меднорожий и оплывший, что рожа просит кирпича, с трубкой в зубах, — такой покойный, что, даже колотя матроса боксом, он не вынимает трубки изо рта — и он с утра уже недоволен, он кричит с мостика так громко, что эхо должно быть, слышно за несколько узлов, крича он ругается на всех языках мира и больше всего по-русски, ибо русская ругань, крепчайшая в мире, стала национальной на всех портовых языках. Матросы с корытцами вроде тех, в которых кормят свинят, идут чередой за брэк-фестом на кухню, где пахнет перцем и очень жарко; из этих корытец матросы будут есть; матросы идут не спеша, оборванцы всего мира: босые, в опорках, в резиновых сапогах, в брюках из мешков и просто в шерстяных подштанниках, гологрудые, с засученными рукавами, — в кепках, в кожаных картузах, в соломенных шляпах, — во всяческом отрепье, которые им оставили порты и не истлило море... впрочем, в порту, на берегу, где они получат за весь рейс сразу, они нарядятся франтами — —

И в кухне от стюварда и от вахтенного с мостика команда узнает, что курс изменен кораблем, что офицеры получили радио о революции где-то там. Где эта революция — на кубрике никто не знает: и каждый знает поэтому, что революция на его прекрасной родине — на его прекрасной родине его братья льют кровь за прекрасное будущее. И на кубрике праздник, на кубрике толпятся в возбуждении матросы: — где-то там — революция! Боцман, уже старик, в широкополейшей шляпе, в резиновых сапогах, в синей рабочей блузе, — он только что собирался закурить свою трубку, — бьет коробкой спичек по стальной палубе, коробка вспыхивает дымом и огнем, и боцман идет по палубе в русскую присядку под хлопанье ладош других матросов. Швед, путая мотив, однажды слышанный в порт-Петрограде, поет Интернационал, и, так же путая мотив, на своих родных языках, ему хотят помочь ирландец и еврейский юноша из Яффы — — Тогда отборнейшей русской матерщиной до гроба, на несколько узлов в море, орет с мостика помощник.

— Стеерьва! байстрюк! — кричит с нижней палубы чиф-стювард еврейскому юноше из Яффы, — кто будет мыть тарелки капитану?!

И когда мальчишка поднимается к нему по стальной лесенке у борта, грек-чиф бьет мальчишку кулаком по голове и шее.

А солнце уже высоко в небе. Голубая чаша прикрывает зеленую, как старинная бумага, чашу вод. Плещет вода о борт. И мелкой дрожью дрожит корабль, разрывая, сваливая, валя воду, крася ее сотнями красок, — в своем стремлении вперед, в безбрежность, измеряемую компасом, солнцем и звездами, ту, которой правит руль. Солнце же кладет на воду — не синий, а золотой ковер, и на этот ковер нельзя смотреть лишь простым глазом, — он хорошо разбираем в подзорную трубу. Пиратское, горькое судно «Speranza», избороздившее на своем веку многие Панамы, Сингапуры, Бомбеи, Буэнос-Айресы, Сиднеи, — режет и режет воду — —

Потом корабль приходит в порт, к берегу, к земле — — Там, в туманной мути вод, первыми возникают огни маяков, мигающие огни, чтоб не быть категорическим контрастом болтающейся мути вод. На кубрике, на палубе матросы моются из шланга морской водой, моют кипятком отработанного пара свое белье, бреют друг друга, потому что на землю, «на берег» надо сойти чистым, потому что все мечтанья моряков — о земле, ибо, конечно, жизнь только на берегу — на земле — — Маяки уже близко, и тогда приходит пилот, первый человек с земли, он идет на капитанский мостик, — — тридцать дней морского перехода, тридцать дней пустыни вод, и бурь, и штилей, и закатов, и восходов скинуты со счетов жизни каждого матроса.

И снова ночь. Корабль в порту.

Корабль стоит в квадратном каменном ковше, за шлюзами — чтоб не мешали отливы и приливы, — под краном. Кругом и рядом стоят десятки кораблей, нагруженные, ждущие прилива, стоящие на очередь ко крану. Ночью не видны пыль и нищета. За мачтами, за кранами, за холмом земли, где город и веселье, в небе щуплый, в желтой лихорадке месяц. И ночью редки гуды кораблей. Корабль стоит у крана с выпотрошенным нутром, с развороченными в щепы палубами, с потухшими котлами и потому без единого огня в каютах и на палубах; впрочем, свет и не очень нужен, потому что на корабле нету никого, и белыми шарами на берегу горят фонари.

Днем матросы ходили в береговую контору — перенаниматься, перекабаляться вновь на новый путь в моря; двоих скинул «с борта» капитан и взял двоих новых, — они одни на судне, ибо указано судьбой новой метле — коль не поистине, то хоть стараться, — мести чисто.

Днем грузился корабль. Над ним, над палубами свисал скелет крана. По рельсам на земле к крану подходили поезда с углем, вагоны въезжали в кран на лифт, и лифт поднимал вагоны над кораблем; там, как совок с овсом, кран вытряхивал из вагона уголь в желоба и в корабельный трюм по желобам; и, когда вагон вытряхивался углем в вышине, шел уже второй вагон, а первый по новым рельсам скатывался вниз; в трюмы с грохотом валился уголь, пылища шла чернейшей тучей — в сутки пыль садилась на палубы и ванты на дюйм, — в трюмах, уже лопатами и кирками, расталкивали уголь люди, голые и черные, чернее негров в мраке пыли; а поезда все шли и шли; и кран откусывал вагон за вагоном, чтоб пустые вагоны по новым рельсам гнать на копи за новым углем; над доками, над портом стояло солнце в тучах дыма, такое же дикое, как в Канаде и Сибири в летние лесные пожары — в дыму; над доками, над портом люди дышали углем, и уголь скрипел на зубах; над портом, в черной копоти — гремел летящий уголь, звенели цепи и буфера тысяч вагонов, скрежетали краны, скрипели лебедки на кораблях, гудели корабли, выли сирены таможенных катеров, — в порту, в доках было все, что может человек поставить против морских, лесных, степных, небесных и метельных стихий. Потом, в пять часов, когда солнце пошло к западу, — прогудели новые гудки, последний раз взвыли краны, вдруг иссякли вагоны и замерли на рельсах, в кранах, в клетках над кораблями, вдруг потянул ветерок и колыхнул пелену пыли — к городу, на землю, — незаметные при машинах потянулись из порта толпы рабочих — тоже к городу, на землю — на отдых, к семье, к домашним своим заботам и помыслам — — тогда из-за машин, из копоти, из воды в доках — зеленой и мутной — выглянули нищета, тщета мирская, одиночество — —

Новые двое пришли на корабль после пяти, когда корабль был безмолвен, пуст, в пыли на дюйм, в горах

угля, торчащих из трюмов наружу, со снастями, раскиданными всюду и как попало. Они впервые услышали об этом корабле сегодня в береговой конторе, как впервые занес их Бог в этот порт в Англии, в Южном Уэллсе; один из них был русский, другой испанец. Их поместили в ноз-рум, где спал кок. Они разложили свои узелочки и тихо сидели на палубе у фальш-борта. Они видели, как на несколько минут приезжал капитан в двухместном автомобиле, с очень элегантной леди, — капитан переоделся в ивнингдрэсс и уехал, последний раз автомобиль мелькнул у ворот доков, оттуда пошел в гору по дороге к Кардифу. Два матроса с кубрика, в пиджачных парах, с тросточками и в шляпах, пошли на берег. Пьяный и весь в грязи вернулся с берега второй стювард. На спардэке запел песню вахтенный, — и песня оказалась русская, очень тоскливая и тихая; вновь пришедший крикнул от ноз-рума:

— Земляк, какой губернии?!

— Псковской, Ямбургского уезда! А ты?

— А я, видишь, Новороссийской!.. Видишь, товарищ, сказал бы кому, чтобы поесть дали, а то мы со вчерашнего дня не ели. Выходит голодно не жрамши...

Вахтенный в мэс-рум толкует со стювардом; стювард в крахмаленой рубашке, в лаковых туфлях собирается на бал, куда-то в город, он спешит и он кричит сердито:

— Дайте этим байстрюкам что осталось на кухне от матросов!

На досках, тех, коими закупоривают трюм, сваленных сейчас грудой, вновь пришедшие едят капусту, салат и гороховый суп с бараниной. Вахтенный сидит с ними, они толкуют о том, что на всех кораблях все стюварды — сволочь, рукоприкладцы и воры. Пыль села, садится. Уже вечереет, вспыхивают огни на фонарях; от воды, как на болотах, поднимается туман и холодеет, вода за бортом — неподвижна, зелена, — потом, когда совсем стемнеет, на небе станет дохлый месяц. Вновь пришедший русский очень разговорчив, вот его история:

— Все-таки на «Рюрике» очень били, я из-под ружья не выходил. Пришли, все-таки, в Штогольм. Там мы с товарищем и убежали, говорят — ничего не поймешь, что бормочут, — ночь в лесу ночевали, пошли утром к порту, смотрим — стоит, а флаг уж поднят, — мы опять в лес... А жамкать охота — брюхо так и ходит, ну, реши-

ли — где хлеб жамкаем, тут и родина наша, как пролетарии... Обошли город, спрашиваем, нет ли где еврея, все-таки, чтобы шкуру продать, и, значит, нашли на краю города, гомельский, обменял на пиджаки, и наши три рубля обменял на кроны; спасибо, хороший человек, спрятал нас у себя, а потом поставил на парусник с лесом, на сто пять дней в море, значит, в Австралию, в рабы, без единого слова; сто и пять дней тросы вязали, с рук кожа слезла, — зато научились и по-шведски, и по-аглицки, горьким опытом... Стал себя выдавать за шведа. И исходил я весь свет, и выходит, куда ни кинь — везде клин и кругом шешнадцать. Лучше всего жить рабочему классу в Австралии, там законы правильные и дают землю задаром, — я и там жил, женился, баба уместная, три года жил, стал сказываться, что не швед я, все-таки, а русский, — а тут, значит, у нас в России, произошла революция, — и пошло с двух концов: англичане меня погнали к бабе в штаны, как, значит, русского, всех русских гнать стали, — а с другого конца я и сам домой захотел, нет терпения... Бросил бабу, англичанка она, владения бросил, стал на корабль, ехать домой, значит, — да не тут-то было: — четвертый год мотаюсь по морям и никак до дому не доеду, весь свет про Россию орет, а дороги к ней не найду, вроде как она провалилась под землю, — не вплавь же к ней плыть, значить! .. Все-таки теперь я советский; в Ливерпуле меня изловили англичане; паспорта, конечно, не про нас писаны, — благодетель говорит: — «паспорт вы, джентльмен, обязаны взять в царском посольстве»... «Так, говорю, — а какого ж это царя посольство? Это, значить, врут, что Николай помер? — Мне, говорю, все равно, какой паспорт брать, хоть японский, я трудящий, только тогда ты, господин высокий, одолжи мне без отдачи два фунта семь шиллингов, потому как белые паспорта дают за деньги, а Шварц — совецкий — задаром да еще на работу ставит, да к тому же и байстрюк ты, высокий, потому сам трудящий, а стоишь против рабочих, значить...» Ну, он мне боксом по шее, а я ему по-русски в зубы... Теперь я нигде на берегу жить не могу, только на воде... на основании аглицкого закона.

Уже опепелился вечер, судно потемнело, скрыло мраком свою нищету, в порту, над доками стало тихо, взошел в желтой лихорадке дыма месяц. Матросы съели цветную капусту. Вахтенный-боцман сказал тихо, огромный и тихий человек:

— А в России теперь живут без денег, и правят рабочие...

...В городе, за горой, над пляжем стоят карусели, тир, ресторан на колесах, в сторонке в каменном доме мюзик-холл, на углах паблик-хаузы, где стоя пьют пиво, виски и джин. Огни реклам — сначала лиловые, потом голубые, потом синие, потом красные — сначала сыпятся каскадом, потом каскад сворачивается в метельную воронку, потом огни воронки взрываются, как бомба, и из бомбы повисают женские панталоны с указанием фирмы, где можно купить лучшие в мире шерстяные панталоны, — потом, вслед за панталонами, возникает новая патентованная бритва, тоже лучшая в мире. Под каруселями, у тира и — придушенная — из мюзик-холла гремит музыка. Под каруселями, у тира, у прилавков паблик-хаузов тискаются матросы, в шляпах, со стэками в руках, в крахмалах с чужой шеи. Над улицами, над площадью — темное небо, которое там за пляжем сливается с морскою мглою — —

Матросы со «Speranza» — четверо — франты — много пенсов оставили в паблик-хаузе за стаут, сидели в мюзик-холле, отдыхая, куря и хохоча. Потом они пытали счастье в тире, и один выиграл женский берет. Они заходили в японский магазин, где любую вещь можно купить за шесть пенсов. В прилив они купались в море, на пляже, как и все, в купальных костюмах, чтобы посмотреть на голых женщин. В сумерки они заходили в лавочку к старьевщику-еврею, продавали ему кокаин и опий, который сами купили в Сингапуре. Они были счастливы тем, что ходят по твердой земле, по берегу, как все остальное человечество, — как все остальное человечество, они смотрели на женщин, которых на кораблях нет, пили виски и стаут и платили за них собственными шиллингами, читали «Дейли Хэралд» и купили на артельные деньги письмовник, точно у них будет досуг и смысл писать любовные письма женщинам и деловые, с приглашением на файф-о-клок, джентльменам, живущим на берегу. К вечеру они были пьяны. А когда над морем и миром стала луна, похожая на китайца, — по грязной улице на окраине матросы шли в притон; на улице было пустынно, ставни были плотно прикрыты, изредка слышалась скрипка; у одного домика, на луне, на пороге сидела негритянка и говорила чуть слышно по-английски:

— Плииз...

Матросы вошли в домик, в котором один из них был пять лет назад. Там было по-старому, хоть ему и было немного обидно, что его никто не помнит здесь, как он был неимоверно пьян и сорил шиллингами; он очень хорошо это помнил, и хозяйка была та же, и он сказал завсегдатаям:

— Пожалуйста, к нам потанцевать, мисс Франсис...

Но Франсис здесь уже не было, и через час матросы, рассованные по закутам, лежали с женщинами, которых видели первый и, должно быть, последний раз на земле, которым здесь, в припадке нежности, страсти и лютого одиночества, они сыпали все, что накопилось, о Бомбее, о стюварде, о кокаине, о революциях, о России, о родине и матерях... Девушки были очень покойны, как все проститутки в мире, шиллинги прятали в чулок — — Тот, который спрашивал о мисс Франсис, который мечтал о ней все море, как о прекраснейшей, не пошел ни к одной девушке, он сидел в танцзале, пил стаут, ожидая товарищей. Товарищи вернулись, в сущности скоро, потому что была очередь. Тогда они снова потащились по улицам; у порога по-прежнему сидела негритянка, и она опять прошептала:

— Плииз...

Тот, который не нашел мисс Франсис, остановился против нее, его тень от луны упала на колено негритянки: негритянка улыбнулась белками, и из-за мяса губ полезли белые лопатки зубов. Матрос сказал:

— Идем, товарищи!.. с горя...

Город англичан уже спал, и спал порт.

...На корабле темно и безмолвно. Только в мэс-рум горит лампа, да скользнет иной раз по палубе огонек электрического фонарика, да качается огонь на мачте. На спардэке — вахтенный, и вахтенному издалека слышны четкие по камню и железу шаги идущих на ногах и шорох и сопение ползком возвращающихся на борт. Вахтенный спокойно слушает, как за бортом о борт толкнулась лодка и как стювард и мальчик из Яффы, в ночных туфлях, таскают мягкие тюки; со спардэка видно, как на веревке тюки спускаются за борт, там кто-то бесшумно их перенимает, и вновь бежит стювард в мэс-рум — это контрабандисты, это контрабандистам продал стювард что-то, привезенное из Азии... Стювард — в крахмальной рубашке, в брюках

от смокинга, в лаковых туфлях, но смокинг он снял, черное его лицо — грека — сосредоточенно и бодро... Вспыхнула масленка в кухне, — кто-то пришел за пресной водой. На свет вышел стюард, посмотрел подозрительно, сказал:

— Что здесь шляетесь? Надо спать.

Матрос облаял стюарда по-матерному — по-русски, — и добавил:

— Генри очень болен, лежит с утра, тошнит.

Из мрака появились еще двое, стали у дверей. С кубрика, держась за стены, качаясь, притащился Генри, вслед за ним боцман. У Генри запеклись губы, и лицо было землисто, как у мулата. Генри прошептал:

— Где стюард?

Стюард ответил не сразу. В кухне с дверями на оба борта, с огромной плитой и колпаком над ней, с ведрами и кастрюлями по стенам, — на столе чадила масленка; дверь на палубу была открыта, и там виднелись канаты и решетки бортов; лица людей были плохо различимы; на столе около масленки лежала соленая рыба на утро. Генри повторил:

— Где стюард?

Стюард сказал:

— Я здесь.

На лице Генри и в голосе его появились надежда и умоление, жалкие, всегда унизительные для человека. Он зашептал торопливо:

— Мне бы кусочек лимона... Очень мутит меня... Мне бы лимон... Я совсем нездоров!.. Мне кусочек...

— Нет лимона.

— Врешь, стюард, ведь покупал для моря, — сказал кок от дверей.

— Нету лимона! Генри пьяница.

— Дай лимона! Мы бы без тебя смотались в порт, да заперто...

— Нету лимона! — Стюард руку положил в карман, где револьвер.

Генри стоял у стены, и не сразу заметил, что он пополз по стене вниз, упал на пол, и заметили лишь, когда он захрипел; тогда увидели, что изо рта у него ползет желтая пена и руки мучаются в судороге. Тот, что пришел за водой, вылил на Генри ведро воды. Матросы положили Генри на стол, где лежала рыба. Генри притих и застонал. Кто-то пошутил:

— Брось, Генри, а то еще умрешь, — придется тогда шить тебе мешок да в море рыбам...

Другой рассказал к случаю:

— Во всемирную войну я на транспорте перевозил цветные войска из Индии и Австралии, здоровенные ребята, — а как выйдем в море, и качки нет никакой, а они дохнут, как мухи. Я приставлен был к покойникам, мешки шить, — в одну ночь двадцать два мешка сшил, сошьешь мешок, в него покойника, дырку тоже зашьешь — и в воду акулам на ленч...

Масленка чадила мирно. Стюард жевал чунгом. Генри приподнял голову, осмотрелся, сказал:

— Нету лимона? — Тогда, пожалуйста, термометр...

Термометр нашелся не скоро и, когда нашелся, его вставили Генри в рот, под язык. Стюард, заложив чунгом за щеку, с масленкой в руке, отворачивал веки Генри и заглядывал внимательно, точно что-то понимая, в нехорошую, больную глубь глаз Генри. Потом, толкаясь в темноте, за руки и за ноги матросы потащили Генри на кубрик. Стюард остался в кухне, сел к столу около рыбы и масленки, широколобую свою черную голову положил на ладонь, задумался, жевал чунгом, эту бесконечную жвачку моряков. В ноз-руме вновь пришедшие на корабль устроились спать, обживали новое место, слушали, как рыгает кок, привыкали к константинопольским блохам. Было темно и душно. Они видели, что мальчик-поваренок долго рылся в своем углу, переодевался и потом тихо ушел из каюты; они не видели, что мальчик осторожно пробирался по палубе, к рубке, — если б осветить неожиданно лицо мальчика электрическим фонариком, то можно было бы увидеть, что оно полно боли и страдания; мальчик прошел в рубку, там, через внутреннюю дверь в кухню, он прошептал:

— Я здесь, стюард...

Стюард оторвался от своих мыслей, от чунгома, черная голова поднялась от огня, он взглянул в темный угол мечтательно и нежно. Свет в кухне погас.

Все огни потухли на корабле, корабль уснул. Только на капитанском мостике стоял вахтенный. Но и он скоро уснул, стоя. В порту пересвистывались сторожа, гигантский корабль разводил пары, шипел, чтоб уйти из доков с рассветным приливом. Месяц уже

скрылся, и было очень черно, как должно быть перед рассветом.

А в шесть часов, когда уже рассвело, вновь загудели гудки, пришли рабочие, пошли, полезли в краны поезда, черными столбами повалила каменноугольная пыль, застилая солнце, разъедая все, заплескалась по палубам вода из шланг. Настал день. Генри умер утром.

...И снова корабль, семитысячетонный, грузовой, однотрубный, выкрашенный в серую краску, нагруженный по фальшборты углем, — идет в море. Он проходит Паде-Калэ, Ламанш, идет в Северное море — колыбелью европейской культуры, колыбелью мореплаваний, где норманны и бритты пошли впервые строить европейское благополучие и мир. И Немецкое море — к вечеру — встретило «Speranzy» штормом.

На корме, застясь от ветра, стоят матросы. Один говорит:

— Вот на этом месте, где мы проходим сейчас, немецкие субмарины в великую войну плескались, как щуки. На каждую милю приходится три погибших судна. Кладбище корабельное. Можно было бы построить целую страну... Губили друг друга и немцы, и англичане, и французы...

Вечер. И вода, и небо, и ветер — как свинец. Вода хлещет за фальшборты, зеленая, тяжелая, злая. Седая пустыня кругом. И совершенно ясно, как над этими просторами шла, шлялась смерть, и совершенно ясно, что европейское человечество, оставившее истории средневековье, совсем — совсем-не-совсем — не изжило его, оно водой, как кровь, кровью, как вода, и страшным одиночеством пиратствует на морях. Матросы очень хорошо знают, страшно знают, как много могил на — даже на морях!.. И эти могилы — не застят ли они подлинную жизнь — многими своими жутями, одиноко-человеческими и промозглыми — ? — и не она ли — эта жуть — страшит дисциплиной аглицкого морского устава и тем, что матросы, говоря «мы идем на берег», подчеркивают водяной их дом, — но о море не говорят, потому что оно им слишком буденно — —? И сиротливо, должно быть, смотреть на Большую Медведицу, которую боцман видел из своей Псковской губернии и которую бритты и норманны видели семьсот лет назад — ? — И вода, и небо, и ветер — как свинец.

И корабль — скорлупкой в них. Пустыня кругом — пустыня вод, великое кладбище... Над горизонтом красная щель, в эту щель уходит солнце, красное и огромное, не круглое, а как сплющенный мяч, — и от него по свинцам волн течет кровь. Мимо проходит трехмачтовый парусник, на всех парусах, точно такой же, какие ходили здесь триста, пятьсот лет назад...

И ночью — буря. Небо звездно, в небе Большая Медведица и Полярная Звезда, но под небом все сошло с ума. Домищи волн лезут на корабль, пенятся, гремят, ревут ветром, бьют через борты, влезают на нос и корму, друг на друга, на небо, — ветер рвет пену, и она тысячей шланг несется над водой, над кораблем, к звездам. Мрак черен. Ветер, как сумасшедший в сумасшедшем доме перед своей идеей, в нее упершись, дует, плюет остервенело, в одну точку, точно хочет сдуть корабль к черту. Весь корабль завинчен, заклепан, завязан. Корабль, как щенок в менингите, обалдевшим щенком мечется, то визжа винтом в воздухе и ныряя носом, то вставая на задние лапы, то валясь на бок. — И, конечно, тут, в бурю, в страдания, у корабля, возникает: д у ш а, злая душа, враждебная человеку, ибо весь корабль, дрожащий, мечущийся, злой — каждой своей стальной частью — столковывается с морем, с морским чертом, чтоб выкинуть, отдать морю людей, скинуть их с себя — их и их вещи; по кораблю нельзя ходить, можно только ползать, держась за тросы, вместе с тросами взлетая над водой, вместе с тросами исчезая в воду... На палубе под спардеком волны отвязали бочку с сельдью, бочка пляшет, вертится волчком в зеленой пене на палубе, в суматошной воде; над палубой, над мутью волн шарит зеленый свет прожектора; помощник капитана в рупор кричит на кубрик, и трое бегут с арканами — ловить ожившую бочку; бочка пляшет, как пьяный швед; матросы крепят конец каната и с другим концом идут на палубу к веселью волн и бочки, вода летит над головами, и бочка бегает от матросов, толкаясь у фальшбортов, в холодном свете от прожектора... Мрак, черный мрак над кораблем, прожектор шарит сиротливо. Кто вспомнит о плавающих по морям? — Капитан склонен

над компасом: — Северное море — бурное море, много гибнет на нем кораблей, — кладбище. Помощник капитана, в коже с ног до головы, с рупором в руках, с биноклем на шее, ползает по капитанскому мостику, — гремят волны, свистит в тросах и мачтах ветер, шипит, лает, орет все, — и к вою бури — над ней гремит — матерщина помощника капитана, грандиозная матерщина, в бога и в гроб. — Кто вспомнит о плавающих по морям — —? По палубам, по железным лестницам, на носу, на корме, в обсервационной бочке давно измокшие до нитки, без сна, продрогшие, строгие и спокойные до предела — ибо иначе смерть! — матросы. — Кто вспомнит о плавающих по морям? — — Кубрик закупорен наглухо, двери и люки завинчены. В кубрике, где все четыре стены то и дело становятся полом, где все завинчено, кроме людей на подвесных кроватях — двое курят трубки.

— И ты пойми только, значить, без денег... Значить, такие склады, продкомы то есть...

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной Звездой, в тропиках и у вечных льдов — идут корабли. По морям и океанам — идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же — это две чаши: одна над другой чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него — чайка и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей — матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в порт-Петербурге с лесом и пенькой — грузятся корабли, чтоб идти, нести грузы — на Острова Зеленого Мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, — и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег, — он на берегу, —

и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землей; но матросы знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальшборты и бьют до спардэка, — когда корабль мечется в волнах овощинкою в кипятке, — тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд как земля, и

плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся, — тогда его стошнит в морской болезни нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях и делах, — потому ли только, что это их будни? — «Speranza» — это значит: — Надежда, — и символ н а д е ж д ы : — я к о р ь, тот, которым матросы в морских безбрежностях цепляются за единственную землю — за донья морей. — Матросы всегда дальнозорки.

Коломна. Никола-на-Посадьях.
Сентябрь 1923 г.

ЖЕНИХ ВО ПОЛУНОЧИ

Глава первая

Накануне Троицына дня, тринадцатого мая, из порта Портсмут вышло английское судно «Франсис». Судно шло в Капштадт, в Африку. По пути оно должно было зайти в Нигерию, в английскую колонию, оставить и принять там грузы. И в Нигерию, в город Рида плыл на «Франсис» мистер Самуэль Гарнет, клерк Нигерской английской каучуковой компании.

Океан встретил спокойствием, безмолвием и прохладой. Судно не было пассажирским, и на нем плыли только те, кто был связан знакомствами. В полдень, перед ленчем, капитан приходил в курительную комнату на спардеке и сам раскупоривал первую бутыль виски. Было все очень благополучно. После ленча кают-компания выносила лонг-шезы на капитанский мостик и, допивая виски, подремывая, следила за чайками, за дельфинами и синевою волн. За все эти дни качки не было ни разу, океан покойствовал.

Мистер Самуэль Гарнет женился за две недели до своей экспедиции, и молодая его жена, миссис Самуэль Гарнет, ехала с ним. Мистер Гарнет блаженствовал.

Он не был особенно образован, он был совсем не богат, но он знал все, что полагается знать джентльмену: от Библии до того, какой галстук надеть к таким-то носкам, как в каком случае сказать и сострить, как держать себя с людьми. Он ехал в Африку на несколько лет; он хорошо знал систему переписки с правлением Компании, качества разных сортов каучука, — об Африке же он знал мало, был знаком с ней по Бедекеру. Он был молод; сидя на спардеке, наблюдал море

(которое можно наблюдать бесконечными часами), в лености и отдыхе, он перебирал в памяти, сколько носков и чулок у него и у его жены, как он простился с директором Компании, как он оставил в Лондоне текущий счет, куда просил ежемесячно вносить его командировочные, и сколько будет у него средств ко дню его возвращения в метрополию. На голове он носил пробковый шлем, на шее у него висели кодак и цейс, на ногах были белые бриджи.

Его жена, миссис Самуэль Гарнет, была менее жизнеспособна, чем он, но она лучше его знала, в каком чемодане и как положены их вещи, белье, сервиз, теннисные ракетки; у него, кроме книг по специальности (бухгалтерия и каучуковедение), был только один Бедекер: он знал, что всюду, где бы он ни был, его догонят любимые его газеты — «Пэлл-Мэлл», «Морнинг» и «Ивнинг Стэндэрд»; но у нее были книги: Шелли, Голсуорси, несколько книг, вышедших на этих неделях, несколько модных «мэгэзинов» и толстая кожаная тетрадь с надписью — «Дневник и стихотворения миссис Самуэль Гарнет»; у нее с собою было много почтовой бумаги и конвертов.

И она чаще сидела в каюте, роясь в вещах; не только потому, что она знала, что, когда мужчины сидят в курительной комнате, женщине неудобно туда идти, ибо они там ведут свободные мужские разговоры; иногда вечерами она шла на ют и смотрела на лаг, за корму корабля, назад, где страусовыми перьями клубилась вода и горели фосфорически во мраке медузы; мистер Гарнет не знал об одной книге, о маленькой книге стихов неизвестного поэта с малозначащей надписью на первой белой странице; эта книга была положена в кэз, недоступный для взоров мужчины, ибо он был полон тайнами женского туалета. Впрочем, многие вещи для этого кэза мистер Самуэль покупал сам. Впрочем, миссис Самуэль Гарнет никак нельзя было считать в какой-либо, даже малейшей степени, деморализованной: кто осудит женщину, которая две недели тому назад была девушкой, в маленьком тщеславии и в маленьких, не умерших еще глупостях! —

Супруги Гарнет любили друг друга, и в десять часов они уходили в каюту с тем, чтобы через двадцать пять

минут обоим пройти — обоим в пижамах и купальных халатах — в ванную комнату.

На пятый день моря мистер Самуэль тщательно проверил поданный ему счет, сверил его со своим блокнотом, — в полдень на горизонте очертилась лиловая полоса земли. В три часа судно стало на рейде Акасса, в дельте Нигера.

Еще из Лондона было дано радио. К судну подошел инспекционный катер. Мистера Самуэля Гарнета встретил проводник. По воде около судна мельтешили в высоконосых лодках голые негры, — главным образом мальчишки.

Проводник мистера Самуэля называл «сэром», а миссис — «леди».

Сэр Самуэль Гарнет был покоен, деловит и ничему не удивлялся так же, как если бы он сходил с парусной лодки в Брайтоне, после пикника; но леди Самуэль удивленно смотрела на чернокожих, на зеленую воду, на необыкновенные деревья на берегу, на лианы, пальмы и на другие деревья, которых она никогда не видела и не знала, как назвать.

Катер взял их и их чемоданы.

В европейской коляске, к которой очень странно был приделан зонтик, их повезли на пароходную пристань.

Мистер Самуэль говорил с важностью министра, ему не было даже жарко, но миссис Самуэль скоро сказала, что от жары у нее мутится голова, заполыхивает сердце; мистер успокоил ее, что на пристани они съедят чего-нибудь холодного — «айс-крим-сода». Они проезжали мимо соломенной деревни, безмолвной в этот час жары, где негры, наперекор европейским стихиям, жили так же, как они жили испокон века, — голые, с ручными мельницами и, очень возможно, с луками.

На нигерском пароходе было опять европейски комфортабельно, негры были в белых костюмах и говорили по-английски. А за пароходом тянулись необыкновенные леса, изредка лесные разработки, изредка соломенные негритянские деревни. Миссис Самуэль стояла на палубе и хотела повидать крокодила: ей сообщили, что хотя крокодилов здесь и очень много, но все же их здесь труднее видеть, чем в зоологическом саду.

Через день чета Гарнетов была на месте цели своего вояжа. Компания отвела мистеру Гарнету небольшой коттеджик, трехэтажный, меблированный (даже был небольшой винный погребок); при домике был выезд о двух лошадях, четыре негра, — две женщины и два мужчины. Дом стоял на берегу реки, на поляне, на опушке леса, неподалеку от разработок. Миссис и мистер Гарнеты первые дни носили с собой браунинги, боясь нападения тигров; но им объяснили, что тигры в этих местах не нападают на людей, и они повесили револьверы у своих изголовий.

Ночами в лесу (мистер Гарнет обязательно говорил — не просто лес, а тропические леса) кричали незнакомые звери, выли гиены: тогда миссис перебегала со своей постели в постель мужа. Днем муж уезжал в контору, она одна писала дневник.

. . . .

Глава вторая

. . . .
. . . .

Имя его, этого инженерного солдата, в отличие от миллионов его братьев и сестер, — Он; в отличие от братьев и сестер потому, что и у сестер, и у братьев пол стерт, — и Он, — потому, что никогда не узнается, есть, была ли у него, у этого инженерного солдата, индивидуальность, особливость, отличающая его от его братьев.

В подземелье, за лабиринтами подземных ходов, зал, кладовых, стойл, спален, складов, выложенных пометом его и его братьев и сестер, где миллионами шли рабочие и на перекрестках стояли часовые-солдаты, солдаты-полисмены, — там была комната Матери.

Если бы он когда-либо видел европейский средневековый замок, он мог бы сравнить быт камеры Матери с бытом этих замков: но он не мог мыслить, и он никогда не узнал об европейских средневековых замках. Подземелье Матери было огромно, со сводчатыми потолками, с десятком потайных и открытых ходов в него. Там, у входов в комнаты, стояли крепостные солдаты, шеренгой, жвалами наружу, опустив головы. Ты-

сячи рабочих работали около Матери, и сотни полисменов подгоняли их. Мать, чудовище, лежала посреди зала, столь толстая, что спина ее касалась потолка, неподвижная, слепая, зеленовато-белотелая, сырая, потная. Рабочие, пигмеи рядом с ней, чистили, скребли, облизывали ее, ползали по ней и вокруг нее, пили ее пот. К ее рту шеренги рабочих тащили со складов пищу и совали ей в рот. От времени до времени солдаты бежали убрать ее помет и привести ее в порядок. Каждую секунду судорожилась Мать, от головы по животу шла волна натуги — и возникало каждую секунду яйцо; тогда бежал рабочий, мыл яйцо и нес его на склады.

Так — ежесекундно — Мать выкидывает ребенка, — так жила Мать днями, неделями, месяцами, годами, слепая, не имеющая сил двинуться, страшно жирная, истекающая потом, который едят рабочие.

Так рабочие таскают яйца и полисмены-надзиратели подгоняют их — в совершенном мраке, в подземельях, по лабиринтам, построенным из помета инженерных солдат и рабочих.

Рядом с Матерью, сбоку, стоял Отец, также слепой, также с обломанными жвалами, — также его облизывали и кормили рабочие, но он мог двигаться и бить солдат и рабочих, подгоняя их к труду.

Там, в камерах, где сложены яйца, из этих яиц потом возникнут миллионы братьев и сестер, солдат и рабочих, которые, родившись, потеряют пол, сравняются, чтобы трудиться, строить лабиринты, кормиться, защищаться, нападать, ходить походами, повиноваться, умирать, убивать, — никогда не думать, только повиноваться: — и только сотням на миллионы выпадает счастье быть крылатыми, летающими нимфами.

Там, над замком этого государства, днями ходит дневное светило, то, которого никогда не видят Он и его братья, — ночами там светит ночное светило, то, которое есть его спутник, — там идут стихии, ливни, грозы, засухи, жары — там мир врагов.

В центре города — огромный, сводчатый, готический пустырь, с четырьмя арками и множеством колонн, вокруг него грибные сады, детские сады, магазины с пищей, рабочие бараки. В грибных садах, где нечем в духоте дышать, необыкновенные, фантастические растут растения, серые, шарообразные, пахучие: шары раз-

ных величин, шары, шарищи, шарики, эллипсы, картофелины шаров, — по земле меж шаров тянутся корни, на которых держатся эти шары; они осклизлы, как и шары, меж шаров и по шарам ходят садовники и молодь. За садами в подземельях зарыты, сокрыты скалы сладостей, янтари смол и соков сахара, клея, варенья, — там у входов стоит стража. —

Там, за большими дорогами, в стенах, в башнях, в бойницах торчат головы бронесолдат, стражи, гарнизона — стерегут чужой мир, всегда готовые вступить в бой, убивать своими жвалами и умирать.

В стороне от больших дорог и переулков — на бойнях — солдаты убивают рабов, стариков-рабочих, стариков-солдат, калек, и туда идут солдаты, чтобы есть убитых и уносить запасы на склады. Там в тюрьмах сидят рабы, стафилины, которых ловят и хранят и кормят из-за их пота, действующего, как наркоз, как алкоголь: рабы закормлены, они неподвижны, — их перетаскивают с места на место, когда им надо родить, их трупы уносятся на бойни, когда они помирают, — их пот хранится на складах, — их кормят пометом. Там, на миру, за городом, за крепостями — поймана дойная скотина, червецы: стада их пасутся в загонах, в крепости, охраняются, кормятся, доятся, пасутся: они умирают, — но новых и новых несут из мира, с полей, из-за города.

В городе, в крепости грандиозные идут строительства.

Минеры, каменщики, инженерные солдаты воздвигают новые и новые постройки; рабочие, миллионы, идут вниз в подземелья, едят землю, грызут землю и идут наверх, к стройкам, — там рядами стоит стража, — там командуют инженерные солдаты; там рабочие кладут принесенную землю; извергают землю из своих желудков и мочат ее своим пометом, — а инженерные солдаты разминают землю и помет, вновь пережевывают ее и возводят новые и новые стены, башни, пещеры, склады; минеры рвут старое; тогда рабочие, сотни сразу, тащат камни прежних циклопических построек.

В подземельях рабочие несут запасы с полей и из колоний. Там, в подземельях, собираются миллионы рабочих и солдат — для новых походов, завоеваний, войн, грабежей.

Там, в подземельях, в переулках, на дорогах — прокислый, сырой, нехороший воздух: другого они не знают, и если они идут в поход (миллионноголовым, им много надо есть), впереди них идут минеры; минеры роют земли, прорывают подземные ходы, строят галереи, — строят по дороге склады, бараки, — минеры работают ночами, когда их не видно, работают поспешно, ловко, быстро, упорно; и только тогда, когда дороги готовы, когда приготовлены биваки и склады фуража и амбары для добычи, тогда выступают армии, миллионы рабочих и солдат; они идут стройными колоннами, а минеры идут вперед и вперед, — если им встречаются преграды, они изнутри вникают в них и долбят их изнутри, пока те не рассыпаются в порошок; они идут невидимые, во мраке, бесшумно, миллионами (тем страшнее они!). — Но иногда рушатся их ходы, — тогда они идут на свет колоннами армий, солдаты впереди, тесно друг к другу, миллионы сразу, — тогда они шипят, грозятся, злобствуют, сторожевые солдаты захватывают все возвышенности, сигнализируют, — колонны строятся армиями, командиры вперед: если нарушил их путь враг, они не отступают перед врагом, — они идут умирать, и всякий враг, даже белый человек, бежит перед ними.

Об этом мощном государстве нельзя сказать, что оно есть империя; императорская власть — власть Матери и Отца — неподвижна, бессильна, подчинена, как бессильна, подчинена власть и жизнь каждого жителя этого государства, который не знает смерти и идет умирать за всех, идет умирать на корм своим же сестрам и рабам, ибо рабов кормят мясом хозяев. Это государство никогда не видит света, государство — машина, государство без индивидуальности, без собственности, без инстинктов.

Он, инженерный солдат, сделал много походов, много проложил траншей и галерей и биваков для армий, для походов на грабежи, для походов в войны.

Это были дни, когда однажды — однажды! — государство безумствовало, — государство, где не было, не могло быть глупости, — делало глупости: это были дни, когда улетали нимфы, единственная глупость, единственные лирика и романтика. Нимфы обладали полом и могли любить. Государство знало, что назавтра

полет мужских нимф! — и наутро был полет девичьих нимф. Ночью Он и его братья прорывали, продалбливали стены своих башен, чтобы однажды — однажды! — увидеть дневное светило.

И сначала в эти ворота пошли солдаты, чтобы умирать, драться, бороться с теми врагами, кои пришли убивать и подкарауливать нимф; государство не жалело для этого дня своих жизней, оно шло в солнце, — оно посылало жить и умирать.

И наутро, в солнце, в голубом благословенье дня, из подземелий к солнцу пошли серебряные, крылатые, видящие — видящие! — нимфы-девушки, те, которые, если не умрут, станут царицами новых государств.

Они шли темными лабиринтами, темными площадями, глухими закоулками — к свету, мимо рабочих, мимо солдат, — и там, наверху, на верхней башне замка, они прощались с родичами, не похожие на них, прекрасные, крылатые, — они улетали к солнцу, в синеву, в день, в просторы, — чтобы там, в просторах, встретить, найти, — свободно, случайно, — найти любовника: там, в голубых просторах, они были беззащитны, все в случайностях, — они летели или жить, или умирать, и солнце светило им, они летели серебряным дождем, там они найдут пару — —

(Впрочем, потом, когда они найдут пару, парой они вроются в землю, чтоб навсегда исчезнуть для света, — они потеряют глаза, они обломают себе крылья, они потеряют жвала, они разучатся самостоятельно есть, и Мать, разжирев, разучившись двигаться, будет только детородильной машиной, будет родить ежесекундно многие годы — —)

А те, которые остались в старом государстве, и Он в том числе, когда улетели нимфы, когда солдаты вернулись обратно в подземелья (уцелевшие солдаты), — замуровали стены, зачинили их, чтобы вновь вернуться ко мраку, к труду, к работе: быть может, это Он последним ушел с холма в подземелье, последним взглянул в ту сторону, где умирало дневное, благословляющее светило и был мир, — последним ушел в неподвижность и удушье мрака.

Он многие сделал походы, и Он пошел в те дни в новый поход.

Он шел перед армиями, чтобы прокладывать пути для армий — подземелья, галереи, склады, биваки. Его путь вел к непонятным древесным постройкам, пропахшим никак не теми запахами, которыми пахли тропические леса. Он вел подкопы под цементом, глубоко под землей, вникал в дерево, в толь — уступал перед железом, но сам выводил на нем цементные постройки бессветных лабиринтов; там, куда пришел Он, была прохлада и не было врагов; тогда за ним двинулись армии.

Он и его братья Оны, инженерные солдаты, пошли назад, — но назад, до своего города, Он не дошел; должно быть, Он был уже стар: в одном из бивачных бараков к нему подошел десяток братьев, чтобы убить и съесть его, Он понял это, Он опустил голову и жвала, и ближайший солдат откусил ему голову; Он стоял без головы; ему откусили брюхо; Он стоял без головы и без брюха; Он упал, когда стали есть ноги; это было потому, что дыхательные и нервные аппараты у него были на груди, там, где были ноги.

Солдаты, съев его, пошли дальше, обратно к государству: вместо него стало много Онов, было много Онов.

Миллионнобратное государство жило сложнейшей турбиной, где миллионы сестер и братьев потеряли пол, индивидуальность, солнце. Миллионнобратное государство строило замки, крепости, дороги несравненной мощи.

В государстве не было случайностей, не могло быть глупостей.

И, когда пришли обратно Оны, в городе творилась глупость: в царской пещере умерла Мать. Труп Матери был уже съеден рабочими. В государстве творилась глупость. В город возвращались все, — приходили с полей рабочие, приходили из походов солдаты, — армии становились в городе на улицах биваками, — весь город был переполнен. Труп Матери был уже съеден: там внизу оставался Отец, к Отцу привели нимф, сразу тридцать одну. Часть замка была уже захвачена в сумятице врагами, там шел бой: враги тащили себе в плен, в рабы, в пищу тех, кто остался без Матери. Тяжелые солдаты отдавали, умирая, все новые и новые подступы и крепости, — уже во многих углах хозяйствовали (и грабили и разрушали) враги: там шел бой, там шла гибель.

И все же внизу, в подземельях, готовился страшный поход, невероятной дерзости, невероятной смелости, та-

кой, который должен принести или исчерпывающую победу, или — смерть; перед походом не жалелись запасы, вскрывались редчайшие склады, съедались запасы многолетних трудов, выпивался весь алкоголь — теми, кто шел в поход.

Это государство шло в поход на государство себе подобных, чтобы отнять у них Мать.

И вперед ушли минеры, инженерные солдаты и рабочие; план был отчаянен, план был хитер, план был колоссален. Минеры, инженерные солдаты рыли подкопы, со всех сторон, в разных местах, там строились плацдармы, крепости, прикрытия для армий. По лабиринтам туда пошли армии. Армии были пьяны. Все творилось с колоссальной энергией и в абсолютной тишине.

И когда армии были готовы, когда все походы были в порядке, все на местах, — тысячи бросила себя в смерть, тысяча тяжелых солдат: минеры взломали последние преграды, — и эта тысяча бросилась в город мирных жителей, в улицы, на склады, разрушая, убивая все на пути. За тысячей шли инженерные солдаты и рабочие, они заваливали пройденные пути, замуровывали отступление тысячи, ставили артиллерийских солдат. Тысяча шла вперед, грызла, травила ядами, удушливыми газами, разрушая, вбираясь в центр, в узкие переходы, — и на эту тысячу набросились десятки тысяч, сотни тысяч защищающих государство. В государстве все солдаты шли убивать эту тысячу, — тысяча исчезла, убиваемая, поедаемая.

И тогда, с другой стороны, в ряд взорванных пробоин ворвались в государство миллионы тех, кто послал тысячу, они шли колоннами, они занимали все пути, — они не грабили: они шли к сердцу города, туда, где была Мать, и только по этому пути они делали новые дороги и плацдармы, чтобы тут иль победить, иль помереть.

И жилье Матери было захвачено.

Солдаты у Матери были убиты.

Тысячи новых ее слуг потащили ее в проходы под землю.

Но им, этим Онам, не дано мыслить: пока они брали новое государство, отвоевывали новую Мать, враги разорили их город, разграбили склады, развалили переходы, увели стада, убили рабов, убили братьев, убили солдат, убили Отца, потоптали грибные сады, — там, в городе,

построенном долгим, упорнейшим трудом, были мерзость запустения, срам, в развалины светило солнце, туда мог проникать чужой глаз потому, что в этот труд, в эту жизнь вмешалась случайность — глупость.

. . . .

Глава третья

Год жизни в Нигерии, в Рида, ничему не научил мистера Самуэля Гарнета. Он по-прежнему полагал, что никаких заграниц не существует и есть только Англия, и, как всегда, утром он ел поридж и бекон. Впрочем, он очень интересовался делами Компании, — и он никому не интересен, как неинтересны его разговоры о том, что к Троицыну дню он выписал себе из метрополии то-то и то-то — ботинки, костюм, седло, фотографические пленки.

У миссис Самуэль Гарнет были иные знания. Она знала, что вскоре после Троицына дня у нее будет ребенок, — что в месяцы ее беременности Самуэль сошелся с негритянкой, — что вон то дерево, которое стоит за окном, называется баобаб. Днями она вышивала и шила для ребенка, — это в то время, когда был дома или уходил или должен был прийти муж (она давно уже связала ему семь галстуков на каждый день недели, и она подарит их ему на Троицын день), — но когда мужа не было дома и он не ожидался, она сидела над своим дневником. Там в дневнике она писала роман, где были: луна, Борнемус, поездки под луной на паруснике, рукопожатия, почти измена мужу — заветное кольцо и книжка, надписанная поэтом, тем, с которым она, героиня, была в Борнемусе, с которым она изменила мужу рукопожатием. Там в дневнике было примирение с мужем, с действительностью, в образе негритянке с плантаций, в разговорах мужа о том, какое платье он подарит ей через год к будущей Пасхе, и когда он позволит выписать из метрополии мать — маму миссис Гарнет. На дневнике — случайно, конечно, — зачеркнуто было рассеянной, раздумчивой рукой «миссис Самуэль Гарнет» — и было написано «миссис Эльза Деднингтон» — ее христианское имя и девичья ее фамилия...

Должно быть, от беременности у миссис Эльзы под глазами появились морщинки и глаза были медленны.

Мистер Гарнет был уважаемым в колонии человеком, и на праздник Троицына дня чета Гарнет была приглашена к президенту Компании, за несколько десятков миль, на несколько дней.

Мистер Гарнет возвратился из поездки довольным и возбужденным. Он долго шутил на дворе с кучером-негром. Миссис прошла в дом. Вскоре он пришел к ней. Она стояла у окна, смотрела на баобаб.

— Миссис Эльза, — начал было весело говорить муж, сел на стул — и упал, потому что стул рассыпался под ним в порошок.

И сейчас же узналось, что за дни их отсутствия (лакей-негр, «мерзавец, поленился зайти в эти комнаты!») на их дом напали термиты, эти страшные вредители экваториальных стран. По полу опасно было ходить, он проваливался, рассыпался в труху, — по цементу и по железу были проложены их, термитов, галереи, сотни ходов. Термиты были всюду.

Мистер Самуэль первый раз после детства, когда его порол отец, был взволнован: его письменный стол рассыпался в труху, и в труху рассыпалась пачка фунтов, его, им скопленных и казенных, в которых он должен был отчитаться, — и в труху рассыпалась чековая книга.

Лицо мистера Самуэля, загоревшее, доброкачественно, смокло в гнилое, одрябшее яблоко.

— Миссис Эльза, — сказал он, — ведь, быть может, они грызли уже и тогда, когда мы были здесь? Негр говорит, что они бесшумны и никогда не выходят на свет. Вы не видели их следов на цементе до нашего отъезда, этих их коридоров?

Миссис Эльза не ответила: она плакала, — в ее руках были только серебряные застежки от ее дневника.

Последняя глава

На туземном базаре, под пальмами негры продавали лакомство: ту массу, которая возникла из помета термитов, из которой была сделана крепость погибшего государства. Женщины выменивали ее на бананы, чтобы сварить ее и съесть.

Гаспра.
Май 1925

РАССКАЗ О КЛЮЧАХ И ГЛИНЕ

«Здесь из-под земли выбивался студеный ключ».

Вс. Иванов.

...Это арабская песня:

Мастер, осторожней касайся глины,
когда ты лепишь из нее сосуд, —
быть может, эта глина есть прах возлюбленной,
любимой когда-то:
так осторожней касайся глины своими теперешними руками.

В Палестине, в Сирии, на берегу Средиземного моря совершенно особенно, как нигде в мире, гребут арабы. Их восемь человек, они в чалмах, они в широчайших шароварах, раздувающихся на ветру, они босоноги и только подошвы их охраняются от жара земли библейскими сандалиями, привязанными к ноге ремнями. Их ноги загорели так же, как лица и руки. Арабы красивы, сильны, гибки, похожие на птиц. На корме каика, там, где на коврах сидят европейцы, раскинут над головами европейцев белый шатер, — но арабы под солнцем. У каждого араба по одному веслу; каик громоздок, широкобортен, похожий на шаланду; — и восемь арабов, все сразу, закидывая весла в воду, взлетают на одной ноге над банкой; другую ногу они сгибают в колене, шаровары их раздуваются ветром, шаланду качают зеленые волны, вместе с шаландой и ветром качаются арабы; тяжестью своих тел арабы выгребают весла, — той но-

гой, которая была в воздухе, они опираются о борт шаланды, отталкиваются ею и вновь взлетают на воздух над банкой, над волнами. И, взлетая в воздух, красавцы, похожие на птиц, все сразу они — нет, не поют, а всклекотывают на своем гортанном языке совсем так же, как птицы, разбуженные в ночи:

Мы мужчины, молодцы! Мы мужчины, молодцы!
Боже мой, путь еще не окончен: — путь еще далек —

это всклекотывают они к тому, чтобы ободрить свой труд в зное и море, в бирюзе волн, — это всклекотывают они потому, что поистине «путь еще не кончен»: — потому — что они же поют — в пустыне, в ночи, под пальмами и звездами, отдыхая около своих белых мазанок, или около верблюда, или около оаза — поют о мастере, который должен быть осторожен с глиной, ибо и глина есть память любви и лет — —

I

В порт-Одесса у Потемкинского мола стоял пароход под флагом Союза Социалистических Республик, под полными парами, готовый отшвартоваться, чтобы идти в море. Утром боцман с подвахтой умывали судно, — из шланг на палубы выливались сотни ведер воды, судно чистилось и скреблось, — и, умытое, готово было блестеть, если бы было солнце. Но солнца не было, были последние дни октября, моросил дождь, и вода за бортом болталась серенькая, как серенький в море ожидался туман. В полдень стали грузить переселенцев. Лебедка в трюм сваливала чемоданы, корзины, тюки, матрацы, комоды, корыта. Люди растекались по палубам со всем тем человеческим добром и отрепьем, которое можно повезти с собой, с перинами, с постелями, с лукошками, — кто-то нес граммофон, кто-то поставил под вельбот корзину с двумя гусями. Это были палубные пассажиры, их было пятьсот человек, — это были евреи, едущие в Палестину, едущие на родину, где не были две тысячи лет. На палубе, в проходах, под шлюпками, около труб (пароход был двутрубным, громадина), в трюме для третьего класса наваливались горы вещей

так, как валятся вещи, вытащенные в пожар из горящего здания. На вещах торопливо раскладывались постели, и там сидели женщины и дети. Старики выискивали пустые места, чтобы поспешно раскинуть коврик, взять в руки священную книгу и, полуприкрыв глаза, закинув голову, прочитать древними словами, — и их сгоняли с места на место, в новые и новые места сваливая подушки, детей, ночные горшки, самовары. На палубах громко говорили, должно быть, ссорясь, мешая русский язык с древнееврейским. На палубах остро запахло тем запахом, которым пахнут гетто и пароходные трюмы: пароходные трюмы и гетто пахнут одинаково, быть может, потому, что гетто всегда были лишь перепутьем для этого идущего народа.

Вскоре на палубах, которые так тщательно были вымыты утром, валялись огрызки арбузов, куриные кости, рваная бумага, — откровенная грязь ползла из корзинок и лукошек. К сумеркам все палубы были забиты людьми и вещами, надо было проходить по вещам и людям. От палуб в серую муть сумерок несся чуждый русскому уху молитвенный гул. Эта тесная груда людей была черна — не только потому, что люди были черноволосы и смуглолицы, не потому, что в сумерках одежда, вещи и теснота казались черными, но и потому, что в словах, в движениях, в выкриках чуялась черная, испепеленная кровь людей, мистически настроенных.

Сумерки сменились черною ночью. На море загорелись огни. Замигал, умирая и возгорая вновь, маяк. Судно притихло во мраке. Уже отсвистел второй гудок. Капитан весь день сидел у себя в каюте, пил кофе и отдавал приказания. Пришел старший помощник, сказал, что все работы окончены, — что молодежь — сионисты из Тарбута собрались на баке, митингуют, приготовили свой синий сионистский флаг. Капитан отпил последний глоток кофе, — сказал, чтобы давали третий гудок, и стал натягивать на себя черное кожаное пальто с капюшоном.— Пароход загудел черным страшным воем. Капитан вышел на мостик под этот вой. И как только затих вой гудка, пароход завыл иным воем — воем слез, прощания, проклятия, воздеваемых к небесам рук, закинутых к небесам острокадычных шей и голов. За этим воем незаметно было, как во мраке у кормы копошился катерок, тужился,

посапывал, оттаскивал громаду от мола. Вой не смолкал, — и тогда в вое возник ритм песнопения; эта песнь была гортанна, однотонна, обречена, вся облитая кровью и горечью, — это был сионистский гимн, тот гимн, в котором пелось о Сионе, о предвечной избранности этого рассеянного, благословенного и проклятого народа, ныне идущего в Сион. В темноте не все заметили, что на баке за фальшбортом был поднят сионистский флаг. И тогда этот вой и эту песнь покрыл рев капитановой глотки:

— Мооолчать, на баке! — проревел капитан.— Штурман Погодин, посадите зачинщиков в канатный ящик! — Мооолчать!!

На баке на несколько минут произошла сумятица. Кто-то кого-то толкнул. Кто-то кого-то выругал. И пошел гвалт.

— Вы нахал, мерзавец, скотина!

— Моол-чать! В канатный ящик!!

— Гражданин капитан, — меня ударили по шее!

Опять заревел из мрака с капитанского мостика капитан:

— Молчать! Штурман Погодин, виновных и зачинщиков ко мне на мостик.

— Есть! — ответил штурман, и подвахта стала кого-то в толпе отбирать. Толпа стихла и заежилась.

— Слушать команду! — крикнул покойнее капитан.— Сионисты! — когда мы выйдем в море, разрешаю вам петь, от пяти до девяти вечера и от девяти до двенадцати дня... Мооолчать! Зачинщиков в канатный ящик! В море пойте, сколько в душу влезет!

Катерок перестал уже копошиться под кормой. Пароход стал форштевнем к морю. Огни на набережных и наверху в городе слились в одну плоскость, маяк проплыл сбоку. И из моря, с просторов, подул, обвеял широким крылом просторов и бурь морской ветер. Дождь перестал, но звезд не было, и судно уходило. Те евреи, что остались у развалин Иерусалима, в пустыне, были добиты и доразогнаны в средние века, в начале второй тысячи христианского летосчиления, — крестоносцами, в дни когда Готфрид Бульонский врывался в Иерусалим, чтобы сделать там Иерусалимское королевство, — и христиане, конечно, не пожалели иудеев, новые и новые толпы их рассеивая по земле. И в памяти

человечества остался этот народ, всюду гонимый, — остался в памяти человечества менялой, банкиром и ремесленником, — и еще остался тем народом, которым пользовались все жулики человеческой истории для жульнических своих целей, ибо в тринадцатом веке короли не громили евреев за взятку, точно так же, как в Нью-Амстердаме (как назывался Нью-Йорк прежде, чем стать Нью-Йорком) дали возможность остаться евреям только потому, что у них были деньги, которыми могли они откупаться, — точно так же, как в Йорке, древней столице Англии, англичане гордятся стеклами в соборе, забывая, что эти стекла есть еврейский пот и еврейская взятка — опять за то же, за то, чтобы не громили и не гнали евреев. Вся история евреев окрашена погромами и гонениями, — и вся их история окрашена тем, что евреи — еврейство — не потеряли своего облика и через века пронесли свою мечту, свою тоску, извечную свою печаль — печаль и тоску вечного народа, — пусть гонимого, но все же сшивавшего и сшивающего историю человечества красною нитью иудаизма. И навсегда у евреев осталась мечта о своем государстве, об Иерусалиме, о своих пророках и о своих буднях. Триста лет тому назад смирнский еврей Саббатай-Цеви был возвеличен в Мессии, и тысячи еврейских семейств пошли тогда за Саббатаем — умирать. 2 ноября 1917 года английский министр иностранных дел сэр Бальфур написал еврею лорду Ротшильду о том, что Палестина, под мандатом Англии, отныне есть национальный очаг еврейского народа. И вот теперь на пароходе под флагом Союза Советских Республик ехало пятьсот человек евреев к своему национальному очагу. Пароход уходил в синь Средиземных морей — —

Ветер дул уже холодом. Сзади горел, умирая и возрождаясь, маяк, и исчезали огни порта. На корме, над винтом, прислонившись к фальшборту, стоял старый еврей, в кафтане, в ермолке, с клинообразной бородой по пояс — старый еврей, который ехал к Стене Плача, чтобы выплакать там все свои слезы и чтобы без слез уже, счастливым, умереть на обетованной земле, в долине Иосафата. Он смотрел назад, на ту землю, где родился он, где родились его деды, прожившие здесь в гонении столетья, — и он, старик, плакал, прощаясь. Он должен был это сделать — и он проклял эту землю рассеяния:

но не плакать — возможности не было, слезами горя. Ту же землю, что лежит впереди за морями, — он поцелует, он поцелует своими старческими губами, старою своею грудью припадет к земле, прижмется к ней, — и эти старческие поцелуи будут самыми страстными — самыми страстными поцелуями из всех, какими когда-либо он целовал, — и ту землю он обольет слезами горя. Маяк уже скрылся, умер по мраке. Черная стояла кругом ночь, обдувал ветер холодом. Старик по загруженным палубам пробрался к себе, к своим вещам. Здесь были растянуты тенты. Люди уже спали, уставшие от дня. Светила здесь несильная электрическая лампочка. На корзине лежала — спала — женщина, и ее голова повисла в воздухе. За ящиками на перине спало целое семейство. Капитан, старый уже, добрый, в сущности, и усталый человек, сошел в штурманскую рубку, склонился над картой и попросил принести ему стакан чаю. Все лишние огни на пароходе потухли.

... Пароход шел от туманных берегов Скифии к солнцу Мраморного, Егейского, Средиземного морей, к сини моря, неба и гор, — туда, где в Греческом архипелаге — до сих пор еще возникают новые острова и дымят вулканы, — туда, где возникали и гибли великие культуры, египетская, ассирийская, греческая, арабская, — туда, где тысячи и тысячи прошло народов, нарождаясь, побеждая, умирая, в этой стране солнца, камня и моря, создавая религии, искусства, культуры, цивилизации и — умирая там, где каждый камень — памятник...

У электрической лампочки висела клетка с канарейкой, и канарейка не спала. На полу в проходе спал старик, подложив под голову рюкзак. На скамье спали обнявшись, чтобы не упасть, две девушки, под скамью поместился и покуривал перед сном юноша. Все остальное место было завалено вещами. Старик сел на свой матрас около своей жены и последнего своего ребенка, поехавшего с ними, — раскрыл книгу и — бесшумно, одними губами — стал читать молитвы. Еще десяток таких же стариков сидели так же с такими же книгами. Старик увлекся чтением, — где-то, на конце фразы, смысл которой был особенно ударен, где говорилось о строгости жестокого Иеговы, старик поднял горе́ голову и пропел эту фразу. Сейчас же ему откликну-

лись другие старики. И вскоре на палубе возникло странное, чуждое русскому уху, молитвенное пение, напряженное, страстное, как страстна может быть черная кровь — —

...А на баке около форштевня в этот час стоял юноша, в кожаной куртке, в галифе и новеньких галошах. Лицо у него было — если бы осветить его в этот момент фонарем — было торжественно, строго и решительно, но это же лицо указывало, что юноша был слаб здоровьем, быть может, страдал уже чахоткой. Глаза его были прикрыты пенсне, шнурок от пенсне лежал за ухом. Юноша стоял прямо, откинув голову назад, смотрел вперед, подставлял грудь под ветер. Уже качала волна, и за бортами сопело море, и бак медленно поднимался, чтобы опуститься с шипом в волны. Этот юноша, прощаясь с девушкой, оставшейся на берегу, крикнул ей: — «в будущем году — в Иерусалиме!» — и он страстно пел свой сионистский гимн. Там впереди за морями была обетованная земля. Старики ехали к Стене Плача — он ехал в Тель-Авив, гехолуцец, — он ехал мостить дороги, садить сады, растить виноград и рициновое дерево, копать колодцы, сушить Тивериадское озеро и его лихорадки. Он, демократ, сионист, социалист, ехал строить свое государство, потому что не хотел быть непрошенным гостем в странах рассеяния, хотел себя освободить от чужих народов и их — этих чужих — оставить свободными от себя. Он руками, грудью, плечами — киркой и лопатой — должен был построить свой дом, свой мир, — он, сын народа, всегда гонимого и никогда не теряющегося, великого народа. В ночи и ветре, — через ночь и ветер, — перед глазами его вставали подступы к Сиону, в пыли и зное дули аравийские ветры, и там вдали в красных песках стоял город с высокими, зубчатыми стенами, разбросанный на каменистом плоскогории. В этот город идут караваны верблюдов, — но это он, это его братья пророют там дороги вплоть до Индии и всю каменистую пустыню, где сейчас изредка торчат пальмы да джигитуют бедуины, превратят в апельсиновый сад. Там, в Палестине, после двух тысяч лет вновь возник древний язык, — и кто знает, быть может, среди камней, около рва, обсаженного кактусами, там, где потечет вода, возрождающая пустыню, он скажет далекой девушке, как говорил уже

однажды у себя в местечке в Витебской губернии, — скажет девушке о прекрасной любви... Их, из этого местечка, сейчас ехало семеро, четверо юношей и три девушки, все они были и гехолуццы, и из Тарбута. Это они протащили через таможню и политконтроль сионисткий флаг и пели свой гимн перед уходом в море. Когда кричал капитан, они совещались, — петь или не петь дальше? — и это он отговаривал петь, полагая, что пение мешает капитану командовать судном, — утешая тем, что, когда они выйдут в море, они попоют.

И юноша, как старик, пошел спать. Все семеро они устроились вместе, под вельботом. Товарищи его уже спали, свалившись кучей на мешки. Он снял сапоги вместе с галошами, подсунул их поглубже под вельбот, всунул в сапоги чулки, — и втиснулся в товарищей, скромно поправив сбившиеся на девушке юбки. Эта девушка не проснулась, но проснулись — другая девушка и юноша. Тот, что разбудил их, тихо сказал, с трудом, на древнем языке: — «В Палестине англичане ведут такую политику, что разделяют арабов и евреев. Нам необходимо коллективно обсудить, как достигнуть дружбы арабов. Впоследствии нам совместно придется воевать с англичанами — —»

Ночь была глубока. Все спали на пароходе. Пароход затих, и слышно было, как шумят волны и ветер. Капитан с вечера заснул в штурманской рубке, — проснулся в этот глухой час, слушал, как отбили склянку, вышел на мостик. Небо очистилось, светили звезды. Шли на траверзе Дуная. Капитан справился о курсе, покурил. У компаса стоял человек в плаще, разговаривал со штурманом.

— Не спите? — спросил капитан.

— Да, не спится. Хожу, смотрю.

— Вы, извините, по делу едете? — спросил капитан.

— Нет, еду посмотреть. Вернусь вместе с вами обратно. Ведь мы будем проходить — поистине по человеческой истории. Интересно посмотреть, что осталось от человеческой колыбели.

Капитан сделал презрительнейшее лицо, поджал губы, словно съел кислое, и сказал:

— Ничего не осталось от всего этого, самое безобразие. Я ходил в Америку и на Дальний Восток. Хуже Ближнего Востока ничего нет, одно надувательство и

безобразие, извините, — что турки, что греки, что левантийцы, что арабы. Турки с арабами еще ничего, — одни честные, а другие работать могут.— Капитан помолчал, спросил: — Извините, я имя ваше позабыл.

— Александр Александрович Александров.

— Извините, Александр Александрович, а я думал, что вы еврей, — сказал капитан.

— Да я и есть еврей.

— Вы — партийный?

— Да, я коммунист, только я еду под чужой фамилией и с чужим паспортом.

— Я тоже партийный, — ответил капитан.— Не хотите ли стакан пуншу? Идемте в рубку.

Ночь была черна, все огни потухли на пароходе. В рубке капитан, стоя, локтями облокотился на карты и, с карандашом в руках, говорил о Константинополе, о Смирне, об Афинах, о Бейруте, о Яффе... Против капитана сидел немолодой человек, тщательно одетый в прекрасно сшитый серый костюм, тщательно выбритый, сухолицый, со ртом, полным золота. Этот человек давно уже потерял всяческие национальные черты, его как следует выгладила Европа. Лицо его было немолодо, но такое, по которому трудно определить возраст, оно было энергично и утомлено, — и было таким лицом, которое надолго хранится в памяти. У него была привычка подбирать нижнюю губу, покусывая ее, а глаза его смотрели упорно, верно сказывая, что этот человек может думать быстро, точно, разумно. Этот человек держал в руках стакан пунша, но не пил его, — машинально, должно быть (хотя этот человек был того склада людей, которые очень внимательны), он перебирал в пальцах стакан и заглядывал на его дно.

Потом было утро.

Тогда к капитану подошел тот юноша, который простоял ночь у форштевня, в галифе, но без сапог, в одних галошах на красных домашнего вязания чулках. Юноша спросил капитана:

— Гражданин капитан! Вы вчера сказали нам, что, когда мы выйдем в море, мы можем петь от девяти до двенадцати дня и от пяти до девяти вечера. Скажите пожалуйста, мы уже вышли в море?

Судно шло морем уже около полусуток, — на лице капитана изобразились посменно страдание, недоумение,

опять страшное страдание, обида. Капитан вынул руки из брюк, уперся ими в боки, потом стал разводить руками, все дальше и дальше назад, выставляя вперед живот. Потом рука капитана подперла его щеку, лицо изобразило плач, — и по палубам полетел бас капитана:

— Да это же черт знает что такое! Да это же вы издеваетесь над капитаном! Да это же, да это ж!..— и уже свирепо, двойным басом: — Молодой человек, не сметь издевательских глупостей спрашивать у капитана! — —

Через несколько минут, все же, капитан мирно ел маслины и мирно беседовал с Александром Александровичем. Юноша же энергично ходил по палубе с девушкой, пусть жарко, но под руку: он был в галифе и в шляпе, в руках у него была тросточка; девушка была в нитяных туфлях, чулки были надшиты, черные и серые. Она была очень некрасива, кривонога, широкобудюка. Он смотрел сосредоточенно; они ходили очень быстро; он говорил, должно быть, о чем-то очень значительном, и тем не менее под руку; и надо было заключить о том, что, пусть они оба некрасивы, — всегда прекрасна молодость!

II

Судно — синью морей — шло в Палестину.

Через день моря был Босфор, Кавак. Там турки возили палубных пассажиров в баню. Глаз пригляделся к пассажирам. Было известно, что под лестницей на спардеке поселилась семья бухарских евреев; в их костюмах и, должно быть, в их быту отразилась та тысяча лет, что прожили они среди узбеков: мать, в узбекском халате, лежала на пестрой перине, прикрывшись широчайшим шелковым одеялом, подобрав под себя детей, — как легла на перину, так и не вставала с нее, должно быть, решив не вставать до Яффы; отец же от времени до времени вылезал из-под перины, тоже в халате, и бегал на другой конец парохода, тоже к бухарскому еврею, поиграть в кости; мать резала арбузы и давала огромные ломти детям, — около их логовища лежала гора арбузных корок и тут же стоял ночной горшок для детишек. Горские евреи, выходцы с Кавказа, на подбор красивый народ, держались вместе, табунком

мужчины, табунком женщины, — они везли с собой кусочек кавказских вершин и ущелий, — гибкостанные, высокие, медлительноловкие, потомки хозар. Если присмотреться внимательнее, украинские евреи — рослее, здоровее польских и литовских; это от того, должно быть, что, когда громили гайдамаки евреев, они вырезывали всех мужчин и насиловали всех женщин, от девочек до старух, вливая в еврейскую кровь гайдамацкую. Почти все литовские евреи, ремесленники, были хилы. На спардеке у трубы устроилась семья субботников, украинцев, принявших еврейство; он, муж, кроме украинского языка знал еще древний еврейский, — она же, жена, умела говорить только по-украински; все дни она сидела так, как сидят, отдыхая, русские бабы, на полу, широко расставив ноги; голова мужа лежала у нее на коленях и она искала у него в голове вшей, — впрочем, это в то время, когда они не молились. Старики-евреи попросили у капитана место для молений; капитан отвел им пустое трюмное помещение. Там в этом пустом трюме света не полагалось. Там была сделана моленная. Там горел десяток свечей, и все же был мрак. Там пахло так, как всегда пахнет в трюмах — и как пахнет в гетто. Там на полу, кто на чем примостился, сидели старики в талесах, в ермолках, с коробочками тфилнов на головах с кожаннопереплетеными книгами. Из трюма по жилым палубам неслись песнопения. Там, в трюме, нечем было дышать, глаза резало удушье свечей, там было очень жарко, — и круглые сутки там молились люди неведомому, страшному Адонаи неистово, страстно, обреченно. Субботник-украинец молился здесь со всеми остальными, так же, как остальные, закидывая высоко горе голову. Молодежь все время митинговала на баке. Классных пассажиров было немного, это были зубные врачи, несколько актеров (один из этих артистов приходил к капитану со следующими словами: «Простите, гражданин капитан. Я артист московских больших и малых театров, оперный артист. У меня билет до Яффы третьего класса. Нельзя ли мне устроиться во втором, там есть свободные каюты» — —; зубные врачи, актеры, маклер все время были на спардеке, пили чай и ели из кулечков, запасенное с земли; их жены на подбор были толсты, откормлены; они нежились на шезлонгах и около них

болтались молодые штурмана и практиканты; мужья несколько раз принимались за преферанс.

В первый вечер моря необыкновенно умирало солнце. Торжественная проходила тишина, — и тогда море и мир, все проваливалось во мрак, а звезды стали такие, что, что — нельзя было подобрать к ним сравнения. В этот час никого не было на спардеке, кроме Александрова: евреи от торжества сошествия ночи ушли к своим койкам. Над водой стал месяц и быстро пошел в небеса, рядом с яркой звездой; по морю, в синем мраке, легла от месяца дорога — и Александрову стало ясно, что, если у турок всегда такой полумесяц, как этой ночью, византийской вязи, то понятно, почему у турок, у ассиров, у мидян, у египтян были ночные, лунные цивилизации. Около месяца, застежкою, горела яркая звезда.

Утром судно пришло к Босфору, к Геллеспонту, к этому красивейшему, величественнейшему в мире земному месту, где склонились друг к другу горами Европа и Азия. Вода и небо были ослепительно сини. Солнце грело жарко. С земли дул ветер, гудел в вантах, — и от этого ветра еще лучше было солнце: такой ветер должен все раздувать, оставляя свою синь и солнце... Впрочем, вода была синей только в проливе, под бортом парохода и у берегов она была зелена, как яхонт. Направо на европейском берегу и налево на анатолийском росли фиговые леса. На вершине горы главенствовали над проливом развалины сердцеподобной генуэзской крепости. На взморье было до десятка пароходов, их гуды отдавались многими эхами. Справа и слева с моря шли фелюги, под косыми своими парусами, пестрораскрашенные. Судно прошло в Кавак, в контроль. В бинокль на берегу были видны очень маленькие и пестрые восточной архитектуры трехэтажные домики, стоящие прямо на воде так, что под домами были устроены для каиков гаваньки. Над одной из гаванек была кофейня, на терраске над водой сидели люди за кальянами. Судно приняло полицию, врача и пошло на карантинный пункт, в баню. Опять за бортом зашелестела яхонтовая вода, опять задул ветер, тот, который необходим солнцу.

Впрочем, солнце, небо и землю наблюдал только один Александров, потому что остальные пассажиры были настроены так же, как, должно быть, перед погромами.

Никогда не плохо человеку помыться в бане, — но то, как делали это турки, когда они категорически гнали мыться в баню пятьсот взрослых человек, причем никто из этих людей в дальнейшем своем пути не имел права выходить на берег в Турции, — это было похоже на издевательство. К бане готовились еще с вечера, шептались, спорили, — старухи ходили к капитану, объясняли про свои болезни и просили заступничества капитана, не веря ему, что он бессилен оградить от мытья. Капитан сначала сердился, потом развеселел и рассказывал женской делегации о том, что в турецких банях моют евнухи, что в турецких банях есть такая специальная персидская грязь, от которой слезают волосы и которой турки моются, ибо магометанский закон не допускает волос на теле, и что этой грязью будут мыть женщин. Одна старуха, вполне серьезно, чтобы не ходить на мойку, скоропостижно забеременела, но ее же соседки подняли ее на смех и вытащили у нее из-под юбки подушку.

Судно отдало якорь около бани. С судна были спущены на воду три вельбота. Опустили два трапа. На палубы набрались добродушные турки, полиция и санитары. Карантинный флаг был снят. Домики на берегу под платанами мирно дымили, дымок уходил в горы, — в анатолийские просторы и синь. Все было очень пустынно. И такой был синий под солнцем ветер. Доктор по списку стал выкликать — Розенфельд, Геликман, Френкель, Кац, Карп! — и по трапам на вельботы поползли с узелочками люди, к бирюзе воды.

— Ямайкер! — вызвал доктор.

Никто не откликнулся.

— Ямайкер! — повторил врач.

Ямайкера пошли искать по палубам. Погрузка остановилась. Ямайкера нашли не скоро, он спрятался где-то в машинном подвалами. Два турецких полицейских привели на палубу старого, очень худого человека, клинобородого. Лицо его было испуганно, борода дрожала. Он говорил о том, что жена и ребенок записаны в другом списке, и он хочет ехать вместе со своей женой. Вельбот покачивался вниз на волнах, набитый людьми. Человек с кошелкой для белья, в пенсне, крикнул оттуда сердито:

— Товарищи, что за шуткэ! Прошу относиться к делу серьезно и не понимаю, из-за чего и почему шум — —

...Поистине, пароход шел по векам. Босфор, Золотые Ворота, Геллеспонт — здесь прошли все народы мира. Каждый камень, каждая развалина есть здесь память веков, от дней доисторических до норманнов, до памятника Олегу в том месте, где он поставил свои струги на колеса. Судно заходило во многие порты, но эмигранты не выходили на землю. Судно шло солнцем, морем, простором, Эгейей, там, где совершенно понятно, почему греки создали такую прекрасную мифологию, ибо Паросы, Андросы, Лесбосы, Скарпанто, Скапилосы сами по себе фантастичны, как греческий эпос, — судно шло невероятной синью моря, неба, гор, луны, восходов, закатов, дней: переселенцы не видели этого, не хотели или не умели видеть, — это проходило мимо них так же, как прошли те века, когда они не были на родине. Они не заметили, как увидел Александр Александрович Александров, что афинский Акрополь есть ключ ко всей европейской *дневной* цивилизации, этот белый, выжженный белым солнцем, единственнейший комок мрамора, ключ к истории тысячелетий, где ныне сторожиха сушит после стирки красные панталоны. Александр Александрович Александров балдел, сходил с ума, у него на бок съезжал галстук; на автомобиле он мчал в Айю-Софию, поминал, что в этой церкви янычары в один день зарезали сорок тысяч греков (точно так же, в скобках, как в шестнадцатом году двадцатого века неподалеку в Дарданеллах были убиты и зарезаны те же тысячи людей, англичан, французов и турок, о чем памятью остались выскочившие на берег английские дредноуты, — точно так же, как в тысяча девятьсот двадцать первом году Мустафа Кемаль-паша, обложив тяжелой артиллерией Смирну, предложил грекам в двадцать четыре часа уйти из Смирны, всем до одного, от солдата до новорожденного, — и, когда греки не успели уйти, — сначала — тяжелой артиллерией — расколотил суда на рейде, а потом разбил, разгромил, сжег город, скинув в море до двухсот тысяч греков, солдат, женщин, стариков, детей, — оставив на обгоревших улицах, в мраморе, покой для сов, поселившихся там). Александров понуро смотрел на те несметные кладбища, города смерти, что на десятки верст могильных камней полегли вокруг развалин Стены Константина в Византии, — и весело поглядывал на могилы сорока

султанских жен, зарезанных султаном потому, что он не знал, которая из них — одна — изменила ему... В Эдикюле показывали колодезь крови, где турки рубили головы всем, начиная с султана.— — По землям Анатолии прошли все народы. В пыли лежат развалины Сард, Эфеса, Пергамы, Магнезии, Милета, Галикарнаса. Смирнская провинция памятует трехтысячелетье, легшее на нее пылью. Магнезия, куда мчал на скверном автомобиле по скверному шоссе Александров, столица лидийских царей, переименована в Магнезию из Танталиды, основанной Танталом, — тем самым, который, украв нектар, едово олимпийских богов, угощал им своих танталидских гостей. И на Сипилском хребте, видном из Магнезии, видна женщиноподобная скала Ниобеи, о которой сообщено Геродотом и воспето Овидием — то обстоятельство, что скала эта возникла из окаменевшей от горя Ниобеи. В Галикарнасе родился Геродот, — ныне там пыль и запустение, и несколько турецких лачуг. В Эфесе, в ночь рождения Александра Македонского, Герострат сжег храм Дианы-Артемиды, — чтобы прославиться: и Александров задирал вверх голову, чтобы посмотреть развалины храма. В самой же Смирне, в теперешних ее развалинах, ютятся совы, но здесь, по преданию, родился и писал Гомер, — и здесь же до сих пор, — ныне в развалинах, на мостовых, построенных римлянами, по которым шли римские когорты, — пляшут под арфы левантийские танцовщицы, пляшут танец живота, застрявший из веков, и мажут себя перед танцем из веков же застрявшей амброй. В Эгейском море, в Греческом архипелаге каждый день из сини благословением выходило солнце и благословением закатывалось, чтобы народить необыкновенную луну. Море — синевой — проносило судно мимо островов, где каждый остров — история и легенда. Ночами светила луна, и ночами на небо поднимались звезды, такие, которых никогда не видно из Лондона, Берлина, Москвы, — в полночь на несколько минут на кварту из-за горизонта выходило таинственное созвездие и сейчас же скрывалось за горизонтом. Ночью же судно прошло мимо Сенторинского вулкана, мимо этой стихии земных недр, вулканом выбрасываемых в небо. Луна меркла от вулканного красного света, было слышно, как дышит вулкан. Лицо капитана, око-

ло которого стоял Александров, было зловеще в этом красном мраке. Было очень величественно. Но на судне никто не видал этого. Александров неистовствовал от земель, городов, солнца и луны.

На судне почти не было событий. Каждое утро боцман мыл палубы, и тогда роптали палубные пассажиры, ибо приходилось перетаскивать с места на место вещи, — но шланга боцмана смывала за борт очень много грязи и объедков. В портах к пароходу подъезжали каики, и помощью веревок велась торговля инжиром, финиками, маслом, табаком, хлебом, — и тогда борт парохода походил на местечковую ярмарку, мелочную и очень шумную. Среди классных пассажиров было известно, что такая-то жена зубного врача забегает грешить в каюту радиста, и об этом знали все, кроме мужа. Поговаривали, что матросы понабрали себе жен на рейс с нижней палубы, но это делалось незаметно. Раза два были ссоры, в которые вмешивался капитан, чтобы примирить, когда возникали два ссорящихся коллектива. Однажды, уже в Средиземном море, на юте был большой шум: старик-отец ночью, проходя из моленной, увидел, что дочери его нет на месте; он пошел ее искать и нашел лежащей с юношей за якорями. Отец ее проклял. И утром толпа стариков, вместе с отцом, громко проклинала ее, на древнем языке. Она стояла у решетки фальшборта, над ней повисали проклинающие руки, вокруг нее тряслись седые бороды, и было непонятно, почему она не бросается за борт от безобразия и — почему это старики только орут, но не избивают ее камнями. Девушка же была покойна и, когда зацеплялась за кого-нибудь взглядом, покойно говорила, одно и то же:

— Ну, и что? — Я еду из Тарбута, и мой жених из Тарбута, а он — мелкий торговец, мой отец — —

Судно протекало мимо Византии, Смирны, Пирея, Салоник, — судно шло синью Босфора, Дарданелл, Эгейи, Средиземья. Все это протекало мимо. Чем дальше шло судно, тем страстнее неслись молитвы из трюма, из моленной, тем жестче сжимались руки и глотки в молитве. Уже за недалекими синями — обетованная земля; изгнание — окончено. Каждый, кто ступит на землю отцов, поцелует эту землю, священнейшую, родину.

В Салониках, — городе, разбитом и разграбленном так же, как Смирна, где целые кварталы лежат в развалинах, — на пароход села семья греческих евреев, сефардим. Их было семеро: старуха-мать — бабушка, сын-отец, жена и дети. Это были евреи второго — испанского — пути рассеяния. Их предки расстались с предками едущих на пароходе полторы тысячи лет назад. В Салониках неимоверно жарило солнце, день был золот и синь. Эти евреи, конечно, ни слова не знали по-русски. Они поспешно взбирались по трапу. И на палубе вся семья — от старухи, которая шла впереди, до четырехлетнего ребенка, — все заплакали, все протягивали руки и, восклицая на древнем языке, все — они страстно, почти истерически, как братья, которые не виделись десятки лет, — попадали в объятья, страстно целовали всех евреев, что были на палубе. И те, что были на палубе, поистине, вставали в очереди, как в Москве в 1919 году за хлебом, чтобы поцеловаться, — пусть у некоторых это было формальностью. В моленной, в трюме — на железе палубы, на канатах, на подостланных матрацах — сидели люди в талесах и тфилнах, молились Адонаи; там чадно горели свечи и нечем было дышать — —

Однажды море развело волну, это было уже в Средиземьи. И море и небо посвинцовели, загудел в стройках на пароходе маистра, зеленая муть волн полезла на палубы. Люди тогда хворали морской болезнью. Человеческие тела завалили все палубы. Первыми затошнились женщины, потеряли в болезни стыд. Стонали, причитали, валялись, не следя за платьями, их рвало тут же на палубы, около их подушек и голов. Иные висели над бортами, и ветер метал их волосы. За бортом величествовали стихии. На борту страдали люди. Меж тел ходила команда, иных тащила к борту, иным притаскивала воды, иных водила по сортирам. Ходил по палубам молчаливый доктор, больные просили у него спасения, — доктор отмалчивался, лишь изредка, неизвестно почему, спрашивал у женщин таинственным голосом, — «а что, понос имеется?» — женщины поспешно рассказывали обо всем том, как варит их желудок, — и доктор проходил мимо. Когда доктор видел уж очень побледневшие лица, уж очень запекшиеся губы, он говорил санитарам, чтобы облили

холодной водой и относили на спардек, к трубам, на ветер и туда, где меньше качало. По палубам со шваброй ходил боцман, покойный человек; он подходил к тем, кто томился, и спрашивал: — «что, мутит?» — и производил тот звук, который не передать литерами, который производится во время рвоты, «ы-ык», — и человека сейчас же судорожно тошнило от этого звука; боцман шваброй растирал по палубам рвоту и говорил: — «Самое верное дело поблевать, сразу легче. Опять же я подмыл!» — За бортом стихийствовало море. В эти часы особенно много было людей в моленной. Во мраке там нечем было дышать от запаха рвоты. Огни свечей метались от качки. Там исступленно молились люди, страдающие качкой, горе поднимая запекшиеся бороды.

А в ночь перед Палестиной море гремело грозой. Во мраке исчезли небо и вода. Только молнии кололи и рвали небо и воду, и выл ветер, и гремел гром. Было очень странно смотреть, как, когда померкнет молния, светится еще — фосфорически — вода; — и тогда казалось, что грохочет громом не небо, а вода, вот та, что лезет на палубы, вот та, в которую зарывается нос судна. Всегда величественны и грозны грозы. На судне никто не спал, но все люди, табунами, забились по щелям, дальше от грозы, в страхе, в молитвах.

III

...Впереди была Палестина — —

На Урале в России, где-нибудь около Говорливого или Полюдова камня, выбился из-под земли студеный ключ, протек саженей десять и вновь ушел в землю, исчез. Проходил мимо этого ключа путник, наклонился, чтобы испить, — и не выпил ни капли, потому что вода солена до горечи, негодна для питья. Или прилег путник, чтобы испить, — и обжег губы, ибо горяча вода, как кипяток. Но путник встал, пошел дальше и забыл дорогу к этому ключу, забыл про ключ —

За грозами революций и войн, за делами, разбоем и буднями новых народов, правящих миром — республиканцев СССР, англичан, французов, немцев, китайцев, республиканцев Северо-американских соединенных

штатов, — за заводами Ланкашира, Рура, Токио, Чикаго, — за дипломатией Кремля, Вестминстера, Версаля, Потсдама: — как помянуть о том человеческом ручье, который протек на судне Торгового флота СССР из порт-Одессы до порт-Яффы? — и какой это ключ — студеный, горький ли солью, кипящий ли? — и к чему этот ключ, — что можно им отомкнуть, отпереть? — —

...Там, за синей мглой моря, была Палестина, эта страна выгоревшего камня, страна песков и зноя, — эта страна, где больше, чем где-либо, прошло великое разрушение древних цивилизаций, безводная страна, где только у оазов растут пальмы, — брошенная страна, ибо никто не вправе сказать, что это — его страна. В Палестине девять месяцев в году нет дождя, и тогда над землей стоят столбы красной пыли, и тогда такой жар над землей, жар пустыни, что нужны усилия фантазии, чтобы не спутать Палестину со сплошною печью. Потом три месяца подряд льют ливни, и люди тогда хворают папатаджей, страшной болезнью, окончательно изнуряющей (впрочем, так же, как в жары непривыкший человек погибает от болезни харара, изъедаемый москитами). В ливни Палестина превращается в болота. В ливни Иордан, обыкновенно шириной в уличную лужу, разливается до четверти ширины русской Москвы-реки. В ливни, в болестях папатаджи, люди заботятся о воде, в этой безводной стране, собирают ее в подземные цистерны, чтобы потом в девять месяцев бездождья пить эту дождевую муть, ибо другой воды нет в этой стране, кроме морской, которую опресняют по побережью морскими опреснителями. В этой стране естественно растут только кактусы, пища арабов, да у оазов пальмы. Здесь на камнях, со страшным трудом, арабы взращивают апельсины и касторовое дерево. В этой пустыне живут арабы и сафары, местные евреи. Их быт — быт пустыни, Корана и Библии: быт колокольцев на шеях верблюдов, этих тоскливых колокольцев в пустыне, быт осла, быт деревни за кактусами и за пальмами, где ручными мельницами женщины мелют зерна, женщины в чадрах, и куда не заходят европейцы в боязни быть убитыми, — быт пыльных городков с зловоннейшими улицами, где не разойдутся два верблюда и где обязательно запутается европеец, — с мечетями, где дворы мечетей превращены в постоялые дворы для ос-

лов, — с кофейнями, где левантийки и феллашки пляшут танец живота, — быт кальяна, мечети, синагоги, Корана, Библии, — беспаспортный быт, ибо даже англичане не в силах навязать арабам паспорта, — быт страшного солнца и величественной луны, когда воют в пустыне шакалы, — быт песков, которые ползут на Палестину из Аравии, — многовековый, старый, нищенский, тесный упорный быт. В Иерусалиме столкнулись святилища трех великих религий; мечеть Омара, где Магомет ушел с земли к Аллаху, — гроб Иисуса Христа в темном подземелии — и развалины Иерусалимской стены, стена еврейского плача; каждая из этих религий, пока она не умерла, не отдаст своих святилищ. Англичане пришли в Палестину «по мандату», в эту «мандатную» страну, с тем, чтобы создать Великое Арабское Государство, никому не нужное, кроме англичан, — и нужное англичанам к тому, чтобы проложить сухопутную дорогу в Индию. И англичане сделали из Палестины «национальный еврейский очаг», с тем, чтобы еврейским мясом колонизовать арабов — с тем, чтобы дать повод к горестной еврейской остроте (ибо еврейский народ всегда сам про себя выдумывает анекдоты), остроте о том, что в Палестине — власть английская, земля арабская, а страна — еврейская! Англичане жили в лагерях в Палестине, за пулеметами и солдатами, и в тот час, когда на окраинах под луной начинали выть шакалы, англичане скрывались в своих лагерях, за пулеметы. Евреи приезжали в Палестину — работать, хлебопашествовать. Первым делом — по сравнению с арабами и сафарами — они оказывались европейцами, по костюму, по манере жить, по понятиям, в своем неумении пить протухлую воду, в страданиях от жары, папатаджи и харары. Те евреи, которые приезжали с деньгами, ехали в Тель-Авив, в городишко около Яффы, куда запрещен доступ арабам и где можно было бы жить, если бы у человека было по сто восьмидесяти зубов, по десяти ног, и если бы человек носил бы сразу по полудюжине карманных часов, ибо тогда хватало бы работы на всех дантистов, портных и ювелиров, съехавшихся в Тель-Авиве; но у человека гораздо меньше зубов, — и те евреи, что приезжали с деньгами, попросту скоро становились нищими. Те евреи, которые приезжали через Тарбут и Гехолуц, шли в английские казар-

мы; сюда брались люди только до сорока лет, — там им давались одежа, обужа, пища и несколько пиастров, — и они мостили для англичан дороги, рыли канавы, высверливали воду, окапывались от ползущих песков, причем мужья жили в одних бараках, а жены в других, — их кормили англичане за длинными казарменными столами, и вечером казармы запирались. Третья волна евреев шла на землю, та, которой посчастливилось получить денег от барона Ротшильда или с американских подписных листов, — тогда они копали камень, рыли гряды, ссаживали в неуменьи руки, изнывали от жары, наспех читали брошюры по сионизму, жили в палатках, — а ночью, когда поднималась луна и выли гиены, брали винтовки и караулили поля, ибо арабы не утеряли еще память о филистимлянах, восстанавливали филистимские времена и нападали ночами на евреев. Англичане не смешивались с евреями и арабами. Евреи не заходили в арабские деревни. Арабы не пускались в еврейские поселки. В пустыне глухо позванивали бубенцы верблюжьих караванов. На Иудейскую долину наползают пески пустыни. В Хайфе надо часами путаться в арабских закоулках, в зловонии, — можно часами любоваться — европейцу ослиным постоялым двором под мечетью и базаром, тут же около мечети. Главная улица Тель-Авива нищенствее, но похожа на Уайт-Чапль-стрит в Лондоне и на одесскую Дерибасовскую. В Яффе — на глаз европейца — такая теснота в переулках, такая красота, такая экзотика, — так необыкновенны эти широчайшие белые штаны арабов, пестрота народов, красок, лиц, звуков, — под этим воспаленным солнцем, — так прекрасны, так красивы сафары и сафарки, библейские евреи, мужчины на осликах, в белых хитонах, с пейсами до плечей, с лицами, похоронившими в себе тысячелетье, — женщины, единственные здесь, кроме европеек, с непокрытыми лицами, — с лицами, скопившими в себе тысячелетия красоты Сиона — —

...Ночь перед Палестиной в море неистовствовала грозой. И всю ночь перед Палестиной страстно молились евреи, — перед той прекрасной, обетованной землей, их родиной, где не были они два тысячелетия, — молились в страхе, в стихиях, в громах, посланных им Адонаи, — молились, должно быть, так же страстно, как молились в этом море многажды, несколько тысяч лет назад, в золотой век Ассирии, Лидии, Египта, Греции,

когда здесь, в бурях и грозах, гибли галеры и на галерах молились люди, — молились так, как молятся перед гибелью.

Тогда к рассвету стихла гроза, и на рассвете в синей мгле возникла желтая земля пустыни, пески, камень, — только очень далеко вдали, за песками были видны синие горы. Люди вышли на палубу. Люди принарядились, чтобы крепче подчеркнуть свою нищету — нищету смокинга в утренний час. Капитан сверкал кителем. Александров вышел на палубу в огуречном шлеме, нарядный, свежевыбритый, в белом костюме. Вода была зелена. Небо синело так, что об него можно было вымазаться. Судно блестело чистотой. Краски и солнца, и воды, и неба, и судна были совершенно первородны, голы, без полутеней, точно их вырезали ножницами. Берег стал ближе, видны стали пальмы на берегу, белые груды домов, мечеть, два парохода на рейде, фелюги, каики. И моторная лодка пошла к пароходу. Люди на палубах были в священной строгости, торжественны. Гехолуццы столпились на спардеке, рядами, готовые запеть свой гимн, в задних рядах был приготовлен сионистский флаг. Старики и женщины были готовы упасть на священную землю, чтобы поцеловать ее, и готовы были целовать тех, кто сейчас придет за ними.

Судно пришло в Палестину 1 ноября: несколько лет тому назад 2 ноября министр сэр Бальфур написал лорду Ротшильду о национальном еврейском очаге в Палестине. Моторная лодка пристала к шторм-траппу. Трое — три англичанина в военной форме, офицер и два сержанта — вошли на борт. Гехолуццы на спардеке закричали ура, запели гимн, заприветствовали, — старики бросились вперед с простертыми руками, спросить и узнать: — ни один мускул не дрогнул на сухих, вывяленных лицах англичан, они прошли мимо толпы, точно толпа была пуста. Англичане прошли на мостик к капитану, улыбнулись, поздоровались, спросили о море, и о погоде, сострили. Капитан широкоруко «вэриматчил» и «иэзил», разводил руками, хохотал, предложил русской водки и икришки. Англичане не отказались, белоснежный лакей за тентом на спардеке заблестел кофейником, салфетками, тарелками, кеглей летая мимо толпы. Англичане были озабочены и за водкой обсуждали совместно с капитаном — нижеследующее: назавтра, 2 ноября, в день декларации Бальфура, ожида-

лось антиеврейское выступление арабов, англичане не имели права сразу выпустить евреев на землю, без карантина и бани, баня же могла пропустить только триста человек, — а карантин стратегически так был расположен, что можно было ожидать нападения на него арабов; англичане предлагали судну уйти на эти дни в море; капитан широкоруко хохотал, пил водку и доказывал, что каждый день простоя стоит ему двести фунтов, — тем паче, что пассажиров надо кормить; тогда стали торговаться о цене. Англичане пили водку не хуже капитана. Капитан и англичане за водкой хитрили больше часа. Тогда англичанин, офицер, вышел к толпе и сказал о том, что они, англичане, триста пассажиров примут здесь в Яффе, по алфавиту, кроме первого и второго классов, которые могут сойти с парохода без карантина, триста человек, — остальные же будут отвезены пароходом в порт-Хайфу, в хайфский карантин. Говорил англичанин по-русски. Англичанин сказал евреям, что они должны быть осторожны, запретил петь гимн, чтобы оправдать гостеприимство арабов. Англичанин сказал, что он, подплывая на катере, видел сионистский флаг, — и англичанин предложил флаг сдать ему, англичанину. Толпа гехолуццев окаменела. Англичанин твердо попросил его не задерживать, — но сам не тронул флага, глазом указав сержанту принять его и убрать. Тогда англичане ушли на катер, ни мускулом не простившись с толпою, и с парохода видели, как в зеленой воде поплыли синие лоскутья знамени. Тогда не стоило уже говорить об огне глаз приехавших в обетованную землю, ибо на борту стояла растерянная толпа, избитая так же, как избивали в древности камнями, — такая толпа, какою она была многажды, в дни еврейских погромов, — такою, когда еврею всячески хочется доказать, что он не еврей. И тогда на место англичан приехала на каике делегация местных евреев, представители разных организаций, — чтобы начать приемку приехавших; среди них были и женщины, и у всех у них почему-то были очень пыльны ноги; точно они прошли огромные десятки верст; никаких приветствий не было; делегация села за столик и стала выкликать — Авербах, Альтшуллер, Аронсон. Первым сошел с парохода Александров, потому что у него была виза корреспондента и туриста, — а с десятым пассажиром, с женщиной — —

— — ей было сорок два года, она приехала через Тербут, гехолуцдка, — и ее не выпустили на берег, она должна была плыть обратно, потому что англичане пускали в Палестину гехолуццев только до сорока лет, так как, должно быть, люди после сорока лет уже не годились для палестинского режима, женщина плакала и говорила, неизвестно, к чему, что она девственница, — она действительно, должно быть, была девственницей, и у нее никого не осталось в России, — брат ее был в Палестине. Ее оставили на борту, не пустили на берег, и брат махал ей — растерянно — кепкой с лодки — —

Порт-Яффа — в сущности — никакой порт, ибо он с трех сторон открыт ветрам, а каменные рифы у берега только увеличивают опасность для пароходов, стоящих на рейде. Но всегдашняя волна на рейде приучила гениально работать арабов: на волне они работали лучше, чем турки у Золотого Рога. Ночью в тот день был шторм, теперь шла волна. Шаланда, ставшая у борта парохода, вставала на дыбы. Арабы — красивейший, сильнейший народ — плясали на пляшущей шаланде и очень шумели. Цепь арабов стала на траппе и на борте. Они ссаживали на шаланду пассажиров. Араб на борте подхватывал пассажира или пассажирку, поднимал на воздух и бросал вниз на трапп, там подхватывал второй араб и сбрасывал дальше; пассажир летел над водой, — но внизу на кипящей, на встающей на дыбы шаланде подхватывали двое уже арабов, и обалдевший, перепуганный, орущий или визжащий пассажир летел на уготованное ему место на банке; в это время летел уже дальнейший пассажир, и первый не успевал опомниться и рассесться, как пустое около него место занимал следующий обалдевший. Когда шаланда была окончательно набита людьми, она уходила — не на землю, которую так долго ждали, чтобы поцеловать, — а: в баню, где по команде мыли взрослых людей — —

Путь был закончен. Или начат? — —

...Команду парохода англичане не выпустили на берег, сошли только капитан и Александр Александрович Александров. Отвал был назначен на полночь. Но капитан распорядился, чтоб, если будут сильнеть волна и ветер, или раньше срока восстанут арабы, — давать гудки и разводить пары.

Александров на каике приплыл в гавань, прошел каменными лабазами и закоулками, вышел на площадь во всекрасочную толпу, арабов, евреев, ослов, верблюдов, мулов, автомобилей, пальм, хибарок, кофеен, лавочек с луком, финиками, апельсинами, кактусовыми шишками. Александров у стойки, выходящей на улицу, выпил мастики, раз, два и три. Шлем его сполз на затылок, сухие губы под английски-подстриженными усами полуоткрылись, открыли золото зубов, лицо обливалось потом, было стремительно, чуть-чуть хищно. Он купил себе английских сигарет, сладко закурил, — пошел по пальмовой аллее, где под пальмами неподвижно сидели, поджав под себя ноги, арабки, в белых чадрах, карауля верблюдов и поджидая мужей, и где не так уж вопили торговцы. Там он кликнул себе автомобиль, скомандовал мчать в пустыню, в Тель-Авив, в Иудейскую долину, — машина пошла мимо кактусов, мимо бесконечных кладбищ, мимо пальм, мимо арабской деревни (Александров приказал остановить машину, хотел пройти по этой деревне, — за кактусами тесно столпились белые мазанки, стали кружком ослы, головами вместе, сидели на порогах женщины; шофер, с которым Александров до этого говорил по-английски, непокойно сказал — по-русски, с одесским акцентом: — «Не стоит туда ходить, неприятность будет».— «Почему?» — спросил Александров.— «Так, знаете ли, еще чего доброго убьют», — ответил шофер). Мчали мимо огородов, возделанных лопатой, — и пустыня оказалась рядом, в нескольких километрах: красновато-желтые пески, волна за волной, точно умершее море, — и пески уходили за горизонт, даже пальмы не торчали в песках, — и оттуда, с песков, веяло нестерпимым жаром, испекающим. Машина вернулась, чтобы мчать по Иерусалимскому шоссе, в Иудейскую долину, — влево на песчаных и на каменистых холмах остался Тель-Авив, «холм весны». Прошел навстречу запыленный отряд, вздвоенными рядами, — ашомер, — еврейской вооруженной стражи, — винтовки и покрой одежды были английские, лица были утомлены и пыльны — —

В десять часов капитан и Александров встретились, как уславливались, в портовой таверне. На пороге кофейной стригли мальчику голову, голова была в струпьях, и из-под струпьев ползли вши. Трое играли на непонятных инструментах очень тоскливое, как пусты-

ня, и сплошь дискантовое, — четвертый бил в бубен. Сначала плясали два мужчины, араба, потом еще пара мужчин в женских платьях, — потом плясала старуха, очень грязная, но продушенная амброй. Александров пришел пьяным: капитан, который выпил вдвое больше Александрова, был благодушно трезв. Александров махал палкой, говорил об ослином постоялом дворе, о красавице-сафарке, о тартуше, куда его завез выпить напитка из индийского дерева шофер и где он напился дузики, — записывал что-то поспешно в блокнот, — смотрел с восхищением, как пляшут два плясуна в женских нарядах. Нарядный костюм Александрова был пылен и растерзан.

Капитан наклонился над Александровым, сделал серьезное лицо, расправил усы, помолчал и заговорил:

— Александр Александрович, я хочу вас спросить, извините, — вы на самом деле еврей?

— Да, еврей.

— Извините, Александр Александрович, — ну, вот, вы приехали на родину, ну, вы все видели, как мы везли их, как их приняли, — ну, вообще...

И Александров заговорил поспешно, весело:

— Я совсем обалдел от красоты. Я, ведь, во всех портах выходил, как только отдавали якоря, выходил на берег и ложился спать, только когда уходили в море. Я первый раз вижу это солнце, эти синь, тепло, море, горы, историю наяву, в руках. У меня море спуталось с греками и солнцем, с днем, — а Мустафа Кемаль-паша и его революция непременно связаны с ночью Ирана, Азии, Ассирии, Сирии, — и исторические века человеческой культуры непременно связаны одною силой с Сенторинским вулканом; силы, толкающие лаву из вулкана, — это именно те силы, что толкают человеческие цивилизации, что толкнули нас, коммунистов, на мировую революцию. Мои предки жили и здесь, в Палестине, и в Риме, и в Испании, и в — черт их знает, где они жили эти тысячи лет! Те, что приехали сюда, что-то сохранили за эти тысячи лет, — у меня ничего не сохранено, ни один народ, ни одна страна мне не мать, я все могу только любить и видеть. Вы заметили, те, что ехали на судне, никуда не смотрели, ничего не видели. У меня нет родины, моя родина и мои родичи — весь земной шар и все люди, — я интернационален, потому что я две тысячи лет терял родину, и я коммунист, по-

тому что я умею видеть, у меня есть ремень, приводной ремень, который, я знаю, который перемашинит весь мир. Я хочу и умею видеть. Весь мир мне родина. Я смотрю на этих танцоров, — из них прут века, так же, как из Стены Плача, так же, как из русского мужичишки, как из английского потомственно-почетного рабочего, как из Синторина, как из Акрополя. Это мой приводной ремень. У меня, быть может, есть холодок веков моих предков, — я лучше вижу, чем люблю: но — тем лучше я вижу! Вот этого танцора я люблю, потому что вижу, статистически вижу —

— Вам все равно, что Россия, что Англия, что Япония, что Палестина? — спросил капитан.

— Все равно! — мне — —

Капитан неодобрительно пожевал губами, посмотрел косо, и первый раз стало заметно, что капитан — подвыпил. Капитан расправил усы и сказал таинственно:

— Вы, стало быть, антисемит? — Я в партии с 1917 года, всю гражданскую войну на плечах вынес, — а вот тоже не люблю еще японцев. Придешь к ним в порт, положим, в Токио, а они — черт знает что за народ! — и капитан сделал до слез презрительную рожу.

...У полночи капитан и Александров возвращались на борт. Шли они, дружно обнявшись, не спеша, покачиваясь. Пароход на рейде давно уже отгудел третьим гудком. В порту было темно, и мыльными пятнами ложились лунные блики на камень, по которому, быть может, хаживали и Иисус Христос и цезарь Тит. Луна огромными осколками ломалась в море. В каике спали арабы, поджидавшие капитана. Капитан разбудил ближайшего, тот улыбнулся, сказал дружелюбно — «москоби, большевик!» — и растолкал товарищей. Где-то совсем рядом провыл шакал. Проснувшиеся арабы заклекотали, как клекочут орлы, просыпаясь перед рассветом. Синяя волна обсыпала большими и малыми осколками луны, качнула, не пустила каик от берега. Арабы заклекотали, потащили лодку, пошли за ней в воду. Тогда волны приняли каик в свой ритм. И в ритм волнам и в ритм веслам, как птицы, опираясь одной ногой о банку и отталкиваясь другой от борта, повисая над водой, похожие на птиц, загребли арабы. И чтобы грести дружнее, они ободряли себя короткой, гортанной песней, значащей приблизительно то же, что российская дубинушка. Они всклекотывали:

Мы, мужчины, молодцы! Мы, мужчины, молодцы!
Боже мой, путь еще не кончен! — путь еще далек!

IV

Вот арабская песня:

Мастер, осторожней касайся глины,
когда ты лепишь из нее сосуд, —
быть может, эта глина есть прах возлюбленной,
любимой когда-то: —
так осторожней касайся глины своими теперешними руками.—

На Урале в России, где-нибудь у Полюдова камня, идешь иной раз и видишь: выбился из-под земли ключ, протек саженей десять и вновь ушел в землю, исчез. Наклонишься над ключом, чтобы испить, — и не выпил ни капли: или солона вода, или горяча вода, а иной раз и не хочется пить, но наклонился и — нет сил оторвать губ от воды, — так хороша она. И вот тут, лежа у ручья, видишь, как один за одним — сотни, тысячи — гуськом ползут муравьи, падают в воду, плывут, тонут, ползут: эта армия муравьев пошла побеждать, умирая...

...Судно шло обратной путиной. Было 3 ноября, — через четыре дня наступала годовщина Русской революции. На судне были будни. На спардеке заседал судком — судовой комитет. Годовщину революции приходилось праздновать в море. Общее собрание вырешало, как провести праздники. Александрову поручили проредактировать стенгазету. Затем все принялись за уборку судна. Подвахта кочегаров примостила к трубам доски на манер того, как примащивают их каменщики и маляры на постройке новых домов в России, — залезла на эти доски, повисла на них и размалярививала заново трубы, пела про камаринского мужика.

Капитан лежал в шезлонге, с блокнотом на коленях: писал воспоминания об Октябрьском перевороте в Одессе.

Москва, на Поварской.
Декабрь 1925.

РАССКАЗ О ТОМ, КАК СОЗДАЮТСЯ РАССКАЗЫ

I

В Токио случайною встречей я встретил писателя Тагаки-сана. В одном из литературных японских домов меня познакомили с ним, чтобы больше мы никогда не встретились, — и там мы обменялись немногими словами, которые я забыл, запомнив лишь, что жена у него была — русская. Он был очень сибуй (сибуй — японский шик — оскоменная простота), — оскоменно просто было его кимоно, его гэта (те деревянные скамеечки, которые носят японцы вместо башмаков), в руках он держал соломенную шляпу, руки у него были прекрасны. Он говорил по-русски. Он был смугл, худощав и красив, — так, как могут быть красивы японцы на глаз европейца. Мне сказали, что славу ему дал роман, где он описывает европейскую женщину.

Он выветрился бы из моей головы, как многие случайно встреченные, если бы — —

В японском городе К., в консульском архиве я наткнулся на бумаги Софии Васильевны Гнедых-Тагаки, ходатайствовавшей о репатриации. Мой соотечественник, секретарь генерального консульства товарищ Джурба, повез меня на Майю-сан, в горы над городом К., в храм лисицы. Туда надо было сначала ехать автомобилем, затем элевейтором, — и дальше надо было идти пешком тропинками и лесенками по скалам, на вершину горы, в чащи кедрового леса, в тишину, где тоскливейше гудел буддийский колокол. Лиса — бог хитрости и предательства, — если дух лисы вселится в человека, род этого человека — проклят. Во мраке кед-

ров, на площадке скалы, три стороны которой падали вниз обрывами, стоял монастырообразный храм, в алтарях которого покоились лисы. Там было очень тихо, и оттуда широчайший открывался горизонт на цепи горных хребтов и на Великий океан, в бесконечности горизонта уходящий в ничто. — Все же неподалеку от храма, еще выше в горах, откуда видна и другая сторона горной цепи, мы нашли трактирчик с холодным элем. Под эль, под шум кедров и над океаном — очень не плохо могут собеседовать два соотечественника. И тогда мне товарищ Джурба рассказал ту историю, ради которой я вспомнил писателя Тагаки и ради которой я пишу этот рассказ.

Тогда там, на Майю-сан, я думал о том, — как создаются рассказы и о том, что очень трудно убить человека, но гораздо труднее пройти через смерть, так предуказала биология человека.

Да: как создаются рассказы? —

Вечером в тот день я вырвал бумагу, где София Васильевна Гнедых-Тагаки изложила свою биографию со дня своего рождения, неправильно поняв правило о том, как репатриирующиеся должны дать автобиографическую справку. Биография этой женщины — для меня — начинается с того момента, когда корабль пришел в порт Цуруга, — биография необычная и короткая, выключившая ее из тысяч биографий провинциальных русских женщин, живописать которые следует по статистическому — номографическому — способу, выборочной описью, ибо схожи они, как два лукошка — лукошка первой любви, обид, радостей, мужа и ребенка для пользы отечества и очень немного прочего...

II

В рассказе есть он и она.

Во Владивостоке я был однажды, в последних числах августа, — и навсегда я запомню Владивосток городом в золотых днях, в просторном воздухе, в крепком ветре с моря, в синем море, в синем небе, в синих далях, — в черствой той пустынности, которая напомнила мне Норвегию, ибо и там и тут земли обрываются в океан лысыми глыбами камней, одиночествующих оди-

нокими соснами. Существенно говоря, это только прием — описаниями природы дополнять характеры героев. Она, София Васильевна Гнедых, Соня Гнедых, родилась и выросла во Владивостоке.

Я пытаюсь представить — —

она окончила гимназию, чтобы стать учительницей, пока не придет жених: и была она такою девушкой, каких тысячи было в старой России. Пушкина она знала, должно быть, ровно столько, сколько требовалось по програме гимназии, и, наверное, она путала понятия слов — этика и эстетика, как и я однажды спутал их, щегольнув в сочинении о Пушкине, написанном в шестом классе реального. И, конечно, она и не знала, что Пушкин начинается как раз за программою гимназии, точно так же, как ни разу она не задумалась о том, что люди свой аршин пониманий считают нормой всему, когда все, что выше и ниже пониманий, кажется человеку глуповатым или просто глупым, если сам этот глуповат. Чехова она прочла всего, потому что он был в приложении к «Ниве» у отца, — и Чехов знал, что эта девушка «прости, господи, глуповата». Но, коли на память пришел Пушкин, то эта девушка могла быть (и мне хочется, чтобы так и было), — могла быть — глуповатой, как поэзия, как и подобает осьмнадцати годам. Она имела свои понятия: — красоты (очень красивы японские кимоно, как раз те, которых не носят японцы и которые производятся японцами для иностранцев), — справедливости (когда справедливо она перестала кланяться прапорщику Иванцову, разболтавшему об их свидании), — знаний (когда в чемодане знаний лежало убеждение, что Пушкин и Чехов — великие писатели, — во-первых, необыкновенные люди, — а, во-вторых, теперь перевелись, как мамонты, потому что теперь ничего необыкновенного не бывает, ибо пророков нет не только в отечестве, но и в своем времени)... Но, если писательские условности описаниями природы дополнять характеры героев — могут жить на бумаге, — то пусть эта девушка, во имя глуповатой, прости, господи, поэзии, будет четка и прозрачна, как небо, море и камни дальневосточного российского побережья.

Свою автобиографию Софья Васильевна исхитрилась написать так, что ни по консульской линии, ни по моей — выудить оттуда многого невозможно, кроме

недоумения (для меня, к слову сказать, не очень большого), — недоумения в том, как ухитрилась эта женщина пройти мимо всего, чем жили мы в эти годы. Как известно, японская императорская армия была на Дальнем российском Востоке в 1920 году затем, чтобы оккупировать Дальний Восток, — и известно, что изгнаны были японцы партизанами: ни словом об этом не упоминается в биографии.

Он — был офицером генерального штаба императорской оккупационной японской армии. Во Владивостоке он квартировал в том же доме, где снимала комнату и она: в Сибири употребляется вместо слова «квартировал» слово — «стоял», — они стояли в одной квартире.

Вот выписки из биографии —

«...его не называли иначе, как «макака»... Все очень удивлялись, что он два раза в день принимает ванну, носит шелковое белье и на ночь надевает пижаму... Потом стали его уважать... Вечерами он всегда сидел дома и вслух читал русские книги, стихи и рассказы незнакомых мне современных поэтов, Брюсова и Бунина. Он хорошо говорил по-русски, только с одним недостатком: вместо «л» произносил «р». Это и послужило поводом для знакомства: я стояла у двери, он читал стихи, а потом стал тихо петь:

Дышара ночь...

я не удержалась и рассмеялась, а он открыл дверь, так что я не успела пройти мимо, и сказал:

— Извините, невежириво приграшать мадемуазерь. Разрешите мне визитировать вас.

Я очень смутилась, ничего не поняла, сказала — «извиняюсь!» — и прошла к себе. А на другой день он пришел ко мне с визитом. Он подарил мне очень большую коробку шоколадных конфет и сказал:

— Я просиру разрешения визит. Пожаруйста, шокораду. Какое ваше впечатерение погода?..»

Японский офицер оказался человеком с серьезными намерениями, совсем не то, что прапор Иванцов, который назначал свидания на темных углах и лез целоваться. Он приглашал в театр в первые ряды и не за-

манивал после театра в кафе. Соня Гнедых написала маме письмо о серьезных намерениях офицера, — — в биографической же своей исповеди она подробно изложила, как однажды вечером, засидевшись у ней, офицер вдруг померк, лицо его полиловело и глаза налились кровью, — он сейчас же вышел из комнаты, — она поняла, что в нем вспыхнула страсть, — а она долго плакала в подушку, ощущая, как физически страшен ей этот японец, расово чужой человек. «Но потом именно эти вспышки страсти, которую он умел так сдерживать, стали распалять мое женское любопытство». Она его полюбила.— Предложение он сделал — по-тургеневски, в мундире, в белых перчатках, в праздник утром, в присутствии квартирохозяев. Он отдавал свои руку и сердце — по всем европейским правилам.

«Он сказал, что он через неделю едет в Японию и просит меня поехать вслед за ним, потому что скоро в город придут красные партизаны. По правилам японской армии офицеры не могут жениться на иностранках, а офицеры генерального штаба вообще не могут жениться до определенного срока. Поэтому он просил меня держать нашу помолвку в самой строгой тайне, а до того времени, пока он не выйдет в отставку, жить у его родителей в японской деревне. Он оставил полторы тысячи иен и поручительство, чтобы я могла проехать к его родителям. Я дала свое согласие...»

По всему Дальневосточному российскому побережью ненавидели японцев, — японцы ловили большевиков и убивали их, иных сжигали в топках, расстреливали, — партизаны все хитрости пускали, чтобы уничтожить японцев, — Колчак и Семенов умерли, — московиты валились великою лавою, — ни строчкою об этом не обмолвилась Софья Васильевна.

III

И именно с этих пор начинается самостоятельная своя биография Софьи Васильевны, с того дня, когда она ступила на землю Японского архипелага, — биография, утверждающая законы больших чисел — статистическими исключениями.

Я не был в Цуруга, но знаю — что такое представляет собою японская полиция, полицейские, которых сами японцы называют — ину — собаками. Ину действуют деморализующе, потому что они торопятся, неимоверно говорят по-русски, опрос чинят, начиная с имени отчества и фамилии бабушки со стороны матери, объясняют — «японская поринция все хосит знать», — и клещами вытаскивают — «церь васего визита». Вещи японская полиция перетряхивает по способу с и н о б и , японской науки сыска, — не менее суматошно, чем душу. Цуруга — уездный порт, где нет ни одного европейского дома и лишь одни шалашки домов японских, порт, пропахший, должно быть, каракатицей, которую потрошат, жмут (на предмет выработки туши) и сушат тут же в порту. Вместе с полицией в этой японской провинции все спуталось еще и тем, что тот жест, которым во Владивостоке говорят — «поди сюда», — в Цуруга значит — «уходи от меня», а лица цуружан ничего не выражают, по правилам японского обихода скрывать свои переживания — всеми способами, — даже выражением глаз.

Софью Васильевну, должно быть, спрашивали — «церь васего визита», а имя и фамилию бабушки со стороны матери она могла забыть. Она пишет об этом коротко:

«Меня стали допрашивать о цели моего приезда. Меня арестовали. Я целый день сидела в участке. Меня все время допрашивали, какие у меня отношения с Тагаки и почему он дал мне рекомендацию? — Я тогда созналась, что я его невеста, потому что полиция сказала, что, если я не сознаюсь, меня с этим же пароходом пошлют обратно. Как только я созналась, меня оставили в покое и мне принесли рису и две палочки, которыми я тогда еще не умела владеть».

В этот же вечер приехал в Цуруга Тагаки-сан, ее жених. Она видела его через окошко, он прошел к начальнику полиции. Его запросили об этой девушке. Он поступил мужественно: он сказал, да, она его невеста. Ему предложили отправить ее обратно, — он отказался. Ему сказали, что он будет исключен из армии и сослан: он это знал. Тогда и его и ее отпустили. Он по-тургеневски поцеловал ей руку, ни словом не упрекнул ее. Он посадил ее на поезд, сказав, что в Осака ее встретит его брат, а сам он «немножко занят». Он скрылся

во мраке, поезд ушел в черные горы, — чтобы оставить ее в жесточайшем одиночестве и крепчайше утвердить, что он, Тагаки, есть единственный во всем мире, любимый, верный, которому всем она обязана, исполненная благодарности, непонимающая. В вагоне было очень светло, все за окнами проваливалось во мрак. Все кругом было страшно и непонятно, когда японцы, ехавшие с нею в вагоне, мужчины и женщины, стали раздеваться перед сном, не стыдясь обнаженного тела, и когда через окна стали продавать на станции горячий чай в бутылочках и сосновые коробочки с ужином, с рисом, рыбой, редькой, с бумажной салфеточкой, зубочисткой и двумя палочками, которыми надо есть. Потом в вагоне потухнул свет, и люди заснули. Она не спала всю ночь, в одиночестве, непонимании и страхе. Она ничего не понимала. В Осака она последняя вышла на перрон, и сейчас же перед ней стал человек в коричневом суконном, в крапинку, кимоно, на деревянных скамеечках, — и этот человек очень обидел ее, он зашипел кланяясь, подпер руками колени в поклоне, передал визитную карточку и не подал руки: она не знала, что он здоровается по японским правилам, она готова была броситься в объятья к родственнику, — он не подал даже руки. Она стояла, зардевшаяся в оскорблении. Он ни слова не говорил по-русски. Он коснулся ее плеча и показал на выход. Они пошли. Они сели в автомобиль. Город ее оглушил и ослепил, громадный город, после которого Владивосток стал казаться деревней. Они приехали в ресторан, где им подали английский брекфест; она не понимала, почему фрукты надо есть перед ветчиной и яйцами. Он неукоснительно, касаясь рукою ее плеча, указывал, что надо ей делать, не произнося ни звука, изредка улыбаясь. После брекфеста он отвел ее в уборную и не отходил от нее: она не знала, что в Японии общие для мужчин и женщин уборные. В смущении, жестом она указала, чтобы он вышел, — он не понял и стал мочиться.

Затем они сели в новый поезд, он купил ей «бенто» (завтрак в сосновой коробочке), кофе — и он вставил в ее руки, первый раз в жизни, палочки, чтобы она ела.

В сумерки они сошли с поезда. За вокзалом он посадил ее на рикшу, кровь залила ее щеки от того нестерпимого, что переживает каждый европеец, впервые

садящийся на рикшу,— но своей воли у нее уже не было. Сначала тесным городом, затем тропинками и кедровыми аллеями, мимо домиков, скрывшихся в цветах и зелени, рикши повезли их под гору, к морю, залегшему в скалах. Под отвесным обвалом, на площадке над морем, около бухты, в зелени деревьев, стоял домик, около которого они остановились. Из домика вышли — старик и старуха, дети и молодая женщина, все в кимоно, — все поклонились в пояс, не подавая руки. Ее не пустили сразу в дом; брат жениха, который встречал ее, показывал ей на ее ноги, — она не понимала; — тогда он посадил ее на приступочку, почти насильно, и расшнуровал ее башмаки. На пороге дома женщины пали перед ней на колени, прося ее войти. Весь дом казался игрушечным, в дальней комнате раздвинута была стена, широчайший открывался вид на море, на небо, на скалы, срывающиеся в море, — домик этою стороной подходил к обрыву. На полу в комнате стояло множество мисочек на подносиках, и против каждого подносика лежала подушка. Все, и она, сели на эти подушки перед подносиками, на полу, чтобы поужинать.

...Через день приехал Тагаки-сан, жених. В дом он вошел в кимоно, и она его не узнала, этого человека, который поклонился в ноги сначала отцу и брату, потом матери и только тогда ей. Она готова была броситься к нему в объятия; он задержал на минуту в раздумье руку, подал и поцеловал ее руку. Он приехал утром. Он сообщил, что он был в Токио, что он уволен из армии и — в наказание — сослан на два года в деревню, ему разрешили отбывать ссылку на родине, в доме своего отца: из этого дома, с этой скалы они не смогут выехать два года. Она была счастлива. Из Токио он привез ей множество кимоно. В этот же день они ходили в участок зарегистрировать брак. Она шла в голубом кимоно, в японской прическе из аржаных волос, — оби — пояс — мешал ей дышать и больно давил на грудь, — от гэта натерлась мозоль на ноге между пальцев: — она стала: Тагаки-нооку-сан — вместо Сони Гнедых. И — единственное, чем она могла отплатить мужу, любимому мужу, — это была не благодарность, а подлинная страсть, тогда, ночью, на полу, в ночных кимоно, когда она отдалась ему и когда, в передышках от нежности, боли и страсти, бухало приливом внизу море.

IV

Осенью все уехали, оставив двоих молодоженов. Ему из Токио присылали ящиками русские, английские и японские книги. Она в своей исповеди почти ничего не пишет об этом времени. И можно представлять, как по осени дуют с океана ветры, гудят скалы, как холодно и одиноко около хибати, домашнего камелька, сидеть двоим — часами, днями, неделями. Она уже научилась приветствовать — «о-ясуми-насай», прощаться — «сайонара», отвечать на благодарности — «до-итасима-ситэ», просить обождать, пока она позовет мужа, — «чотто-мато-кудасай». В свободном своем времени она узнала, что рис, так же, как хлеб, может вариться многими различнейшими способами и что, как европейцы ничего не понимают в способах варения риса, точно так же японцы не умеют печь хлеба. А из тех книг, что присылали мужу, она узнала, что Пушкин начинается как раз за программою гимназии и что Пушкин вовсе не умер, как мамонт, но живет, жив и будет жить: от мужа и из книг она узнала, что величайшие в мире литература и раздумье — русские. Время их шло строгим деревенским регламентом, чуть-чуть голодным. Муж утром садился около хибати на полу за книгами, она варила рис и лепешки, они пили чай, ели соленые сливы и рис без соли. У мужа почти не было потребностей; одним рисом он мог бы быть сытым месяцами, — но она готовила русский обед: утром она ходила в город в лавочки, где удивляло ее очень, что у японцев не продают кур целиком, а отдельно крылья, ноги, спины, кожу. В сумерки они ходили гулять, к морю или в горы, к горному храмику; она привыкла уже ходить в гэта и кланяться соседям так, как кланяются японцы, в пояс, с руками на коленях. Вечерами они сидели над книгами. Многие ночи уходили на страсть: муж был страстен и изощрен в страсти, долгою культурою своих предков, культурою, чуждою европейской, когда в первый день их замужества, его мать, бессловесно, ибо у них не было общего языка, подарила ей эротические картинки на шелку, исчерпывающе изображающие половую любовь. Она — любила, уважала и боялась мужа: уважала потому, что он был всесилен, благороден, молчалив и все знал, — любила и боя-

лась — во имя его страсти, испепеляющей, всеподчиняющей, обессиливающей ее, а не его. Днями в буднях муж был молчалив, вежлив, заботлив и чуть-чуть, в благородстве, строг. В сущности, она мало знала о нем и ничего не знала о его роде: где-то у его отца была фабрика, шелкообрабатывающая. Иногда к мужу приезжали из Токио и Киото друзья, — тогда он просил ее одеваться по-европейски и по-европейски встречать гостей: все же с гостями они пили саке, японскую водку, глаза их наливались кровью от второй рюмки, они бесконечно говорили и потом, пьяненькие, пели свои песни и уходили в город до утра.— Они жили очень одиноко, холод белоснежной зимы сменялся зноем лета, море бухало внизу приливами и бурями и тишайше голубело в отливы; ее дни не были даже похожи на четки, пусть яшмовые, потому что четки можно пересчитать, перебирая их на нитке, как пересчитывают их европейские и буддийские монахи, но дней своих пересчитать она не смогла бы, пусть эти дни яшмовы.

Здесь можно кончать рассказ — рассказ о том, как создаются рассказы.

Прошли год и еще год и еще. Ссылка его была кончена, но еще год прожили они безвыездно. И вдруг тогда в их тишину стало ездить множество людей. Люди кланялись ей и ее мужу в ноги, люди фотографировали его за книгами и ее около него, люди спрашивали ее о ее впечатлениях о Японии. Ей казалось, что люди на них посыпались, как горох из мешка. Она узнала, что муж ее написал знаменитый роман. Множество показывали ей журналов, где сфотографированы были он и она: в их домике, около домика, на прогулке к храму, на прогулке к морю, — она в японском кимоно, она в европейском платье.

Она уже говорила немного по-японски. Она уже приняла роль жены знаменитого писателя, не заметив в себе той перемены, которая приходит таинственно, той перемены, когда она перестала бояться окружающих ее чужих людей и приучилась знать, что эти люди готовы для нее к услугам и вежливости. Но знаменитого романа мужа она не знала, его содержания. Она спрашивала об этом мужа, — в вежливейшей своей

молчаливости он не отвечал на этот вопрос: быть может, потому, что, в сущности, это ей было не очень существенным и она позабывала настаивать. Яшмовые четки дней прошли. Бои — лакеи — теперь варили рис, а в город она ездила на автомобиле, по-японски приказывая шоферу. Отец, когда приезжал, кланялся жене сына почтительнее, чем она. Должно быть, Софья Васильевна была бы очень хорошей женой писателя Тагаки так же, как жена Генриха Гейне, которая спрашивала приятелей Гейне: — «говорят, Анри написал что-то новое?» —

Но Софья Васильевна узнала содержание романа своего мужа. К ним приезжал корреспондент столичной газеты, который говорил по-русски. Он приехал, когда не было мужа. Они пошли гулять к морю. И у моря, в пустяковой беседе, она спросила его, чем объясняет он успех романа ее мужа и что в романе он считает существенным.

V

...Вот и все. Тогда, в городе К., достав в консульском архиве автобиографию Софии Васильевны Гнедых-Тагаки, на другой день я купил роман ее мужа. Мой приятель Такахаси перевел мне его содержание. Эта книга лежит сейчас у меня. Четвертую главку этого рассказа я написал — не фантазируя, но просто перелагая то, что перевел мне мой приятель Такахаси-сан. Писатель Тагаки каждый день за годы ссылки записывал свои наблюдения за женой, за этой русской, которая не знала, что величие России начинается за программою гимназий и что величие русской культуры — этого отъезжего поля — уменьи размышлять. Японская мораль не стыдится обнаженного тела, естественных человеческих отправлений, полового акта: с клиническими подробностями был написан роман Тагаки, — русским способом размышлять размышлял Тагаки-сана о времени, мыслях и теле своей жены.— Тогда на берегу моря, корреспондент столичной газеты, в разговорах с Тагаки-ноокусан, с женой знаменитого писателя, — открыл перед ней не зеркало, но философию зеркал, — она увидела себя, зажившую на бумаге, — и не важно, что в романе было

клинически описано, как содрогалась она в страсти и расстройстве живота: — страшное — ее страшное — начиналось за этим. Она узнала, что все, вся ее жизнь была материалом для наблюдений, муж шпионил за нею в каждую минуту ее жизни: — с этого начиналось ее страшное, это было жестоким предательством всего, что было у нее. — И она запросилась — через консульство — обратно, домой, во Владивосток. Я внимательнейше прочитал и перечитал ее автобиографию: вся она была написана и одним человеком, и в одно время, само собою, — и вот: те части автобиографии этой глуповатой женщины, где, неизвестно к чему, описаны детство, гимназия и владивостокское бытие, и даже японские дни, — эти части написаны так же беспомощно, как писались письма одной подруги к другой в шестом классе гимназии и во втором благородных институтов, под Чарскую, по принципу классных сочинений, — но последняя часть, там, где подсчитывалось бытие с мужем, — для этого у этой женщины нашлись настоящие большие слова простоты и ясности, как нашлись у нее силы просто и ясно действовать. Она оставила чин жены знаменитого писателя, любовь и трогательность яшмового времени, — и она вернулась во Владивосток к разбитым корытам учительниц первоначальной школы.

Вот и все.

Она — изжила свою автобиографию; биографию ее написал я, — о том, что пройти через смерть — гораздо труднее, чем убить человека.

Он — написал прекрасный роман.

Судить людей — не мне. Но мой удел — размышлять: обо всем, — и о том, в частности, как создаются рассказы.

Лиса — бог хитрости и предательства; если дух лисы вселится в человека, род этого человека — проклят. Лиса — писательский бог!

Узкое,
5 ноября 1926

ОЛЕНИЙ ГОРОД НАРА

«Луна посыпала росу» — «полный месяц — длинный вечер, — ветер и луна — знают друг друга»: эти фразы подслушаны мною у японцев. И те вечера в Наре были очень лунны.

Тысячу триста лет тому назад город Нара был японской столицей. Ныне от этих столетий в городе осталась сосновая тишина и сосновое — кажется — светит над городом солнце. И ныне, должно быть, это единственный город, который состоит не из домов, а из древнейшего парка и населен, кроме богов, памяти и людей, — теснее всего населен священными оленями, в честь которых — в сосновой тишине парка, под сосновым солнцем — многие уже столетия стоят храмы.

В городе, который выродился в столетние леса, в котором пасутся олени, и в соснах стоят храмы, покоится исполинское изваяние Будды Дай буцу, лотос под Дай буцу в шестьдесят девять футов окружностью, высота его в пятьдесят три фута, и усмешка его хранит непонятность всех феодальных столетий. Людей, кроме бонз и паломников, в этом городе нету. Чтобы проехать в этот город, надо ехать длиннейшими горными тоннелями, — и вокруг города — горы, в зелени лесов сначала, а выше, там — в холоде камней. Сосновая тишина, олени да боги — горный ветер, бег оленей, да буддийские колокола — нарушают тишину этого города.

И в этом городе, около парка, над озером японцами для американцев построен отель — Нара-хотэру, — для тех американцев, которые на эмпрессах в шесть месяцев путешествуют вокруг земного шара, чтобы осмотреть за этот срок мировые достопримечательности. Отель по-

строен по всем правилам англо-американских солидностей, строгих гонгов, бесшумнейших боев, тщательнейших брекфестов, ленчей и динеров, мягчайших кроватей, удобнейших ванн с резиновыми душами, покойнейших гостиных и читален, где собраны книги и журналы всего шара, вплоть до русских «Известий» и «Красной нови», — и, хотя и написано в справочнике, что «комнаты (по-американски) 7,50 иен и дороже за сутки», — дешевле четвертного сутки там не получаются.

Я приехал в Нару, чтобы подслушать ее тишину, я поселился в Нара-хотэру, чтобы побывать в быте «эмпрессов», — и я поехал один, без переводчиков и друзей, — чтобы понаслаждаться одиночеством в молчании единственного этого города, где люди не нужны. Со мною была Ольга Сергеевна, человек, с которым я умею молчать. За моим окном было озеро, за озером парк, парк уходил в оленные горы, к храмам, — оттуда шли звоны буддийского колокола и было совершенно верно, что «ветер и луна знают друг друга», потому что с гор в эту майскую ночь дул холодный и какой-то пустой ветер. И после динера я не пошел из отеля. В гостиной сидели безмолвные американцы, дамы пили кофе, мужчины курили. В баре у стойки англичане пили виски и по команде хохотали. В тишине читальной было пусто. Шепотом, по-русски, я порадовался, нашед «Красную новь». Кроме нас, в читальной сидели двое: я решил, что он швед, а она — француженка. Я листал «Красную новь», — и я увидел, что швед взял «Известия».

— Вы говорите по-русски? — спросил я.

— Да, немножко,— ответил он.

В первые десять минут мы с удивлением узнали, что оба мы писатели, — он передал мне свою визитную карточку: П. Г.— он был еврейским — из Америки — писателем, — американо-еврейским. Почти тридцать лет тому назад он покинул Россию, и он с трудом говорил по-русски. Его жена, тоже еврейка, родилась уже в Америке, и русские слова в ее памяти возникали сквозь сон рождения. Через час мы пошли гулять, в тот ветер, который знает луну.

И три моих нарских дня навсегда будут связаны в памяти моей с этими двумя прекрасными человеками, с мужем и женою Г., людьми, дорогими мне — и скорбью и нежностью. Не существенно, что оба они писатели,

что она похожа на француженку, а он на шведа: существеннейшее мне — человечность.

Первым тем вечером, когда луна знала ветер, поистине, полная эта луна родила длинный вечер. Мы шли парком, неизвестными мне тропинками, — и все пытался мистер Г. зажечь спичку, чтобы показать мне нечто в кустах, — но спички тухнули в его ладонях, освещая на момент седые волосы. Он шутил и не открывал своей кустарной тайны. Мы говорили о пустяках, теми мелочами, которые, — как булавки, растягивающие шелк на пяльцах, чтобы на шелке шить кружева, — устанавливают человеческие отношения.— Да, у мистера Г. были седые волосы, зачесанные назад, да, серые его глаза были усталы и печальны и очень медленны. Она же, миссис Г., — была молода, черноволоса, обильноволоса и очень красива, и таинственна для меня, заново рождающая русские слова, найденные во сне рождения. До последнего установленного по-американски ко сну часа просидели мы на веранде, в синем лунном мраке и в ветре с гор, четверо в этом странном городке, мы двое в десятке тысяч верст от родины и от людей общего языка, они двое — —

Они двое изъездили весь земной шар. Они были в Капштадте, в Австралии, в обеих Америках. Сейчас они покинули Америку в 1924 году, пробыв год в Мексике, пять месяцев они плавали с грузовым пароходом по островам Тихого океана, — теперь они в Японии, осенью они в Китае, весной в Индии, новой осенью в Палестине, — в январе 1928 года — в России, в Москве. Мистер Г. сказал мне, что всегда, с первых же слов знакомств, он говорит о своей национальности, потому что очень многажды раз было в его жизни, когда, — по быту его жизни, по его наружности, костюмам и манерам, по тем отелям, где они останавливались, — часто не узнавали их национальности и, узнав, очень часто, делали вид, что — их — не узнают. Мистер Г. сказал, что они путешествуют одни, у них никто нигде не остался и не ждет их, — он никому не пишет писем, кроме корреспонденций своей газете, — нигде никто не ждет их и они могут путешествовать сколько угодно. Миссис Г., рождая заново слова, говорила, глядя на луну, о ночах в Африке, в Австралии, в океанах. И в полночь в Наре отбивают тишину буддийские колокола. Полный месяц знает длинный вечер.

— На три дня я поехал в Нару, чтобы одиночествовать: — эти люди так, как я в Наре тремя днями, одиночествовали, одиночествуют — многие годы!..

И наутро, в сосновом солнце,— заботливейшей нежностью, сердечностью и внимательностью встретили нас эти люди. За табльдотом мы приказали сдвинуть наши столики, — и у меня был отец, который заботился, чтобы я хорошо ел, — именно отец. Наши дамы чуть-чуть териблствовали за брекфестом и сейчас же после завтрака побежали в кустарную лавочку при отеле рассматривать игрушки, платьишки и покупать Tout a fait japanise. Мы, мужчины, сели в кресла на террасе, над озером, в сигарном дыме, в должном для американцев покойствии и благочинии, пока не пришли наши дамы. И вернувшись Ольга Сергеевна шепнула мне о своем смущении, потому что миссис Г. вела себя так, точно хотела всю лавочку перекупить и передарить Ольге Сергеевне. В американском покойствии и в сигарном дыме мы, мужчины, вели совсем не американские разговоры, потому что мистер Г. спрашивал меня о евреях в России, и всей искренностью я говорил об этом распепеленном народе, — всей искренностью и всей той осторожностью, которые я мог собрать, ибо мне скоро стало ясным, что для мистера Г. вопрос о судьбах еврейского народа и о судьбах его в России — гораздо существеннее, чем вся его жизнь. Совершенная осторожность, я полагаю, кроется в совершенной откровенности, в откровенности же кроется и искренность и честь. Если нервы человека представить березовой берестой, сворачивающейся на огне, если представить, что эта береста будет выправляться, как ослабнет огонь, то передо мною в то утро сидел человек, нервы которого были похожи на березовую бересту. Словами своими — отцовски — он гладил меня по голове, этот седой человек с усталым лицом шведа и еврея одновременно, с сердцем, как береста. Мне хорошо было чувствовать себя сыном, но, как часто сыновья, я чувствовал себя сильнее отца...

Этот испепеленный народ, рассеянный по миру, испивающий чашу строительства социализма в Союзе республик моей родины, — этот седой человек с бритым лицом философа, писатель и пророк этого рассеянного народа, отец, который не судит, но хочет знать, — только знать для того, чтобы иметь мир, чтобы

иметь покойствие за свой народ, — этот человек, который бродит по миру от одного отеля к другому, который не имеет родственников и говорит на всех языках мира, — человек узнавший, что истины возникают всюду, даже в мерзости погромов...

Наши дамы давно уже с русского языка перешли на французский, чтобы сообщить друг другу об улицах, делах и событиях — событиях их дел — в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве, Мехико, Токио.

Мы пошли в парк, к храмам, к стадам оленей, в сосновую тишину, в сосновое солнце, — я узнавал, что вон тем часовням на горах — пятьсот лет. О тишине парка и о Дай буцу я написал уже. Теперь я хочу говорить о другом. Мистер Г. повел меня в чащу деревьев, куда не заходят люди. Он не предупреждал меня ни о чем.

— Вот, смотрите на этот куст. Что вы видите? — спросил он.

Я ответил, что я ничего не вижу.

— Присмотритесь.

Я присмотрелся и ничего не увидел. Тогда он мне показал, что одна из веток этого куста — искусственная — она сделана пауком, сплетена сеть паука и на нее паук натаскал кору.— Он повел меня к другому кусту. Прутиком он снял паука, тот побежал, — его же паутиной запутал его мистер Г. Этого паука мы посадили в чужую паутинную сетку.

— Подождемте, — сказал мистер Г., — этот паук сильнее, он прогонит хозяина. Сначала они будут драться, затем хозяин убежит.

Имя писателя Г. мне было известно до встречи с ним, его надо поставить в ряд с еврейскими писателями Перетцем, Шоломом Алейхемом, Бяликом, — мистер Г. сказал смущенно, наклоняясь к пауку:

— Кроме моих повестей и пьес, вот уже двадцать лет я пишу книгу о пауках, о их быте, их разуме, их особенностях. Я знаю больше тысячи видов пауков. Всюду, куда бы я ни приезжал, — сюда, в Австралию, в Аргентину, я разыскиваю пауков и слежу за ними, пишу их дневники.— Мистер Г. прочел мне маленькую лекцийку о пауках, которую восстановить я не могу, потому что я не знаю ни паучьих пород, ни паучьей литературы, ни утверждений различных паучьих ученых.

Но — вот: все три мои дня в Наре, каждый день я ходил с мистером Г. на его паучьи экскурсии, утром, в

полдни, вечером (с электрическим фонариком), — и в этом древнейшем городе, который тысячу триста лет тому назад был японской столицей, а ныне существует для сосновой тишины, город единственной архитектуры, город для священных оленей, — в этом городе — я увидел гораздо более таинственное, чем многосаженный Дай буцу, — таинственную жизнь паучих пород, — и таинственную, и жестокую, и трагическую, где самки поедают самцов в тот час, как самцы оплодотворят их, где сильный побеждает слабого в открытом бою, где слабый, но хитрый (или умный), побеждает сильного, но глупого, где нет никакого равенства, где справедливость строится на силе и все судится единственным судом — смертью. Утром, днем и вечером, в чащах города Нара, на стенах нашего отеля, в полумраке храмов — руками и умением мистера Г.— я приникал к этому таинственному, — живущему, чтобы жить, вопреки бытию муравьев, пчел и человека, — живущему страшным одиночеством, разбоем, смертью.

В час мы ленчили, после ленча мистер Г. и я, мы садились по своим комнатам за бумагу, наши дамы пропадали по своим делам, в пять часов мы сходились к чаю и после чая шли в сосны города, вечером поднималась луна, которую знает ветер. Приходил японский июнь, месяц плесеней, и однажды на Нару спустились облака, точно Нара, святой город, со всеми нами и нашими грехами поднялась на небо.

Так прошли эти три дня, которые в памяти моей священный город Нару смешали с волчьим бытом паучиных тайн и которые заглушены сосновой тишиною и сосновым солнцем. В сумерки, перед динером, мистер Г. всегда в читальной читал газеты и книги. Он сидел около зеленого абажура, наклонив голову, подперев ее ладонью, — я следил за ним: по десятиминутиям лицо его было неподвижно, и не мигали даже глаза, очень усталые его глаза.— Миссис Г. была молода, красива, черноволоса, женщина, воспитанная по-американски, свободная и достойная. Я мужчина: ничего не попишешь, — кроме того, как я воспринимаю людей, каждую женщину я воспринимаю еще и по-мужски. Вот, эта женщина, которая за мужем бродит по всему миру, молодая женщина, у которой все впереди. Был вечер, вчетвером мы возвращались с пауков, я подал руку миссис Г., чтобы помочь ей войти на мостик: я ни в

какой мере не хочу оскорбить ее память, — вдруг тогда, когда она ступала на мостик, мужски я понял, как прекрасна эта женщина.— Она писала стихи: в тот вечер я попросил ее перевести мне ее стихи и прочитать их мне на языке их возникновения, древнем еврейском. — Это были ночные, лунные стихи; миссис Г. сложила балладу о своих волосах, об обильных черных волосах, смолистых, которые распущены и в которых под луною отражается синий свет луны, которые синеют в лунном свете. — В сумерки, в читальной я присматривался к лицу его, ее мужа, этого человека, которого я принял, как отца, который бродит по миру из края в край, которого я стеснялся спросить о том, почему у него нету своего дома, но бродит который совершенно по-американски, твердо рассчитав, что в Москве мы встретимся в январе 1928 года, — человек, который пишет книгу о пауках — не для печати. Лицо его было очень устало, не физической утомленностью, но усталостью раздумий... а образ стихов миссис Г., тот, что под луной волосы светятся, как в море, — я никогда не забуду...

...«Полный месяц — длинный вечер» — «луна посыпала росу» — «ветер и луна — знают друг друга»...— Мы расстались с Г. в городе Киото, куда Г. поехали нас проводить. Мы спустились с нарских гор к долинам Киото, этого города императорских замков и дворцов, монастырей, музеев и храмов, города микадо эпох феодализма, уделов и Токугава, — и Киото встретил нас плесенными, теплыми, как в бане, японскими дождями. Дождь лил весь день, все сумерки, всю ночь, проливной дождь, стена воды. В киотском отеле можно было скинуть американство. Это был вечер расставания, мы собрались попросту в моем номере, все четверо. Мне было ясно, что этим людям со мною хорошо — не только по причинам, зависящим от моей индивидуальности, но и просто — даже, сколько это ни свинственно — потому, что первые фразы, когда мистер Г. подчеркивал свою национальность, для меня не могли, как для многих европейцев, стать поводом к тому, чтобы перестать кланяться.— Мы сидели в моем номере, таком, который заключил в себе всю неуютность всех гостиничных номеров мира. За окнами лил дождик, удивительнейший, — за окнами лежал замковый, музейный, храмовой Киото: мне стало понятно, почему так в чести у японцев лаковые изделия, — в этом дожде этот город

был построен из серого мореного дуба и залакировано было все, небо, камни мостовых, дома, храмы, парки, лебеди за окном моего номера, около канала в садике.

В этом номере, таком же, как номер в любом городе мира, мы прощались. Мистер Г. подарил мне парчовую книжечку для записи памятей, — и он первый написал мне в нее, на древнем своем языке:

«Вековую тяжесть положила Россия на мои плечи. Колени сгибаются под этой тяжестью на побочных путях. Я приближаюсь опять к этой стране. Новая жизнь в России облегчит мне мои тяжести и такая надежда растет во мне, когда я говорю с вами, Борис Пильняк»...

Мы уславливались встретиться в Москве, в январе 1928 года.

И тогда я спросил, о том, что раньше я стеснялся спрашивать. Я спросил, почему он так ссудил свою судьбу, что у него нет дома, что дом его сложен в чемоданы и идет с ним по номерам гостиниц земного шара? — почему он так бродит по миру, вдвоем с женою. Он мне ответил:

— Я езжу по свету не потому, что я п р и е з ж а ю, а потому, что я у е з ж а ю. Я брожу по миру не потому, что я хочу увидать невиданное, но потому, что я не могу видеть знаемое.

Он помолчал. Он сказал:

— Нету места в мире... — и не кончил своей мысли.

...Я постыдился спросить о пауках. Я смотрел в лакированный мрак и на лакированные фонари города, на храм перед гостиницей. Ночью, когда мы разошлись, чтобы спать, я записал в свою новую книгу памятей:

«Как велик земной шар — как мал земной шар. Я научился у Японии тому, что все течет, все проходит. Сегодня я приехал сюда из Нары, завтра я буду в Кобэ, — а там — просторы Великого океана, великие просторы»...

Да. Нара же — единственный в мире город, переставший быть городом людей, ставший городом оленей.

Москва, на Поварской.
13 ноября 1926 г.

МАЛЬЧИК ИЗ ТРАЛЛ

Посв. П. А. Павленко

...Солнце и ветер...

. . . .

В Стамбуле, на холме Гюль-Ханэ, в переулке за площадью Янычаров, между церковью св. Ирины и Старым Султанским — Топ-Капу — Сераем поместился Музей древностей. В тишине зала эллинистической эпохи стоит там статуя Пастушка из Тралл, высеченная из мрамора ваятелем древности Мироном: в тишине зала эллинистической эпохи стоит кудрявый мальчик, гордо поднявший голову на худенькой шее, — на плечах у него плащ из овечьей шерсти, он бос. И мне тогда показали фотографию, чтобы поразить меня: фотография сделана хранителем Музея, в Траллах, — в 1918 году, — на фотографии стоит тот самый пастушок, которого высек из мрамора ваятель Мирон полторы тысячи лет тому назад, так же поднята его голова, те же кудри, лоб, нос, шея и плечи, тот же плащ из овечьей шерсти. Если бы у пастушка, зафотографированного в 1918 году, не было в руках суковатой палки, надо было бы решить, что эта фотография есть фотография статуи Мирона.— В развалинах, в пустыне Малой Азии, в неприкосновенности сохранился эллинский тип, — в пустыне Малой Азии — сохранился быт Эллады.

И вот мы едем в Траллы.

. . . .

Солнце и ветер.

Ноябрь, и поэтому прохладно, как в России около второго, яблоневого Спаса. На горизонте Кэстэне-дагские горы. Небо сине. Кругом вот уже второй день конного пути — желтые холмы, камень, придорожная пыль, безжизненность, безмолвие пустыни. У старых колодцев лужи воды и помет верблюдов. Дорога, оставшаяся, быть может, от греков, быть может, от римских когорт, — пуста. Старые греческие города, брошенные тысячу лет тому назад, развалены, — турки поселились рядом с развалинами, и над турецкими поселками торчат пыльные тополи, там живут турки и руми, турки-христиане. Изредка в небе пролетит орел. Изредка на межах стоят разбитые статуи и мраморные плиты, исчертанные письменами, — вместо межевых столбов. Поля уже убраны. Арбы с возами соломы — реже верблюжьих караванов. Эти арбы и турки на них — суть герои рассказов турецкого писателя Рэфик-Халида.

Вчера ночью, на ночевке около колодца, ишак, испугавшись моего выстрела в шакала, бросился на наш скарб и разбил копытом старенькое стремя у моего седла. Я еду, страдая в седле, потому что не могу стоять на обеих ногах. И у каждой встречной арбы мы спрашиваем, где бы достать стремя. Турки отвечают молчанием. И мы молчим в солнце и ветре.

И новую ночь мы ночуем у колодца, прикрывшись плащами из овечьей шерсти. Шакалы не мешали нам этой ночью: здесь нет людей, и шакалы ушли отсюда.

Наутро опять солнце и ветер. Мы сворачиваем с большой дороги в пустыню выжженного камня, холмистого плоскогорья, навстречу Кэстэне-Даг, горному хребту на горизонте: там, впереди, в котловине под горами — пустыня Тралл.

И мы приезжаем туда к полдню.— Где здесь Траллы? — Котловина меж гор безмолвна в камнях, разбросанных по холмам, в остатках человеческого жилья. Мы въезжаем в пустую улицу, в совершенно пустую. Ноябрьские полдни не несут ни звука. Я захожу в дом, дверь не заперта. У порога лукошко с углем. Муха прожужжала мне навстречу и замерла. На глиняном полу здесь козий помет, приступка у порога иссечена письменами.— Люди, все до одного человека, покинули эти места в 1921 году, когда турки выгнали из Анатолии греков.

...Ужели такова была Эллада и две тысячи лет тому назад и тысячу пятьсот лет тому назад? — Пыльный поезд Аданской — немецкой! —железной дороги мы сменили на два с половиной дня седла.— Здесь, должно быть, даже умерла весть о человеке! — Это Малая Азия, Анатолия, съеденная козами. Ужели здесь были веселые греческие колонии, здесь прошли эпохи цветений эллинистических веков? — Да, были, — прошли, загорожены от нас тысячелетьем.— Некогда Эфес был первым городом банков, породив все банки мира, — Пергам тогда был городом ученых и великой библиотеки, — Магнэзия осталась для истории городом актеров, драматургов и философов, — Траллы, как Тэо, были городом шума, поэтов, художников, музыкантов, театральных действ и дионисийских жриц. В Тэо до сих пор видны на стенах развалин стихи Анакреона, вычертанные, по преданию, самим Анакреоном. Траллы, город великих театральных действ, имел множество названий — Антэа, Эвантэа, Ларисса, Антиохия. Сельджуки называли Траллы — Гюзэл-Хиссаром — что значит: прекрасный замок.

Ужели такова была Эллада, вот эти развалины? — Впрочем, нет, конечно.— Великий Театральный Мастер — история — перегримировал Эвантэю в пески. Это не шутка, что козы съели Малую Азию. Цветущая страна веселой торговли, поэтов, философов, дионисийской морали — погибла не от войн и нашествий — ассирийцев, персов, римлян, турок, — но главным образом от коз, которые столетьями съедали побеги деревьев, уничтожали — уничтожили — леса и рощи, высушили долины и реки, — и превратили зеленую Анатолию в безводные пески и камень.— Траллам выпало до наших дней сохраниться в том виде, в каком эти места остались от разорений древности, историки сказали, что там жива Эллада. Но Театральный Мастер должен работать свою работу: и Траллы покинуты греками, теперь навсегда, в 1921 году, в дни греко-турецкой войны, когда турки русской тяжелой артиллерией над Смирной скинули греков в Средиземное море, заставив их бежать, бросив дома и жизнь.

...Вот она, Эвантэа, веселая страна поэтов и музыкантов! — на столе в пустом доме я нашел краюху иссохшего хлеба, а в другом доме — в светильнике еще

не высохло масло.— Вот она, Антэа, страна великих театральных действ, — мертвая Эллада, мертвая потому, что ничто новое не пришло в быт греков, живших здесь, за последние полторы тысячи лет, — а турки не собрались еще с двадцать первого года разграбить эти места.

. . . .

С горы к нам ехал на муле человек, он махал рукою. Мы поехали к нему навстречу, глиняной улицей. На перекрестке стояла разбитая статуя Афродиты, в шерсти буйволов, которые чесались об нее. Человек, подъехавший к нам на муле, был стариком в белом плаще и в сандалиях. Мул его не был оседлан.

Я спросил:

— Можно ли где-нибудь здесь достать стремя?

— Стремя? — переспросил старик и задумался.— Да, можно, — ответил он.— Вон там на холме есть улица, в третьем доме направо под скамьей лежит стремя. Возьмите.

Я поскакал за стременем. Дом был отперт и пуст. Над дверью в притолоку было воткнуто веретено. Под лавкой в пыли лежало старое медное стремя, — я поднял его и рассмотрел, — это было стремя, оставшееся, быть может, от Александра Великого — —

. . . .

. . . .

И — я видел подлинную Элладу.

Мой спутник спросил старика:

— Где здесь Траллы?

— Траллы — здесь! — ответил старик.

Старик повел нас в дом, такой же пустой, как все. Из меха он налил в глиняный сосуд красного вина и подал нам козьего сыра. Старик был молчалив и торжествен. Он держался хозяином, магнатом этих мест, но он кланялся подобострастно. Мне показалось, что старик не совсем нормален так, как ненормальны под старость бывают очень многие русские старики-крестьяне. Мы отдыхали перед тем, чтобы пойти по развалинам. Старик просил подождать, когда придет с гор мальчик. Я рассматривал старика: он был чудесно красив, поистине правнук Диониса в грязном своем плаще, седокудрый старик с гордыми глазами. Мы спросили, что

он здесь делает, как уцелел он здесь, он, грек, — старик ответил невнятно.

Мы не дождались мальчика с гор и пошли по мертвым развалинам. Старик шел с нами, как магнат и сторож. Старик заговорил о древностях, он все знал лучше наших справочников, бродя по векам истории, — но старик говорил о каждом доме, кто в нем жил и что в этом доме осталось, — так же, как говорил о веках. Мой переводчик сказал мне, что старик говорит только в настоящем времени, сдвинув время истории. Старик снял в одном доме светильник и подарил его мне, светильник, которому полторы тысячи лет, из черной глины.

Старик указал нам на пыль в горах и сказал, что это мальчик гонит отару. Старик говорил о мальчике торжественно.

И к нам подошел мальчик с гордой головой на хрупкой шее — тот самый, которого я видел в Музее древностей в Стамбуле на холме Гюль-Ханэ. У ног мальчика были козы и сторожевые псы. На плечах мальчика был рыжий плащ из овечьей шерсти. В руках мальчика была суковатая палка.

Я знаю: в ветре и солнце я видел тогда подлинную Элладу, подлинного эллина, — пусть — Малую Азию — у истории — съели козы. Театральный Мастер не забыл, что Эвантэа была городом великих театральных действ.

В торжественности заговорил старик, указывая на мальчика:

— Мы здесь вдвоем. Я здесь один. Я охраняю эти места. Мальчик из Тралл еще жив. Эллада — жива!

Старик указал рукою в сторону гор, старик — гениальным актером — глянул над моей головой. Старик был величественен. Он повторил тихо, сам себе:

— Мальчик из Тралл еще жив!..

. . . .

...Солнце и ветер. Ноябрь, и поэтому прохладно, как в России около второго, яблоневого Спаса, — и солнце и ветер тогда крепки и благоуханны, как антоновское русское яблоко.

Ямское Поле,
30 декабря 1927 г.

ГОРОД ВЕТРОВ

Борису Пастернаку

I

К югу от Старого Города, от Крепости, где до сих пор существует ханский дворец, не окончательно разрушенный временем русских, хансарай Ширваншахов, — к югу от Крепости, в море, под водою виден город, подводный Караван-сарай, крепость, затонувшая в море. Древние арабы создали легенду о затонувшем городе Сабаиле, — и русские археологи находили под водою в утонувшем городе арабские надписи и арабские монеты, — — но история утверждает, что эта часть города ушла под воду в XIII веке. В зеленой воде Каспия, в этой бухте, где вода играет радугой нефти, в прозрачности водных саженей видны камни мостовых, дома и крепостные стены и четыре крепостных башни, бойницы которых выпирают из воды. Здесь море пришло на землю, и земля ушла в море.— А в двухстах саженях отсюда в Старом Городе в Крепости, — у башни Кыз-Кала, у Девичьей Башни, построен бык, чтоб рассекать морские волны: ныне под башнею бульвар, но люди, которым сейчас по сорока лет, помнят, как мальчишками под башнею они ловили удочками рыбу. Есть предание, что башня Кыз-Кала, семиярусная, была построена огнепоклонниками: это неверно, башня построена в двенадцатом веке.— В пяти верстах от Крепости в Биби-Эйбатской бухте квадратные версты морского дна пять лет тому назад превращены в нефтяные промысла, в нефтяную землю, засыпаны

землей; здесь человеческая воля сошлась с теми стихиями, которые тревожат земные недра и качают земные рельефы. Морское дно, оторванное у Биби-Эйбатской бухты, называется ныне промыслом Ильича, — но это не главное: на сотни квадратных верст вокруг города, вокруг крепости Ширваншахов, на землях, которые кажутся проклятием для человека, на желтых пустынях песков, в солончаковых терновниках и в соленосных озерах, — здесь из земли бьет жидкий огонь, горячая вода, нефть, которой пропитаны, пропахли, прогоркли все круглежащие горы, пустыни и вода. Эти места — человечески-древни, ибо даже в истории бродяжеств Александра Великого рассказано, как Александр сжег в Баку, в этой горючей воде, ни в чем не повинного мальчика, приказав поливать его этой горючей водой, фонтаном бившей из-под земли, — только в семидесятых годах девятнадцатого века умер здесь последний индус из Сураханского храма огнепоклонников. Веками индусы приходили сюда поклоняться Огню. Сураханский храм цел поныне. Столетия подряд в нем горел неугасимый огонь, выкидываемый земными недрами. Ныне огонь потушен, ныне вокруг храма стоят сотни тартальных и насосных нефтяных вышек, нефтяные промысла. Здесь выкачивают из земли нефть: — тот огонь, что горел столетьями в храме огнепоклонников, на ближайшей фабричке теперь превращается в бензин. Сюда, в эти места древностей, на Апшеронский переулок Каспийского моря, на большую дорогу времени, — понаехали, пришли сотни тысяч людей, рабочих и инженеров, русских, украинцев, азербайджанцев, иранцев, турок, немцев, — чтобы добывать недра, ибо в цивилизации человечества теперешней эпохи бензин и мазут — бензины, мазуты, газолины, гудроны, лигроины, машинное масло, мылонафт, парафин, асфальт — кидают в небо самолеты, движут по океанам корабли и заасфальчивают дороги и улицы городов. Пустыня просоленной, занефченной земли, бывшей алтарем огнепоклонников, испугавшихся огня, земля, проклятая для естественной человеческой жизни, — на сотни квадратных верст исколота сотнями эйфелевых башен нефтяных вышек, десятки тысяч людей скважат и тартают землю, — чтобы двигать человеческую цивилизацию!.. — а в чайхане в Старом Городе иранцы и тюрки ведут, вьют верей среневекового азийства, и оттуда в

Персию уходят караваны верблюдов, товары на горбах которых покрыты чудесными ширазскими коврами, такими, около которых никогда не ютилась ни одна, никакая машина, даже стальная игла. На лилиях мечетей в Старом Городе зорями закатов перетряхивают метафизику Азии гортанные глотки мулл, — и, если спины верблюдов грязны и промасленны, — тогда значит, что караваны несут в пустыню — нефть, горючую воду, — несут ее в бурдюках из воловьих шкур.

II

У этого человека была русская фамилия, — русское имя, лицо россиянина, — и был германский паспорт. И этот человек ехал из Германии. И этот человек ехал из Германии. Его судьба была отдана стихиям годов человеческих перестроек, начатых июлем 1914 года. Он навсегда помнил удушье вечера, начавшего его биографию, запахи сена в сарае, пороха и гари, — и колесной мази от телеги, под которой он лежит (той колесной мази — он не знал этого, — которая производится из нефти). Тогда в сарае из-под телеги он увидел немецкие каски, и лошади немцев стали есть сено, накошенное его отцом, и навсегда запомнился ус немецкого драгуна, сказавшего Павлу в сарае около телеги, откуда Павла вытащили за ноги, — на плохом русском языке:

— Што же, малшишка, ти поедешь к меня в гости? — Добродушнейший этот ус — навсегда остался благодарностью в памяти Павла Маркова. Через неделю тогда Павел оказался в немецком тихом городке, похожем на учебники истории, черепитчатокрышем и засыпавшем на ночь в восемь часов вечера.— Но унтер никогда не вернулся домой, убитый на российских нарочах, — и отрок Павел остался в доме унтера памятью и заветом проклятия войны. Отрок помнил русскую деревню, запахи овчины и мела в сельском училище, — отрок пошел в линейки немецкой школы. И так прошло десятилетие, засорившее русские памяти, научившее думать уже не по-русски, но по-немецки. Фрау Люиза стала его второй матерью. Отца у него не было, ибо подлинный его русский отец, оставшийся в нетях

российских, войн, был потерян неизвестностью, — немецкий же — был убит этой же войною. Ни сестер, ни братьев у Павла не было. Павел окончил обер-гимназию и поступил в горный институт. И в год окончания института, когда ему оставалось напечатать лишь докторскую диссертацию, Павел сказал второй своей матери, — о том, что он хочет поехать в Россию, чтобы найти следы своего русского отца, его память, если он умер. Павел не сказал тогда, как никогда не говорил фрау Люизе, о том, что все эти годы у него была одна мечта — найти отца: всяческая мечта, и глупой гордости за то, что вот он, русский крестьянский мальчик, кончает высшую немецкую школу, способный и примерный юноша, — тщеславной гордости, уже не российского, но немецкого происхождения, за хорошо сшитый костюм, которым он похвалится перед отцом, — и гораздо более существенной, решающей, биологической потребности увидать отца, свою кровь, и увидать Россию, свою родину, навсегда ни с чем не сравненных. У этого юноши, у которого не было отца, всегда при мысли об отце физическою болью физического счастья сжималось сердце, — он знал, что он сирота, и знал, что самый счастливый час его жизни будет тот, когда он встретит отца. Фрау Люиза волновалась за свою гордость. Сын заверил, что никогда — никогда! — не покинет ее, — и эта клятва была не немецкой, ибо сердцем Павел знал, что, нашед отца, ради воли отца — русским морем по колено — он бросит все, Люизу, институт, свое будущее, свои пути — и пойдет за отцом куда угодно, куда позовет отец. — Немецкий поезд выкинул Павла Маркова за пределы Германии. — Павел поехал в село своей родины. Ныне там была Польша. Там он узнал, что отец никогда не возвращался на родину, ушед отсюда русским солдатом. Соседи слышали, что отец в Москве. В своем селе Павел не нашел даже места, где стоял дом его отца, ибо село уничтожено было войною дотла. Павел поехал в Москву. В человеческом море человеку затеряться не трудно, — но и тесна земля достаточно, чтобы не найти человека: на складах архивов человеческих имен, в мыслях о том, что вот каждое имя этих адресных алфавитов есть человеческая жизнь, Павел нашел следы своего отца. До восемнадцатого года отец

был в германском плену. До двадцать первого года отец был солдатом Красных Армий. В двадцать втором году отец женился на женщине, родом из Баку. В двадцать третьем году отец выехал из Москвы с женою — неизвестно куда. Сын решил ехать в Баку и там искать — через жену отца или через ее родственников, — там найти отца. Чтобы сжать время, Павел взял самолет. Аэроплан ушел из Москвы на рассвете — в российские равнины, в российское нищенство трехпольных заплат на полях, чтобы к заполдням быть над просторами Кубани, а в закате, в реве пропеллера, предстать пред вечным величием Кавказского хребта, когда сразу видны и Эльбрус и Казбек, снеговые цепи, вселяющие в мозг человека сознание его ничтожества. За ревом пропеллера, мозгами, спутанными этим ревом и бессонною ночью, Павел, наблюдая за домами внизу, величиною в спичечную коробку, и за людьми, похожими на мух, думал о том странном, что есть человечество и человеческие жизни, когда сверху совершенно бесмысленны муравейники городов и сел, поезда, везущие в одну сторону ровно столько же людей, сколько и в другую, когда сотни людей одновременно ползут по одному и тому же делу, и сотни людей едут по делам, не существенным для тысяч других людей, — и совершенно бессмысленны муки людей, глядящие с земли на самолет, бессмысленны потому, что ничто, никогда не будет узнано о их жизнях, делах, стараниях и радостях, о тех страданиях и радостях, которые так легко укладываются в нормы человеческих жизней, рождений, смерти, голода. Павел думал, что это именно и хорошо, что к человечеству можно подходить, как к стандарту человеческих жизней, ибо иначе человечество не справилось бы с самим собой: индивидуальная жизнь есть дело второстепенное, частное дело каждого, человечества не касающееся, ибо иначе нельзя было бы собирать армии и строить заводы. Самолет сел на ночлег около города Пятигорска. Оглушенные пропеллером, избитые ветром и высотами, люди засветло пошли спать. Новым рассветом самолет понес людей дальше, пошел прямо на величие Кавказского хребта, навстречу вечным его снегам, алмазствующим покоем и солнцем. За Владикавказом горы поднялись неприступностью, и самолет свернул вдоль хребта — к сини Каспийского моря. Око-

ло Махачкалы, когда Каспий уже раскинул синие крылья своего простора, самолет стало кидать ветром, направо, налево, зазвенели в ветре крылья. На земле в Махачкале телеграммы сообщали, что над Баку, над этим городом ветров, норд. Пилот далеко по ветру отбросил окурок, молвил, чтобы люди не расстегивали в воздухе ремней, горы и море закачались под самолетом, завыли крылья и пропеллер, облака пошли под крыльями, все азартней и азартней кидался ветер самолетом, — и в Дербенте сказали, что дальше самолет не может лететь: над Баку шторм, ветер в двадцать два балла.

Поезд из Дербента в Баку ушел днем, местный, люди в котором, в коробках жестких вагонов, висли, как овощи в зеленых лавках. Поезд прошел между морем и навесом гор, пошел от гор в пустыню. Над этой пустыней мчались смерчи пыли, ветер качал поезд, свистел поездом, как воют в России февральские метели. Это поистине была пустыня, выжженные солнцем камни и пески, без кустика, без травинки, с редкими солончаками. И поистине неистовствовал ураган над землей. На горизонте впереди стояли испепеленные зноем мертвые горы. Пустыня жгла удушьем. Вскоре запахло чужды жизни запахом нефти. Тогда на сопках стали видны эйфелевые башни промыслов, нефтяных скважин. В закате в темной щели между сизых туч и мертвой земли вновь мелькнуло море, и на берегу его, на горе, огни города Баку. Через минуту все провалилось во мрак, и зловеще на тучах вспыхнуло зарево пожара: это горела нефтяная вышка. Люди в поезде стояли у окон, зарево пожара, сгоравшего где-то в десятках верст отсюда, отражалось на лицах людей. Поезд пришел в Баку к ночи.

III

Из коробки вагона, из зеленной лавки человеческих лиц, вышел юноша с русским лицом и нерусски одетый, в сером туристском костюме, с кэзом в руках. Ветер рвал кепи. Айсор бросился чистить краги. Юноша терпеливо ждал. Тюрок в белом халате ткнул айсора кнутовищем, чтобы поторопить, и лениво сказал иностранцу:

— Паэдим Новую Европу.

Улицы европейских зданий были пусты. По улицам мчал шторм. Шторм вымел с улиц не только всю пыль, но даже людей. На перекрестках ветер валил извозчиков. В гостинице «Новая Европа» отвели номер на шестом этаже, как раз под крышей, где помещалась ресторация и пиликал оркестр. Номер походил на каюту океанского корабля, и сейчас же, как только ушел коридорный, номер наполнился воями и плачами шторма. Стены гостиницы дрожали. Ветер грыз дверь на террасу. В вой метели врывались иногда плачи музыки. Иностранец долго мылся, сплевывая песок с зубов. Затем он поднимался на крышу. Два перса, вопреки Корану, под ветер и от лихорадки, пили русскую водку. Оркестр разместился вокруг них. Крыша главенствовала над всем окружающим. Здесь стихийствовал только ветер, и в чернейшем мраке, где-то в десятках верст отсюда, все по-прежнему полыхало зарево. И вдруг новое возникло зарево, в море, за маяками, осветило море, его волны — синим, фосфорическим светом.

Иностранец спросил удивленно у лакея, что это такое.

— Газ горит в море, — ответил лакей.— Сколупнуло водой камень, газ пошел, ну, неловко его запалили, либо сам вспыхнул газ.

Лакей был медлителен. Ветер задыхался в своей поспешности. Зарева были зловещи.

Иностранец рано лег в постель и быстро заснул. И последнею его мыслью была мысль о том, что завтра он найдет отца, та мысль, от которой физической болью счастья сжималось его сердце. Но он скоро проснулся. Дом дрожал ветром. Музыка наверху перестала. Ветер свистел и стонал на все лады. Рычала террасная дверь. В комнате было очень душно. Ветер нес зной. Павел сел на постели и просидел так до рассвета. Город в рассвете и ветре предстал необычайным: с шестого этажа казалось, что город недостроен, ибо крыши у домов были плоски и город мертв. Вдали дымил армагеддоном индустрии Черный Город, бакинская судорога заводов и дыма. От рассвета до того часа, когда можно было выйти в ресторан и в город по учреждениям, было еще очень много времени. И иностранец вышел наутро в ресторацию — пожелтевшим и потным, как все чужие Баку люди в дни норда. Он вяло спрашивал лакея,

и лакей медлительно рассказывал о тех учреждениях, где иностранец мог найти следы отца. Лакей предполагал, что к вечеру этот иностранец неминуемо запьет российскую горькую, если не стихнет шторм.

Солнце светило зноем, небо было очень сине, и по земле под этим небом в неистовстве мчал ветер, палящий зноем. Ни одного деревца не было в каменных улицах города. Пахло над городом нефтью. В учреждениях плохо понимали русский язык и заговаривали по-тюркски. В учреждениях недоверчиво относились к розыскам иностранца, у которого было русское имя. Автомобиль носил иностранца по городу много часов. Он был в Черном Городе, в этом ни с чем не сравненном желваке индустрии, в громадном, сотнетысячелюдном городе, где десятки заводов перегоняют и разлагают нефть на гудроны, телуолы, бензолы, в этом месте, где судорогой собралось все страшное, что дает индустрия, дымы, гуды, запахи, железо, огонь, корпуса заводов, железнодорожные шпалы, пароходы и пароходные доки — все столь напряженное, что город больше походил на бредовый сон, чем на явь. Автомобиль проезжал мимо промыслов, где лесами стоят нефтяные вышки, где через скважины сквозь землю из глубин выкачивают нефть и высасывают бензиновые газы. Все это было тем, что чужому глазу кажется враждебным естественной человеческой жизни. Павел Марков кончал горный институт, он смотрел кругом знакомым глазом, но он не думал об этом, потому что он думал об отце.

И у него был адрес отца. Автомобиль не смог провезти в Старый Город, и Павел пешком пошел в крепостные переулки. Здесь в переулках не могли бы разойтись два осла. Здесь не было улиц. Здесь залегли тишина и пыль, и из камней выбивалась незнакомая желтая, жесткая трава. В чайхане здесь сидели за нергиле безмолвные персы. Азия величествовала своею нищетой. Павел прошел мимо ширваншахского замка, наглухо запертого, сплошь из серого камня. Около мечетей играли голые дети, загоревшие до черноты, как нефть. В переулке кустарей медники отбивали кальяны и кувшины для священных омовений. Павел долго стучал в калитку. Ему долго никто не отвечал. Калитку открыл нищий старик, русский, с бородой клочьями. Старик запахивал на коленах полы тюркского, похоже-

го на извозчичий, кафтана, и ноги его были в русских валенках, большие пальцы торчали из валенок. Старик осмотрел Павла строго и недружелюбно.

— Что надо? — спросил старик, выставив голову из-за калитки.

— Я хотел бы найти Александра Маркова, а если его нет, то его жену Анастасию Тяпкину, — сказал Павел.

— А вы кто будете? — спросил старик.

— Я сын Александра Маркова, которого он потерял во время русско-германской кампании в своем родном селе.

Старик осмотрел Павла с головы до ног и с ног до головы, внимательно, осторожно, презрительно. Глаза старика глядели из клочьев бороды, по природе они должны были быть добрыми: они сузились трусливо и хищно.

— А ты где же произрастал за это время? — спросил старик.

— Я воспитывался в Германии, — ответил Павел.

Старик вышел на улицу, прикрыл за собой калитку. Ветер распахнул полы его халата, его колени разбухли водянкой, белые, в зное солнца они казались зелеными. Старик замигал трусливо, и его глаза заслезились, и он заговорил шепотом, воровски оглядываясь по сторонам, — ветер донес до Павла смрадное дыханье старика.

— Действительно, жил здесь твой батюшка Саша со своею женой, да только помер он прошлой весной. Помер на промыслах, обдало его нефтью, и сгорел он дотла, даже костей не собрали. Помер, и даже могила его неизвестна. И жена его померла.

Девочка лет семи высунулась за стариком из калитки, шмыгнула голубыми глазами, спросила:

— Дедушка, кто это?

Дед цыкнул на девочку:

— Марш домой, ишь чего! —в глазах у старика мелькнула ласковость к девочке, в глазах у него появились страх, жадность и злоба, — девочка спряталась за калитку, — старик заговорил: — Помер, помер, и даже могила неизвестно где. И жена его померла, и дочка. Все померли, и следу не осталось.— Старик помолчал.— Ты иди, иди, откуда приехал, и не ищи, и не ищи, ничего не найдешь.

Павел стоял в безмолвии. Старик говорил миролюбиво, но все-таки недружелюбно:

— Ты иди, иди, все померли, ни синь-пороха не осталось. Иди, иди, откуда приехал.

Павел не слышал, что говорит старик. Павел стоял в безмолвии. За той болью, что была у него, Павел не видел злых глаз старика. Старик был дорог ему, как боль. Этот город неостывших земных недр, город вечного огня — взял этим огнем — отца. Павел поднял голову. Калитка была глухо заперта. Улица была пуста и безмолвна. Павел вернулся к жизни, он потерял минуты, которые он стоял против пустой калитки. Ветер рвал улицу, такую узкую, что здесь не разойдутся два осла. Город, оставивший в тысячелетьях память о вечном и живом огне, — этим огнем убил отца. Павел вернулся к жизни, вернув в реальность улицу, калитку, время, и пошел вниз по улице: к морю, к набережной под крепостью, которая тридцать лет тому назад была морским дном, шел никак не русский человек, — шел немец, которым впервые окончательно — и навсегда окончательно — почувствовал себя Павел. Был закат, и на лилиеобразном минарете кричал муэдзин, глоткой своей выкидывавший звуки, знойные, как пески в Сураханах, около Храма Огнепоклонников. Немец Павел Марков видел минарет — глазами туриста.

До гостиницы за иностранцем шла галкообразная старуха, из-за переулков следившая за ним.

IV

В гостинице, в ресторации, лакей, почтительно и как врач-терапевт, наклонился над ухом иностранца, молвил:

— Водки прикажете под закуску, очень полезно.

Павел не глянул на лакея, лакей понимающе улыбнулся.

— Нет, — ответил иностранец.— Вы закажите мне билет на самолет, на завтрашний рассвет. Затем вы закажете мне автомобиль до Храма Огнепоклонников, сейчас же.

Швейцар пошел телефонировать. Лакей сообщил, что автомобиль ждет, с аэронавигационной станции ответили, что завтра самолет не пойдет из-за шторма.

— Хорошо. Вы купите мне билет на поезд.

Автомобиль пошел к Сураханам, к Храму Огнепоклонников, — к тому, что было метафизикой земли неостывших недр. Вновь автомобиль прошел мимо Черного Города, этого места человеческих социальных инстинктов, тех инстинктов, которые заставляют строить города и заводы, пароходы, аэропланы, железные дороги, когда с аэропланов эти города и заводы кажутся гигантскими муравейниками. Черный Город душил запахами и скрежетами. Автомобиль вышел в желтую пустыню, измазанную нефтью. Был закат, когда автомобиль, через лес скважечных вышек вокруг села Сураханы, пришел к Храму Огнепоклонников: и это был последний день в жизни Павла Маркова, когда последний раз был он русским, ибо он чувствовал, что он приехал на могилу отца. Вокруг монастыря стал промысел. Вокруг монастыря стоят глухие стены, неправильный пятиугольник. Шофер повел во внутренность храма низкими воротами, стены были толсты, в каменную щель убежала ящерица. Внутри пятиугольника лег заброшенный двор. Во внешних стенах вделаны были келии, сводчатые двери ведут в них, двор зарос колючими травами. И посреди двора стоит храм, четырехугольное каменное здание, нищенски простое. Четыре сводчатых двери ведут под своды храма. Каменные плиты пола исшарканы ногами, и там под куполом — куча камней и песку: этими камнями и этим песком завален алтарь, глубокая щель в земле, откуда шел газ, тот, который неугасимо горел несколько столетий подряд, святейшее место огнепоклонников. Это все убого и нище, время запустения набросало пыль и рассадило сорняки, которые лезут из щелей меж каменных плит. Тот газ, что горел здесь столетьями, отведен ныне на соседний заводик, капля копилки индустрии...— и это все! Это памяти Зороастра!.. На северной стене храма написано по-санскритски: «— во времена святого властителя Викрамадитья в этом месте священного огня, я, Канчанагар, пришедший на Дараваджабана, кающийся, обитатель Рамадиги, почитатель князя Коты, почитатель махадевы. В восьмой Джавад год...» — Что все это значит, что значит, что столетьями приходили сюда люди из-за многих тысяч верст, из Индии, через пустыни, чтобы здесь умирать? — Есть запись от дней, когда этот монастырь жил: «...сначала видны только пять огненных потоков из высоких труб

индусского жилища, как будто бы летающие по воздуху, а уже вблизи становится заметно индусское строение, и показываются остальные огни, выходящие из земли и предоставленные собственному произволу. Огненные истоки рассеяны по обеим сторонам дороги, в недальнем один от другого расстоянии...» — что значит, — что вот сюда приходили индусы, которые годами ждали смерти, чтобы сгореть здесь на алтаре вечного огня, годы ожидания отдавая подвигам всяческих страданий и лишений, когда одни спали стоя, а другие все время ходили с поднятыми руками так, что руки их отсыхали, умирали заживо, — какие силы гнали сюда людей из-за многих тысяч верст ждать смерти и сгорать в огне? — Последних индусов здесь видели в 1860 году, их было пять человек. Тогда на Апшерон пришла индустрия: и с тех пор индусы исчезли. Алтарь завален камнем и песком, на стенах и в келиях поросли сорняки. Все нище. В одной из келий на стене виден рисунок — изображение индусской богини Кали. И это все!

Закат померк красным полымем. Шофер ушел к автомобилю и рявкнул оттуда гудком, в ожидании. Павел прощался — с отцом. Храм провалился во мрак. Опять автомобиль пошел мимо Черного Города. Черный Город полыхал тысячами огней, издалека слышен был скрежет его машин. Черный Город — социальные человеческие инстинкты — был тем, что родилось из Храма Огнепоклонников, куда так же с великого множества концов земли идут люди, чтобы делать, чтобы двигать — не бога, но цивилизацию.

Поезд принял Павла Маркова сейчас же после автомобиля. В сердце Павла была грусть, мечта об отце погибла. День переутомления наложил на мозги булыжники. Казалось, что мозги политы нефтью переутомления и горят. Станционные огни в черном мраке и ветре казались измазанными маслом. Пахло нефтью от улиц. — Человечество! — человек! — человеческое! — Вот то, что кинуло этого человека из Германии в этот фантастический город, инстинкт рода, человеческая любовь сына к отцу, которого нет, — вот то, что посылало сюда индусов умирать, то, что собрало сюда сотни тысяч людей, чтобы добывать мазут и бензин, чтобы коптиться Черным Городом во имя человеческого социального инстинкта, создающего индустрию, — и все

это там, где в Старом городе в чайхане дремотствует Азия. Мозги горели переутомлением.

За минуту до отхода поезда к Павлу подошла старушонка в черном платке. Она робко посмотрела на Павла, на его европейский костюм, сухими пальцами она утерла свои губы и поклонилась Павлу. Старуха походила на ведьму.

— Вы будете Павел Александрович, Александра Маркова сын? — забормотала старуха.— Я вам скажу, вы не спрашивайте. Будете свечку ставить, поминание писать, — я вам скажу, вы не спрашивайте, — за здравие пиши, сынок, за здравие, — не возьму греха на себя, не возьму, — за упокой писать никак невозможно, — я тебе говорю!

И старушонка побежала, виляя старыми ногами, старушечьей рысью, прочь от Павла, в темноту привокзального садика. Ударил последний звонок. Старушонка, похожая на галку, говорила скороговоркой, пришепетывая: Павел ничего не понял. Поезд тронулся во мрак. Свистел ветер. Зарево на горизонте казалось бредом. Норд и бессонница навалили впечатления дня тяжелейшими булыжниками, и мозги горели в тяжести их нефти. Сон пришел сразу. Свист ветра в движущемся поезде не мешал. Последняя мысль перед сном была об отце, который сегодня умер, — мысль о том, что все в мире, что пришло к нему в этот день смерти отца, — огнепоклонники, Черный Город, Азия, — и есть именно отец, его порождение, данное человеком, — и он в том перенапряжении нервов, которое было у него сегодня, — Павел видел отца: видел отца именно всем тем, что видел за этот день, что жгло переутомлением его мозги, — ибо отец есть жизнь, судорога жизни

V

В сумерки, на промысле номер 7, как раз том, который стал вокруг Храма Огнепоклонников, прогудел смену гудок, и рабочие пошли на трамвайную станцию, чтобы ехать по домам. И из людских формул, которые называются рабочими, возникла индивидуальность рабочий-бурильщик Александр Марков, добрейший и приветливейший человек типа Платона Каратаева, с утра в этот день был очень разговорчив, и в трамвае с

приятелями разговаривал о советской власти и ее достижениях. Он не был коммунистом, но он был шумным сторонником всех тех начинаний, которые строила коммунистическая государственность, — и в трамвае он перечислял все, что сделано нового в Баку, вот с того самого трамвая, на котором рабочие сейчас ехали по домам — с рабочих поселков, где сам Александр Марков квартиры не имел, но которые построены по самому последнему слову техники, не хуже немецких, кои он знал по плену, — кончая тем, что нефти сейчас вырабатывается в два раза больше, чем до революции. Оставив трамвай, Александр заходил в лавочку, купил сладостей для дочурки Таньки. В Старом городе, в переулочке, кормильца ждали — жена и дочь, и старики, отец жены со своей женой, — тот самый старик, который говорил у калитки с Павлом, старательно прогоняя внучку, единокровную сестру Павла: это было по-русски, в русской жестокости моей хаты с краю, когда старик просто понял, что германский сын — конечно, увезет с собою отца, возможно, возьмет отцову жену и дочку, но оставит его, старика со старухой, умирать в Старом Городе. Для старика это было естественным, опытом его жизни, его манерой миропонимать, старик не скрыл своих мыслей от старухи-жены. Поезд уносил Павла Маркова за Кавказский хребет. Александр Марков стукнул калиткой, молвил пустому двору:

— А вот и я!..

Над Старым Городом шла тишина. За соседней калиткой, куда изредка заходили крадущиеся люди, курили гашиш. На углу в чайхане усердные лентяи докуривали нергиле. Внизу, по главной улице, прошел пришедший из пустыни караван, колоколец вожака позвякивал зноем. Азия засыпала, умирающая Азия мест, где еще не застыли земные недра. В ночи мрака с холмов Старого Города видны огни новых городов — Черного и Белого, где обрабатываются земные недра, ибо цивилизации теперешнего человечества надо кидать в небо самолеты, двигать по океанам корабли, заасфальчивать дороги и улицы городов, ибо они необходимы человечеству. На сотни квадратных верст внизу лежала черная земля пустыни, проасфальченной, занефченной, которая была алтарем огнепоклонников, людей, испугавшихся огня, земли, проклятой для есте-

ственной человеческой жизни, куда теперешние человеческие воли прислали сотни тысяч людей,— земля, которая Павлу Маркову показалась отцом.

Александр Марков, степенный человек, вошел в дом. Здесь пахло кислым и старым жильем, было безмолвно. Свет не был зажжен. Лишь из дальней комнаты через щели шел свет свечи. Эта комната, откуда шел мигающий свет, была нежилой. Александр подошел к щели: на столе мигала свеча и в ее свете около нар копошились два древних, сивобородых старика, в белых одеждах, движения и лица стариков были священны и медленны, глаза их были светлы. Александр смотрел на них с любопытством, покачал головой, рассматривал долго, присев на корточки. Старики молились перед нарами. Дом был безмолвен. Александр вышел из дома на двор, пошел в сараюшку, где по летнему времени жил его старик. Здесь в сараюшке было ужасно, в мути керосиновой лампочки валялись жирная нищета и грязь, в свалке всякой рвани и рухляди, старьевщицки сваленной. На кровати, на сале лоскутного одеяла спала дочка Танюшка, и на другой кровати, с ногами, босоногий, сидел отец. Ноги старика отекли зеленью водянки. Лампа стояла около старика. Старик перебирал на свет лампы узел со рваным шелковым тряпьем, сортировал нищету. Александр сел на кровать около старика — и сейчас же пересел на другую кровать, к дочери.

— Сидеть около тебя невозможно, — сказал Александр, — прямо невозможно, как ты смердишь.

Старик ничего не ответил.

— Опять индусы? — спросил Александр.

Старик ничего не ответил, молчанием подтверждая вопрос.

— Ах, папашка, папашка, старый хрыч, — сказал Александр, — ну, который раз говорить, донесу я на тебя, как тебе не совестно с этой живой контрабандой. — С караваном проползли? — и вот тоже идиоты, — за сколько тысяч верст таскаться умирать, — вот дурость, подумать только, бабочки какие — на огонь летят, за смертью гоняются, словно искать ее надо.

Старик молчал. Старик слезящимися глазками глянул из клочьев бороды, глаза были добры.

— Вот и надоть — искать! — сказал он.— А то еще надо — прятать...

Александр задумался, погладил дочь свою по щеке, сказал раздумчиво:

— Ты эти свои загадки брось... Нехорошо ты живешь, старик, паскудно живешь, смердишь. Ты богатый человек, у тебя золото в кубышке спрятано и рубины индийские, ты внучке показывал, — и дочери твоей показывал, жене моей, когда она девочкой была, эвона, с каких пор копишь. Жрешь ты на мой кошт. Люди тебя презирают... Ты бы хоть в баню сходил!.. Кто эти индусы, я не знаю, но умирать по пустякам не полагается, их дурость приходится уважать, а ты их веру обираешь, обкрадываешь... Ты смотри, я гол, как спичка, а меня все любят. А скажи ты мне, кто тебя не презирает? Смерд ты и больше ничего. Жену ты забил. Дочь тобой брезгует. Только одна Танюшка тобой и не брезгует, и то по глупости лет, до времени. Если бы не мой характер, сдать бы тебя кому следует. Погибнешь ты, старик.

Старик ответил покойно, не скоро, отложив к месту тряпку.

— Нет, не погибну.

— Ну, зачем ты такой живешь? — спросил Александр.— Кому так ты нужен?

— Себе, — ответил старик, — и живу для себя. А что смердю, — нет, чтобы ты меня с собой когда в баню взял.

— Да мне с тобой совестно идти, — ты сам у себя штаны украл, без штанов ходишь, — а дай тебе двугривенный, ты его в кубышку спрячешь. Гад ты, старик. Нельзя с тобой сидеть, задохнешься. Погибнешь ты, старик, верь мне.

— Не верю. А помирать буду, скажу Танюшке, где рубинчики достать, — ты тогда их у ней украдешь.

— Я? — молвил Александр и махнул рукою, взял на руки дочь и вышел во мрак двора.— Смерд ты, старик!

Старый Город безмолвствовал тишиной безлюдья. Гудел над городом норд. Вдали в пустыне зловеще светилось зарево нефтяного пожара. В Белом и Черном городах белым светом горели электрические системы мирозданья. Была знойная ночь. Мирозданье космоса светило в черном небе своими звездами. Под звездами над землей неистовствовал норд. Смрадный старичиш-

ка в своем безоконном сарае, связав аккуратно узел с шелковыми тряпками, положив его в изголовье постели вместо подушки, долго сидел в неподвижности, взоры опустив на керосиновую лампу. Всегда чуть-чуть страшен человек наедине с самим собою, когда он не знает, что за ним следят. Старик жмурился на лампу, как коты жмурятся на солнце. Мысли старика были непонятны, лицо не вскрывало их. Старик начинал улыбаться, глаза его самодовольствовали. Старик облизал губы, плюнул себе на палец и размазал слюною грязь на ноге, между пальцев. И опять улыбался старик, жмурился, блаженствовал. Он заснул, склонив голову на узел шелковых тряпок, на пестрядь умершей роскоши. Во сне лицо старика было беспомощно.

Никто в этот день, ни Павел и Александр Марковы, ни смердящий старик — не думали, конечно, о созвучии слов — индусы и индустрия.

Николина Гора,
27 июля 1928 г.

СИНЕЕ МОРЕ

I

Ноября 1854 года, в дни Восточной войны, на Черном море у берегов Балаклавы погибло английское военное судно «Черный Принц». Человечеством ведутся регистры всех кораблей, когда-либо ходивших по морям земного шара. «Черный Принц» был английским военным транспортом, первым в английском флоте железным судном, двух-с-половиною-тысячетонным, четырехкотловым пароходом, оснащенным также и парусным вооружением. Судно пришло к берегам Крыма 12 ноября 1854 года. Балаклавская бухта была занята флотом соединенных эскадр, враждовавших с Россией и штурмовавших Севастополь. 12 ноября «Черный Принц» отдал якоря и погасил котлы на внешнем балаклавском рейде. Судно принесло из Англии четыре миллиона фунтов стерлингов — сорок миллионов русских рублей — золотом — для раздачи жалования английским солдатам; английская королева Виктория, та самая англичанка, которая «гадила» России, присылала на «Черном Принце» бриллиантовую шпагу — английскому командующему.

В полдень 14 ноября над Черным морем прошел жесточайший шторм, такой, память о котором до сих пор сохранена у балаклавских рыбаков, ибо брызги волн ударялись тогда о генуэзские башни, стоящие над морем, в отвесе, примерно, на полверсты. Человечество запомнило этот шторм гибелью тридцати двух кораблей соединенных эскадр, разбившихся около Балаклавы, среди которых погиб и «Черный Принц».

Русский историограф Восточной войны, генерал-лейтенант Богданович описывал этот шторм и гибель кораблей — следующим образом:

> «...Напрасно французские и английские суда побросали в море свои якоря; рассвирепевшие волны разрывали цепи и сносили якоря; корабли, сделавшись игралищем бури, сталкивались между собою, разбивались и исчезали в морской бездне. Нельзя было оставаться на палубе, не уцепившись за какую-либо из снастей».

О гибели «Черного Принца» ничего неизвестно — или очень немногое. Шторм понес судно на берег. Котлы были погашены. Крейсировать, маневрировать парусами, развернуться — возможности не было. Якоря не держали. Капитан отдал приказ рубить мачты, чтобы облегчить якоря. Мачты стали падать в воду. Произошло катастрофическое: бизань упала в воду под ветер раньше, чем перерубили тросы, — мачту занесло под ахтерштевнь, тросы замотались вокруг руля. Судно стало неуправляемым, гибель пришла на судно. Капитан отдал тогда последний приказ — спасаться всем, кто может. Из 255 человек экипажа спасся только один, который и рассказал о последних часах «Черного Принца».

Больше никто ничего о «Черном Принце» не знал. Ночь пронеистовствовала бурей. Наутро тогда, 15 ноября, море голубело безмолвием, под синим небом, в золотом солнце. На «Черном Принце», вместе с 254 человеками, погибло золото и бриллиантовая шпага Виктории. Место гибели судна человечеством было потеряно, и человечеству осталась легенда о золотом кладе «Черного Принца», о золоте, которое можно найти и поднять, — жестокая легенда, ибо золото — богатство — обогащение — есть одна из жесточайших, ужаснейших сил, двигающих человечеством.

На Малаховом кургане, на Корабельной линии — в дни Севастопольской кампании — часовыми ставили чучела солдат и мертвецов, — было сожжено полмиллиона пудов пороха, два миллиона артиллерийских снарядов и сорок пять миллионов ружейных патрон. Это забыто.

Не забыто — золото «Черного Принца»: англичане, французы, итальянцы, русские, греки — искали его богатства и ничего не находили, потому что даже место гибели не было найдено, затерявшись в водных стихиях.

II

Как много сини и солнца в мире! — декабрями, зимами, ночами я очень часто думаю о тех странах, которые названы полуденными, которые залиты солнцем и синью. Я помню Кара-море, Мармару, Эгейю, море около Цусимы и Великий океан вокруг Японии, — я помню земли около этих морей, — и всегда, вспоминая, я вижу, я ощущаю — солнце и синь, необыкновенные солнце и синь, синь неба, синь моря, синь пространства, — чудеснейшее в мире.

И однажды в Москве, на Поварской, мой друг, японский литератор Курода Оттокичи, мне сказал, что он завтра на сутки едет в Крым, в Балаклаву, где его соотечественники ищут золото «Черного Принца», рыща по морскому дну.

Я вспомнил золото солнца, чудесность сини, — решил опуститься на морское дно, — и я поехал с Куродою в Крым, на одну ночь. Оказалось, что в международных вагонах русских поездов можно ездить по сюжетам. Я был в Греции на развалинах эллинской культуры, там же я видел памяти генуэзцев. Я знаю турок, братски похожих на крымских татар. Я был в Англии и знаю эту владычицу морей. Я был в Японии — и не представлял себе японцев в Балаклаве, которая до рождества Христова, при эллинах, называлась Символоном, при генуэзцах — Чембало, и лишь при турках стала — в пятнадцатом веке — Балаклавою, где по сие число остались развалины генуэзской крепости и эллинские мраморные тропинки. Я хотел скрестить в себе место, где скрещивались греки, генуэзцы, турки, англичане, японцы.

Международный вагон покойствовал тишиною, ночью от Москвы до Курска и бесконечным днем отдыха от Курска до Александровска. Курода-сан весь день был в кимоно.

III

В России некое учреждение имело талант видеть не только в пространствах и вперед, но и на многие сажени, а не на три аршина, под землю и под воду. Учреждение это — ОГПУ. ОГПУ, кроме всего прочего, имело и хозяйственные организации, — например, ЭПРОН, организацию, которая вылавливала со дна морского затонувшие суда. ЭПРОН имел водолазную школу, которая по морским традициям называлась не школой, а партией. Водолазной партией заведывал доктор К. А. Павловский. Водолазы Чумак, Галямин и Федотов — нашли на морском дне остатки «Черного Принца». Честь нахождения «Черного Принца», этой легенды о золоте, принадлежит доктору Павловскому, — права принадлежали ЭПРОНу. Было твердое предположение, что «Черный Принц» затонул на очень больших глубинах и поэтому нет возможности его отыскать. Водолазная партия, где обучались молодые водолазы, работала на малых глубинах.

Вот записи вахтенного Водолазного журнала, в дни работ партии, когда найден был «Черный Принц».

> «17 ноября (1925). — В 6.50 спустили водолаза Чумака для осмотра второй половины квадрата III^3. Грунт — камни. Видимость хорошая. Глубина 5 — 6 саженей. Осмотрел весь квадрат, предметов в квадрате никаких не видел. Из квадрата III^3 заметил в квадрате III^2 какой-то большой предмет и подошел к нему. Подойдя, обнаружил, что он железный и похож на паровой котел. В 9.20 подняли водолаза наверх. В 9.30 спустили водолаза Галямина для тщательного осмотра виденного Чумаком предмета. Водолаз Галямин осмотрел предмет и подтвердил, что это судовой котел. Несколько вправо и мористее обнаружен второй такой же котел, но несколько больше побитый. Пройдя дальше, несколько вправо и мористей, нашел 3-й котел, но совершенно разбитый, и недалеко от третьего — 4-й котел, тоже разбитый. Около 4-го котла обнаружил дымовую трубу и 2 полосы коробчатого железа. Подал на бар-

кас 2 обломка дымогарных трубок и кусок железа (по-видимому, кусок палубы)».

«19 ноября.— Водолаз Чумак видел на грунте большие куски железа, трубу, паровой котел и 2 битса. Под камнем обнаружил и поднял наверх целый шрапнельный снаряд, разбитый такой же снаряд, медицинскую трубку (с надписью, на английском языке, города и фирмы), глиняную банку, медный оборок с какого-то люка. Водолаз Федотов Гаврил поднял наверх старинную ручную гранату и трубку от котла».

«10 декабря.— ...на грунте видел часть борта судна со шпангоутами и с 3 иллюминаторами...»

«14 декабря.— ...водолазы на грунте видели много железа... Водолаз Воронков видел торчащий кусок свинцовой трубы из-под камня. Старался и водолаз, и лебедкой вырвать его не удалось... Необходимо некоторые камни поднять, и тогда уже будет возможно многие предметы поднять наверх. Интересно было бы для опыта взорвать один камень и посмотреть, что находится под ним».

В дни между 17 ноября и 14 декабря были записи, кроме выписанных, следующие:

«20 ноября. — В 3.40 из Шайтан-Дере подул порывистый ветер. Подняли водолаза наверх и ушли в Балаклаву».

«26 ноября. — В море IW довольно сильный, мертвая зыбь. Спустили Федотова Степана. Ветер усилился. Зыбь увеличилась. Водолаза начало качать. Подняли его и ушли в Балаклаву».

«1,2, 3 — 8 декабря. — В море шторм. Не работали».

Ни разу, когда фактически найден был «Черный Принц», не поминалось в Водолазном журнале имя «Черного Принца», потому что никто не мог предположить, что судно затонуло в ста саженях от берега, на глубине шести саженей, на такой глубине, которая в штильные дни видна простым глазом. Партия не подозревала, что она нашла «Черного Принца», можно сказать, на проезжей дороге, как раз под скалою, где на вер-

шине стояли развалины генуэзской башни Дон. Партия недоумевала, какое судно найдено ею и почему это судно завалено каменными громадами.

Зимой копия Водолазного журнала пошла в Москву, в правление ЭПРОНа. Все суда, когда-либо ходившие на морях, записаны человечеством, зарегистрированы, ибо суда, как люди, имеют паспорты. Все смерти судов записаны так же, как записаны их имена, тоннаж, осадочность, паровая сила, парусное вооружение. И в Москве уже, когда просматривался Водолазный журнал, наткнулись на факт, что человечеству неизвестна ни одна гибель железного судна около Балаклавы, кроме гибели «Черного Принца». В английских регистрах есть точная опись и чертежи «Черного Принца»: сверили чертежи и техническое описание с найденным на балаклавском дне, котлы, их размеры, тэковое дерево, скулу. «Черный Принц» был найден. Было найдено то, что осталось от «Черного Принца».

Партия установила, что остатки корабля завалены громадными каменными глыбами. Доктор Павловский докладывал:

> «Камни эти необходимо поднять и отбросить в сторону. Взрывать же нерационально, так как большие камни, разорванные на мелкие, еще больше засыпали бы обнаруженные части. Дальнейшие поиски без уборки камней не дадут ничего».

IV

Концессия по подъему золота «Черного Принца» была сдана ЭПРОНом японскому водолазу Катаока-сан. Катаока довершил картину гибели «Черного Принца», разъясняющую, почему «Черный Принц» так долго не был найден и как он погиб. Картина гибели была вычерчена чертежами и записана математическими формулами. «Черный Принц», потеряв управляемость, став «игралищем бури», как определил генерал-лейтенант Богданович, был нанесен на береговую скалу правым бортом, скалою и волнами был разбит в щепы и тут же затонул, — в ста саженях от берега. И в эту же ночь, когда волны закидывали себя на триста саженей

вверх, к башне Дон, был обвал, скалы упали в море и задавили «Черного Принца», сокрыв его от человеческого глаза. Страшна, должно быть, была та ночь, ноябрьские мрак и ливни, ураган и буря, когда суда бросались на скалы и скалы валились на суда, уничтожая человеческое железо и людей, которые двигали железом.

Мы приехали в Балаклаву в те дни, когда 25 японцев каждодневно лазили на морское дно и перетаскивали с места на место каменные громады в полторы тысячи пудов, чтобы очистить грунт, где лежал «Черный Принц», и добраться до его развалин. Катаока-сан, начальник экспедиции, бывший японский морской капитан, ныне был человеком с мировым именем: до «Черного Принца» он поднял золото с японского парохода «Ясака-мару», затонувшего в 1915 году на глубине 200 метров в Средиземном море от немецкой подводной лодки. «Ясака-мару» вез золото и затонул в открытом море, астрономическая точка его гибели была неизвестна. Англичане, французы, итальянцы — отказались от возможности найти «Ясака-мару» ввиду глубины и неизвестности места гибели. Катаока высчитал место гибели математическими формулами и изобрел новый водолазный аппарат, основанный — опять-таки — на математике и на изучении физиологии крови. Катаока поднял со дна Средиземного моря, из глубины двухсот метров — три миллиона рублей и мировое водолазное имя.

V

Весь путь мы не выходили из нашего купе. Курода-сан был в кимоно, от его вещей в купе запахло Японией. В промежутки меж разговорами о «Черном Принце» и наших японских памятей я читал «Историю генуэзских поселений в Крыму», составленную Николаем Мурзакевичем, изданную в 1827 году в Одессе, и академическое «Прошлое Тавриды». Курода-сан, мой друг, сидел против меня, по-японски с ногами на диване, курил, улыбался и писал статью о Мурмане, где был за неделю до нашей поездки на юг. С каждым часом поезда к югу в вагоне становилось душней и душней, вырастало солнце

и голубело в нашем купе. Вырастали полуденные страны и вырастала — Япония. Вечером Курода-сан рассказывал японское свое детство. Ночью я смотрел, как Курода спит, в кимоно, на спине, крест-накрест сложив ноги, как не заснул бы ни один европеец, — и думал о том, как различны антропологии культур Востока и Запада, до манеры спать.

Инкерманские монастыри нас разбудили солнцем. В вагоне был праздник. Солнце умывало землю прозрачнейшим своим светом. Крылом птицы махнуло вдали море. Курода-сан и я, мы надели белые костюмы и тропические шлемы, ради праздника. Поезд отмелькал каменноугольным удушьем тоннелей, вновь и вновь умывался светом и солнцем — и пришел в прохладу белых камней севастопольского вокзала. Тени света на вокзале были зелены. Зубы татар в солнце голубели. Греки были лиловы. Россия — от Тавриды, Казырии, Крыма — была отделена ночью. Около буфета на перроне, под пальмами, стоял японец, переводчик, который выехал нас встретить. Он махал нам своим канотье. Мы поменялись визитными карточками. Широкогрудый автомобиль рявкнул, дёрнул, запылил, понес. Тополи, кусок моря, арба, улыбка нашего спутника, остановка на минуту у медленной аптеки и на телеграфе. — Экспедиция приступила к основным работам. Вчера подняли медную монету королевы Виктории со штампом 1854 года. Катаока сейчас в море. Завтрак и ванна нам готовы. Катаока проведет с нами вечер. Очень многие русские плоды и рыба хорошо идут в японскую кухню. Нельзя достать рису. Рис телеграфом выписали из Москвы. —

Балаклава — Символен, Чембало — похожа на норвежский фьорд, громадные скалы повисли над морем и над бухтой. На вершине скал — развалины генуэзской крепости. Вода в бухте совершенно синя. Тополи запылили дорогу. Домишки прилепились гнездами, набережной не меньше двух тысяч лет.

Нам отвели комнату в гостинице «Россия», рядом с концессионным японским домом. И мы погрузились в Японию. Японец-прислужник принес нам чаю и повел нас в ванну, сделанную за кухней, в японскую бочку, где вода почти кипит. Дом был пуст, пахнуло морем и тушью. Канцелярист передал мне свою визитную карточ-

ку. В коридоре распялены, ногами вверх, водолазные костюмы, — скафандры похожи на уэлсовских марсиан. В ванной нам дали японские полотенца, которыми надо одновременно и мыться, и утираться. В столовой нас ждал завтрак — соленая слива, зеленый чай, рыба в сое, рис. Палочками вместо ножа и вилки, вкусовыми памятями я был погружен в Японию. Мы закурили сигареты «верджиния». Нас ждал мотор-бот, чтобы снести в море на работы. Праздник утра продолжался набережной: по набережной ходили мужчины и женщины, северяне, приехавшие к солнцу, в варварских купальных костюмах, безобразящих и так не очень красивых северных эллинов. Бот заколыхался в сини бухты, понес к взморью, в сини воды, в сини неба, зафыкфыкал. Японец-рулевой повязал голову полотенцем. Его национальный рабочий костюм обнажал ноги и руки логически и красиво, совсем не так, как у московских эллинов и эллинок.

В синем море, под синью неба, под башнею Дон, под отвесной скалой в поле воды, отгороженном флажками на буйках, стояла маленькая водолазная эскадра — паровая шаланда с кранами, мотор-бот, два водолазных баркаса, шлюпки.

На шаланде навстречу нам пошел Катаока-сан, невысокий человек, с лицом коричневым, как жженый кофе, миллионер и человек мирового имени, в европейской рабочей блузе, запачканной машинным маслом, в белых перчатках, как, к слову сказать, и остальные японцы на палубе, рабочие и инженеры. Он улыбнулся прекраснейшими зубами, помахал панамой, пожал наши руки, познакомил с японцами и русским доктором Павловским, тем, который нашел «Черного Принца».

В тот час, когда пришли мы, на морском дне динамитом рвали скалы.

После приветствий я сказал, что я был бы счастлив в скафандре опуститься на морское дно. Катаока-сан — просил, если разрешит доктор Павловский, то есть если разрешит мое здоровье.

Мы отошли в сторону, чтобы наблюдать и не мешать.

Водолазы опускались в воду, пуская пузыри отработанного воздуха, похожие на огромных — не то жуков, не то жуковых личинок. На морском дне водолазы подкладывали под скалы динамит, фугасы и всплывали

вверх. Лодки расплывались веером. Минер включал ток. Вода вскрикивала и вздрагивала. Лодки сплывались. Наверх всплывали убитые рыбешки, японцы ловили их ловко, ногтем большого пальца, отрывали голову, выкидывали внутренности — и ели сырых, еще трепыхавшихся рыбешек, сплевывая в воду их хвосты. Водолаз вновь уходил страшною личинкою под воду, давал сигналы, закреплял тросами полуторатысячепудовые глыбы. Скрипел кран, и шаланда уносила на лебедке эти глыбы на глубины.

Доктор Павловский, в форме русского моряка, в золотой фуражке на затылке и в майке, обнажавшей грудь, предложил поехать купаться. Под скалой, которая крышею стала над нами, меж камней, упавших в море, где вода не синяя уже, а зеленая, проходили мои часы солнца, воды, медленности, часы сини. Я лежал в щели между двух каменных громад, в прохладе крабов. Ноги мои были в зелени воды. Мелкая волна, шумящая галькой, мыла мне плечи. Была милая медленность праздничности. Константин Алексеевич Павловский на этих камнях выслушал мое сердце, чтобы решить его пригодность для подводных стихий. Синий дым медленности и папирос казался белым в сини зноя и неба.

Так прошел день. В сумерки мы обедали — по-японски — десятком малюсеньких мисочек. В закате мы ходили по скалам. Пришла ночь женских смешков на набережной и в палисадах, громадных звезд, хоровой песни с моря, сторожевых посвистов, густейших запахов и пряного мрака, — полуденная ночь.

VI

Мы пошли к Катаока. Он ждал нас в своем кабинете.

Это была рабочая комната экспедиции. Рядом с американскими черными чемоданами, по существу являющимися переносными гардеробами, лежали незнакомые инструменты. Угол завален существенными мелочами, поднятыми с морского дна. Стены в чертежах и планах. За чертежами стояла походная кровать.

На столе — по-европейски — поданы были японский чай, японские сладости, сделанные из сладких бобов и морских водорослей, и английские сигареты.

Катаока-сан был в вечернем кремовом фланелевом костюме, весь белый, кроме коричневого от солнца лица. Он был медленен и деловит.

Курода-сан оказался драгоманом.

Я спросил, — много ли шансов не найти золота?

Катаока ответил, что бочки золота, — те сто бочек с золотом, которые были на «Черном Принце», — конечно, разбиты. Дно придется прощупать насосами и пропустить через решета. И, тем не менее, быть может, золота достать не удастся, если золото размыто волнами.

Я спросил, что в таком случае побудило Катаока-сан взять эту концессию?

Катаока улыбнулся, ответил коротко:

— Золото.

— А если его нет? — спросил я.

Катаока ответил твердо. За его работой следит весь водолазный мир — Англия, Америка, Япония, весь земной шар. Если он не найдет золота «Черного Принца», он погасит легенду о «Черном Принце». Это ему кажется стоящим денег.

Я тогда собрал мысли, чтобы помолчать. Предо мною сидел человек, художник, который творчествует своею работою. Катаока-сан заговорил без моего вопроса, он просил Куроду передать мне, что он и двадцать четыре его сотрудника, его соотечественники, его водолазная партия, с которой он поднял уже множество больших и малых судов в мире, — все они осознают свою работу первым делом как ответственность перед человечеством и чувствуют это каждую минуту. Мне было понятно, что я сижу — около большого человека. Катаока курил и ел бобовые конфеты, коричневолицый японец. У больших людей должны быть простые жесты. Он показывал медную монету королевы Виктории, изъеденную моллюсками, и на лице у него было очень хорошее, достойное удовольствие.

Он предложил нам пройти в ресторанчик на набережной выпить по стакану пива. Ночь была черна и тепла, про такие ночи сказано, что они бархатны. Я видел жизнь этого водяного мэтра. С рассвета он работал — в кабинете над чертежами математикой и знанием — в море над водными стихиями опытом и мышцами. В далекой, чужой, непонятной стране, как для россиянина чужд и непонятен какой-нибудь японский,

хоккайдский уездный порт, — вечерами Катаока читал японские газеты и журналы, приходившие с запозданием на месяц, курил сигареты, ел палочками рис, проходил перед сном вдоль набережной и засыпал в полночь, чтобы работать с утра — работать в таинственных морских стихиях, памятуя, что за ним следит мир, давший ему имя первого на Земном Шаре водолаза.

Я почтительнейше распрощался в тот вечер с Катаока-сан.

VII

И наутро тогда я испытал чудесность, единственную в моей жизни, ни с чем не сравнимую: я опускался на морское дно.

Я летал над облаками, потеряв внизу землю, я был в театрах Востока и Запада, я был в океанах, я был в Арктике и под Тропиками, — все это не в счет по сравнению с тем, что дает морское дно.

Для того, чтобы опуститься на морское дно в скафандре, надо иметь здоровыми — сердце, уши и нервы. Сердце должно справиться с кровью, ибо каждая сажень под водой почти на атмосферу меняет давление, кровь проазочивается и «вскипает» от перемены давления, как вскипают бутылки с нарзаном, когда их откупоривают. Уши должны иметь крепкие барабанные перепонки, чтобы они не лопались в тот момент, когда выбрасывается из скафандра отработанный воздух и сразу меняется воздушное давление. Нервы — человеку дано ходить по земле, — рыба умирает в воздухе, — в небе над землей меня носил пилот, — под водою в скафандре моя жизнь у меня в руках — надо иметь здоровые нервы, чтобы они командовали моей жизнью. Водолазных учеников в школах наряжают в скафандр сначала на берегу, затем спускают на сажень под воду, потом на полторы.

Был золотой день. Мотор-бот понес меня и моих друзей, возникших за сумерки, в частности Веру Инбер, на работы партии. Москово-балаклавские эллины в купальных костюмах, прослышав, что писатель полезет под воду, разместились на шлюпках вокруг запрещенной зоны. Был чудесный и жарчайший день. Я должен

был опускаться на морское дно под наблюдением доктора Павловского, но из рук японцев, которые не могли говорить по-русски так же, как я по-японски.

Японцы заулыбались и заприветствовали. Доктор Павловский перебрал формулы — сердце, уши, нервы, — сигналы — хорошо, плохо, несите обратно. И я потерял волю. Коричневые в солнце японцы, у которых, как у татар на вокзале, синели от солнца в улыбках зубы, посадили меня на скамеечку, стали раздевать, один расшнуровывал ботинки, другой развязывал галстук. Мое нижнее белье мне оставили. Стыда обнаженности я не чувствовал в этом безволии. Надели на меня шерстяную фуфайку толщиной в палец, такие же носки и кальсоны. Я сразу почувствовал себя в тропиках и зашутил. Японец, своим полотенцем, сняв его с головы, обтер мой пот. Меня всунули в резиновый мешок, положив предварительно мешок и меня на палубу и упираясь ногами мне в плечи, чтобы я влезал. Стало шанхайски-удушливо. На ноги мне одели водолазные туфли, свинцово-медные, каждая по пуду весом. И еще насунули на меня брезентовое туловище. Тогда посадили меня около борта. Так же, примерно, как на автомобильный обод натягивают шины, стали натягивать на медный хомут весом пуда в полтора, положенный мне на плечи, края резинового мешка, в который я был всунут, и привинчивали резину к хомуту гайками. К хомуту, на грудь мне и на спину, привесили два грузила, каждый фунтов по тридцать. Гири связали шкертиками у меня подмышками, чтобы они не болтались. Бедра мои связали сигнальной веревкой, сигнальным «концом» и стягивали ее, как стягивают супони у хомутов, упираясь в мои бедра ногами. На мне было навешено уже пудов пять. Под руки поддерживая меня, поставили меня на трап, по пояс в воду. Мне было жарко и весело. Последний раз доктор Павловский сказал — сердце, уши, нервы — хорошо, плохо, несите обратно. Сигнальная веревка была у меня в руках. Вера Инбер смотрела на меня со шлюпки соболезнующе, Курода улыбался как солнце. Павловский поднес к моей голове марсианообразный череп скафандра, последние полтора пуда моих тяжестей, показал клапан, который надо нажимать головой, местом между затылком и правым ухом, чтобы отпускать отработанный воздух.

Доктор снял с меня очки. Скафандр привинчивают к хомуту, как герметическую пробку. Скафандр привинтили.

Я оторван от мира. Голова зашумела воздухом, который нагнетался с баркаса насосом. Павловский махнул мне рукою.

Я оттолкнулся от трапа, чтобы погрузиться в самого себя, в свои ощущения и — в воду. Зеленая вода сошлась над скафандром, плеснувшись. Красное дно шлюпки, где были Курода и Инбер, стало подниматься. Махающие руки на шлюпках стали терять свои формы, растягиваясь невозможностями и невозможно сплющиваясь. Деревянное дно шлюпки колыхалось, змеилось, точно оно ожило. Затем шлюпка растворилась в сини, исчезла. Вокруг была синяя, необыкновенная стихия. Я поймал глазами солнце: оно шло ко мне двумя путями — острейшими стрелами и блиноподобными рожами. Я нажимал на клапан, тогда булькал уходящий воздух, звенело от пустоты в ушах и немело сердце. Насос гнал новый воздух, и сердце тяжелой артиллерией било по густеющей крови. И вот, в сине-зеленой мути я увидел мрачные камни морского дна. Маленькая рыбешка подплыла к иллюминатору скафандра, я хотел схватить ее рукою, — она покойнейше отплыла в сторону и опять двинулась ко мне. Я поразился своей руке: она двигалась необыкновенно, она удалялась и приближалась ко мне зигзагообразными линиями, точно она была гармошкой, как гармошка растягиваясь и сжимаясь. Я опускался на дно головою вниз, я заметил это, когда увидал камни дна. Я двинул головой и плечами, — и понял, что те пуды, которые нацеплены на меня, не имеют веса. Я был невесом. Рядом со мною, вдвое выше меня, была скала, заросшая ракушками и водорослями. Солнце шло стрелами и блинами. Все было мутно-сине, зелено-сине, лунно. Глаза упирались в синий мрак. Морское дно казалось огромной чашей, края которой поднимаются и уходят в невидимости лунного мрака. Это было нечто, совершенно не похожее на человеческую землю и не измеряемое человеческими правилами. Я хотел тронуть скалу, которая была рядом, — рука не дотянулась, — я шагнул к ней, — скала отодвинулась. Под ногами были камни в половину моего роста, я шагал циклопическими шагами. Я подо-

шел к скале. Я дотронулся до нее, потянулся к камню, который был над головой, — и ноги мои отделились от грунта. Большая рыба выплыла из-под скалы, прошла мимо меня. Невесомый, я поднялся на скалу легким прикосновением рук к камням. Я шагнул со скалы и я оказался около разбитой корабельной скулы. Иллюминаторы смотрели зловеще, треглазый зверь двигался сломанными лучами солнца в твердейшей сини воды. Шпангоуты были завалены камнями.— Вот он, «Черный Принц», человеческая легенда о золоте! — Рыба выплыла из мертвого иллюминатора. Мое сердце захлебывалось кровью, уши готовы были лопнуть: я забыл отпустить отработанный воздух. Я открыл клапан: ноги, сердце и голова опустились в бессилии. — Вот он, «Черный Принц», легенда и страшная гибель, морское дно и смерть! — Сверху спрашивали, сигналили — «хорошо ли?» — я жалел, что у меня нет сигнала — «невероятно!» — Рыбы приняли меня в свое общество, безразлично плавали вокруг меня. Никогда, нигде я не видел такого, ибо здесь, на морском дне, у водных стихий совершенно свои законы физики, видимости, плотности, которых нет на земле, свои законы дыхания и жизни. Солнце шло зелеными стрелами. Мертвый «Черный Принц» — двигался смертью. Кругом была невероятная, лунная синь.

Все чаще и чаще спрашивали сверху — «хорошо ли?» Я перепутал сигналы.

Вдруг, медленно, я пополз вверх, помимо своей воли, и повис в каких-то саженях над «Черным Принцем». Эта минута висения была вечностью. Еще на сажень подняли меня, исчезло дно, не было земли, была ослепительная синь, только синь, больше ничего. И сердце булькало, в борении с кровью, готовой закипеть.— Для того, чтобы не вскипела кровь от быстрой перемены давления, водолазов вытаскивают с морских доней очень медленно, поднимут на сажень и держат минуту-другую: я был водолазом, эти минуты висения были вечностями.— Я увидел донья лодок, — земля, человеческая жизнь! — тринадцатилетним мальчишкой я замотал ногами и руками, забрыкался, в неистовом удовольствии, приветствуя землю и людей, повисших над шлюпками.

Доктор Павловский хотел выслушать мое сердце: я махнул на сердце рукой! Я радостнейше выползал

из гирь и резин, надевал в гордости штаны и завязывал галстук, грелся солнцем, шлепал по плечам японцев, «юроси-гоза-имасил», то есть объяснял, что очень хорошо!

Вечером, отобедав последний раз, последний раз в жизни — по-японски — в Балаклаве, — мы поехали на вокзал, чтобы вернуться в Москву. Я злоехидничал, почему Курода-сан вместе со мною не лазил на морское дно? — он отшучивался и посматривал хитро. Он рассказал, что рабочие-японцы после нашего отъезда посыпали солью шаланду и шлюпки — по японскому поверью, чтобы очистить шаланду и шлюпки от женской нечисти, потому что на шаланду и шлюпки влезала Вера Инбер. От полуденного Крыма мы ехали к сентябрю Москвы.

Наутро, на Украине, я проснулся совершенно разбитым человеком: на плечах, куда приходился водолазный хомут, на затылке, в том месте, которым я давил на клапан, вздулись шишки и синяки, ноги отказывались действовать.

VIII

Прошли месяцы и пройдут еще годы.— Когда много сини и солнца в мире! — декабрями, зимами, ночами я часто вспоминаю и буду вспоминать те необыкновенные минуты, которые я провел на морском дне. Чем больше уходит дней, тем чудеснее кажутся мне эти минуты. Это закон, что чудесность, когда она переживается, не кажется чудесностью. Я подробно записал все, что было со мною на морском дне; сейчас мне это кажется иным, непередаваемым, величественным, — фантазия рисует невероятности. И, думая, особенно ночами, о морском дне, я впадаю в странное ощущение странной сини, синь пронизывает меня, все становится чудесным, мне чудесно.

Японцы не нашли золота «Черного Принца».

Японцы нашли «Черного Принца» и погасили его легенду.

Золото с «Черного Принца» подняли — англичане, тогда же, вскоре после гибели судна, в течение тех шести месяцев, которые они провели в Балаклаве после

14 ноября. Англичане подняли не только золото и бриллиантовую шпагу королевы Виктории, но содрали даже все медные части. Японцы нашли под камнями консерв английского водолаза, человека, герметически закупоренного в водолазном костюме. Водолаз погиб на морском дне. Англичане не озаботились его поднять. Его подняли японцы. В кармане водолаза была тетрадь дневника от 1854 года. Водолаз поднимал золото «Черного Принца». Все ясно. Властители морей и мировые купцы — англичане — они умеют хранить тайны и они — национальная английская гордость! — великие шутники: англичане пошутили легендой о «Черном Принце». Легенду потушили — японцы. Историограф Восточной войны, генерал-лейтенант Богданович, в III томе своего труда записал:

> «Хотя с нашей стороны и не было сделано ничего, чтобы воспользоваться бедственным положением союзников, однако же буря 2 (14) ноября имела весьма невыгодные для них последствия. Холера и другие болезни развивались с ужасающею быстротою и усилили смертность в английском лагере».

Англичане занимались не только холерою. Генуэзская башня Дон — по-прежнему стоит над Балаклавою. Балаклава при генуэзцах называлась — Чембало. В одесской книге от 1827 года, то есть от дней до Восточной кампании, написано о Чембало:

> «...меняли изделия и товары Европейские на меха Русские, Азиатский шелк и пряности Индостана. Караваны с товарами Китая, Тибета, Индии, Туркестана через Астрахань и Тану достигали благополучно. Китай доставлял свой фарфор; Индия — алмазы, пряные коренья; Бенгал — опиум; Малабар — шафран, сандаловое дерево; Цейлон — перлы и корицу; Тибет — мускус; Ефиопия морем доставляла слоновую кость; Аравия — мирру и ладан. Генуэзцы же взамен роскошных произведений Азии и Африки отпускали: сукна разного рода, в особенности пурпурного и красного цвета; поясы, ожерелья, запястья,

кольцы и другие женские украшения, также леопардовые кожи. Драгоценные металлы Генуэзцы получили на значительные суммы от Татар, приобретавших оные в России»...

Чембало переименовано турками в Балаклаву, в 1383 году Кедук-Ахмет-паша, турецкий генерал, завоеватель Крыма, взял Чембало хитростью: генуэзцам изменили армяне и генуэзский же — советник Скварчиафико. Летописец записал:

> «На девятый день победитель дал пиршество, на которое пригласил и Армян, участвовавших в сдаче ему города, и советника Скварчиафико. После пира все получили достойную казнь за измену: при выходе каждого сводили по узкой лестнице за крепость к морю, там умерщвляли и бросали в волны».

Название — черное море — есть точный перевод с турецкого кара: но кара имеет два смысла — черное и злое; турки слово кара применяют к теперешнему Черному морю в смысле злое; русский перевод с турецкого сделан неправильно.

...При греках же, при эллинах, во времена Тавриды и Геродота, Чембало называлось — Символоном. У Геродота записано:

> «...далее к востоку лежит бухта с узким входом, которая называется гаванью Символов».

Балаклава — гавань символов! — чудесно жить в этом синем мире!

Ямское Поле,
10 февраля 1928 г.

РАССКАЗ О ГИБЕЛЯХ

Алексею Силычу
Новикову-Прибою, учителю

Штормы приходят так — —

Падает барометр, и все следят за его падением. Радио приносит вести с морей о путях циклонов. Метеорологические станции посылают предсказания, которым никто не верит. Море серо, как серо небо, закованное латами волн. Барограф вдруг начинает визжать десятью баллами ветра, судно воет такелажем, рвутся гребни волн, — и через полчаса штиль, — а через пять минут вслед штилю рвутся десять с половиною баллов. Радио сообщает о SOSах и о штормах во всех морях северного полушария. Капитан приказывает задраивать судно к шторму. Циклон, который шарит рядом в море, дует одиннадцатью с половиною баллами и уронил барометр до 219-ти, — барометр на судне показывает 231, и он все время падает.

Тогда приходит шторм. Море начинает кидаться этажами и латами волн, и этажи корабля ползут на эти этажи лат, воет и стремится ураган, эмульсия воды и воздуха летит выше мачт, и ночи начинают путаться с днями. Ветер сшибает людей и прерывает дыханье. Вода перекатывается через палубы. Люди, морские жители, которые по тридцать лет ходят морями, заболевают морем, ибо нет ни одного человека, которого море не било б. По кораблю, кидаемому этажами, нельзя ходить, — на корабле нельзя спать и нельзя работать, — каждая человеческая мышца должна быть напряжена, — и вскоре голова начинает набухать бредом, должны придти гени-

альные музыкант и психиатр, которые запишут музыку шторма и бред мозга. — Ветер рычит, плачет, хохочет, кудахчет, — скрипят, рычат, визжат переборки, — воет такелаж, — пароходный гудок гудит, гудит, гудит, и его не слышно. Ничего не видно кругом. Волны становятся полом, небо становится стеною, вода летит над мачтами. — Бред, переутомление. — Новый возникает звук, растет, накатывает, — мозг осмысливает: судно стало против волны, воют винты в воздухе. Звук исчез — и тогда: ничего нет, совершенно тихо, комната в родном городе, диван, книги на столе, на диване в шали заснула жена, не потушив ночную лампу... — Новый звук — та-та-та-та — стрельба из пулемета, — человеческих слов не слышно, и слышен голос капитана:

— Вахтенный!

Электрический фонарик. В круге его света лицо матроса. Лицо зелено в свете электричества, лицо испугано. Говорит капитан. На фокмачте размотался стальной конец, это он та-та-та-кает пулеметом в ветре по мачте, он расшиб лампочку топового фонаря. Капитан приказывает:

— Вахтенный, на мачту, наладить топовый огонь!

Лицо матроса очень злобно, матрос протестует. В зеленом свете электрического фонарика появляется рука капитана с револьвером. Прожекторы освещают мачту. Под матросом перекатываются волны. Матрос лезет по веревкам вант. Мачта справа налево кидает матроса к месиву волн, и брызги волн летят над матросом. И: — все мы, все мы были мальчишками, — пустырь соляного амбара, оставшегося от откупов и заросшего бузиной, — мальчишки повесили кошку за хвост, кошка не умирает, — мальчишкам мучительно до тошноты — скорее б умирала кошка, чтобы перестать мучиться ее смертью. Та-та-та-та исчезает, — какою невероятною музыкой воет шторм! — а жены уже нет, и шаль вытерлась, и ночная лампа давно разбита, тишина, ничего нет.— Матрос с веселым лицом рапортует капитану:

— Есть, капитан!

Радист, этот человек, потерявший пространство и шарящий в пространствах, повис над аппаратом своей мистической кухмистерской, он слышит в бреду моря и в бреду мозгов вести о гибели — SOS, SOS.

Пактовое судно идет с лесом, волны бьют в бревна. Бревна занайтованы стальными тросами. Волны пере-

катытаются через корабль, волны бьют в бревна. И тросы на бревнах лопаются. Стадом взбесившихся дьяволов кидаются в стороны бревна. Волны кинули бревна вверх, бревна поднялись над судном. И — одно, другое, третье — бревна бьют таранами в капитанский мостик. Рулевой бросился в сторону: вместе с волною и с ревом таран бревна бьет по штурвалу, по компасу, пробивает переборку в штурманскую рубку, — паровой руль уничтожен, компас-указатель морских путей — уничтожен, матрос, грудь которого смята, — уничтожен. Люди бегут к ручному рулю, на ют. Лица людей бессильны. Волны и ветер воют. Матросы тянут налево ручное рулевое колёсо, синие жилы вздулись на их висках: волна накатилась, ударила, кинула вверх, вторая волна ударила не в ритм по рулевому перу, — люди полетели в стороны от рулевого колеса, — боцман — он не успел отскочить, не успел бросить рулевое колесо — он в воздухе над колесом, его ноги над его головой — и он летит за борт. Люди вновь хватаются за руль. Капитан смотрит за борт, куда упал боцман, — и видит: бревно — бревна мечутся стадом диких кабанов в кипении волн — волна несет бревно — бревно ударило по рулевому перу. И капитан командует:

— Отставить!

Все кончено, авария, гибель. Капитан смотрит за борт, в стремленье волн и воздуха. Капитан бессилен и беспомощен. Матросы покойны, как люди должны быть покойны в смерти, и матросы достают мокрые кисеты. Капитан командует бессильно:

— Аврал! К шлюпкам! Ждать команды!

...и матросы теперь уже не люди: номера людей встают под волны под номера шлюпок, — ненадолго, впрочем, ибо больше команд не было за ненадобностью.

Капитан идет в радиорубку, она на спардеке, сзади штурманской.

Капитан говорит радисту:

— Кидайте SOS!

...За много рейсов до этого шторма пришел с моря на родину, в родной свой порт — кочегар, старый моряк. Целые сутки до земли тогда он мылся, выпаривая из тела копоть и уголь. Он вез жене с моря подарки, наряды, редкости, сладости, патефон с пластинками фокстротов, экваториальные фрукты, ананасы, бананы. Он любил жену, он всегда все свои деньги — вещами — привозил жене, — и

он мечтал, как передаст жене подарки. Судно пришло в порт ночью и к рассвету стало на прикол. В рассветной пасмури на набережной теснились жены и невесты моряков, пришедшие встретить мужей и любимых, — среди них не было жены кочегара, — и через четверть часа матросы знали от жен и невест о том, что жена кочегара нашла себе другого мужа. Товарищи сказали мужу, что его жена ушла от него. Кочегар до сумерок ждал жену, она не приходила, он молчал. К четырем часам кочегар переоделся в праздничное. Он вызвал себе в порт автомобиль. Посыльному он приказал отнести на дом к жене — в его прежний дом — подарки, наряды, патефон, сладости, фрукты. На автомобиле он заезжал в цветочный и ренсковой магазины, и он послал жене цветов и вин. Он дважды промчал на автомобиле под окнами своего дома. А когда посыльные сообщили ему, что жена недоуменно приняла его подарки, — он поехал домой. Он вошел в комнаты. У подъезда рявкал автомобиль. Жена вскинула в ужасе и в нерешительности руки. Новый муж стоял, опустив руки в карманы. Старый муж улыбнулся, собрав морщины на лбу, глаза его были неподвижны, — он улыбнулся еще шире и сказал удивленно:

— Ну, вот, здравствуйте!.. Вот, я и пришел с моря. Здравствуй, Клавдия, познакомь с твоим мужем. Мы ведь с тобою хорошо жили. Мы же все порядочные люди... Я вам подарков прислал на новоселье. Ну, что же, здравствуй, Клавдия!..

Муж улыбнулся очень удивленно, морщины сползли со лба в искренности, глаза стали добрыми. Жена опустила руки. Новый муж опустил глаза. Жена сказала не сразу:

— Ах, Николай!..

Николай перебил ее.

— Нет, зачем же, Клавдия?! — Все понятно! — Зачем говорить слова? — Вот, я приехал, — вот, я привез подарков, — вот, здравствуйте, — давайте попируем на новоселье и на прощание. Вот и все. Мы же порядочные люди! А ты будешь еще лучше жить, — ты ведь так хочешь.

Старый муж протянул Клавдии руку. Новый муж был молодым, крепким и штатским человеком, с алмазиком в галстуке и с золотыми зубами. У старого мужа выбиты были штормом два передних зуба, а его жизнь у котлов сделала его лицо серым. За окнами фыркал автомобиль. Новый муж шагнул вперед и протянул

руку, чтобы поздороваться, жестом равного к равному, — но Клавдия первая поздоровалась, она хотела поцеловаться.— Николай поцеловал руку, устранившись от поцелуя. Николай удивленно улыбнулся.

— Ну, вот, и отлично. Клавдия, теперь дай закусить, выпить. Надо отпировать праздник, я там прислал вина.

Через несколько минут алкоголь, цветы, средиземные сладости и экваториальные фрукты были на столе. Николай налил два стакана рому, отодвинув в сторону третий стакан.

— Ну, выпьем, — сказал он новому мужу.— Клавдии не стоит пить, пусть будет она трезвой.

Новый муж протестовал против рома, — старый муж настаивал и настоял. Они выпили по второму стакану. Они весело заговорили о пустяках. Старый муж рассказывал о море. И тогда старый муж откупорил шампанское, пробка весело ударила в потолок. И Клавдия увидела, что старый муж — не весел. Новый муж был пьян, старый муж разливал шампанское, опустив голову, исподлобья глядя на стаканы, глаза и руки его были тяжелы. Трезвой Клавдии стало страшно. Золотое шампанское весело искрилось.

— Не надо больше пить, Николай! — сказала Клавдия.

— Выпьем на счастье! — сказал Николай.

— Надо передохнуть, — сказал новый муж.

— Выпьем! — крикнул Николай и опять удивленно и беспомощно улыбнулся.

Они выпили. Николай очистил для Клавдии банан. Новый муж разрезал для Клавдии ананас. Николай налил два стакана шампанского и встал от стола. Он пошел к патефону, им подаренному, завел его и поставил фокстротную пластинку.

— Теперь вы выпьете вдвоем, — сказал Николай, — вы поцелуетесь, как на всяких свадьбах, — я буду кричать «горько!» — и вы будете целоваться, потому что я у вас на свадьбе и мне горько!

— Я не умею танцевать фокстроты, — миролюбиво ответил новый пьяный муж.

Он не видел, что глаза Николая полезли из орбит, и кожа на лбу, в жестокой злобе, полезла на затылок. Трезвая Клавдия встала из-за стола. Патефон взвизгивал фокстротом. Николай улыбался, корчась.

— Николай! — крикнула Клавдия.

— Теперь вы выпьете вдвоем и будете танцевать и целоваться, — сказал Николай, и вынул из кармана браунинг, щелкнул им, переводя патрон из кассеты в ствол.— Ну! Слушать приказание! — Чокаться! Веселиться! Пить! Целоваться! Плясать! — Я ведь знаю, Клаша, как ты целовалась и плясала со мной. Я хочу посмотреть, как ты целуешься с новым мужем!

Дуло револьвера ходило от висков нового мужа к вискам прежней жены.

До рассвета у подъезда спал автомобиль. До рассвета в доме визжал граммофон. И до рассвета под визг граммофона и под дулом револьвера плясали, пили и целовались двое — новый муж и прежняя жена. За плечами старого мужа стояла смерть, рассматривая танцующих. Новый муж был пьян, он задыхался, падал на пол, пил и танцевал вновь. Прежняя жена была трезва, она танцевала, плакала и целовалась.— На рассвете проснулся автомобиль и отвез прежнего мужа на корабль. Больше в этот приход кочегар не сходил с корабля.

И корабль ушел в море, пактовое паровое судно. Кочегар стоял свои вахты. Люди с кораблей в морях живут от порта до порта, — в портах матросы пьют алкоголь, ночуют с проститутками в притонах, сыплют своими шиллингами. Молчаливый кочегар не стал компаньоном своих товарищей в портовых ночах. Он не пил, и он тратил свои шиллинги на вещи, он покупал себе костюмы, он покупал женские редкости для подарков. И когда вновь пришло судно на родину, он опять нанял автомобиль. Он не поехал в дом своей жены, но, каждый раз в новом наряде, он назойливо ездил на автомобиле под окнами дома с товарищами и с женами товарищей, которым он раздарил редкости, — он был полупьян и очень весел, он хвалился своими морскими удачами, а жены товарищей вечерами показывали его прежней жене подарки и рассказывали об удачах первого ее мужа. Жена в те дни сидела за всеми крючками дома, в страхе воспоминаний поцелуев под дулом браунинга.— Много раз судно уходило в море и много раз возвращалось на родину. Скопленное месяцами кочегар выкидывал в несколько дней, жена узнавала о приходе корабля рявками автомобиля в ее переулке. Жена знала, что новый ее брак есть проклятье этих автомобильных рявков.— В море кочегар молчал, упорно от-

стаивая свои вахты, скулы его серели и морщинились, но глаза его крепли, и товарищи смолкали при нем, — он был примерным моряком. И другой был примерный моряк на судне — третий механик. Шипшандеры в портах предуказывают дороги в универсальные магазины, где морякам делают скидки. Кочегар ходил по магазинам с третьим механиком, они говорили о вещах, которые покупали, — в море в свободные часы они играли в шахматы, у них была общая вахта, — и на судне знали, что у этих людей — дружба. Механик был, так же, как и кочегар, молчалив и пасмурен, громоздкий и сильный человек. Они считались друзьями, и у них были общие пути, — но, если кочегар был полупьян и висельно весел в родном своем порту, механик был висельно полупьян в порту перед последним переходом на родину. Этим портом был Стамбул. В ночь перед тем, как уйти в Черное море, механик и кочегар шли в Галату. Кочегар охранял механика и пил кофе. Механик понуро пил раки и искал в дальних переулках проституток хамалов, самых грязных и самых отвратительных какие есть на земле. Таких проституток судьба выкинула в портовые закоулки под голое небо и на гнойные рогожи. Механик покупал проститутку, самую отвратительную из них, он оставался с нею на ее рогоже, угощая ее английскими сигаретами, — а кочегар ждал его в стороне, приготовив нож для защиты друга, ибо это были места убийств. Друзья были молчаливы, кочегар не был любопытен. Через сутки моря был родной порт. Механика всегда встречала жена. Она стояла в стороне от других жен и невест, молодая, красивая и чужая морякам. Все знали, что она учится в университете, студентка медицинского факультета. Моряки обнимались со своими женами и невестами и уходили из порта обнявшись, — механик целовал руку жены, точно они расстались только вчера, он передавал ей подарки, привезенные с моря. Кочегар ждал своего автомобиля, он ничего не хотел сопоставлять — —

...Капитан идет в радиорубку, она на спардеке, сзади штурманской. Капитан говорит радисту:

— Кидайте SOS!

Капитан скомандовал: — Аврал! К шлюпкам! — и матросы теперь уже не люди, номера людей стоят под волнами у номеров шлюпок. Ветер и волны воют, вздымаясь, падая, становясь в отвес. Матросы безмолвны

под волнами в месиве воды, ветра и воздуха. Люди набухают бредом, должны придти гениальные музыкант и психолог, которые запишут музыку шторма и бред мозга. Волны рвут звуки клочьями, бред срывается с мозгов в пространство воды. Зловещий красный закат красит в лиловое латы волн, латы волн сломаны. Механик наклонился над кочегаром, механик крикнул, и шум погасил его слова, и его откинуло от угольных ям к зияющей топке, — тогда кочегар шепчет, ибо шепот слышнее крика, когда все кругом рычит и воет.

— Я ее убью, механик. Я буду ее медленно убивать, как она убивала меня. Я ее убью, механик, если море не убьет нас!.. — глаза кочегара вылезли из орбит, и кожа на лбу полезла на затылок.

И кочегару прошептал механик:

— Мы гибнем, кочегар? — моя жена учится в университете, ученая и чистая женщина! — она называет себя честным человеком, и она сказала мне, что у нее есть любовник, такой же благородный и ученый, как она, и тоже медицинский студент. Только она забыла, что она все-таки живет со мною, как жена, когда я прихожу с моря, и что она учится и состоит в благородстве потому, что я хожу по морям. Она благородно молчит о том, любит ли она меня, молча отдаваясь, и берет мои шиллинги. Но у меня нет честной любовницы — и у меня есть проститутки, самые грязные из всех, — для уравновешивания чувств моей жены, потому что я люблю ее! Мы гибнем, кочегар!?

Волны вздымаются над головой, небо становится стеною, все летит и воет. Бред, переутомление. И тогда: нет ничего, совершенно тихо, — комнаты в родном городе, ночник, книги, патефон — —

Матросы называют машинную команду — «духами», — люди из машинного называют палубных матросов — «рогатиками». Разговор кочегара и механика был около топок в машинном отделении. Сзади механика и кочегара стоял старший инженер, — он слышал их разговор. Инженер был стар и брюзгл. Он подошел к механику и кочегару — и поцеловал их, очень крепко, отцовски, благословляя. Волны заливали машинное отделение, люди кидали каменный уголь, мечась по взбесившемуся трюму, по пояс в сбесившейся воде, пока вода не залила котлы. Тогда машины стали. Погасло электричество. Старший инженер отдал приказ: уходить из машинного.

И старший инженер, потому что ему нечего было делать в эти часы до смерти, пошел в свою каюту, чтобы умереть на койке. В каюте инженера не было еще воды, она медленно просачивалась сквозь иллюминаторы. Инженер зажег подвесную лампу, свет закачался по каюте. Вещи в каюте жили сумасшествием, они метались — сапоги, фуражки, книги, мундиры, щетки, — все металось по каюте, обгоняло друг друга, лезло друг на друга, ломало, било. Инженер был стар, брюзгл, усталый человек. Он снял свой мундир, чтобы лечь полураздетым в койку. На полу, среди щеток и башмаков, метался том Пушкина в кожаном переплете. Инженер был в том бреду, который приходит в минуты ужаса, когда движения и поступки человека медленнее и естественнее, чем сами медленность и естественность. Этот том Пушкина инженер купил в Лондоне около Британского музея у букиниста. Это был первый том посмертного издания сочинений, цензурованный «Апреля 3 дня 1837 года ценсором Никитенко». На титульном листе этого тома хранилась английская надпись, указывающая, что книга попала из России в Англию через Севастополь в 1854 году, во время Севастопольской кампании, причем она была взята из походной сумки убитого русского офицера. Книга была переплетена в потрепанный кожаный переплет. У книги сложилась странная судьба, — инженер ее купил, чтобы вернуть на родину. Сейчас, в этот час смерти, книга металась по полу вместе со щетками и ботинками, в несложном скарбе морского жителя, — кожаный переплет ее оторвался за эти часы, когда вещи оживали. Инженер поднял с пола Пушкина. Инженер прочитал три строчки, мелькнувшие в свете качнувшейся к нему лампы, — «Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя». — Инженер наклонился, чтобы поднять переплет, — поднял — из-за кожи переплета выпала пачка писем, письма были тщательно вделаны в переплет между кожей и картонкой переплета. Среди писем была миниатюра на пергаменте, изображение молодой и очень красивой женщины. Лампа жила, качаясь под потолком, — вода ползла в каюту через иллюминаторы и начинала плескаться вместе с вещами. Инженер лег на койку и, ловя свет, читал письма. Письма были датированы 1847 годом, письма женщины, актрисы, русские. Владелец их, — быть может, тот самый офицер, из сумки которого был взят том Пушкина, — умер, похоронив имя ав-

тора писем. Англичанин, вывезший эту книгу из России, не знал об этих письмах, и тоже умер. Миниатюра сохранила лицо милой русской девушки в счастливой улыбке.

Писем было немного, меньше десятка, и все они были подписаны одною буквою: «Н».

Она писала:

«Друг мой!

Трудно предположить, чтобы мне удалось сегодня переговорить с вами серьезно, а потому я спешу изложить в письме все, что мне так нужно сказать Вам. Мысли путаются, и положительно не знаю, с чего начать. Постарайтесь сами разобраться в хаосе этого письма. Сцена, разыгравшаяся между нами, не должна, — слышите ли, — не должна никогда больше повторяться, иначе я почту своим нравственным долгом уехать совсем из Москвы. Ваше признание застало меня врасплох, я до того растерялась, что все забыла и не в состоянии была справиться с собою. Надеюсь, этого больше со мной не случится. Большую половину жизни я уже прожила, — хотя, правда, с грехом пополам, в чем ежечасно каюсь, — и Бог поможет мне до конца остаться честной девушкой. Мы с Вами забыли о том, что пора научиться владеть собой и своими чувствами. Вам поздно начинать снова, — так как на Вас лежат священные обязанности отца и мужа, которых Вы, как честный человек, не имеете права слагать с себя и коверкать жизни ни в чем неповинных детей и жены. Что касается меня, то я никогда не соглашусь строить свое счастье на несчастьи других, не только потому, что это противно моим нравственным правилам, но уж потому одному, что, зная хорошо свой характер, я уверена, что при таких условиях я никогда не была бы покойной, а спокойствие мне необходимо для моего искусства, пусть маленького, но моего. Вот, что я должна была сказать Вам.

Н.»

Воды уже много набралось в каюте, она металась вместе с вещами. Лампа металась под потолком. Инженер метался вместе с койкой. В мире вокруг корабля неистовствовали мрак, волны и ветер. Инженер был очень покоен, он читал:

«...Нет, я не отказалась от того, что было написано в т о м письме, друг мой! Оно продиктовано было долгом чести, и я не соглашусь идти на сделку с совестью. Мне так тяжело, что я не берусь и выразить этого. Я считаю более возможным для себя вырвать с корнем зародившееся чувство, чем так мучиться. До свидания, желаю Вам того, что сама утеряла и без чего очень тяжело жить, а именно — душевного покоя.

Н.»

И еще последнее письмо — под вой ветра:

«Я пришла к окончательному выводу. Завтра мы увидимся последний раз. Пожалейте меня и поймите, наконец, что все это настолько важно для меня, что является вопросом жизни и смерти. Эту фразу я пишу совершенно смело, так как знаю, что Вы настолько успели узнать меня за наше знакомство, что не заподозрите в рисовке. Это свидание будет последним и, по всей вероятности, оно в то же время будет тризной моей молодости и всему, что она уносит с собою. Если мои слова что-нибудь значат для Вас, вы поймете меня. Вы хотите полной откровенности? — Извольте. Я чувствую себя совершенно непригодной для той роли, которую Вы предназначаете мне на жизненном спектакле, очень обидную для моего человеческого достоинства и совершенно противоречащую тому уважению ко мне, о котором Вы не раз говорили. Много раз Вы говорили мне о том, как легко прозевать жизнь. Если судьба мне предлагает только такой выбор, я предпочитаю прозевать жизнь, чем потерять спокойную совесть перед Богом и перед людьми. Поэтому — прощайте, хотя я и люблю Вас. Помните, что у меня в жизни есть мое святое — искусство, которое дается только в чистые руки.

Н.»

Инженер рассматривал миниатюру: русоволосая голубоглазая девушка улыбалась инженеру. Инженер собрал письма, всунул их в переплет, вложил в переплет книгу, положил книгу под подушку. И инженер заплакал. Старый и брюзглый человек плакал чистыми слезами. Казалось, он не замечал бури. Он вынимал книгу из-под подушки, рассматривал миниатюру и

плакал. Воды все больше набиралось в каюте. И тогда инженер закричал в мрак жилой палубы:

— Эй, кто там? — Прислать ко мне третьего механика и кочегара Николая!

Кочегар и механик вползли в каюту, толкаясь о стены. Инженер доставал из шкафа бутылки с ромом. Лицо инженера было в слезах. Стаканы были разбиты, инженер дал каждому по бутылке. Вода в каюте была выше колен, и она металась по каюте.

— Выпьем, — говорил поспешно инженер, — вот из этих узких горлышек — выпьем за широкую — вы не видите, какую широкую, какую прекрасную — жизнь!

И они трое пили из горлышек ром.

Был инженер стар, брюзгл, — его дела на корабле были окончены. Инженер не мог не думать о смерти. «Все предрассудки истребляя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя». Пушкин — погиб. Тот офицер, из походной сумки которого был взят том Пушкина, — погиб, убитый на севастопольских холмах. Та девушка, которая писала письма о своей любви и о своей чести, — погибла, ибо с тех пор прошли десятилетия, бóльшие, чем сроки человеческих жизней. Кочегар, механик, инженер — «духи» — пили из узких горлышек ром, ожидая смерти —

...Капитан приказал радисту:

— Кидайте SOS!

На морях, на рейдах больших гаваней всегда под полными парами стоят спасательные корабли, стервятники. Они ждут и ловят с морей SOSы, чтобы идти в море спасать гибнущих, — и у международных компаний спасателей есть свои правила. — Радист кинул в волны и в вой моря — SOS, имя судна, широта, долгота. Сейчас же из-за воя волн с земли запросили спасатели: имя пароходной компании, тоннаж судна и груза, стоимость судна и корабля, ибо по международным законам спасания на океанских водах, в противоположность прямому смыслу пароля SOS, — «Save our souls» — «спасите наши души», — спасатели спасают не души, но деньги, ибо спасательные компании берут за спасение треть стоимости корабля и груза.— Радист кинул в вой волн и ветра — имя компании, тоннаж, название груза — лес. Волны несколько минут ревели только своим ревом, радио принимало чужие SOSы, ибо в море гибло в тот день много кораблей. И спасатели с

земли ответили, подсчитав, должно быть, на бумажке выручку: слишком велик шторм и ничтожен груз корабля, чтобы идти спасать, спасательная компания не может рисковать за такие деньги, — впрочем, если капитан даст обязательство уплатить сумму, большую стоимости корабля, а именно — —

Капитан не мог дать такого обязательства. Капитан прислонился к переборке в позе распинаемого человека. Радист снял наушники и глянул на капитана. Два человека долго смотрели в глаза друг другу. И радист сказал, усмехнувшись:

— Не трать, куме, силы — опускайся на дно.

Волны били в переборки радиорубки, за иллюминаторами ломались латы воды, спутавшейся с небом. Новые и новые панцири волн били в стенки радиорубки. Корабль метался без управления, заливаемый водою.

— Идемте отсюда, — сказал капитан, — рубка сейчас будет разбита.

И действительно, через четверть часа радиорубки не было на спардеке. Судно никакой уже вести не могло дать о себе — —

Спасательные компании на земле очень точны. Спасатели сообщили телеграфом пароходной компании о SOSe корабля такого-то, пароходчики в свою очередь подсчитали на бумажке, ради любопытства, — что выгоднее было бы: уплата трети стоимости корабля или получение страховой премии, — решили, что премия выгоднее, и телеграфировали спасателям благодарствие. В правлении пароходства ожидали вестей с корабля еще двое суток, корабль молчал, хотя циклон уже прошел, — и пароходчики отдали приказ в бухгалтерию списать стоимость корабля и груза в счет прибылей и убытков, начав ходатайство перед страховым обществом.

Но судно не погибло. На четвертый день в пароходство пришла телеграмма о том, что судно такое-то вынесено волной на траверз порта такого-то, — судно завели в гавань, машинное отделение его было залито водою, бак его ушел под воду. В бухгалтерской графе бухгалтер исправил: не гибель, но — авария. Том Пушкина и письма женщины, имя которой утеряно, остались целы, как остались для жизни механик, инженер и кочегар, бредившие штормом, подлинные моряки.

Ямское Поле.
9 февраля 1929 г.

Корни японского солнца

Р о м а н

ВСТУПЛЕНИЕ

Дневники с Синсю

...Я проснулся на рассвете, — и я не сразу понял, где я. Было кругом темно, и рядом пел петух, петуху отвечали другие петухи, и так же рядом пел соловей. Эти звуки были похожи на звуки нашей деревни. Я осмотрелся. Сьодзи (бумажные стены японского дома) были сдвинуты, и верхушка их горела красными полосами восходящего солнца. Хибати (японский камелек) потухнул, было холодно холодом апрельского рассвета. Рядом со мною на полу, на татами (циновки, расстилаемые по полу), в кимоно спали Сигэмори-сан и Канэда-сан. И я понял, — я в Японии, путешествую по Синсю, ночую в доме крестьянина-писателя Тития-сан. Я лежал, так же как Сигэмори и Канэда, в ватном ночном кимоно. На полу в полумраке были разбросаны книги, которые мы рассматривали с вечера.— И я очень больно стал думать о том, что вот те петухи и соловей, которые разбудили меня, поют совершенно так же, как петухи и соловьи в тысячах верст отсюда, на моей родине, в России, — и почему так случилось, что люди говорят и живут по-разному.— Роса рассвета не задерживалась бумажными стенами, я двинулся, и на меня посыпались капли росы.

Эти дни — очень странные дни. Японцы, даже мои друзья, не говорят — н е т, этого не допускают их традиции, — и, когда надо сказать н е т, они не понимают и не слышат меня. Мы идем из дома в дом, горами, в Японских Альпах, в версте над уровнем моря, наш мар-

шрут составлен японскими писателями, у нас для каждого дома есть письмо. Наш маршрут неизвестен полиции, полиция следит за нами в расстоянии версты. Поэтому нас встречают везде очень сердечно. Но через полчаса после нашего прихода в ворота вползает ину, собака, хозяин куда-то уходит. — И сейчас же между нами и хозяином вырастает стена. Мне не говорят нет, но понятно, что оставаться здесь уже нельзя. И мы идем дальше. Тития-сан оставил нас ночевать.

Вчера мы были в городе Комуро, туда мы ехали целый день горной железной дорогой. Мы остановились в гостинице Ямасирокан — Горный Замок, гостиница стоит на развалинах замка, в вечерней ясности дымился вдалеке вулкан. Ходили к человеку, к которому было рекомендательное письмо от писателя Симадзаки, к местному корреспонденту токийских газет: не застали дома, — в пожарном депо в городке он развешивал картины, устраивал выставку. Назавтра в городке празднества в честь их прежнего феодала, фамилия феодала виконт Макино; выставка приурочивалась к празднествам. Пошли, поехали на выставку на рикшах (причем говорить рикша — неправильно: надо говорить курума). Там нас поили японским без сахара и совершенно зеленым чаем. Заходили на почту: все почты на земном шаре, должно быть, пахнут одинаково — сургучом и чиновничеством, и за стеной должен стучать Морзэ. Шли по тихим улочкам, по удивительной этой японской тишине падающих с гор ручьев, вышли на дорогу к вулкану, куда ходят молиться. Любовались на ряженых трубачей, возвещавших о программе в кино. Вернулись в гостиницу, в развалины замка. Феодал виконт Макино — приехал с вечера, остановился в той же гостинице, где и мы, — на развалинах того самого замка, со стен которого — так недавно — семьдесят лет тому назад правили округом его отцы: в душе его я не копался. Прислужница, которая оказалась женщиной с высшим образованием, филологичкой, бегала от нас к нему и рассказывала: — — «пошел в бочку — приказал подать ужин, сакэ — — его жена потребовала себе пирамидона, очень разболелась голова».

Феодал будет завтра на общественном молении и на выставке, — затем он уедет в Токио, чтобы вернуться сюда через год.

По обычаю японских гостиниц, нам дали гостиничные кимоно, — и по обычаю японцев — не мыть руки и лицо, а мыться с ног до головы, и мыться мужчинам и женщинам вместе, — мы пошли в бочку, вода в которой градусов в сорок пять по Реомюру: тем полотенцем, которым надо утираться, японцы моются. Вымылись, — наша прислужница забегала к нам в ванну, чтобы сказать, как хорошо поет феодал.— В нашей комнате мы раздвинули сьодзи, — за стеной замка, под обрывом расстилалась долина, небо очерчивалось горным хребтом, в долине и по горам горели электрические огни, — и, только в Японии мною виденная, была прозрачность синего воздуха, такая синяя прозрачность, которая уничтожает перспективы, лаковая синь, лаковая прозрачность. Во мраке пели птицы, и из-за угла гостиницы, с развалин наугольной башни, долетали слова женщины, очень нежные. По-японски, в кимоно, мы сидели на полу, — нам принесли ужин: сырой рыбы, супа из ракушек, маринованной редьки, рису, сакэ — японскую водку. Приходил фотограф от местной газеты, фотографировал.— Затем прислужница приносила громаднейшие папки бумаги, где расписывались все знаменитые гости этой гостиницы, — она показала нам танки, только что написанные феодалом, — мы должны были написать в этой книге. И тогда нам принесли постилки и ватные, ночные кимоно. Всю ночь пели птицы, в прозрачной сини было видно, как дымит вулкан, села роса, и долго не смолкал женский голос.

Утром бродили по замку; на плацдарме ныне теннисная площадка, забитая детворой; — рисовые склады, богатство феодалов, развалины. Когда с тобою говорят без н е т, тогда и д а кажется неубедительным. Ужасно, когда ты не понимаешь, что с тобою творится и что с тобою будет, — и когда твоя воля обессилена. Полиция уже была и успела нагадить.

Тогда приходит крестьянин и просит к себе в дом: его дом стоит триста лет, его род всегда был родом слуг вассала, — и мне показывают саблю, которой шестьсот лет, родовую саблю; в этот дом мы входим по всем японским правилам, скинув на пороге башмаки, поклонившись в ноги хозяину и женщинам, которые так же

в ноги кланяются нам, — и прежде, чем осмотреть этот крестьянский дом, которому триста лет, на полу мы садимся за чай, за чайную церемонию; — священнейшее в доме и фундаментальнейшее — то место, где хранится рис; ни коров, ни лошадей в крестьянском хозяйстве нет, и нет стойл для них; — на кухне дым от хибати идет в потолок, — но мне принесли книгу, чтобы я расписался в ней. — Полиция пришла следом за нами, — выросла стена, в которой нет подразумевается, я ничего не понял, мы ушли.— Наш интеллигент больше уже не показывался, занятый на выставке. Опять пили чай, на выставке смотрели картины.

И оттуда пошли старым самурайским шоссе, в солнце и ветре и в запахе сосен, — в деревню Осато, к писателю-крестьянину Тития-сан. Поля обложены плотинами из камней, — поля для риса, выверенные по ватерпасу и охоленные руками. Многие нас обогнали велосипедисты, и однажды — мы обогнали — корову, запряженную в двуколку. Полиция обогнала нас по дороге к Тития-сан, и, все же, он принял нас, молчаливый человек с лицом философа и с руками рабочего. Мы поклонились его дому. Он провел нас в лучшую комнату. По дороге туда я расспрашивал про деревню Осато, — там 650 домов, 3500 человек жителей, 3 школы — первоначальная, реальное, гимназия, дети учатся вместе, шелкопрядильная фабрика, мыловаренный завод (причем мыло производится из личинок шелкопряда), — медоводство, — кролиководство, — электричество.— Везде, везде в Японии в домах и на дворах абсолютная чистота. В Японии не стыдятся естественных отправлений человеческого организма, и посреди двора Тития-сан красовался эмалированный писсуар, чтобы собирать мочу для удобрений.

Полиция опередила нас. Тития-сан принял нас. Остаток дня мы бродили по полям вокруг Осато, на кладбище, около храмов, у водопада. По-прежнему дымил вдали вулкан. Люди проходили мимо меня, считая меня пустым местом.

И очень странный, должно быть единственный в моей жизни, был у меня вечер. Мы — Тития-сан, Сигэмори-сан, Канэда-сан и я — мы сидели в доме Тития-сан у хибати, — Сигэмори-сан и Канэда-сан — японс-

кие писатели, мои друзья, поехавшие со мной. Тития-сан был непонятен мне, как все японцы, которых я не умею понимать сразу. Мы говорили с ним через переводы Канэда и Сигэмори. Мы пили сакэ. Японцы после третьей чашечки сакэ жутко багровеют, и их глаза наливаются кровью. Тития-сан показывал свои фотографии, книги и альбомы, где на память ему писали его друзья — художники и писатели. Все было так, как должно было быть в Японии. И тогда в торжественности и строгости, в жестокости глаз, налитых кровью, Тития-сан сказал такое, что я не понял сразу. Сигэмори и Канэда перевели мне: —

— — Отец Тития-сан был убит русскими, в Мукдене, в русско-японскую войну. — И тогда, мальчиком, Тития-сан поклялся отомстить за отца первому русскому, которого он встретит, — убить первого русского, которого он встретит. — И первым русским, которого он встретил, — был — я, он должен был убить меня. Но он, Тития-сан, — писатель, — и я — писатель. Он, Тития-сан, знает, что братство искусства — над кровью. И он предлагает мне выпить с ним братски сакэ, по японскому обычаю поменявшись чашечками, — в память того, что он, Тития-сан, нарушил клятву. — —

— — нехорошо прийти в дом, в тот дом, где твои соотечественники убили человека... — я проснулся на рассвете под пение петухов, в доме Тития-сан. Вчера я написал Тития-сану — кисточкой, тушью — какэмоно[1] о наднациональных культурах и о братстве, — а сейчас в этот соловьиный рассвет я думал о том, почему соловьиный этот рассвет похож на наш русский, — но говорим мы, люди, по-разному, когда птицы говорят одинаково...

Я тихо поднялся, раздвинул сьодзи: над землей творился фарфоровый японский рассвет, роса тяжелыми гроздями умыла цветущее дерево магнолии, и магнолии пахнули, как подобает, мертвецами. В кимоно, я всунул босые ноги в гэта, в деревянные скамеечки, на которых ходят японцы, и — один, без друзей и полиции, пошел к горам повстречаться с рассветом. Рядом шумел ручей, внизу, под обрывами, клокотала река. Каменной лесенкой я пришел в рощицу азалий, сгорающих красною тяжестью своих цветов. Каменная тро-

---

[1] Японское стенное украшение.

пинка вела на кладбище. За мной никто не следил, кажется, единственный раз в Японии. Вдалеке дымился вулкан, направо и налево уходили горы, рядом со мною были рисовые поля. И глубокая была тишина. На кладбище в печали я смотрел на мисочку с рисом и на палочки, которыми едят, положенными около могилы, — и около другой могилы лежал ошейник: японцы хоронят и людей и животных вместе. Кладбище заросло печалью бамбуков. Около кладбища стоял храмик — величиной с нашу собачью будку, не больше. Я посидел у храма, покурил и пошел дальше, к платановой роще, без дороги, кустарниками. И там я увидал таинственнейшее в природе человека: в чаще деревьев около храмика стояла женщина, женщина обнимала клиноподобное каменное изваяние, лицо ее было восторженно. Она молилась, какому богу — я тогда не знал. Я понял, что я присутствую при таинственнейшем. Я не стал мешать женщине, этой женщине в бабочкоподобном оби, японском поясе, на деревянных скамеечках, с непонятною для меня красотою лица. — И тогда еще я думал, что надо написать рассказ, как Япония — затянула, заманила, утопила, зарубила иностранца, точно болото, точно леший, что ли: — всем сердцем я хотел проникнуть в душу Японии, в ее быт и время, — я видел фантастику быта, будней, людей — и ничего не понимал, не мог понять и осмыслить, — и понимал, что вот эта страна, недоступная мне, меня засасывает, как болото, — тем ли, что у нее на самом деле есть большие тайны, — или тем, что я ломлюсь в открытые ворота, которые охраняются полицией именно потому, что они пусты. Та тема, которую ставили себе все писатели, побывавшие в Японии, тема о неслиянности душ Востока и Запада, о том, как человек Запада засасывается Востоком, деформируется, заболевает болезнью, имя которой «фебрис ориентис», что ли, — и все же выкидывается впоследствии Востоком, — эта тема была очередною и у меня.

Потом, после того рассвета, были еще дни в солнце, ветре, в цветущей земле, — в пути по горам и в бегах от полиции. Все эти дни я жил, пил и ел по-японски, — и все эти дни я хотел по-японски думать и видеть. — Горные тропинки и горные трактиры — все-

гда прекрасны. У Янагисава-сан мы рассматривали японскую старину, и он подарил мне наконечники от древних стрел, еще айноских, кремневых, — и он водил меня на свои раскопки, к памятнику айну, древнего народа, населявшего Японию: там были солнце, сосны и бодрый с океана ветер. — И он же показывал мне вишневое карликовое дерево, в пол-аршина величиною и в десятки лет от роду. — Очень долго, тоннелями, мостами через пропасти, прекраснейшими пейзажами — от заполдней до вечера поездом — мы ехали в Камисуа, к минеральным источникам, к гейзерам. Все было, как следует: на станции встретил шпик, сопровождавший мну передал нас ему; — в гостинице было много народу; — из гостиницы, когда открыты сьодзи, видны бассейны, где купаются люди в воде, выброшенной гейзером, мужчины и женщины, ничем не разделенные. За день было очень много солнца, пути и раздумий, — и мы заснули под рожок продавца бэнто, ужина для бедняков, и под пение за стеной гейш. Утром мы ели рис, суп из морских водорослей и соленые сливы. Опять, как всегда, была сумятица, когда гадит полиция и когда не говорят н е т, которое надо подразумевать. Предполагалось, что с самого раннего утра мы поедем в горы, к хуторянину, на шелководческую плантацию, — и время потащилось клячей. Я ходил бриться и на выставку местной промышленности (в Японии — на каждом перекрестке и к каждому случаю — выставки), смотрел на выставке, как бегает игрушечная железная электрическая дорога. А когда вернулся, меня уже ждала машина с врачом одной из местных шелкопрядильных фабрик.

Мимо озера мы поехали на фабрику. Как подобает, нас поили в конторе чаем.

Шелкопрядильное производство, выварка и размотка коконов, скручивание прядей — общеизвестны. Нигде нет такой чистоты, как в Японии, — и абсолютная чистота была на этой фабрике, куда работницы и мы входили, сняв башмаки, в одних чулках: — и на фабрике, на всей фабрике не было н и о д н о г о места, где человек был бы хоть на момент один сам с собою, — уборные построены посреди двора и так, что там все видно: — это и потому, что у японцев не стыдятся физических человеческих отправлений, и к тому,

чтоб прядильщица не могла побыть одной, не могла б потихоньку прочитать и написать письма, ибо все письма, приходящие из-за фабричного забора, перлюстрируются, ибо без разрешения администрации нельзя выйти за забор, ибо эта японская фабрика больше походила на тюрьму, где девушки запроданы на два, три года. Прядильщицы сами о себе поют такую песню:

Если можно назвать прядильщицу человеком,
то и телеграфный столб может расцвести — —

но дело сейчас не в этом. Полиция опоздала, прозевала нас. И тогда началась сумятица. Зарявкал автомобиль, — мы должны были ехать на хутор, но мы оказались в новой, не в той, где ночевали, гостинице, и тут же по непонятным причинам оказались наши чемоданчики; — мы совершенно недавно завтракали, а тут на столе оказался обед, которого есть мы не хотели и времени которому не было, — и, кроме нас, за столом на полу оказались посторонние люди, которых я не приглашал. Я ничего не понимал, а вежливость мне не позволяла перейти на истинно-русский язык. Все делалось и очень поспешно, и очень медленно, — и во всяком случае очень методично. Из-за стола, что вообще считается неприличным, меня вызвали на улицу (к озеру) фотографироваться. — —

И все это кончилось тем, что меня замертво везли на вокзал; в поезд, в Токио, — и, мучась отчаяннейшими болями в желудке, я хотел только одного: скорее приехать в тот дом, который я считал своим, чтобы говорить по-русски и быть среди своих соотечественников. Я не знаю, мне кажется, но утверждать я не могу, что меня отравила японская полиция, чтобы ликвидировать мою настырность в поисках деревенской Японии и японского быта, ключей к нему, — но так или иначе, без всяческих дураков, в поезде тогда я, в полубреду, думал уже не о том, как может заболачивать Восток, а о том, как выпирает он, выталкивает из себя пробкою из квасной бутылки; поминая Киплинга, я думал о том, что никогда человек Запада не проникает в душу человека Востока, — и у меня ко всему — всяческая — пропадала охота.

Так закончилась моя поездка в Синсю.

ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Вулканы

В учебниках строения Земного Шара сказано, что Японский архипелаг являет собою две складки вулканических цепей, пересекающие друг друга, из которых одна идет со дна океана, другая с Курильских островов, — и что не исключена возможность, если обе эти вулканические системы будут действовать одновременно, — не исключена возможность того, что весь Японский архипелаг в громе (или, точнее, беззвучии) землетрясений и вулканических извержений — исчезнет с лика земли, провалится в море, — исчезнув, возникнет где-нибудь в океане новыми островами. Я сказал — в беззвучии землетрясения: министр Патэк, который рассказывал мне о землетрясении 1923 года[1], пережитом им в Иокогаме, говорил мне, что он не слыхал шума, так он был велик, и когда он говорил со своим лакеем, он видел, что губы лакея двигались кинематографически. В эти дни землетрясения, продолжавшегося четверть часа, на одной из площадей Токио умерло, сгорело, задохлось в дыму — сорок тысяч человек. Министр Патэк говорил мне, что самым страшным в первый момент было то, что он, человек, министр, шедший со своим лакеем, вдруг почувствовал, как потерялась его воля: не кто-нибудь иной, а госпожа земля — кинула его вверх, тряхнула об стену, швырнула к другой стене. Тогда, на токийской площади люди сгорали и задыхались в течение трех дней — —

— — я должен тут перебить себя, чтобы не возвращаться к этому впоследствии; должен сказать немногое, что нужно мне для дальнейшего. Министр Патэк говорил мне, что первое движение японцев, которое было в момент землетрясения, это было — не двигаться. В Иокогаме разорвало плотины, вода из моря полезла на землю, вода из озер заливала парки, нефть из цистерн горела на воде, был такой шум, что

[1] См. I-ую глоссу Р. Кима.

для человеческого уха он превратился в беззвучие. Министр Патэк потерял своего лакея. Тогда пришла ночь, полыхающая невероятными заревами. Министр Патэк оказался в одном из парков, по грудь в воде. Там он встретил — забыл — не то английского, не то германского посла: жизнь есть жизнь, и по грудь в воде, посол и министр вели соответствующие их рангу разговоры и возмущались обстоятельствами. Так вот той ночью между огней, по шею в воде, со своими бумажными фонариками, ходили люди, выкрикивая:

— Люди, кто может сказать о таком-то или таком-то, там-то работающем, принадлежащем к такому-то роду и носящем такое-то священное имя — —

— — так одни разыскивали других, дети отцов, отцы детей. И при министре Патэке, так выкрикивая, отец нашел свою дочь. Они не бросились друг другу в объятья, — нет, — они поклонились друг другу тем глубоким поклоном, которым кланяется японская вежливость, с руками на коленях и с шипением губ, они поздравили друг друга добрым вечером, они не коснулись друг друга. Первым движением японцев в землетрясение было — не двигаться, осмотреться, решить, организовать нервы. Те сорок тысяч, что погибли на одной из токийских площадей, погибли так: вокруг горели кварталы, их засыпало горящими галками, они стлевали в огне, — пожар кварталов съедал весь кислород, люди обугливались от сжигающего жара. Кругом горели кварталы, людям некуда было уйти. Когда, после пожаров, оставшиеся в живых пришли раскапывать мертвецов, эти живые увидели, что эти мертвецы умерли, обуглились в совершеннейшем порядке, строгими шпалерами, — живые под мертвецами нашли живых детей. Взрослые, организованно обугливаясь, умерли без паники, почти без паники и — во всяком случае, обугливаясь, — углем своих тел — спасали детей. Люди обугливались стоя, никуда не бежав.— Эта выписка в скобках — понятна в дальнейшем.— —

— — Министр Патэк видел, как, в беззвучии кинематографа, многоэтажные дома раскалывались, рассы-

пались, падали вниз, и из этих расколов, из щелей летели люди, кастрюли, несгораемые ящики, рояли, куски людей...

Япония еще не окончательно отлила свои формы. Восточные ее берега все время поднимаются, западные — уходят в море. В Токио, в Асакуса, там, где стоит храм Каннон, на памяти человечества было морское дно. Мне показывали деревушку, домики которой наполовину стоят в воде, домики не разрушены, как музейный обиход: десяток лет тому назад они были простой деревушкой, земля под ними уходит. Фудзи-сан, гора, о которой знает каждый человек в мире, и она каждое десятилетие меняет свои очертания. Земля японских островов, тех островов, на которых живет тысячелетний народ, брат греков, — эта земля — движется всегда, постоянно, каждую минуту, — эта земля сотрясается грохотом вулканов, на эту землю в эти грохоты вулканов набрасываются волны океана, чтобы дать новый кусок земли или отнять. На этой земле живет тысячелетний народ: о легендах этого народа, связанных с тем, что их земля движется, — не место здесь говорить. — Я летал над Японией, от Токио до Осака. Все знают, что Японский архипелаг — красивейшее в мире место, красивейшего моря, красивейших гор, дорог, пагод, храмов, пейзажей, зеленей, голубизн, оранжевостей, тишины: все это совершенно верно. Но я видел Японию по-другому: оттуда, из высот, с трех тысяч метров над землей, было видно, как эти японские горы выпирают из голубого моря, черный, злой камень, или вылезший из глубин помимо его воли, или — тоже помимо воли — просыпанный с неба: камень, камень, камень — злой камень, не нахожу другого слова. Там, в высотах, мы угодили в воздушную бурю, а над землей под нами шли тучи, дожди и молнии. И было так, что на какие-то минуты (минуты в воздухе — часами) земля исчезла из-под нас; и затем земля вырвалась из облаков: и я увидел, какая это страшная земля, изорванная обрывами и водопадами, разметанная камнями, лысыми вершинами, — это была страшная, злобная, желтая земля, желтая, как лицо иссохшего-

ся старика-японца. Один — не помню кто — француз-писатель недоумевал, как у этого солнечного, всегда приветливо улыбающегося народа, народа, создавшего женщину, как мотылек, — как у этого народа могут быть такие страшные, чертоподобные, ужасные боги, покоящиеся в их храмах, — тем паче (прибавлю к французу от себя), что каждый умерший в Японии переселяется в полубогов.— Метафизикой я не занимаюсь, но знаю, что тогда эта страшная земля из-за туч, в громе молний, сверкающих внизу, — была совершенно похожа, — была судорогой чертоподобных японских богов, страшная, ужасная земля.

...23 марта в три часа двадцать минут я впервые испытал землетрясение. Было все очень просто. Был подземный толчок, чуть качнулся, заскрипел и зазвенел стеклами дом, чуть качнулись вещи на моем столе, чуть качнуло меня. — — За все недели и месяцы моего пребывания в Японии очень и очень многие разговоры, которые велись со мною японцами, начинались фразами: — «а вот, до землетрясения — — а вот, когда было землетрясение — — а вот, после землетрясения» — — точно землетрясения суть исторические эры. Да так, в сущности, и есть для японцев.— Да, у японцев — колоссальная организованность и работоспособность, ибо мне говорили, что большая половина Токио была сравнена с землей, я же видел огромный город, тесно застроенный и напряженно работающий. Но дело не в этом. Тогда, 23-го марта, я принял землетрясение не в плане поломанных костей и сожженного человеческого мяса. Тогда, в ту минуту, когда меня толкнуло не чем иным, как госпожой землей, не остывшей еще от космических действий землей, — я почуял на момент свое прикосновение к космосу, к тому великому и незнаемому и таинственному, что именуется Земля, что именуется космическими силами. И мне стало торжественно. Я — бессилен перед гражданином космосом, — но космос — был у меня в гостях, это он толкает меня сейчас, это я — участник, пусть пассивный, космических работ... Позднее, бродя по Японии, у источников горячих ключей, около гейзеров, наблюдая за дымом вулканов,

я всегда торжественно думал о космосе, не застывшем еще для этих островов.

Но землетрясений было еще много. Однажды нас тряхнуло на улице Коганэи, куда мы большой компанией японских писателей поехали на праздник цветения вишни; мы шли по улочке, — и вдруг вся улочка качнулась в моих глазах справа налево, сверху вниз, очень похоже на то, как получается на фотографических снимках, если, снимая, толкнули аппарат, — и ноги мои заплелись в беспомощности; правда, у толпы первым движением было — не двигаться; — зазвенела и посыпалась посуда в соседней лавочке; — черные, пуговицами, вишенки глаз семилетней девочки раскосились в страшной, недетской сосредоточенности.— Раза три землетрясение приходило ночью, заставая меня в постели.

И вот, каждое новое землетрясение — никак не приучивало меня к себе, никак не позволяло мне привыкнуть к ним: с каждым новым землетрясением все меньше было торжественности в мыслях о космосе, — и уже не от мозгов, а со спины, от позвонка приходил — совершенно обыкновенный страх, — очень похожий на тот страх смерти, который приходит к человеку в дни неврастении, космический страх — перед этим «гражданином» космосом, с которым ничего не поделаешь и который каждую минуту может тебя так тряхануть, что ты вместе со всей Японией не найдешь себе места во вселенной. —

Я жил в Японии — месяцы, — но японский народ живет по соседству с этим космосом — тысячелетья: стало-быть, должен привыкнуть к нему и привыкнул? — стало-быть, научился бороться с ним, обходить его, приспособлять к нему свой быт; ломаные кости и испепеленные, обугленные человеческие десятки тысяч — не даются даром; весь легендарный мир японского народа упирается в землетрясения, — знает ли об этом японский народ?.. — легенды японского народа о божественности его происхождения — рождены: вулканами.— Социологам надо иной раз посидеть на краешке кратера дымящегося вулкана, посматривать в космическую дыру кратера и — никак не поплевывать на социологию, порождаемую вулканами.

2. Без заглавия, справка

Япония — страна, лучше всего опровергающая теории Шпенглера, ибо эта страна существует уже тысячи лет, сверстница Греции, племянница Ассирии и Египта.

3. Две души принципов «наоборота»

Мы вливаемся в потоки людей, в шумиху улиц, звонки, крики, выкрики, тесноту. Шумиха улицы впирает нас под крыши вокзала, в перроны, в загородки у касс. Пригородный поезд высылает из вагонов шумы гэта, разменивает людей. Вагоны полны. Это час, когда вышли вторые выпуски газет, — поезд трогает, и вагон затихает в поспешном шелесте газетных листов. Толпа в национальных костюмах, люди оставили гэта под скамьями, с ногами забрались на скамьи, и вагон шелестит газетными листами: невозможно представить рязанского крестьянина в национальном гречневике и с газетой. — Поезд мчит стремительно, движимый электричеством. — А за окнами, в солнце, в пестряди — те шалаши, которые называются японскими домиками, которым тысячелетье от роду и которые закутаны тесной сетью электрических, радийных, телефонных и прочих проводов. Мы едем в Токио-фука, примерно в наш Серебряный бор, к писателю Акита-сан[1]. Мы слезаем, нас разменивает вокзал. Нас везет рикша в лакированной колясочке на дутых шинах, на рикше халатик, раздувающийся по ветру, на спине халатика — красный круг, герб его цеха (у всех рабочих такие халатики, и у всех на спине знаки, гербы их цехов и фирм). Улочками с трудом разъезжаются два рикши, фонари висят над головами, рябит в глазах от лака и золота вывесок, — тысячи велосипедистов, кажется, срослись со своими велосипедами. Мой рикша звонит в свой никелированный звонок. Затем мы идем пешком, мимо столетних деревьев, мимо храма, в воротах которого корчат страшнейшие рожи чертоподобные боги, а

---

[1] См. глоссу II.

из чайного домика у ворот слышится музыка сямисена и пение гейши. Наконец мы приходим к домику Акита-сан, мы открываем решетчатую калитку, и мой спутник, писатель Канэда-сан, говорящий со мною по-русски, — приветствует по-японски дом. Нам навстречу выходит девушка. Она падает на колени перед нами. Канэда-сан падает перед нею на колени, они приветствуют друг друга, — а я стою в растерянности, не зная, пасть мне на колени, или, вообще, что делать. — (Впоследствии я научился падать на колени.) — Мы снимаем наши башмаки и в одних чулках входим в домик, в этот таинственный японский домик, где стены сделаны из провощенной бумаги, — сьодзи, — и эти сьодзи раздвигаются так, что у домика можно убрать все стены, — где нет никакой мебели, пустые комнаты с хибати — камельком, никогда не потухающим, посреди комнаты и с какэмоно, картиною в священном углу. Девушка вновь кланяется нам в ноги. Канэда-сан говорит мне, что это дочь Акита-сан. По лесенке, стоящей почти отвесно, мы поднимаемся во второй этаж, в кабинет Акита-сан. Этот кабинет таков величиною, что пятерым там на полу лечь уже трудно. Стен в кабинете нет — все они до потолка завалены книгами. Акита-сан сидит около хибати, греет над тлеющими углями свои руки, — кажется, он сидит зарытым в книги, и вот-вот книги его закопают в себе. Канэда-сан кланяется ему по-японски, земным поклоном,— мне Акита-сан по-европейски дает руку. Акита-сан — один из крупных японских писателей, драматург, поэт, и философ. К нам вползает его дочь, вновь кланяется в землю, она похожа на кролика, потому что ноги ее все время подогнуты, чтобы ей пасть на колени, у нее — ни одного некруглого движения. На полу перед нами она расставляет чашечки с японским чаем и уходит, пятясь к лестнице. Мы сидим на полу около хибати, грея над хибати руки, курим и пьем этот пустой чай, от двух чашек которого начинается сердцебиение. Хибати — это глиняная корчага, доверху насыпанная золой, в золе тлеют никогда не стухающие угли; — хибати — единственный способ отопления, — хибати сохранился от веков, от тысячелетья, от кочевий. Акита-сан

показывает прекраснейшие книги, японские и европейские. Он показывает мне книги Арисима-сан, его автографы, крупнейшего японского писателя, разрешившего узлы своей жизни — смертью, повесившегося вместе со своей любовницей, чужою женою. Канэда-сан передает мне содержание последней поэмы Акита-сан — «о лютых законах»:

...Лютые законы, глумящиеся над истиной,
Низвергнуть время настало!
Эй, поднимайтесь, смелее, рабочие, —
Наша победа близка!.. — —

— — в чем дело? — кто сидит передо мною, около хибати, на полу, в этом шалаше, заваленном книгами?!. — —

— — наутро, на следующий день Акита-сан заехал за мною, чтобы вместе пойти в Цукидзи театр, в театр Осанаи-сан. С Акита-сан пришла молодая девушка в английском выходном костюме. Она первая поклонилась мне и протянула руку, — «лэдис фирст!» — она заговорила по-английски, европеянка. Я смотрел недоуменно: я не узнал в ней той самой девушки, которая вчера кланялась мне в ноги и подавала белый чай. Акита-сан был в бархатном пиджаке с большим черным бантом, как часто европейские художники.

...Я думаю о старой и новой Японии. Я знаю: то, что создается веками, не может исчезнуть в десятилетия. Как старое и новое сплелось в Японии? — какими силами? — Говорят, что сердцем Япония — в старом, умом — в новом. Быть может, ум и сердце японского народа идут рука об руку. Но, во всяком случае, — каковы те силы, которые есть в японской старине, силы, давшие народу уменье принять все новое? Воля японского народа звучит костяным шумом гэта.

На глаз европейца, сына западной культуры, вся страна, весь быт и обычаи японского народа построены по принципу — «наоборот», — наоборот тому, что принято в Европе. Я ниже пишу о маршале Ноги: в Японии почетно самоубийство, в Европе оно почитается позором. В Европе женщина — по крайней мере в идеа-

лах — впереди, в Японии — позади. В Европе говорят: «гражданин Петр Иванов, мистер Стивен Грээм», — в Японии сначала фамилия, потом имя, потом «сан». Тот жест, которым в Европе говорят «уходи от меня», в Японии является жестом «подойди ко мне». В Европе пишут слева направо горизонтальными линиями, в Японии пишут справа налево вертикальными линиями. В Европе в опасных и неприятных случаях лицо делается сумрачным и натянутым, — в Японии в этих случаях смеются и улыбаются; когда европеец задумывается, сосредоточивается, его лицо делается умнее, осмысленней, — когда думает японец, на глаз европейца лицо его становится идиотственным. О настроении европейца и о состоянии его духа всегда можно узнать по его лицу, — лицо японца никогда не скажет об этом, не выдаст японца, — о состоянии духа японца можно узнать по его рукам, по их движениям, — руки европейца ни о чем не говорят. Японцы строгают фуганком, двигая им к себе, европейцы строгают фуганком, двигая его от себя. У нас, если очень рассердятся, покроют матом, даже на английском языке, — у японцев самый высший вид оскорбления сказать — вежливейше — о том, что «я так глуп, что не могу понять моего собеседника», — дескать, собеседник тратит время на разговор с дураком. Все это примеры полуанекдотического характера. Но вот пример уже без всяких анекдотов. Психика европейца построена на утверждении будущего, строительстве будущего, — психика японского народа построена на утверждении прошлого, этот их культ почитания предков, делающий страну страною мертвецов, страною, где командуют мертвецы, — где поэтому студенты Токийского университета в анкете на вопрос, как они мыслят свое жизненное назначение, в подавляющем большинстве ответили, что они социалисты и они хотят народить детей, достойных их предков, — где, как известно из любой книжки о Японии, самым чтимым являются дети, эта переходная ступень к отмиранию, где смерть почетна, как рождение. Психика японского народа построена на утверждении смерти, страна, управляемая мертвецами, — тем непонятнее, как эта страна нашла силы справиться с Европой. —

...Япония презирает боязнь индивидуальной смерти: те военнопленные, которые вернулись после русско-японской войны на родину, были преданы — презрению, — эти, «не сумевшие найти времени распороть себе живот», — от них отказались их семьи. Как известно, в шестнадцатом веке в Японию проникло христианство, которое было там запрещено: христиан узнавали просто, — подозреваемым предлагали пройти по образу Богоматери со Христом, — и христиане отказывались итти по образу Христа, тогда их душили, распинали или бросали в кратеры вулканов; к слову сказать, — о жестокости: во Владивостоке японцы, в том же двадцатом году, бросали русских коммунистов — в паровозные топки. — В морали европейских народов, несмотря на их присутствие, аморальными считались и почитаются — сыск, выслеживание, шпионаж: в Японии это не только почетно, — но там есть целая наука, называемая Синоби, или Ниндзюцу[1], — наука незамеченным залезать в дома, в лагери противника, шпионить, соглядатайствовать (поэтому, в скобках, пусть каждый европеец знает, что, как бы он ни сидел на своих чемоданах, они будут просмотрены теми, кому надлежит) — и здесь порождается легенда о том, что каждый японец за границей — обязательно государственный шпион.

4. Харакири[2]

Я был в доме маршала Ноги, в том доме, где он вместе с женою сделал себе харакири, — в том доме, около которого теперь храм маршала Ноги. Этот дом теперь — достояние музеев, — храм около дома — достояние молящихся, — Ноги — национальный герой. Имя Ноги известно в России, ибо это один из маршалов, побивших Россию.—Таинственная, непонятная история! — перечитайте Гончарова. Маленькая страна, населенная смешными людьми с веерами, живущими в домах без столов и стен, поедающими рис и кузнечиков

---

[1] См. глоссу III.
[2] См. глоссу IV.

палочками, отождествляющими душу мужчины с цветком вишни, — страна, которая на глаз европейца всеми своими красивостями кажется театральной декорацией, да еще такой, которую видишь сквозь бинокль, приставленный к глазам той стороной, которая уменьшает. У Японии была фантастичнейшая эпоха, когда с начала семнадцатого века на два с половиной столетия, до середины девятнадцатого — Япония заперлась для внешнего мира. В те столетия, когда земной шар пошел колесить океанами, Япония жила при двух монархах, при бессильных и божественных микадо и при всесильных и земных сьогунах Токугава, запертая на своих островах, консервируя свои тысячелетия, свой феодализм, свои храмы и своих самураев. Все это было семьдесят лет тому назад, когда американский коммодор Перри пушками, а русский адмирал Путятин страхом своей эскадры (с Путятиным был и Гончаров) впервые «отперли» для мира Японию. Эпоха затворничества называется эпохой Токугавы, — эпоха выхода в мир называется эпохой Мейдзи. Императором Муцухито был уничтожен сьогунат и феодализм, была дана конституция, были построены дредноуты, были побиты мы. Эту эпоху японцы называют — эпохой реставрации, — в плане западно-европейских понятий ее следует считать революционной эпохой. Одним из ближайших сподвижников микадо был маршал Ноги. В дни, когда умер император Муцухито, переименовавшись после смерти в Мейдзи, накануне похорон, — маршал Ноги совместно со своей женой сделал себе харакири, это было в 1912 году. — Утром в тот день, вышед со своего Акасака, Хиноки-тьо, року бантьо (мой токийский адрес), я пошел на выставку флагов, бестолковую, по-моему, выставку, ибо — какой интерес смотреть бумажные флаги всех национальностей мира, которые я помню еще с детских рождественских елок — ?! — Обратно я проходил мимо парка и переулочка, ведущего в парк, так же, как у нас на Пречистенках в особняки. Я пошел туда. Там стоит небольшой домик, по-нашему вроде тех, где по уездам живут земские врачи и агрономы. Там вокруг дома проложена галерейка, откуда видна внутренность дома. На взгляд европейца — это пустой дом: ни одного стола, ни одного стула, пол покрыт

татами (циновками), какэмоно на стене, туалетный столик в комнате жены, такой, перед которым надо одеваться, сидя на полу, — письменный стол маршала, такой, за которым надо писать, сидя на полу, — и все, больше ничего. В угловой комнате указаны места, где сидел маршал и его жена в момент, когда они сделали себе харакири. Там в углу трубкой свернуты циновки, залитые кровью маршала и его жены. Они перед смертью сидели на полу посреди комнаты, около хибати. — Маршал и его жена перед смертью написали танки. Быль жизни маршала Ноги и его смерть — суть экстракт понятий японского народа о чести и правильности жизни, — маршал Ноги — национальный герой, патриот и гражданин своей родины. Обстановка его дома, тот быт, в котором он жил, — до аскетизма просты: и до аскетизма проста его смерть, ставшая над смертью. Вокруг дома маршала Ноги растут тенистые деревья, те деревья, которые дают покой нервам, — вишневые деревья (они в Японии величиной с березу), цвет которых есть символ души мужчины: вишневые цветы в Японии делают себе харакири, то есть особым таким ножом разрезывают себе живот... Я ушел из дома Ноги, из парка, где приютился храм его имени, — малость обалделым.

Все это было утром. К часу приехал профессор Нобори-сан[1], и мы поехали на могилы сорока семи самураев. Там, опять под деревьями, стоят камни могил, сорок семь камней. Там бьет из земли ключ, в котором они обмывали отрубленную голову того, из-за которого эти сорок семь «ронинов» сделали себе харакири. Там есть музеек, где помещены остатки одежды этих самураев (у японцев ко всему музей и выставка, в этой стране мертвецов и почитания умерших). Там у могил я не смог долго быть, у меня стала кружиться голова от дыма сандаловых курений, тлеющих перед каждой могилой, от этого синего дыма, которым очень пахнет Япония и от которого следует — на мой нос — задыхаться. Начало этого исторического эпизода с сорока семью самураями мне неизвестно. Середина и конец этого эпизода

[1] См. глоссу V.

таковы. Сорок семь самураев поклялись отомстить за своего даймйо, обиженного приближенным сьогуна, причем их даймйо впал в немилость сьогуна, или что-то в этом роде. Двадцать один месяц эти сорок семь человек искали случая убить обидчика их барина, нашли, убили, — и не нашли нужным об этом скрывать, собрались вместе, на будущей своей могиле, оповестили о своих делах, сдались на милость сьогуна и — все вместе, два месяца спустя, одновременно сделали себе харакири. Теперь они обожествлены. Их смерть — сюжет самурайских гордостей, романов, поэм, драм, кино. Около могил сорока семи самураев — маленькая ярмарчишка. Я там накупил лубков, изданных в память этих обожествленных людей, ставших в понятии национального геройства в ряд с маршалом Ноги.

5. Йосивара, ойран, гейши

Я был в публичных домах и притонах — Москвы, Берлина, Лондона, Константинополя, Смирны, Шанхая. И везде в публичных домах и притонах одно и то же — окончательное обнажение всего, что принято человеком скрывать и что принято считать европейскою честью. Там, в этих кварталах, главным образом, в алкоголе и — решающе — в похоти, ставшей, как алкоголь, до судороги доведено всяческое издевательство над человеческой личностью, там судорогой бродит испепеляющее проклятье, пороки, мерзость, сифилис и грязь.

И я был в Йосиваре, в районе токийских публичных домов. Йосивара — точный перевод — счастливое поле.

И никогда ничто меня так не ошарашивало, как Йосивара, — совершенной для меня непонятностью. В этом районе все было залито светом, в тесноте улиц шли дети, школьники, что-то покупали и мирно разговаривали, проходили матери, под вишневыми деревьями, в шалашиках торговали продавцы, шли с работы и на работу мужчины. Было совершенно обыкновенно, только больше чем следует свету, только чуть-чуть тес-

нее. И у домов, около хибати, выставленного наружу, грея руки и не спеша, сидели мужчины, посвистывая и пошипывая, те мужчины, у которых можно посмотреть фотографии ойран, проституток. Мы входили во многие дома; без водки, в тишине, предложив нам разуться (с европейцами, которые часто попадают в Йосивару пьяными, случается часто, что, чтобы не переобуваться каждый раз, они так и шлендрят из одного дома в другой в одних чулках!), — мы разувались, нам в ноги кланялась пожилая женщина, в тишине дома мы проходили в комнату, нам приносили чай, мы садились на пол,— и тогда проходили дзйоро, ойран, абсолютно вежливые, как все японки, совершенно трезвые, тихие, ласковые, улыбающиеся, здоровые.

И вот то, что на улице совершенно обыкновенно ходят дети и торгуют торговцы, что эти женщины не пьяны, нормальны, вежливо-приветливы и здоровы, — это и было окончательно ошарашивающим, вселяющим в мои мозги нечто такое, что мне, европейцу, указывало большую нормальность в смирнских тартушах и берлинских нахтлокалах, чем в Йосиваре.

Только после землетрясения 23 года упразднены празднества Йосивара, когда в Йосивару стекались тысячи людей, женщины из Йосивара, украшенные вишневыми цветами, шли процессией, и всенародно здесь избиралась красивейшая ойран. Но первая лицензия, данная на постройку домов после этого землетрясения, дана была — Йосиваре: тогда шумелось в газетах, и установлено было, что Йосивара — общественно необходима для здоровья нации и для сохранения устоев семьи в первую очередь. Лицензии, выдаваемые государством на право проституции, есть статья государственного дохода, никак не аморальная.

Все народное творчество имеет сюжеты, связанные с Йосиварой, — нет спектакля в классическом театре, где не было бы эпизода из бытия Йосивары. Каждый дом в Йосиваре имеет длинную свою и почтенную историю, свои исторические анналы. Город Фукаока гордится собою — тем, что в нем появилась первая проститутка, она была самурайкой, могила ее чтится, и на могиле ее каждый год бывают торжества. Спрашивают

девочку: — «кем ты хочешь быть?» — и девочка отвечает: — «женщиной из Йосивары!».— Если бы я узнал, что я существую за счет сестры-проститутки, — если бы я не застрелился, то наверняка много бы мучился этим; — если бы я был японцем, я мог бы быть этим горд.

Часть женщин в Йосивару идет по призванию, по склонности, других туда продают отцы и мужья: — потом, выйдя из Йосивары, эти женщины или выходят замуж, или возвращаются к своим мужьям. Это никак не позор — быть женщиной из Йосивары. Проституция очень часто бывает товаром, которым торгуют для поправления бюджета.

Нация позаботилась, чтобы дело проституции было в хорошем состоянии, — частной проституции — нет, проституция огосударствлена, в коридорах висят, в абсолютном порядке, кружки с марганцово-кислым калием, — на выставках выставлены катетры, половые органы из папье-маше, проверенные медицинским надзором и полицией, — частно-практикующим проституткам лицензий на проституцию не выдается, проститутки собраны в Йосиваре (Йосивара — имя собственное, присвоенное району публичных домов Токио, такие же районы, под другими именами, разбросаны по всей Японии).

Но[1] пол всегда упирается в метафизику, и недавно еще кое-где в Японии, при храмах, — были жрицы — божественные проститутки, кадр этих женщин возникал и по призванию и по рождению, — через них люди прикасались к богу. Тай-ю — высший титул проститутки. Буддийский первосвященник, глава Хонгандзи, женатый на принцессе крови, имеющий титул Восседающего на Тигровой Шкуре, — имеет право на Тай-ю, — и в регламентные дни Тай-ю приезжает к Восседающему.

Мне кажется, к половому акту японский народ относится как к естественнейшему и священнейшему делу, никак не позорному. У японского народа до сих пор сохранился фаллический культ.

---

[1] Абзац написан по справке проф. Е. Г. Спальвина.

Писатель Мусякодзи[1], менажируя ан-катр, в печати обсуждал этот менаж, и в печати же выступала его жена.

Со мною был такой случай; собираясь путешествовать в горы, в добродушии сердечном, я пригласил с собою одну мою японскую приятельницу, — и на другой день, через переводчика, она передала мне, что она согласна поехать со мною в качестве моей любовницы.

Ярчайше выражен в Японии мир мужской половой культуры. Мораль и быт японского народа указывают, что женщина никогда не принадлежит себе: родившись, она есть собственность отца, потом мужа, потом старшего сына. И та женщина, судьба которой ссудила ей быть матерью, — есть только мать, ибо священнейшее у японского народа — дети. Она не должна крикнуть при родах, — на свадьбе родители ей дарят нож и икру, — икру, чтобы она плодилась, как рыба, — нож, чтобы она знала подчинение мужу, путь от которого — ножом — в смерть. А в те дни, когда она беременна, она ведет мужа в Йосивару. Но женщина может быть бездетна, — тогда это повод или к разводу, или к тому, чтобы — жена же — озаботилась поисками наложницы, мэкакэ: институт мэкакэ жив до сих пор, ряд министерских и парламентских деятелей имеют мэкакэ.

Но у мужчины есть потребность в прекрасном, в вечной женственности, в общении с умной женщиной, с другом-женщиной, товарищем-женщиной, советником, поучителем: тогда он идет к гейше. Института, аналогичного институту гейш, нет в западной культуре. Там, в чайном домике, мужчину встретят прекрасные женщины, они поклонятся ему так, как требует этого большое искусство, они проведут с ним чайную церемонию, они будут с ним весело, беззаботно, остроумно и умно беседовать, — они споют ему старинную песенку, протанцуют тихий и прекрасный танец, они сыграют ему на сямисэне и кото. На пороге чайного домика насыпана горка белой соли, — символ чистоты и целомудрия. Веселые, улыбающиеся, нежные, они нальют и вновь

---

[1] См. глоссу VI.

подольют мужчине сакэ, — всяческой грацией уклонившись от своей чашечки. Однажды, узнав, что я человек умственного труда, гейша сделала мне головной массаж: она положила мою голову к себе на колени, мяла и гладила мою голову белыми своими ручками, — и я встал с ее колен помолодевшим. Однажды (ведь японцы всегда и везде фотографируют) в компании японских писателей мы снялись с гейшами. Я положил свою руку на плечо гейше. И наутро я увидел себя в газете — именно так, с рукою на плече женщины. Я было взволновался: — и успокоился, — ибо сняться в такой позе с гейшею — честь, никак не «потеря лица». Гейша дает свою визитную карточку, имена гейш так же чтимы, как имена писателей, — и есть гейши со всеяпонскими именами.

Я прихожу в чайный домик с женою. Там, за домиком, тишина и ночь. Здесь тихо и светло. Мы снимаем свою обувь. Друзья-писатели заказывают ужин, приносят горячее сакэ. Приходят гейши, эти женщины, похожие на цветы. Одна из гейш садится около меня, наливает мне сакэ. Ну, как, как могу говорить я, чужеземец! — я рассматриваю ее руку, она смеется в смущении, прикладывает кулачок к виску, топорщит указательный палец и говорит плутовато, чуть-чуть недоуменно: — «Оку-сан Бируняку-сан», — и усердно топорщит свой пальчик: это значит, что в мою жену вселится злой дух, непонятный гейше, живущий только у европейцев, — дух ревности...

Гейша — это идеальная женщина, женщина мира искусства и красоты и ума, — к гейшам надо идти, чтобы касаться прекрасного. Не менее прекрасны тайны пола, — но это уже не гейши: тогда, после гейш, надо ехать к ойран. И было: — мы были у гейш, с нами была моя жена, мы очень веселились; — мы пели вместе с гейшами, писатели плясали старинные танцы самураев и читали старинные баллады, — и тогда сказали мне, чтоб в следующий раз я не брал жену, ибо такой прекрасный вечер преступно не кончить ойран, старые писатели недовольны.

Быть гейшей — это призвание, и это — на всю жизнь. Быть гейшей — честь, и для того, чтобы быть

гейшей, надо учиться с малых лет. Гейша должна иметь не ниже среднего общее образование.

Я был в школе гейш, в такой школе, куда европейцы вообще не проникают. Это было на берегу моря, и море уходило в лиловую тьму. В доме были только гейши, только женщины, молодые, средних лет, старухи, — а на сцене и на дороге цветов были девочки, от пяти лет, — будущие гейши, они танцевали, пели, кланялись, разыгрывали пьеску, — и старшие смотрели на свою молодую армию. Кроме школьной учебы, гейши должны уметь петь, играть на шемисене, должны изучать чайную церемонию, изучать тайны вязания цветов со всеми их символами, — и должны постичь тайну искусства собеседовать.

Веснами, в дни цветения вишни, этого национального цветка Японии, символа весны и мужской доблести, гейши объезжают все города, знаменитейшие гейши, корпорациями в несколько сот человек, и в этих городах, в лучших театрах ломятся двери от тех, кто хочет посмотреть на действо гейш. О гейшах пишут в газетах. Их имена славны. Великие, знаменитейшие гейши влияют на государственную политику. На интимные банкеты государственных деятелей — приглашается не жена, а любимая гейша того, в честь кого дается банкет. Гей-ша — точный перевод: — посвященный искусству.

Многие гейши выходят в замужество, например, государственный деятель эпохи Мэйдзи, принц Ито, был женат на гейше. Иные, кроме патента на гейшество, берут патент на ойран, — тогда до конца дней они остаются в почетной свободной любви, эти единственные свободные женщины, — и в этой свободной любви остаются главным образом талантливые гейши, как и у нас — талантливые актрисы. Институт гейш — очень древен, — и слово гэй-ся — новое слово, ибо оно существует только с токугавской эпохи, ибо раньше гейши назывались с и р а б ь о с и, что значит — белый, чистый тон...

...Это выдумка европейцев, что в японском языке нет слова любовь: есть, в десятке вариантов. И выдумка европейцев, дальше порта не забиравшихся, — нелепица о срочных японских браках: японцы о таких не знают.

Но совершенно не выдумка, что японский народ не стыдится обнаженного тела и естественных отправлений человеческого организма[1]. В Икахо, у сернистых источников, я сидел в бассейне с минеральной водой, — пришли две японки, разделись, омылись и полезли ко мне; однажды я услышал женский писк, присущий только европеянкам, — я пошел расследовать и установил, что к Ольге Сергеевне в ванну собирались лезть мужчины-японцы. У японцев нет понятия мыть лицо и руки так, как это делаем мы: они каждодневно по нескольку раз обмываются с головы до ног, поэтому в каждом доме есть ванна, воду в ванну они наливают такой горячести, что я, например, в такой воде сварился бы, — а, поскольку у японцев все наоборот, вытираются они не сухим полотенцем, а мокрым, тем самым, которым они подпоясываются, оно же служит им и мочалкой. В городах, где никак не убережешься от озорства европейцев, сейчас общественные бани разделены, женщины моются отдельно, но банщики в женских отделениях — мужчины. Уборные в Японии — общие, и помню, как фраппированы были Ольга Сергеевна и миссис Гиршбейн, жена американо-еврейского писателя Перетца Гиршбейна, когда в Кобуки-дза театре заместитель Осанаи-сан по Цукидзи театру, Такахаси-сан, приведши их к уборной, со всею вежливостью французского языка предложил им проследовать туда, — «силь-ву-пле!» — они прошли сквозь строй мужчин к кабинам, — и через минуту Такахаси-сан постучал им, сообщив, что джентльмены (то есть мы) отправляются в ресторан.

До сих пор еще невесту жениху приискивают родители, всячески беря на себя ответственность. Еще так недавно, во времена Токугава, тот нож, который родители давали невесте, был неминуемым порогом из дома мужа, — времена проходят. Вдова называется — умерший человек. Теперь в самурайских и цеховых семьях — этот же нож является порогом и для девушки, раньше воли отца отдавшей другому свое целомудрие. — Но за городом, в деревнях, до сих пор сохранил-

[1] См. глоссу VII.

ся праздник пришествия покойников с того мира, Б о н, июльский праздник созревания ячменя. К ночи тогда зажигают на дворах фонарики, чтобы осветить дорогу покойникам. Люди же в поле пляшут в хороводах, в м у г и к о к а с и, в хороводе «падения ячменя». И эта ночь свободна для совокуплений сельчан, — и если в эту ночь у девушки нет любовника, родители нанимают его, чтобы их дочь не была опозорена нелюбовью, — чтобы дочь их была благословлена любовью. И до сих пор, — утверждает профессор Е. Г. Спальвин, — сохранился в деревнях обычай общего обладания девушкой до брака, когда только после брака она переходит в единоличное обладание мужу, — причем она за это платит обществу «первой ночью», в честь богини Каннон, богини милосердия. — Философия пола у всех народов упирается в метафизику, — и никогда не забуду я фарфоровой тишины рассвета в деревне, на Синсю. В этот фарфоровый рассвет, без шпика, один-одинешенек, должно быть, единственный раз так, в кимоно, я вышел со двора крестьянского дома и пошел в горы. Я писал уже об этом: — там, на горе, я увидел храм, в стороне от храма сидел мальчик, — а в чаще деревьев около храма стояла на коленях женщина, женщина обнимала клиноподобное каменное изваяние, лицо ее было восторженно. Я увидел таинственнейшее, такое, что редко удается увидать даже японцам, — я видел, как женщина поклонялась фаллосу, — видел таинственнейшее, что есть в природе человека. Мое видение мне разъяснил профессор Йонэкава-сан[1], ибо эти видения у него сохранились от детства, от тех дней, когда мать водила его по храмам его клана, когда мать оставляла его одного, чтобы уединиться для молитвы перед богом чадородия.

Тогда, в этот рассвет, я смотрел на эту женщину, одетую в кимоно, перепоясанную оби, с рудиментами крылышек бабочки на спине, обутую в деревянные скамеечки, — и тогда мне стало ясно, что тысячелетия мира мужской культуры совершенно перевоспитали женщину, не только психологически и в быте, но даже антропологически: даже антропологически тип японской жен-

---

[1] См. глоссу VIII.

щины весь в мягкости, в покорности, в красивости, — в медленных движениях и застенчивости, — этот тип женщины, похожей на мотылек красками, на кролика движениями.— Даже жены профессоров, европейски образованных людей, встречали меня на коленях.— Онна дайгаку — великое поучение для женщин — японский домострой — учит навсегда подчиняться отцу, мужу, сыну, — никогда не ревновать, никогда не перечить, никогда не упрекать. И в каждой лавочке продаются три обезьяны, символ женской добродетели: обезьяна, заткнувшая уши; обезьяна, закрывшая глаза; обезьяна, зажавшая рот. Так решили философию пола — буддизм, феодализм, Восток,— и эта философия пола жива до сих пор.

6. Вечер на хиноки-тьо

Январь — месяц тигра, февраль — месяц зайца, март — дракон, апрель — змея, май — лошадь (к слову, о лошадях я проделал своего рода анкету, — спрашивал, кто и сколько раз ездил на лошадях: писатели Канэда-сан и Сигемори-сан ни разу в жизни не ездили на лошадях, никак, — лошадей в Японии почти нет и почти нет в сельском хозяйстве), июнь — овца, июль — обезьяна, август — петух, сентябрь — собака, октябрь — кабан, ноябрь — крыса, декабрь — бык. Двенадцатилетия годов разделяются так же; 1926 год — год тигра. 1926 — по-европейски: 2586 — по-японски, 15-й год эпохи Тайсьо. Вспомогательными определениями годов являются также стихии огня, земли, воды, металла, дерева. И вот, если женщина родилась в год лошади и огня, она непременно убьет своего мужа той таинственной фатальностью, которая родила ее в это сочетание; в прошлом, 925-м, году выросли девушки этого призыва, и в газетах крупно обсуждалось, как с ними поступить, ибо жениться на них — охотников было мало. И целые литературы есть гороскопов, выясняющих удобства и неудобства браков: мужчина, родившийся под знаком огня, имеет огненный характер, — женщина, родившаяся под знаком дерева, имеет деревянный характер, — тогда им надо пожениться, ибо из дерева родится огонь; но вода — тушит огонь, — и тогда брак не может состояться... Все эти

таинственные комбинации имеют под собою таинственное сочетание пассивных и активных сил.

...Сумерки, Хиноки-тьо, року-бантьо, Токио. Мы сидим вдвоем с профессором Йонэкава-сан, тем профессором, о котором я буду говорить дальше, европейски образованным человеком, и который, провожая однажды Ольгу Сергеевну, на ее предложение зайти посидеть, ответил: «наш великий учитель Конфуций не учил нас сидеть вдвоем с женщиной». —

— А философия японского народа? — спрашиваю я его.

— У японского народа не было своей большой философии, — отвечает профессор Йонэкава. — По мнению профессора истории философии Канэко, японский народ из всех философских учений берет практические сентенции. Профессор Канэко считает японской философией философию практицизма. Это один признак. Второй — философическое оправдание каждого индивидуума: стремиться к очищению и опрощению, — философия индивидуализма указывает подавлять страсти, утвердить золотую середину, — разительно в японском народе, по мнению профессора Канэко, отсутствие мистицизма. И еще отличительна у японцев, в национальной японской философии: — их умность, не рационализм, а — умность: японский народ умен, — эта особенность является одним из факторов, давших возможность принять Запад и пойти его путем вперед. Японцы больше годятся для научно-прикладной работы, чем для обобщающе-философской, но Канэко никак не считает честью японского народа отсутствие у него великой философии.

Вечер, Хиноки-тьо, — на стене висит плакат японской живописной выставки, шипит газовая плитка, за окном водянистая муть ночи.

— Синтоизм не имеет одного бога, но много, — ибо источником божественности является поклонение предкам, предки же накапливаются. В памяти японского народа очень много богов, которые только наполовину божественны, наполовину же человечны, человеческого происхождения. Высшее божественное суще-

ство — богиня солнца Аматэрасуомиками, она светила миру и шелководствовала. Но в божественность Аматэрасуомиками никто уже не верит. Забот о будущей жизни у японского народа — нет. Надо заботиться — только о настоящем, о живом, чтобы достойно прожить жизнь, быть достойным своих предков, — чтобы приготовить чистоту смерти. — Тысячу двести лет тому назад в Японию проникла буддийская религия. Высшие круги, императорский двор приняли эту религию, сохранив шинтоизм. Но буддизм — не религия, а наука веры. Переводов с китайского буддийских книг не делалось, народ знает о религии из уст священников. Нирвана — стремление к вечному равновесию и покою: — для достижения нирваны надо отказаться от физических прихотей, от самого себя, — через отрицание самого себя — слияние с вечным миром, с вечным духом: наука буддийской религии утверждает эфемерность бытия, непостоянность жизни и твердую каменность жизни.

(Вечер, Хиноки-тьо. — Но по мифологии синто все боги изображались очень страстными, так что один дух погнался за женою, умершей в страстный момент, прямо в загробную жизнь, — мифология шинта жива наряду с буддизмом. Европейско-христианская мораль учила о вечной активности впереди, мораль Востока учит о вечной пассивности.)

Буддизм трансформировался сейчас в ряд сект. Крупнейшая — Синсю («настоящая вера»). Родоначальник этой секты учил, что человеческий ум ограничен и не может довести до нирваны, — и надо возлагать надежды на волю Будды, в молитвах — «Наму, Амидабуцу», — одному из предвоплощений Будды. Секта Дзэн избрала путь строгого воплощения, что достигается сидением по-турецки, сосредоточением мыслей до того, пока не останется ни одной мысли; люди секты Дзэн — постятся, аскетят; секта логику буддизма заменяет интуицией; эта секта была популярна среди самураев.

(Вечер, Хиноки-тьо, окончательно померк закат.)

— Но, все же, подлинная, народная вера, о которой почти не знают европейцы, ныне здравствующая, идет мимо синто и буддизма, — Ин-йо-до, — учение о пассив-

ной и активной силах. Она связана с синто, она созвучит с китайскими учениями о извечном пассивном и активном. На глаз европейца эта вера состоит из суеверий. Все явления мира этою верой делятся на двоесилия мрака и света, луны и солнца, земли и неба, мужчины и женщины... Метафизика этого учения глубоко вошла в быт. Секта Татикаварю, названная так по имени учителя, запрещенная в эпоху Мэйдзи, здравствующая до сих пор, утверждает, что соединение начал бога Идзанаги и богини Идзанами, активного и пассивного начал (бог Идзанаги, стремясь за Идзанами, семенем своим накапал Японские острова, так говорит предание), — соединение активного и пассивного начал есть высшее достижение нирваны, и путь к ней — путем совокуплений.

...вечер, Хиноки-тьо. Мы прощаемся с Йонэкава-сан, я провожаю его до порога. Над городом лиловое небо ночных фонарей, неподалеку прошли трубачи, разрекламливающие кинематограф, пропела флейта бэнтошника, человека, играющего в рожок в знак того, что он повез по улицам свою тачку с рисом для бедняков и рабочих, с горячим рисом, который можно тут же купить. И улица замерла в тишине, той тишине, которая есть только в Японии. В доме напротив мои «ину», собаки, мои полицейские, сидели около огня.

Я тихо свернул в переулок и пошел на соседнее кладбище, в его тишину, заброшенность и в печаль кладбищенских размышлений. Японцы сжигают трупы умерших и хоронят только золу, так велит буддизм. У ворот отгорел электрический фонарь, там под деревьями мрак. Знаю, вот против этой могилы стоит мисочка риса и на нее положены «хаси», палочки, которыми едят японцы: это для умершего. Знаю, что умершему японцу дается новое имя, то, с которым он отходит в вечность, с которым не жил при жизни. Знаю, что к летосчислению жизни каждого японца надо прибавить девять месяцев, ибо днем начала существования человека у японцев считается не день рождения, а день зачатия. И знаю, вон там, за той тропинкой, похоронена собака: любимых собак, кошек, лошадей — японцы хоронят вместе с человеком, так же сжигая (и даже человеческие чины дают

животным, ибо те быки, которые возят повозку императора, имеют генеральские чины, — иначе они не могут быть при дворе). Я иду по тишине тропинок. И я — ничего не понимаю. Я — европеец, знающий, что маршал Ноги и император Муцухито, умершие столь недавно, уже обожествлены, и в честь их есть храмы, — что человек здесь уравнен с собакою, — что у религии этого народа нет активного будущего, а есть пассивное ничто, то есть нет верования в будущую жизнь, а есть вот такие храмики, такой величины, как моя пишущая машинка, — я, европеец, ничего не понимаю. Мне мои друзья-японцы говорят о том, что религия отмирает, что остались только обычаи, традиции. Мои друзья-европейцы, поражаясь религиозным индифферентизмом японского народа, утверждают, что религия японского народа умерла, или ее никогда и не было — в том плане понятий, как это понимается у нас, — Япония — безрелигиозная нация, нация, у которой умерла религия, но в умирании своем унесшая и живую философическую жизнь японского народа, философически создавшая такое положение, такую страну, где правят мертвецы. И тут, в этом месте, европейцы-идеалисты горячо утверждают, что весь Запад, вся западная культура, окончательно ненужная Японии, враждебная ей, чуждая, — взята японским народом как м а с к а, — японский народ замаскировался на столетье, чтобы броней Запада — этот же Запад откинуть: поэтому, дескать, так болит голова от японской воли, конденсированной в шум гэта, поэтому так ничто не понятно, ничего не прочтешь на лице японца. Я в этих рассуждениях — ничего не понимаю, — но в дебри их я пришел сейчас к тому, чтобы указать ту щель, в которой почерпают европейские писатели материалы для писаний повестей о «метафизической Японии»... В Асакуса, у храма Каннон, всегда много молящихся, и в прохладе храма сидят священнослужители: молящиеся кидают монету и бьют в гонг, чтобы бог услыхал их молитву; гадатели дают такие листочки бумаги, — эти листочки надо привесить к сучьям деревьев около храма, тогда исполнится пророчество. В Уэнопарке стоит памятник генералу Сайго, — так этот памятник нельзя разглядеть: генерал Сайго также обожествлен, и

он весь заплеван священными бумажками, — потому что надо написать желание, разжевать бумажку и бросить ею в священный предмет; памятник типичной европейской стройки, поставленный человеку, противившемуся проникновению европейцев в Японию, — оказался священным предметом. Бог Лисы — богу Лисы можно молиться, чтобы отнять у друга его, друговы, богатства: над Кобэ, в горах, куда надо сначала ехать на автомобиле, затем подниматься на элеваторе и дальше идти бесконечными тропами и лестницами, на Майюсан, на вершине горы, — там есть храм, посвященный богу лисицы[1]: на обрыве скалы, высоко над океаном, среди многовековых сосен, возник целый городок, в тишине гудит буддийский колокол,— и чем дальше в гору, тем пустыннее и тише, — и там стоят алтарики, заполненные лисами, фарфоровые, фабричнейшего производства, по качеству выработки хуже наших десятикопеечных кукольных голов, которые продаются на ярмарках для крестьянских детишек; и вечером в Кобэ на базаре я купил себе за иену десять таких лис: там, на Майюсан, — извечная тишина, прекрасное спокойствие и — прекрасная красота горного хребта, гор, долин, океана. Все это увязать так, чтобы концы вошли в концы, — я не могу... Я иду по кладбищу, подсел к могиле лошади, мне перевели — «любимой лошади»: и тогда, я помню, я думал о том, что бытие определяет сознание, совершенно верно, но и сознание веков переходит уже в бытие.

7. О иероглифах[2]

Мое имя — Пильняк — по-японски звучит: П и р и н я к у, потому что в японском языке нет звука *л* и потому что фонетика японского языка не любит двух согласных рядом и окончаний слов на согласные. Но японец не скажет —

— Пириняку, —

его вежливость и его понятие о человеческих отношениях укажут ему сказать:

---

[1] См. глоссу IX.
[2] См. глоссу X.

— Пириняку-сан.

Эта же частица *с а н*, приставляемая к каждому человеческому имени обязательно, а к другим, по нашим понятиям неодушевленным предметам, в случаях исключительных, — и эта частица никак не есть нечто соответствующее нашему гражданину или английскому мистеру: частица *с а н* указывает, что собеседник, беседуя с вами, обращается не к вам, а к вашей тени, к вашему второму духу, не желая обеспокоить вашей субстанции, дабы дух ваш почил по вашей воле, никак не омраченный собеседником.

Пириняку — написанный иероглифами, подобранными фонетически, значит:

— сравнение пользы две ночи придут.

Борис — написанный иероглифами, подобранными фонетически, значит:

— *з а к а т н о й* деревни гнездо.

О иероглифах: — тем паче, что многое надо оставить на совести тех, которые утверждают, будто японцы и китайцы мыслят кроме европейских способов мыслить образами, словами и понятиями, — мыслят и иероглифами. Иероглиф Японии — точнее Ниппон — Страны Восходящего Солнца: — *к о р е н ь с о л н ц а*.

Иероглифическая письменность совершенно не варварственна, как многие думают. Дело в том, что, если бы я, не знающий китайского, японского и испанского языков, и мексиканец, не знающий японского, китайского и русского языков, — если бы мы изучили иероглифическую грамоту, — мы бы, без знания языков, сумели бы списаться и понять друг друга: я, китаец, японец и мексиканец. Иероглифы не записывают звуки, но записывают понятия (понятия же у всех народов, примерно, одни и те же: стол есть стол, как его ни назови). В японском словаре — пятьдесят тысяч иероглифов. Курс средней школы — четыре тысячи двести. Курс начальной школы — тысяча восемьсот. В газетах — две тысячи пятьсот иероглифов. Изобразительных иероглифов — около трехсот. Квадрат, пересеченный горизонтальной чертой, — солнце; русское печатное И, пересеченное двумя горизонталями, — луна; иероглиф луны, поставленный рядом с иероглифом солнца, — яркий, светлый. Кривая палочка, подпертая другой маленькой кривой, — иерог-

лиф человека. Две палочки под прямым углом, пересеченные округлой (рука, нога, грудь), — иероглиф женщины; два иероглифа женщины рядом — ссора; три иероглифа женщины рядом — государственная измена. Иероглиф тюрьмы изображается так: иероглиф слова, по бокам иероглифы собаки. Японцы взяли иероглифическую письменность от китайцев и употребляют ее и фонетически; все фонетические иероглифы — комбинированные: фонетический иероглиф барана звучит так же, как океан, — поэтому пишут иероглиф барана и приписывают сбоку иероглиф воды.

Кое-какие мои выписки звучат весело. Но уже не весело, а великолепно знать, что человеческим гением, гением Востока, создана такая изумительная грамота, знание которой, при знании ее другими народами, дает возможность обращаться с этими народами без знания языков, а при знании языков в эту же грамоту можно влить и живое слово. И, если бы пушки были изобретены не европейцами, а на Востоке, я уверен, что мы изучали бы сейчас эту иероглифическую грамоту, уничтожающую смешение языков, вместо того, чтобы корпеть над английским, немецким, французским.

Утверждают, что люди Востока мыслят, кроме наших способов мыслить, еще иероглифами. Не знаю. Если это так, то это только лишний плюс их мыслительного аппарата. Но знаю, что, чем культурнее японец, тем больше он прочтет в иероглифе, тем больше для него раскроет иероглиф. И знаю, что на Востоке есть вид искусства, непонятный нам, когда поэт или философ, или ученый создает такой новый комбинированный иероглиф, над которым можно часами сидеть в благородном изумлении, как над шахматным ходом, следить за каждой линией, написанной тушью и кисточкой, вдыхать запах каракатицы (из которых добывается тушь) и открывать смысл человеческого гения в этих линиях и чертах. Я всегда приветствую каждый закоулок человеческого мозга.

В Токио я был в храме императора Мэйдзи (того императора, который вывел Японию из феодализма, дал японскую конституцию, разбил в 1904 году нас и умер в 1912 году, обожествившись после смерти), — в

храме императора Мэйдзи хранятся его кабинет и его письменные принадлежности. Так эти письменные принадлежности совершенно таковы же, как в кабинете профессора и философа и друга России Йонэкава-сан. Я рассматривал эти же письменные принадлежности на почте, на станциях, в сельских трактирах и в столичных отелях. Везде они одинаковы: лакированная коробка величиною в двухфунтовую шоколадную, в которой лежат — палочка туши, камень, на котором растирается тушь, сосудик, в котором хранится вода, и штук пять разных сортов кисточек. Сидя на полу и пододвинув к себе столик высотою в нашу ножную скамеечку, держа на весу руку, японцы пишут своими кисточками свои иероглифы. Понятия чистописания и рисования у них сливаются. Молодой писатель, Сигэмори-сан, с которым я путешествовал по Синсю, каждое утро и каждый вечер посылал домой открытки: он писал их лежа: я спросил, как он пишет свои романы, — он ответил мне, что он всегда пишет лежа. В Японии всеобщая грамотность, там, кроме идиотов, грамотны все сто процентов. При первой встрече все дают визитные карточки, при второй надо поменяться автографами, изречениями, вежливым словом, написанными на бумаге. Я писал десятки изречений и на картоночках для танки, и на квадратных картоночках, предназначенных для изречений, и даже на какэмоно. Однажды в поезде, по пути из Токио в Кобэ, ко мне подошел с такою картоночкой проводник вагона, поклонился так, как кланяются японцы, руки на колени, в шипении, и попросил от меня, русского писателя, моего изречения и автографа моего имени. Когда где-нибудь в провинции открывается выставка, или у какого-нибудь озера, куда зимой никто не заходит, — собираются паломники природы, — тогда сейчас же там открывается почтовое отделение, закрывающееся вместе с выставкой и на дождливые дни... и всегда около почтовых отделений и на углах больших городов сидят такие люди, которые умеют красиво писать и красиво выражаться: эти люди, за сэны, пишут красивые иероглифы и очень вежливые слова... А в поезде по Сибири туда из Москвы со мною ехал

японский концессионер; он научил меня первым японским словам, тому, что благодарить надо так:

— Домо-аригато-годза-имасу, —

причем слово аригато значит — спасибо, а «домо» «годза-имасу» — ничего не значат, просто вежливые приставки. Можно сказать — аригато; можно сказать — домо-аригато, — это будет повежливее: — домо-аригато-годза-имасу — совершенно вежливо. Так вот этот концессионер от времени до времени склонялся над бумагой. Я добивался, что он пишет. Он скромно сообщил мне, что он пишет танки. Я попросил его перевести мне его танка. Одну танка я запомнил.

Вот она:

Мы перевалили Урал.
Мы в Азии.
Земля в снегу.
На станциях русские
бегают с жестяными чайниками.

8. Сделанные люди

Япония — нищая страна, страна нищего камня, шалашей вместо жилищ, бобовых лепешек вместо хлеба, тряпок вместо одежды, деревяшек вместо обуви.

...Я смотрю направо и налево. Но я вижу — удивительнейшее, до сих пор незнаемое мною. Я вижу, как японский народ освободился от вещей, освободился от зависимости перед вещью. Народ отказался от всяких излишеств, от всяческих случайностей. Народ создал свою архитектуру, которая определена бытом неостывшей земли, ибо японский домик строится в два дня, в японском домике нет ни одной лишней вещи. Народ свел свои потребности к такому минимуму, от которого европейцы должны дохнуть. Народ питается, в сущности, не рисом, а бобовыми лепешками, съедая такое количество, от которого европеец протянул бы ноги. Японец, в колоссальном чувстве патриотизма, не имеет привязанности к данному клоку земли, — он в два дня собирается, чтобы перейти на новые

земли, — хибати для него везде найдется, а весь свой скарб он снесет на плечах. Хибати сохранился от тысячелетий, — а оби, тот пояс, который красивою бабочкой висит на спинах женщин, есть рудимент постелей, которые женщины носили у себя на спинах (ойран носили постели на спинах еще в семидесятых годах прошлого века, — матери до сих пор носят детей на спинах, работая с ними, с детьми за плечами, в полях). Надо большие главы писать о том, что живая Япония — есть страна мертвецов, ибо единственный философский завет японцев — это прожить жизнь так, чтобы не опозорить предков, чтобы быть достойным предков, — единственный завет синто — религии этого безрелигиозного народа, — да, безрелигиозного, — да, такой завет, который кладет глубочайшую рознь между психикой европейца и человека с Востока. Японский народ, даже в свою безрелигиозную религию, внес правило, что всегда, какие бы ни были обстоятельства, пусть даже нации, всей нации на большие десятилетия надо отказаться от куска хлеба, он, народ, должен найти правильный путь, пусть кривой, но всегда такой, который приведет к назначенной цели, — пусть японцам семьдесят лет тому назад пришлось ласково улыбаться, в отчаянной ненависти, европейцам, — они перехитрили европейцев, этот единственный на земном шаре цветной народ. Японский народ освободился от боязни индивидуальной смерти; народ ввел в доблесть харакири; на площадях землетрясений народ умирал организованно; я видел, как пожарные лезли на горящую стену, чтобы свалить ее, — было совершенно ясно, что они погибнут под горящими обвалинами, которые собою они хотят повалить, они были совершенно деловиты, они погибли, свалившись вместе со стеной, — толпа приняла это, как должное. Народ создал такой язык, на котором нет слов брани. Народ создал такую манеру обихода, которая обязывает к вежливости. Японская мораль не позволяет женщинам кричать во время родов, и они не кричат, а когда во время родов кричала жена одного из наших, русских, дипломатических работников, об этом писалось в газетах. Вы никогда ничего не узнаете от японца по выражению его лица, — выражение лица японца *создано*, а не возникло, — так же создано, как освобождение от боязни индивиду-

альной смерти. Каждый раз, когда я говорил с японцами, даже с моими друзьями, японскими профессорами и писателями, даже в часы отдыха и прогулок, у меня разбаливалась голова: около лейдоновской банки все предметы пронизываются электрической энергией, — так же, должно быть, нагнетала меня нервная, мне непонятная и несвойственная, психическая напряженность моих собеседников: это были странные головные боли, точно я проиграл подряд десять шахматных партий. Политика — не моя область, тем паче международная японская, — но в дни моего пребывания в Японии там, в парламенте, обсуждались меры, гласно и в деловитом спокойствии, о поднятии качества промышленной продукции за счет понижения заработной платы и за счет разорения крестьянства: что же, крестьяне будут организованно помирать.

...Японцы низкорослы, смуглолицы, черны, крепко скроены, — психическая организация японцев действует на европейца чрезвычайно утомительно, — японцы не любят, когда европейцы говорят на их языке, — и европейцы, проживая иногда по нескольку лет в Японии, не научиваются различать индивидуальных черт японского лица, все лица кажутся им на одно лицо, индивидуальность стирается, она стирается и манерою японцев ничего не выражать лицом; у японцев есть манера вежливости шипеть при разговоре, кланяясь и при еде, шипеть, втягивать в себя воздух, как делают европейцы, обжигаясь; и вот мистеру англичанину начинает казаться, когда он сидит за обеденным столом или беседует с японцами, когда для него стерта индивидуальность японцев и они шипят, как растревоженный муравейник, эти маленькие люди конденсированной воли и непонятного языка, — европейцу начинает совершенно ясно казаться, что перед ним не люди, а людоподобные — сделанные — муравьи...

За последние сорок лет нация японцев увеличилась в росте на д в а в е р ш к а: это сделано волей японского народа, это с д е л а н о. У японцев есть понятие — с и б у й — трудно перевести — о с к о м и н н ы й в к у с: отказ от вещи, доблесть простоты, доведенной до оскомины. Сибуй упирается в Бусидо (путь чести самура-

ев), — в ту самурайскую честь, которая указывала не иметь денег, быть преданным и доблестным, не бояться смерти и не иметь потребностей. В главке о «принципах “наоборота”» я писал о Синоби — о науке сыска.— Не суть важны все эти науки, Сибуй, Бусидо и Синоби: важно продумать психику народа, имеющего такие заповеди, — сделанная психика японцев никак не похожа на психику европейцев.

И еще о «сделанности» японского народа. Надо быть очень хорошим врачом, чтобы сказать, чей антропологический тип — японца или европейца — более совершенен, — но без качеств врача можно утверждать, что тип японца более «сделан», чем тип европейца, более отстоен: и в Англии, и во Франции, и в Германии, и в России есть и рыжие, и беловолосые, и черноволосые, и сероволосые, всех цветов, — в Японии — все черноволосые, иноволосых — нет: эта особенность, по утверждению врачей, распространяется и на все другие антропологические особенности. Антропологический тип японца сделан, отлит.

9. Шум гэта

В июле в Японии пойдут дожди, они будут идти неделями подряд, в страшной жаре, они не будут испаряться, все превратив в болото. Все будет покрываться плесенью, все будет истлевать в плесени и гнили. Обессиленные, обалдевшие в потной жаре люди в трамваях будут распахивать свои кимоно и будут обвеивать веерами голое свое тело, — солнце будет палить сквозь банные клубы пара, в плесени, в многонедельном удушье, когда ни днем ни ночью нет человеку отдыха... А с ноября новые пойдут с океанов ветры, тайфуны, понесут холодную изморозь и туманы, «петербургскую» погодку, когда в японских шалашах за хибатями — сидеть занятие невеселое. Пусть на глаз туриста земля Японская очень красива...

. . . .

У каждого народа есть свой шум.

Улицы Лондона чопорно шелестят, там не гудят даже рожки автомобилей, толпа движется с медленной

скоростью грузов, тех, что над Сити передаются по крышам. В России, в годы революции, национальным шумом были грохоты пушек вдали, шепот в переулках и песнь идущих красноармейцев на площадях.

В Японии три шума. Тишина, безмолвие парков, — шум падающего водопада, шелестящего ручейка в деревне, — и — человеческий шум гэта. Шум каждой нации имеет свой смысл и отражает особенности нации.

Гэта — это деревянные сандалии, скамеечки, которые надевают японцы на ноги, выходя на улицу. В гэта японцы едут на велосипеде, в гэта детишки прыгают на одной ноге. Гэта прикреплены к ноге двумя бечевами, продетыми между большим и остальными пальцами. Шум гэта тверд, как кость, как голый нерв, — шум гэта страшен на ухо европейца, когда они скрипят пробкою по стеклу — деревом по асфальту. Шум каждой нации имеет свой смысл: человеческий шум Японии — это костяной шум гэта.

Автомобилем мы мчим по Токио, в Уэно-парк. Автомобиль идет по улицам, залитым солнцем, цветами, пестрыми кимоно женщин, шумом трамвайных, автобусных, автомобильных рожков, простором площадей перед императорским замком, гамом американских небоскребов Гинзы и Нихон-басси, окончательной теснотой национальных кварталов. И всюду главенствующий шум — шум гэта. Но вот мы в Уэнопарке (так же, как в Хибияпарке, как и Сибапарке): здесь в тени деревьев затаились национальный музей, храмы, чайные домики, здесь под обрывом зарастает священными лотосами озеро, и на острове среди озера — синтоистский храм. И здесь — в этот солнечный весенний день — затаилась тишина, пустая тишина, вроде той, что у нас бывает в бабье лето.

. . . .

Мы едем к озеру Хаконэ. Поезда подходят к перрону каждую минуту, разменивают людей и мчат дальше. Поезд мчит мимо Иокогамы, по берегу моря, под горами, под горы. Так мы едем до японобиблейской Одавары. Там мы берем автомобиль. И автомобиль несет нас в горы. О радостях красот японской природы — не мне

говорить. Мы едем древнейшей дорогой самураев, путем из Киото в Эдо (нынешнее Токио), обросшим преданиями тысячелетий. Автомобиль лезет в горы, около обвалов, над обвалами, под обвалами — древним путем, соединяющим Восточную и Западную Японию. Там внизу обрывается со скал река. Направо, налево с гор свисли трубы, зажавшие воду для того, чтобы ее энергия превращалась в белый уголь. Через обрывы перекидываются висячие мосты, по ним в горы уходят электрические поезда. Сначала идут леса бамбуков, затем платанов, японской сосны, лиственниц, кедров, просто сосны, — дальше идет ель — и еще дальше — каменные, остуженные, голые громады. Оттуда, с этих громад, можно шутить о том, что там за океаном видна — Америка. И здесь наверху лежит снег, водопады выложили свои логовища льдом, холодом. Электрическая дорога повисла внизу висячим мостом, уперлась в скалу и ушла под камень, в тоннель, — нигде нет такого количеств тоннелей, как в Японии.

И тогда нам открылось озеро несравненной красоты, с водами синими, как небо в грозу, пустынными и прозрачными, как наш сентябрь, — и в озере опрокинулся Фудзи-сан, раздвоившийся, ставший над горами и опрокинувшийся в ледяных водах озера. Фудзи-сан — священная гора — покойствовал, величествовал над окружающими горами и над нами, в белом своем плаще снегов. Японцы кланяются духу Фудзи, как кланяются стихиям природы, неподвижному в природе, абсолютному в нашей быстротечности.

У озера, там, где путь самураев огибает озеро, стоят ворота, граница между Западной и Восточной Японией, тут рядом кладбище, эти таинственные японские могильные камни, — тут не так давно, только несколько десятков лет тому назад спрашивали прохожих, куда и зачем они идут мимо этой заставы.

Но мне говорить сейчас — не о самураях. Больше, чем Фудзи, я кланяюсь — другому. Мы мчали автомобилем в горах под, над и около обрывов, через пропасти, от жаркого весеннего утра до морозного зимнего дня, от бамбуков до елей и голых скал. Тоннелями и цепными мостами мимо нас уходила дорога, местная дорога,

построенная только к тому, чтобы связать горных жителей с долиной и чтобы вывозить с гор лес. Я смотрел кругом и — кланялся человеческому труду, нечеловечески человеческому... —

Вот что покоряло меня: я видел, что каждый камень, каждое дерево охолены, отроганы руками, от долин до отвесных обвалов. Леса на обрывах посажены — человеческими руками — точными шахматами, по ниточке. Это только столетний, громадный труд может так бороться с природой, бороть природу, чтобы охолить, перетрогать, перекопать все скалы и долины. Это только гений и огромный труд могут через пропасти перекинуть мосты и врыться тоннелями в земные недра на огромные десятки верст[1]. Это только гений и человеческий труд могут так зажать в трубы стихии воды, горные водопады, чтобы превратить их в белый — электрический — уголь.

И не только наслаждаясь природою и Фудзи, я видел труд японского народа. Все, куда ни кинь глазом, где ни прислушайся, все говорит об этом труде, об этом организованнейшем труде. Шесть седьмых земли Японского архипелага выкинуты из человеческого обихода горами, скалами, обрывами, камнем, — и только одна седьмая отдана природою человеку для того, чтобы он садил рис. Еще так недавно Япония считалась страною сельскохозяйственной. И — вот как возделывается рис. Рис может расти только в воде. Все долины Японии разрезаны полями величиной в среднюю нашу комнату. Земля на этих полях выверена по ватерпасу, чтобы вода на ней стояла ровно, каждое такое поле по краям огорожено невысокою насыпью, чтобы не стекала вода. Земля должна быть очень удобренной, и ее удобряют рыбою, родственницей нашей селедки, той, которую мы едим соленой. И все поля, все эти комнатовеличинные учреждения для проращивания риса, соединены между собою сложнейшей и требующей окончательной внимательности оросительной системой. Вся Япония долин выверена по ватерпасу — ох, сколь это сложнее, чем европейская триангуляционная — на

---

[1] См. глоссу XI.

бумаге — выверка земли! — триангуляционная, — предназначенная, главным образом, для выверки артиллерийской стрельбы.

. . . .

Пусть на глаз туриста земля японская очень красива, эта земля, которая еще не остыла от вулканов, та земля, которая человеческому труду отдала только одну седьмую часть себя. Вопреки этим сказкам о прекрасности японской природы, или в дополнение к ней (ибо, на самом деле, очень много приятного для глаза в японских пейзажах вулканов, бухт, гор, островов, озер, закатов, сосен, пагод), — я утверждаю, что природа Японии — нищая природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку — назло. И — тем с большим уважением следует относиться к народу, сумевшему обратить, воспеть и возделать эти злые камни, землю вулканов, землю плесеней и дождей.

И первое, что видишь, когда приезжаешь в Японию, за всей ее экзотикой и красивостью, за всеми ее поездами, миллионнотиражными газетами и прекрасными книгами, — видишь, что Япония — нищая на глаз европейца страна, эта вулканическая держава, — потому что японцы живут в шалашах, едят всяческие отбросы, одеваются в тряпки, ходят босые на деревяшках, — эта вулканическая держава организованного нищенства, нищенственнейшего экзистенцминимума. И — тем с большим уважением я отношусь к японскому народу.

Берите статистику и экономические справочники. Известно, что национальные богатства государств создаются очень скудными рудами железа и цветных металлов, каменным углем, нефтью, каустикой. Япония не имеет ни своего железа, ни каустики, ни нефти, ее уголь не коксуется (Япония производит в год 209 т. тонн железа, — это составляет ½% того, что в тот же срок добывают САСШ), — у Японии нет ничего, что обыкновенно, в стальной наш век, определяет национальную мощь государств, — и тем не менее Япония — великая держава.

Мистер Смит из Шанхая, американский гражданин, так говорил со мною о Японии:

— Так это же не страна, а черт знает что такое! — говорит мистер Смит.— Ведь все они — жулики и невежды, хоть и все время улыбаются. И — каждый японец — идиот. Это — черт знает что такое! — а как соберется пять японцев, с ними не столкуешься, переговорят.

— А — если десять? — спрашиваю я.

Мистер Смит молчит.

— Десять японцев вместе — обжулят кого угодно в мире, — говорит сердито мистер Смит.— Но вы смотрите! — восклицает мистер Смит.— Это же не страна, а черт знает что такое, у них же ничего нет... — ведь это форменные нищие, — у них же все плесневеет, костюма нельзя хорошего привезти!

Япония — великая держава. Япония не имеет каустики и железа. И я вижу: — то место, которое в Англии занимает кардифский каменный уголь, в Японии заменяется национальными нервами, национальной волей. Национальные нервы и воля японского народа есть та необыкновеннейшая рента, организованностью своей создающая национальные богатства и национальную мощь. Этого нет ни у одного народа. Я слушаю шум гэта, костяной шум их японской деревянной обуви, — и этот шум гэта — есть для меня символ воли и нервов японского народа, нервов, сжавшихся до того, что они стали как дерево.

10. Шум гэта и вулканов

Я знаю: старые народы, имеющие многовековую культуру, многовековый быт, — неспособны к новаторству. У таких народов их быт, их обычаи, их мораль и материальная их культура, законсервированные веками, теряют гибкость, неспособны к новаторству, — и нации более молодые их побеждают именно благодаря своей молодости и гибкости, способной к новаторству. Так было с Египтом, Вавилоном, Грецией, Римом, Индией, Китаем. — Казалось бы, что так же должно было бы быть и с Японией, сверстницей Греции: и Япония нашла в себе силы стать молодой страной, — силы,

указывающие, что у этой страны — очень много молодости.

Какие это силы? —

Я смотрю быт и обычаи японского народа, этику и эстетику. Быт и обычаи поистине крепки, как клыки мамонта, — тысячелетние быт и обычаи, из сознания перешедшие уже в бытие. Быт и обычаи, и то, что в Японии все грамотны, и то, как организована воля японского народа, — все говорит о качестве и древности японской культуры. И этот тысячелетний быт, создавший свою особливую мораль, этику, эстетику, не оказался препятствием для западно-европейской конституции заводов, машин и пушек: какие это силы?! —

Есть один малоизвестный закон развития человеческой культуры, — тот закон, по которому развитие духовной и материальной культур не идут рука-об-руку, ибо материальная всегда опережает духовную. Далеко ли от Платона и Аристотеля, величайших философов и мыслителей европейской древности, величайших оазов человеческого духа вообще во все эпохи, — далеко ли от них ушли Кант, Гегель, Толстой, величайшие мыслители наших дней, — и можно ли с этими нашими днями сопоставить век Платона, век ручного труда и войн кулаком и камнем — с нашим веком, с веком Толстого, веком заводов, металлургии, электричества, железных дорог, авиации, радио, дредноутов и стоверстных пушек? — Причины этому в особенностях развития человеческой индивидуальности. Например: — я ребенок, родился, ничего не зная, мне десять лет, — мне показали автомобиль, — я ничего не знаю о том, сколько человеческого труда и гения было затрачено на создание этой машины, — но я в три дня научился управлять этой машиной, — то, что достигнуто материальной культурой — культурой вещей — прежних веков, я принимаю как норму, от которой надо идти дальше, и воспринимаю устройство автомобиля с таким же трудом, как устройство сохи. — И дальше: — я ребенок, я ничего не знаю, — и для того, чтобы достигнуть культурного уровня моих отцов, чтобы иметь право идти дальше в плане культуры духовной, я должен потратить тридцать лет, я должен долгие годы

учить грамоту, математику, историю, — и Толстого я могу изучить не тем, что прочту о нем, а только тогда, когда я прочту его самого, — и — сколько бы Толстых я ни прочел, сколько бы научных дисциплин я ни изучал, сколько бы ни проповедовали мне отцы, — я по-своему расшибу себе лоб, я по-своему полюблю и возненавижу, по-своему определю свое место под луной, создав свою философию моего места и моего назначения, — и я все должен накопить сначала — от дикаря, ничего не знающего, до Толстого и Платона, — ибо наследие предков, культура предков — биологическим путем передает культуру отцов — даже не промиллями, но мельче.

И тогда, когда материальная культура делает шаги по европейской сказке, сапогами-семиверстами, — культура духовная тянется черепахою. Разителен в этом отношении пример Америки: там колоссальная материальная культура, но культура духовная там еще в пеленках, никак не стала на ноги.— Черепаха духовной культуры японского народа заползла далеко.

Пойдите побродите по Европе, по Англии, Франции, Германии, Италии. Там трудно найти место, где бы история не закостенела развалинами замков, монастырей, соборов, разваленных дорог, кладбищами. Многие кладбища и храмы уже забыты, безымянны, давно мертвы, но они стоят, давят своими известняками. Про Европу, как про Англию, поистине можно сказать, что Европа, как Англия, вышед своею культурою из известняков Вестминстера, возвращается туда известняками и склерозами цивилизации. И над Англией, Францией, Германией, Италией в часы месс и вечерен отзванивают колокола похорон.— Материальная культура Европы — грандиозна, доведена до предела, перешла уже из живых организмов на кладбища и в храмы, — в храмах и на кладбищах уже и заводы и фабрики, перестающие дышать, — Европа консервируется, теряя молодость, осклероживая фабриками, замками и монастырями: — это культура материальная.— Духовная культура — уже столетье известно, что западная, она, не выше восточной.

И вот —Япония, страна, живущая под вулканами, страна, отказавшаяся от вещи, страна маленьких домиков, маленьких деревянных храмов: материальной культуры, так, как это понятие понимает экономика, а не гуманитарные науки, — материальной культуры у японского народа не было. Ни одного Вестминстера и собора Парижской Богоматери в Японии — нет. Теперешняя японская культура фабрик и заводов — не старше сорока лет, — а раньше заводов и фабрик в Японии — не было. У японского народа почти не было материальной культуры потому, что весь японский быт упирается в землетрясения, это землетрясения освободили японский народ от зависимости перед вещью и убрали вещь: психология народа выкинула ее из своего обихода волею неостывшей еще от вулканической деятельности земли. Японская материальная культура трансформировалась в японском народе в волю и в организованные нервы японского народа: и эта культура, духовная уже, культура волевого примата и организаванных нервов, крепка, выверена и сильна, как крепкая древняя культура, — жизнеспособнейшая культура «разумности», умеющая бороться даже с невзгодами вулканов.— Япония — страна островная, в своей истории она знает такие эпохи, как Токугава, когда Япония на два слишком века запиралась от всех остальных народов мира: это дало Японии чрезвычайно высоко напряженный национальный инстинкт, — столь острый инстинкт, что, несмотря на множество партий и на рабочий вопрос, все же кажется иной раз, что все партии в Японии — только фракции единой огромной партии в семьдесят миллионов человек, которая называется — Япония.

И еще одна предпосылка. Есть естественный закон: всегда, когда строят завод, его строят по последнему слову техники, — и не всегда, когда есть уже старый завод, пусть отстающий от должного уровня техники, есть возможность его перестроить, ибо издержки на его перестройку не покроют тех преимуществ, которые даст новый завод перед старым, — то обстоятельство, которое поставило очень многие отрасли производства Европы на колени перед Америкой.

И теперь я перехожу к выводам.

Я поставил себе вопрос:

— Какие это силы японского народа дали ему возможность, единственному народу на земном шаре небелой расы, стать великой державой, стать в ряд великих держав? —

И я отвечаю коротко:

— Вулканы. —

У Японии не было своей материальной культуры, — и была (и есть) старая, проверенная веками, духовная культура, — проверенная веками и вулканами, выправленная волей и нервами. Известняки и склероз материальной культуры не связывали рук японского народа (так, например, как они связали руки Китаю). Островная психика была (и есть) подчеркнуто-националистична, и она создала волю народа не бояться индивидуальной смерти. Мудрость старой духовной культуры и воля — нашли силы противостать европейцам. В те дни, когда пришла — пушками и товарами — Европа в Японию, в плане материальной культуры Японии не от чего было отказываться, — а дешевый труд и тот принцип, что новый завод всегда строят по последнему слову техники, — дали право японцам бороться с европейцами — бороться и вытеснить. — И решающим фактором в этой борьбе, конечно, была старая культура воли и нервов Японии, та культура, которая была рождена вулканами и которой не надо было перестраиваться на новый лад.

11. О геометрической формуле шара

...Неминуем в природе и в жизни людей тот закон, что все должно уравниваться. Взбушуются воды океана бурей, утихнет буря, — и волны лягут, вода сравняется, — и — поелику земной шар есть шар, омываемый со всех сторон водами океана, — сравняется вода в шар. Вулканическая деятельность земли накидала на землю горы, — идут века, выветриваются горы, размываются водами, перекапываются человеком, заполняются долины лесами и песками, — и — пройдут века, еще десятки веков, и будет земля ровна, как лысина почтенного анг-

личанина. — Все на этом свете уравнивается и идеальная геометрическая форма — есть шар, у которого нет никаких углов. Психическая и бытовая геометрия — всегда была, есть и будет построена на началах геометрии евклидовой.

Поистине, земной шар переживает сейчас эпоху окончательного узаконения геометрической формы шара. Ибо — не только пароходами, купцами, миссионерами, машинами и пушками, — но и знанием, знанием — окончательно изборожден земной шар. Ибо заборы и «великие стены» национальных культур рушатся под железным шагом знания, уравниваясь в знании и в труде, расплескиваясь через эти заборы, не считаясь даже с антропологией европейца, негра или японца. И вот задача — посмотреть, как, какими силами Япония разрушает старые свои заборы и каким уменьем сама перебирается через заборы иностранствий...

. . . .

Геометрическая форма шара — сердце японского народа в старом — ум в новом. — Пусть останется на совести тех, кто это утверждает, как хороший образ, утверждение, что японский народ надел на столетие маску. Армия, флот, фабрики, заводы, торговля — все это взято с Запада, и говорить о японских пушках, которых, к слову, я не видал, — это то же, что говорить о системах пушек английских, немецких, прочих. Медицину японцы целиком приняли европейскую, с немецкой фармацевтической записью, выкинув в ненадобность жень-шени и лю-и. А заводы — к величайшей обиде мистера Смита! — японцы строили так: они выписывали из Германии и Англии машины и инженеров, инженеры ставили машины и руководили ими; с инженерами заключали договоры на три, пять лет; эти лета проходили, приходил срок договору, — и в день срока англичанину или немцу у ворот завода очень вежливо предлагали зайти в контору; в конторе, на полу, за традиционным чаем дирекция благодарила инженера, — ворота завода были заперты для инженера навсегда: там на его месте стоял японец, тот самый, который в течение этих лет безмолвнейше исполнял все требования инженера и был у него на по-

бегушках; инженер навсегда покидал Японию, чтобы всячески ее ругать.

12. Театр и живопись — элементами формулы шара

Геометрическая формула шара слагается из ряда элементов, — а искусство всегда есть та «крыса», по которой моряки узнают, как тонет корабль: и в Японии, во всей Японии, существует только один европейский театр, Цукидзи театр Осанаи-сан[1].

Когда, вернувшись, уже в Москве, я показывал фотографии постановок Осанаи-сан Качалову и Лужскому, они, Лужский и Качалов, находили на этих фотографиях самих себя: потому что Осанаи-сан так ставил вещи Чехова и Горького, что взяты были не только декорации, но и мизансцены. Осанаи-сан переиграл почти все постановки Художественного театра, и в почтительнейшей рамке у него висит Станиславский. Осанаи-сан считает Художественный театр — лучшим в мире, — и работа Осанаи-сан в Японии равнозначна работе Мейерхольда в России: вот еще одно доказательство «наоборота», — ибо девяносто процентов театральной революции Мейерхольда — так же слепо, как Осанаи-сан, взято Мейерхольдом у восточного театра.

Театр Осанаи-сан — революционный в Японии театр, — а когда я пришел впервые на классический японский спектакль, я понял, что все это я видел у Мейерхольда: но об этом — потом.

Театр Осанаи-сан — единственный в Японии европейский театр, — и множество есть театров в Японии классической японской трагедии.

В Токио, на холме Кудан, при храме Ясукуни — я видел Но — те религиозные мистерии, которые суть прародители театрального действа, — а в Осака я был в кукольном театре, который также есть прародитель театра теперешнего.

На Но артисты играют в масках, в кукольном театре играют куклы величиною в человека, по сцене их двигают люди, — и до окончательнейших пределов до-

[1] См. глоссу XII.

ведена там условность театрального действа, когда зритель, отдавший в прихожей свои гэта, сидящий на полу, должен не видеть на сцене этих «никтошек», которые управляют куклами, и должен представлять, что это куклы говорят и поют голосом чревовещателя, сидящего в стороне с сямисэном.

Но и кукольный театр окончательно порос сединою: мне показывали на Но маски, которым пятьсот лет. Но вот в Эмбудзьо, в Кабукидза, в Тэйкоку (Империал) театрах, в классических японских театрах — у каждого театра есть свой храм, храмик, где курится сандаловая смолка и где хранятся священные реликвии театра, — а артист Утаэмон Накамура, знаменитейший артист, играющий женщин, восьмидесятилетний старик, — есть тринадцатый в роде артистической династии Утаэмонов; — и при мне однажды в театре вышел на сцену старейший из династии артистов, с ним вышел молодой артист, молодой стал на колени, и старик оповестил, что старший в роде молодого умер, этот молодой берет имя умершего и будет честно нести его до конца своих дней; — а около сцены выставляется плакат, на котором написаны имена актеров и благодарность зрителям, посетившим театр.

И кто знает, что вращающаяся сцена и «дорога цветов» (дорога цветов, в элементарном зачатии, имеется в России только у Мейерхольда, и ею пользовался Вахтангов в «Турандот»), — что вращающаяся сцена, дорога цветов и использование прожекторного света — взяты европейским театром — у восточного?! — причем у нас на сцене только один вращающийся круг, а в японском театре — два[1].

Женские роли в японском театре играют мужчины. Там, за кулисами, в уборных Утаэмон Накамура, Канья Морита, Байко Оноэ, Косиро Мацумото, Содзюро Савамура, — у знаменитейших японских артистов, — перед уборной надо снять башмаки, надо поклониться артистам в землю, — там, в уборных, — аскетическая чистота, монастырская простота, подушка перед зеркалом, на подушке артист, сбоку хибати, на столике письменные принадлежности (и Мацускуэ Оноэ, 84-летний

[1] См. глоссу XIII.

человек, который не мог мне при свидании подарить автографа, потому что у него дрожали руки, прислал мне потом — на память — иероглиф счастья, лучшую вещь, которую я вывез из Японии), — а с другой стороны от артиста стоит столик с гримом.

И вот законы грима: артисты гримируются так, что их грим похож на маски, грим остался от веков масок, и по гриму, по цвету лица, по тому, как подняты или опущены брови и углы рта, — зритель должен знать, какую роль — благородного человека или злодея, счастливого или несчастного, прочее — какую роль играет этот человек.

Пусть грим будет ступенью в мир театральных условностей, рожденных веками японского театра, — ибо, как грим, костюмы, декорации, свет, — все условно и, в этой условности, абсолютно строго учтено. И каждый жест актера, манера его поступи, его движения, его голос, — все — в своей условности — регламентировано, — и — какая вдруг красота возникает в этой окончательной условности, где ничто не неучтено, где каждый жест, каждая интонация голоса, все выверено так, чтобы нести свои капли в копилку красоты, — и как трудно после японского театра первый раз видеть европейский, где актеры слезли с катурн и ходят как им Бог на душу положит, — во мраке. Во мраке — потому что такого количества света, какой есть в японском театре, в этой стране, первой по электрификации в мире, — нет ни в одном русском театре, ибо на сцену в Японии бросается столько света, что там можно кинематографировать.

Я пришел в театр в два часа дня, и я уйду отсюда в десять вечера. Я погружаюсь в мир условностей, где восьмидесятилетний старик играет девушек, где пьесы даже современных авторов (Цубоути-сан — современного японского Шекспира, как его там называют) берут сюжеты из токугавской эпохи бытия самураев, где абсолютная сентиментальность и красивость.

На сцену в сопровождении «никтошек» — дорогою цветов — идет артист: он идет так, как обыкновенные люди не ходят; по тому, что лицо его мелово-бело, я знаю, что это несчастный герой; по тому, что он в белых одеждах, я знаю, что он благородный, неправильно гибнущий герой. Он идет дорогою цветов минут пятнад-

цать — вечность в театральном действе. Все глаза устремлены на него. Но вправо от сцены на помосте сидят три музыканта, они играют на сямисэнах, и один из них, голосом, идущим из желудка, никак не естественным, рассказывает историю этого героя. Он кончит рассказывать к тому моменту, когда герой пройдет дорогу цветов и придет на сцену.

Никтошки, провожающие героя, одеты в черное, они в масках, — их надо не видеть, — надо не видеть, как они поправляют костюм на герое, как они из маленького чайника дают ему промочить горло, — как они, к тому моменту, когда герой приходит на сцену, перетаскивают декорации. Их — не надо видеть, но я слежу за ними, чтобы уловить фокусы того, как они меняют на сцене, на глазах у зрителей, города и замки на морские берега и горные трущобы, как их волей плывут сампаны и движется целый остров, декорации на котором построены во всех трех измерениях, как они переодевают на сцене артистов, — я слежу за ними, за этими черными людьми в масках; черными своими халатами эти люди должны были бы разрушать красоту света и красок, — и я не успеваю проследить за ними, — в этой самурайской пьесе, — действие которой идет за сценой, о действии которой узнается из рассказа сямисэнщика, а на сцене видны только иллюстрации к этой длинной самурайской истории.

Злой даймио уничтожает весь род своего вассала, — это рассказывает сямисэнщик; но один из сыновей вассала тайно учится в народной школе, — и даймио посылает другого своего вассала убить этого мальчика; сямисэнщик рассказывает, что этот второй вассал поклялся убитому вассалу сохранить жизнь его сына; дорогою цветов идет вассал, посланный даймио на убийство: на сцене проходят — замок даймио, народная школа; сямисэнщик рассказывает, что в этой же школе учится и сын идущего убивать: на сцене, пока герой идет по дороге цветов, показано, как мать ласкает своего сына; все это кончается тем, что отец, чтобы сохранить, как он поклялся, жизнь сыну убитого вассала, вместо этого мальчика убивает своего сына; мать и отец тоскуют над головой сына, — всеми условными жестами и интонациями голоса отец передает страдание; сямисэнщик уже молчит, — и зрительный зал во

мраке рыдает, и я чувствую, что и у меня в носу щекочет от этой наивной мелодрамы.

Или: сямисэнщик рассказывает, а артисты иллюстрируют, как в грозу, в молнии, княгиня-мать потеряла сына; прошли годы, мать, в тоске и обеднев, сошла с ума; она ходила всюду, разыскивая сына, нищая старуха, и всюду рассказывала, как в грозу умер ее ребенок; сын же ее совсем не умер, он попал в буддийский монастырь, там рос и учился и стал первосвященником города Нара; и там старуха мать и сын-священник встретили друг друга, сын узнал мать, мать не узнала сына; — и опять в этот момент, когда сын и мать плакали друг около друга, — плакал и зрительный зал. На мой ум: только наивно, — на мой глаз: удивительно, прекрасно, потому что до Японии мне нигде не приходилось видеть такой продуманнейшей красивости, условности, доведенной до классики, рожденной Но, созданной династиями актеров, живущих с маленьким театральным храмиком.

. . . .

И вот для пропорции формулы шара: один европейский театр и десятки классических. Многие писатели, по моей анкете, никогда не ездили на лошадях, сразу с курума (рикша) пересев на автомобиль и электрическую дорогу. Приняв машинную Европу, нация японцев за последние семьдесят лет увеличилась в своем росте на два вершка, — нация, которая столетиями отсиживала ноги. И опять надо думать о «навыбороте» и о шуме гэта. Если национальный шум Японии — шум гэта, то национальный запах Японии — запах каракатицы, ибо из каракатицы делается тушь, а каракатица — и свежая и сушеная — продается в изобилии, и на мой нос каракатицей пахнут сандаловые курения. Исида-сан, с которым я познакомился в Японии и который теперь живет в России, впервые сюда приехав, — на мой вопрос, как он привык к русским кушаньям, — ответил:

— Спасибо, я привык, только, извините, я никак не могу привыкнуть к сметане.

Сметанного понятия в Японии нет.

Ну, а мы должны были привыкать жить совершенно без хлеба, есть каракатицу, маринованную редьку,

горькое варенье, сладкое соленье, ящериц, червей, ракушек, сырую рыбу, вяленую каракатицу, сливы в перце, десятки кушаний за обедом, в малюсеньких лакированных мисочках, есть двумя палочками, сидя на полу. И пищу, — искусство кухни, — тоже надо считать искусством.

Всякое искусство, — и искусство пищи, театра и живописи, — все это есть те монументы, которые возникают надстройками над бытием и, перешед в бытие, бытие утверждают. Мейерхольд — революционер западного театра, — Осанаи-сан — революционер восточного театра. Мейерхольд — весь в зависимости от восточного театра, — Осанаи-сан — весь в зависимости от западного театра, от Московского Художественного. Японские классические картины в Императорском Музее, написанные сотни лет назад, — есть то, к чему сейчас стремятся революционнейшие художники Запада и России, в частности, — есть последнее слово западно-европейского мастерства. А на выставке Национального Живописного Общества, где были выставлены полотна тридцати с лишком современных японских художников, — только у четырех-пяти — у Сахара, у Тамаки, у Такаяма, у Мураками — сохранилась старояпонская манера письма, — работы же остальных несут на себе следы голландцев, французов и даже англичан: достижения этих последних — есть тот канон, от которого на Западе теперь освобождаются — во имя классики японской живописи.

Но вот что существеннейшее: монументы возникают только тогда, когда фундаментом к монументам у нации есть материальные и духовные накопления. И работа Осанаи-сан и художника Кавасима-сан, их достижения стоят теперь на такой высоте, что Осанаи-сан был бы желанным режиссером в лучшем европейском театре, а картины Кавасима-сан я не удивился бы увидеть на выставках московского Мира Искусств и парижского Салона. Иными словами: молодое, европеизированное искусство теперешней Японии вырастает уже в монументы, — подпочва для его возрастания созрела в Японии[1].

---

[1] См. глоссу XIV.

ВНЕ ПЛАНА ИЗЛОЖЕНИЙ

1. Япония — европейцу

Европеец — американский гражданин мистер Смит или Райт из Шанхая — презирает Японию. Он говорит с величайшим презрением:

— Это черт знает что такое, каждый японец — обязательно идиот, а пять японцев вместе — такие жулики, что с ними ничего невозможно сделать, и они тебя вокруг пальца обведут. Это же не страна, а черт знает что такое.

Никак не разделяя мнения мистера Райта о Японии, тем не менее, я очень его понимаю. В общежительном отношении эта страна — европейцу неудобна. Зимой в этой стране холодно и сыро, летом в этой стране неимоверно жарко и — опять сыро, так сыро, что все пиджаки мистера Смита и его ботинки покрываются плесенью. Во всей Японии нельзя достать настоящего сливочного масла, ибо такового там нет, и невозможно получить настоящего хлеба, ибо как европейцы не разбираются в тридцати способах варения риса, так и японцы не имеют толкового понятия о качестве хлеба. Ветчину европеец должен есть в консервах, привезенную из Австралии. Квартиры, такой, чтобы не дуло с пола и из окон, невозможно в Японии найти, ибо, хотя там и строятся европейские коттеджи, все равно они строятся на японский лад, картонными фонариками, в которых все дрожит и отовсюду дует. Все европейцу в Японии дорого, ибо японский табак ему непривычен, а на английский — баснословные пошлины, ибо у европейца такие потребности, которых нет у десяти японцев, — ибо — даже в универсальных магазинах — две цены: для японцев и для иностранцев.

Но все это мелочи перед тем основным, что решает все, — перед тем, что в Японии *не уважают* европейца, белого человека. С ним совершенно вежливы и совершенно вежливо спрашивают на границе, кто у него бабушка, и неукоснительно просят развязать его чемоданы, — а затем в вагоне (он едет в первом классе,

по вагонам идет бой-сан из вагона-ресторана, раздавая билетики на обед) мистер Райт, негодуя, видит, что в вагоне-ресторане сначала перекормят всех японцев, даже третьеклассников, и только потом позовут его, первоклассника, — и накормят черт знает какою белибердою, подделанной под английскую кухню, — но и этой белиберды дадут такое количество, что мистер Райт поднимается из-за стола голодным, в горькой обиде от голода и от того, что его не уважают.

Мистер Смит остановится в Токио в Империаль-отель, иначе он «потеряет лицо», за номер он платит двадцать семь рублей в сутки, и ему отовсюду дует, и его не уважают, и кругом него стена вежливейших лиц, — не лиц, а масок, через которые мистер Смит ничего не видит.

Мистер Смит приехал заключить торговую сделку, и он ее заключит, — но непременно так, что он будет надут. Мистеру Райту вечером скучно, но в театр он не пойдет, ибо в тех местах, где японцы плачут, ему хочется спать, — в ресторан он не пойдет, ибо никаким рублем его не заставишь кушать каракатицу. Хорошую девушку, гейшу из чайного домика, которая любила бы мистера Райта и была бы страстной, мистер Райт достать не может — в этой, по его понятиям, развратной стране, — ибо хорошая японка не пожелает иметь интимных дел с европейцем, от которого — на нос японцев — кисло пахнет, а в Йошивару пойти — вся охота пропадет, как только он увидит, что там такая спокойная деловитость и институтственность, что даже выпить нельзя.

И мистер Смит раздумается о землетрясении, — а ночью, когда на самом деле будет маленькое землетрясение, он выскочит в коридор из своего номера мертвецки бледным, без подштанников и с туфлей в руках.—

И мистер Смит презирает Японию, ее камни, ее народ — чистосердечнейше, искреннейше, — и, если мистер Райт к тому же и писатель, он пишет тогда такие клеветнические книги, как «Кимоно» Джона Перриса, книги, интересные только тем, что в них можно проследить расовую ненависть европейца, англичанина к японцу.

— Это же черт знает что такое, — говорит мистер Райт, — это же муравьи, термиты, которых даже землетрясения не унимают!.. Это же, это же — —

— — и мистер Смит в страхе и недоумении склонен предаться метафизике! — —

2. Япония — мне: полиция

. . . .

...Я сразу открываю карты, потому что у меня нет ничего, кроме окончательного недоумения и ощущения окончательного идиотства перед японской полицией, — и ничего нет, кроме благодарности и уважения, и даже виновности — перед японской общественностью.

О полиции.

Писал уже, в японских театрах есть такие «никтошки», которых надо не видеть, но которых все видят и которые в своей невидимости — тоже — играют. Сами японцы своих секретных агентов называют «ину» — собаками. Так вот эти «никтошки-ину», никтошные собаки, — много мне крови испортили.—

Я начну с Китая, ибо Китай был мне увертюрой. На китайской границе у меня отобрали все книги чжан-дзо-линовские ину, взяли даже Флобера, Саламбо, издание 1897 года: большевистская зазара. В Харбине на моей лекции, когда я открыл рот, чтобы говорить, подошел ко мне китае-офицеро-полицейский чин и сказал, дословно, следующее:

— Гавари — нельзя. Мала-мала пой, мала-мала танцуй. Читай нельзя.

Я ничего не понял. Мне перевели: полиция запрещает мне говорить и читать, но разрешает танцевать и петь. — Звонили по властям, волновались, недоумевали, — некоторые советовали даже лекцию мою читать мне нараспев. Петь лекцию я отказался. Этакий добрый Китай: стоит, смущенно улыбается, вежливый, ничего не понимает и всем объясняет в сотый раз: «Гавари нельзя. Мала-мала пой». — Так и разошлись ни с чем.

...Удивительнейшая, прекраснейшая на глаз страна — Корея, Страна Утренней Ясности, как она называ-

ется по-корейски, пустынная страна гор, долин, голубого моря. В вагоне, кроме нас, ехали японские офицеры, синяя весна благословляла землю, — мы сидели в обсэрвешэнкар, в стеклянном вагоне, прицепленном к концу поезда для того, чтобы из окон его можно было обозревать красоты, поистине прекрасные. Мы сидели на терраске обсэрвешэнкар, грелись мартовским солнцем, любовались белыми одеждами корейцев, точно вся Корея — как некий средневековый, белоодеждый монастырь, — корейцы, высокие, стройные, в белых одеждах, трудились над рисовыми полями. В вагоне-ресторане бои подавали медленно, в этом солнце и тепле после голубых и отчаянных маньчжурских морозов. Впереди, к ночи, предстояли Фузан, Цусимский пролив, — наутро — Япония подлинная, Симоносэки.

Мои дела начались с Фузана. И тот момент, когда я шел за безмолвным носильщиком, мне в глаза вник и меня остановил низенький человек, в шляпе, в европейском пальто, сидящем на нем так же, как на мне сидело бы кимоно.

— Ви — русский, ви говорите по-русски, ви грамоцный? — спросил он меня сурово, по-русски.

— Да, я русский, — ответил я.

Тогда он стал вежливым, поклонился в пояс, зашипел и сказал:

— Ви — Бируняку-сан? Ви японский визит? Я ситар в газета.

Он разыграл, что случайно читал обо мне в газетах, поэтому знает.

— Ви — писи-писи? — ритерацура?!

— Да, литератор, пишу.

Чемоданы мои были где-то. Ину повел меня на пароход, он, видите ли, гуляет, и он очень любезен. Организованность у японцев прекрасная, мои чемоданы без меня уже лежали в моей каюте. И сейчас же за мною в мою каюту вошел ину, без всякого, конечно, спроса, сел, вынул листки бумаги и, — без всякой любезности, с катастрофически-идиотской скукой, с трудом, как если бы я иероглифами, — стал писать.

— Ви Бируняку-сан? ви грамотный? ви писи-писи ритерацура?

Допрашивал, как во всех на земном шаре участках. Объяснил, что он «полиценский», агент особых поручений при фузанском губернаторе, — и стал со мною разговаривать о том, о сем, ловить, не зная языка, расселся удобнее, собака. Я стал соображать, что он поплывет со мною в моей каюте до Симонэсеки, сказал ему:

— Вы бы ушли отсюда, здесь женщина едет, ей надо переодеться.

Когда японский никтошка не хочет отвечать, он делает вид, что не слышит и не понимает.

— Вы, что же, поедете со мною до Симонэсек?

— Нет, там вас другой полиценский встретит.

Мой ину ушел с парохода последним. С ним я встретился еще раз, возвращаясь из Японии, — он встретил меня, как старого знакомого, — он был гораздо живее, совсем хорошо говорил по-русски, беседовал о «ритерацуре», спросил:

— Как вам японская полиция?

Я ответил чистосердечно, что японская полиция произвела на меня впечатление идиотское. Он рассмеялся и сказал:

— Да, знаете, соверсенно собасья дозность!..

Цусимский пролив — прекрасен, и пароходы у японцев там ходят отличные, и в третьем классе на пароходах, сообщил мне мистер Смит, общая для мужчин и женщин купальня. Но мне было ни до красот, ни до качеств и фольклора. В Симонэсеках встретили меня — уже не один, а с полдюжины ину. В шипении и в отчаяннейшей, непреклоннейшей вежливости одни записывали имя моей бабушки, другие диктовали мне «Объявление», в коем «я, нижеподписавшийся», обязался не нарушать японских правил общественного порядка и не заниматься коммунистической пропагандой. Под надзором ину я ходил в сортирчик. Ину повел меня в ресторан. Ину взял мне билет. Несколько ину втолкнули меня в пустой вагон, где лежали мои чемоданы, — и рыться в вещах ину, шипя из уважения к вещам, могут гениальнейше, по способу Синоби.

Я был совершенно трезв, но я сам себе казался тем кинематографическим пьяным, который спасается от сорока полицейских. У меня не было ничего нелегаль-

ного, все документы у меня были в порядке, ехал я, в сущности, по приглашению японской общественности, по приглашению японских газет.

Меня обыскали, перерыли мои вещи, ко мне приставили конвой, — все мои действия и желания предупреждались ину, ину даже решил за меня, что я хочу есть. Со мной ехал т. Попов, председатель Масложирсиндиката, к нему тоже приставили ину, обыскали, только не брали «Объявления».

Мистер Смит, которого только обыскали и опросили, в нашу сторону не смотрел.

В ресторан ввалилось человек пятнадцать корреспондентов. Есть же интернациональное братство работников пера, — я взвыл от полиции перед ними, — и тут я впервые научился различать индивидуальность японских лиц по тому, как опускали в молчании свои головы корреспонденты. Корреспонденты-фотографы просили ину отойти.

У меня уже в мистику разрослись слова, с которыми ко мне обращались — по-русски — ину: «ви русский? — ви грамоцный? — ви писи-писи ритерацура?».

Ину посадили нас в поезд, — поезд понес нас в красоты Японии, в эту невероятную для глаза прелесть, в зеленые рощи, в созревающие апельсины и в такую глубь синих заливов моря и синего неба и синих гор, — что — передо мною сидел ину, ину дал мне свою визитную карточку «чиновник особых поручений при Симоссэкском губернаторе», ину пытал меня, фантастически арестованного человека.

Я был счастлив, что со мною не поехал Всеволод Иванов, ибо, зная Всеволода, мне было ясно, что Всеволод кончил бы эти дела мордобоем (и к слову, знающие люди мне говорили, что битье ину явление нормальное, общепринятое, ибо такой характер, как у Всеволода, имеется и у других). Я не понимал, что такое произошло, по какому поводу я арестован, — по наивности я спрашивал это у ину, они отмалчивались, не слыша. Через каждые два часа ину менялись. Так было до Токио.

В Токио мы приехали утром. Часа за два до Токио, еще раньше Иокогамы, в моем купе собралось такое большое количество японцев, что я вынужден был с

ними перейти в вагон-ресторан. Я ничего не понимал; теперь я знаю, что те, кто выехал вперед встретить меня, были подлинными моими и русской литературы друзьями, представители различных общественных организаций и газет, — пусть простят они меня: я тогда не понимал, кто полиция, кто не полиция. Представители общественных организаций мне сказали, что на вокзале мне организуется встреча...

Ну, и встречу же мне организовала полиция...

Впоследствии я узнал, что общественным организациям разрешено было меня встретить, но не разрешено было со мною говорить, — разрешено было встретить молча. И около нашего вагона выстроилась рота полиции, уже настоящей полиции, в форме, при пистолетах.

На меня набросились фотографы, заполыхал магний, от которого слепнут глаза. А в это время подходили люди, молча жали руки, передавали визитные карточки и отходили в сторону. Понять ничего возможности не было. Затем, по команде полиции, мы тронулись к выходу.

Тут уже поистине я потерял все: волю, понимание, вещи, друзей. Я ехал в одном автомобиле, вещи в другом, кто платил носильщикам, за автомобили — я до сих пор не знаю. В одной гостинице нам отказали, в другой тоже. В третьей, когда тащили мои чемоданы, я видел, как спешно в два соседних номера вселялись ину, а внизу у портье размещался наряд полиции. Видел, как репортеры воевали с этой полицией, чтобы проникнуть ко мне. Мне подсунули листок бумаги с вопросами о прабабушках, написанными по-английски. В волнении я стал писать по-русски, — заметив, хотел было начать снова: мне сказали, что в гостинице живет русский, сибирский, атаман Семенов, что он переведет.

Тут я взвыл окончательно, бросил мои чемоданы и побежал доставать автомобиль. Мой переводчик, который все время был спокоен и успокаивал меня тем, что так, как со мною, в Японии бывает со всеми уважаемыми иностранцами, — вытащил за шиворот от шофера ину. Я поехал в наше полпредство к полпреду Коппу. И перед Коппом я взмолился, чтобы он меня спас.

В этот же день я переехал на дипломатическую квартиру к секретарю полпредства Л. И. Вольфу. В этот же вечер японской полицией был занят особняк перед нашим домом, перед моим жильем, — и полиция выехала оттуда вместе со мною. В. Л. Копп писал в японское министерство иностранных дел: ему ответили оттуда, что полиция приставлена ко мне, — «чтобы со мной ничего не случилось, охранять меня от опасностей».

Мне объяснили, что полиции бояться нечего, ее можно даже бить, ину. Ольга Сергеевна вскоре привыкла к своему ину, звала его Петей, и он таскал из лавочек ее покупки. У меня же много раз болела голова от этих никтошек, которые считали себя вправе поступать иной раз так: — я сидел у приятеля, на улице шел дождь, был двенадцатый час ночи, — и в дверь постучали, — мой никтошка, сняв шляпу, в позе из европейской оперы обратился ко мне:

— Бируняку-сан, я обращаюсь к вашим человеческим чувствам, — на улице идет дождь, уже поздний час, — пожалуйста, ступайте домой, где я смогу передать вас другому полицейскому, а сам обсохнуть...

...И все же, почти ни разу я не существовал без полицейского надзора в Японии, круглые сутки ни на минуту меня не оставляли никтошки-ину: в городе, в полях, в горах; когда я летал из Токио в Осака на аэроплане, никтошки расстались со мною на аэродроме, проводив меня головами, задранными вверх, — и осакские никтошки в Осака первые встретили меня густою цепью. Ничего более идиотственного и нелепого, чем эти никтошки, я на своем веку не встречал, эти собачьи рожи, так и ждущие кирпича, — ничего более оскорбительного для Японии, как эти никтошки, в Японии я не встречал. — И — чем идиотственней были эти никтошки, собаками ходящие за мною, — тем большее уважение вызывают в моей памяти люди японской общественности, потому что всех японцев, приходивших ко мне, потому что каждого японца, приходившего ко мне, полиция записывала, — и каждого японца, уходящего от меня, допрашивала, допрашивала, никак не стесняясь меня, ибо, если я выходил с моими друзьями-японцами, все равно их сейчас же отзывали в

сторону, задерживали автомобиль и мотали их души. С рядом писателей я так и не мог встретиться, ибо полиция и к их домам приставила ину.

А около моего дома была лирическая картина; мой дом стоял на углу, в тесном переулочке, заросшем тенистыми деревьями, — и на другом углу был разобран забор, в заборных щелях, около хибати, грея руки и кипятя едово, сидели — очень мирно — ину; я выходил в палисадничек, смотрел на них, они кланялись и улыбались, очень вежливые. Бить их я ни разу не бил, хотя мне кое-кто и советовал.

3. Япония — мне: общественность

...И теперь — о японской общественности, встретившей меня. За час до Кобэ, по пути в Токио, ко мне пришли представители осакских газет, и на вокзале Осака меня фотографировали. За два часа до Токио мне пришлось переселиться из своего купе в вагон-ресторан, чтобы беседовать с людьми, встречавшими меня. На станции Токио — в безмолвии — я пережал десятки рук. И в этот день, несмотря на то, что я и полиция окончательно обалдели в погонях за гостиницами, — полиция в погоне за мною, я в бегах от полиции, — через полицейские заставы ко мне пришли Акита-сан, Сигэмори-сан, Канэда-сан, — они пришли от Нитирогейдзюцу-кьокай, от Японо-Русского Литературно-Художественного Общества, поздравить меня и пригласить к себе, — и Ольге Сергеевне они принесли цветы.

В эти дни во всех газетах была моя физиономия, и через полицейские заборы никли ко мне корреспонденты газет, — и в газетах едчайше издевались над полицией.

На второй день моего приезда я был уже сотрудником крупнейшей демократической японской газеты «Осака-Асахи-Симбун», газеты с полуторамиллионным тиражом, и затем сотрудником социалистического журнала «Кайдзо».

На аэроплане Асахи я летал над Японией.

Меня переприглашали все японские театры и художнические объединения. В театре Осанаи-сан я чувствовал себя таким же своим человеком, как за кулисами МХАТ 2, — а картину Эндо-сан, подаренную с выставки, я повесил в лучший мой угол.

Мое время взяло у меня Нитиро-гэйдзюцу-кьокай, посвятившее мне и моему приезду девятый номер своего журнала, — общество, по отношению к которому у меня нет ничего, кроме глубочайшей благодарности: оно, взяв мое время, распределило его так, чтобы я мог повидать так и такую Японию, которая европейцам не видна, — оно не побоялось полезть на рожны полиции, возило меня на Синсю, в Коганэи, устраивало банкеты, Сигэмори-сан и Канэда-сан постоянными были моими переводчиками.

Вот декларация Нитиро-гэйдзюцу:

«Россия после Октябрьской революции 1917 года показала себя во всей своей сущности, и новое творческое искусство ее привлекло к себе внимание всего мира.

«Само собою разумеется, что изучение этого нового искусства имеет огромное значение.

«В то время, как наши так называемые насадители культуры склонны с пренебрежением относиться к развитию современной жизни, наша молодежь из одного угла Дальнего Востока устремляет свой пытливый взор к новым течениям мысли всего мира, и немудрено, что она самым серьезным образом интересуется также и русским пореволюционным искусством.

«Как орган, который мог бы содействовать изучению этого искусства, нами было организовано Японо-Русское Литературно-Художественное Общество.

«Цель Общества заключается не только в устроении собраний, издании печатных трудов и организации лекций, но и в установлении непосредственных связей между литературным миром России и Японии путем командирования членов Общества в Россию и приглашения советских художников и литераторов в Японию. Однако для успешного осуществления этой цели, прежде всего, необходимы взаимное понимание и дружба. Только при таких условиях мы надеемся на возможность целесообразного изучения искусства обе-

их сторон и на вытекающее отсюда культурное сближение их. Культурное же сближение обоих народов, как мы в том глубоко уверены, принесет крупную пользу не только обеим странам, но и всему, вообще, миру

«Учредители Японо-Русского
Литературно-Художественного
Общества».

«Токио, марта 1925 г.»

Через это общество я познакомился с японскими писателями; через это общество я сдружился с Нобори-сан и Йонэкава-сан, двумя профессорами русской литературы, знатоками России, переводчиками, поделившими между собою всех наших классиков. Можно рассказывать о дне, проведенном в Васэдаском университете, о корпусах их аудиторий и гуде лабораторных мастерских, о коридорах библиотеки, о тишине университетского (по-английски) парка. Можно рассказывать о школе гейш. О ресторанах Гинзы. О профессорских кабинетах. О цветущих вишнях Коганэи.

Мне сейчас надо утвердить, что все, что выпало мне в Японии, я принимаю никак не на мой счет, а на счет нашей советской общественности, представителем которой я был там.

Не знаю, какими путями, но я имел приглашение на «гардэнпарти» к императору и министру иностранных дел: к императору не ходил, у министра был. Можно рассказывать десятки моих дней, застрявших в памяти и записной книжке, — о том, что у японцев, — в столицах и в уездах, и в деревнях, — обязательно есть очередная выставка, живописная, кустарная, электрическая, сельскохозяйственная, истории японского платья, карликовых деревьев, танки, — очередная выставка, которую надо посмотреть; о том, как после сливы отцветала вишня, и надо было смотреть гейш, новые постановки Осанаи-сан («Власть тьмы», в частности), надо слушать концерты Ямада-сан. Не память уже, а записная книжка на такое-то число подсказывала, что утром надо написать то-то, что в двенадцать придет художник, что после завтрака машина с Осэ-сан и издателями понесет

— сначала на японский обед, а потом в театр и после театра в Асакуса, — что завтра с утра надо ехать к писателям, провести день с ними в загородных рисовых полях, в горных тропинках, — погрузившись на этот день в тишину японских домиков, в Японию подлинную, непонятную, — чтобы в сумерки сидеть в кабинете Йонэкава-сан, философа и мудреца, сидеть в Японии — в русских книгах, собранных так же любовно, как собирали их подписчики «Книжного угла», в разговорах о культурах народов. Можно рассказать о старинной сиогунской столице Камакуре, о Дай Буцу там и об Острове Музыки, острове, который вечно шумит соснами в море... И все это через заборы собакообразных никтошек, — заборы, через которые я лазил в одинаковой мере столько же, сколько и профессор Йонэкава. — Все это: мне, как писателю новой России.

4. Япония — нам: общественность[1]

Теперь о том, что сделано японцами — для новой России, только в плане литературном. Я перелистываю книги, те, что лежат у меня в соседней комнате на столе, — только те, в коих сделаны пометки по-русски, ибо по-японски я могу читать только свою фамилию, — и эти книги совсем не все, переведенное и написанное в Японии.

Выписываю, — переведены отдельными книгами и в журналах:

Блок, Белый, Брюсов, Каменский, Мандельштам, Полетаев, Есенин, Эренбург, Обрадович, Дорогойченко, Колоколов, Орешин, Клюев, Князев, Маяковский, Пастернак, Владычина, Демьян Бедный, Рюрик Ивнев, Александровский, Герасимов, Кириллов, Мариенгоф, Хлебников, — все эти авторы собраны в антологии Осэ Кейси «Поэзия большевистских дней».

Переведена проза:

Вс. Иванова, Эренбурга, Зощенко, Яковлева, Федина, Замятина, Лунца, Буданцева, Касаткина, Лидина, Ляшко,

---

[1] См. глоссу XV.

Никитина, Новикова-Прибоя, Сейфуллиной, Соболя, Шагинян.

Переведена (переводчик Сэгимори-сан) «Литература и революция» Л. Д. Троцкого, отдельной книгой, — переведены статьи А. К. Воронского, Когана, Львова-Рогачевского,— переведена декларация ЛЕФ'а (и вышла одна книжка переводов Осэ в красной обложке ЛЕФ'а).

Над переводами работают: Нобори-сан, Йонэкава-сан, Ида-сан, — профессора, — Осэ-сан, Канэда-сан, Сигэмори-сан, Фудзи-сан, Авая-сан, — одну из моих книжек перевел Хираока-сан, дебютируя, как переводчик, этой книгой.

Театр Осанаи-сан издает свой журнал, посвященный главным образом русскому театру.

Симфоническое общество Ямада-сан издает журнал, так же много места уделяющий русской музыке.

Передо мной, сейчас, когда я пишу эти строки, лежат шесть томов профессора Нобори-Сьому (Сьому — псевдоним), — вот названия этих томов по порядку, названия, выписанные по-русски рукою Нобори-сана:

1. «Мое впечатление от Советской России». 2. «Театр и балет революционной эпохи». 3. «Утренний период новосоветской литературы» (в этой книге кроме общих статей даны характеристики следующих писателей: Вяч. Иванов, Брюсов, Кузьмин, Сухотин, Блок, Маяковский, Пастернак, Есенин, Мариенгоф, Эренбург, Федин, Вс. Иванов, Пильняк, Толстой). 4. «Первый сборник новосоветских искусств» (посвященный живописи). 5. «Второй сборник новосоветских искусств». 6. «Пролетарский театр, кино и музыка».

Японцами сделано гораздо больше нас для изучения нашего искусства, — гораздо больше даже того, что сделано нами для изучения японской культуры и японского быта. Когда японцы что-нибудь делают, они делают это очень упорно. Японская государственность заботливейше отгораживается от теперешней России всякими способами, и, в частности, книги, посылаемые почтою в Японию, даже заказною, туда не доходят: это тоже только на мельницу японской общественности.— Я, по приглашению, полученному че-

рез наше полпредство, был на выпускном акте Токийского Института Иностранных Языков, — там собрался дипломатический корпус посмотреть, как японская молодежь учит иностранные языки, — и перед нами прошли студенты, говорившие директору Института прощальные речи на русском, немецком, французском, испанском, португальском, китайском, индусском, малайском, английском языках. Юноши, которые окончили институт по русскому отделению, приехали уже в Россию и будут здесь совершенствоваться в языке и изучать Россию лет по восемь: и они будут знать Россию.

Я — тоже европеец, сын страны, чужой Японии. Я только что рассказал, как меня встретила Япония, — и о том, как Япония встречает Россию. То, что было со мною, слагается из ряда элементов и — выбрасывает ряд элементов. Япония приветствует и изучает — не только Россию, но и весь мир, в Институте Иностранных Языков изучаются малайский и турецкий языки, — но больше всего Япония следит за Америкой и Россией: у Америки она хочет взять машины, у нас она хочет взять духовную культуру.

И совершенно ясно, что машинною и духовною культурами интересуются разные слои общества: это и есть ключ к свирепствованию по отношению ко мне ину и к заботам обо мне японской общественности, — поэтому почта не пропускает наших книг, и эти книги все же переводятся.

Япония хочет знать не только эти наши дни, — но хочет знать, и добивается, и знает — последнее столетие нашей культуры (сколь ни парадоксально это звучит для меня!), — наши классики оказали очень большое влияние на японскую литературу и общественность.

У меня очень часто болела в Японии голова от нервного перенапряжения, от непонимания того, что со мною делалось, от насморков: я тоже европеец, сын чужой страны. И ину добились, конечно, многого: в укромных местах я сидел над записями и книгами, чтобы разобраться в этих укромностях, но я ни разу не исхитрился побывать в рабочих районах, на рабочих собра-

ниях, — однажды я побывал на фабрике и о том, как я поплатился, об этом я рассказал. И я ничего не знаю о том, как растут и складываются силы рабочих и буржуазии: этого я не видел.

В укромных местах я узнал, что два года тому назад на площади Терономон студент Намба, первый раз за всю историю Японии, стрелял в принца-регента, ведущего род свой от богини солнца Аматэрасу, — студент Намба, бросивший университет для рабочих казарм. Этого мира японская полиция не дала мне увидать[1].

Из того же, что я читал в укромных местах, я запомнил только несколько вещей, — о том, что на бумаготкацких фабриках все письма к ткачихам перлюстрируются, и фабрики так построены, что на них нет места, где, хотя бы на момент, человек мог быть наедине сам с собою, — за заводские же заборы ткачих не выпускают: если же они мрут, их трупы сжигаются и родителям в деревни дирекция посылает пряди их волос. И еще запомнил я песенку, которую поют рабочие шелкопряды и ткачи, — в этой песенке говорится о том, что:

Если можно назвать прядильщицу человеком,
то и телеграфный столб может расцвести.

Я читал роман Эгути-сан, — такие романы писались у нас в 1904 году: газетный работник ушел в подполье, в революцию, он связался со студенчеством, и он, и студенты его дружества, и его любовь — были очень одиноки, одинокий кружок, никак не сумевший связаться с рабочими, с действующими силами, — и по-пустому, в благороднейшей любви к абстракциям и боли, они пошли в тюремные бредни.— Фарфоровым чашкам телеграфного столба, конечно, трудно расцвести: но — всяко бывает!.. В императоров стреляют и в Японии... Последний закон о женском труде запрещает женщинам работать больше 12 часов.

---

[1] См. глоссу XVI.

5. Япония — миру[1]

...Ину добились, чтоб я много не видел. Экономические справочники и экономисты рассказывают следующее, статистически. Это следующее — кратчайше — сейчас изложу. Это следующее я поставил себе к тому, чтоб ответить на вопрос о том, какие силы дали японскому народу, единственному цветному народу, противостать против белого человека. — И это следующее показало удельный японский вес.

Причины, давшие Японии возможность капиталистически развиться:

1) наука и техника, готовая из Европы,

2) дешевый труд.

3) удачные Японо-Китайская и Японо-Русская войны,

4) жесткая таможенная политика (в связи с войнами) по отношению ввоза и протекционизм по отношению к национальной промышленности,

5) барыши Великой Войны.

Теперешнее состояние экономики:

1) отсутствие дальнейших ресурсов-объектов, к которым была бы применена американо-европейская техника (отсутствие неразработанных естественных богатств, — железнодорожное строительство выполнено на 100%, судостроение после войны, гиперболически развившись во время войны, пало,

2) протекционная промышленность развита до предела,

3) вздорожание труда, лишающее возможности конкурировать товарами по стоимости их производства,

4) заполнение рынков как внутренних, так и внешних (Китай, Дальний Восток).

Экономические перспективы Японии и ее начинания — единственны: дальнейшее расширение промышленности за счет улучшения техники. Но такая возможность ограничивается:

---

[1] См. глоссу XVII.

a) имеющимися уже странами с высококвалифицированной техникой и массовым производством,

b) отсутствием в Японии национальных естественных богатств-ресурсов (нефти, руд, каустики),

c) главный предмет экспорта — шелк-сырец — не имеет перспективы к дальнейшему развитию,

d) отсутствие возможности империалистического захвата рынков.

Главным конкурентом Японии на Дальнем Востоке являются Северные Штаты. Япония готовит плацдармы для войны с Америкой. Но Япония сидит под пятой американцев, ибо — единственное богатство Японии — шелк-сырец покупается только Америкой — 40% всего японского экспорта... Железо японцы — ввозят, вырабатывая ½% того, что вырабатывает САШ.

Кэнсэйкай, партия японской индустрии, верхушка госдеятелей, на последней парламентской сессии выдвигала программу — следующую: Япония должна понизить стоимость своего производства и улучшить качество продукции. Для этого надо — всей нации — понизить стоимость жизни, стоимость питания. Для этого придется разорять крестьянство, направив его в эмиграцию, в Корею, на Формозу, в Бразилию. Парламентом введено учреждение, нечто вроде нашего Наркомвнешторга, контролирующее экспорт, выдающее премии за качество. Японцы завязывают торговые сношения всюду, — проникают даже в Турцию, в честь чего в Токио строится мечеть. Но главный их рынок — Китай — сейчас похож на такие темные воды, в которых нельзя уже ловить даже рыбу, Япония везла в Китай текстиль и продукты малоценного и очень емкого рынка, — все это сейчас начинает делать китайская национальная буржуазия. А Японии надо строить пушки, дредноуты, крепости, ибо Япония собирается воевать с Америкой и потому, что Япония живет в местах, где сохранилось еще самое обыкновенное пиратство и — по-колониальному — все решается пушками как стоящими на земле, так и теми, которые палят с дредноутов.

Вторую страницу сейчас я пишу, стараясь быть экономистом, — и знаю, что, чтоб писать так, надо перестро-

ить все, написанное мною здесь, — и знаю, что — никогда ничего не надо делать с кондачка, не только в тех вопросах, где речь идет о государственной политике. И вот свидетельствую, что в Японии — очень многие дымят заводы, очень многие головы внимательнейше заняты вопросом, как жить этому нищему государству. Да, — н и щ е м у, — и потому, что они живут в шалашах, едят ракушек и одеты в бумажные тряпочки, и потому, что мистер Смит чистосердечнейше возмущается неумением японцев делать хорошие вещи, умением японцев делать только суррогаты всяких недоброкачественностей, — и потому, что их национальные данные, богатства и возможности, чему свидетелем приведенные выше выписи — нищи — —

— — и потому, как писал уже выше, что века мудрости японского народа приучили японцев отказаться от вещи, — приучили — и века мудрости и дожди, в которых все плесневеет, и вулканы, — когда японцы, вместо каустики, рентою имеют организованные нервы, нервы, организованные в волю.

Уезжая из Японии, — от Японии до России я проделал такой путь:

Токио — Кобэ — Симонэсеки — Фузан — Мукден — Дайрэн (бывший Дальний, около Порт-Артура) — Тяньцзин (морем) — Пекин — Ханькоу — Нанкин (пароходом по Янзы-Цзян) — Шанхай — Владивосток (морем).

Так вот, в первый раз после Токио, проехав всякими путями через весь Китай, — впервые я показал паспорт и развязал чемоданы по требованию начальства — во Владивостоке, ибо только для Владивостока было неавторитетно, что я еду из Японии.

Да, весь Китай прошит японцами. Нечего говорить о Трех Северных провинциях, где сидит Чжан-Цзо-Лин: это колонии японцев без всяких фиговых листочков. Когда я ехал в Японию, меня распоясывали на каждом перекрестке, — когда я катился с японских гор и от японских ину, меня уже никто не трогал. — Япония! — на Востоке звучит страшно. И по всему Китаю, сшивая его нервами железных дорог, банков,

торговых контор, фабрик, концессий — сидят японцы. Известна ненависть китайцев по отношению к японцам, — но, тем не менее, в писательских, в профессорских, в читательских китайских кругах — японская общественность, японская литература, японское искусство, японские книги и журналы, японский язык — занимают такое же место, как у нас в России у интеллигенции все французское. Пекинская и шанхайская профессура знала мое имя не по европейским и русским источникам, а по японским, показывая мне журналы, где было написано обо мне или мое было переведено. — И оттуда, из Китая, мне было совершенно ясно видно, что нищая Япония — очень сильна, потому что не только пароходами, опутавшими весь Дальний Восток и захватившими крупнейшие европейские и американские рейсы, не только фабриками, но и книгами и паспортами (которых не требуется) они популярны, очень популярны и сильны на Дальнем Востоке.

Я закрываю глаза и восстанавливаю образ индустриальной Японии, «европейской», колонизаторской Японии: я вижу первомайские токийские манифестации рабочих, слышу поступь рабочих союзов в красных и белых плакатах; — я вижу этих маленьких людей, имеющих — на глаз европейца — одно лицо; — я слышу гуды пароходов, фабрик, заводов, паровозов; — я обоняю каракатический запах туши в банкирских и заводских конторах; — мне кажется, я вижу голые нервы; — я слышу вопли студента Намба в тюремном застенке, студента, стрелявшего в принца-регента; — я слышу шум гэта; — я слышу одиночество идущих в океанах пароходов, громыхи пушек на маневрах, шелест иен в кассах и на прилавках; — мне страшно представить японского солдата, который, по японскому принципу «наоборотности», бежит в атаку хохоча, похожий на японских чертоподобных богов; — страна маленьких черных людей, крепких, как муравьи, эта страна живет очень крепко, очень упорно — тем, чем живет всякая капиталистическая страна, — и как в каждой капиталистически-феодальной, империалистической, колонизаторской стране, слыш-

ны хряски рабочих мышц, сип машин и: видны зори революций, — слышны кряки феодальных осыпей, шепоты преданий старых замков.— Я слышу твердую поступь рабочих армий и понимаю, что мои ину — так же уйдут в легенды, как в легенды ушел камакурский Дай-Буцу и остров Миадзима, тот остров, где никто не родился и не умирал и о котором можно прочесть у Бласко Ибаньеса, — и я слышу шум организованных нервов...

6. Письма как иллюстрации формул

. . . .

Вот отрывки из моих писем, которые я писал друзьям из Японии: — —

«...ты спрашиваешь, как я себя чувствую в Японии, — кроме того, что все кругом меня таинственно и чудесно, что каждый новый день несет мне новые невероятности, которые я осмысливаю величайшими головными болями, — кроме всего этого, слагающегося из вещей, лежащих перед моими глазами, — мои ощущения, мое состояние в этой таинственной стране определяется еще тем, что я оказался глухонемым и безграмотным человеком.

«Поистине я безграмотен. Я не могу написать письма и надписать адреса на конверте. Я не могу прочитать ни одной вывески, даже названья улиц, — и, стало быть, я не умею написать даже адреса того дома и той улицы, где я живу, т. е. я не знаю, где я живу. Нечего говорить о газетах, где даже статьи обо мне я воспринимаю, как дикарь, тем, что там напечатана моя фотография. Но у безграмотного, и у меня в частности, развиваются свои способы ориентации. Я, как волк в лесу, хожу улицами не по печатным приметам, а по приметам домов, световых реклам, перекрестков. — Но я к тому же и глухонем, ибо я не могу сказать ни одного слова и ни слова не понимаю, что говорят мне. На улицах я вынужден говорить знаками, как говорило человечество десятки тысяч лет тому назад, — но и тут меня преследуют всяческие трудности, ибо мой европейский жест японцы понимают

как раз наоборот: я говорю жестом, — «поди сюда!» — и человек уходит от меня.

«Все же я преборюваю улицы и прочие расстояния. Не надо много фантазии, чтобы представить, каких трудов все это стоит, когда язык и грамоту я должен заменить глазами и когда до смысла вещей я перелезаю через заборы переводов. Мне иногда начинает казаться, что мои глаза заболевают. И очень часто к вечеру мой мозг оказывается изжеванным, как тряпка, которая перестиралась сто раз...— —»

И вот второй отрывок:

«...я поехал в Японию не только потому, что я хочу рассказать о Японии в России, и не только потому, что в Японии я хотел рассказать о России. Основная цель моей жизни — писательство, — формование тех эмоций и образов, которые прошли через мое сердце и через мой ум, — формование их в рассказах и повестях, — формование по тем принципам, что искусство, как все прекрасное, вечно присуще человеку, — и писатель над бытом и временем, прорываясь через них, должен стремиться к тому, чтобы его творения жили не только сегодняшний день. — И я должен сказать, что это мое путешествие в Японию, вне зависимости от тех знаний, которые я приобрету знанием Японии, — дало мне огромный короб таких эмоций и переживаний, какие не сможет дать ни один университет ни сотня прочитанных умнейших книг.

«И ничто не выветрит из моей писательской кухни твердого утверждения и знания, что ничто не статутно на этом шаре земли, где живу я и человеческие цивилизации, — что жизнь земного шара и очень дряхла, если есть такие старые, тысячелетние культуры, как восточная и европейская, такие, которые тысячелетия жили, не зная друг о друге, — и — что жизнь людей земного шара — очень молода, ибо еще так много надо сделать человечеству, чтобы человек Москвы понял человека Токио и чтобы эти двое поняли человека с реки Конго. Ибо — только в Японии я окончательно почуял и понял тот великий путь, то новое переселение народов, правд и верований, в которые пошли народы и правды в эти столетья, когда весь земной шар отправился сливаться

общностью знаний и общностью культур, осуществляя геометрическую формулу шара — —».

Выписей из писем — достаточно. Из всех стран, изборожденных мною, Япония больше всех сохранила свои национальные черты, — и больше очень и очень многих стран, виденных и знаемых мною, Япония готова выйти из-за заборов национальной своей культуры на большую дорогу — культуры не национальной, а человеческой, земного шара. Я был в Институте иностранных языков, это только пример. И только пример, что все японцы ходят в кимоно и в кимоно читают газеты. Двести тридцать лет тому назад, при Петре Первом, когда Россия принимала Запад, первое, что она приняла, это были — платье, манера держаться в обществе: национальная одежда в России совсем исчезла и, если она где-либо сохранилась, она указывает, что туда никакая культура не заглядывала. И того, что случилось со мною, когда я в Японии оказался глухонемым и безграмотным, с японцами — не случается: японский писатель Акита-сан собирается в Россию, и он сейчас изучает русский язык, — если японец поедет в Россию, он будет знать русский язык. Люди земного шара идут по пути слияния общечеловеческих знаний и обобществления культур: рабочая Япония всячески готовится к этой дороге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Япония с аэроплана

На рассвете меня разбудил студент Попов, мои ину сидели уже в автомобиле, и по пустым улицам автомобили понесли нас в редакцию Токио-Асахи. В редакции спал на столе в кимоно сотрудник, говорящий по-русски. Моих собак собралось внизу штук уже десять, шоферы в гараже разводили автомобили. В тишине, которая казалась древней, шествовало утро, смоченное росой. Разместились в автомобилях, два ину, делая вид никтошек, влезли на автомобиль, сели на сиденья передо мною, — и узкими улочками, тенистыми дорогами, рисовыми полями, деревушками — мы поехали на аэродром, за сорок километров от Токио. Фудзи-сан предстал перед нами еще с автомобиля, розовая в солнце снеговая пирамида, опоясанная облаком.

...Я схожу с автомобиля, иду к аэродрому, роса садится на ботинки. На старте стоят два самолета. Один из них унесет меня в воздух, — на нем я полечу над Фудзи-сан, над морем, над японскими горами. С другого будут фотографировать меня для газет в воздухе. Я здороваюсь с человеком — пилотом Осима-сан, — с человеком, которого я вижу первый раз и, должно быть, последний, — который унесет меня в воздушные стихии.

Самолет — двухместный биплан. В войну 1914—1918 годов такие аэропланы несли военные задачи в качестве истребителей. Самолет — рабочий, немолодой, такой, который давно стал уже возчиком газетных корреспонденций Асахи-Симбун из Токио в Осака. И я лечу на нем из Токио в Осака вместе с газетной почтой.

Начальник аэродрома отдает мне свои кожаные штаны, я надеваю два пальто, шлем, креплю над моими очками очки-консервы. Каждые сто метров ввысь теряют температуру на один градус, — и там, в высоте двух тысяч метров над землей, я буду в страшном ветре и морозе, в зиме. Мое место — место наблюдателя — открыто всем ветрам. Фотограф стреляет в меня аппа-

ратом в тот момент, когда я влезаю в кожу штанов, завязывая их над пиджаком под мышками. Я лезу в свою кабину. Ремнем я привязываю себя к скамеечке. Я осматриваюсь в новом моем жилище, в том, где я проживу Японию в полете. Тросики хвостового оперения, руля глубины, ответственнейшего рычага управления самолетом, — открыты, идут около моих колен: — я знаю: — если в воздухе я коснусь их, порву их, помну, — машина не управляема, нам останется только камнем лететь вниз. И я соображаю, что двигаться мне — нельзя: это совсем не то, что барином лететь в «юнкерсе» или многоместном Фоккере. Под ногами у меня отверстие, такое, в которое я буду с воздуха видеть то, что будет у меня под ногами. Пилот садится в свою кабину.

Мне говорят, что второй самолет поднимется в воздух следом за нами: когда тот самолет будет около нас и мне махнут рукою, я должен подняться из кабины, чтобы меня было виднее, ибо меня будут фотографировать в воздухе. — Механик разворачивал пропеллер.

Я вижу только голову пилота: черным покойным глазом, птичьим глазом, он взглядывает на меня, спрашивая — готов ли. — Я отвечаю ему улыбкой. Мои собаки стоят кругом, смотрят, вытянув носы.

Мы бежим по аэродрому. Земля рвется из-под нас. И вот земля качнулась под нами. Мы в воздухе. Я вижу, как земля стала на бок, как аэродром поплыл вниз. Пропеллер ревет. Ветер бьет в лицо и плечи. Люди, стремительно уменьшающиеся, машут нам с земли. Мои ину задрали головы и тоже машут руками. Я тоже хочу помахать руками, машу, — и ветер хочет оторвать мою руку. Но вот рядом с нами возникает новый рев, я гляжу: в десяти саженях от нас налево я вижу другой самолет. Мне машут оттуда. Я отдаю честь. И с того самолета стреляют в меня фотографическими пленками. Все это длится несколько секунд, потому что минуты в воздухе равны часам земли: не только потому, что в минуту самолет проходит почти столько же, сколько человек в час пешком, — но и потому, что в стихиях воздуха нервы напряжены сто крат

крепче, чем на земле. Мы кланяемся друг другу, — и соседний самолет ласточкой оборачивается назад.

Я один. Я один, потому что за воем пропеллера ничего не слышно. Я один, потому что тому человеку, который сидит впереди меня, даже если бы и мог крикнуть, я ничего не могу сказать, ибо он не знает моего языка, а я не знаю его. Птичий его покойный глаз взглядывает на меня, я улыбаюсь ему. Я один со стихиями. Широчайший простор моря и гор под нами, — и только Фудзи-сан рядом с нами.

. . . .

Я один со стихиями. Каждая минута полета равна часам земли. У меня бесконечное количество часов, чтобы думать.— Я знаю упоение полета,— упоение стихиями, упоение борьбы со стихиями, с неподчиняемым, с непознанным. Для меня полет — неизъяснимейшее наслаждение, такое, которое так трудно передать словами. Пропеллер рвет воздух. Мимо нас, мимо моего лица, рвется и орет ветер, стихия, которую мы покоряем. Земля там внизу, — земля долин, похожая на шахматные доски, и земля гор, точно горы кто-то просыпал с неба, — земля там внизу живет своею жизнью. Домики кажутся спичечными коробочками, — города — географическими картами, — горы — теми горушками, которые строятся в луна-парках. Когда с большой высоты на самолете идешь быстро вниз, — звенит в ушах, чувствуешь, как по жилам, густея, бежит кровь, чуть-чуть мутит: стало быть, чем выше идешь в беспредельности, тем спокойнее кровь, нет никакого звона и есть неизъяснимое наслаждение полета.

Я — один. Мы — аэроплан, пилот и я, — мы одни в стихиях. Земли и горы там внизу — не в счет. Мы не можем даже сесть на землю, ибо там в горах нет такого места, где могли бы мы сесть, не разбившись. И вот тут в этих стихиях рядом с нами — по-прежнему величественный, в снегах, в спокойствии, прекраснейший Фудзи-сан. Только с неба я увидел, как величественен он, в белом спокойствии снегов величествующий над всем остальным, опоясанный облаками, скрывший свою вершину от людей с земли и видный только нам, летящим в небе.

Я один. С детства у меня есть поклонение перед человеческим гением, перед человеческим трудом и умом, перед тем величественным в человеке, что дает ему право покорять стихии, побеждать стихии, подчинять их себе. Самолет — величественнейшее, прекраснейшее изобретение человеческого труда и ума. Здесь, в стихиях воздуха, нас двое: пилот и я. Сегодня я увидел его впервые, — должно быть, я больше никогда не встречу его. Я ничего не знаю о нем и ничего не могу сказать ему. И, все же, я знаю, что пилот Осима-сан — здесь в стихиях воздуха — мне брат, в том братстве, когда человек человеку брат потому, что оба они человеки. Около меня проходят тросики руля глубины: стоит неловко мне задеть их, и мы полетим вниз, в лепешки сырого человеческого мяса — или печеного, если от трения с воздухом вспыхнет самолет. Стоит зазеваться пилоту, неправильно нажать руль, — и мы полетим вниз, в смерть. Наши жизни связаны опасностью смерти — или здравием жизни — и мы — братья, связанные жизнью. Наши головы на плечах, — и пилот поглядывает на меня птичьим глазом, я отвечаю ему улыбкой. И я покоен, ибо впереди меня сидит брат-человек, несущий меня по воздуху.

И так я думаю не только об этом нашем полете: в том полете земного шара, в тех его путях, которыми мы живем сейчас, не только Осима-сан и я — братья в праве на жизнь, но именно в этом праве должны братствовать и народы: — по воздуху нас несет самолет, наши жизни связаны самолетом, — мы летим по воздуху волей человеческого гения, подчинившего стихии машине. И здесь, около Фудзи-сан, я думаю о человеческом гении и труде: это такое поле для размышлений, где нету конца, ибо человеческий гений, облеченный в труд и машину, не знает конца, побеждающего мир...

...Облака заволакивают землю. Мы летим над облаками. На моменты земля исчезает внизу, закутанная облаками. И вот момент, который я запомню навсегда как прекраснейшее из того, что я видел — — земли под нами — нет, там облака, мы над облаками, над нами синее небо и бесконечный, прекрасный свет, — и —

кроме нас — над облаками — Фудзи-сан: мы и Фудзи-сан — над облаками, над землей — извечный, таинственный, метафизический для японцев Фудзи-сан и мы, залетевшие за Фудзи-сан волею человеческого гения. Таинственные, непознанные силы природы, мистически олицетворяемые японским народом в образе Фудзи-сан, и человеческий гений труда — встретились, побратались красотою за облаками.

. . . .

Есть упоение в полете!..

Мы вылетели в восемь часов пятьдесят минут. Мы вылетели золотым утром, в солнце и сини далей. Бегут минуты, которые здесь в высоте кажутся часами. Ветер свистит, воет, рвет. Фудзи уже позади. Мы летим над долиной, идущей от Фудзи к бухте Суруга, к сини моря. И вдруг наш самолет становится на бок. Мы скользим на крыло вниз. Ветер воет над головой и звенит в ушах. Но мы уже кинуты ветром вверх, встаем на дыбы. Сердце в неизъяснимом блаженстве. И опять земля стала к нами боком, боком мы летим над землей, небо слилось вдали у горизонта с морем, — и за небо нам стали море и горизонт. Земля поправила под нами свое положение. Ветер рвет, воет, мешает дышать: ветер швыряет, бросает, кидает самолет — вверх, вниз, направо, налево. Ремень на моем животе то делается в вес моего тела, то тело невесомо, то давит оно на сиденье, точно хочет его продавить. Я понимаю: мы попадали в так называемые воздушные ямы, в полосу разнобойных воздушных течений. Я понимаю, почему пилот уходит все ввысь и ввысь: там меньше опасности, если самолет будет опрокинут ветром, — нам сейчас опасна только земля: если мы заденем за нее как-нибудь неловко, не успев выправить положения, — тогда — смерть. — Можно подумать, что самолет ожил, сердится, хочет нас сбросить с себя, — и я крепко держусь, чтобы не вылететь и — чтобы не задеть за те тросики, которые таят в себе смерть. Мы в огромной высоте над землею, и холод бежит по лопаткам, леденит руки. — Опять стихии ветра кидаются нами, я крепче сжимаю мышцы, чтобы не вылететь, — и я вижу покойный птичий глаз пилота.

Мы вылетели золотым утром широких далей. Я смотрю кругом. Далей уже нет. Не только море, которое слилось с небом, но и земля ушла в синюю мглу, слила с небом свои горизонты. Мы летим над морем — над Великим, Тихим океаном. Океан под нами, — и глаз обманывает, точно небо обернулось вокруг нас: небо внизу, небо слева, небо над нами, — и только справа небольшой кусок земли, гористый там, куда достигает глаз, и похожий на тучи там, где глаз теряется во мгле. Мы идем выше и выше. Вот мы пролетаем сквозь сырость облаков, рвемся через облака: эти вечные странники — тут, рядом, окутывают своею холодной сыростью. Самолет рвется через них. Мы над облаками. Земля прорывается внизу так же, как небо, когда смотришь на него в облачный день с земли.— Это тут, в этом месте, я попрощался с Фудзи-сан, поклонившись его красоте. — Ветер рвет, ветер кидается облаками и самолетом. Земли не видно. Я судорожно, в морозе, сжимаю руки. Мы вырываемся из-за облаков: и невероятное зрелище я вижу на земле, такое, которое кажется олицетворением Японии. Под нами идут тучи, тучи льют дождями, — и земля под тучами: она черна, она зловеща, черная в черных тенях облаков, — страшная, злобная земля, изорванная горами и долинами, разметанная камнями, лысыми вершинами, полыхающая в свинцовых тучах молниями, злобная, страшная земля, похожая на чертоподобных японских богов. Мы летим в лохмотьях дождевой тучи. Ветер и тучи кидают самолет без всякого толка. И опять можно думать о непонятности Японии для европейца, о тех двух силах, которые сохранили в Японии чертоподобных идолов и — кинули наш самолет за облака... но — думать уже трудно — —

. . . .

Мышцы немеют от холода и напряжения. Самолет уже беспрестанно мечется ветром. Мне на земле сказали, что мы пролетим два — два с половиною часа. Я слежу за временем: мы летим уже два с половиною часа. Я вынимаю карту, сверяю те затуманенные тучами и облаками клочки земли, которые видны, с кар-

тою, — и ничего не понимаю: кажется, мы сделали только полдороги, если залив под нами есть бухта Исэ, — или — это уже бухта Осака, — но самолет от моря сворачивает на землю. Я ничего не понимаю. Я прячу в карман часы и карту, чтобы вновь неметь от оцепенения в новом шторме воздушных волн.

Опять я смотрю на часы. Мы летим уже три часа двадцать минут. Я ничего не понимаю. Я вижу: мы летим к горному перевалу. По вершинам гор идут облака. Чтобы перелететь через эти горы, надо подняться над облаками, ибо в тучах лететь невозможно, ибо в тучах с разлету можно налететь на горы. Тучи и облака стали сплошною стеною вокруг нас.

И — вот последнее величественнейшее ощущение — там, за тучами. Вопреки всем моим понятиям об авиации, самолет стал, повиснул в тучах. Я понимал, что лететь — некуда, ибо полет в облаках все равно, что полет с завязанными глазами, — но как пилот сделал, чтобы самолет остановился, — я понял только потом, когда мне объяснили, что пилот повиснул в воздухе штопором и что — тогда — мы были в гибели. Пропеллер ревел, выл мчащийся ветер. Но тучи стояли неподвижно, — они летели, как прежде, стремглав мимо нас, — они только потихоньку, медленно ползли вниз. Я понимал, что творится нечто невероятное, — и природа, должно быть, поняла это же, ибо самолет перестал болтаться. Груды облаков щемили нас. Я посмотрел на часы: мы летели четыре часа. Я убрал часы, чтобы больше уже не смотреть на них, и мне очень хотелось закурить. Я понимал, что мы только в руках природы, госпожи стихии, сколько бы мы ни стояли на месте: бензин ведь пределен, и если тучи не разойдутся, все же вынуждены мы будем идти — и вперед и вниз.

И вдруг: качнулись тучи, раздвинулись две громады облаков, — и в щели между ними стала видна золотая в солнце земля, — и камнем стремительно кинулись мы в эту щель, к земле, за горный перевал.

Через четверть часа была Осака. Птичий глаз пилота улыбнулся мне, я ответно улыбнулся ему. Пилот рукою указал вперед: в синей мгле в долине я увидел

город. Горный хребет был позади. Мы пролетели над замком и сели на аэродром.

Окоченевший, с истомленными мышцами, под выстрелы фотографа и в руки осакским шпикам, веселейше я вылез из кабины. И первое, что я спросил через переводчика, обращаясь к пилоту, было:

— Какою надо считать сегодняшнюю погоду?

Пилот ответил мне:

— Мы попали в воздушную бурю!

. . . .

Я знаю, что пилот Осима-сан, с которым я никогда больше не увижусь, — есть — мой брат, с которым мы вместе крестились правом на жизнь. Я знаю: та машина, на которой мы летели, несовершенна, маломощна, — но, во-первых, эта машина вошла в будничный обиход, она перевозит почту газеты Асахи, служилая, как любой экипаж, — и, во-вторых, пусть она маломощна, с братом Осимою я полечу куда угодно, хотя я и не утерял, как он, инстинкта боязни индивидуальной смерти. И с образом Осима-сан у меня связывается образ всей Японии, о котором я писал в «шуме гэта».

2. Япония до японии, корень солнца

Иероглиф Японии — Страны Восходящего Солнца — есть Корень Солнца. Япония — есть Корень Солнца.

Британия несет свое имя от бриттов, живших когда-то на острове Британия. Имя Франции произошло от франков. Моя родина, Россия, ныне утерянное свое имя несла от норвежского племени русь. Япония имя свое несет от солнца, Страна Восходящего Солнца. Корень Солнца! — Я поехал в эту страну корней, чтобы увидеть эти корни и чтобы увидеть тот народ, который живет у этих корней.

Та страна, которая назвала себя Корнем Солнца, лежит на востоке от Москвы в одиннадцати тысячах километров, — те зеленые острова, которые до сих пор не приняли окончательной формы и дышат вулканами в

судорогах землетрясений. Каждые сутки моего пути из Москвы в Японию были не в двадцать четыре, а в двадцать три часа. Астрономы знают, что так получалось благодаря вращению земли: мне казалось возможным острить, что сутки сокращаются не механикой астрономии, а тем, что я еду к корню солнца.

Есть такое утверждение, что человеческие культуры в своих путях переходят в цивилизации, — что, подобно биологическим организмам, организмы человеческих культур, рождаясь, молодеют, мужествуют и затем умирают. Это утверждение говорит, что земной шар сейчас переживает эпоху заката, эпоху умирания европейской культуры, осклерозившейся цивилизацией. Диалектический марксизм не любит пестрых слов, и он подтвердит это будничной статистикой. Прогноз величайших катаклизмов строится никак не на идеалистических теориях, — но на реальнейшем соотношении экономических сил, на той скучной науке, которая называется экономикой и которая черным по белому указывает на многие страшные для Европы вещи, например, на то, что центр капиталистической культуры и мощи покинул Европу, — пока поселился в Америке, — неизвестно, где и при каких условиях окажется через двадцать лет, — но известно, что в Европу при нынешних делах не вернется, и Европа, как завод без сырья и сбыта фабрикатов, задыхается. Эти годы — двадцать второй, двадцать третий, двадцать пятый — я бродил по Европе. Я ходил по ней и по горизонталям ее — от Лондона до Берлина, от Берлина до Афин, Яффы и Константинополя, — и по вертикалям — от крестьянских и рабочих домиков до кабинетов парламентских и министерских деятелей, до кабинетов европейских писателей и ученых, — и я знаю, что в Европе неблагополучно. Неблагополучно потому, что не дымят заводы и падают всяческие франки, потому, что тысячи голодающих безработных толпятся около профессиональных контор. Неблагополучно потому, что Запад замирает не только заводами, но и еще некиим, что трудно передать словами: тем, что европейские индивидуальности стали походить на их соборы, построенные из

известняка, тем, что во всяческие тупики залезает европейская духовная культура, вырождаются литература, театр, музыка, — тем, что Запад казался мне все время огромным ледником, древним ледником столетий, изпод которого человеческие индивидуальности, еще не осклерозившиеся, рекою бегут в революции, а ручейками — в Америку, в Аргентину, в Индию, в Китай. Мне это было особенно видно, потому что я есмь сын страны, которая исторически не есть ни Европа ни Азия, — отъезжее поле, воспринявшее в себе и европейскую и азиатскую культуры.

И известняки Европы обратили мои глаза на Восток.

И мой взор остановился на Японии, на корне солнца, ибо большою задачей казалось мне увидать то н о в о е солнце, которое поднимается с Японии, с этой единственной не порабощенной белым человеком цветной нации, живущей на вулканах...

Впрочем, надо подробно.

Япония — племянница ассирийской и египетской цивилизаций. Осенью девятьсот двадцать пятого года я бродил там, в развалинах Анатолии и Палестины. Там только камень да пыль, да солнце, сжигающее все. Там даже камни не помнят о том величии цивилизаций, которые были здесь когда-то. Там пустыня, зной и умирание, — там даже не сохранились развалины.— Ассирийская и египетская цивилизации породили греко-римскую. Я был в Афинах. Там только камни говорят о прошлом эллинов, камни мрамора, выжженные солнцем дожелта, — но люди там уже не помнят отошедшего тысячелетья, торгуя правительствами и маслинами.— Древняя греческая культура, совместно с римской, породила европейскую. Есть утверждение, что и эта последняя — капиталистическая — идет к смерти, — что недолог тот срок, когда в Европе, так же как в Анатолии и в Афинах, только камни да археологи будут помнить о черчиллевской Европе.

Но за десятком тысяч километров на восток от Европы жила и живет страна, сверстница прабабки европейской цивилизации, той цивилизации, которая дохо-

зяйничивает всем земным шаром. И теории Шпенглера — рушатся, — рушатся потому, что никому из европейцев неизвестная страна, лежащая на островах, не остывших еще от вулканической деятельности земли, страна, знающая в своей истории национально-монастырское затворничество на два столетия, как раз те, которые дали мощь Европе, — страна, которая, казалось бы, окончательно объизвестняковилась и, по Шпенглеру, умерла, — вдруг, неожиданно для мира, каких-нибудь шестьдесят лет тому назад бывшая в феодальном затворе, — вышла на мировую арену молодой, здоровой, сильной, бодрой, организованнейшей державой, — неожиданно для мира в каких-нибудь тридцать лет стала великой державой в том смысле этого слова, как его понимают европейцы,— европейски-великой державой. Тысячелетний быт, создавший свою особливую ото всех народов мораль, этику, эстетику, не оказался препятствием для западноевропейской конституции, заводов, машин и пушек — и всего, что стоит за ними.

Большая цель — узнать, какою мудростью сочетались в японском народе старое и новое, как примирились они, почему, — какой корень солнца у этой страны.

...И еще. В феврале, когда я уезжал из России, всем моим путем лежали белые снега, глубокие пласты белого снега, — а золотая в солнце и синяя в море Япония встретила нас дозревающими апельсинами в зелени апельсиновых рощиц и белым цветом сливы. Полуденный час в Японии совпадает с третьим московским часом ночи, тем по библийскому преданию, когда не пели еще вторые петухи. Утомительно гоняться за луною и обгонять ее, — утомительно так быстро, как Великим Сибирским путем сматывать версты с запада на восток: часы показывают двенадцать дня, а на улице уже ночь, — а, если часы все время ставить по бегущим мимо станционным часам, то часы показывают пять вечера, а тебя всяческими свинцами клонит в сон, в двенадцать же ночи ты просыпаешься, точно это час дня. Ты стремишься на восток, луна ухо-

дит на запад, — и странно наблюдать, как ты съедаешь луну.

Разные могут быть цели бродяжеств. Существеннейшие из них — вот, две. Про первую уже сказано: узнать, какой корень солнца у этой страны, у этих стран. И еще вторая. Человеческий мозг, человеческие знания и тот мир, который раньше назывался духовным, а ныне на русском языке определяется только иностранными словами, — человеческий мозговой, духовный и душевный мир, чтобы не ржаветь, очень нуждается в том, чтобы его точили, как бритву: тогда он, не в пример бритве, делается мягче, точнее, правильней. И очень хорошими оселками для бритвы мозга, глаз и раздумий (тех, когда думаешь уже не мозгом, а, быть может, иероглифами) — есть путешествия в пространства, никак не менее значимые, чем путешествия в книги и во время истории. Не для Японии, а для себя я поехал в Японию, взяв ее за тот оселок, на котором хотел я поточить самого себя, — в пространствах, глазами, раздумьем, — на том обрыве, где Азия вулканами Японского архипелага обрывается в Великий океан, в том рве, где сшиваются две величайшие культуры, все предопределяющие культуры земного шара — восточная и западная, — где западная культура прет и с востока, с Америки, а восточная, рассыпаясь в песках пустыни Шамо, обрывается в Тихий океан.

Учиться — по-японски — обдумывать старину.

3. Япония — для меня

...Там на шве двух культур, на обрыве, которым — вулканами — обрывается Старый Материк в Великий океан, — за несколько дней до моего отъезда из Японии — была такая ночь. Нас было пятеро: Ольга Сергеевна, замнаркомпуть Серебряков со своим секретарем Шубом, я и чиновник японского министерства железных дорог Ямманака-сан. Днем мы уставали, железной дорогой, автомобилем: к тому, чтобы приехать в Атами, к минеральным источникам, на курорт, поместивший-

ся под горою у самого берега океана, у самых волн. В отеле было пусто, кроме нас японствовала семья японцев. В сумерки мы ходили в минеральные ванны, фотографировались, обедали. Вечером мы ходили в соседний городок, бродили по улочкам, покупали кисточки, которыми пишут. Оттуда порешили пойти берегом моря, вошли во мрак деревьев, в каменистые тропинки, повисшие над обрывами, в заборчики из кротегусов, в шум океана над обрывами. Так мы шли с час. Становилось все темнее, глуше, отвесней, тесней и каменистей, — океан внизу уже не шумел. Сначала мы подозревали, а потом стало ясно, что мы заблудились. Все же мы шли камнями тропинки. И впереди тогда мы увидали огонек, в густой чаще деревьев. Мы подошли к лесному домику. Яманака-сан утвердил, что мы заблудились, поднявшись в горы, к леснику. Лесник дал нам бумажный фонарик на палке, новую указал тропинку, — и еще добрых часа два мы шли до нашего отеля. Отель глубоко спал. Мы были утомлены самой настоящей усталостью, той, от которой надо сейчас же валиться в сон, и, если не свалишься, можно будет еще часы сидеть, за счет уже нервов. Нам выпало второе. Шуб и Яманака-сан заснули. Мы же втроем засели у меня в номере. На столе стояли незнакомые, очень пахучие цветы (от которых на другой день у меня болела голова). Была очень черная и тихая ночь. Во мраке ворчал океан. Цепь огней железной дороги уходила в горы. Было очень тихо. И мы, трое россиян, на берегу чужого моря, в чужой стране, среди непонятных людей — были той ночью одни-одинешеньки, мы устали самой будничной усталостью, нам было немного скучно, и нам не хотелось спать в этот заполночный час. Все в мире относительно и все правомочно. И тогда мы выдумали игру. Мы взяли почтовую бумагу и стали писать письма так, чтобы я, написавший, передал мое письмо соседу, который, не читая его, надписывал адрес на конверте. Потом, написав десяток таких писем, положенных уже в конверты, мы прочитали их. Одно из моих писем пошло в город Тетюши, заведующей школой второй ступени, которую я никогда не знал, которую никогда не

узнаю и которой, быть может, и нет совсем, ибо в Тетюшах не заведующая, а заведующий. Я писал:

«Брат мой.

«Я сижу сейчас в провинциальном отеле на берегу Тихого океана, который плещется за окном, — в Японии, в глубокой полночи. Мне скучно, тихо и одиноковато. И одно я хочу сказать сейчас, далекий мой, неизвестный брат, — то, что все на этом свете относительно, что и мне сейчас надо ложиться спать и хочется есть, как это делается с каждым человеком.

Привет тебе, брат мой, от Страны Корней Солнца, — а мне: покоя и доброго сна».

Очень дурманно пахнули незнакомые цветы. У меня в ту ночь было такое настроение, которого в жизни нормальной у меня не бывает, которое в детстве возникало у меня при чтении английских романов, при описании английских сочельников, — хоть и была за домом майская ночь и ворчал теплый океан... Как велик Мир! — как древен Мир! — и — как мал и молод Мир... все относительно, все правомочно и — все проходит. Все проходит, потому что вот о той ночи в Атами я пишу уже в Москве, в дни первых наших метелей, когда за окном падают белые снеги. Тогда же, в Атами, совершенно невыспавшиеся, ехали мы наутро, туристами, в Одавара, чтобы там пересесть на автомобиль и ехать к озеру Хаконэ, около которого я уже был.

. . . .

Одна из редакций японских журналов просила меня написать им, какой роман я написал бы, если бы я был японцем.— Я долго не мог собрать своих мыслей, чтобы написать об этом.

Прежде чем стать японским писателем, то есть человеком, мыслящим образами и творящим образы, — я должен был бы стать японцем. Я — японец — должен был бы познать быт, философию, науку и историю Японии, — я должен был бы установить свою точку

зрения на искусство литературы, которых может быть множество. Я — Пильняк — в дни моего пребывания в Японии растерял очень многие мои точки зрения, в частности на искусство, в частности на литературу, — ибо у меня была точка зрения европейца, когда я думал, что искусство литературы существует к тому, чтобы формировать человеческие эмоции путем отображения жизни подлинной и исторической, в худшем случае — такой, которой нет, но которая может быть: то искусство, которое я увидел на Востоке, мне указывает — во-первых, что все в этом мире правомочно, а во-вторых, на то, что в этой правомочности нет никаких причин отдавать предпочтения искусству европейскому перед искусством Востока. Они, искусства Востока и Запада, равнозначимы и равнопрекрасны: цели их одни и те же, пусть средства разны, — средства, ибо европейское искусство упирается во время и с историей времени старится, стремясь гулять в ногу с эпохами, — ибо искусство Востока отказалось от времени, стало над временем, построенное на условностях красоты, высоких чувств и красивости. В этом месте я потерял свою точку зрения на искусство литературы.

Если бы тот мифический писатель, который получился бы в Японии из меня, имел понятие о литературе, как о прикладном искусстве, предназначенном руководить общественной и интимной жизнью людей, как очень часто понимается искусство литературы на Западе и у нас в России, — он написал бы роман, реалистический, натуралистический, где восхвалялась бы или порицалась бы деятельность Сейюкай, японской партии, описан был бы прием у growининдела и на заводском дворе, описаны были бы семьи крестьян, рабочих, интеллигентов, железные дороги, пароходные компании, фабрики; все это переплеталось бы очень сложной и остроумной завязкой, фабулой, сюжетом... и — все это было бы очень скучно, разумно и нравоучительно. Такой роман, если бы он был понятен европейской психологии, сейчас же перевели бы в Англии, Америке и России: но его перевели бы не потому, что он есть художественное достижение, а к тому, чтобы ознакомиться с

бытом Японии, и через десять лет в справочниках о Японии сказано было бы, что роман этот, как информационный, устарел.

Если бы этот мифический писатель смотрел на искусство литературы глазами Востока, — он, этот писатель, написал бы роман, где главным героем был бы дух Фудзи-сана, дух извечной красоты. В этом романе этот писатель постарался бы изобразить людей приблизительно такими, какими они представлены в Осакском Кукольном Театре, — прекрасными и неживыми. В этом романе было бы много прекрасных пейзажей, много пагод, цветов, солнца и луны. В этом романе сюжет был бы приторен, как мед, фабула чопорна, как поклоны гейш, а развязка сладостна, как японский фрукт каки. Такой роман трудно было бы перевести на европейский, ибо он был бы непонятен европейской психологии.

И еще десятки можно было бы придумать сюжетов этого фантасмагорического романа, который написал бы несуществующий фантасмагорический японский писатель Пильняк.

...Я — Пильняк, если бы я был японцем, мне думается, захотел бы написать тот роман, который в действительности я хочу написать, о том, как мои мозги были бритвою на оселке Востока. — Люди земного шара сейчас переживают эпоху, когда в мировом хозяйстве, в науке и искусстве стираются национальные черты и границы, — и мне хочется подняться над границами моей нации, мне хочется написать книгу, которая была бы нужной не только у меня на родине, но и в Японии, и в Америке, и в Бразилии, и не только философу, но и коммивояжеру. Эту книгу я окутаю бодростью того, что ничто в этом мире не абсолютно — от человеческой жизни до точек зрения на искусство, все течет, все проходит, все правомочно: это ощущение дал мне Восток. В этой книге я расскажу, как мир — в это столетие его развития — связан между собою, как не только пароходы бороздят океаны, но, подобно пароходам, по миру идут идеи дружества и братства народов, идеи уважения человека и человеческого труда.

И эту книгу я посвящу бодрости труда, бодрости шума гэта, бодрости воли, — бодрости того шума гэта, который прокопал дороги в горах, охолил горы, взрыл руками поля для риса. В этой книге я расскажу о том, что тот народ, живущий на вулканах, есть удивительнейший народ.

...Эту книгу хочу написать я — неяпонец. Но, если бы я был японцем, мне думается, я написал бы эту же книгу.

Москва, Поварская
29 окт. 1926 г.

Р. Ким

НОГИ К ЗМЕЕ (ГЛОССЫ)

Предисловие

О сын мой! Пусть легка будет беседа твоя для слушающего...

(Мудрость сеннахерибского визиря Хикара)

«Ноги к змее» — по-китайски шэ-цзу, по-японски да-соку, выражение из китайской книги «Чаньгоцэ», согласно объяснению, данному в большом японском иероглифическом словаре «Дзигэн» («Источник Знаков»), значит: нарисовав змею, приделывать к ней ноги, то есть делать ненужную излишнюю работу, ибо змея, а тем более нарисованная, может существовать без ног; книга Б. Пильняка «Корни Японского Солнца» может существовать без моих комментариев, и их можно не читать, мои страницы. Автору основной части казалось, что некоторые его абзацы, будучи понятны самим японцам, которые в первую очередь прочтут эту книгу, и русским, хотя бы отдаленно причастным к ориентологии, будучи понятны этим, останутся не совсем ясными для людей, знающих о Японии почти столько же, сколько о юго-западной Атлантиде. Для последних и сделаны мной несколько комментариев-глосс, скромная цель которых дополнить, разъяснить, развить некоторые места основной части книги. На объективность не претендую, ибо корейцу, так же как и ирландцу, трудно быть непогрешимо объективным, когда речь идет о соседних островитянах-покорителях.

«Ноги к змее» посвящаю высокому коллеге, проф. В. А. Гурко-Кряжину.

Москва, 1 декабря 16 года Корейской Диаспоры

I. Великое землетрясение 1923 года

(К главе «Вулканы»)

...я всегда торжественно думал
о космосе, не застывшем еще
для этих островов.
(Из главы «Вулканы»)

Есть классическая японская поговорка, состоящая из четырех имен существительных: «Землетрясение-гром-пожар-отец». Она перечисляет квадригу наиболее грозных для японца явлений, расположенных в нисходящей градации. После землетрясения 1923 года японские социалисты, в чьих рядах вместе с катастрофой большое опустошение произвели жандармы и полицейские, пустили в обращение новую поговорку: «дзисин-кэмпэй-кадзи-дзюнса», что значит: «землетрясение-жандарм-пожар-полицейский». В обоих случаях на первом месте по грозности стоит землетрясение.

Великое землетрясение 1923 года избрало своими жертвами пять восточных префектур во главе с токийской. В 11 часов 58 минут утра 1 сентября 1923 года земля в этих пяти префектурах внезапно прыгнула вверх на четыре вершка, а через несколько минут на побережье Камакуры, Дзуси, Кодзу с грохотом, потрясшим все небо, хлынул вал с Тихого океана, зеленая водяная стена в несколько сажен вышиной. Земля стала извиваться и прыгать, как одержимая, — с двенадцати часов дня 1 сентября до двенадцати дня 2 сентября сейсмологами было насчитано восемьсот пятьдесят шесть толчков, а со 2 по 3 сентября — двести восемдесят девять судорог. После первых толчков в городах во главе с Токио и Иокохама заполыхали пожары, и жители этих городов очутились лицом к лицу с двумя обезумевшими стихиями, а жители прибрежной полосы восточных провинций — с тремя. В Токио сгорело заживо 56 774 человека, утонуло в каналах, реках и прудах 11 222 человека и было раздавлено домами 3 608 человек. Этот бунт стихий испепелил, по авторитетным выкладкам московского проф. О. В. Плетнера, двадцатую часть всего национального богатства Японии и нанес ей оглушающий

удар. Многие в Европе и Америке решили, что Япония получила почти смертельный «knock», после которого она, в лучшем случае, станет второклассным государством. Но Япония, подобно крепко вытренированному боксеру, невзначай получившему удар в челюсть, немного покружилась, посидела 9 секунд на полу ринга и после этого, к удивлению всех, быстро встала на ноги.

II. Акита удзяку

У японцев, как и у китайцев и корейцев, псевдонимизуется только имя, фамилия — нет. Акита — это фамилия; настоящее имя драматурга — Токудзо. Псевдоним Удзяку значит: «Воробышек во время дождя». Удзяку родился в 1883 году, кончил отделение английской литературы Васэдаского университета. Автор ряда великолепных детских сказок, — особенно хорош сборник «Детям Востока», — один из лучших драматургов, но его вещи, имеющие сильный пролет-литературный уклон, редко ставятся в больших театрах. В последние годы стал писать в экспрессионистском духе — лапидарный диалог, стремительное сюжетное развертывание. Видный представитель японских левых попутчиков; убежденный эсперантист, но пока что все вещи пишет по-японски, только даты и подписи — на эсперанто. Кстати, его драмы сейчас переводятся на русский язык молодой многообещающей японоведкой Е. Крейцер, ученицей проф. Н. И. Конрада.

III. Три выписки вместо комментария

(К главе «Две души принципов "наоборота"»)

1) Из толкового словаря японского языка «Гэнкай» профессора Оцуки (изд-во «Йосикава-Кобункан», Токио, 1922, 473 издание):

— «Синоби (ниндзюцу, дзиндзюцу) — искусство, сделавшись совершенно невидимым ночью, незаметно проникать в неприятельский лагерь или в чужой дом; замаскировавшись, проникать на неприятельскую территорию и заниматься тайной разведкой».

2) Из биографии великого вора — покровителя бедных, Нэдзумикодзо Дзирокити, казнённого в 1832 году (изд-во «Хакубункан», Токио, 1922 г., 18 издание):

— «Строго соблюдая церемонии, Киритаро обучил Дзирокити магическому искусству пяти способов делать себя невидимым; это искусство — ниндзюцу — теперь заметно поколеблено благодаря развитию точных наук, но все же до сих пор применяется; в прежние времена в периоды войны усиленно пользовались лицами, знавшими искусство это».

3) Из книги В. Латынина «Современный шпионаж и борьба с ним» (Гос. Воен. Изд-во, Москва, 1925 г.):

— «Задолго до русско-японской войны японцы широко развили шпионаж не только на Дальнем Востоке, но и в Европейской России. Во Владивостоке, Хабаровске, Харбине, Порт-Артуре многие рестораны, гостиницы, магазины и торговые конторы были переполнены японскими шпионами под видом прислуги. Русским и в голову не приходило, какая огромная паутина японского шпионажа окутала их везде на Дальнем Востоке. Мы не могли представить себе, чтобы японские офицеры генерального штаба лично работали в качестве шпионов под видом парикмахеров, приказчиков и даже домашней прислуги у русских генералов».

Рекомендую прочитать еще следующие статьи и книги, дающие понятие об основных принципах синоби: Mabille, «La lutte contre les services des renseignements ennemis» («Revue Militaire Francaise» I/X—1923); F. Touchy, «Taemnice spiegostwa podczas wojny swiatowei». Момокава Энгйоку, «Похождения великого разбойника, друга бедноты Дзирайя» (на японском языке).

IV. Бусидо

(К главе «Харакири»)

(Стенограмма лекции, которая никогда не была и не будет прочитана)

Одни живут, будучи мертвецами;
другие, умерев, живут.
Проф. Кода Нариюки. «О радости
и наслаждении»

Товарищи!

Два принципа кардинальных, всеопределяющих, лежат в основе бусидо-этики японских самураев, которых классовое господство длилось с XII по XIX век, начавшись с выхода на сцену кланов Таира и Минамото и завершившись самурайской Вандеей — трагическим мятежом генерала Сайго в 1877 г.; два основоположных принципа суть беззаветнейшая преданность господину своему, т. е. чувство великого долга перед сюзереном и вытекающее отсюда неумолимое последовательное до конца презрение к смерти, торжественный отказ от всякого страха перед небытием; эти два принципа — наивысшего долга и величавого пренебрежения к смерти, эти опорные колонны самурайской идеологии с неустанным рвением и тщанием укреплялись и полировались в течение семи феодальных столетий, и что удивительного, если эти колонные принципы были доведены до небывалой прочности и слепящего блеска и вызвали шумное изумление европеян, в XIX веке вторично открывших Японию; что удивительного, если в течение семи веков изо дня в день, из часа в час представители правящего класса словом и делом демонстрировали свое неистощимое презрение к смерти, измывались над ней, как над последней девкой из Кандаских лупанарных бань, и напряженной волевой гимнастикой вытравили дочиста из своих душ всякий страх перед призраком безносой; к этим двум принципам-доминантам неразрывно примыкает третий, заключающийся в доведенной до пределов стоицизма непроницаемой охране своей души от чужого взора; замуровывании всех своих чувств под неподвижной маской лица, ибо преданный самурай, готовый в любой момент швырнуть свою жизнь без сожаления, как лопнувшую сандалию, к ногам владыки, должен переносить молча все лишения и никогда не выказывать наружу презренных судорог души. Вот эти три принципа составляют сокровенное нутро бусидо, его сердце, на которое в последующие столетия токугавскими профессорами было наложено несколько толстых слоев конфуцианского лака, превратившего жизненные правила диких воинственных

хэйанских[1] (кантонских) и камакурских самураев-дружинников[2] в благообразный чинный чиновничий кодекс морали, во всем согласованный с округленными китайскими философемами. О нормах повседневного поведения первых самураев, о том, как они были крепко преданы своим господам, и о том, как они весело умирали, нам рассказывают в величавых гомеровских тонах «гункимоно» — военные хроники Камакурских времен, эти японские chansons de geste. Главнейший атрибут бусидо — сэппуку или харакири, т. е. вспарывание живота, совершаемое в случае поражения в бою, компрометантного поступка, смерти сюзерена или в качестве довода действием для образумления заблуждающегося господина. Это великое японское изобретение появилось в конце Хэйанских веков, и самое раннее упоминание о нем мы находим в историческом труде «Дзокукодзидан», где повествуется о том, как некий «Фудзивара Ясусуке вынул меч, распорол живот и вытащил кишки»; последняя манипуляция была «канонизована», и до середины XIV века самураи, очутившись во время боя в безысходном положении, разрезали живот и изо всех сил швырялись своими кишками, стараясь для вящего удовольствия попасть во вражеские лица; процедура совершения харакири в последующие века была нормирована, регламентирована, стандартизована, и только некоторые артистические натуры и изобретательные умы позволяли себе кое-какие эффектные отступления; обычно же харакири совершалось так: вонзали кинжал в левый бок, проводили горизонтальную линию по всему животу, затем прокалывали полость сердца и вели нож до пупка, — в большинстве случаев здесь наступал финал, но некоторые, не удовлетворившись всем этим, вгоняли кинжал в горло; в XVIII веке сьогунскими церемониймейстерами был сочинен торжественный ритуал, причем в харакирное действо был введен так называемый «кайсяку» — ассистент, коему поручалось в момент первых судорог четким взмахом сно-

[1] Эпоха Хэйан (IX—XII).

[2] Эпоха Камакура (XII—XIV).

сить голову самоубийцы. Дикое, пахнущее кровью, вспоенное пьяным молоком фанатизма, бусидо в его некодифицированном, незалакированном виде существовало до XVII века, т. е. до воцарения династии военных монархов Токугава, положивших конец нескончаемым феодальным войнам, что свирепствовали в течение трех веков; но эти первые десятилетия новой эпохи были отмечены рядом великолепных проявлений живописных демонстраций воинствующего бусидо, из коих следует прежде всего назвать «харакири вдогонку» — оибара и действенную проповедь самурайского стоицизма; дело в том, что с начала этого века в кругах ответственных вассалов стал культивироваться обычай после кончины своих даймйо распарывать себе живот, чтобы следовать за сеньором; классическими случаями должны считаться групповые харакири вассалов нагойского даймйо Мацудаира в 1607 году, советников Этидзэнского Хидэясу в том же году и в особенности то самопобоище, что разыгралось после кончины третьего сьогуна в 1651 году, когда ряд высших самураев-министров во главе с Абэ и Утида совершили харакири, а за ними в свою очередь последовали их вассалы, образовав жуткую пирамиду. Между прочим сугубо характерно, что родоначальник Токугавской династии — Иэясу не причислил себя к апологетам «оибара» и, когда этидзенские вассалы пустились «вдогонку» с разодранными животами, он опубликовал осуждающую буллу со словами: «умирать легко, жить трудней», предвосхитив этим самым лефовского даймйо Маяковского, сказавшего после одной смерти: «в этой жизни помереть не трудно, — сделать жизнь значительно трудней»; эта эпидемия «оибара» продолжалась до второй половины XVII века, пока правительство не запретило наистрожайше эти окровавленные кортежи на тот свет. Что же касается до активного стоицизма, то он заключался в том, что самурайские золотые молодчики — датэсю, желая довести до недосягаемой высоты свою волевую закалку, испытывали себя таким образом: непоспешными стопами фланировали по зимним улицам в одном тонком халатике, обмахиваясь большими веерами; в

июльский зной, взвалив на себя тяжелые кимоно, подбитые ватой, грелись у жаровни; устраивали экстравагантные трапезы, на которых, с непроницаемыми безмятежными лицами-масками, зорко послеживая друг за другом, ели терпкий суп из сороконожек, форшмак из соленых дождевых червей и нестерпимо жирную похлебку из кротов и жаб; поистине, прошедших эти необычайные курсы терпения и готовности ко всему, ничто больше не могло и не должно было смущать. Но жизнь брала свое: феодальных войн не было, кругом ненарушимо властвовал мир, и все стали понемногу тяготиться этим неистово-диким, неукротимым бусидо. Как хорошо было бы обуздать его, остричь его и сделать сводом жизненных правил не воинов головорезов, нет, а верноподданных чиновников великого сьогуна. И вот появляется услужливая фаланга казенных конфуцианских ученых, — все эти Наказ Тодзю, Кумадзава Бандзан, Даидодзи Юсэн и другие, усилиями коих бусидо был превращен в стройный кодекс норм поведения, имеющий в своей основе конфуцианские принципы безграничной верности государю, почитания родителей и осуждения безрассудного мужества; философы Наказ и Каибара говорят, что самурай должен быть прежде всего гуманным мужем и должен знать заповеди Конфуция, а Токугава Нариаки, глава митосской школы в книге «Кокусихэн», вышедшей в 1833 г., резюмируя всю проведенную работу по кодификации бусидо, предписывает самураям следующее: избегать вульгарного мужества (sic!), заботиться о внешнем облике, читать творения древних, ходить на охоту, ездить верхом на коне по берегу моря и играть на флейте в лунную ночь; если бы этот мудрец был знаком с европейской культурой, он, вне всякого сомнения, рекомендовал бы самураям играть в серсо, раскладывать пасьянс и конспектировать Четьи-Минеи. Конфуцианским профессорам удалось в известной степени приглушить, укротить и обуздать тезисы бусидо, но кардинальные принципы чувства долга и презрения к смерти были сохранены в непоколебимой целости. Правда, первый принцип, который был наиактуальнейшим, непрестанно испытуе-

мым в эпоху ежедневных феодальных войн, утратил в эпоху мира свое значение, превратившись в простую максиму чиновничьей морали, в заповедь, ничем не вуалируемого сервилизма. Но второй принцип, принцип игнорирования смерти, беспощадного пренебрежения к ней, был торжественно пронесен через все токугавские века[1], породив вереницу классических харакири, вендет-актов кровной мести, отобразившихся на лучших страницах японской повествовательной драматической литературы. Японские танкаслагатели слово «сакура» — вишня единогласно возвели в символ самурая, самурайской души, ибо вишневые цветы, после пышного расцвета, сразу же, без остатка, осыпаются в течение одной ночи, подобно самураю, без тени сожаления совершающего акт самоумерщвления. Самурайский класс, сотворивший бусидо, сошел со страниц истории во второй половине XIX века, но новое императорское правительство, отняв у самураев мечи и разметав их, решило использовать идеологическое наследие их, неизгладимо врезавшееся в сознание японского народа, и приступило к шумной пропаганде тех же, только слегка измененных, двух основоположных принципов: преданности сюзерену, теперь — императору, и готовности в любой миг принять смерть ради сюзерена, теперь — императора; о том, что гос-апология модернизованного бусидо была успешной, гордо свидетельствуют восторженные слова профессора Нитобэ Инадзо: «Сражения на Ялу, в Корее и Маньчжурии выиграли духи наших отцов, водившие нашими руками и бившиеся в наших сердцах. Они не умерли, эти духи — души воинственных предков». Прав токийский магистр, справедлив его восторг, поистине бусидо — моральный кодекс средневековых вассалов, неистовых полуварваров, стоических фанатиков в течение нескольких последних десятилетий комментарской изобретательностью был превращен в коран воинствующего монархизма и патриотизма, в религиозно-этическую систему японских казарм. И вот теперь, оглянув всю историю саму-

[1] Токугавская эпоха — XVII—XIX вв.

райской морали, если вы захотите взять наиболее высокие моменты, наиболее патетические абзацы летописи бусидо, наиклассснейшие примеры, то это будут: «харакири вдогонку» кавалера второй степени Великого Чина, маршала графа Ноги и история заговора и смерти сорока семи самураев. Первая повесть о самоубийце-маршале вас изумит на несколько минут, но вряд ли это чувство удивления приведет вас к глубоко благоговейному безоговорочному пиэтету; скорее всего у вас мелькнет мысль о том, что в груди этого хмурого полководца начала XX столетия, генерала, разгромившего порт-артурские форты одиннадцатидюймовыми мортирами, билось сердце кромешного фанатика начала XVII века, того самого, который умирал вслед за своим даймйо, повелев своей жене или любимой наложнице и вассалам сопровождать его; скорее всего вы вспомните желтые листы фолианта первых токугавских лет «Мэйрьо-Кохан» — Книгу Ясности, в коей убедительно говорится об одной разновидности харакири, о так называемом «сьобара», т. е. «харакири de raison», рассчитанном на эффект и на последующую славу. Но быль о сорока семи самураях, о которых сказал Б. Пильняк, справедливо требует от вас более длительного внимания; поэтому расскажем о них более тщательно. Эти сорок семь во главе с Оиси Кураносукэ, после того, как их сюзерену по сьогунскому повелению пришлось покончить с собой из-за даймйо Кира Кодзукэ, — дали друг другу кровную клятву во что бы то ни стало стереть с лица земли этого сиятельного негодяя; они рассеялись во все стороны, превратились в бродяг, разносчиков, торговцев, поэтов, мелких ремесленников и т. д., непрестанно держа тайную связь и шаг за шагом окружая невидимой сетью находящийся в Эдо дворец-крепость их могущественного врага, который, будучи окружен лесом своих телохранителей и шпионов, ни на одну секунду не ослаблял своей бдительности; только вождь заговорщиков Оиси Кураносукэ, увидев плотное кольцо вражьих шпиков, сразу же отчаялся, махнул рукой на заговор, вытолкал из дома плачущую, с двумя детьми, жену, с которой прожил десятки ничем не омраченных лет,

сменил строгое одеяние сановного самурая на легкомысленный узорчатый шелковый халат и с головой погрузился в жизнь развратного бонвивана; его пьяную, зловонно икающую, фигуру стали ежедневно видеть на верандах киотоских веселых домов и в канавах, куда он сваливался в бесчувствии; люди, знавшие его, все отвернулись от презренного гнуса, смрадного ренегата, и, когда он валялся на улице, распахнув дорогой с цветистыми узорами халат, некоторые плевали на него, швыряли в него комья грязи и даже били деревянными сандалиями по лицу; он, который раньше был одним из главных приближенных даймйо, вождь заговорщиков, забыл решительно все: забыл клятву, зачинщиком которой был сам; забыл тех, которые ждали его знака, стиснув зубы от нетерпения; забыл самурайскую честь, все наставления своего учителя, философа Ямага (которым два века спустя будет зачитываться генерал Ноги), и окончательно перестал быть человеком; шпионы Кира Кодзукэ, следившие за каждым шагом Оиси Кураносукэ, досконально описывавшие историю его необычайного падения в своих донесениях в Эдо, не ожидали такого оборота дела: Оиси Кураносукэ, доселе имевший кристальную репутацию доблестнейшего самурая, мастерски, оказывается, скрывал свою истинную натуру распутника и жалкого труса. И вот прошел год после харакири несчастного даймйо и разгона его самураев; о последних ничего не было слышно, и четырнадцатого марта, в день годовщины самоубийства, никто не пришел поклониться могильному камню, — все было тихо, спокойно; шпионы, исписав кипы реляций об Оиси, плюнули и вернулись в Эдо, и эту историю все стали постепенно забывать, ибо, как гласит японская поговорка: «молва про людей длится семьдесят пять дней» — «хито но уваса мо ситидзюгонити».

В октябре этого года в поселок Камакура, что около Эдо, пришел откуда-то пожилой самурай по имени Какими Горобэй и, пробыв три дня, направился в столицу; там он стал вести непонятную жизнь, кочуя из дома в дом своих знакомых — большею частью мелких торговцев, ремесленников, разносчиков, поден-

щиков и просто людей без определенной профессии: по-видимому, самурай Каками, несмотря на свои мечи, решил вместе со своими знакомыми заняться недостойным делом — открыть торговое предприятие для обслуживания даймйо и, в первую очередь, господина Кира Кодзукэ, ибо Каками и его компаньоны очень часто говаривали о даймйо Кира, его вкусах и привычках, дворце, званых вечерах там, дворцовой челяди, числе закрытых носилок, в коих ездит даймйо, меняя их каждый раз, о характере привратников, которые иногда не пускают торговцев-поставщиков, и даже о глубине пруда, находящегося в дворцовом саду. Когда наступил декабрь, Каками и его друзья стали собираться чаще и, по-видимому, дело выходило, но не хватало чего-то, может быть, денег, ибо все что-то высчитывали на счетах, корпели над грязными, смятыми чертежами и почтительно выслушивали Каками, который был вообще глубоко образованным человеком, — любил цитировать китайских классиков и писать тушью величавые пейзажи в стиле гениального Сэссю. В холодную снежную ночь 14-го декабря в доме одного из знакомых Каками был устроен скромный ужин, на который собралось сорок семь человек; было сакэ, жареные каштаны, рисовые лепешки и суп из морской капусты — ужин был без всяких изысков, но все собравшиеся были в диковинных нарядах: комната, где все собрались, была похожа на кулисы театра «Кабуки», так как все были в боевых самурайских одеяниях, в которые уже в течение ста лет ни один самурай не облачался по причине полного отсутствия войн со времени воцарения Токугавской династии, — войны происходили только на вертящейся сцене и на «дороге цветов»; у всех собравшихся были шлемы, нагрудники, шаровары, цепные пояса и внушительные мечи; после полуночи все, по знаку Каками, главного зачинщика этого необычайного маскарада, стали выходить из дому, неся с собой, кроме мечей, еще громадные деревянные молоты и копья; выслушав с серьезными лицами наставления вожака, этого угрюмого потешника, все молчаливой гурьбой пошли по

пустым снежным эдоским улицам; между прочим, Какими был одет почти так же, как и все, но у него преобладали черные строгие цвета, — очевидно, он не любил цветисто-узорчатые одеяния, — только у него на черном рукаве верхнего халата странно выделялась, пришитая одним концом, узкая полоска позолоченного картона, эта полоска свешивалась с рукава, на одной стороне ее было написано иероглифами: «Эры Гэнроку пятнадцатого года[1] двенадцатой луны четырнадцатого дня ночью я умер в бою», а на обратной — фамилия: «Оиси Кураносукэ». На следующее утро весь необъятный Эдо был потрясен невероятным событием: под утро в усадьбу даймйо Кира Кодзукэ ворвались сорок семь самураев, которые, перебив всю дворцовую охрану и разыскав, где-то на задворках, трясущегося хозяина, отрубили ему голову; сьогунское правительство, ошеломленное не меньше эдоских обывателей, приговорило эту банду самураев, осмелившихся посредине великой сьогунской столицы разгромить дворец и обезглавить одного из влиятельнейших даймйо, к смерти через харакири. Все умерли четвертого февраля 1704 года. Вот в грубых штрихах вся история сорока семи. Когда мы говорим о бусидо в его феодалистическом и сегодняшнем банзай-патриотическом аспектах, взор невольно останавливается на выпуклых одиозных очертаниях и не хочет идти дальше вглубь, сквозь наружную, густо наляпанную лакировку; но не следует с торопливым нетерпением делать сокрушительный вывод — исступленно пускать подобно Б. Зильперту чугунные стрелы в заведомый призрак; можно непримиримо и решительно отвергать бусидо за его внешний облик, отвратную конфигурацию, но неужели же в нем, питавшем в течение стольких столетий один из культурнейших народов мира, нет ничего, ничего, что могло бы быть нами, неяпонцами, — корейцами, китайцами, русскими, европейцами, — принято, хотя бы с кое-какими осторожными оговорками, или, может быть, даже сочувственно оправдано? На это отвечаем:

[1] 1703.

есть. Для этого надо взять те два основоположных принципа самурайской морали, выхватить их из контекста феодальной эпохи, освободить их от кожуры классовых атрибутов самурайства и отчетливо отделить от казенно-казарменного культа сына неба; и вот тогда эти два принципа, взятые вне времени, предельно абстрагированные, сведенные к сокровеннейшей сути, будут означать: всепоглощающее чувство долга и радостную готовность пожертвовать собой ради дела всей жизни. И сорок семь самураев начала XVIII века, которые знали это чувство долга и выполнили этот долг целиком без остатка, разве они не достойны искреннего и проникновенного сочувствия? Сорок семь человек, нерасторжимо связавших друг друга братской клятвой; безукоризненно проведших с начала до конца изумительную конспирацию в сплошь шпионском Эдо; сокрушивших все заставы бдительности сиятельного врага; не дрогнувших ни разу с первой минуты заговора до последней секунды жизни; давших незабываемый пример монолитно спаянного коллектива; доведших дело всей своей жизни до испепеляющего конца!

V. Нобори Сьому

Сьому — псевдоним: «Рассветный сон». Родился в 1878 г. Один из лучших переводчиков Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, Куприна. В последнее время переводит больше критические работы, в частности, сейчас перелагает на японский все опоязовские опусы и «А все-таки вертится» Эренбурга. В 1923 г. в конце лета приезжал в Москву, но, пробыв несколько дней, спешно поехал обратно по получении первых телеграмм о гибели Токио, где он оставил всю свою семью.

VI. Мусякодзи Санэацу

Происходит из старинной аристократической семьи. Глава группы «Сиракаба», объединяющей арис-

тократов-литераторов, выходцев из Лицея. Родился в 1882 г. Пишет драмы, рассказы и так называемые «дзуйхицу» — бессюжетные заметки, диалоги и фельетоны на литературно-философские темы; горячий почитатель Толстого, в 1918 году совместно со своими поклонниками образовал поселок на острове Кюсю «Новую деревню» для действенной проповеди новых принципов жизни, каких — пока не видно. Недавно им написанную драму «Страсть» — история о том, как горбун-художник убивает свою жену, ревнуя ее к своему брату, и запихивает труп в чемодан — японские критики считают шедевром не только японской, но и мировой литературы. Драма неописуемо скучна и представляет собой кошмарный продукт аристократической графомании.

VII. Два слова о японской стыдливости

(К главе «Йосивара, ойран, гейши»)

У японцев понятие стыдливости, конечно, существует, но оно отлично от европейского. Европейцы любят с улыбкой показывать на японские совместные омовения, на общие уборные и на фаллистические следы, усматривая их даже там, где их нет. Например, персик, что фигурирует в знаменитой японской сказке о чудомальчике, завоевателе острова чертей, по мнению некоторых ученых европейцев, есть не что иное, как ктеис. Счастье японцев, что великий Зигмунд до сих пор еще не имел случая познакомиться с книгой Dr. Florenz'a «Japanische Mythologie»; о, если б этот венский Задека стал разоблачать всех японских богов, мифологических героев, то министерству народного просвещения Японии пришлось бы спешно переиздать официально рекомендованные учебники отечественной истории, ибо последние все начинаются с биографии богов и их запутанных похождений.

Японцы в ответ на европейские улыбки укоризненно качают головами, смотря на послевоенные европейские танцы, эзоповски пересказывающие акты страсти,

или при виде дамских одеяний, с нарочитой тщательностью обтягивающих торсы.

Совместные бани и фаллизм теперь уходят в историю благодаря стараниям департамента полиции, этого свирепого блюстителя нравственности на японских островах, который задался целью внедрить в японцев европейское понятие стыдливости. Один преподаватель Ленинградского политехникума написал как-то рассказ «Ловец человеков», действие в коем происходит в Лондоне; увы! это же человеколовство процветает сейчас в Токио, и занимается им кто? — полиция. По вечерам в токийских парках иногда устраиваются облавы, после чего всех, извлеченных из кустов, юных мужчин и женщин, не являющихся легальными супругами, торжественно ведут в участки, как пленных эфиопов; пойманных привлекают либо за ярко выраженный адюльтер (грозная статья в Уголовном кодексе), либо за активное нарушение социальной нравственности. Строго и зорко следит полиция за литературными произведениями, заставляя редакторов зачеркивать все нескромные места и ставить кружки или точки, а в тех случаях, когда редактора бывают недостаточно строгими, — конфисковывая эти издания. На вернисажах выставок больше всех суетятся полицейские комиссары, которые, старательно обнюхав все ню, беспощадно изгоняют фривольные полотна и статуи. Например, на последней осенней выставке Салона (1926 г.) полицейские были шокированы большой статуей Окуни Тэйдзо «Перед океаном», изображавшей голого мужчину, и заставили скульптора соскоблить genitalia, после чего испытанные остряки стали именовать эту статую: «Андрогин перед океаном».

Всякий может подумать, что современная японская литература, благодаря такому остервенелому целомудрию полиции, представляет собой безрадостное и постное зрелище, унылый серый луг без единого цветка. Это неверно, это глубокая ошибка. Японские полицейские чиновники не так уж бесчувственны, и они знают, что живому человеку иногда органически необходимо иметь легкое невинно-фривольное чтение. Вот почему беллетристу Танидзаки Дзюнитиро дается возможность довольно часто публиковать новеллы с доскональным

описанием сексуальных извращений; вот почему в солидном политико-литературном ежемесячнике «Тюокорон» (соответствует «Красной нови») помещается длинное рассуждение о лицах, обладавших анормальными scrota, а в литературном журнале «Бунгэй-Сидзйо» («Литературный рынок»), рядом с переводами вещей Либединского, Эренбурга и других русских современников, печатается непристойнейший фельетон о приемах cunnilingua с дословными цитатами из «Кама-Сутры».

Цензура молча проходит мимо таких писаний, она их великодушно не замечает. Японская полицейская стыдливость!

VIII. Йонэкава Масао

Профессор Военной Академии Японского генерального штаба. Родился в 1891 г. Был в России в 1917 г., но после Октябрьской революции возвратился в Японию, пробыв в командировке всего четыре месяца. Неподражаемо перевел на японский язык «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Войну и мир», трилогию Мережковского и другие вещи.

IX. К вопросу о культе лисицы

(К главе «Вечер на Хиноки-тьо»)

(От комментатора — вынужденное объяснение)

> ... разительно в японском народе, по мнению Канэко, отсутствие мистицизма.
>
> *(Из главы «Вечер на Хиноки-тьо».)*
>
> Но все же подлинная народная вера, о которой почти не знают европейцы, ныне здравствующая, идет мимо синто и буддизма.
>
> *(Ibidem)*

К страницам Б. Пильняка, где говорится о лисьем боге и о философии японского народа, мной был написан большой

очерк-комментарий на два печатных листа. Я позволил себе так распространиться потому, что вопросом о лисьем культе в Японии и вообще о японских суевериях занимаюсь уже восемь лет и готовлю диссертацию, предназначенную к печатанию в журнале Bruno Schindler'а и F. Weller'а «Asia Major» и в органе «Royal Asiatic Society» и потому, что этот вопрос еще очень слабо освещен в европейской японологической литературе — его коснулись весьма поверхностно проф. Chamberlain в своих трудах и авторы статей в «Transactions of Asiatic Society» и несколько слов вскользь сказал pater G. Schurhammer в своей работе: «Der shintoismus nach den gedruckten und ungedruckten Berichten der japanischen Iesutenmissionare des 16. und 17. Jahrhunderts». В японской литературе этот вопрос почти исчерпывающе освещен в трудах токийского профессора Inoue Enryo, выдающегося специалиста по демонологии, и в историко-этнографическом журнале «Minzoku to Rekishi» (августовская книга 1922 г.) В своей работе я подробно описал и классифицировал всех собак-богов (inugami), чудесных змей, водяных отроков (kappa), горных духов (tengu), барсуков-оборотней и волшебных лисиц, вера в которых, ввезенная в Нарский и Хэйанский периоды из Китая, до сих пор необычайно распространена в Японии. Каждая провинция имеет своих чародейных монстров, объектов благоговейного поклонения, из коих наибольшей популярностью пользуется лисица. До сих пор в японских провинциях, — в особенности в юго-западной части Хонсю главного острова Японии), — семьи, подозреваемые в связи с колдуньей-лисицей, подвергаются бойкоту не только матримониальному, но и экономическому, ибо у них не покупают и не арендуют земельных участков и стараются вообще не иметь с ними никакого дела. На острове Оки (в Японском море), когда производятся выборы в нижнюю палату, то конкурирующие кандидаты политических партий разделяются на сторонников лисицы и на противников ее (См. «Meishin to shukyo» проф. Inoue, стр. 74.). Вера в лисьи чары имеет в сегодняшней Японии миллионы адептов, и приступающему к изучению японской этнографии необходимо в первую очередь заняться этим вопросом. Рукопись я прочитал нескольким своим коллегам — профессорам-ориентологам, в том числе и проф. Е. Д. Поливанову (о нем говорит В. Шкловский в «Сентиментальном путешествии»), коими работа была признана весьма ценной по высокодостоверному фактическому материалу. За день до того, как сдать рукопись в набор, а копию послать Б. А. Пильняку, я прочитал ее молодому

японскому слависту (вернее, эсесероведу) г-ну Тораяма, находящемуся в Москве в научной командировке и специально изучающему диалектический материализм и собирающему русские диалектологические материалы. По прочтении рукописи я, перейдя с г. Тораяма в столовую, заслушал мнение гостя, который, заявив сперва, что в большинстве случаев появление лисиц-оборотней и вселение их в людей основано на самогипнозе, начал затем приводить ряд действительных необъяснимо-таинственных фактов, имеющих место в наши дни на его родине в провинции Идзумо, между прочим им были сообщены весьма интересные данные о несмываемых кровяных пятнах на потолке зала буддийского храма, что около города Мацуэ, о дереве, возле которого появляется белая лиса-оборотень и т. д. После ухода г. Тораяма, желая занести сообщенные им факты в мою работу, я вошел в кабинет, присел к письменному столу и обнаружил бесследное исчезновение папки с рукописью. Тщательный обыск всего стола не дал никаких результатов, и только поздно ночью я случайно увидел на правом краю стола несколько чернильных следов лапок какого-то зверька, по-видимому, лисицы.

X. О иероглифах

(К главе «О иероглифах»)

Иероглифопись — рисунок сердца.

Янцзы

Латинская буква властным жестом утверждает, что вещь такова, китайский же знак есть та вещь целиком, которую он знаменует.

П. Клодель

Попробуйте сейчас собрать пять или десять молодых азийцев и провести среди них анкету об их отношении к иероглифической системе письма. Прежде всего вас удивит внешний вид письменных ответов на анкету. Потому, что одни ответы будут написаны иероглифами, другие — латинскими буквами, третьи — уродливыми фонетическими знаками, что недавно изобретены в Пекине, а четвертые будут просто неразборчивы.

Но вас еще больше удивит тон этих ответов. Напряженно страстный тон инвектив против иероглифов будет свидетельствовать о том, что для авторов этих ответов данный вопрос является не бесстрастной академической проблемой, а вопросом трепещуще-живым и учащенно-пульсирующим, вопросом наиактуальнейшим. По этому вопросу ежедневно ломают груды копий во всех университетских городах Азии, начиная с Пекина, Сеула и Токио.

Те, кто непримиримо отвергают иероглифы, будут вас уверять, что в наш век, когда над Великой стеной, помнящей еще гуннов, летают Юнкерсы, когда нагасакские проститутки читают Поля Морана, а сеульские гимназисты гектографируют эпистолы Крестинтерна, иероглифика — вопящий анахронизм. Сейчас эра ундервудов и стенограмм — прочь несуразные неуклюжие знаки — каменный век письма!

Перед вами статистические таблицы, где беспощадной тушью на ватмане показано, сколько бесценного времени, какой огромный кусок жизни безвозвратно отнимают у человека эти иероглифы. Подумать только, сколько зрительной и мнемонической энергии тратится на этот демонский шифр каждый день на протяжении от Аннама до Курильских островов! Иероглифы, чугунные колоды на ногах, задержали Азию на несколько сотен лет. Если б их догадались истребить в тринадцатом веке кривоногие юаньские императоры, родичи Чингиса, то вся история нового времени имела бы совсем другое лицо.

В русском алфавите самая сложная буква Щ имеет пять графических черт, считая хвостик, а в латинском — М, имеющая четыре черты. А один из употребительнейших китайских иероглифов ЮЙ, что значит «густой, роскошный, огорчение», имеет двадцать девять черт и похож на эскиз к экспрессионистской картине. Если китайские, корейские и японские школяры те ночи, что истрачены ими на укрощение иероглифов, употребили бы на другое, ну хотя бы на изучение чужих языков, то они читали бы всех европейских классиков в подлиннике и на их носах не восседали бы очки в таком количестве, как ныне.

Статистика, НОТ и офтальмология безоговорочно стоят за свержение диктатуры иероглифов.

Эти три дисциплины — европейского происхождения, и неудивительно, что вы, европеец, сразу же становитесь на сторону антииероглифистов.

Но выслушайте и другую сторону.

Вы говорите:

— Довод ваших врагов о том, что эти графические ихтиозавры съедают почти четверть всей энергии учащейся молодежи, неотразим. Какой океан времени мог бы быть сохранен! Давайте оставим иероглифы для буддийских сутр, ведь таинственные знаки всегда внушают уважение... для театральных плакатов, потому что ваши письмена очень декоративны, и для книг в тюремных библиотеках: иероглифы незаметно притупляют и успокаивают человека. Ведь чудовищная трудность...

— Прерываю вас, потому что знаю наперед все ваши двадцать два сакраментальных аргумента. Трудность иероглифов бессовестно преувеличивается, особенно теми, кто не знает ни одного знака. Спросите у русских юношей из Златоустинского переулка в Москве, которые весело учат эти иероглифы. Они вам скажут, что иероглифы совсем не страшны. — Во-первых, надо выучить 214 ключевых знаков, во-вторых, ходить аккуратно на лекции профессоров Колоколова и Пашкова, а в-третьих, не быть наследственным кретином — и все. Вы говорите дальше, что иероглифы притупляют, это неверно. Они лучше всяких мнемонических экзерсисов развивают зрительную память и открывают перед неофитом новый мир бездонной и величественной красоты. Созерцание иероглифов ничем не отличается по характеру пробуждаемых эмоций и эффекту от созерцания творений искусства. Гравюра Сяраку, героический пейзаж Ма-Юаня и иероглиф стоят рядом так же, как в европейском искусстве саженное панно Пюви де-Шаванна и филигранная виньетка Сомова...

— Иероглиф — творение искусства? Иероглиф — это графический знак, он по своему происхождению и назначению — родной брат европейской буквы, не больше!

— Между европейской буквой и китайским иероглифом такое же расстояние, какое существует между деревянной палочкой для еды и статуэткой богини Каннон. Старый Кадм, который посетил как-то ночью одного французского сочинителя, писавшего под псевдонимом Анатоля Франса, сказал, что изобрел двадцатидвухзначную финикийскую азбуку исключительно для удобства торговли, чтобы быстро, не теряя зря песочных минут, писать первые в мире коносаменты и тратты. Эта азбука, приходящаяся бабушкой европейским алфавитам, была письменностью средиземноморских спекулянтов, темных и невежественных. Китайские же иероглифы были созданы рядом поколений философов и художников.

Первые века работали только художники — они создали категорию изобразительных иероглифов — первобытную китайскую энциклопедию в рисунках. Некоторые из этих рисунков-иероглифов, с их предельно лаконической выразительностью, мудрой экономией линий и очаровательной изобретательностью, являются незабываемыми шедеврами рисовального мастерства.

Посмотрите, например, на самую первую редакцию иероглифов женщины, дракона, лошади, хамелеона, телеги, рыбы, феникса и многих других. Голая широкобедрая женщина стоит, слегка расставив ноги, и с угловатой первобытной грацией прикрывает одной рукой низ живота. Может быть, русский академик Марр, этот Велемир Хлебников от науки, когда-нибудь блистательно докажет, что поза Милосской Венеры взята от китайского иероглифа женщины, который теперь читается «нюй» и смело ассонируется с французским словом «ню».

Посмотрите на эти иероглифы. Лошадь, яростно развевая по ветру гриву, встала на дыбы. Дракон, победоносно подняв голову, колыхая усищами и изогнув донельзя гигантское туловище, летит по сине-золотому небу. Рыба, похожая на ящера, с разинутой пастью и грузным хвостом. Феникс, трактованный чрезвычайно дерзко: не видно ни головы, ни ног — зато показан зиг-

заг плавного величавого полета и узор пышных огромных перьев. Телега, нарисованная по всем правилам конструктивизма европейского двадцатого века и как будто выкатившаяся из детской книжки, иллюстрированной В. Лебедевым.— Здесь можно вас до вечера водить от одного иероглифа к другому, и вам не будет скучно, если вы хоть на секунду подумаете о том, что, может быть, в вас течет капля крови этих трогательных первых мастеров.

Когда художники сделали свое дело и смогли уйти, пришли философы и начали, во-первых, осторожно упрощать эскизы художников, приспосабливать к жизни, а, во-вторых, конструировать отвлеченные иероглифы — создавать понятия, ибо философия всегда была «поэзией понятий».

Появились, например, такие иероглифы: «смерч, вихрь» — изображение трех псов; «шалить, дразнить» — двое мужчин тискают женщину; «покорность» — человек, а перед ним собака; «отдых» — человек, прислонившийся к дереву; «водопад» — вода и буйство; «грохот» — три телеги; «отчаянная борьба» — тигр, а под ним кабан; «спокойствие, мир» — женщина чинно сидит под крышей дома и др. (Кто мог бы думать, что этими же знаками в XX столетии в пекинских, сеульских и токийских газетах будут выражаться путем остроумнейших сочетаний такие понятия, как: гарантийный пакт, верлибр, гепеу, гуано, мазохизм и эмбарго?).

Итак, были созданы все категории отвлеченных и комбинированных идеографов. Иероглифы, эти Големы, сотворенные мудрецами, стали жить как все твари органической природы, и по их причудливо изогнутым членам медленно потекла черная душистая кровь. Они стали беспрерывно расти, меняться в облике, терять ненужные органы и приобретать гладкий безукоризненно оборудованный вид. Но те, кто в течение вереницы веков трудились над постепенным упрощением пушистых неповоротливых знаков, никогда не забывали о строгой грации и крепкой красоте знака.

Вместе с изменением внешности иероглифы претерпевали интенсивную внутреннюю эволюцию — меняли свое значение, сбрасывали с себя старые имена и получали новые. Например, иероглиф «хамелеон» незаметно в беге веков обронил где-то свое первое значение и стал означать «проворный, юркий»; иероглиф «облака или клубы пара, поднимающиеся вверх», стал означать — «говорить», а иероглиф «вяленые куски мяса» — «старый, древний» и т.д.

История европейского алфавита скудна фактами, как биография трамвайного контролера. История иероглифического письма — это пышная многотомная история одной из великолепных отраслей изобразительного искусства.

Как жаль, что у нас нет времени и нельзя вам рассказать о том, через какие эпохи стилей прошли иероглифы. Для вас имена Ши-Лю, Ли-Су, Цай-Юн, Чжун-Ю, Ван-И-Чжи — такой же пустой звук, как названия аргентинских крейсеров для корейского бонзы. Это — имена великих кодификаторов, создателей каллиграфических эпох, магов кисти. Запомните на всякий случай, что небывалый расцвет искусства иероглифописи был в третьем и четвертом веках европейской эры — мы здесь видим существование многих стилей и их борьбу. Позднее, в седьмом веке, в эпоху Танскую, плеяда художников письма хотела возродить древнейший стиль, но эта псевдоклассическая вылазка кончилась неудачно.

По-китайски искусство писания иероглифов называется «синьхуа», по-японски «синга», что значит «рисунок сердца». Это название пустил в оборот философ Янцзы, сказавший, что «слово есть голос сердца, а иероглифопись — рисунок сердца».

Вы, европейцы, пишете несгибаемым металлическим пером, это все равно что скоблить бумагу запачканным гвоздем. Мы, азийцы, пишем на тонкой прозрачной бумаге мягчайшей кистью, трепетной кистью, держа ее вертикально. Неуловимое движение души, ничтожнейшая дрожь руки передается на кисть, и мы получаем на бумаге утолщение или утоньшение черты, нажим, отрыв, поворот, росчерк, взлет или зигзаг

кисти. Задержите на несколько секунд руку, и сразу же пятно туши станет расползаться на бумаге; проведите кистью два раза по одному и тому же месту — получится жирная уродливая черта, отличная по окраске от других. Если в руке вашей не будет уверенности и непринужденности, иероглифы выйдут хилыми и дряблыми.

Принципы рисовального мастерства Восточной Азии целиком построены на приемах иероглифописного искусства. Вот почему, если на картинах наших мастеров рядом с извилистой горой и водопадом написано четверостишие, то этот пейзаж и эти письменные знаки взаимно дополняют друг друга, и зритель одновременно любуется живописью, внешним обликом иероглифов и смыслом начертанного.

В X веке, в то время когда по Европе рыскали десантные батальоны викингов — в Японии, переживавшей эпоху Хэйан, были в моде так называемые «асидэ» — картины, смонтированные из одних иероглифических начертаний, полных или сокращенных. Вы на асидэ видели течение воды, камни, деревья, скалы, бамбуковые рощи, крыши буддийских храмов, пики гор, облака, птиц и в то же время читали в них иероглифы. Девять веков тому назад на Японских островах умели тонко наслаждаться! Если возьмем непревзойденного Ван-И-Чжи с его...

— Простите, у меня нет времени без конца слушать ваш путаный трактат об изысканных свойствах иероглифов. Будем кратки. К черту ваше гурманство и эстетическую мистику! Это все — азиатская метафизика. Прежде всего, иероглифы — система письма. Время — золото. Письменные знаки должны быть предельно просты и быстрописательны. В простоте и быстроте — высшая красота, ц е л е с о о б р а з н а я к р а с о т а. Что красивее: весь покрытый кондитерскими украшениями дормез или гладкий голый авто? Авто. Авто красивее и авто быстрее. Пока вы, высунув от напряжения язык и перебирая в памяти ваших полумифических академиков, выводите на расползающейся бумаге один иероглиф, — я автоматической ручкой настрочу десять слов. Авто и арба. Миноносец и шаланда.

— Извините, у нас существует почерк «цаошу» — иероглифическая скоропись. Наши студенты дословно записывают этим иератическим почерком лекции профессоров. Любовные письма у нас принято писать скорописью, ибо они необычайно граци...

— Стоп. Надо кончать нудный диспут. Я мог бы окончательно развенчать перед вами ваши «дзыры», как их называют русские студенты-ориенталисты, но у меня нет времени. Скажите последнее слово. Вы не отрицаете того, что чудовищная громада времени уходит на усвоение ваших кабалистических ублюдков. Это самый убийственный аргумент. Время — золото. Ваша попытка оправдать иероглифы за их родословную и подозрительную миловидность — жалка и суеславна. Попробуйте найти хоть какое-нибудь оправдание вашим иероглифам с точки зрения це-ле-со-о-браз-но-сти. Какое-нибудь.

— Их уже великолепно оправдал Пильняк-сан, сказавший: «Если бы я, не знающий китайского, японского и испанского языков, и мексиканец, не знающий японского, китайского и русского языков, — если бы мы изучили иероглифическую грамоту, — мы бы, без знания языков, сумели бы списаться и понять друг друга: я, китаец, японец и мексиканец». Это наивысшее оправдание иероглифической письменности! После этого оправдания от ваших доводов о золотых медяках времени и об утечке энергии — ничего не остается.

Запомните раз навсегда, запишите вашим неподражаемым гвоздем, вашими жалкими литерами вот что. В главной канонической книге конфуцианства — «Луньюй» есть фраза: «в пределах четырех морей (т. е. всего мира) все люди — кровные братья». Русский, китаец, японец и мексиканец, о которых говорит Пильняк-сан, — братья, и поэтому они должны понимать друг друга. Они могут понять друг друга при помощи иероглифов.

В основу нашей азийской иероглифики положена великая идея, идея духовного братства народов всех «четырех морей»!

XI. Об одном японском тоннеле

(К главе «Шум гэта»)

На острове Кюсю в провинции Будзэн, около местечка Ао, путешественникам часто показывают один тоннель, маленький узкий тоннель, годный только для пешеходов, пробитый кирками в первой половине XVIII века сквозь гигантскую гору-скалу, что возвышается над рекой Ямакунигава. До появления этого сквозного отверстия в каменной громаде приходилось делать длинный и леденящий душу путь: проходить по скрепленному цепями мостику-дорожке из бревен, который, вися над гулкой пропастью, опоясывал гладкую, как ширма, скалу. До появления этого тоннеля многие путники, у которых был неудачливый гороскоп, низвергались в бездну с этого колыхающегося мостика-пояса. Быль о прорытии этого тоннеля, остановившего бесплодные жертвоприношения, быль, уже два раза вдохновлявшая современного японского беллетриста Кикути, может служить незаменимой иллюстрацией к словам Б. А. Пильняка: «Это только столетний, громадный труд может так бороться с природой, бороть природу, чтобы охолить, перетрогать, перекопать все скалы и долины. Это только гений и огромный труд могут через пропасти перекинуть мосты и врыться тоннелями в земные недра на огромные десятки верст». Перескажем эту быль, уже дважды кипевшую в творческом тигеле Кикути, собственными словами, словами строгого историка.

Один эдоский самурай, спихнутый роком с правильного пути после невольного убийства своего владыки, проведший после этого тяжелую многогрешную юность и, вконец уставший от необузданного разврата и неисчислимых убийств, вдруг обрил себе голову и, надев четки на пальцы, пустился в странствие по Японским островам. В 1724 году он пришел в деревню, около которой висел на груди скалы смертоносный мостик. Увидев очередные трупы и эту колыхающуюся тропу в ад, кающийся путник, — его звали Рьокай, — вдруг запылал диким безрассудным желанием: вооружить

жителей окрестных деревень кирками и лопатами и ценой каких бы то ни было усилий продолбить через гору-скалу-громаду зияющий проход. Но страстные речи пришельца, исступленные призывы его ударились о скалу недоуменного изумления всех. Тоннель сквозь гигантскую каменную массу голыми руками? Скорее можно построить пагоду из булыжников до луны, чем этот тоннель, случайно приснившийся безудержному фантасту. Рьокай молча взял кирку и принялся один за работу; к вечеру подножие каменной громады было слегка поцарапано. Вид человека, по-видимому рехнувшегося, остервенело колотящего по скале, был поистине жалким. Первые дни жители, посасывая крохотные трубки, любовались издалека комическим зрелищем, но вскоре это им надоело — актер был убийственно однообразен. Когда Рьокай через год, прорыв около двух сажен, скрылся в дыре, его почти все забыли. Через четыре года пробоина в горе была длиной в семь сажен, а на девятом году глубина пещеры уже достигала пятидесяти четырех аршин. Стук кирки из дыры делался все глуше и глуше. Окрестные жители, не читавшие Шекспира, сказали себе: «Если это и безумие, то довольно систематическое», и стали понемногу помогать Рьокаю. Начинали помогать, постепенно загорались надеждой, бешено стучали, потом постепенно незаметно уставали, разочаровывались, отчаивались и, покачивая головой, уходили из темной пещеры — сколько было таких! Но Рьокай работал, неутомимый, ровный, безмолвный, и только по ночам пугал своих помощников радостными воплями во сне. На восемнадцатом году после начала работы Рьокай уже не мог ходить — он мог только стоять на коленях и бить киркой; к тому же он полуослеп от вечной каменной пыли и от вечного каменного сумрака. Как раз в этом году в деревню забрел один самурай, который, расспросив словоохотливых жителей о личности Рьокая, вдруг просиял и, схватившись за рукоять меча, бросился в пещеру. Добежав до места работ, он схватил полуслепого бонзу за шиворот и громко назвал себя; он оказался сыном сановного самурая, павшего когда-то от руки Рьокая; сыну убитого пришлось, согласно велениям самурай-

ских обычаев, по достижении совершеннолетия пойти разыскивать убийцу отца, чтобы выполнить акт священной мести; после девяти лет, невозвратно растерянных на японских дорогах, он наконец пришел к цели. Помощники Рьокая камнями отогнали самурая и после долгих увещеваний вырвали у него согласие подождать до конца работ, до завершения тоннеля. Первое время самурай зловеще сидел в стороне, наблюдая за работающими, но через несколько дней решил присоединиться к ним, чтобы ускорить хотя бы на минуту приход сладостного мига — удара мечом по шее Рьокая. Самурай взял кирку и, став на колени рядом со смертельным врагом, неистово заколотил по камням. Самурай и бонза бок-о-бок, плечо-о-плечо проработали ровно год и еще шесть месяцев, и в одну сентябрьскую ночь 1745 года — как раз на двадцать первый год после первого удара — кирка Рьокая, как-то странно звякнув, застряла в скале, и перед всеми внезапно сквозь отверстие открылось звездное небо, огоньки деревень на горах и берег отчетливо журчащей реки. Бонза бросил кирку, хрипло крикнул что-то и упал к ногам самурая, подставив свою голову под меч. Но тот, потрясенный и смятый этим небывалым человеческим подвигом, этой чудовищной победой эфемернейших человеческих рук, этим ослепляющим торжеством человеческого труда, молча опустился на колени, подняв рыдающего старика с земли, и крепко, крепко обнял его.

Так повествует Кикути в двух своих вещах: в повести и драме, по-карлейлевски «снимая крупным планом» щуплую фигуру Рьокая и нахлобучивая на голову последнего тяжелый, ярко начищенный нимб, крестьян же, без помощи которых Рьокай умер бы на десятой сажени, заставляет играть роль неприметных никтошек. Если бы Кикути приехал в Москву и поучился хотя бы месяц в Кутве, что на Страстной площади, он, вне всякого сомнения, написал бы еще раз об этом тоннеле. Но в третий раз — а в третий раз японцы говорят: «сандомэ но сьодзики» — истина торжествует — в третий раз Кикути отбросил бы в сторону

мелодрамный сюжет с истерикогероем бонзой и всепрощающим самураем и написал бы только вот о чем:

— О том, как крестьяне нескольких деревушек провинции Будзэн двадцать с лишним лет непоколебимо боролись с каменной стихией; о том, как они ее великолепно победили!

XII. Осанаи Каору

Родился в 1891 году. Окончил литературный факультет Токийского университета. Автор ряда романов, новелл, драм и теоретических работ по театру. Организовал вместе с одним из лучших актеров японского классического театра Итикава Садандзи «Свободный театр», который наряду с театром проф. Цубоути открыл свыше десяти лет тому назад новую эру в истории японского театра. Ныне Осанаи состоит в качестве одного из режиссеров театрика в квартале Цукидзи в Токио; на сцене этого маленького театра ставятся вещи Стриндберга, Газенклевера, Чехова, Метерлинка, Л. Толстого, Чапека, Пиранделло, Горького, Вильдрака, Кайзера и О'Нейля. Три постановки Осанаи подвергались запрещению со стороны полиции.

XIII. «Дорога цветов». Вертящаяся сцена

(К главе «Театр и живопись — элементами формулы шара»)

В 1668 году в театрике Каварасакидза впервые была устроена деревянная тропа, пересекающая весь зрительный зал и концом перпендикуляра упирающаяся в сцену. Тропа была предназначена специально для того, чтобы на ней раскладывали подношения актерам. Но вскоре по этой тропе стали шествовать и бегать по ходу действия, и она стала незаменимой и неотъемлемой частью сцены. Между прочим, в театре «Но», театре Асикагской эпохи, фигурирует мост — ха-

сигакари, который может показаться прототипом «дороги цветов». Но ныне историками театра непоколебимо установлено, что мост не имеет никакого отношения к «дороге», последняя развилась совершенно самостоятельно.

Уже во втором десятилетии XVIII века на японской сцене стали применяться технические ухищрения. История японского театра сохранила имя крупного сценического новатора в Эдо — Накамура Дэнсити, изобревшего движущиеся декорации и переворачивающиеся сценические коробки. Этот Всевolод Накамура делал полные сборы в театре своего имени — «Накамура-дза», показывая остроумные фокусы сценического оформления. В пятидесятых годах XVIII века все театры стали уделять острое внимание технике моментальной смены сцен, и здесь была поставлена проблема о верчении сцены. Вначале на самой сцене ставили площадку на колесах, и три-четыре никтошки медленно поворачивали ее, но в 1793 году — в год французской революции — на японской сцене тоже произошел переворот. Один из оформителей догадался построить сцену наподобие карусели или волчка. Вскоре сцена весело закружилась, и стало навеки возможным мгновенно менять сцену и одновременно показывать два действия, происходящие в разных местах.

Гото Кэйдзи в своей истории театра Японии помещает слова одного японского театроведа XVIII века, автора трактата «Кйогэн-сакусьо». Этот автор отрицательно относится ко всей театральной инженерии, техническим махинациям на сцене, утверждая, что они вредят подлинному мастерству актеров и разрушают обаяние театрального действа. Автор говорит, что театры стали прибегать к всевозможным установочным трюкам и частым сменам сцен только по той причине, что; «актеры неискусны и незрелы в своем мастерстве и не могут выдерживать продолжительных сцен». «Вертящиеся и подъемные приспособления, — говорит он далее, — возникли только благодаря падению чистого актерского мастерства»...

Что он сказал бы теперь, если, воскреснув, очутился бы в Москве? Наверное, всплеснув руками, попросил бы как можно скорее перевести его книгу на русский язык...

XIV. Начало эры

(К главе «Театр и живопись — элементами формулы шара»)

...Молодое, европеизированнное искусство теперешней Японии вырастает уже в монументы, — подпочва для его возрастания созрела в Японии.

(Из главы «Театр и живопись — элементами формулы шара».)

После того как японцы стали во второй половине прошлого столетия воспринимать европейскую культуру, японское изобразительное искусство разделилось на чисто японское, верное исконным традициям восточноазийского искусства, и японо-европейское, целиком основанное на европейской изобразительной технике. Противостояние этих двух фракций продолжается до сих пор, но в последние, послевоенные годы наметился знаменательный процесс — процесс синтеза японских и европейских принципов изобразительного мастерства. Мастера, пишущие японскими водяными красками китайской кистью на шелку, начали внимательно изучать постимпрессионистов и Пикассо, и на новейших какэмоно и ширмах замелькали коричневые голые женщины на фоне невероятно ярких пейзажей, пятиугольные яблоки, сине-зеленые горы и деревья и расплывающиеся кубы. И в то же время художники, возвратившиеся из Парижа, прямо из мастерских Лорансэн, Дюфи, Глэза, Архипенко и др., начали делать рисунки тушью в стиле «нанга», украшать бумажные ширмы композициями в стиле японских и китайских классических мастеров. Японские «парижане» не бросают привычное для них масло, темперу и сангину, которыми владеют очень уверенно, но многие из их творений могут привести в отча-

яние даже самого опытного музейного эксперта, ибо невероятно трудно решить, в каком зале повесить их — в зале японо-китайской живописи или ново-европейской. Таковы, например, гибридные опусы большого мастера Кисида Рюсэй, изучавшего раньше Дюрера и Сезанна, а теперь штудирующего старинных китайцев и ранних укийоэистов. Таковы, например, вещи Косуги Мисэй, Цуда Сэйфу, Цубаки, Садао, Морита Цунэтомо и Накагава Кигэн. Между прочим последний до недавних дней очень изобретательно подражал Матиссу, но осенью 1926 г. на выставке «Ника», японского Салона Независимых, вдруг выставил эскизы тушью в чисто японской манере, пожалуй, в стиле хайга — иллюстраций к хокку. Анонимный хронист, обозреватель из ежегодника газеты «Майнити», справедливо утверждает, что скоро придет время, когда картины маслом, написанные японцами, нужно будет относить к восточноазийскому искусству и вешать рядом с какэмоно, сделанными водяными красками и тушью, ибо разделяющая черта между «японо-японской» и «японо-европейской» живописью медленно, но верно тускнеет.

На всем протяжении истории японского искусства мы видим отчетливое ритмичное чередование эпох — эпох подражательных, в течение коих японцы торопливо-ученически вбирали в себя иноземную художественную культуру, и эпох самостоятельных, когда из синтеза импортированных элементов искусства с самобытными национальными возникала эпоха величавого блистающего расцвета. Так танская живопись породила эпоху школы Яматоэ, искусство северосунских мастеров вызвало к жизни Сэссю и Канно Мотонобу, а картины маслом и дешевые олеографии, случайно завезенные голландскими арматорами в Нагасаки в XVII и XVIII веках, оказали неизгладимое влияние на токугавские ксилогравюры.

Сейчас, когда японцы уже усвоили до конца после двадцатилетнего ученичества все завоевания европейцев — от импрессионизма до конструктивизма, не стоим ли мы сейчас на пороге нового очередного японского Ренессанса?

У японцев летосчисление идет по эрам. Сейчас у японцев эра Сьова — эра «Светлого Мира», начавшаяся с 1926 года. Не стоим ли мы сейчас на пороге новой эры, эры великого синтеза азийского и европейского искусств?

XV. Японские писатели и Б. Пильняк

(К главе «Япония — мне: общественность»)

О Б. Пильняке в дни его пребывания японцы писали очень много; в ряде журналов были помещены статьи, причем несколько статей в левых журналах являлись приблизительным пересказом статьи Л. Троцкого; на обложке журнала пролетарской литературы «La Fronto» (майский номер) было написано большими буквами: «Воспеваем праздник труда» — и на другой стороне листа: «Встречаем Б. Пильняка».

Фарреру, Келлерману, Ибаньесу никаких встреч японцы не устраивали; Клоделя встречали как посла Франции, как сиятельного заморского вельможу, его встречали гвардейский караул и чиновники в цилиндрах, но русского писателя Пильняка встретили и окружали за все время пребывания в Японии его товарищи по работе — японские писатели. Лучше всего отношение японских литераторов к советскому гостю, приезд которого прибавил много седых волос на голове начальника оперативного отдела токийского департамента полиции, выразилось в небольших «дзуйхицу», помещенных в журналах «Бунгэй Сюндзю» и «Бунгэй Сэнсэн». В первом описывается писательская вечеринка, устроенная в честь прибывшей четы, причем автор говорит, что хотя гости и хозяева не могли объясняться непосредственно, тем не менее весь вечер прошел под знаком крепкого братского языка душ, инициатором которого может быть, по мнению автора, только русский человек. Во втором журнале пролетарский писатель Сасаки Такамару пишет на тему о том, что у англичан и американцев, приезжающих в Японию, всегда с носа капает чувство национального превосходства, оскорбительная

спесь европейцев, — советские же гости, к большому изумлению автора, в этом отношении наглядно доказали, что они уже перестали быть европейцами.

XVI. «Япония № 2»

(К главе «Япония — нам: общественность»)

(Из записной книжки)

> Когда простолюдины встречаются на дороге со знатными, то, пятясь назад, прячутся в траву.
>
> *(Из китайской летописи «Вэйчжи» ([описание японцев III века после р. Хр.])*
>
> Мы научили японцев капиталистическому режиму и войне. Они кажутся нам страшными потому, что становятся похожими на нас. И это, на самом деле, в достаточной мере ужасно.
>
> *А. Франс*

1. Цифры

* Беру несколько цифр из сентябрьской книжки «Кайхо», «La Emancipo» — органа японского левого фронта общественности.

* Япония пролетарская состоит из 9 880 000 человек.

Ядро японского пролетариата, великая триада — фабрично-заводские рабочие, горняки и транспортники — насчитывает 4 348 000 человек.

Объединено в рабочие союзы — 241 000 человек. Эта лейб-гвардия японского пролетариата, отборная часть, состоит из 209 рабочих союзов, девяносто четыре процента которых родилось после 1918 года.

* Сельская беднота — косакуно, что значит «крестьяне, обрабатывающие мелкие наделы», «мелконадельники» — состоит из 3 800 000 семей.

В союзах мелконадельников состоит 306 000 человек. Эти мелконадельники — члены союзов — ведут сейчас нескончаемую борьбу с помещиками. Они

ведут борьбу напористо и спаянно, совсем не так, как их деды, которые только в припадке отчаяния бросались к набату, пронзительно дули в раковины, вооружались бамбуковыми копьями и, помахивая соломенными хоругвями, оголтело шли к замку даймйо, подавали ему челобитную и, получив подачку-уступку, торопливо выдавали застрельщиков, а потом через несколько дней вытирали слезы перед их почерневшими головами.

Теперь завязка и развязка крестьянских выступлений делаются совсем по-другому. Вожаки, вместо того чтобы ставить свои отрубленные головы на бамбуковые треножники с дощечкой, ставят небрежные подписи на листах показаний в полицейских и жандармских участках.

* В ногу с рабочими городов и рабочими деревень идут 50 000 «эта», членов «Ассоциации уравнения по ватерпасу». Этот экзотически звучащий союз состоит из выходцев из касты отверженных, по-японски — «эта», что значит «поганые». Каста официально существовала в Японии до 1871 г., и по сьогунским декретам каждый «эта» считался 1/12 человека, т. е. человек, зарезавший с умыслом дюжину «эта», судился за убийство о д н о г о человека, хотя по тем же сьогунским декретам — при сьогуне Цунайоси — за убийство ласточки человеку отрубали голову.

* В качестве попутчиков идут 10 000 членов Всеяпонской лиги «салариманов», объединяющей союзы мелкой служилой интеллигенции городов Токио, Осака, Кобэ и Киото. Один из японских революционных стратегов, коммунист Тагути Ундзо, бывший секретарем у т. Иоффе, когда тот жил в Токио, безоговорочно помещает их в лагере пролетариев.

* Итак, в союзы объединено 250 000 рабочих, 300 000 крестьян, 50 000 «эта» и обоз — 10 000 очкастых воротничков.

* С точки зрения арифмометра, эти цифры не внушительны.

Пока объединено только 5% основного кадра пролетариата. Особенно плохо организованы текстильщики, железнодорожники и горняки — от одного до трех процентов.

Мелконадельники объединены немного лучше — почти девять процентов всей крестьянской бедноты — члены союзов. Но 91 процент, увы, пребывает еще в первозданном состоянии.

* С точки зрения арифмометра, иногда бывающего глупым, эти цифры кажутся жалкими. Но не всегда надо верить арифметике. Цифры эти звучат совсем подругому, если повернуть их со стороны качества.

Лучшее средство излечиться от пораженческого настроения тому, кто следит за кривой японского пролетарского движения, это — внимательно и медленно читать газетно-журнальные отчеты о забастовках, аграрных конфликтах и отдельных выступлениях японских революционеров. Каждый поймет, что в настоящий момент головная фаланга пролетарской Японии находится в фазе трудного, но медленно преодолеваемого искуса.

* Япония № 1, императорско-генеральско-вертикально-трестовская Япония, во второй половине XIX в. пролетела в течение сорока лет тот путь, по которому белые державы ковыляли в течение четырех столетий.

Япония № 2, Япония пролетарско-революционная, которая начала свою настоящую историю с 1918 г., побила рекорд Японии № 1, пройдя столетний путь европейских рабочих в восемь лет. Время сгустилось в двенадцать с половиной раз, и у японских пролетариев сейчас год имеет 29 дней.

* И отчеты, о которых говорилось выше, надо читать так, как Гершензон рекомендовал читать Пушкина. Тогда каждый поймет сокровенный смысл таких фактов, как каракозовский выстрел Намба, выступления мелконадельников в префектуре Нинигата, Сибаурская стачка, победы левого фронта профсоюзов — Хьогикай и т. д., и поймет, что дело не в арифмометре, показывающем внушительные цифры, а в качестве этих цифр и в беге сгустившегося времени.

* Неестественно быстрый рост не проходит безнаказанно. Он всегда сопряжен с патологическими казусами.

Япония № 1, имеющая супердредноуты, газеты с миллионным тиражом и вертикальные тресты, одной ногой еще стоит в средневековье. Возьмите непрекращающиеся распарывания животов, кровавые рецидивы

походов Хидэйоси на Корею, бывших в конце XVI века, культ демонов и неистребимый институт наложниц.

Точно так же и Япония № 2, упираясь в первую четверть XX столетия, не может наполовину выкарабкаться из конца XVIII века. Проф. Лондонского экономического института Повер, приезжавшая несколько лет тому назад в Японию вместе с Б. Рэсселем, попала в интернат для работниц при одной из токийских фабрик (в квартале Хондзьо). Изумленно оглянувшись и зажав нос, ученая миссис сказала, что она видит воочию английскую фабрику эпохи промышленного переворота... (Эта фраза цитируется в книге доцента коммуниста Сано «Введение в изучение социальной истории Японии».)

* Сейчас 60% всего фабрично-заводского пролетариата Японии — женщины.

Нужны гомерические усилия, чтобы этих брошенных в XVIII век безропотных невольниц превратить в пролетарских амазонок. Это будет сделано — людьми и временем.

* Сейчас 10% всего фабрично-заводского пролетариата Японии — дети, подростки до 15 лет, которых нещадно эксплуатируют.

Возьмите какое-нибудь описание жизни детей на английских фабриках во второй половине XVIII века, немножко смягчите углы эпитетов, сократите несколько цифр, выбросьте несколько междометий, вместо названий — Манчестер, Больтон, Стокпорт поставьте названия японских городов, и у вас получится интересная, изобилующая свежими фактическими данными заметка «О положении детского труда в сегодняшней Японии».

Я иногда молюсь так:

* Слушайте, Чарльз Диккенс, если метампсихоз не сказка, то, ради бога, вселяйтесь в японского романиста Кикути и напишите несколько новых «Никкльби» из жизни японских фабрик!

2. До-история

* До 1918 г. была до-история. Настоящая история, плотная, туго набитая фактами и связанная, идет с 1918 г.

До-история состоит из отдельных разрозненных событий, всплесков, отрывочных выступлений. Первые рабочие союзы, созданные стараниями энтузиастов-интеллигентов, вернувшихся из Америки, появились в последнем десятилетии XIX века. То был период героической деятельности трогательных идеалистов, энергичных пионеров и непреклонных безумцев. Вот они: «японский Роберт Оуэн» — Сакума Тэйити; первый организатор союза рикш, впоследствии казненный — Окуномия; Накадзима Хандзабуро — автор и режиссер первой японской стачки на Гавайских островах, зачинщик крестьянского движения в Маэбаси, самоотверженный чудак, окрещенный всеми «сумасшедшим». Это — будущие славные члены японского пролетарского Пантеона.

* Первая в истории Японии рабочая демонстрация состоялась 10 апреля 1898 г. В восемь часов утра 800 рабочих собрались в помещении организации, повернулись в сторону императорского дворца, прокричали троекратное банзай в честь сына Неба и, надев головные уборы, специально сшитые к этому дню, пошли стройными рядами в парк Уэно под пение первой в Японии рабочей песни. Придя в парк, где было больше полицейских, чем деревьев, они откупорили сакэ, съели обед, принесенный ими в деревянных коробочках, и в три часа дня чинно, с достоинством, разошлись. (В этот день ответственным распорядителем демонстрации был один юноша, незадолго до этого возвратившийся из Америки, где он блестяще кончил университет с званием бакалавра. Вскоре этот юноша стал наряду с анархистом Котоку в первых рядах японских революционеров, а после начала полицейского террора вынужден был эмигрировать. Теперь его, уже шестидесятилетнего старика, можно часто видеть тихо шагающим по Тверской. Теперь он — непременный член исполкома Коминтерна и зовут его Сэн Катаяма.)

* В этот памятный день на улицах Токио впервые зазвучала песнь, которая начиналась так:

Даже гора Фудзи, что высится в небе, —
Это только глыба комьев земли.
Товарищи по работе, настало время —

Возьмемся за руки,
Вместе — наступать иль отступать.
Будем биться крепкими рядами.
Ну-ка, перегоним гору Фудзи
В своей крепости и спаянности.
Если жарко взяться, что-нибудь да выйдет.
Если жарко взяться, что-нибудь да выйдет.

* (Первомай был отпразднован в первый раз в Японии группой социалистов в 1905 г.)

* Эти рабочие организации были эфемерны — рождались в результате отчаянных усилий и быстро лопались при первом тычке полицейского пальца или после первого провала стачки.

В это же время когорта революционеров во главе с Котоку, Катаяма и другими бешено пробивала себе дорогу сквозь стену полицейских и охранных псов. Скрипящие тюремные ворота стали для них добрыми старыми знакомыми.

* В 1910 г. принц Кацура, премьер-министр, генерал, не видавший ни одного боя, решил уподобиться богу Сусаноономикото, некогда отсекшему разом все головы у зловредной гидры. В июне этого года 26 революционеров во главе с Котоку и его женой Канно-Суга были внезапно схвачены. В январе следующего года, после приговора верховного суда, с ними торопливо расправились. Двенадцать — в их числе чета Котоку — были удавлены. В Японии смертная казнь производится при посредстве особой машины «косюдай» — «горлодавилки», в объятиях которой смерть наступает не раньше как через пятнадцать минут. (Мне один товарищ прокурора говорил, что многие умирают с улыбкой, ибо смерть на «давилке» очень приятна.) Еще двенадцать были присуждены к каторге на всю жизнь. Из них умерло до настоящего времени — пять, сошел с ума — один, остальные шесть еще живы. С ними сообщаться нельзя никому, родные и друзья простились с ними навсегда 15 лет тому назад. Причина ареста и расправы неизвестна, ибо в печать попало только несколько туманных и кратких, как танка, сообщений. Обо всем процессе известно столько же, сколько сыну

моему Аттику о биографии первого царя на Сатурне. В правительственном коммюнике было глухо указано, что Котоку и его товарищи были накануне какого-то невероятного преступления, которое, буде оно осуществлено, покрыло бы их извечным позором. Их просто удержали от этого faux-pas...

* Ликвидация 24-х и последовавший за нею полицейский террор достигли цели — революционное и рабочее движения на время были стерты с лица земли.

* В 1912 году адвокат Судзуки робко организовал, оглядываясь на нахмурившего брови минвнудела, «Общество дружбы» — «Юайкай» — рабочий союз с вегетарианской программой. В почетные советники был приглашен промышленный даймйо барон Сибудзава. Благодаря удачливой звезде союзик просуществовал до 1918 года, а затем он вдруг стал быстро разбухать, как отрок Момотаро из популярнейшей японской сказки.

3. Война на белом Западе

* Август 1914 года. Война. Вступление Японии в войну. Штурм Циндао. Отчаянное обогащение Японии — рынки, военные заказы. Нарикины — скоробогачи растут, как бамбуки после ливня. В Японии жизнь, т. е. рис, дорожает. Революция в России. Вторая. Газетные телеграммы о двух монстрах: «Рэйнин» и «Тороцуки». Учащение пульса в интеллигентских кругах. Дальнейший подъем риса. 1 сьо — около двух литров — 20 копеек. 21—22—25. Совет депутатов уже в Урадзио (Владивостоке), в 36 часах от Цуруги. Рис: 26—28—30. Студенты уже читают статьи Кропоткина и речи «Рэйнина». Зенит войны. 32—35—39...

4. 1918 год

* 1918 год — один из интереснейших в истории Японии. Он может смело стать рядом с 1848, 1871 и 1905, на одну ступеньку ниже их величеств — 1793 и 1917.

* Прочитайте автобиографический роман одного из рабочих лидеров — Асо «Рассвет». Первые страницы этой книги посвящены 1918 году. Начиная с апреля

этого года настроение в интеллигентских кругах делается напряженным. Особенно сильное идейное возбуждение видно среди студенческой молодежи. Сообщения о двух революциях в России производят такое же впечатление на молодую Японию, как некогда вести о парижских коммунарах на русских идеалистов. Токийские студенты начинают организовывать кружки — отдаленные копии кружков Каракозова, Чайковского, Долгушина и др. В этих кружках — «Общество новых людей», «Кружок четверга», «Союз народников», «Союз творцов», «Общество рассветного народа» и др.— круглые ночи сидят над книгами по социализму и анархизму, особенно над Кропоткиным и Рэйнин — Лениным, разбирают случайно добытые декреты правительства Советов, пылко спорят о сроках японской революции и в заключение читают «Новь» или «Отцов и детей». Среди молодежи появляется мода — отпускать волосы до плеч, зачесывая их назад, и носить русские рубашки. Многие бросают учиться и перебираются в рабочие кварталы или едут в родные деревни платить долг своим «младшим братьям». Неслыханная вещь — лучшая часть выпуска Токийского императорского университета в 1918 г. отказывается от бюрократической карьеры и идет в ряды рабочих организаций. Герой «Рассвета» восклицает: «Когда думаешь о России — не сидится на месте». В другом месте он гневно говорит: «Неизвестно, когда к нам придет рассвет. Рабочие наши спят на заводах и фабриках, а крестьяне уткнули носы в землю...»

* 1 сентября 1923 года, накануне великого землетрясения в Токио было необычайное удушье и над «градом обреченным» появилась большая черная туча. Кажется, многие чувствовали «что-то».

В 1918 г. были и удушье и черная туча, и студенты недаром до хрипоты спорили в синих от дыма деревянно-бумажных комнатушках о «решающих сроках».

Рис долез до 45 сэн, а потом, немного подумав, вдруг в первые дни августа скакнул до 50. Первые дни августа были неописуемо тревожными. Призрак беды гулко бил крыльями в воздухе.

3 августа — кабинет генерала Тэраути объявляет о посылке войск в Сибирь для восстановления порядка.

5 августа — главная обсерватория предупреждает об урагане, идущем с юга.

6 августа — в городе Тояма толпа голодных женщин начала громить рисовые магазины. Тоямки дали знак, и по всей Японии начались бунты городской и деревенской бедноты, бунты, бушевавшие весь август и в последний раз вспыхнувшие ярким пламенем на угольных копях на Кюсю. Правительству, только что пославшему несколько дивизий для покорения сибиряков, пришлось двинуть полки пехоты и жандармерии против японцев. 10 000 бунтовщиков было загнано в тюрьмы, а число убитых не удалось установить, ибо трупы считают только на настоящей войне.

* Рисовый август потряс всю Японию. После него, как после землетрясения, выбрасывающего на поверхность океана вулканические острова, на поверхности японской социальной жизни вырисовалось аграрное и рабочее движение. 1918 год — высшая точка забастовочной кривой: в этом году бастовало 66 457 рабочих — в девять раз больше, чем в 1914 г. Начались первые организованные выступления «мелконадельников» против аграриев — начались стачки и локауты на полях.

* Быстрый рост «Общества дружбы» — рост всех рабочих союзов — рост рабочего фронта. Адвокат превращается в лидера рабочих, начинает толстеть и держать себя увереннее при встрече с бароном. В 1919 году к имени «Общество дружбы» прибавляется название: «Федерация труда».

* Сплочение старой гвардии социалистов — уцелевших — с революционерами призыва 1918 года. Попытка в 1920 году образовать социалистическую лигу. Молниеносный разгон. Рисовый август и идейный ураган 1918 года, оказывается, не сделали ни одной трещинки на фасаде империи...

* Конец войны. Германия — локаут. Государство нарикинов-скоробогачей — в панике. Начало экономической депрессии. Массовое самоубийство банков и фабрик. Вал на рабочих. Депрессия свирепеет. Стеклянный колпак, из которого выкачан воздух. Атака на

рабочих со стороны верхних «двух тысяч». (В Японии имеющих больше 500 000 эн только две тысячи человек.) Отчаянное сопротивление рабочих. Японская пословица: «загнанная крыса кусает кота».

5. После землетрясения

* Ночью 1 сентября 1923 года, после великого землетрясения, лишенные крова токийцы, столпившись на пустырях, в парках и в переулках, смотрели издали на горящие кварталы, по которым носилась колесница бога Кагуцути. Подземные толчки продолжались беспрерывно. Кругом был тяжелый мрак, похожий на густо разведенную тушь. Все чувствовали себя беспомощнее метерлинковских слепцов. И вот тогда среди них незаметно родились жуткие слухи о том, что правительства нет — все министры раздавлены и что на Токио дикой оравой прут корейцы, которые вкупе с японскими революционерами захватят власть и начнут уничтожать уцелевших. Древний ужас охватил всех.

* В эту же ночь начали формироваться отряды самообороны. Полиция и жандармерия, которых ни огонь, ни вода, ни взбесившаяся земля почему-то не догадались слопать, немедленно установили связь с этими отрядами. Слухи ширились с каждой минутой. И вот тогда началось то ужасное, что легло навсегда несмываемым пятном на японцев, — избиение корейцев и японских левых. Надо быть справедливым — это правда, что полиция и жандармерия спасла много левых от верной смерти, принудительно интернировав их в участки. Но не во всех участках удержались от сладостного соблазна. Жандармский капитан Амакасу не вытерпел этой невообразимой пытки и собственноручно задушил веревкой вождя японских анархистов Осуги, его жену и его девятилетнего племянника. Два больших трупа и один маленький трупик были швырнуты в колодец во дворе жандармского штаба. Эти полицейско-жандармские грехопадения случились еще в ряде мест, например, в Камэидо, где была изрешечена пулями куча юношей-коммунистов и вожаков рабочих союзов.

* Но корейцев не щадил никто — ни люди с пуговицами, ни в кимоно. Безоружных, потешно лопочущих о чем-то, дружно, трудолюбиво истребляли, как в конце XVI века во время корейского похода Хидэйоси. Мне, корейцу, трудно писать со спокойным дыханием об этих сентябрьских расправах. Нужно быть беспристрастным и уметь строго и невозмутимо ясно писать подобно китайским придворным хронографам.

* Великое землетрясение и гекатомбы нанесли оглушающий удар левому флангу японской общественности и рабочему движению. Но, как говорит японская пословица: «После ливня твердеет земля». Через год рабочие и левые опять построились в боевое каре. Но здесь начинается новая страница.

6. Алые и желтые

* Намечаются два крыла. Экстремисты и реформисты (по-японски «хийоримиха» — «следящие за погодой», «погодники»). Начинают скрытую борьбу за преобладание в рабочих союзах. Переходят к открытой борьбе. Начало войны алой и желтой роз. Съезд Федерации труда в феврале 1925 г. Схватка. «Погодники» изгоняют алых. Те возводят цитадель с красным флагом — Хьогикай — Совет рабочих союзов. Осень 1926 г. — у «погодников» — 43 000 рабочих, у хьогикайцев — 34 000.

Попытка хьогикайцев образовать с Крестьянским союзом «Рабоче-крестьянскую партию» в начале 1925 г. Минвнудел разгоняет партию.

Попытка «погодников» образовать с Крестьянским союзом «Рабоче-крестьянскую партию» в начале 1925 г. Минвнудел кивает утвердительно.

* Левый фланг японской интеллигенции сейчас в мучительной идейной диаспоре. Большая часть — попутчики пролетариата. Позиция дружественного нейтралитета. Интеллигентский актив — «погодники» и алые. Алые делятся на: 1) хьогикайцев и их союзников, работающих в рядах рабочих союзов, 2) революционеров — одиночек, террористов.

* Террористы сделали после землетрясения 1923 г. несколько неудачных выступлений. Пули студента Намба Дайсукэ только поцарапали августейшую карету, а выстрел Вада Кютаро в спину генерала Фукуда вызвал только ожог величиной в пятисэнную монету. Высокопоставленные объекты отделались дрожью в ногах и сердцебиением, но напугавшие их были решительно вычеркнуты из жизни: Намба задохся на «давилке», а Вада недавно пошел на пожизненную каторгу. В прощальном письме-завещании друзьям, помещенном в журнале «Кайлзо», Вада, перед тем как навсегда уйти в мир тюремного мешка и чугунной тачки, жизнерадостным, звонким, срывающимся от юности голосом заявляет:

— Что капиталистическому строю осталось жить очень мало, это — ясно. Наше дело все время идет вперед!

7. Поют

* Б. А. Пильняк приводит любимую песенку текстильщиц. Приведу еще несколько из незабываемой книги японского пролетарского писателя Хосода «Печальная повесть о работницах». Песенки состоят из 24 силлаб и соответствуют русским частушкам.

* Работницы, живущие в фабричных интернатах-тюрьмах, поют:

Эх, хорошо бы, если
Интернат снесло бы водой,
Если б фабрика сгорела
И от холеры сдох бы сторож!

* Или:

Эх, мне бы крылья,
Чтоб улететь отсюда
Ну хотя бы вот туда,
До того холма!

* Перед свиданием работницы-интернатки с родителями:

Я хотела бы слезы от радости встречи
В чайную чашку собрать
И дать родителям выпить,
Сказав, что это — сакэ...

XVII. Вместо глоссы - советуем

(К главе «Япония — миру»)

Желающему подробно познакомиться с политико-экономической организацией сегодняшней Японии советуем взять две дельные методологически выдержанные книги: «Япония» проф. О. Плетнера и «Япония в прошлом и настоящем» доцента К. А. Харнского. Всякий, кто честно прочтет эти книги, может со спокойной совестью на следующий день выступить в Политехническом зале на Лубянке с публичной лекцией на тему: «Судьбы японского капитализма или куда идет Япония». Успех гарантируем.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Глазами художника

Борис Пильняк впервые поехал в Японию в 1926 году. До этого он побывал в Европе, Америке, на Ближнем Востоке. И вот — Дальний. «Я поехал в Японию не только потому, что я хочу рассказать о Японии в России, и не только потому, что в Японии я хотел рассказать о России. Основная цель моей жизни — писательство <...> искусство, как все прекрасное, вечно присуще человеку, — и писатель над бытом и временем, прорываясь через них, должен стремиться к тому, чтобы его творения жили не только сегодняшний день». В другом письме из Японии он пишет: «...ты спрашиваешь, как я себя чувствую в Японии, — кроме того, что все кругом меня таинственно и чудесно, кроме того, что каждый новый день несет мне новые невероятности, которые я осмысливаю величайшими головными болями <...>», вот «мои ощущения, мое состояние в этой таинственной стране».

Пильняк поехал как писатель, уже известный в Японии, по приглашению японской общественности. Советские газеты извещали: «Пильняк «под надзором» японской полиции. Токио, 20/III, 1926. Полицейский контроль, установленный над приехавшим в Токио Пильняком, вызывает протесты со стороны части японской печати. Так, «Джапан Кроникль» указывает, *что отношение полиции к Пильняку напоминает ее отношение к советской профсоюзной делегации*. Полиция обращается с Пильняком так, как если бы он был страшным уголовным преступником. Интересно было бы знать, по чьему приказу подвергается Пильняк такому позорному обращению». В «Вечерней Москве» от 27.3.26 сообщалось: «Японская полиция взяла под контроль Пильняка. Его встречают, как преступника (из телеграммы)».

«Попутчик, в край Восхода Солнца
Ты ухитрился забрести,

Но оказался для японца
И так, и сяк... не по пути».

Читатель сам прочтет, как донимала Пильняка полиция, спасаясь от которой, он поселился в советском посольстве у первого секретаря Л. И. Вольфа. Но ни назойливость полиции, ни незнание языка, отгораживавшие от общения с людьми иной, незнакомой культуры, не смогли помешать ему сделать многие и многие заключения, оказавшиеся пророческими. «<...> всем сердцем я хотел проникнуть в душу Японии, в ее быт и время, — я видел фантастику быта, будней, людей <...>». Забегая вперед, скажем, что вот это «всем сердцем» и не понравилось в первую очередь при выходе в СССР «Корней японского солнца». Непредвзятый, доброжелательный взгляд, удивление, иной раз восхищенное, раздражали ортодоксов. Писателя обвинили в идеализации Японии, в том, что он не увидел в ней «темных» сторон.

Надо сказать, что после второй поездки в Страну восходящего солнца Пильняк написал еще одну книгу — «Камни и корни», в которой дал более полную картину состояния японского общества и иронично ответил на несправедливые замечания по книге «Корни японского солнца». В «Корнях...» основное внимание Пильняка было занято непростой, весьма своеобразной, поэтичной культурой Японии, для которой он находит многие похвальные слова. Если первую книгу можно считать импрессионистической, то вторая явно публицистична, с социальным анализом. В первой книге Пильняк увидел и описал то, что ему показалось прекрасным, полезным, интересным, во второй он, уступая критикам, занимался анализом классовой борьбы и рабочего движения, и сейчас еще слабого в японском обществе.

В 1926 г. в Японию Пильняк ехал поездом через Сибирь. Затем Китай — Харбин (Пильняк читал лекции о советской литературе), Корея — март — «после голубых и отчаянных маньчжурских морозов», Фузан, Цусимский пролив, Симоносэки, Токио. Горячая встреча со стороны пригласивших его представителей общественности и газет, а также Ничиро-гейдзюцу — Японо-Русского Литературно-Художественного Общества.

Пильняк читает лекции, встречается с писателями, различными политиками, ездит и летает по стране. Он приглашен к императору и министру иностранных дел. Но он рассказывает на страницах книги не о своей деятельности.

Наблюдательный художник, Пильняк, несмотря на безъязычие, узнал многое. «О неслиянности душ Востока и Запада» писалось, начиная с Киплинга, достаточно, однако Пильняк находит здесь свое: «Европейцы-идеалисты горячо утверждают, что весь Запад, вся западная культура, оконча-

тельно ненужная Японии, враждебная ей, чуждая, — взята японским народом, как м а с к а, — японский народ замаскировался на столетье, чтобы броней Запада — этот же Запад откинуть». Он удивляется, что в такой красивой стране, при всеобщем тяготении, любви народа к красоте, к эстетическому оформлению быта, традиций — такие ужасные, уродливые боги. Любуется пейзажами и одеждой японцев. Изучает их нравы, своеобразный быт.

Но Пильняка интересует главным образом не экзотика, хотя он и отдает ей дань. «Больше, чем Фудзи, я кланяюсь — другому».

Он замечает, что «у японцев — колоссальная организованность и работоспособность». «Я смотрел кругом и — кланялся человеческому труду, нечеловечески человеческому». «Вот что покоряло меня: я видел, что каждый камень, каждое дерево охолены, отроганы руками от долин до отвесных обвалов». Тому, как японцы «охолили» свою природу, «на шесть седьмых» занятую «горами, скалами, обрывами, камнем», посвящено немало вдохновенных страниц. «Япония не имеет ни своего железа, ни каустики, ни нефти, ее уголь не коксуется <...> и тем не менее Япония — великая держава. <...> Воля японского народа есть та необыкновеннейшая рента, организованностью своей создающая национальные богатства и национальную мощь».

В частности, японцы строят всегда по последнему слову техники и это последнее слово еще улучшают. Это подмечено Пильняком еще в 1926 году. Считается ведь, что такая стратегия была избрана японцами после второй мировой войны. Пильняк свидетельствует: значительно раньше. К тому же «японский народ из всех философских учений берет практические сентенции». Японской философией является философия практицизма. «Дешевый труд и тот принцип, что новый завод всегда строят по последнему слову техники», дали японцам возможность «бороться с европейцами». «И решающим фактором в этой борьбе, конечно, была старая культура воли и нервов Японии». В 1926 году Пильняк обращает внимание читателя на «новое солнце, которое поднимается в Японии».

Понятно, что солнце, поднимающееся в Японии, а не в СССР, а также то обстоятельство, что для успехов в строительстве недостаточно одной классовой теории, а нужны еще культура и воля, обрекали книгу на официальный остракизм, что и случилось. И это несмотря на то, что книга написана художником, кем Пильняк оставался всегда, о чем бы ни писал.

«Восточная экзотика настолько задурманила писателя, все по-прежнему претендующего открывать Америки на кораблях афоризмов и парадоксов, что его голос, похожий на невнятные изречения пифии, едва доносится сквозь дымя-

щуюся завесу словесных благовоний, принимающих порой причудливо-красивые формы, но неизбежно непонятных, произвольных, надуманных и претенциозных... Острый дар наблюдения (хотя и не умеющий на беду ухватиться за главное, основное звено) тратится так бесплодно, не используя предоставленной ему возможности. Картины современной Японии читатель, по Пильняку, не получит именно потому, что, несмотря на отдельные (уже традиционные!) фразы о гении, машине, падении стен национальных культур и т. п., Япония дана здесь «над временем». («На литературном посту», 1927. № 7).

Особенно интересно это читать сегодня, когда время прошло и Япония стала тем, чем она стала. Впрочем, пусть читатель судит сам.

Констатируя, что японцами сделано гораздо больше для изучения нашей культуры, чем нами — японской, Пильняк старался возместить этот пробел. Сотрудничая в Японо-Русском Литературно-Художественном Обществе, в газете «Осака-Асахи-Симбун» и журнале «Кайзо» (журнал этот посвятил Пильняку и его приезду целый номер), он ездил по Японии, вникая в неясные для него, но привлекательные своей непохожестью на что-либо до сих пор виденное обычаи и традиции. Ему дарили картины, он посетил многие театры и художнические объединения. В Японии в 1926 году он впервые увидел помост, переброшенный через весь зрительный зал к рампе, много позже повторенный Н. Охлопковым в театре Маяковского, и вращающуюся сцену. Впечатлений было много. О них по приезде в СССР он рассказал в первоначальном варианте художественных очерков «Корни японского солнца» — «Дневники с Синсю», читал лекции, выступал в различных аудиториях.

Пильняк и в дальнейшем поддерживал дружеские связи с японскими писателями и деятелями культуры. В Токио он познакомился с проф. Йонекава, переводчиком русских писателей, в том числе и Пильняка. Позже в СССР на гастроли приехала его сестра — музыкант Фумико Йонекава. Она жила в доме Пильняка. В архиве писателя хранятся письма и визитные карточки многих японских писателей, с которыми Пильняк поддерживал литературные и дружеские связи. Все это в конечном результате и привело его в застенки НКВД, где в пышном букете обвинений (такой своеобразной икебане) — терроризм, организация заговора, контрреволюционная деятельность — был и дальневосточный цветок — шпионаж в пользу Японии.

Что касается проф. Йонекава, то его сын прислал мне, сыну Пильняка, фотографии наших отцов, в том числе и на выставке Варвары Бубновой, русской художницы в Японии, оказавшей на японскую живопись никем не оспариваемое

влияние, и сохранившуюся в их семье рукопись «Повести непогашенной луны» с пометками и мелкими правками Пильняка, переданную тогда, в 1926 году, проф. Йонекава для перевода. В «Корнях японского солнца» Пильняк пишет о нюбай — теплом июньском дождичке. Как раз в это время в Москве должен был выйти майский номер «Нового мира» с «клеветническим» произведением — «Повестью непогашенной луны». Он и вышел, но тираж издания был сразу конфискован. В Москве в отсутствие автора разразился скандал. Пильняк передал машинописную копию для перевода, конечно, до скандала. Теперь эта копия — все остальные были уничтожены в 1937 году — стала автографом. В Японии журналисты, по свидетельству самого Пильняка, осаждали его в связи со скандалом в Москве.

Это все — к той атмосфере, в которой проходила поездка.

«Корни японского солнца» не были забыты. Как только воспоследовала реабилитация Пильняка, в работах о Японии вновь стали появляться ссылки на его книгу, цитаты из нее. (Вс. Овчинников, Н. Федоренко и др.). Подчеркивались неизменные особенности Японии, подмеченные Пильняком.

Из Японии в том же 1926 г.Пильняк поехал в Китай. «Китайская повесть» создана сразу за «Корнями...»: 29 октября 1926 года закончены «Корни японского солнца», а уже 7 февраля 1927 г. —«Китайская повесть». Это тем более удивительно, что в упомянутых книгах описаны два совершенно разных мира, хотя и лежавших рядом, хотя и взаимовлияющих и близких по культуре. Организованнейшая волевая Япония дредноутов и передовой технологии и хаотический Китай, расколотый на отдельные провинции, в которых безраздельно правят маршалы. Они ориентируются: один — на японцев, другой — на англичан и американцев, еще двое — на СССР.

Хунхузы, пушки, толпы, поезда с мешочниками, шелуха, нищие, пыльные и грязные драконы после рафинированнейшей, в хризантемах и храмах, Японии.

Но, может быть, так и надо. Может быть, именно при таком противопоставлении и чувствуешь, сколь разнолика Азия, а вернее сказать, сам земной шар.

К этому примыкает еще третий мир — Россия, к которой Пильняк то и дело возвращается. Нет, это не обязательная ностальгия, ставшая общим местом в книгах о загранице. Пильняк связан с Россией тысячью нитей, он вспоминает ее по разным случаям — Заволжье, Коломну, Саратов, «В Москве сейчас семь утра», «А в Москве прохлада десяти часов утра». Вспоминает картины природы, столь отличные от того, что он видит за окном посольского квартала, где китайцы, и мужчины и женщины, ходят с веерами: «В России сейчас

прозрачные ясные дни. За городом раздвинулись просторы, поля лежат сжатые, опустевшие, грачи собираются стаями и над перелеском летит воронья свадьба. Месяц выходит рано, долго висит в ненадобности, потом обмерзает ночью — или согревается ею, — и тогда из лесу выходит волк, бесшумно идет опушкой, не шелохнет опавшего листа. Пустые сумерки были очень долги. Волк долго лежал в овражке. Зайцев не слышно, они ушли в поля». Тоска по России, которую он не видел уже несколько месяцев, конечно, чувствуется. Но кроме того и скорее всего эти мысли о России возникают потому, что подсознательно Пильняк сравнивает с ней то, что видит, примеривает узнанное к ней.

В «Китайской повести» он узнает Россию 18-го года, в другой раз — Россию своего детства, коломенскую Россию, китайгородскую. «Из всех стран, мною виденных, Китай больше всего похож на Россию, на заволжскую: моей русской бабушки Россию». Этому способствуют встречи с соотечественниками, людьми, выброшенными из своих гнезд, ведущими тяжелый, унизительный для достоинства человека образ жизни. Воспоминания тянут за собой размышления — иногда глубокие, горькие, о том, например, что Россия на протяжении веков являлась «отъезжим полем» для разных культур — монгольской, византийской, потом европейской.

Переплетаясь, эти три темы — Китай, Япония, Россия — образуют довольно необычное для Пильняка произведение: повесть в форме дневника, имеющий к тому же все признаки очеркового жанра. Внутри него живут и развиваются еще два других сюжета: один из европейской жизни, другой из китайской. Причудливая смесь фантазии и реальности.

Проституция, ужасные притоны, пропитанные запахом опия, — мир, далекий от «чистоплюйных романов», улицы-музеи, признания («Я никогда не пойму китайцев»), осознание того, что «Китайская республика есть напряженнейший узел мировой политики», и лишь иногда, глухо, неопределенно — о том, чем занимался там сам Пильняк. В известном письме, связанном с «Повестью непогашенной луны», Пильняк пишет: «Сейчас я вернулся из-за границы, из путешествия по Японии и Китаю. Я выступал там как представитель советской общественности, в Японии в честь меня был издан специальный номер "Ничирогейдзюцу", я работал там над организацией японо-русского журнала, который не стоил бы нам ни копейки; в Китае я организовывал китае-русское общество культурной связи, шанхайский толстый журнал "Южная Страна" предоставлял мне свои страницы для этого общества. В Японии я писал о России и русской, советской литературе в "Осака-Асахи-Шимбун", в крупнейшей газете с полуторамиллионным тиражом, и в социалистическом, крупнейшем жур-

нале “Кайдзо”». В “Китайской повести” Пильняк тоже почти ничего не рассказывает об организации Общества.

Проф. В. Рек из Канады, исследовательница творчества Пильняка и переводчица его произведений в письме от 12 ноября 1983 года сообщала: «Я только что вернулась из Китая. Пробыла три недели в Шанхае, где Борис Андреевич прожил лето 1926 года. Прилагаю фотографии дома, где он жил. Теперь это Интернациональный клуб моряков... Относительно работы Бориса Андреевича в Шанхае узнала немного. Неизвестно, где архивы Китае-Русского Общества культурных связей, которое он основал. Из китайских писателей 20-х годов живы очень немногие... Удалось достать несколько газетных статей 1926 года и три фотографии. Решила съездить в Китай еще раз — в будущем году. Побуду в Пекине подольше, надеюсь встретить кого-нибудь из стариков. Если у Вас есть какие-нибудь материалы о поездке на Дальний Восток в 1926 году, очень буду благодарна, если Вы мне о них сообщите. Это поможет работать на месте».

До сообщения проф. В. Рек не было известно о миссии Пильняка в Шанхае, да и город сам не был назван в «Китайской повести». Теперь стали ясны все намеки, содержащиеся в тексте. В архиве Пильняка сохранился и список китайских деятелей культуры, принимавших участие в организации общества. В нем поэты, писатели, журналисты, редакторы, музыканты, певцы. В списке участников редактор ежемесячного журнала, профессор литературы Шанхайского университета, председатель Музыкального общества, знаменитый художник Цун Баои, популярная певица мисс Ли Чинжао и др., более сорока культурных деятелей Шанхая и Пекина.

Объяснилась и причина умолчания о столь важном деле: в условиях гражданской войны нежелательно было открывать участие в организации общества советского писателя Пильняка и советского консульства в Шанхае. Становится понятной и загадочная до того фраза в тексте «Китайской повести»: «Мы, Локс, Крылов и я, живем здесь потому, что «нас послала русская революция». Раньше эта фраза казалась чисто символической.

Поездки Пильняка по Японии и Китаю представляют собой в общем новую и неизвестную страницу биографии и общественной деятельности писателя.

Естественным дополнением к «Китайской повести» — между прочим и потому, что она связывает две темы, русскую и китайскую, — является «Китайская судьба человека». Это и Россия, и Китай в революционную пору. В центре ее — тяжкие невзгоды, выпавшие на долю русской женщины. Многое здесь напоминает горькие страницы «Голого года» и «Машин и волков» и звучит как протест против «чистоплюйных романов», к которым Пильняк питал такое от-

вращение. Насилие над женщиной, над личностью; полная беспомощность перед лицом зла; пещерного, никакой моралью и нравственностью не ограничиваемого, торжества грубой силы. Как песчинку, несет несчастную, ни в чем не повинную женщину и ее многострадального мужа сквозь революционные бури. Нет разницы, белые или красные, для простого человека: и те и другие несут только горе.

Наложница, рабыня, она еще ведет дневник! Пильняк бережно сохраняет, где это возможно, ее стиль. Перед читателем возникает образ, который, помимо сострадания, вызывает восхищение его жизненной силой и тем, что в самых невыносимых обстоятельствах эта женщина сохраняет высокие человеческие качества. Перед ее трагедией замираем в бессилии, безмолвии.

«Нервы», то есть воля, дух, высокая организованность, работоспособность и культура, вывели Японию, как считает Пильняк, в число великих держав. В «Китайской повести» Китай напоминает Россию 1918 года, он расколот на куски (не потому ли, что Китай и Россия многонациональны, в отличие от Японии?). Наконец, в повести «Китайская судьба человека» вокруг человека царит просто хаос, демоническая игра злых сил. От высокой организации к сумятице, неразберихе — таковы ступени или стадии трех разных обществ в описываемых произведениях.

Тут есть о чем подумать.

Высокая ли именно национальная культура Японии не дает ей поддаться центробежным силам или другие причины сообщают ей стойкость на протяжении веков?

Революционная неугомонность Китая, которая проявлялась с 1911 года (Сунь Ятсен) по 1949-й (Мао Цзедун), и затем еще целое десятилетие «культурной революции», какое на самом деле имеет отношение к культуре «цементирующей, объединяющей, связывающей»?

И полное отсутствие культуры в описываемых в «Китайской судьбе человека» месте и времени и хаос — есть ли они следствие одно другого и какая тут возможная связь?

Иными словами, не зависят ли успехи тех или иных народов от их культуры прежде всего?

Эти вопросы лежат в глубинах трех произведений Бориса Пильняка. Пусть читатель сам ответит на них.

Пильняк-путешественник — это, пожалуй, отдельная тема. Никто из советских писателей не ездил так много и не отражал так полно свои странствия в художественных произведениях. Может быть, лишь И. Эренбург. Но место действия его романов — одна Европа. У Пильняка же это все континенты и еще океаны и моря.

Эти рассказы и повести Пильняка свидетельствуют о его пристальном интересе к тем процессам, которые происходили в мире, в особенности в таком пестром и неустойчивом, каким является Азия. Читатель побывает с писателем в Монголии и Палестине, в Анатолии, Нигерии, Стамбуле, во многих портах мира. Какое разнообразие персонажей и лиц!.. Какое напряжение сюжетов, емкость содержания!

Вот стандартный англичанин мистер Гарнэт с супругой, поспешающие за своим тихим счастьем в Нигерию. Он клерк каучуковой компании. Вся их мечта — скопить деньги, а пока они готовы к «лишениям» сетлмента, то есть к привилегированной жизни иностранных администраторов. Однако все их накопления съедены термитами. Их непоколебимый мир, освященный английскими традициями, рассыпался в прах. «Мистер Самуэль первый раз после детства, когда его порол отец, был взволнован». Бедные мистер и миссис Гарнэт! («Жених во полуночи»).

Вот евреи из Одессы переезжают в Палестину. Изумительно описан этот переход через древний Эвксинский понт и Дарданеллы к красотам Средиземного моря. Какие человеческие типы, сколько надежд! Старики хотят найти покой на земле отцов, юных беспокоит иное: «В Палестине англичане ведут такую политику, что разделяют арабов и евреев. Нам необходимо коллективно обсудить, как достигнуть дружбы арабов. Впоследствии нам совместно придется воевать с англичанами». («Повесть о ключах и глине».)

Вот еще раз мелькают англичане в калейдоскопе персонажей — в повести «Большое сердце». Действие происходит в Монголии. Здесь филигранная техника писателя особенно очевидна: повествование ведется как будто бы только о трех англичанах-концессионерах, замкнутых к тому же в салоне-вагоне спецпоезда. Монголия дана отраженно, их глазами. Но она-то и становится главным объектом описания, к ее необычной культуре, приемам борьбы за свои интересы прикован наш любопытный и внимательный глаз. Бои, стюарды, совсем незаметные, прислуживающие, вдруг тоже оказываются главными героями. Это они, смелые защитники родины, дают новоявленным захватчикам решительный и тонкий, изуверский отпор. И здесь тоже видно, как древняя культура превозмогает примитивную силу, ничем не питаемую, кроме идеи наживы. «Слушаюсь, господин Грэй,—я знаю, что сотые даяна имеют свойство превращаться в сотни даянов и из них всегда легко сделать фунты».

Новоявленные колонизаторы, столь примитивные, сталкиваются с азиатской изощренностью, хитростью и в результате бегут: «Полный, полный вперед! Вперед, все пары, эй, кто там, скорее!»

В этих вещах нет и тени какой-либо пропаганды, специального разговора о колониализме или английской империи. Нет, Пильняк, как обычно, занят чисто писательскими проблемами: характерами людей, красотами природы. Но правильное понимание проблем мира, его тайных пружин поневоле выводят писателя на высокий уровень мировой политики. Удивительно, например, это предощущение распада английской империи, произошедшего после второй мировой войны, когда Пильняка давно уже не было в живых.

А вот Пильняк переносит нас совсем в другую эпоху. Анатолия. Чудом сохранившееся в неприкосновенности в малоазиатской глуши греческое поселение. Жители покинули его по настоянию турецких властей, выселявших греков из Турции. Это слепок Древней Эллады. В покинутых домах все как сотни лет назад. Предметы быта, которым место в музеях. Чудом оставшиеся здесь мальчик и его дед, пастухи, представляют из себя чистые образцы древних эллинов, населявших Анатолию. Мальчик похож на Пастушка из Тралл, высеченного из мрамора ваятелем древности Мироном и хранящегося в Стамбуле в Музее древности. «Так же поднята его голова, те же кудри, лоб, нос, шея и плечи, тот же плащ из овечьей шерсти». Сколько интересных сведений о прошлом мы черпаем из этого маленького шедевра Пильняка. О театральных действах, которыми славились в Элладе Траллы, о «цветущей стране веселой торговли», а главное, кажется, что мы сами побывали там, в Древней Элладе.

И совсем другой мир открывается перед нами в произведениях «Speranza» и в «Рассказе о гибелях»: «По морям и океанам, под южным Крестом и Полярной звездой, в тропиках и у вечных льдов — идут корабли» — так начинается «Speranza». — «Так корабли ходят десять лет, неделями и месяцами в море».

Удивительно здесь знание морской жизни, словно Пильняк сам плавал матросом. Но не только. Знание суровой прозы жизни сочетается у Пильняка — как и в других произведениях сборника — с неистребимым романтизмом, верой в прекрасное будущее, в извечные ценности человека. Констатируя жестокость реального мира, Пильняк видит в нем много прекрасного — прежде всего в самих людях. Герои Пильняка уважают веру человека в добро, в нравственные начала. Оберегая свой внутренний мир, они уважают его в других. Циников среди героев Пильняка нет, они ему чужды.

Подлинным шедевром — и ответом на все упреки в идеализации Японии — является «Рассказ о том, как создаются рассказы», в котором писатель выразил свое отношение к тому, чего не мог принять в японской культуре: отсутствию покровов над узколичным.

О своем неприятии подобных взглядов, оскорбительности их для женщины Пильняк писал в главе «Йосивара» — о публичных домах Японии, когда жена сама отводит мужа к проститутке и уж, во всяком случае, нисколько не переживает, что он ходит к ней.

Да, Пильняк много ездил и многое видел. Ездил он как полпред советской литературы, читал лекции, встречался со многими людьми. В Европе это были Бернард Шоу, Ромен Роллан, Томас Манн, в Америке — Синклер Льюис и Драйзер. Пильняк был коммуникабелен и непредвзят. В рассказе «Олений город Нара» как раз главным является всемирное братство писателей. Два писателя, принадлежащие к двум разным мирам, — один разъезжает повсюду, чтоб никогда не возвращаться туда, где уже был, второй возвращается то и дело в Советский Союз, где его основная жизнь, где отстаиваются его впечатления от поездок, где он пишет. Они разные и по возрасту, и по жизненному опыту. Но на эти три дня в Наре, оказавшихся свободными у Пильняка, они — братья. Это были благостные дни в древней столице Японии, городе храмов, в зелени лесов, в сосновой тишине. «За окном было озеро, за озером парк, парк уходил в оленные горы к храмам». Разговоры двух писателей на прогулках и лунной ночью на веранде отеля касаются многого. Главное — характер их. «Совершенная осторожность, я полагаю, кроется в совершенной откровенности, в откровенности же кроется и искренность и честь». Тот, другой писатель, подарил Пильняку парчовую книжечку для записей и написал в ней: «Вековую тяжесть положила Россия на мои плечи. Колени сгибаются под этой тяжестью на побочных путях. Я приближаюсь опять к этой стране. Новая жизнь в России облегчит мне мои тяжести, и такая надежда растет во мне, когда я говорю с вами, Борис Пильняк»... Да, когда люди разговаривают откровенно, полагая в откровенности и искренность и честь, растут надежды на взаимопонимание, ведь мир и тогда был не менее сложен, чем сейчас. Писатели, разговаривая откровенно, протягивают друг другу руки через континенты.

Откровенность и искренность вообще украшают жизнь, и этим отличаются произведения Пильняка, хотя они не просты для чтения. Критики указывали, что Пильняк писатель изысканный, трудный, он не для «легкого» времяпрепровождения в вагоне или на пароходе.

Пильняк большой и оригинальный художник — в этом почти никто из писавших о нем не сомневался. Велико его живописное мастерство. Пильняк — мастер сжатого, четкого образа, одним-двумя словами он умеет очертить человека, зверя, пейзаж. Стиль и писательская манера его весьма своеобразны и всегда вызывали споры критиков, в особенности ма-

нера Пильняка то располагать текст в виде фигур разной величины и формы, то разбивать его вставками, набранными разными шрифтами. Однако это все больше относится к ранней манере Пильняка, к его революционным романам и повестям. Именно это имел в виду Евгений Замятин, когда писал в статье «Новая русская проза»: «В композиционной технике Пильняка есть очень свое и новое — это постоянное пользование приемом «смещения плоскостей». Одна сюжетная плоскость — внезапно, разорванно — сменяется у него другой, иногда по нескольку раз на одной странице. Прием этот применялся и раньше — в виде постоянного чередования двух или нескольких сюжетных нитей (Анна плюс Вронский; Китти плюс Левин и т. д.), но ни у кого — с такой частотой колебаний, как у Пильняка».

Такой прием не случаен. Им широко пользовался также Дос Пассос. Там, где героями являются массы, а не отдельные личности, где речь идет о крупных событиях (революция, мировая война), чередование сюжетных линий дает возможность показать разные события в их одномоментности или одно и то же событие с разных сторон.

Но, повторяем, это относится к ранним вещам. В произведениях, которые вошли в этот том, Пильняк выступает скорее как писатель классического типа, хотя и со своим неповторимым стилем и лицом. Школа его восходит к Тургеневу, Достоевскому, Чехову, Бунину, Зайцеву, Лескову, Ремизову и в особенности Андрею Белому. С этими писателями Пильняка роднит лиризм, русская традиция неторопливого глубокого рассказа.

Однако в революционную эпоху внутренний ритм литературного повествования уже не тот. Произведения Пильняка так напряжены, так насыщены мыслями и ощущениями, что полностью воспринимать их может только тот, кто сам находится под высоким напряжением. Пильняка нужно читать и перечитывать. Он часто не договаривает до конца, только намекает, давая разгадку недомолвки или намека где-нибудь в конце произведения. Настоящим читателем Пильняка может быть только тот, кто стремится, читая книгу, стать как бы соавтором, активно сопереживая процесс творчества.

Б. Б. Андроникашвили-Пильняк

КОММЕНТАРИИ

ПОВЕСТИ

Заволочье. Впервые появилась в альманахе артели писателей «Круг» (М.—Л., 1925. Кн. 5). Вошла в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930), сборники «Мать сыра-земля» (М.—Л.: Круг, 1926), «Повесть непогашенной луны» (М., 1989). Повесть была встречена критикой, в общем, доброжелательно. «Автор описывает злоключения научной экспедиции профессора Николая Кремнева к Северному полюсу. Трудности пути, гибель судна, упорство научной мысли, лишения, обнажение и обострение человеческих инстинктов в борьбе за жизнь, за уцеление, морские просторы, покрытые «вечными льдами», показаны с ощутимой выпуклостью <...> С каждой новой вещью Пильняка убеждаешься в нужности и оправданности приема, который позволяет писателю пользоваться эффектами сопоставлений и противопоставлений. Исключительно удачно применен этот прием в «Заволочье», где одновременно контрастно показаны — шумный, культурный Лондон и полярной дикостью окутанный Шпицберген, дикий север и уютная Москва» (Жиц Ф. // Красная новь. 1925. № 9. С. 287).

Большое сердце. Впервые появилась в журнале «Звезда» (1927. № 4). Вошла в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930), в сборники «Расплеснутое время» (М.—Л.: Госиздат, 1927), «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935) и др. Отдельным изданием публиковалась в универсальной библиотечке Госиздата в 1927 году.

Китайская повесть. Впервые появилась в журнале «Новый мир» (1927. №№ 6, 8). Печаталась также под названи-

ем «Китайский дневник». Отдельным изданием публиковалась в 1928 году в Государственном издательстве, вошла в сборник «Очередные повести» (М.: Круг, 1927), а также в восьмитомное собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930).

Китайская судьба человека. Повесть вышла отдельным изданием (Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1931) в соавторстве с А. Рогозиной. Больше нигде не переиздавалась.

РАССКАЗЫ

Старый сыр. Впервые появился в журнале «Красная нива» (1923. № 47), затем в книге «Английские рассказы» (Круг, 1924). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930), а также в сборники «Мать сыра-земля» (М.—Л.: Круг, 1926), «Наследники и другие рассказы» (М.—Л.: Госиздат, 1926) и др.

«Я помню десятки случаев, — писал Б. Пильняк, — как возникли рассказы. — Я был у Ал. Ден. Дикого, он должен был ехать куда-то в Кяхту, он рассказал мне причины поездки. Возвращаясь от него, я слез на Страстной площади с трамвая, — я помню это место на Страстной, я остановился выколотить трубку, закурил, вдохнул запах «вирджиниа», — и понял, что у меня будет рассказ, возникший из рассказа Дикого и запаха табака фабрики Кэпстен. Через год был написан рассказ “Старый сыр”».

«Speranza». Впервые появился в журнале «Красная новь» (1923. № 6). Отдельным изданием вышел в библиотеке «Огонек» в 1925 году. Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930), в книгу «Английские рассказы» (М.—Л.: Круг, 1924), в сборники «Рассказы» (М : Федерация, 1932), «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935). Рассказ написан по впечатлениям от пребывания писателя в 1923 году в Англии. В основу этого рассказа легли очерки, написанные по возвращении оттуда и опубликованные в газете «Известия» (7 октября, под названием «Великая Британия», и 24 октября, под названием «Лондон»).

Отвечая на критику опубликованных очерков, в которых, по их мнению, Пильняк увидел совсем не то, что нужно было, он писал:

«Мои глаза сделаны так, что я эту “рвань” — вижу, —

— и, господин обыватель, я пишу о ней не к тому, чтоб ты сучил свой кулак в кармане, а чтоб те, кто волят и могут создать Россию, знали, каким материалом они располагают, чем этот “материал” занят, — чтоб знали, в частности, и тебя, обыватель, дурак и хам (очень часто встречающаяся у нас человечья разновидность, здравствующая от Гоголя, Достоевского и Щедрина), и что ты сидишь не только в клопиных щелях, но часто и на больших дорогах нашей общественной и государственной жизни» (Пильняк Борис. Письмо в редакцию «Известий ЦИК», 8 ноября 1923 г. // Пильняк Борис. Письма. 2002. С. 246).

Жених во полуночи. Впервые появился в журнале «30 дней» (1925. № 6) под названием «Это не сказка». Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930) и в сборники «Очередные повести» (М.: Круг, 1927), «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935) и др.

Рассказ о ключах и глине. Впервые появился в журнале «Красная новь» (1926. № 1). В том же году вышел отдельным изданием в Госиздате («Универсальная библиотека»). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930) и сборник «Расплеснутое время» (М.—Л.: Госиздат, 1927). В письме, написанном на борту парохода «Ленин» с пометкой «Эгейское море, 3-го ноября 1925», и адресованное в Правление Всероссийского союза писателей, он сообщает: «Море так ворошит душу, так плещет о борт, такая тишь и благость, и 30 градусов жары, и синь, — и совершенно понятно, почему эллины создали такую прекрасную мифологию, — потому что совершенно ясно, что те острова, горы, холмы — Сентуринский вулкан, мимо которого мы проходим сейчас, — прекрасны и фантастичны, как мифы. Сижу на спардеке, под тентом от солнца, в белых штанах, с расстегнутым воротом. Ветер веет теплом, все разворашивает, и ничего нельзя додумать до конца, — и ничего нельзя начать не с моря» (Пильняк Борис. Письма. 2002. С. 298). Эта поездка описывается в рассказе.

Рассказ о том, как создаются рассказы. Впервые появился под названием «Японский рассказ» в журнале «Народный учитель» (1927. № 7, 8). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930) и в сборники «Расплеснутое время» (М.—Л.: Госиздат, 1927; М., 1990), «Рассказы с Востока» (М.: Огонек, 1927), «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935), «Человеческий ветер» (Тбилиси, 1990) и др. Рассказ написан по следам поездки писателя в Японию в 1926 году.

Олений город Нара. Впервые появился в цикле «Очередные рассказы» в журнале «Новый мир» (1927. № 3). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930) и сборники «Расплеснутое время» (М.—Л.: Госиздат, 1927; М., 1990), «Рассказы с Востока» (М.: Огонек, 1927), «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935), «Человеческий ветер» (Тбилиси, 1990). Рассказ написан по следам поездки писателя в Японию в 1926 году.

Мальчик из Тралл. Впервые появился в вечернем выпуске «Красной газеты» (1928. 12 февраля) и в журнале «Новый мир» (1928. № 2). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930), в прижизненные сборники автора не входил.

Город ветров. Впервые появился в «Журнале для всех» (1928. № 2). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930), в сборники «Рассказы» (Париж, 1933), «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935) и др.

Синее море. Впервые появился в журнале «Новый мир» (1928. № 3). Входил в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930) и сборники «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935) и др. Рассказывая о возникновении замысла этого рассказа, он писал: «Я поехал с Курода-сан в Крым к его соотечественникам, поднимавшим с Черного моря "Черного принца". В вагоне синий свет, лицо Оттокочи было зеленым, — я понял, что еду не по железной дороге, но по сюжету. Через полгода был написан рассказ "Синее море"».

Рассказ о гибелях. Впервые появился под названием «Двадцать восемь тысяч печатных знаков» в журнале «Новый мир» (1929. № 3). Вошел в сборники «Рассказы» (М.: Федерация, 1932) и «Рождение человека» (М.: Гослитиздат, 1935).

РОМАН

Корни японского солнца. Роман документально-автобиографичен, написан по впечатлениям от поездки в Японию в 1926 году и состоит из двух частей — самого романа Пильняка и разъяснений японоведа Р. Кима, которые являются частью этого произведения (о пребывании Пильняка, в Японии см.: Dany Savelli / Cahiers du Monde russe, 42/1, Janvier-mars 2001, pp. 139—158). Говоря об этом произведении как об одном из лучших в творчестве Пильняка, современный критик писал: «Молодость Японии, «корень» ее «солнца» (сквозной образ книги — от иероглифического написания Японии), по Пильняку, прежде всего в преобладании у японцев духовной культуры над материальной. Он пишет о свободе японцев от вещей, утверждает, что «материальной культуры у японского народа не было». Думаю, и тогда было трудно согласиться со столь категоричным выводом, не говоря уже о сегодняшнем дне. Но о духе японцев, их «воле и организованных нервах» пишет он в целом верно. <...> Взор Пильняка в 1926 году обращен в прошлое. В прошлое он смотрел не только в Японии, но и в России. Революции и революционные преобразования казались ему тектоническими сдвигами, когда на поверхность выходит глубокое прошлое, прокладывая путь в будущее» (Молодяков В. В поисках «корней солнца». // Проблемы Дальнего Востока. 1989. № 6. С. 201—207).

К. Б. Андроникашвили-Пильняк

СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС АНДРЕЕВИЧ
ПИЛЬНЯК

Собрание сочинений
в шести томах

ТОМ ТРЕТИЙ

Редактор *О. Замшева*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *В. Нефедова*
Корректор *Л. Курносенкова*

Изд. № 0303127.
Подписано в печать 26.06.03 г.
Формат 84 ×108 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать высокая.
Усл. печ. л. 30,24. Уч.-изд. л. 30,56.
Заказ № 0308540.

ТЕРРА—Книжный клуб.
115093, Москва, ул. Щипок, 2.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.



